
Айрис Мердок
Море, море
Лауреат Букеровской премии
The Booker Prize
PREMIUM

Море, море

Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Море, море
Предыстория
История 1
История 2
История 3
История 4
История 5
История 6
Постскриптум. Жизнь продолжается

Аннотация

Классический, удостоенный Букеровской премии роман «самой английской писательницы» XX века, одна из вершин психологической прозы автора. Герой книги Чарльз Эрроуби, режиссер, немного актер и немного драматург, уходит на покой в зените славы. Он отрекается от волшебства театра, чтобы стать отшельником. Правда, он – отшельник-сибарит и живет не в пещере, а на комфортабельной вилле на берегу моря. Профессионал до мозга костей, Эрроуби и здесь не может отказать себе в удовольствии срежиссировать жизнь окружающих его людей в прекрасных декорациях морского пейзажа.

«Море, море» – роман о море страстей человеческих.

Айрис Мердок
Море, море

Iris Murdoch
THE SEA, THE SEA

Copyright © Iris Murdoch, 1978
© М. Лорие (наследник), перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

Предыстория

Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту оно окрашено в пурпур, прочерченный изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса посветлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно-матовая. Здесь север, и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебряные блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует. Но небо какое-то холодное, даже солнце какое-то холодное.

Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как

произошло нечто до того немыслимое, до того страшное, что и сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало времени и я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя и голова прояснится.

Я сказал — мемуары. Вот во что, значит, выльются эти записи? Там видно будет. Пока что, в возрасте одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше, какой это был бы документ! А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди — ничего, кроме «воспоминаний на покое». Исповедь себялюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли.

Театр — вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блестках, канувшие без следа пантомимы! Теперь я отрекусь от волшебства и стану отшельником; поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать: мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалею ли я о том, что

для меня эта пора не наступила раньше?

Писать необходимо, это-то ясно, и притом совсем не так, как я писал прежде. Все написанное мною прежде были однодневки, на большее я и не претендовал. Эти же мои записи — для потомства, они не могут не надеяться, что пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, libellum[1], творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, — для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть.

Я и подумывал вести дневник — не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои pensées[2], на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений. Теперь мне снова кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинами моря я мог бы заполнить целый том. И систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хватит прилежания, это могло бы представить известный интерес, хоть я

---

[1] Примечания: 1
Книга, книжечка *(лат.)*.

[2] Примечания: 2
Размышления, думы *(фр.)*.

и не Уайт из Селборна[3]. Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами, каким-то чудом выросшими на моих желтых скалах…

Только не надо пытаться писать «красиво», это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете.

О благословенное северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами, не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа!

Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел.

Конечно же, нет смысла четко разграничивать «мемуары», «дневник», «философский журнал». Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой жизни, и о моем «мировоззрении». Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так бестревожно (ведь все тревоги остались позади) я и обрету

[3] Примечания: 3

Гилберт Уайт (1720–1793) — английский священник, почти всю жизнь проживший в своем родном городке Селборн, в графстве Гемпшир, где написал книги «Естественная история и древности Селборна», «Календарь натуралиста» и др. В 1885 году в память его было основано Селборнское общество охраны птиц и растений. — *Здесь и далее примеч. перев.*

свой «литературный жанр». Во всяком случае, к чему решать заранее? Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать? Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошедшее?

Покаяться в эгоизме. Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели? Но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало наконец время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство — будто никогда еще о себе и не думал — возникло у человека, которого популярная пресса заклеймила как «тирана», «деспота» и (если память мне не изменяет) «чудовище властолюбия». Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности.

И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал однодневки, мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную

книгу.

Сейчас, вероятно, самое время представиться… прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком будущем, «оратор достаточно знаком», как говорят на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, — не очень долго, но все же. Да, да, я — Чарльз Эрроуби, и сейчас мне, скажем так, за шестьдесят. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, я — это именно я, широко известная фигура в блестках непрочной славы. Я уже давно решил, что после шестидесяти лет уйду из театра. («Ты никогда не уйдешь, — сказал мне Уилфрид. — Просто не сможешь». Он ошибся.) Я устал от театра, с меня хватит. Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал, — Сидни, Перегрин, Фрицци, да и Уилфрид и Клемент, когда были живы. И дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться «на гребне волны». (Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди!) Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест.

«Ладно, уходи, — говорили они, — но не вооб-

ражай, что сможешь вернуться». А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. «Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». (Это высказался Сидни.) А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым.

Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру «неодобрительно», как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать, утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне, но может и уйти, если не дождется от меня внимания; нечто, не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от нее — и тем равноценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей, которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, море — моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой мою драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит! А я, признаться, и сам толком не понимаю, что хотел сказать. Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления.

Все это я записывал в течение нескольких дней — чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я

столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желания сделать эту мечту явью.

Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим «утесом», хотя он даже во время отлива не выше двадцати футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд она словно обволакивает тело теплой серебряной кожей, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в четырнадцать лет.

Я — бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно, даже при такой слабой зыби, оказалось выбраться обратно на берег. Мой «утес» чуть круче, чем нужно, а выступы — чуть у́же. Легкие волны дразнили меня — приподни-

мали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее — подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостясь боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.

С самого приезда сюда я позволяю себе удовольствие купаться нагишом. По счастью, этот скалистый участок берега не привлекает туристов с их «ребятишками». Здесь нет ни намека на какой-либо песчаный пляж. Кто-то, я слышал, сказал, что берег здесь ни к черту. Подольше бы за ним держалась такая репутация! Скалы, что тянутся в обе стороны от моего дома, и впрямь не живописны. Они песочно-желтого цвета, в веснушках кристаллов, навалены огромными бесформенными грудами. Ниже линии прилива они обвешаны фестонами блестящих, колючих

темно-бурых водорослей с неприятным запахом. Однако для тех, кто поднимется выше, они таят великое множество радостей. Там попадаются маленькие узкие ущелья, и в них — где озерко, где миниатюрная осыпь из поразительно разнообразных и красивых камней. Есть там и цветы, ухитрившиеся пустить корни в расщелинах: розовая армерия и бледно-лиловый просвирник, что-то вроде ползучего белого морского горицвета и сине-зеленое растение с листьями как у капусты, и камнеломка, такая крошечная, что ее листья и цветы почти не видны невооруженным глазом. Надо будет разыскать мою лупу и рассмотреть ее как следует.

А еще для этого участка берега характерно, что тут и там вода промыла в скалах ямы. Гротами их не назовешь, много чести, но, если смотреть на них снизу, из воды, выглядят они интересно и немного зловеще. В одном месте, совсем близко от моего дома, вода построила из скал горбатый мост, под которым она с грохотом врывается в глубокую, с отвесными краями впадину. Мне почему-то очень нравится стоять на этом мосту и глядеть, как вспененные волны, кидаясь вперед и отступая, рождают в этой замкнутой каменной яме неистовое противоборство сил.

Вот и еще день прошел. Погода держится прекрасная. С самого приезда сюда я не получил ни одного письма. Моя бывшая секретарша мисс Кауфман по доброте своей оставляет в Лондоне быстро мелеющий поток моей деловой корреспонденции. Да и от кого мне хотелось бы получить письмо? Разве что от Лиззи, а она, вероятно, на гастролях.

Я продолжаю обследовать скалы по пути к моей башне. Да, ведь я теперь владелец не только дома и скал, но и полуразрушенной башни мартелло. От нее, увы, остался один остов. Хорошо бы восстановить ее, устроить внутри винтовую лестницу, а наверху — комнату для занятий, но я, вопреки распространенному мнению, не богат. Мой дом у моря поглотил почти все мои сбережения. Правда, у меня хорошая пенсия — этим я обязан практическому складу ума милой Клемент. Но нужно экономить. Возле башни меня порадовала археологическая находка, свидетельствующая, между прочим, о том, что не только мне было трудно выбираться из этого моря. В потайной бухточке под башней, невидимые кроме как прямо сверху, в скале вырублены несколько ступенек, спускающихся в воду, а над ними укреплен железный поручень. К несчастью,

нижний конец поручня отломился, а скользкие ступеньки при сильной волне бесполезны, особенно во время отлива. Волны попросту сбивают вас с ног. Прямо-таки поражаешься, какую упорную, молчаливую силищу способно проявить мое шаловливое море! Но самая идея превосходна. Поручень надо надставить. И заодно мне пришло в голову, что, если в стену моего «утеса» забить несколько костылей, это будут отличные точки опоры для рук и для ног, чтобы выбираться из воды независимо от прилива. Надо разузнать в деревне насчет рабочих.

Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал, не одеваясь, на траве возле башни с ощущением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибивать к ней дощечку «Частное владение». Этот лужок возле башни — единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки позади дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая, образует как бы плотные круглые коврики, крепкие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валериана, а густо-фиолетовые цветы тимьяна глядят из травы и

цепляются за скалы подальше от берега. Их, как и ту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было десять лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них, и мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы очертя голову не увлекся театром?

По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной и любопытной жизнью! Нужно купить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требований, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось — я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нем.

Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда, одно другого вкуснее: горячие гренки с паштетом из анчоусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским

маслом. (Самое лучшее, не безвкусное прованское масло — это очень существенно, я привез с собой запас из Лондона.) Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке (до нее мили две, приятная прогулка) его не оказалось. (На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню.) Затем бананы и сливки с сахарной пудрой (бананы резать, ни в коем случае не разминать, сливки негустые). Затем крекеры с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю, наши сыры — лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных «подвалов». Я пил и ел медленно, как и следует («готовить быстро, есть не спеша»), не отвлекаясь, благодарение богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли — все это важно, но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром, и да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода.

Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу

— «В четыре минуты. Поваренная книга Чарльза Эрроуби»? Четыре минуты — это, разумеется, время активной стряпни; время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых быстрых кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике «пятнадцать минут» означают полчаса, и там содержатся такие указания, как «слегка взбить мутовкой». А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга, наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а возможно, и не знают, что это такое. Но они — гедонисты. Как известно любому сознательному себялюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих (не во всех) других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение. Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое, с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? (Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами.) Один из секретов счастливой жизни — непрерывно доставлять себе мелкие

наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени — тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша, но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют (в особенности то, как широко я пользуюсь консервами); и, уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они (главным образом женщины — Жанна, Дорис, Розмэри, Лиззи) словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», — бестактно уверяли они. «Обеды у Чарльза — это просто пикники», — заметила как-то Рита Гиббонс. Вот именно, хорошие, замечательные пикники. Но добавлю к слову, что у меня гости сидят за столом, *никогда* не держат тарелку на коленях и *всегда* к их услугам салфетки, настоящие, а не бумажные.

Пища — тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готови-

ла «просто, но вкусно», однако ей недоставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю в еде превыше всего. Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивели излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую и далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкусить простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренков с маслом, а если угодно, еще и с селедочным паштетом! Или вареный репчатый лук и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы. А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком — это ли не блюдо для королей! Но и тут находились люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. (Один журналист окрестил

мои обеды «Ветер в ивах»[4].) А иные так всерьез на меня обижались.

Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих *haute cuisine*[5], мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленна прежде всего сама трата времени, хотя есть, очевидно, несчастные женщины, которым нечем себя занять, кроме как стряпней. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше «творческого» элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша; но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель, очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя нипочем не сознались бы в этом. Большинство

---

[4] Примечания: 4

«Ветер в ветлах» — роман для детей (1908) английского писателя Кеннета Грэма, одно время пользовавшийся огромной популярностью.

[5] Примечания: 5

Высокая кухня *(фр.).*

моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед (оставляя половину на тарелках) в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом, — тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских «приличиях», а не подлинным инстинктом гостеприимства. Haute cuisine даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не смущают, а еще лучше, конечно, в одиночестве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы.

После этой тирады описание дома придется,

пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я (как читатель уже мог убедиться) не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса и любители бифштексов наводят на меня ужас. Но некоторые продукты (например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба) занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без них мне бы не хотелось; здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него.

Теперь-то я наконец опишу мой дом. Называется он Шрафф-Энд. Энд — конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Какой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шрафф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних (пока весьма немногочисленных) знакомых — у владелицы лавки и хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что «Шрафф» означает «черный». (*Shruff — schwarz*? Едва ли.) Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некой «старой леди» по имени миссис Чорни, но лично

с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сыро, стоит он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются (в Америке мне случалось жить и без этих удобств), но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе. Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», — сказал он. Что правда, то правда.

Местоположение его пленяет сердце, хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь! С тех пор как я здесь живу (то есть уже больше месяца), погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверх-

ности. Из обращенных к морю верхних окон (где я сейчас сижу) видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно — только прибрежные скалы слоноподобной формы и размеров. С черного хода, из кухни, попадаешь на маленькую, окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалявшейся до плотности кактуса травой. Лужайку эту я оставлю в ведении природы — я не садовник (до сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли). А природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним — каменное корытце, в которое я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции; так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни.

От парадной двери дома по высокой каменной дамбе, своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый «приморским шоссе». Оно гудронировано, но посередине сквозь гудрон пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни: я так и не научился водить машину, не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди, обычно женщины,

жаждущие отвезти меня, куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках — надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты; здесь оправой им служит жесткая пружинистая трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадаются (посеянные человеком или природой?) жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим «цветником» местность становится более ровной и пустынной — только утесник, да вереск, да кое-где предательские «окна», источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полутора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье — ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет.

Приморское шоссе, если свернуть по нему вправо, ныряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в трех-четырех милях от моего дома, имеется заведение под вывеской «Отель „Ворон“», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Сама бухта очень красива в ожерелье из больших, необычной формы, почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее Воронова бухта, по названию отеля, но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор» (бухта Шор — Береговая? Почему бы?). Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятное узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом[6]. Путь прорублен в обнаженных скалах, которые в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем — крошечный каменистый пляж, единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка

[6] Примечания: 6

Хайберский проход — ущелье длиной 53 км в Сулеймановых горах в Афганистане. По его дну протекает река Кабул. Во время многочисленных попыток Британской империи проникнуть в Афганистан путь английских войск проходил по этому ущелью.

ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал — чудо строительного искусства — уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбачьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее: иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Дальше, за гаванью, в скалах выбиты длинные покатые ступени, это так называемое дамское купанье. Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. (Местные жители почти не купаются, это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия.) Надо сказать, что «дамское купанье» так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в проселок (к сожалению, проходимый для автомобилей) и лезет вверх, в дикую местность, которую я еще не успел обследовать, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами. А гудрон сворачивает прочь от моря — в деревню и дальше.

Деревня называется Нарроудин, о чем опове-

щает надпись на красивом каменном указателе у поворота приморского шоссе. Нарроудин — это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс», нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один — «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня, но интересно в архитектурном отношении только одно здание — церковь, отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба здесь бывает, правда — всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревушки дальше от моря, за фермой Аморн, там местность не такая суровая и есть пастбища для овец. В Нарроудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы; впрочем, в мои планы и не входило водить знакомство с пастором и с помещиком! Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как «интеллектуалы», которых в наши дни рискуешь встретить где

угодно. Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное cimetière marin[7], свидетельство того, что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробие особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись: «Молчун. 1879–1918». Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали. Бедняга.

А теперь вернемся в Шрафф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом — кирпичный, «двухфасадный», с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем. Кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один, на этом диком берегу, он, без сомнения, выглядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упрочненной

[7] Примечания: 7

Кладбище для моряков *(фр.).* Слова эти даны по-французски по ассоциации с поэмой Поля Валери «Морское кладбище».

штукатуркой, очевидно для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во всех комнатах — целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, с шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри в занавешенной шторами комнате желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире.

Одну из комнат нижнего этажа я называю «книжной» (там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные), другую — столовой (там я держу вино). Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху — в спальне и в гостиной, как я решил ее именовать, внизу — в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате, которую я называю «красной». Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой

вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет, для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишащая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него повеяло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, конечно, потребовать заключение инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный звонок — длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне.

Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этаже есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху — из гостиной, внизу — из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты — очень темные и совершенно пустые, в нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней — столик, и там же на стене затейливый чугунный

кронштейн для лампы, единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще небогатая, и своих вещей я привез очень мало. (Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду!) Эта пустота меня вполне устраивает; в отличие от Джеймса, я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я ни сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то у места. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, а почти все остальное перевез в крошечный pied-à-terre[8] в Шепердс-Буше, свалил там кое-как и запер на ключ. Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне; это меня друзья уговорили.

Я сказал: друзья, а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в те-

---

[8] Примечания: 8
Временное пристанище *(фр.)*.

атре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули: Клемент Мэйкин умерла, Уилфрид Даннинг умер. Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио, Фрицци Айтель погиб — процветает в Калифорнии. Остались единицы: Перри, Алоиз, Маркус, Гилберт, считаные женщины… Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный, какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства.

Писем все нет.

Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны, темно-синие, с белыми гребешками.

Я отправился собирать пла́вник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбраться из воды

— пляж поднимается ступенями, и волны упорно смывали с них камни, прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный и забыл прихватить дрова, которые успел собрать.

Сейчас я уже подкрепился (чечевичный суп, потом колбаски чиполата с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем; вино — легкое бургундское) и чувствую себя лучше. (Свежие абрикосы, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, — божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов — абрикос.)

Пойти вздремнуть.

Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный, весь в пятнах, прекрасный стол палисандрового дерева, некогда собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на

нем бумаги и книги. Окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, этакие вертолетики. Ламп в доме всего четыре, в полной исправности и тоже из собрания Чорни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с Фрицци. А вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало, я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил.

Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашенной в черное деревянной отделкой — множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземпляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты (есть в нем что-то растительное, на восточный лад).

Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный

свет — извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь: с тех пор как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. («Родился я на заре нового века, в городе…» — ну и так далее.) Для связного рассказа о моей жизни найдется и время и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одного только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том.

Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывают в тумане. В прихожей темно и нет ничего интересного, кроме большого овального зеркала, о котором упоминалось выше. (Этот изящный предмет обстановки как бы излучает собственный свет.) Лестница не вызывает во мне теплых чувств. (По лестницам всегда бродят призраки прошлого.) С поворота ее несколько узких ступенек ведут вбок, в неожиданно большую ванную,

обращенную к шоссе, а оттуда, пройдя через низенькую дверцу, можно подняться выше, на чердак. В ванной сохранились хорошие изразцы с изображениями лилий на изогнутых стеблях и лебедей. Стоит там огромная, сильно запущенная ванна на львиных лапах, с массивными медными кранами. (Но греть для нее воду негде! Реальнее, видимо, ориентироваться на сидячую ванну, которую я обнаружил внизу в чулане.) Висит там еще инструкция, писанная не английским почерком, относительно того, как спускать воду. Главная лестница после поворота выводит на просторы верхней площадки. Я сказал «просторы», потому что там и правда много места и царит свое особенное настроение. Как на сцене перед началом действия. Иногда мне кажется, что когда-то давно я видел ее во сне. Это большое продолговатое помещение без окон, днем свет попадает туда из открытых дверей, а украшает его, как раз напротив двери во внутреннюю комнату, крепкая дубовая подставка, на которой высится большущая, на редкость безобразная зеленая ваза с широким гофрированным горлом и сыпью розовых роз на толстых боках. Я сильно привязался к этому грубо сработанному изделию. Рядом с вазой — неглубокая ниша в стене, словно

бы предназначенная для статуи, но за неимением оной похожая на дверь. А дальше — самое интригующее, что есть на этой площадке, — арка с занавеской из бус. В странах Средиземноморья примерно такие занавески вешают на дверях магазинов для защиты от мух. Бусы желтые и черные, выточены из дерева и слегка пощелкивают, когда раздвигаешь их, чтобы пройти. За аркой — двери в спальню и в гостиную.

Пора ложиться спать. За спиной у меня прорезанное высоко в стене, вытянутое в ширину окно во внутреннюю комнату. Вставая из-за стола, я невольно смотрю в ту сторону и вижу свое отражение в черном стекле, как в зеркале. Меня никогда не терзали ночные страхи. В детстве, сколько помнится, я никогда не боялся темноты. Мать всегда внушала мне, что боязнь темноты — суеверие, которого богобоязненные люди не признают. А Бог как защита и не был мне нужен. Защитой от любого ужаса были для меня родители. И в Шрафф-Энде я ничего жуткого не нахожу. Дело не в том. Просто я только что сообразил, что впервые в жизни остаюсь по ночам совсем один. Родительский дом, актерские меблирашки в провинции, квартиры в Лондоне, отели, временные жилища во многих столицах: всегда я жил в

ульях, всегда за стеной были какие-то люди. Даже когда я жил в той хижине (с Фрицци), я никогда не был один. Шрафф-Энд — первый дом, которым я владею, и первое настоящее одиночество, в котором я поселился. Ведь этого я и хотел? Конечно, мой дом, как и всякий дом почтенного возраста, даже в безветренную ночь полон тихих скрипов и шорохов, и по нему гуляют сквозняки от рассохшихся оконных рам и плохо пригнанных дверей. Так что, лежа ночью в постели, я без труда могу вообразить, что слышу осторожные шаги на чердаке у себя над головой или что занавеска из бус тихо постукивает, потому что кто-то украдкой прошмыгнул сквозь нее.

Вероятно, я выбрал не самый подходящий момент, на ночь глядя, чтобы писать об этом переживании, но очень уж ярко оно вспыхнуло вдруг у меня в мозгу. Мой гипотетический читатель, возможно, недоумевает, почему я больше не упоминал о чем-то «немыслимом и страшном», что я пережил здесь у моря и не решился описать. Может показаться, что я забыл об этом, и в каком-то смысле я действительно об этом забыл, что подтверждает одну из возможных разгадок этого явления. Теперь я попробую его описать.

Я сидел на скалах над своим утесом, положив

эту тетрадь рядом с собой, и смотрел вдаль, на море. Светило солнце, море было спокойно. (Как сказано в записи, с которой начинается эта тетрадь.) Незадолго перед тем я пристально всматривался в озерко среди скал и наблюдал за длиннющим красноватым, с редкими щетинками морским червем, пока он не свился причудливыми кольцами и не исчез в глубине. Я разогнул спину и уселся лицом к морю, помаргивая от солнца. И тут, не сразу, а минуты через две, когда глаза приспособились к яркому свету, я увидел, как *из моря поднялось чудовище*.

Иначе я не могу это выразить. На моих глазах из совершенно спокойного, пустого моря за четверть мили от меня (или даже ближе). Какое-то гигантское существо разбило водную гладь и дугой выгнулось кверху. Сперва оно было похоже на черную змею, потом за длинной шеей последовало продолговатое толстобокое туловище с хребтом из острых шипов. Мелькнул не то ласт, не то плавник. Целиком оно не было мне видно, но нижняя часть его тела или, может быть, длинный хвост вспенил воду под тем, что теперь поднялось из воды на высоту, как мне показалось, двадцати-тридцати футов. Потом это создание свернулось кольцами, длинная шея описала два

витка, и голова, теперь явственно различимая, очутилась низко над поверхностью моря. Сквозь кольца было видно небо. И голова была видна совершенно отчетливо — змеиная голова с гребнем, с зелеными глазами и раскрытой пастью, зубастой и розовой. Голова и спина отливали синим. А потом все это мгновенно рухнуло — кольца упали, спина еще с минуту резала зигзагами воду, потом не осталось ничего, только огромная вспененная воронка там, где исчезло чудовище.

Сраженный ужасом, я сначала не мог пошевелиться. Я хотел спастись бегством. Больше всего меня страшило, что чудовище появится снова, ближе к берегу — может быть, прямо у моего утеса. Но ноги меня не слушались, а сердце так колотилось, что любое резкое движение могло привести к обмороку. Море снова утихло, больше ничего не произошло. Наконец я встал и медленно пошел к дому. Поднялся в гостиную и посидел, осторожно дыша и держась за сердце. Дойти до моего обычного места у окна я не решился и с полчаса просидел возле столика в глубине комнаты, прислонясь головой к стене, после чего собрался с силами и внес в эту тетрадь вторую запись.

Пока я вот так держался за сердце, дрожал и переводил дыхание, я наконец заставил себя

подумать о том, что же произошло. Способность трезво мыслить и рассуждать, совсем было мне изменившая, постепенно возвращалась. Что-то случилось, а то, что случается, можно как-то объяснить. В голове мелькнуло сразу несколько объяснений, и, когда я начал перебирать их, классифицировать и сопоставлять, я почувствовал некоторое облегчение и невыносимый безотчетный страх отступил. То, что я видел, могло быть «попросту» плодом воображения. Но нет, такого ужаса и в таких подробностях «попросту» не вообразишь. Позже мне показалось многозначительным, что эта тварь не вызвала у меня ни удивления, ни любопытства, а только страх. Страх я испытал неимоверный. Я не алкоголик и, уж во всяком случае, не склонен к безудержным фантазиям. Другая возможность: а что, если я, опять-таки «попросту», видел животное, неизвестное науке? Что ж, это не исключено. Или еще: не было ли то, что я видел, исполинских размеров угрем? А такие угри бывают? А бывает ли, чтобы угорь поднимался из моря, свивался кольцами и держался стоймя в воздухе? Нет, что я, это был не угорь. У этого было толстое туловище, я видел его спину. Да и никакого угря, даже самого гигантского, я не мог принять за эту нечисть, эти

мерзостные кольца на фоне светлого неба.

На каком расстоянии от меня было это чудище и на какую высоту оно поднялось над водой? Я уже стал подозревать, что первое впечатление меня обмануло, хотя по-прежнему был убежден, что видел нечто совершенно невероятное. Всплывшие водоросли, плавник? Эти гипотезы я сразу же отмел. Стоило обдумать еще одну возможность. Ведь как раз перед тем, как увидеть мое гигантское чудовище, я внимательно разглядывал в озерке между скал другое, миниатюрное чудовище, красного червя с щетинками, который при длине в пять-шесть дюймов казался большим, когда извивался в тесном пространстве озерка. Что, если я, повинуясь оптическому обману, какому-то неизвестному науке свойству сетчатки, «спроецировал» облик червя на поверхность моря? Идея интересная, но абсолютно неправдоподобная, поскольку красный червь был совсем не похож на иссиня-черное чудище, если не считать того, что оба они свивались в кольца. Да я никогда и не слышал о таких оптических фокусах. И еще меня смущало то обстоятельство, что помнил я это чудище очень отчетливо, зрительное впечатление оставалось подробным и четким, а вот расстояние, разделяв-

шее нас, я представлял себе все более смутно.

Разгадка, которая сейчас кажется мне наиболее вероятной (еще неизвестно, останусь ли я при этом мнении), состоит в следующем, хотя признать это мне немного стыдно. Я не алкоголик и не наркоман. Крепких напитков почти не употребляю, гашиш курил в Америке лишь изредка. Но один раз, несколько лет назад, я сдуру вкатил себе дозу ЛСД. (Сделал я это в угоду одной женщине.) Последствия были скверные, очень скверные. Не буду и пытаться описать свои тогдашние переживания, отвратительные и не делающие мне чести. (Скажу только, что в них фигурировали внутренности.) Очень трудно, почти невозможно было бы выразить это словами. Это было что-то гнусное в моральном, духовном плане, словно твои зловонные кишки вышли наружу и заполнили собой вселенную: какая-то эманация темного, полуосознанного морального зла, от которого не будет спасенья. «Неотторжимо» — помню, это слово возникло тогда в связи с моими ощущениями. Зрительные образы в моих видениях были до ужаса четкими и как бы властными, они и сейчас встают передо мной, и писать о них я не хочу. Больше я, разумеется, к ЛСД не прикасался. Позднейших последствий я избежал

и через какое-то время стал, по счастью, забывать об этом, забывать совсем по-особенному, как забываешь сны. И все же, может быть, позволительно, даже неглупо предположить, что морское чудище, которое я «видел», было галлюцинацией, частично вызванной и тем единственным случаем, когда я, как идиот, испробовал этот мерзкий наркотик.

Правда, морское чудище было совсем не похоже на то, что мне мерещилось тогда в галлюцинациях, как не было оно похоже и на красного червя в озерке. Но ощущение ужаса было того же порядка, так, по крайней мере, мне стало казаться очень скоро после того, как это случилось. И процесс забывания, как мне теперь кажется, был оба раза одного порядка. Мне говорили, что такие галлюцинации иногда повторяются спустя много времени. Читатель, остерегись! Должен, впрочем, сознаться, что сейчас, когда я об этом размышляю, самым сильным аргументом в пользу этого последнего объяснения является то, что все остальные абсолютно неприемлемы.

Опять началось сердцебиение. Надо ложиться. Следовало, пожалуй, отложить этот рассказ до завтра.

Приму снотворное.

Прошло два дня. Спал я хорошо, после того как все записал о своем «чудовище», и мое объяснение пока еще кажется мне правильным. Как бы там ни было, воспоминание теряет четкость, и чувство ужаса исчезло. Пожалуй, мне даже пошло на пользу, что я это записал. Я уже решил, что «шаги» на чердаке — просто крысы. Погода и сегодня солнечная. Писем все нет.

Я опять купался с каменистого пляжика и, хотя море было довольно спокойное, опять злился на то, как трудно из него вылезать. Пришлось лезть круто вверх, галька под ногой осыпалась и сползала вниз, а волны одна за другой окатывали меня сзади. Наглотался воды и порезал ногу. Нашел забытую в тот раз охапку плавника и принес домой. Сильно прозяб, но слишком устал, чтобы возиться с сидячей ванной, тяжелая она, как чугунная. А таскать горячую воду наверх в ванную — нестоящее занятие.

Мне пришло в голову, что, если к железному поручню у башни привязать веревку, там можно будет пользоваться ступеньками и при сильном волнении; а если найти, к чему привязать веревку на моем «утесе», чтобы она свешивалась до самой воды, то и там вылезать было бы нетрудно. Надо узнать, продается ли в здешней лавке

толстая веревка. И еще узнать, где можно купить баллоны с газом.

Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире. (Вот я, оказывается, и начал свою автобиографию, и какое отличное начало! Я знал, что так оно и будет, надо только дождаться.) Дом его назывался Шакстон. Мне казалось, что это очень аристократично — иметь дом с названием. Кем был мой дед с материнской стороны, не знаю, он умер, когда я был еще совсем маленький. Кажется, он «служил в конторе», как позднее и мой отец. Был, очевидно, каким-нибудь клерком, и отец мой тоже, но в доме у нас слово «клерк» не употреблялось. У моего деда с отцовской стороны было два сына: Адам и Авель. Мне никогда не казалось, что он наделен богатым воображением, но в этих именах слышится что-то от поэзии. Мне с раннего детства было ясно, что мой дядя (Авель) пользуется большей любовью и достиг бóльших успехов, чем мой отец (Адам). Каким образом ребенок замечает такие вещи или, вернее, почему они так заметны, так очевидны для ребенка? Наверное, он, подобно собаке, читает знаки, ставшие невидимыми за условностями взрослого мира, так что взрослые в своей жизни, сотканной из лжи, не обращают на них внимания. Что мой

отец (старший сын) — безнадежный неудачник, я знал еще до того, как узнал значение этого слова, до того, как узнал что бы то ни было о деньгах, общественном положении, власти, славе, любой из вожделенных наград, которые, принимая самые разнообразные формы, превратили мою жизнь в ту пляску дервишей, что теперь, надо надеяться, кончилась. Но когда я говорю, что мой милый отец был неудачником, я имею в виду только грубый, житейский смысл этого слова. Он был умный и добрый человек, с чистым сердцем.

Родители моей матери жили в Карлайле, я их почти не знал. Ее сестры запомнились как две бледные «тетечки», тоже в Карлайле. Моя бабка, мать отца, рано умерла и в моих воспоминаниях о Шакстоне фигурирует как фотография. Да и от деда, которого я боялся и не любил, запомнились только высокие сапоги и громкий голос. Адам и Авель — вот кто заполнял мой детский мир, властвуя над ним, как боги-близнецы. Мать была отдельной силой, всегда отдельной. И еще, разумеется, был мой кузен Джеймс, как и я — единственный ребенок.

Пути братьев разошлись. Отца занесло в Уорикшир, где он стал служить в «местном управлении». «Занесло»: я вижу его на плоту. Дядя

Авель стал преуспевающим адвокатом и осел в Линкольне, где жил в загородном доме Рамсденс — еще один аристократический дом с названием. Рамсденс был больше, чем Шакстон. Оба этих дома до сих пор мне снятся. Со временем дядя Авель перебрался в Лондон, а Рамсденс сохранил за собой как дачу. Дядя Авель женился на хорошенькой американке, которую звали Эстелла. Помню, моя мать говорила, что она «богатая наследница». Мой отец женился на моей матери, которая работала счетоводом на ферме. Имя ее было Мэриан. Отец звал ее «дева Мэриан»[9]. Она была христианка сурового евангелического толка. Отец, конечно, тоже был христианин, как и я, как и дядя Авель, пока тетя Эстелла не увлекла его в царство света. Я не могу представить себе мою мать как прелестную девушку, как деву Мэриан на лесных тропинках Уорикшира. С самых ранних лет я помню ее лицо как маску озабоченности. Она была сильнее отца. С отцом мы любили, слушались и утешали друг друга тайком. Впрочем, мы все трое любили и утешали друг друга. Но втроем нам было неловко, тоскливо, не по себе.

---

[9] Примечания: 9

Дева Мэриан — возлюбленная Робин Гуда в старинных английских балладах.

Сегодня утром в кухне я насмерть перепугался — мне показалось, что из кладовой вылезает огромный, мясистый паук. На поверку он оказался очень симпатичной жабой. Я с легкостью поймал ее и отнес за шоссе, за скалы, к мшистым болотным окнам. Дальше она не спеша двинулась куда-то сама. И как только выживают такие безобидные, беззащитные твари? Я еще побыл там немного, когда жаба ушла, поглядел на красные мхи и на растения — хвощ, который я помню с юных лет, и этот противный желтый цветок, который ловит мух. Вереска особенно много повыше, дальше от моря, в сторону фермы Аморн. Агент, который продавал мне дом, сказал, что в этих местах можно встретить орхидеи, но я их еще не видел. Может быть, они такой же миф, как тюлени.

Позже я сходил в деревню, купил копченого селедочного филе (беднякам заменяет лососину). Свежей рыбы здесь купить совершенно невозможно, о чем мне с гордостью сообщили все местные жители. Порасспросил я и насчет прачечной, но толком ничего не узнал. Пока я все стираю сам, даже простыни, а сушиться расстилаю их на лужайке. Возможно, буду так делать и дальше. Эти нехитрые занятия дают удивитель-

ное чувство удовлетворения. Забыл записать, что я обнаружил в деревне вторую лавку, вроде скобяной, в переулке позади трактира. Именует она себя «Магазин для рыбаков» и в прошлом, несомненно, торговала рыболовной снастью. Там, как я выяснил сегодня, имеется и керосин, и баллонный газ. Еще я купил там свечей, новую керосиновую лампу и моток толстой веревки. Нагруженный этими трофеями, я по пути домой зашел в «Черный лев». При моем появлении тамошняя распивочная замолкает, а стоит мне выйти, разражается громкими хриплыми комментариями, однако я намерен заглядывать туда и впредь. Пассивная враждебность здешних жителей меня не смущает. Благодаря телевизору они, конечно, знают, кто я такой. Но они старательно разыгрывают безразличие, а может быть, им, при их надменной ограниченности, это и в самом деле безразлично. Возможно, для них я существо нереальное, как нереально и само телевидение. По счастью, никто из них не навязывался мне в друзья.

На второй завтрак я съел селедочное филе, быстро размороженное в кипятке (отчасти эту работу уже выполнило солнце), сдобренное лимонным соком, прованским маслом и чуть припудренное

душистой травкой. Филе из селедки вкуснее, чем копченая лососина, разве что самого высокого качества. К нему — жареная молодая картошка (консервы, свежей еще нет). Картошка для меня — изысканное яство, а не скучное повседневное сопровождение к мясу. Затем гренки с сыром и горячая свекла. Расфасованный хлеб из здешней лавки — отнюдь не шедевр, но в поджаренном виде, с новозеландским маслом, вполне годится в пищу. По счастью, я очень люблю все виды хрустящего скандинавского печенья, которое рекламируют как средство для похудания. (Худеть от него, конечно, не худеют. Кому суждено быть толстым, тот толстеет от любой еды. Для меня-то это никогда не было проблемой.) Теперь, раз я владею землей, надо мне завести огородик. Свежая травка для приправы — это всегда было проблемой на поприще просвещенного едока, которое я для себя избрал. (Мне, конечно, не приходило в голову сеять душистые травки в родительском огороде. Наверно, дети вообще ничего не смыслят в еде.) Но где мне его устроить? Ни ту ни другую мою лужайку мне не хочется вскапывать, к тому же они слишком близко от моря. Если я тайком сам себе выделю участок за шоссе, не разворуют ли мои посевы крестьяне

или какие-нибудь животные? Надо все это обдумать. Счастливые, невинные заботы, так не похожие на былые терзания.

После завтрака я отрезал кусок веревки и привязал к железному поручню у башенных ступенек, теперь она удобно свисает в море, потемнела и колышется в волнах. На конце я завязал узел, чтобы легче было ухватиться. С утесом меня постигла неудача по той простой причине, что на нем не за что закрепить веревку. Скалы слишком гладкие и выпуклые, а до дома веревку не дотянуть — не хватит. Купить кусок подлиннее, привязать к кухонной двери или к столбику у крыльца и каждый вечер втаскивать длинный мокрый конец в кухню? Тоже проблема, не лишенная интереса. Сама веревка — первый сорт, слегка навощенная и пахнет вином под названием «рецина». Говорят, местного производства.

Часть дня я провел, лежа на моем каменном «мосту» между домом и башней и глядя, как волны пролетают подо мной и в приступах ярости разбиваются о дальнюю стену глубокой воронки. Вид кипящей вспененной воды через некоторое время вызвал странное полуобморочное состояние, словно у меня закружилась голова и я туда свалился. Ощущение очень приятное. Немного

обескуражило меня другое: рассматривая цветные открытки в лавке, я убедился, что мой мост и водоворот за ним относятся к местным достопримечательностям. К счастью, открытки были старые, захватанные, и я скупил весь запас за фунт стерлингов и еще получил сдачи. Не желаю я, чтобы какой-нибудь турист стал высматривать здесь «красивые виды». Да и ничего особенного этот мост собой не представляет: всего-навсего обломок скалы с дыркой, а за ним — открытый водоем. В часы прилива вода, прорываясь под мост, грохочет громко и глухо. Надеюсь, это не привлекает туристов. Из надписи на открытках я узнал, что называется это место Миннов Котел. Я спросил у лавочницы, кто был Минн, но она не знает.

Далекий перезвон колоколов напомнил мне, что сегодня воскресенье. Небо стало затягиваться. Я долго смотрел на облака и подумал, что ни разу в жизни со мной этого не бывало, чтобы просто сидеть и смотреть на облака. В детстве я бы счел это пустой тратой времени. И мать не разрешила бы мне сидеть сложа руки. Сейчас я сижу на своей лужайке позади дома, куда я вынес стул, плед, диванную подушку. Вечереет. Толстые, бугристые серо-синие тучи, по краям тоже синие, но посвет-

лее, медленно тянутся по небу грязноватого, но блестящего золота — впечатление как от тусклой позолоты. Над горизонтом поблескивает легкая, чуть зубчатая серебряная полоска, напоминающая современные ювелирные изделия. Море под ней неспокойное, точно живое, золотисто-коричневое в пляшущих белых мазках. Воздух теплый. Еще один счастливый день. (Они спрашивали: «Что ты там будешь делать?»)

В глубине души, не хвалясь, я чувствую, что очень собою доволен.

Прошел еще один день. Я решил не датировать записи, это нарушило бы ощущение непрерывности мыслей. Перечитал начало моей автобиографии! Какие пугающие отзвуки будят мои утверждения о детстве, в которые я почему-то вложил столько уверенности. Я и не думал, что это для меня так важно. Я хотел писать о Клемент. Неужели мне правда хочется описывать мое детство?

Сегодня я не купался. Днем дошел до башенных ступенек, думал выкупаться, но оказалось, что веревка, которую я привязал к поручню, каким-то образом развязалась и уплыла в море. По части узлов я не мастер. Да и веревка, пожалуй, слишком толстая, вязать из такой узлы нелегко. Вероятно,

сподручнее был бы длинный кусок нейлона.

Приуныл, но ужин взбодрил меня: макароны с маслом и сушеным базиликом. (Базилик, вне всякого сомнения, лучшая из душистых травок.) Потом молодая капуста, тушенная на медленном огне, с укропом. Вареный лук с заправкой из муки грубого помола, травки, соевого масла и помидоров, туда же вбить одно яйцо. К этому — два ломтика холодного консервированного мяса. (Мясо, в сущности, всего лишь предлог, чтобы поесть овощей.) Выпил бутылку рецины за здоровье веревки, хоть она того и не заслужила.

Сейчас поздний вечер, я сижу наверху, зажег две лампы — новую и одну из старых. У новой свет не такого прелестного оттенка, но зато она не такая тяжелая. Надо купить еще таких ламп, хотя совсем без свечей я тоже, вероятно, не обойдусь. От миссис Чорни мне досталось штук десять подсвечников, не блещущих красотой, но удобных, и я расставил их, со свечами и спичками, по всему дому, где они могут понадобиться. Запах новой лампы напоминает мне о Фрицци. Продолжу мою автобиографию.

Родился я в Стратфорде-на-Эйвоне, вернее, вблизи этого города, а еще точнее — в Арденском лесу. Я рос в лесистой центральной Англии, так

далеко от моря, как это только возможно на нашем острове. До четырнадцати лет я даже не видел моря. Всей своей жизнью я, конечно, обязан Шекспиру. Не живи я рядом со знаменитым театром, именно с этим знаменитым театром, я вообще не увидел бы ни одного спектакля. Родители мои никогда не ходили в театр, более того — мать решительно его не одобряла. Свободных денег для «выездов в свет» в доме вообще было мало, и мы никуда не выезжали. В ресторане я побывал в первый раз, уже когда окончил школу. В отель в первый раз вошел и того позднее. На летние каникулы мы уезжали в Шакстон, или в Рамсденс, или на ферму, где мать раньше работала счетоводом. Я и вообще не попал бы в театр, если бы мы не проходили Шекспира в школе. Один из наших учителей был помешан на Шекспире. Этот человек тоже определил мою дальнейшую жизнь. Звали его мистер Макдауэл. Он часто водил нас в театр, мы пересмотрели все пьесы. Иногда он платил за меня. И конечно, мы сами ставили спектакли. Мистер Макдауэл бредил театром, это был несостоявшийся актер. Я стал его последователем и любимцем. (Это он возил меня и еще нескольких мальчиков на неделю в Уэльс, к морю. Вероятно, то была одна

из счастливейших и самых значительных недель в моей жизни. «Счастливый» — не то слово. Я все время пребывал в каком-то радостном безумии.) Моя мать не препятствовала походам в театр, потому что они «входили в школьную программу». Я даже хитрил: притворялся, что мне это не очень интересно, просто нужно для экзамена. Скверный лгунишка. Я блаженствовал. Отец знал, но мы нипочем не признались бы друг другу, что обманываем мою мать.

Отец был человек тихий, книжный и самый, кажется, незлобивый из всех, кого я знал в жизни. Я не хочу этим сказать, что он был робок, хотя робок он, вероятно, тоже был. Незлобивость же определяла весь его нравственный облик. Вижу, словно это было вчера, как он, со своей всегдашней нервной улыбкой, нагибается, подбирает на бумажку паука и осторожно препровождает его за окно либо в какой-нибудь безопасный уголок в доме. Я был его товарищем, мы играли, читали; может быть, только со мной он вел иногда серьезные разговоры. Я всегда чувствовал, что мы с ним заодно, что все самое интересное у нас с ним общее. Мы читали те же книги и обсуждали их: детские книжки, приключения, позже — романы, исторические сочинения, биографии,

стихи, Шекспира. Нас всегда тянуло друг к другу, всегда хотелось быть вместе. Вот она, проверка: это сильнее, чем преданность, восхищение, страсть. Если тебе все время нужно, чтобы человек был рядом, это и есть любовь. Позже я, помнится, часто думал, что никто не знает, до чего мой отец добрый; сомневаюсь, чтобы даже мать это знала. Мать я, конечно, тоже любил, но в ней была какая-то жесткая сердцевина, а в отце нет. Она верила в справедливого Бога. Как знать, возможно, эта вера поддерживала ее, когда она чувствовала, что жизнь не оправдала ее надежд.

Беда моих родителей, по крайней мере с моей точки зрения, состояла в том, что они никуда не хотели ездить и ничего не хотели предпринимать. Мать считала излишним куда-либо ездить и что-либо предпринимать отчасти потому, что это было связано с расходами, отчасти же потому, что на любом новом пути нас могли подстерегать суетные соблазны. Отец не хотел никуда ездить и ничего не хотел предпринимать отчасти потому, что мать этого не одобряла, отчасти же из робости и некоторой врожденной вялости характера. Из моих слов может сложиться впечатление, будто отец у меня был меланхолик, но это не так. Он ценил радости простой жизни, умел предвкушать

маленькие праздники. Свою скучную канцелярскую работу он, я уверен, выполнял на совесть, а в мелкие хозяйственные дела вкладывал всю душу. Его любимым чтением, помимо того, что он считал полезным для меня, были романы и приключения. Помню, как он, уже смертельно больной, читал «Остров сокровищ» с лупой. Мать и меня он любил и лелеял. И этим был очерчен его мир. Его не интересовала ни политика, ни путешествия, ни какие бы то ни было развлечения, ни даже искусство, если не считать литературы. У него не было друзей (кроме меня). Своего брата Авеля он любил, но сильно ли — в этом я никогда не был уверен. С моим кузеном Джеймсом он был в прохладных отношениях, потому что видел в нем моего соперника. Тети Эстеллы он стеснялся. Моя мать терпеть их всех не могла, однако держалась безупречно.

В театр я пошел, разумеется, ради Шекспира. Те, кто впоследствии знал меня как постановщика шекспировских спектаклей, и представить себе не могли, как властно этот бог с самого начала направлял мои шаги. Были у меня, конечно, и другие мотивы. От простой и безгрешной жизни родителей, от неподвижности и тишины нашего дома я бежал к фантасмагории и магии искусства.

Я жаждал блеска, движения, акробатики, шума. Я изобретал летательные машины, ставил дуэли, я всегда, как отмечали мои критики, чрезмерно, словно ребенок, увлекался сценическими трюками. И сам я потому стал актером — это я тоже понимал с самого начала, — что мне хотелось развлечь не только себя, но и отца. Едва ли он понимал театр или научился понимать его под моим восторженным руководством. Извлекать из театра радость для себя — это мне удавалось потом всю жизнь, почти непрерывно. Далеко не таким успехом увенчались мои попытки убедить родителей получать удовольствие. В последующие годы я возил их в Париж, в Венецию, в Афины. Им везде было неуютно, неспокойно, они рвались домой; впрочем, впоследствии мысль, что они там побывали, возможно, и доставляла им какое-то удовлетворение. Им действительно только того и было нужно, что оставаться в своем доме, в своем саду. Есть такие люди. Я был тихим, послушным, привязчивым мальчиком; но я знал, что предстоит великий бой, и хотел победить, и победить быстро. Я так и сделал. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец задумал дать мне университетское образование. Мать тоже этого хотела, хоть и боялась расходов. А я вместо

этого поступил в театральное училище в Лондоне. (Мне дали стипендию. Мистер Макдауэл не зря потрудился.) Идти наперекор отцу мне было невыразимо тяжело. Но ждать я не мог. Мать была в ужасе. Театр она считала притоном разврата (и была права). И еще она была уверена, что я не добьюсь успеха и вернусь домой нищим. (Она презирала людей, неспособных себя прокормить.) В этом она ошиблась и с годами все-таки прониклась уважением к моей способности наживать деньги. Театр с тех самых пор стал моим домом; даже во время войны я был актером, врачи нашли у меня затемнение в легком (оно вскоре затем прошло), и в армию меня не взяли. Впоследствии я об этом жалел.

— Мистер Аркрайт, вы когда-нибудь видели в этих краях очень крупных угрей?

Прямая речь. Я записал то, что сказал сегодня утром в «Черном льве», куда зашел купить местного сидра. Сидр, к сожалению, оказался слишком сладкий, а скромный запас вина, который я привез с собой, подходит к концу. «Черный лев», конечно, о легких винах слыхом не слыхал, но в отеле «Ворон» продают «настоящее вино», так мне сказала всезнающая владелица лавки.

Фамилия Аркрайта, хозяина «Черного льва»,

вызывает неприятные воспоминания о шофере с той же фамилией, который одно время служил у меня в годы моей славы и люто меня ненавидел. Просто удивительно, какого накала достигают порой отношения между шофером и тем, у кого он состоит в услужении. Аркрайт из «Черного льва» и сам по себе малоприятный тип. Это огромный детина с длинными черными волосами и черными баками, этакий наглый кондуктор омнибуса Викторианской эпохи. Когда в распивочной меня пробуют разыграть, он в этом деле первый заводила. Теперь он делает вид, будто не понял моего вопроса. Угрей? Очень крупных? В этих краях? И спрашивает: «То есть, значит, на суше?» — «Это он про червей», — поясняет один из посетителей. Посетители почти всегда одни и те же, надо полагать — бывшие батраки. Женщин, конечно, нет. «Да не на суше, а в море». Все сокрушенно качают головой. Слышится голос: «А в море-то их разве увидишь? Они же под водой». Другой голос добавляет мрачно: «Какой от них прок, от угрей?» Тема как будто исчерпана. Я отправляюсь домой, прихватив ненужный мне сидр, купленный только из вежливости.

Одной удачей я все же могу похвалиться. В маленькой комнате наверху (с видом на шоссе,

с того боку, где внутренняя комната и гостиная) висели занавески из крепкой бумажной ткани. (Добавлю, что с другого боку этому окну соответствует окно ванной.) Так вот, одну из этих занавесок я разрезал вдоль, связал половинки концами и эту «веревку» привязал к железному поручню, благодаря чему отлично выкупался с башенных ступенек сегодня утром, во время отлива и при довольно сильной волне. На второй завтрак сосиски с омлетом, жареными помидорами и чуточкой чеснока, потом готовая коврижка, которую я сбрызнул лимонным соком и залил йогуртом и сметаной. Запил сидром, чтобы не пропадал. Поев, начал выкладывать вокруг моей лужайки бордюр из красивых камней, которых собрал уже довольно много. Сам еще не знаю, нелепо это будет выглядеть или нет. День сегодня облачный, ветер прохладный, над морем разлит странный прозрачный полумрак кофейного цвета. К вечеру — обычный парад облаков. Светлые золотисто-коричневые облачные утесы и башни величественно взмывают ввысь, и толстые их бока подсвечены чистым золотом. Пробовал растопить плавником камин в красной комнате, но он опять дымил.

Начал наводить в доме чистоту и порядок. До

чего же это приятно — наводить чистоту! (Не от сознания ли, что все это твое? Наверно, так.) Я подмел прихожую и лестницу. Отскреб огромные плиты кухонного пола (давно пора было). Вымыл я и огромную безобразную вазу на площадке и отполировал исцарапанный стол палисандрового дерева (он заметно похорошел). Стал было протирать камин в гостиной, но какой-то домовой, поселившийся в нем, всячески мне мешал. Теперь я занялся большим овальным зеркалом в прихожей (о нем я, кажется, уже упоминал). Эта прекрасная вещь (конец XIX века?), вероятно, лучший антикварный предмет во всем доме. Стекло немного искривилось и кое-где в пятнах, но сохранило изумительный серебряный блеск, так что зеркало кажется источником света. Рама какого-то матового серого металла (олово?) в виде гирлянды из листьев, веток и ягод. Наждак придал этой металлической флоре немного больше отчетливости и мерцания. На тряпке, во всяком случае, осталось достаточно грязи. Я только что просидел минут пять, глядя на себя в это зеркало, так что сейчас, пожалуй, самое время описать мою наружность.

Казалось бы, в этом нет надобности. Да, конечно, фотографировали меня много. Но фотоаппарат

был мне ненадежным другом. (Какое счастье, что у меня никогда не было желания стать кинозвездой.) Попробую описать себя таким, какой я на самом деле. Я худощав, среднего роста. Лицо удлиненное, с коротким прямым носом и тонкими губами. Кожа светлого ровного тона, легко краснеет. От досады или обидного слова я заливаюсь краской. Это свойство, когда-то очень меня смущавшее, превратилось в своего рода торговую марку; а когда я в своем кругу приобрел репутацию «тирана», оно мне даже пригодилось — пугать людей.

Глаза у меня холодного голубого оттенка, для чтения ношу небольшие овальные стекла без оправы. Волосы светлые, прямые, матовые, коротко остриженные. Они у меня и всегда-то были без блеска, а теперь и вовсе потускнели, но не седеют. Я решил их не красить. (Несколько лет назад, когда они начали отступать со лба, я прибегнул к помощи науки и остался вполне доволен результатом.) Чего фотография неспособна передать, так это нежную, почти девичью фактуру моего лица (я, разумеется, не ношу усов и бороды) и его немного ироническое, лукавое выражение. (Скажу без обиняков — лицо у меня умное.) Фотографам ничего не стоит представить человека

дураком. Я часто думаю, что похож на отца, хотя у него лицо было простое и доброе, чего обо мне не скажешь.

Лягу рано, с грелкой. Очень устал.

Писать о театре будет, вероятно, не так-то легко. Возможно, мои размышления на эту обширнейшую тему составят отдельную книгу. А сейчас лучше перейти прямо к Клемент Мэйкин. Как-никак ведь это ей, Клемент, я обязан тем, что очутился здесь. Здесь ее родина, она росла на этом пустынном берегу. Вместе мы здесь не бывали. Видно, я все-таки суеверен. Ее родные места дождались меня.

Клемент была моей первой женщиной. Когда мы встретились, мне было двадцать лет, а ей (по ее словам) тридцать девять. Отчасти из-за той, кого я любил и потерял, а отчасти в силу моего пуританского воспитания я был девственником, пока Клемент не налетела на меня как орлица. Была ли она великой актрисой? Думаю, что да. Конечно, женщины все время играют роль. О мужчинах в этом смысле судить легче. (Взять хотя бы Уилфрида.) Кое-что мне придется сказать о театре просто для того, чтобы создать для Клемент контекст, обставить сцену для ее выхода. Она была не такая, какой ее считали, ни поклон-

ники, ни враги не отдавали ей должного, а и тех и других у нее было в избытке. За тех, кого она любила, она дралась когтями и зубами, отметая все соображения нравственности; ради них лгала и жульничала и плевать хотела на чужие права и сердца. Меня она любила, и я вполне готов признать, что она меня «сделала»; впрочем, сложись обстоятельства иначе, я бы и сам себя сделал. Упокой, Господи, ее беспокойную душу.

Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. На среднем же уровне их только играют. Вот почему весь мир — сцена, почему театр не теряет своей популярности, почему он вообще существует, почему он похож на жизнь, а он похож на жизнь, хоть и является в то же время самым пошлым и откровенно условным из всех искусств. Писатель, даже посредственный, может сказать немало правды. Его единственное средство воздействия тяготеет к правде. В то время как театр, даже самый «реалистический», находится примерно на том же уровне и пользуется примерно теми же методами, что и наша повседневная ложь. Именно в этом смысле «обычный» театр похож на жизнь, а драматурги, исключая самых великих, — беспардонные лжецы. С другой стороны,

чисто формально театр из всех искусств ближе всего к поэзии. Когда-то мне казалось, что если б я мог стать поэтом, то вообще не совался бы в театр. Это, конечно, вздор. Чтобы громогласно заявить о себе миру, моей изголодавшейся, молчащей душе нужен был именно театр. Театр — это порабощение человечества средствами магии: из вечера в вечер подчинять себе публику, заставлять зрителей смеяться и плакать, страдать и опаздывать на поезд. Актеры, конечно, видят в публике врага, которого надо обманывать, одурманивать, оглушать, захватывать в плен. Отчасти это объясняется тем, что публика — это в то же время и суд, чей приговор не подлежит апелляции. Здесь общение искусства с его потребителем самое тесное и непосредственное. В других искусствах мы можем осуждать потребителя: он, мол, невежествен, неопытен, невнимателен, туп. А театр бывает вынужден потакать и потакать публике, пока не добьется полного, прямого контакта, которого другие художники могут позволить себе добиваться не спеша, кружными путями. Отсюда натиск, шум, нетерпение. Все это было частью моего реванша.

Как пошло, как жестоко все это было — я оценил и прочувствовал только теперь, когда поставил

на этом крест, когда могу сидеть на солнце и глядеть на спокойное, тихое море. Это одиночество и покой после неумолчного гама и сутолоки, глубокая, статичная тишина, так непохожая на эффектные минуты тишины в спектакле — «Буря», сцена 2, или появление Питера Пэна. И так же непохожая на знакомую, особенную тишину в пустом театре. Актеры — пещерные жители в живом пульсирующем мраке, который они и любят и ненавидят. С каким наслаждением я, бывало, раздирал напряженную тишину ожидания шумом — шумом декораций, шумом красок. (Однажды я ставил пьесу с детективным сюжетом, и начиналась она так: долгая тишина, потом пронзительный вопль за сценой. Этот вопль неизменно производил фурор.) Между тем, а может быть именно поэтому, я довольно равнодушен к музыке. Меня восхищает сложная и, по существу, беззвучная музыкальная драма балета, а вот оперу я терпеть не могу. Клемент говорила, что это от зависти. Вагнеру я и правда завидую.

Театр — это сборище одержимых. Это отнюдь не страна сладких грез. Какие уж тут грезы — безработица, бедность, неудачи, колебания (одно возьмешь — упустишь другое), и, как в семейной жизни, слишком скоро убеждаешься, сколь

ограниченны возможности человеческой души. А одержимость остается. Все драматурги и режиссеры и большинство хороших актеров (не все) — одержимые. Только такие гении, как Шекспир, скрывают это или, вернее, переключают свою одержимость в духовный план. А одержимость требует тяжелой работы. Сам я всегда работал (и других заставлял работать) как дьявол. Мать воспитала во мне привычку к труду. Она всегда что-то делала и не терпела, чтобы другие бездельничали. Отец охотно что-нибудь чинил и приколачивал, но он был бы не прочь иногда и посидеть просто так, глядя, как жизнь течет мимо него, а вот это не разрешалось. Мать не питала для него честолюбивых замыслов. Она презирала суетный преуспевающий мир дяди Авеля и тети Эстеллы, хотя мне сдается, что мысль о них не давала ей покоя, как заноза. Ей просто хотелось, чтобы мой отец всегда был занят чем-нибудь полезным. (К счастью, разговоры со мной о прочитанных книгах входили в число полезных дел.) Она даже не притворялась, что понимает его работу, никогда о ней не расспрашивала и, скорее всего, понятия не имела о том, что он делает на службе. Она управляла им дома. Она и мной управляла, но это было легко: я и сам всегда

был одержим каким-нибудь делом. Интервьюеры спрашивали меня, как случилось, что я стал писать пьесы. Высказывалось нелестное мнение, будто я стал писать, когда убедился, что актера из меня не выйдет. Это неверно. Я начал писать еще в ранней молодости, потому что не хотел терять время, когда бывал безработным. Я сразу заметил, как деморализующе действуют вынужденные простои на многих моих собратьев. В жизни актера «отдых» — наименее отдохновительное время. Эти периоды стали к тому же моим университетом. Я читал, писал и обучал себя моей профессии.

Поскольку люди неосведомленные и не всегда доброжелательные строили на этот счет много догадок, я хотел бы сейчас сам сказать кое-что о своих пьесах. Все они были задуманы как однодневки, как нечто вроде легких пантомим, и все существовали только в моей постановке. Никого другого я к ним не подпускал. При отсутствии подлинно большого таланта трудно удержаться на грани между иронией и наивностью, а ирония мстит за себя абсурдом. Я не обольщаюсь насчет масштабов моего таланта. Говорили еще, что мои пьесы — всего лишь материал для Уилфрида Даннинга. Почему «всего лишь»? Уилфрид был

великим актером. Такие теперь перевелись. Он начинал в старом мюзик-холле на Эджуэрроуд. Он мог стоять на эстраде неподвижно, с каменным лицом, а зрители покатывались со смеху. Потом моргнет — и они еще пуще хохочут. Способность прямо-таки пугающая: тайны человеческого тела, человеческого лица. Лицо у Уилфрида было одухотворенное. И между прочим, это было самое большое лицо, какое я когда-либо видел, за исключением, может быть, Перегрина Арбелоу. Пожалуй, в каком-то смысле он действительно был единственным, кто подвигнул меня на драматургические опыты, и, когда он умер, я перестал писать. Скажу без сожаления: мои пьесы принадлежат прошлому, и я никому их не завещаю. То были сказочки, пустячки, фейерверки. Только вот эти мои записи воплощают — или предвещают — то, что мне хотелось бы оставить после себя как долговечную память. Кто-то когда-то сказал, что мне следовало стать хореографом. И я понимаю такое мнение. Многих удивляло, каким успехом я пользовался в Японии. Я-то знал причину этого, и японцы тоже.

Хотя меня называют экспериментатором, я — убежденный сторонник занавеса, отделяю-

щего сцену от зрителей. Я стою за иллюзию, а не за отчуждение. Я ненавижу бессмысленную суету вокруг сцены, вынесенной в зрительный зал, в которой тонет четкая последовательность событий. Противна мне и вся эта чепуха насчет «участия публики». Мятежи и прочие массовые выступления, возможно, и имеют свою ценность, но не следует смешивать их с искусством театра. Театр должен создавать условный отрезок времени и удерживать в его пределах завороженного зрителя. Театр пытается утвердить ту глубокую истину, что мы — существа протяженные, но существуем только в настоящем. Настоящее это условно, поскольку лишено свободной ауры личного восприятия и таит в себе собственные границы и выводы. Так, например, жизнь смешна, порой ужасна, но не трагична: трагедия — это уже хитроумное измышление театра. Разумеется, в большинстве случаев театр — это грубое производство заурядных поделок, а читать (не только ради режиссерских помет) можно только пьесы великих поэтов. Я сказал «великих поэтов», но имел в виду, вероятно, одного Шекспира. Какой парадокс — самое легкомысленное и безродное из серьезных искусств породило величайшего в мире писателя! Что Шекспир совсем не такой, как

другие, что он был не просто *primus inter pares*[10], а качественно иной — это я постиг своим умом еще в школе, и на этой тайне был вскормлен. Никакие другие пьесы на бумаге не живут, разве что творения древних греков. Я по-гречески не читаю, а Джеймс утверждает, что они непереводимы. Просмотрев множество переводов, я пришел к убеждению, что он прав.

Разумеется, театр — это вечная смена надежд и разочарований, и в этих его циклах ярче переживается цикличность нашей обычной жизни. Радостное волнение премьеры, позор провала, усталость, когда пьеса держится на сцене долго, и бездомное ощущение, когда ее сняли с репертуара; после непрерывного созидания — непрерывное разрушение. Снова и снова концы и разлуки, сборы в дорогу, и проводы, и расставания с теми, кто успел стать для тебя семьей. Все это делает из людей театра кочевников, или, вернее, разобщенных членов некоего монашеского ордена, требующего подавления некоторых естественных чувств (например, жажды прочного существования). Мы обретаем «бессердечие» монахов, а значит, переживаем превратности

---

[10] Примечания: 10
Первый среди равных *(лат.)*.

обычной жизни по-своему, в сублимированном, символическом плане. Как актер, режиссер и драматург, я, конечно, полной мерой хлебнул разочарований, потерянного времени, тщетных поисков. Моя «блестящая» карьера насчитывает много неудач, много тупиков. Так, на Бродвее все мои пьесы провалились. Большим актером я не стал, как драматург кончился. Лишь благодаря моей славе как режиссера об этом склонны забывать.

Если правда, что неограниченная власть развращает, тогда я — самый развращенный из людей. Театральный режиссер — самодержец (иначе он не выполняет своего назначения). Я слыл безжалостным и всячески поддерживал в людях это убеждение, что оказалось весьма удобным. В моем присутствии актеры каждую минуту ждали слез и нервных вспышек. Большинству из них только того и нужно было — они ведь не только нарциссисты, но и мазохисты. Я отлично помню, с каким наслаждением Гилберт Опиан закатывал истерики. Женщины, те, конечно, плакали, не осушая глаз. (Когда я, уже зрелым режиссером, работал с Клемент, мы оба плакали. Боже, как мы с ней ругались!) Я был беспощаден к пьянству, и это подпортило мои отношения с

Перегрином Арбелоу еще до истории с Розиной. Перегрин — пьяница самой худшей породы, ирландской. Уилфрид пил как лошадь, но на сцене это никогда не было заметно. О черт, как скверно, что его нет.

Меня вполне устраивала закрепившаяся за мной слава тирана и деспота. Награждали меня и другими характеристиками, более гадкими и не соответствующими истине. Я ни разу не воспользовался своим положением, чтобы уволочь женщину в постель. Конечно, театр — это все то, что думала о нем моя мать, плюс много такого, чего бедняжка и вообразить не могла. Но не следует забывать, что театр — это еще и профессия; и очень часто «типичный» актер — это человек средних лет, регулярно имеющий работу и живущий добродетельной жизнью с женой и детьми где-нибудь в пригороде. На таких людях театр и держится. Да, театр — это секс и еще раз секс, но так ли уж это важно для профессионала? Мою мать огорчало, что я буду «играть плохих людей», ей казалось, что это пойдет во вред моей нравственности (а она и видела-то меня, кажется, только в школьных спектаклях). Я далеко не уверен, что такая зависимость вообще возможна. Над этим стоит задуматься. Да, чтобы сыграть зло-

дея, необходимо в какой-то мере «отождествить» себя с ним, но такое отождествление не бывает полным, прежде всего потому, что злодейство принимает столько индивидуальных обличий. (У каждого актера есть уровень, на котором он неспособен лепить характер. Он может работать либо выше этого уровня, либо ниже.) И еще: мы носим маски. В идеале маска еле-еле касается лица. (Таково мое мнение, некоторые дураки со мной не согласятся.) Вспоминается анекдот про одного старого актера. Когда ему предложили роль старика, он воскликнул испуганно: «Но я же никогда не играл стариков!» Вот это настоящий профессиональный подход.

Однако вернемся к моей особе. Пусть в наши дни признаваться в этом не модно, но я не наделен повышенной сексуальностью, я прекрасно могу обходиться без «половых сношений». Иные наблюдатели даже подозревали меня в гомосексуализме, потому что у меня не было беспрерывной смены любовниц. Я ненавижу *грязь*. Может быть, этому меня научила моральная гигиена моей матери. И мне всегда претило непотребное сквернословие «мужских» разговоров. Конечно, любовные связи у меня были, и немало. Но я никогда не заманивал женщин в постель пустыми

обещаниями. Кто-то (Розина) сказал однажды: «Театр для тебя значит больше, чем женщины». Это была правда. Никогда (кроме одного раза, когда я был еще очень молод) я не думал всерьез о браке. Лишь однажды (все тот же один раз) любил без оглядки. Потом была Клемент, вечная, восхитительная, ни с кем не сравнимая Клемент. И бывали «безумные увлечения». И бывали такие милые, милые женщины. Но я не бабник. Я всегда был законченным профессионалом. Тут я был беспощаден не только к другим, но и к себе. Пошлые любовные интрижки, особенно внутри замкнутой группы, мешают серьезной работе. Я и сам очень подвержен ревности и имел дело со многими ревнивыми людьми. Зависть отравляла мне жизнь не так сильно. В театре жгучая зависть может прямо-таки сгубить человека, и я очень скоро понял, что, не преодолев ее, нечего и надеяться на успех.

Жалел ли я, что так и не стал выдающимся актером? Сколько раз мне задавали этот вопрос! Ну конечно жалел. Режиссеры всегда завидуют актерам, и я подозреваю, что чуть ли не каждый великий режиссер предпочел бы быть великим актером. Кое-кто считал, что мои актерские способности лучше проявятся в кино и на теле-

видении, меня пытались туда сманить, с этим связано много забавных историй, но, в сущности, ни в кино, ни на телевидение меня не влекло. Я всегда считал, что подлинное драматическое искусство — это живой театр. Были у меня и свои заветные мечты, конечно, по части Шекспира; но на Лира я так и не отважился, а о моем Гамлете лучше и не упоминать. Кажется, я хорошо сыграл Просперо в той постановке, когда Лиззи была Ариэлем. Это была моя первая большая роль, и как же давно это было. Со временем тщеславия у меня поубавилось. В театре тщеславие получает такие щелчки, что, казалось бы, должно быстро поджать хвост, однако большинство актеров умудряются его сохранить — у них это не только профессиональная болезнь, но и единственная возможность не пойти ко дну. Искреннее, великодушное восхищение, а оно тоже не редкость, помогает и врачует. Я смотрел и просто хороших, и великих актеров — Уилфрида, Сидни Эша, Маркуса Хенти (тоже один из любовников Клемент), даже Фабиана Гинсберга, даже Перри, даже Алоиза. И спокойно зачислил себя в актеры второго разряда. Это было тем легче, что к тому времени я уже с головой ушел в режиссуру. Чтобы позабавить себя и публику, я исполнял крошечные роли

в собственных постановках и как-то раз чуть не затмил всех остальных, сыграв Якова в «Чайке».

Ну и ну, какая же получается мешанина, если писать вот так подряд все, что придет в голову. Может, лучше и в самом деле рассматривать этот дневник как черновые наброски. Постараюсь, хотя бы на время, удержаться от пространных воспоминаний о моих постановках. Известность мне принес Шекспир, но я брался и за многое другое, за что только я не брался! А в общем, довольно хвастать. Все это я наплел в виде пролога к разговору о Клемент Мэйкин. Но бедная Клемент может подождать, ведь ничего другого ей и не остается. Для нее битва жизни кончилась. А я сижу здесь и дивлюсь на себя. Что же я, добровольно распростился с этой магией, бросил свою книгу в море, как Просперо? Простил врагам своим? Отречение от власти, окончательное претворение магии в жизнь духа? Время покажет.

Происшествие странное и огорчительное. Я писал, сидя на своей лужайке, в своем каменном кресле, возле корытца с камнями. Утреннее солнце стало припекать, и я решил сходить в дом, за шляпой. Побаливает голова, пора, вероятно, сменить очки. Я вошел в дом и стал подниматься по лестнице, помаргивая после яркого света, и,

когда ступил на верхнюю площадку, сразу почувствовал, что что-то случилось, но не мог понять, что именно. Потом до меня дошло, что моя милая большая, безобразная ваза исчезла со своей подставки. Она упала на пол и разбилась вдребезги. Но каким образом? Подставка не качается и не сдвинута с места. Ветра нет, занавеска из бус не колышется. Может быть, я слегка сдвинул вазу вчера, когда стирал с нее пыль? Или был подземный толчок? Не хочется думать, что это моя вина, да я знаю наверняка, что не виноват. Я любил эту несчастную уродину, она была вроде старой собаки. Я подобрал осколки со смутным намерением ее склеить, но куда там, это невозможно. И как она могла соскочить с подставки? Не знаю, что и думать.

— Да все ваши письма в конуре, мистер Эрроуби!

Я наконец не выдержал и справился на почте. Не выдержал — то есть уронил себя, не столько в глазах всей деревни (хотя мне и этого не хотелось), сколько в собственных глазах. К чему мне теперь письма, к чему ждать их, изнывать, удивляться, что никто мне не пишет? Ведь я договорился с мисс Кауфман, что деловые письма она будет оставлять в Лондоне, а пересылать

только письма от друзей. Но друзей-то у меня нет, втолковывал я себе. Правда, одно письмо мне очень хотелось получить, или, лучше сказать, я был уверен, что получу его. Однако вернемся к вопросу о конуре.

— В конуре?! — переспросил я почтмейстершу.

(Она — сестра нашей лавочницы, и почта помещается в лавке.)

— Ну да, каменная конура, не доходя поворота к вашему дому. Для миссис Чорни письма всегда там оставляли.

Я, конечно, видел эту кучу камней — в свое время агент, дойдя со мной до шоссе, объяснил, что здесь кончаются мои владения, — но подробно ее не обследовал. Формой она и правда напоминает собачью конуру, но жить там, на мой взгляд, могла бы только каменная собака. Думаю, что сложили ее здесь для какой-то другой цели, какой — понятия не имею.

Я возмутился. Откуда мне было знать? Почему мне не сказали? Как мог почтальон не заметить, что письма не вынимают? А если дождь? И т. д.

Почтмейстерша повторила невозмутимо, что миссис Чорни всегда получала свою корреспонденцию в конуре, что почтальону это сокращало маршрут, что нельзя требовать, чтобы он еще

проверял, взяты ли письма, да и, в конце концов, я мог быть в отъезде. И т. д.

Я купил мороженого окуня (гораздо вкуснее трески) и поспешил домой. Да, письмо, которого я ждал, и еще несколько других писем лежали в конуре (в дождливую погоду там было бы полно воды), и я принес всю пачку в дом.

Нужное мне письмо было от Лиззи Шерер, и, когда я приведу его здесь, станет ясно, в каком отношении я в этом дневнике погрешил против правды. До сих пор мне вообще не хотелось говорить о Лиззи, потому что я сам еще не решил, как расцениваю один свой поступок, связанный с нею. Не то чтобы это расстраивало меня или волновало. Я приехал сюда с твердым намерением никогда больше не волноваться из-за личных отношений. Слишком часто такие волнения оказываются одним из видов тщеславия. А сделал я вот что: я послал Лиззи письмо, задуманное как своего рода проверка, или рискованный ход, или игра. Игра всерьез. С Лиззи я всегда играл в серьезные игры. Пожалел ли я, что отправил это письмо? Жалею ли об этом теперь, пожалею ли в будущем? Но сначала — несколько слов о самой Лиззи.

Клемент Мэйкин была великой актрисой или

без пяти минут великой. Лиззи Шерер — на другом конце шкалы, назвать ее актрисой вообще можно лишь с натяжкой. Если Лиззи стяжала кое-какие лавры, это целиком моя заслуга. Я выжал из нее больше того, что в ней было, и теперь могу признаться, что положил на нее много труда, потому что в каком-то смысле любил ее. «В каком-то смысле» означает, во-первых, что по-настоящему я любил только раз в жизни (не ее), а во-вторых, что бросить ее, когда пришло время, оказалось на удивление легко. Я никогда не «сходил с ума» по Лиззи, как было с некоторыми другими женщинами (Розина, Жанна). Мое чувство к ней было какое-то тихое, мечтательное, такого я, пожалуй, не испытывал больше ни к кому. Но я ее бросил. Она любила меня куда глубже. Для нее я был единственным.

Лиззи наполовину шотландка, наполовину испанская еврейка. Хотя ни у одной женщины, какую мне доводилось ласкать, нет таких обворожительных грудей, она не особенно хороша собой, даже в молодости не была красавицей, но у нее есть шарм. Этот неотразимый шарм в сочетании с молодостью помог ей на первых порах. Работала она упорно, и многих подкупала в ней этакая неколебимая шотландская надежность.

Описать ее внешность нелегко. У нее большой широкий лоб и четкий привлекательный профиль (можно влюбиться и в профиль). Линия лба грациозно и мягко переходит в небольшой аккуратный носик, который устремляется навстречу людям, но кверху не вздернут. А ниже — прямая линия к твердому подбородку с еле заметной ямочкой. И губы у нее твердые, не толстые, но четко вылепленные и нервно-отзывчивые. (До чего же разные бывают губы!) Не искусство, а сама природа раскрасила их в приятный терракотово-розовый цвет. Верхняя губа длинная, с красивой выемкой. (Существует ли на каком-нибудь языке слово для обозначения этого нежного желобка, что идет от носа ко рту?) Лицо это можно бы назвать умным, не будь оно отмечено какой-то детской робостью. Подозреваю, что в этом мягком, словно бы виноватом, выражении и кроется ее шарм. Глаза у нее влажные, светло-карие. Как они вспыхивали, когда я ее целовал! Она близорука и часто щурится. (Как сказал однажды Перегрин, красивые женщины мало что видят, потому что из тщеславия не носят очков.) Бровки оранжевые, почти невидимые, и, пока длилось мое царствование, никаких манипуляций с ними она не проделывала. На щеках здоровый

розовый румянец. Она почти не красится, и ей недостает (может, это преднамеренно) той прелестной искусственности, что отличает многих актрис, их эмалевые лакированные лица. Такая искусственность, конечно, привлекает. Меня она привлекала. Мне нравится примесь искусства во внешности женщины, хотя видеть, как достигается тот или иной эффект, для меня не обязательно. Волосы Лиззи, теперь крашеные, коричнево-каштановые и очень густые. (Они пышные и завиваются не кудрями, а штопорчиками.) Когда она счастлива, ее лицо так и лучится весельем. (В лучшие ее времена лицо ее исторгало в публике дружный вздох удовольствия.) Она и теперь еще недурна, хотя стала неряшлива, не следит за собой. В любом театральном училище физическая дисциплина — неизменное требование, игра на сцене невозможна без физической дисциплины. Актрисы всячески стараются сохранить грациозную моложавость, а Лиззи этим пренебрегла. Шика в ней и никогда-то не было. (Женщина, в которой есть шик, — услада для глаз, к которой я далеко не равнодушен.) А с годами она, скажем без обиняков, еще и растолстела. Бог ты мой, ей, наверно, уже под пятьдесят.

Итак, вот письмо Лиззи, извлеченное из со-

бачьей конуры и само себя более или менее объясняющее.

Дорогой мой, твое прекрасное, великодушное письмо получила, но я его не понимаю. Может быть, не хочу понять. Достаточно того, что оно у меня есть. Когда я увидела твой почерк, у меня дух захватило от радости и страха. Но почему страха? Ведь я тебе ничего не сделала, только любила тебя всегда. Читала твое письмо и плакала, плакала. Ты сам-то знаешь, сколько времени не писал мне? (Открытки не в счет.) Больше всего мне хотелось бы просто радоваться, что ты мне написал, а не думать о твоем письме и не отвечать на него. А то сразу одолевают тревоги и страхи.

Что тебе нужно, Чарльз? Ох, как хорошо я тебя помню! Но я всегда тебя помнила, не забывала ни на миг с тех самых пор, как полюбила. Особенно порадовало меня твое письмо тем, что ты не сомневаешься, что я все еще люблю тебя. «Все еще» здесь неуместно. Моя любовь к тебе живет в каком-то нескончаемом

настоящем, ею, можно сказать, измеряется время. Это не пустые уверенья. Такая любовь совместима с отчаянием, с покоем, со смирением, с повседневностью, усталостью и молчанием. Я люблю тебя, Чарльз, буду любить, пока жива, и ты можешь схоронить это в своем сердце и знать, что так оно и есть.

Твое письмо такое спокойное, нарочито спокойное, с шуточками (насчет того, что тебе нужна «нянька»!). Ладно, ты хочешь со мной повидаться, почему бы и нет, ведь мы старые друзья. Но именно эти двое старых друзей, во всяком случае один из них, не могут просто встретиться и сказать: «Как жизнь?» Смотрю на твое письмо и пытаюсь читать между строк. Что там есть, между строк? Видимо, я должна догадаться о твоем настроении. Уж эти твои настроения! Ты что, настроился на очередной романчик? Извини за эти ужасные слова, но ты поставил меня в ужасное положение. Может быть, твое письмо вообще ничего не значит и я что-то выдумываю? Ты сам не знаешь, что хотел сказать, и знать не

хочешь. С тебя и это станется. Прости меня.

Послушай, Чарльз, я сказала, что благодарна тебе, и это правда. Ты же знаешь, что я годами, годами готова была по первому знаку выйти за тебя замуж. Да сколько раз я сама делала тебе предложение, когда мы были вместе. Я понимаю, что в этом твоем письме речь, конечно же, не идет о браке. Тогда о чем же? О воскресном пикнике? Ты не говоришь, что любишь меня. Хочешь, видно, поэкспериментировать, благо есть свободное время? Чарльз, я хочу жить. Хочу уцелеть. Не хочу второй раз лишиться рассудка. Как подумаю – я просто боюсь подойти к тебе близко. Тебе пришлось бы меня уговаривать, а это не для тебя. Ты сам когда-то сказал: что А любит В – сразу заметно, точно комбинация из-под юбки. Мы не виделись больше года, в последний раз на завтраке в честь Сидни Эша, и как я ждала этой встречи, а ты со мной двух слов не сказал. Потом я хотела уехать с тобой в такси, а ты ни с того ни с сего предложил Нелл Пикеринг тоже ехать

с нами. (Ты, наверно, уже забыл.) И с тех пор от тебя ни звука. Не звонил, не написал ни строчки, хотя знаешь, как бы я обрадовалась. Ты даже не знаешь, где я живу, вот и письмо послал на моего агента! О чем это все говорит? А теперь вот это странное, двусмысленное письмо. Просто тебе что-то взбрело в голову, какая-то абстракция. Наверно, ты уже успел пожалеть, что написал.

Если бы я приехала тебя навестить, как ты просишь, приехала просто потому, что ты в настроении меня повидать, вроде бы поглядеть, что из этого выйдет, – на меня сразу накатило бы прежнее безумие. Это не значит, что оно прошло, но я как-то жила, справлялась, даже навела наконец какой-то порядок в своей жизни. Ведь времени, с тех пор как ты меня бросил, прошло достаточно! Ты и не знал, что со мной творилось в те дни. Я не хотела тебя огорчать, из мести открыть тебе мою боль. Пока мы были вместе, я каждую минуту, каждую секунду знала, что это не навек. Ты не давал мне об этом забыть. Но почему-то (вот

оно, безумие) я пошла на эту муку; если б могла страдать сильнее, страдала бы и сильнее. Интересно, ты когда-нибудь так любил? Может быть, ты понимал такое только на сцене. (Мне кажется, я влюбилась в тебя, когда ты на репетиции заорал на Ромео и Джульетту: «Не прикасайтесь друг к другу!») Ты все говорил, что большая любовь была у тебя в молодости, но думаю, это говорилось мне в утешение за то, что меня ты любил недостаточно. Так или иначе, ты любил меня недостаточно, и вдруг теперь… нет, в чудеса я не верю.

Чарльз, я побывала в аду, и выбралась оттуда, и не хочу возвращаться. Ревность – это ад, а я не излечилась. Что, если я явлюсь к тебе со своей прежней любовью, а ты улыбнешься и пожмешь плечами? Ты же свободен, это ясно из твоего письма. Прости, но ты сам знаешь, люди болтливы. Все всё всем рассказывают, и я до сих пор встречаю женщин, про которых и не знала, что ты их знал, и они рассказывают, что у них были с тобой романы, может быть, врут, конечно. Ты

знаешь, что не можешь жить без женщин, а я уже и не молода и не красива, а ты любишь гоняться за тем, что нелегко дается в руки, ни с кем не остаешься долго, всех рано или поздно бросаешь. Ты как-то сказал, что жениться – все равно что купить куклу, вот, значит, как ты смотришь на брак. И не верю я, что ты навсегда ушел из театра. Гилберт говорит, что с тем же успехом Бог мог бы удалиться от дел, слишком ты для этого беспокойный. Ты заставил меня играть, ты всех заставлял играть, ты как очень хороший танцор, с которым всем легко танцевать, но тебе нужно, чтобы танцевали с тобой. Людей как таковых ты не уважаешь, ты их не видишь, ты, в сущности, не учитель, а вроде как хищный волшебник. И ты думаешь, я поверю, что все это может кончиться? Или я нужна тебе как терпеливый друг, как дуэнья с вязаньем, спокойная, мудрая женщина, нечто вроде отставленной старшей жены, которой можно поплакаться на других, помоложе? Ничего из этого бы не вышло, Чарльз. Я не спокойная и не муд-

рая. Мне подавай все или ничего. У тебя еще могут быть дети. Я помню, ты не раз говорил, как хотел бы иметь сына. Ты и сейчас еще мог бы иметь сына, да я-то не могла бы его родить. Ах, Чарльз, Чарльз, почему ты не женился на мне тогда, давно, я так тебя любила. Я так тебя люблю, но не могу я сунуть голову в петлю. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром.

Должна сказать тебе еще одну вещь. Я живу с Гилбертом Опианом. Ты, видно, этого не знал, а то упомянул бы в письме. Я помню, ты взял с меня слово, что я сообщу тебе, если когда-нибудь прочно свяжу с кем-нибудь мою судьбу. (Так было больно, когда Рита Гиббонс сказала мне, что ты и с нее взял такое обещание. Про свое обещание я ей не сказала. Она говорит, что не считает себя связанной словом, потому что оно было дано под давлением.) Про Гилберта я тебе не сказала, потому что так я с ним не живу, конечно, в том смысле, что мы не любовники, не стал же он вдруг нормальным мужчиной.

Просто мы любим друг друга, помогаем друг другу. Живем под одной крышей, и знаешь, Чарльз, впервые в жизни я счастлива. Тут есть с моей стороны что-то творческое, куда больше, чем было в моей игре. Когда мы встретились с тобой на том завтраке, я бы тебе рассказала, если б ты проявил хоть каплю интереса, расспросил бы! И еще, Чарльз, я ведь бросила сцену, и от этого мне стало много легче. По чести говоря, театр был для меня сплошной мукой. Блистала я только ради тебя, а когда ты меня бросил, сразу свяла. (Да и раньше не многого стоила!) Как вспомнишь, какой жалкой, нелепой, путаной жизнью я жила столько лет, просто непонятно, как я это терпела. И ведь прекрасно могла быть счастлива, а вот как нарочно не была! Мужчины всегда относились ко мне безобразно. Гилберт совсем не такой. Можешь скалить зубы сколько влезет. Эти чертовы мужчины всю жизнь мной помыкали. А теперь я веду упорядоченное, деятельное существование. Я даже приношу пользу. Работаю неполный день в канцелярии

одной больницы. Учусь живописи и пишу книжки для детей (ни одна еще не издана). На твой взгляд, может быть, радости мало, но для меня это счастье и свобода. И Гилберту хорошо. Он больше не терзается из-за того, что не добился успеха, не стал звездой. Получает кое-какие мелкие роли; немножко работает на телевидении. Мы не богаты, но денег заработать можем, и можем заботиться друг о друге. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт – и правда это с годами становится все нужнее. Гилберт перестал «охотиться», он говорит, что всегда искал одного – любви, а теперь, со мной, он ее имеет. Все как-то сразу стало просто и невинно. (Теперь мне кажется, что всем нам в свое время промыли мозги по части секса.) Пожалуйста, Чарльз, милый, пойми меня и не сердись. Ты сам знаешь (не буду об этом распространяться, потому что в прошлом это тебя раздражало), что Гилберт тоже очень тебя любит. Он прямо-таки преклоняется перед тобой. Но сейчас он испугался. Он говорит, что ты приедешь на тройке

и увезешь меня к цыганам. (Наверно, это цитата, а ты всегда говорил, что я читаю только Шекспира, да и то только свою роль.) Он до сих пор тебя боится, и я тоже. Очень уж мы привыкли тебе повиноваться. Не употреби свою власть нам во зло. Ты легко мог бы оказать на нас страшный нажим, не делай этого. Будь великодушен, мой дорогой. Ты мог бы нас обоих довести до безумия. Мы долго мучились, пока не решили свои проблемы, и если некоторым людям такое решение кажется смешным, это значит только, что им недостает ума и воображения. А ты не лишен ни того ни другого.

Чарльз, я не хочу тебя сейчас видеть, еще не время. Я бы не устояла. Мне надо прийти в себя после твоего письма. Пожалуйста, напиши мне и постарайся не сердиться. Когда я немножко успокоюсь, давай повидаемся, приезжай сюда и Гилберта повидаешь. Что-нибудь придумаем. После твоего письма осталась какая-то ноющая пустота, нехватка, и этого не поправишь. Но здесь мне хорошо, и Гилберту я нужна, и у нас есть этот дом

(вернее, полдома), который мы вместе устраивали, и, если б я сейчас ушла, это было бы полным крушением для нас обоих. (Не знаю я, не знаю, что тебе от меня было нужно, теперь-то, может быть, ничего уже не нужно. О господи.) Гилберт говорит, что в конце концов ты должен воспринять нас как своих детей. Ох, Чарльз, до чего же могущественны эти силы, которым я приказала уснуть. Вся она еще тут, вся моя любовь к тебе. Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Ты вспомнил обо мне, написал мне так по-хорошему, так великодушно. Неужели и теперь, когда уже близко старость, мы не можем любить друг друга и встречаться как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Я так хочу, чтобы мы любили друг друга, но не хочу, чтобы любовь меня сгубила. Я столько горя испытала из-за тебя. Вся моя любовь к тебе была смешана с горем. Сколько же слабости в силе любви! Кажется, что можешь подчинить любимого своей воле, но это иллюзия! Пишу и плачу. Пожалуйста,

ответь поскорее, скажи, что повидаться можно и не сейчас, через некоторое время, и что не разлюбишь меня. Не потеряй эту любовь, ведь, какая бы она ни была, она заставила тебя написать мне. И мы посмотрим друг на друга.

Всегда твоя

Лиззи.

Я уже довольно долго просидел в красной комнате, где мне наконец-то удалось растопить камин. Сегодня он не дымит — то ли одумался, то ли просто дрова подсохли.

Письмо Лиззи я прочитал два раза. Конечно, это глупое, путаное, чисто женское письмо, написано одно, а понимай наоборот. Лиззи предлагает себя, иначе она не может. А все остальное, конечно, в большой мере «пустые уверенья». Женщина поумнее могла бы ответить спокойно и предоставить мне читать между строк. Поумнее и не такая искренняя. Кое-где она, впрочем, пытается хитрить, но очень уж неумело. Бедная Лиззи. Насчет Гилберта Опиана все это чепуха, но меня и правда задело, что она мне не сказала, не сдержала слова. Так какие же у них отношения? Жить рядом с Лиззи — этого и теперь еще, надо пола-

гать, достаточно, чтобы любой мужчина стал нормальным. (Одни ее груди чего стоят.) Они что же, вместе пьют какао, оба в халатах? Думать об этом противно. Гилберт, конечно, ничтожество, козявка, я его одной рукой мог бы раздавить, а другой увести Лиззи. Платоническое любовное трио — это уж совсем не в моем вкусе. Судя по штемпелю, письмо Лиззи провалялось в конуре больше недели. Может, это и к лучшему. Получи я его сразу, мне бы, может быть, вздумалось и ответить тут же, либо отчитать ее, либо отделаться шутками. А так у нее было время обдумать мое молчание. И пожалуй, имеет смысл это молчание продлить.

А впрочем, если повторить за Лиззи ее вполне разумный вопрос, чего я хочу? И почему это женщины на все реагируют так остро, так волнуются по пустякам? Почему вечно требуют объяснений, уточнений? Что и говорить, в ее письме есть и довольно-таки проницательные догадки, и приглушенная вспышка обиды от меня не ускользнула. Эти язвительные и не так чтобы совсем уж несправедливые упреки копились, наверно, долгое время. Может, мне и в самом деле нужна на неполный рабочий день этакая «старшая жена», нечто вроде бывшей наложницы в

гареме, ставшей просто другом: она никуда не денется, с ней легко и привычно, и ничего от тебя не ждут, кроме дружеских чувств? (А изредка можно и побаловаться любовью. Да, такая гаремная ситуация мне подошла бы в самый раз.) И как у Лиззи не хватает ума понять? В моем письме не было ни слова о времени и пространстве, просто я подумал о ней, захотелось ее повидать. А она требует вразумительных ответов. «Поэкспериментировать»? Ну а если и так? Знает ведь, как я ненавижу излияния, а все равно изливается. Ей, видите ли, подавай «все». Ну так всего она не получит. И точка.

К Гилберту я не ревную, но слегка ему завидую! Он-то всех перехитрил. Взял к себе простушку Лиззи на роль милой, ласковой экономки, причем очень сомнительно, чтобы при этом так-таки перестал «охотиться». Сознаюсь, на Лиззи я до сих пор смотрю как на свою собственность. Как-то она во мне застряла. Да, она права, любовь видна, как комбинация из-под платья, как я сказал ей когда-то, когда у нее выглядывала комбинация. (Надо же, как эти женщины запоминают каждое твое слово.) Я бывал к ней невнимателен, даже жесток, но это можно назвать доказательством любви, как невнимание — доказательством дове-

рия. И я, между прочим, отлично помню историю с такси после того завтрака в честь Сидни. Я видел, что Лиззи нацелилась уехать со мной, но в последний момент нарочно предложил подвезти и Нелл Пикеринг. Нелл — новая опереточная дива, я флиртовал с ней в течение всего завтрака. Ей двадцать два года. (Я бы не прочь иметь ее в моем гареме.) Бедная Лиззи. Не пойму, с чего я вдруг написал ей это провокационное, полушутливое письмо? Или это страх перед одиночеством, страх смерти явился ко мне из моря?

Раз уж речь зашла о Лиззи Шерер, можно порассказать о ней и еще. Я полюбил Лиззи, когда мне стало ясно, как она любит меня. Ее любовь тронула меня, потом привлекла — так бывает. Я тогда режиссировал шекспировский сезон. Она влюбилась в меня во время «Ромео и Джульетты», я понял это во время «Двенадцатой ночи», мы познакомились ближе во время «Сна в летнюю ночь». Потом (но это было позже) я полюбил ее во время «Бури», а еще позже бросил ее во время «Меры за меру» (когда герцога играл Алоизиус Булл). Как сейчас помню тот день, когда до меня дошло, что она меня любит. Она играла Виолу (то был период ее недолгой славы, ее annus mirabilis). Уилфрид Даннинг, обычно игравший сэра Тоби

Белча, пожелал тогда сыграть Мальволио. Настаивать ему не пришлось: я не стал возражать. Мальволио он был неподражаемый, но спектакль в целом погубил. Мы с Лиззи были одни в помещении церкви, там был ужасный сквозняк, но другого места для репетиций не нашлось. Был зимний вечер, освещение, почему-то запомнилось, — газовое. Лиззи добралась до четвертой сцены второго акта, а после слов «она молчала о своей любви» вдруг запнулась, точно поперхнувшись, и умолкла. Сперва я решил, что это она сама придумала сделать здесь такую эффектную паузу, и ждал продолжения. А она смотрела на меня. Потом в глазах у нее заблестели большущие слезы. Поняв, в чем дело, я рассмеялся, никак не мог остановиться, а тут и Лиззи рассмеялась и долго беспомощно смеялась сквозь слезы. Золотая была девочка. Она и теперь такая.

Почему-то я всегда представляю себе Лиззи в мужском костюме. Вначале она обратила на себя внимание как мальчик-герой в провинциальных пантомимах. Она тогда была очень тоненькая, чем-то похожа на мальчика, расхаживала в высоких сапожках и очень коротко стриглась. Ее заветной мечтой, так и не сбывшейся, было сыграть Питера Пэна. Она вполне сносно (хоть

и недолго) исполняла роли шекспировских травести. (Сидни впоследствии готовил с ней Розалинду.) Я сделал из нее обворожительную Виолу, но величайшим ее триумфом в тот исторический сезон был Пэк. (В «Ромео и Джульетте» она была дамой без слов. Кто играл Джульетту — не помню, знаю только, что была из рук вон плоха.) Меня трогала ее любовь, ее идеальное послушание, но я в то время был связан с Розиной, и Лиззи оставалась для меня прелестным полупризрачным ребенком-эльфом. При виде ее я всегда смеялся, и она смеялась в ответ. Мы пересмеивались из разных углов ресторанов и в самые неподходящие моменты на репетициях. В силе ее любви я мог не сомневаться, хотя она никогда, даже в тот первый раз, ни слова об этом не сказала. Я счел это признаком хорошего вкуса. Все то время, что мы готовили «Сон», ее сияющий взгляд был обращен на меня, ее воля касалась моей и трепетала. Она понимала и слушалась и, хотя (как сказала мне позже) знала про Розину, пребывала в какой-то блаженной муке, что, признаюсь, доставляло мне приятное чувство. Может быть, это чувство было предвестником той любви к ней, которая позже на меня нахлынула. А от Розины я к тому времени уже порядком устал. В

той постановке «Сна» Оберона играл Алоиз Булл (очень неровный актер), играл грубовато, и я жалел, что сам не взял эту роль. Для Лиззи это был бы предел мечтаний. После того сезона я уехал в Америку, и была гнусная голливудская авантюра, и первый скандал с Фрицци Айтелем. Я, кажется, и в Голливуд-то уехал, чтобы спастись от Розины; во всяком случае, я от нее спасся. Розина думала, что я бросил ее ради Лиззи, но она ошибалась.

Когда я вернулся в Англию, внезапно наступила передышка, атмосфера возвращенной невинности и душевного мира. Было лето. С Клемент все шло гладко, она в то время развлекалась с одним из своих молодых остолопов. После гнусностей Калифорнии я чувствовал себя свободным и счастливым. Хотелось вернуться к Шекспиру после того дерьма, с которым я возился в Америке. Один «дикий» американский режиссер по имени Исаия Моммсен предложил мне сыграть Просперо. Ариэля играла Лиззи. Более одухотворенного, более «точного» Ариэля я в жизни не видел. Ее вдохновляла любовь ко мне, и я, поддавшись этим чарам, тоже полюбил ее. У меня было странное чувство, оно и теперь не прошло, что я люблю ее так, как мог бы любить сына. Она иногда называла себя моим пажом. У нее

был хороший слух и приятный голосок, я до сих пор слышу, как она выводит: «Отец твой спит на дне морском». Ну как, мой ловкий дух, ты все живешь? Помню, она как-то сыграла Керубино в любительской постановке «Фигаро», и этот свой крошечный успех ценила чуть ли не превыше всего. Черт, меня только что осенило: не иначе как Гилберт Опиан видит в ней мальчика!

Моя любовь к Лиззи была в каком-то смысле невинной. (Боже мой, в какие гнусные дрязги меня вовлекали и Рита, и Розина, и Жанна, и Дорис…) Невинность шла от Лиззи. Ее любовь была такая совестливая, такая умная. Она не пыталась, пользуясь своей властью, налагать на меня какие бы то ни было моральные обязательства. Читатель скажет: но обязательства-то были! Ну да, были, но какая-то высшая благодать, рожденная самоотверженностью Лиззи, словно упразднила их, и мы жили в безоблачном мире. Никогда она меня не упрекала. Можно подумать, она стремилась к тому, чтобы я не чувствовал себя в долгу перед ней, а только использовал ее для собственного счастья. Вот так, выраженное словами, это звучит цинично. Но на деле это был с ее стороны величайший, смиреннейший такт, а с моей — самая бережная благодарность. Мы

берегли, щадили друг друга.

Но в то же время это было, конечно, безжалостной пыткой. (Почему я записал это с таким удовольствием?) Я с самого начала сказал ей, что не намерен на ней жениться. И все же, может быть, ее бесконечную доброту ко мне питала дурацкая, слепая надежда? Нет, это некрасивая мысль: не было у нее надежды. Я говорил ей, что наша связь не навек, что моя любовь к ней не навек и ее любовь ко мне, несомненно, тоже. Я толковал о том, что все на свете смертно, о том, как хрупки и нереальны человеческие планы на будущее, какая неразбериха царит в человеческой психике, а ее большие светло-карие глаза говорили мне о вечном. Она говорила — для тебя я хочу быть безупречной, чтобы ты мог покинуть меня без боли, а меня это безупречное проявление любви только злило. Она говорила — я буду ждать всю жизнь, хотя знаю… не жду… ничего. Это ли не любовный дуэт, и как я им упивался, хотя и мучился слегка ее муками. Сколько могла, она скрывала свою боль, но к концу это стало ей не под силу. Она плакала при мне с широко открытыми глазами, не утирая слез. Ее слезы дождем лились мне на рукав, на руку. И когда я наконец велел ей уйти, она ушла как тень, послу-

шалась молча и быстро. После этого я совершил вторую поездку в Японию. Вкус саке до сих пор напоминает мне о слезах Лиззи.

С моим отъездом театральные успехи Лиззи кончились. (Все актрисы, которых я бросал, постепенно сходили на нет, кроме Розины. Клемент я, конечно, вообще не бросал, даже когда у нас обоих были другие любовники, что для последних было несладко.) Через два года после апофеоза Лиззи, после ее Ариэля, люди спрашивали: «А куда девалась Лиззи Шерер?» Я был ей так благодарен, из-за одного этого она во мне «застряла». Милая Лиззи, она ни разу не дала мне почувствовать, что я виноват! Свет мужества и правды озаряет ее в моей памяти. Возможно, она единственная женщина (за одним исключением), которая никогда мне не лгала. И мысль о ее муках не раз наполняла меня какой-то нежной радостью, в то время как о муках других женщин я думаю равнодушно, а то и с досадой.

Когда-то, когда я был молод, я хотел иметь жену, но та девушка исчезла. С тех пор я никогда не думал всерьез о браке. По моим наблюдениям, состояние это незавидное. Единственные счастливые женатые пары, которые я знаю, — это мои кембриджские друзья Виктор и Джулия Банстед,

а в театре — Сидни и Розмэри Эш… Да и они… как знать. Люди скрытны. Можно бы причислить сюда еще Уилла и Аделаиду Боуз, но их брак не распался только потому, что она все время уступает — тоже, наверно, выход из положения. Мне же больше по сердцу драма расставаний, предвкушение новых встреч. Я неспособен предпочесть пугающее постоянство брака магии свиданий и разлук. Меня и общая постель не привлекает, и мне редко хочется провести всю ночь с женщиной, с которой я спал. Утром она кажется мне шлюхой. Брак — это своего рода «промывка мозгов», приучающая нас мириться с многими ужасами. Как часто женатые люди, сами того не замечая, опускаются, делаются неряшливы, некрасивы, скучны. Порой я размышляю об этих ужасах, просто чтобы порадоваться тому, как счастливо я их избежал.

В этом отношении Клемент понимала меня прекрасно — может быть, потому, что, как она сама не уставала повторять, «годилась мне в матери». Сколько раз, вся светясь своей прославленной красотой и обаянием, которые ей удавалось сохранять так долго, она сражала меня этими словами! Мы знали, что никогда не поженимся, знали, что доставим друг другу немало страда-

ний, и все-таки строили счастливые планы на будущее, вдвоем изощрялись над решением этой проблемы. Случай, конечно, был безнадежный, но каким-то чудом этого безнадежного случая хватило Клемент на весь остаток жизни: значит, я не так уж плохо обращался с этой поразительной, неуемной женщиной. Было ли немного жестоко с моей стороны никогда не признаваться, как сильно я люблю ее, постоянно держать ее на иголках, сбивать ее с толку, озадачивать, ставить в невыгодное положение? Допускаю. Я боялся, как бы она меня не «проглотила». Я уходил, возвращался, уходил снова. Она тоже не оставалась одна. Ее всегда осаждали мужчины. Я ее особенно не ревновал — разве что одно время к Маркусу, — потому что связан был с нею так крепко, точно она (ей я этого не говорил) и впрямь была мне матерью. В последние годы она стала очень раздражительна и деспотична и так трогательно все еще старалась мне угодить. Покончить с кокетством она не могла. Когда начались болезни, она очень подурнела, приходилось ей лгать по поводу ее внешности. От ее фигуры ничего не осталось, она ходила в вельветовых брюках и мешковатой кофте — ни дать ни взять старый холостяк, у которого вся одежда спереди в винных

пятнах и крошках табака. И все-таки час в день проводила перед зеркалом со своей косметикой. Наверно, это — последняя радость, с которой расстается женщина. Нет, о браке я никогда не думал. После той, первой девушки все женщины казались мне суррогатом. А может быть, я просто равнялся на шекспировских героинь.

Пишу это после обеда. На обед у меня было яйцо пашот в горячем омлете, потом окунь, тушенный с луком и капелькой порошка карри, а к нему — немножко кетчупа и горчицы. (Только глупцы презирают кетчуп.) Потом божественный рисовый пудинг. Приготовить отличный рисовый пудинг не так уж трудно, но многие ли это умеют? В честь окуня я выпил полбутылки мерсо. Вино у меня кончается.

Да, Лиззи. Она выдержала испытание временем. С другими я знавал более сильную страсть при меньшем комфорте: таинственные глубинные предпочтения одних человеческих особей другим, проворные щупальца, ищущие во мраке, беспричинная, но несомненная любовь к А и равнодушие к В. С Лиззи мне было легко, ее ласковые, умные насмешки давали мне ощущение свободы. Да, решающая проверка — насколько тебе нужно, чтобы человек всегда был рядом.

Это — точная мера, это важнее, чем страсть, или восхищение, или «любовь». Уж не заботит ли меня, кто станет за мной ухаживать, когда придет старость и страх? В общем, хорошо, что ее письмо можно понять как прямой отказ. Никаких тревог, никаких решений. Пусть все идет как идет. Что касается этого ничтожества Гилберта — да пропади он пропадом. Немножко удивляет только, как трогательно Лиззи в него верит. Она права, я мог бы оказать на них обоих страшный нажим, но, конечно, не сделаю этого. Достаточно я, видимо, навредил уже тем, что напомнил бедной Лиззи о своем существовании.

— Мистер Аркрайт, вы знаете, что такое полтергейст?

Мистер Аркрайт выдерживает презрительную паузу, не спеша протирает стойку. Его молчание — отнюдь не признак неуверенности.

— Знаю, сэр.

В слове «сэр» не почтительность, а сарказм.

— А вы не слышали, в Шрафф-Энде они водятся?

— Нет, сэр.

— Кто водится? Что он сказал? — спрашивает один из гостей.

— Полтергейст, — отвечает мистер Аркрайт, —

это такой…

Он не находит слов, и я объясняю:

— Это такое озорное привидение, которое любит все ломать и бить.

— Привидение?

Все многозначительно умолкают.

— Вы не слышали, в Шрафф-Энде бродят привидения?

— Они во всяком доме бродят, — заявляет кто-то.

— Там миссис Чорни бродит, — раздается другой голос. — Она и похожа-то была на…

Сравнение ему не дается. Я меняю тему.

Мой вопрос к мистеру Аркрайту был продиктован не только гибелью моей безобразной вазы. Прошлой ночью случилось довольно-таки страшное происшествие. В шестом часу утра (как потом выяснилось) меня разбудил ужасающий грохот где-то внизу. Уже светало, но в прихожей и на лестнице всегда темно, и я зажег свечу. Сильно, не скрою, напуганный, я спустился в прихожую и увидел, что большое овальное зеркало упало на пол и разбилось вдребезги. Самое страшное то, что и проволока, на которой оно висело, не оборвалась, и гвоздь остался на своем месте в стене. Я был так потрясен и расстроен, что не стал подроб-

но обследовать место происшествия, к тому же боялся, что погаснет свеча, — из двери отчаянно дуло. Сегодня утром я, как дурак, вытащил гвоздь из стены и выкинул, не разглядев его толком. Конечно же, он постепенно отгибался книзу под тяжестью зеркала, и в конце концов проволока с него соскочила. Почему-то мне неохота в это вдумываться, и мне очень жаль зеркала. Рама не пострадала, в нее можно вставить новое стекло, но то, старое, так прекрасно и таинственно отливало серебром. После этой встряски я заснул не сразу и даже не погасил свечу. А когда наконец заснул, мне приснилось, что миссис Чорни появилась из двери в нише и спрашивает, что я делаю в ее доме. Она была похожа на…

Подыскивая за шоссе место для моего огородика, я набрел на кустики превосходной молодой крапивы. А сегодня утром мне посчастливилось купить в деревне свежих домашних лепешек. Какая-то местная благодетельница иногда приносит их в лавку на продажу. Она, говорят, и хлеб печет, я уже оставил заказ. На второй завтрак у меня были холодные ломтики бекона и яйца пашот на крапиве (крапиву готовить как шпинат, я делаю из нее негустое пюре с чечевицей). После этого я услаждался лепешками с маслом и мали-

новым вареньем. Пил местный сидр и старался к нему привыкнуть. Винная проблема все еще маячит на горизонте.

Нашел в конуре еще несколько писем. Приходят они, видимо, нерегулярно, почтальона я еще ни разу не видел. От Лиззи ни слова. Приведу послание от моего кузена Джеймса, очень характерное.

Дорогой Чарльз!

Я узнал, что ты приобрел дом на берегу моря. Означает ли это, что ты расстался с театром? Если так, то это должно быть для тебя облегчением – не нужно больше работать в спешке, вечно помнить о сроках. Во всяком случае, хочется думать, что в твоем приморском убежище ты вкушаешь заслуженный отдых, что нашлось где расставить и развесить твои сокровища и что есть у тебя хорошая кухня, где разыгрывать твои кулинарно-мистические действа! Оставил ли ты за собой твою лондонскую квартиру? По чести говоря, я уже считал тебя неисправимым лондонцем, так что твое бегство меня удивило. Вид-

но ли из твоих окон море? Море всегда возвышает дух, отрадно видеть горизонт как чистую линию. Я бы и сам не прочь глотнуть немножко озона. В Лондоне жарко невыносимо, и уличный шум как будто еще усиливается от жары. Может быть, физики сумеют объяснить это какой-то связью с звуковыми волнами? Ты, наверно, много купаешься? Помню, каким ты всегда был заядлым пловцом. Буду рад получить от тебя весточку, а если окажешься в Лондоне, неплохо бы встретиться и выпить. Надеюсь, ты уже совсем обжился на новом месте и в ладах со своим домом. Любопытно, откуда у него такое необычное название. Как всегда, с наилучшими пожеланиями.

Джеймс.

Письма Джеймса звучат слегка покровительственно, словно он старший брат, а не младший кузен. Иногда они даже бывают так по-родительски назидательны, что собственные дела и поступки начинают казаться детской игрой. И в то же время в этих письмах, которые я получаю регулярно два-три раза в год, за скучным педант-

ством словно сквозит легкое безумие.

Пожалуй, сейчас самое время поговорить о моем кузене более подробно и откровенно. Не то чтобы он когда-нибудь играл в моей жизни важную роль, и в дальнейшем я этого не предвижу. Последние двадцать лет мы видаемся все реже, а в самое последнее время и вовсе почти не встречались. Упоминание в его письме насчет того, чтобы «встретиться и выпить», — это, конечно, пустая дань вежливости. Я редко знакомил Джеймса с моими друзьями (о женщинах и говорить нечего), а он меня — со своими, если они у него есть. (Интересно, от кого он узнал про мой «дом на берегу моря». Увы, скорее всего, и это попало в газеты. Неужели пресса и здесь не оставит меня в покое?) Нет, кузен Джеймс никогда не был важным или активным фактором в повседневных событиях моей жизни. Роль его чисто психологическая.

Мы встречаемся редко, но, когда встречаемся, ступаем на почву глубокую и древнюю. Оба мы единственные дети, сыновья братьев-погодков (дядя Авель был чуть моложе моего отца), у которых не было ни других братьев, ни сестер. Мы нечасто предаемся воспоминаниям, однако воспоминания детства у нас общие, делиться ими

нам больше не с кем. Некоторые люди, даже если их ценишь, навсегда остаются зловещими свидетелями прошлого. Для меня такой свидетель — Джеймс. Неясно даже, симпатизируем ли мы друг другу. Узнай я сегодня, что Джеймс умер, я бы, возможно, счел эту новость приятной, но что это доказывает? Cousinage, dangereux voisinage[11] для нас имело совсем особое значение. Я заметил, что употребил прошедшее время; и правда, как подумаешь, в большой мере все это теперь дело прошлого, плохо только, что до глубин нашего сознания представление о времени вообще не доходит. С годами мне все легче становится не усматривать в образе Джеймса ничего опасного. Как-то раз один мой друг (это был Уилфрид), встретившись с ним у меня, сказал: «Похоже, твой кузен — человек во всем изверившийся». Я словно прозрел, и у меня сразу отлегло от сердца.

В детстве я никак не мог решить, кто из нас настоящий, Джеймс или я. Почему-то было ясно, что оба мы не можем быть настоящими, один из нас должен жить в реальном мире, а другой — в мире теней. Джеймс всегда был до противности неуязвим. Что ж, так пошло с самого начала.

---

[11] Примечания: 11
Родство — опасное соседство *(фр.)*.

Как я уже говорил, мне рано открылось (путем того психологического осмоса, к которому так склонны дети), что дядя Авель женился более «выгодно», чем мой отец, и что в таинственной, но непреложной житейской иерархии семейство Авеля Эрроуби занимает место выше семейства Адама Эрроуби. Моя мать ощущала это различие очень остро и в глубине своей религиозной души наверняка старалась не придавать ему значения. (Говоря о тете Эстелле, она как-то по-особенному выделяла слова «богатая наследница».) Отец, я уверен, действительно не придавал бы этому значения, если бы не я. Помню, он как-то сказал таким странным, чуть ли не виноватым тоном: «Очень мне жаль, что я не могу подарить тебе такого пони, как у Джеймса…» В ту минуту я любил его так неистово и в то же время чувствовал (сколько мне тогда было, десять лет, двенадцать?), что не способен выразить мою любовь, что он, может быть, и не знает про нее и не догадывается. Знал он или нет?

По части материальных благ жизнь наших семей, безусловно, сложилась неодинаково. Джеймс был гордым обладателем вышеупомянутого пони, а затем и еще целого ряда лошадей, и весь уклад его жизни выражался для меня в

словах «собственные лошади». И сколько же мучений я претерпел от этих проклятых лошадей! Когда я бывал в Рамсденсе, Джеймс иногда предлагал мне прокатиться, а дядя Авель (тоже заядлый наездник) готов был поучить меня верховой езде. Но как ни страстно я об этом мечтал, я всегда отказывался — из гордости, с деланым равнодушием; и по сей день я ни разу не садился на лошадь. Более важным предметом зависти, если и не столь жгучей, были путешествия на континент. Дядя Авель ездил с женой и сыном за границу почти на каждые каникулы. Они объездили всю Европу. (У нас, конечно, машины не было.) Они побывали в Америке у родных тети Эстеллы, о которых я нарочно не расспрашивал. Я не выезжал из Англии до поездки в Париж с Клемент после войны. Я завидовал не только их лошадям и машинам, но их предприимчивости. Дядя Авель был выдумщик, искатель приключений, изобретатель, даже гедонист — не то что мой милый, добрый отец. Дядя и тетя ни разу не брали меня с собой в свои сказочные путешествия. Лишь много позже мне пришло в голову — и эта мысль вонзилась мне в мозг как заноза (кажется, она до сих пор где-то там сидит), — что они не приглашали меня, потому что этого не

хотел Джеймс!

Как я уже сказал, такое положение дел заботило моего отца только из-за меня. И меня оно заботило из-за меня, но, кроме того, совершенно независимо, из-за него тоже. Мне было обидно за него. За него я огорчался так, как он, при своем великодушном и мягком характере, за себя не огорчался. И я чувствовал, даже ребенком, что тем самым отстаю от него в нравственном отношении. У меня был хороший дом, любящие родители, но я не мог не жаждать тех благ, которые, равняясь на отца, в то же время и презирал. Я не мог не взирать на дядю Авеля и тетю Эстеллу как на существа высшие, почти богоподобные, по сравнению с которыми мои родители казались незначительными и скучными. При таком сравнении я не мог не видеть в них неудачников. И в то же время я знал, что мой отец — человек положительный и достойный, а дядя Авель, всегда такой эффектный, — самый заурядный, законченный эгоист. Я, разумеется, не хочу сказать, что мой дядя был нахал или хам, отнюдь нет. Он любил свою красавицу-жену и, насколько я знаю, не изменял ей. Был, насколько я знаю, ласковым и требовательным отцом. Я ни минуты не сомневаюсь, что работал он добросовестно и

в денежных делах был безупречно честен — словом, «примерный гражданин». Но это был самый обыкновенный эгоцентрик и сенсуалист, самый обыкновенный удачливый делец. А мой отец — пусть никто, кроме моей матери и меня, этого не знал — был совсем не такой, он был особенный.

И вопреки всему этому я только что не боготворил дядю Авеля и танцевал вокруг него, как собачонка. Во всяком случае, в детстве. Позже, из-за Джеймса, я держался с чуть большим достоинством. Бывало ли моему отцу больно оттого, что дядя Авель казался мне таким живописным? Возможно. Сейчас эта мысль наполняет меня пронзительной грустью. Он не дорожил мирскими благами, но, может быть, втайне жалел, опять-таки ради меня, что начисто лишен внешнего блеска. Мать, возможно, догадывалась об этих его сожалениях (а может, с ней он ими делился), и не этим ли объясняется та раздражительность, которую она не всегда умела скрыть при упоминании о дядиной семье, а в особенности после того, как они побывают у нас в гостях. Они, надо сказать, навещали нас нечасто; им становилось не по себе, когда моя мать, чувствуя, что не может их принять так, как того требует их богатство и положение, начинала извиняться

за наш более чем скромный образ жизни. Жили мы, к слову сказать, в районе, где одиночество сочеталось с невозможностью укрыться от чужих глаз. В каменный, окруженный деревьями Рамсденс я обычно отправлялся один, потому что для моей матери было пыткой находиться под кровлей зятя, а для отца было пыткой находиться под чьей-либо кровлей, кроме своей.

А теперь, упомянув о матери, я должен кое-что рассказать о тете Эстелле. Как я уже сказал, она была американка, но из каких именно мест — не помню и, вероятно, никогда не знал. Америка в те времена была для меня чем-то очень большим и туманным. Где они познакомились с дядей — тоже не знаю. В тете Эстелле воплотилось для меня некое общее представление об Америке: свобода, веселье, шум. Там, где была тетя Эстелла, там был смех, джаз и (о ужас!) вино. И опять я рискую быть неправильно понятым. Ведь речь идет о ребяческих бреднях. Тетя Эстелла не злоупотребляла спиртным, а ее «выходки» — не более как избыток энергии; здоровье, молодость, красота, деньги. В ней было бессознательное великодушие женщины, которой решительно во всем повезло. Меня, когда я был маленьким, она экспансивно ласкала и привечала. Моя мать,

человек отнюдь не экспансивный, относилась к этим (возможно, наигранным) излияниям холодно, но меня они пленяли. У тети Эстеллы был приятный голосок, она любила напевать песенки времен Первой мировой войны и последние модные шлягеры («Розы Пикардии», «Тихо по тюльпанам», «Так печально», «С Дженни в тумане в аэроплане» и прочую классику в том же роде). Помню, однажды в Рамсденсе, когда она зашла ко мне вечером проститься, она мне спела песенку про то, что «одному при луне сидеть на плетне совсем не интересно». Меня эта песенка рассмешила, и, вернувшись домой, я попробовал позабавить ею родителей, что, конечно, было ошибкой. («Скучно сидеть под зеленой сосной в обнимку с самим собой».) Тете Эстелле я, вероятно, обязан тем, что поющий человеческий голос всегда глубоко, почти пугающе волнует меня. Странно и жутко выглядят на сцене открытые рты певцов и особенно певиц — блестящие белые зубы, влажная красная пасть. В общем, тетя Эстелла была для меня фигурой символической, сверхсовременной, даже футуристической, как вещий зов в мое собственное будущее. Она обитала в стране, которую я был твердо намерен найти и завоевать. Примерно так оно и случилось, но,

когда я стал в той стране королем, ее уже не было в живых, и странно думать, что мы, в сущности, не знали друг друга, никогда с ней, в сущности, не разговаривали. Как легко нам было бы в последующие годы забыть о разнице в возрасте и с каким удовольствием мы могли бы общаться! Я изредка упоминал о ней в разговорах с Клемент, и та говорила, что из всей моей родни только с ней была бы рада познакомиться. (Родители мои, разумеется, никогда не видели Клемент — им было бы очень тяжело узнать, что я открыто живу с женщиной вдвое меня старше; а с тетей Эстеллой я мог бы ее познакомить.) Когда тетя Эстелла погибла в автомобильной катастрофе, мне было шестнадцать лет, и горевал я меньше, чем можно было ожидать. У меня в то время были другие заботы. Но грустно думать, что, хотя она, на свой рассеянный лад, была ко мне так добра, для нее я, вероятно, остался всего лишь неловким, неотесанным, неприметным кузеном Джеймса. А для меня она была чудом, знамением. Третьего дня, разбирая в Шрафф-Энде всякие мелочи, я нашел ее снимок. Снимков моей матери не нашлось ни одного.

Нельзя сказать, чтобы моя мать строго судила тетю Эстеллу или очень уж не одобряла ее

поведения, хотя от спиртного и шума ее всю передергивало; и не то чтобы она завидовала: ведь ей не нужны были те мирские блага, что составляли усладу тети Эстеллы. Нет, самое ее существование глубоко удручало мою мать, а ее посещения, как я уже упоминал, вызывали мрачную раздражительность. Возможно, дядя и тетя считали, что меня воспитывают слишком строго. Глядя со стороны и видя запреты, но не видя любви, эти запреты диктующей, люди склонны слишком поспешно зачислять других людей в разряд «узников». Я вполне допускаю, что умный дядя Авель и эмансипированная тетя Эстелла жалели моего отца и меня и осуждали мою мать за то, что считали с ее стороны деспотизмом. Если мать догадывалась о таком их отношении, ей, конечно, это было обидно; и возможно даже, что эта обида толкала ее на то, чтобы быть с нами еще строже. Возможно и то, что, прозревая мои ребяческие фантазии об Америке, которую в моих глазах воплощала собой тетя Эстелла, она ревновала. Много позже я спросил себя, уж не воображала ли она, что мой отец был неравнодушен к своей неугомонной невестке? Но нет, я уверен, что он не питал к тете Эстелле никаких глубоких чувств, опять-таки если не считать ме-

ня, и что мать это знала. (До чего эгоистично все это звучит, точно вся жизнь родителей только вокруг меня и вертелась. Но ведь так оно и было.) Со временем я перестал предвкушать посещения тети Эстеллы (хотя радовался им по-прежнему), потому что они так удручали и сердили мою мать. Эти визиты всегда наносили нашему дому какой-то ущерб, от которого он не сразу мог оправиться. Мы выходили проводить их на крыльцо, и, когда «роллс-ройс» наконец скрывался из вида, мать сжимала губы, отвечала односложно, а мы с отцом ходили на цыпочках и старались не встречаться глазами.

В школе мне было хорошо, но там не было ни закадычных дружб, ни волнующих происшествий, не было и горячо любимых учителей, хотя некоторые из них, например тот же мистер Макдауэл, имели на меня влияние. Дядя и тетя маячили как огромные романтические образы, как точки приложения смутных чувств на фоне, в общем-то, до странности пустого детства. Но они оставались далекими, словно в дымке, словно в тумане, — отчасти, конечно, потому, что мною интересовались только между прочим. Я никогда не чувствовал, что они по-настоящему меня видят или хотя бы пытаются разглядеть. С

Джеймсом все было иначе. С самых ранних лет мы с ним без слов, но постоянно, остро и подозрительно ощущали существование друг друга. Мы наблюдали друг за другом, инстинктивно скрывая это взаимное внимание от родителей. Не могу сказать, что мы боялись друг друга: боялся я, и не столько Джеймса, сколько чего-то, что стояло за ним. (То было, надо полагать, мое еще неясное представление о собственной жизни как неудаче, как полном провале.) Но наши отношения были словно окутаны облаком неуюта и тревоги. И все это, конечно, без звука: мы никогда не говорили об этой скованности, нас разделявшей; возможно, мы бы и не нашли для этого слов. И едва ли наши родители об этом догадывались. Даже мой отец, знавший, что я завидую Джеймсу, об *этом* и понятия не имел.

Повторяю, я не чувствовал себя с Джеймсом свободно отчасти из страха, что он преуспеет в жизни, а я нет. Это, вдобавок к лошадям, было бы уже слишком. Невозможно сказать, в какой мере моя «воля к власти» была порождена глубоко скрытым давнишним желанием в чем-то превзойти Джеймса и поразить его воображение. Не думаю, чтобы Джеймс тоже стремился меня превзойти, а может быть, он знал, что ему для

этого и стараться не нужно. Все преимущества были на его стороне. Он получил куда лучшее образование (о чем я не мог думать без скрежета зубовного). Я ходил в местную классическую школу (добропорядочную и скучную, ныне уже не существующую), Джеймса отдали в Винчестер. (Впрочем, там были свои недостатки. В него они въелись прочно. Говорят, мало кому удается от них избавиться.) Я сам себе дал вполне приличное образование, а главное — я приобщился к Шекспиру. Но Джеймс, как мне тогда казалось, учился решительно всему. Он знал латынь, греческий и несколько новых языков. Я немного знал французский, еще меньше — латынь. Он много знал о живописи, регулярно посещал музеи Европы и Америки. Он мог порассказать о разных странах. Он был среди первых по математике, получал призы по истории. Он писал стихи, и их печатали в школьном журнале. Он блистал, и, хотя вовсе не был хвастлив, я, когда бывал с ним, все острее ощущал себя провинциалом и варваром. Я чувствовал, что пропасть между нами ширится, и из этой пропасти, в которую я все пристальней всматривался, на меня глядело отчаяние. Было ясно, что моему кузену написан на роду успех, а мне — поражение. Интересно,

насколько все это понимал мой отец?

Перечитал эти страницы и опять чувствую, что создаю неверное впечатление. Автобиография, какой же это, оказывается, трудный жанр! Обида, неистовое честолюбие, которое Джеймс (совершенно, я уверен, бессознательно) пробудил во мне, — все это росло постепенно и бушевало с перерывами. В раннем детстве, да и позднее, мы с Джеймсом играли как самые обыкновенные мальчишки. У меня было мало товарищей — мать не любила, чтобы у нас бывали другие дети. (Я не жаловался — я сам не очень-то любил других детей.) А Джеймс, если у него и были товарищи, не знакомил их со мной. И мы играли вдвоем, но при этом далеко не всегда так болезненно следили друг за другом, как можно заключить из рассказанного выше. Но и в обычных играх превосходство Джеймса обнаруживалось без всяких усилий с его стороны. Он больше моего знал о цветах и птицах, ловко лазил на деревья. (Совсем маленьким он, помню, всерьез собирался научиться летать!) Он прекрасно ориентировался без дорог. Каким-то шестым чувством обнаруживал нужные места и вещи. Всегда первым находил закатившийся мяч; а однажды мгновенно отыскал мой старый игрушечный самолетик,

стоило мне сказать, что я потерял его.

Пока я огорчал своих родителей, изучая театральное искусство в Лондоне, Джеймс был примерным студентом в Оксфорде, где занимался в основном историей. В эту пору мы совсем разошлись; я не жаждал узнавать о новых и новых его триумфах, отказывался интересоваться его планами. Каковы бы ни были эти планы, они не осуществились, потому что началась война. Он вступил в полк каких-то там стрелков, позже их прозвали «зеленые куртки», и с тех пор на всю жизнь стал военным, хотя в то время едва ли это предвидел. Сейчас мне и думать о нем трудно иначе как о военном. Войну он провел весьма интересно (пока я разъезжал в автобусах с шекспировскими спектаклями для шахтеров). В какой-то момент я узнал, что он в Индии, в Дехрадуне. У меня были свои проблемы, главным образом первая любовь и ее последствия, а затем первые стычки в долгой войне с Клемент. О приключениях Джеймса я узнал в общих чертах позднее. Он совершил несколько восхождений в горы. Заинтересовался Тибетом, изучил тибетский язык и периодически исчезал верхом за линией границы. (Вот когда ему, наверно, пригодилась домашняя выучка.) Затем его послали

с какой-то миссией или миссиями к какому-то тибетскому правителю — что-то связанное с германскими военнопленными. Времяпрепровождение это было захватывающее, но в боях он, сколько я знаю, не участвовал. Я все опасался, что он вот-вот получит крест Виктории. Но что он храбрый человек в том смысле, в каком про меня этого не скажешь, — в этом я никогда не сомневался.

Мои родители очень удивились, узнав после войны, что Джеймс решил стать кадровым военным. Они говорили, что дядя Авель разочарован этим решением. Дядя Авель мысленно видел Джеймса премьер-министром. (Это было уже после смерти тети Эстеллы.) А я вроде бы даже приободрился — мне показалось, что Джеймс сделал неправильный ход. Я тогда начинал утверждаться в театре, моя «воля к власти» уже приносила кое-какие плоды, и Клемент была в моей жизни как нескончаемый карнавал. Так, значит, кузен Джеймс будет военным. Дядя Авель говорил, что это временно, что Джеймсу просто хочется иметь побольше свободного времени и писать стихи. Моя мать говорила, что дядя Авель высосал это из пальца. Никто из нас как будто и не вспомнил, что армия тоже, и притом с

незапамятных времен, служит дорогой к власти и славе.

Сразу после войны, когда происходили трогательные встречи ее уцелевших участников, я довольно часто видался с Джеймсом, но потом он опять исчез. Он только и делал, что исчезал. Вернулся из Индии и получил назначение в Германию. Потом снова был в Англии, учился в штабном колледже, потом снова Индия. Позже один человек сказал мне, что он был послан в Тибет с секретным поручением — разведать, что предпринимают в этом районе русские. Мне он, конечно, ни слова не говорил о своей работе. Его маршруты я себе более или менее представлял, потому что он регулярно, два раза в год, присылал мне открытки с видами — к Рождеству и ко дню рождения. Я не оказывал ему таких знаков внимания, но если получал письмо, то всегда отвечал, хоть и кратко. Его письма, по большей части скучные, не содержали никаких интересных сведений. В следующий раз он появился в Лондоне сразу после китайского вторжения в Тибет. Ни до того, ни после я не видел его в таком волнении. Было ясно, что для него это личная трагедия. Он с горечью клеймил недомыслие тех, кто не понял, что настоящая угроза исходит не

от России, а от Китая. Но больше всего огорчало его не то, что в верхах пренебрегли разумными советами (возможно, его собственными), а то, что рушится нечто очень ему дорогое. Он скоро подавил это чувство и никогда больше со мной этой темы не затрагивал.

Следующую открытку я получил из Сингапура, а в следующем письме, тоже из Сингапура, он выражал соболезнование по поводу смерти моего отца. (Как он о ней узнал?) После этого я потерял Джеймса из виду, потому что на какое-то время потерял из виду все и вся, свет погас в моей жизни. Я оплакивал отца долго и горестно. Боль от утраты этого доброго, прекрасного человека не прошла до сих пор. И, словно этого было мало, посыпались новые беды. Я ушел от Клемент, запутался в связях с другими женщинами; и профессиональная моя карьера пошла прахом, как казалось тогда — окончательно. Вскоре после этого умерла моя мать, и я воспринял ее смерть не как отдельное событие, а лишь как неотвратимое дополнение к смерти отца. А еще немного позже умер дядя Авель. Я к тому времени уже давно перестал им восхищаться, перестал даже думать о нем. Помню, что собирался написать Джеймсу, но так и не написал. Помню и то, что только тут

впервые задумался, каково было Джеймсу, совсем еще юному, когда умерла его изумительная мать. Меня-то участь тети Эстеллы не так уж потрясла, мне хватало своих горестей. А что должен был пережить Джеймс, об этом я не подумал.

Я упомянул об одном человеке (следовало сразу его назвать, его зовут Тоби Элсмир), от которого слышал о секретных миссиях Джеймса в Тибет. Этот человек, ничем, вообще-то, не примечательный, изредка сообщал мне кое-какие сведения о моем кузене. Они вместе учились в школе и служили в «зеленых куртках». Элсмир стал биржевым маклером, потом издателем, вкладывал деньги в театральные предприятия, на этой почве мы с ним и познакомились. Немного спустя после моей полосы невезения мы встретились на вечере по случаю какой-то премьеры, и Элсмир сказал: «Вам, вероятно, известно, что ваш кузен стал буддистом?» Эта новость поразила меня и заинтриговала безмерно. Я никогда не связывал Джеймса с религией. Нас обоих растили в понятиях того туманного английского христианства, которое уже в юности выветривается. Моя мать, надо отдать ей справедливость, не навязывала ни отцу, ни мне своих узкоевангелических верований. Возможно, считала, что это «грешно».

Однако она априори считала нас христианами. Мы ходили в англиканскую церковь. С Джеймсом мы, конечно, никогда не говорили о религии. Доведись мне задуматься над этим в молодости, я, вероятно, сказал бы, что руководящий этический принцип в жизни Джеймса — не быть вульгарным. Религия как стиль поведения? Что ж, бывает и хуже. Вот уж не думал, что он способен увлечься мистикой экзотического Востока. Очень, очень странно.

Удивлялся я, впрочем, недолго. В конце концов, как это можно понять? Не мог же Джеймс уверовать в переселение душ. Следующая наша встреча состоялась, уже когда в нашей жизни наступила, можно сказать, новая эра. Смерть моего отца, мой период профессионального отчаяния, мои злоключения в Голливуде — все это было позади. С Клемент я помирился. (Мы вместе ездили в Японию.) Я успел прославиться, поистине стал королем в стране тети Эстеллы. Я спросил Джеймса: «Так ты, говорят, буддист?» Он ответил с улыбкой: «А как же!» — и тон его мог означать либо «да», либо «что за чушь!». Я заговорил о другом. С годами он все больше времени стал проводить в Лондоне, работал в Министерстве обороны и сейчас там работает. Его квартира в

Пимлико битком набита Буддами, но она битком набита всяким восточным хламом, в том числе, надо думать, и индуистским.

Джеймс теперь, конечно, генерал. Не помню, какой именно. На своем поприще он, думаю, тоже прославился. А тайное ощущение, что я «выиграл игру», происходит от того, что он, по-моему, изверился в жизни, а я нет.

— Там человек в одну секунду утопнет.
— В три секунды.
— В одну.
— В три.

Образчик дискуссий в «Черном льве». Завсегдатаи словно воспринимают как личную обиду, что я купаюсь в море, которым они гордятся как потенциальным убийцей. Рассуждения в таком духе — разумеется, обращенные не ко мне — начинаются, как только я появляюсь в трактире.

Я вступаю в разговор:
— Я хорошо плаваю.
— Вот такие-то и топнут.
— Голяком плаваете, — добавляет кто-то.
— Голяком?
— Плаваете, говорю, голяком.
— А-а, без трусов.

Значит, за мной наблюдают.

Они смотрят на меня молча, с тупой неприязнью.

— Тюленей еще не видали? — бодро спрашивает мистер Аркрайт.

— Пока нет.

Нынче утром, наведавшись к башне, я с сожалением обнаружил, что моя «веревка» из занавески тоже каким-то образом отвязалась и исчезла. Я все же выкупался. Кажется, мускулы у меня окрепли, и вылезать на берег я наловчился. Но при этом всегда умудряюсь исцарапаться или порезаться. Желтые скалы, издали такие гладкие, на самом деле шершавые и колючие, словно обклеены миллионами крошеных острых осколков от ракушек. Вчера я нырял со своего утеса во время прилива и выбрался благополучно, хотя легкая тревога и подпортила мне удовольствие. Но я не уроню себя в глазах «Черного льва», не дождутся они, чтобы я пошел на «дамское купанье»!

Сегодня все небо затянуто приятной, очень легкой дымкой, а у моря вид обманчиво смирный, словно маленькие серебристые волны изо всех сил ластятся к скалам, решив не выдавать себя ни единым белым гребешком. Это плотное, светлое, благодушное море, очень красивое. Тюлени в нем должны быть непременно, сегодня и

волны-то почти как тюлени, и все-таки я тщетно оглядываю водный простор в полевой бинокль. Огромные желтоклювые чайки, усевшись на скалах, вперяют в меня блестящие стеклянные глаза. Баклан на бреющем полете носится над глицериновым морем. Сонмы бабочек кружат возле скал. По-прежнему жарко. Стираю белье и сушу его на своей лужайке. От ежедневного купанья чувствую себя крепким, просоленным. Лиззи все молчит, но меня это не волнует. Мне хорошо в моей тишине. Если боги припасли для нас с Лиззи какой-то праздник — отлично. Если нет — тоже отлично. Ощущение невинности и свободы. Может, все оттого, что много купаюсь.

Как высокопарно, почти выспренне я выражаюсь, став писателем! Многие драматурги, я знаю, смотрят на повествовательную прозу как на некий чужой язык, которым и не мечтают овладеть. Возможно, и я одно время чувствовал нечто подобное. А вот гляди ж ты, сколько страниц я уже исписал! Сейчас перечел эскиз, посвященный Джеймсу, — право же, неплохо. Но правдивый ли это портрет? Нельзя сказать, чтобы он был совсем уж недостоверен, но написано слишком мало и слишком гладко. Как описывать настоящих живых людей? В моем описании

Джеймс выглядит таким законченным, таким жестким. Я еще не сказал, что у него мелкие квадратные зубы и по-детски глуповатая улыбка. Иногда он точно забывает закрыть рот. Нос у него с горбинкой и смуглый цвет лица. Тетя Эстелла тоже была смуглая. Может быть, в ней была доля индейской крови?

Нужно уделять этим портретам больше труда. Может, к этому и сведется моя книга — просто моя жизнь, рассказанная как серия портретов всяких людей, которых я знал. До чего же разношерстная компания: Клемент, Розина, Уилфрид, Сидни, Перегрин, Рита, Фрицци, Жанна, Алоиз Булл… Нужно писать о Клемент. Она — моя главная тема. Какая злая она стала в конце, когда потеряла свою красоту и начала терять рассудок. И какая бывала противная и скучная, когда в сотый раз принималась рассказывать все те же скандальные, непристойные истории. Невыносимая атмосфера в ее квартире, запах спиртного, запах слез и истерик. Ее низкий, зычный, пьяный голос — попреки, попреки, попреки. Как я это выдержал? Кажется, с честью. Как только я узнал, что она обречена, на помощь мне пришли снисхождение, сострадание. Звучит цинично. Но я всегда любил ее; и мы были вознаграждены. В

самом конце мы оба были безупречны. Бедная Клемент. Страшное это царство — старость. Скоро я и сам в него вступлю. Не потому ли мне вдруг понадобилась Лиззи?

Пишу на следующее утро. А вчера поздно вечером, когда я писал в гостиной, случилось что-то непонятное. Я поднял голову и какой-то миг был уверен, что вижу лицо, глядящее на меня через стекло из внутренней комнаты. Я застыл на месте, пораженный ужасом. Я видел это лицо только мгновение, но совершенно отчетливо, хотя описать его не смог бы. Может быть, то, что я его не запомнил, имеет значение? Немного погодя я, конечно, отправился на рекогносцировку. Новую керосиновую лампу удобно переносить с места на место, так что мне не пришлось заглядывать во все углы со свечой. И конечно, ничего интересного я не увидел. Я даже обошел весь дом. Признаюсь, мне было очень не по себе. Нарочно замедляя шаг, я поднялся по лестнице, лег в постель и принял снотворное. Ночью мне слышалось, что постукивает занавеска из бус, но это явление объяснимое. К утру поднялся ветер, и море опять синее с белым.

Я подумываю о двух возможных решениях вчерашней загадки. Во-первых, я мог просто увидеть

в черном стекле свое отражение. Но ведь я писал сидя (а тут, может быть, встал, сам того не заметив?) и голова моя приходилась намного ниже внутреннего окна. Да и лицо появилось не в нижней части окна, а выше, а значит (тоже идея!), принадлежало либо кому-то очень высокого роста, либо кому-то, кто на что-то влез. (Но влезать там не на что, ведь складной столик я перенес сюда.) Вторую гипотезу я проверю вечером. Вчера окно, выходящее на море, не было занавешено и светила почти полная луна. Может быть, луна и отражалась во внутреннем окошке?

«Повсюду полно богов», — сказал однажды кузен Джеймс, цитируя кого-то. Может быть, меня всю жизнь окружают маленькие боги и духи и только магия театра держала их в узде или отгоняла? Актеры — люди суеверные, это давно известно. А теперь мы, значит, остались с глазу на глаз. Ладно, манией преследования я никогда не страдал и теперь не собираюсь.

Надо наконец побывать в отеле «Ворон», пополнить запас вина. И пожалуй, не стоит больше заводить в «Черном льве» разговоры про привидения и морских чудовищ.

Решил сегодня не купаться.

Ходил за покупками. В лавке все обещают са-

лат, но пока не получали. Свежей рыбы, конечно, тоже нет. Нашел еще несколько писем в каменной конуре. От Лиззи ни слова, зато подал о себе весть Перегрин Арбелоу. На второй завтрак приготовил свое любимое вегетарианское рагу: лук, морковь, помидоры, мука, чечевица, перловка, растительный белок, сахар и прованское масло. (Растительный белок привез с собой из Лондона.) Перед самой едой накапать лимонного сока. Блюдо очень легкое, добавил к нему печеную картофелину со сливочным сыром. Затем булочка и чернослив. (Чернослив — объедение, если как следует приготовить. Промыть, откинуть, добавить лимонного сока или апельсиновой воды, только не сливок.) На случай, если читателя удивит, почему в моем меню отсутствуют яблоки, скажу, что это единственный случай, когда мне повредил мой аристократический вкус: из всех сортов яблок я признаю только оранжевый пепин, так что с апреля по октябрь ношу по яблокам траур.

Для первого знакомства с Перегрином приведу его письмо.

Чарльз, как живешь? Мы тут все сгораем от любопытства. Выходит, ты

так-таки никого не приглашал? Но тебе без нас должно быть дьявольски скучно. Или ты тайком вернулся в свою лондонскую квартиру, отключил телефон и выходишь только по ночам? Кто-то говорил, что твой дом стоит на голом мысу, омываемом волнами, но это, по-моему, враки. Я скорее вижу тебя в уютном коттедже на набережной. Не представляю, чтобы ты мог жить без твоей электрической соковыжималки. Если ты действительно изменил образ жизни, я этого просто не вынесу. Ведь я сам всегда хотел это сделать, но не мог и не смогу. Сдохну в постели таким же подонком, каким жил. Я тут пил неделю без просыпа, когда вернулся из ада, сиречь из Белфаста. Цивилизация – ужасная вещь, но не воображай, что ты можешь от нее спастись. Я хочу знать, чем ты занят. И не воображай, что можешь от меня спрятаться, я – твоя тень. Собираюсь навестить тебя на Троицу. (Кто-то предложил пари, что не рискну, а против пари, ты знаешь, я не могу устоять.) Всякие люди просили бы передать тебе приветы, если б знали,

что я пишу, но никакие это не приветы, а просто нахальное любопытство. Мало кто тебя достоин, Чарльз. Принадлежит ли к их числу нижеподписавшийся? Время покажет. Захватить мне с собой купальные трусы? Я не купался в море с наших исторических дней в Санта-Монике. Есть еще версия, что ты якобы вообще не в Англии, а укатил в Испанию с женщиной. В опровержение чего изволь написать. Тень твоя приветствует тебя.

Перегрин

Сейчас, позавтракав (а мне и правда недостает моей выжималки), я сижу наверху у окна. Небо в тучах, море неспокойное, сине-серое, какого-то враждебного, неприятного цвета. Чайки справляют поминки. В доме сыро. Возможно, я еще угнетен вчерашним происшествием, хотя это, конечно, была галлюцинация, не более того. (Однако насчет луны я все-таки проверю.) И я хотя бы вправе написать «угнетен», а не «напуган». Бояться тут нечего.

Набросаю, пожалуй, кое-какие штрихи к портрету Перегрина. В этой связи придется поговорить о Розине, а об этой даме я предпочел бы забыть.

Что ж поделаешь, взялся за автобиографию, так нельзя все время только ублажать себя.

Перегрин (он терпеть не может, когда его называют Перри, так же как я, когда меня называют Чарли; меня так зовут только те, кто совсем меня не знает) — один из тех людей, что составили себе четкое представление о той жизни, какой они хотят жить, и о роли, какую хотят играть, и живут и играют, не считаясь с кем бы то ни было, особенно со своими близкими. И самое странное то, что такие люди могут заблуждаться, могут, так сказать, ошибаться в своем амплуа и все же борются и побеждают — отчасти потому, что их «жертвам» легче иметь перед глазами простой, определенный тип, нежели разбираться и анализировать. Перегрин, человек во многих отношениях мягкий и добрый, выбрал себе роль грубияна и медведя. В этой роли он с необыкновенной легкостью наживает себе врагов. Я лично считаю, что без надобности наживать врагов в театре, да и вообще в жизни, — это недостаток профессионального умения, а он, как дурак, вечно лезет на рожон. Ему недостает щепетильности подлинного артиста. Мне все время приходилось его терроризировать, чтобы являлся на спектакли трезвым. У него есть задатки прекрасного

актера, но есть и зазнайство, и халатность, этакая ирландская бесшабашность, и очень уж он снисходителен к самому себе.

Перегрин — ольстерский католик, учился на медицинском факультете Королевского университета в Белфасте, оттуда сбежал в Дублин, в театр «Гейт». Ирландию он ненавидит так, как может ее ненавидеть только ирландец. С религией он в ранней молодости распростился ради марксизма, потом распростился и с марксизмом. Впервые я видел его на сцене в «Удалом молодце»[12] (в те далекие дни он был худ и строен) и сразу отдал должное его таланту. Теперь, когда мы уже несколько лет не работаем вместе, он постепенно отцветает как очаровательный толстый телевизионный злодей. Мое мнение о его карьере ему известно, но мы остались друзьями, несмотря даже на то, что я украл у него жену. Он женился вторично, столь же несчастливо, на бывшей актрисе Памеле Хаккет, у которой имеется маленькая дочка от ее предыдущего ужасающего брака с Рыжиком Годвином. (Где-то он теперь?) И зачем только люди вступают в брак?

Да, без разговора о Розине не обойтись, но,

[12] Примечания: 12

«Удалой молодец — гордость Запада» — пьеса ирландского драматурга Дж. М. Синга (1907).

может быть, мне даже будет полезно все это записать. Всего-то, положим, не напишешь, сколько бы ни извел бумаги. Розина — явление внушительное. Когда мы встретились, она уже была женой Перри. Они познакомились в Америке уже после того, как я обнаружил его в театре «Гейт». Я был еще сравнительно молод, хотя успел приобрести некоторую известность как драматург и режиссер. Тут, очевидно, прошло еще сколько-то времени (жаль, жаль, что я не вел дневника), потому что преследовать Розину я начал после того, как опять провел какой-то период с Клемент. Сколько же сил я потратил в жизни на то, чтобы избавляться от женщин! Рита Гиббонс тоже причастна к этой истории, так что, пожалуй, это было еще позднее. Клемент терпела Риту, Лиззи и Жанну. Розину же люто ненавидела. Разумеется, я лгал Клемент (а она мне), но всегда находились желающие держать ее в курсе дела.

Розина — это, конечно, Розина Вэмборо, самая, вероятно, известная фигура в этой книге, не считая меня. Ее настоящая фамилия, которую она скрывает, — Джонс (или Уильямс, или Дэвис, или Риз), она из Уэльса, внучка канадской француженки. Я никогда не был «влюблен» в Розину. Это слово я берегу для той единственной женщины,

которую любил безоглядно (не для милой Клемент, конечно). Но что я сходил по Розине с ума — это бесспорно. (К тому же когда прекрасная и остроумная женщина пылает к тебе страстью, поневоле чувствуешь, что ты пропал.) Была ли она в меня влюблена — не уверен. Неистовая жажда обладания — вот что владело и ею, и мной во время нашей связи. Был момент, когда ей хотелось стать моей женой, у меня же никогда и в мыслях не было на ней жениться. Я просто желал ее, а чтобы удовлетворить это желание, требовалось раз и навсегда увести ее от мужа. Клемент до известного возраста была, вероятно, самой красивой женщиной, какую я знал. Но Розина — самая стильная, самая роскошная и неотразимо искусственная. В ее обаянии было что-то наигранное, хрупкое, до предела женственное, так и подмывало стиснуть ее, смять, раздавить. Она слегка косит на один глаз, что придает ее взгляду особую пристальность. Глаза у нее сверкают, словно из них в самом деле сыплются искры. Она вся заряжена электричеством. И я не встречал женщины, которая умела бы так быстро бегать на высоченных каблуках.

Она была (и сейчас осталась) хорошей актрисой и очень неглупой женщиной. (Эти свойства не

всегда сочетаются.) Красота ее — смесь кельтской и галльской: синие глаза, жесткие темные волосы и большой влажный чувственный рот. Господи, до чего разные бывают поцелуи! Поцелуи Лизи были сухие и целомудренные, но льнущие. Розина целовала, как тигрица. В Розине было вызывающее обаяние той зловредной девицы из сказки, на которой принц не женится, хотя и сама она, и ее реплики интереснее, чем у той девицы, которой принц достается. Она была хорошей комической актрисой, блистала в дешевых комедиях Реставрации (они меня не привлекали). Она создала запоминающийся образ Гедды Габлер и по-своему трогательный — Натальи Петровны из «Месяца в деревне». К сожалению, Онор Клейн[13] у нее не получилась. Когда я с ней работал, я пробовал давать ей роли не ее профиля; с другими актерами у меня это не раз выходило удачно. Она была на удивление хороша в роли президентши в инсценировке «Опасных связей», которую сделал Сидни. Играть леди Макбет я ей не разрешал, а когда много позже Исаия Моммсен пошел на такой риск, результат был плачевный. Когда я ее

[13] Примечания: 13

Онор Клейн — героиня романа Айрис Мердок «Отсеченная голова», который автор в сотрудничестве с Дж. Пристли позднее переделала в пьесу.

бросил, она одно время металась между идиотскими фильмами и телевидением. Я был доволен. Бросив ее, я не желал больше видеть ее имя на афишах Шафтсбери-авеню и не желал знать, какой режиссер с ней работает. *La jalousie naît avec l'amour, mais ne meurt pas toujours avec lui*[14].

Промежуток между утолением жажды и адом был недолгий, но, что и говорить, чудесный. Розина — из тех женщин, которые считают, что «хороший скандальчик очищает атмосферу». Я, со своей стороны, убедился, что хороший скандальчик не только не очищает атмосферу, но может сделать людей врагами на всю жизнь. Скандалы в театре бывают ужасны, я их всегда избегал. За это Розина называла меня трусом. Она обожала скандалы, какие угодно, ей и любовь представлялась цепью скандалов. Я начал уставать. Хочу надеяться, что я, если бывало нужно, всегда умел навести золотой мост для отступления. У Розины, когда она убедилась, что я остываю, не было наготове такой спасительной конструкции. Она цеплялась все крепче, визжала все громче. Она всегда была патологически ревнива, еще хуже, чем я. Всю мою жизнь ревность

[14] Примечания: 14

Ревность рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с ней умирает *(фр.)*.

шла со мной бок о бок, я видел ее проявления, муки, ею вызванные. Сейчас вспоминается нечто совсем иного порядка, но не менее страшное: как молчала моя мать после визитов тети Эстеллы.

К концу мы оба были немного помешанные. Помню, мой кузен Джеймс цитировал слова какого-то философа о том, что «предпочесть гибель мира царапине на собственном пальце вовсе не противоречит разуму». Мы с Розиной дошли до такой стадии (правда, с разумом она имела мало общего), когда безусловно предпочли бы гибель мира. Помню, однажды Розина в приступе ярости скатилась с лестницы. Несколько раз я был готов к тому, что она выбросится из окна, и смутно надеялся на это. Я пришел к выводу, а может быть, и всегда чувствовал (опять-таки говоря словами какого-то француза): *elle n'a qu'une faute, elle est insupportable*[15]. Я до сих пор иногда просыпаюсь среди ночи с мыслью: «Какое счастье, что эта женщина ушла из моей жизни!» К Перегрину она тогда, конечно, не вернулась.

Перри своим поведением заслужил мою глубокую благодарность, даже восхищение. Циники уверяли, что он был рад сбыть Розину с рук, но

---

[15] Примечания: 15

У нее всего один недостаток: она невыносима *(фр.).*

я-то знаю, что это не так, он страдал. Не сомневаюсь, что с Розиной у них шла непрерывная война, но то же можно сказать о многих, не обязательно несчастливых женатых парах. Думаю, что он любил ее, хотя, вероятно, как и я, со временем почувствовал, что она невыносима. И я вполне допускаю, что, когда проблема разрешилась помимо его воли, он ощутил облегчение. Позже он усиленно демонстрировал мужскую солидарность. Он по-прежнему очень ко мне привязан, и я это ценю. Одним из следствий его поистине удивительного великодушия и доброты является то, что, хотя объективно я понимал, что поступил дурно, вины я почти не чувствовал. Потому что Перри ни разу меня не упрекнул. А вот перед моим шофером Фредди Аркрайтом я всегда чувствовал себя виноватым, потому что однажды он на меня наорал, а не потому, что я вызвал его гнев, заставив три часа ждать голодным, пока сам обжирался в отеле «Коннот». Чувство вины часто порождается не самим проступком, а нареканиями за него.

Бродил по своим скалам, рвал цветы. Получился прелестный букет из валерианы, армерии и горицвета. У горицвета очень сильный сладкий запах. Все собираю камни, никак не могу

остановиться. В корытце уже не хватает места, хотя самые красивые я пустил на бордюр вокруг лужайки. Выглядит он как-то несерьезно, еще не знаю, понравится ли он мне, когда будет закончен. Смотрятся камни хорошо, но боюсь, как бы не обесцветились с нижней стороны, где их касается земля.

Нынче утром купался с каменистого пляжа под дождем. Пляж примерно в миле от дома, в сторону деревни, так что я захватил трусы, однако не надевал их, потому что никого не было. От дождя море утихло, стало гладким, почти маслянистым. Вылезать было совсем нетрудно. Набрал еще камней. По дороге домой посидел голым на Минновом мосту, глядя, как глянцевитая вода влетает в глубокую яму. Даже в такой тихий день она там взметывается и спадает, точно прибой.

Вчера вечером было облачно, и я не мог проверить свою теорию, что призрачное «лицо», которое я видел, было отражением луны. Но я теперь уверен, что то была зрительная галлюцинация, и никаких больше объяснений не требуется. На вечер я расположился в красной комнате и затопил камин. Он опять дымил, — наверно, ветер переменился. Спасая паука, который бежал по тлеющему полешку, я вспомнил от-

ца. До приезда сюда я несколько лет не имел комнаты с камином. Клемент всегда любила камины. Удивительный это процесс — горение. Как досконально и вроде бы деловито огонь все преображает, он такой чистый, чистый, как смерть. (Предстоит ли мне кремация? Кто будет этим заниматься? Не хочу думать о смерти.) До сих пор я держал дрова в кладовой, но там мало места и очень уж сырой пол. Можно бы отвести под дрова нижнюю внутреннюю комнату. Плавник такой красивый, отполирован морем, высветлен до бледно-серого цвета, его и жечь-то жалко. Я отобрал несколько кусков с особенно интересным рисунком. Может быть, составлю коллекцию плавниковой «скульптуры».

Скоро стемнеет, я сижу у окна в гостиной и смотрю, как дождь упорно изливается в море. Есть некая грозная простота в этом сером пейзаже. Темная линия горизонта, а выше и ниже море и небо почти одного цвета — приглушенного, чуть светящегося серого оттенка, затихшие, словно в ожидании чего-то — чтобы вспыхнули молнии или чудовища поднялись из воды. Благодарение богу, больше галлюцинаций у меня не было, и тот факт, что я так быстро забыл свое видение, лишний раз убеждает меня, что это и правда

было замедленным действием наркотика, столь опрометчиво мною испробованного. Да и «видел» ли я в самом деле что-нибудь, требующее хотя бы такого объяснения? Я внимательно оглядываю прибитое дождем море, но никакие гигантские, свитые кольцами шеи из него не вырастают. (Тюленей тоже нет.) Как ни странно, я только недавно задумался над словами того мужлана в «Черном льве» насчет червей. Ведь в старину червем называли змея, дракона. А впрочем, не слишком ли много фантастики — драконы, полтергейсты, лица в окошках! И какое беспокойное чувство вызывает дождь.

Перечитал свои этюды о Джеймсе и Перегрине, они производят впечатление. Конечно, это лишь наброски, нужно выписать их подробнее, чтобы придать им достоверности и «правды». Мне только сейчас пришло в голову, что в этих «мемуарах» я мог бы написать о своей жизни кучу небылиц, и все приняли бы их за чистую монету. Таково человеческое легковерие, сила печатного слова и любого известного имени, особенно если оно связано со «зрелищным бизнесом». Даже когда читатели говорят, что не очень-то верят автору, они лукавят. Им ужасно хочется верить, и они верят, потому что верить легче, чем не верить, и

еще потому, что все написанное на бумаге можно назвать «в каком-то смысле правдой». Надеюсь, эти попутные соображения никого не заставят усомниться в истинности моей истории! Когда я дойду до описания моей жизни с Клемент Мэйкин, даже легковерам придется туго, но авось они окажутся на высоте!

С тех пор как я начал писать эту «книгу», или мемуары, или автобиографию, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы — может быть, из внешнего мира. (Картина словно бы мрачная, но для меня в ней ничего мрачного нет.) Среди этих пятен света есть одно, самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое «окно», за которым сияет день, а возможно — щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли. Я еще сомневаюсь, что вернее и следует ли мне подойти ближе, чтобы удостовериться. Образ этот возник до того внезапно, не знаю, как его осмыслить.

Когда я решил писать о себе, передо мной, естественно, встал вопрос: значит, нужно писать о Хартли? Ну конечно, думал я, писать о Хартли нужно, раз это самое важное в моей жизни.

Но как? Какой стиль, достойный этой священной темы, могу я выбрать или выработать и не окажется ли нестерпимо мучительной всякая попытка вновь пережить те события? Или это будет попросту святотатство? Или вдруг я возьму неправильный тон и вместо чуда получится нелепый гротеск? Лучше было бы, пожалуй, рассказать свою жизнь, не упоминая о Хартли, хотя такое умолчание было бы равносильно грубой лжи. Возможно ли, создавая автопортрет, умолчать о чем-то таком, что изменило всю твою сущность и о чем думал каждый божий день? «Каждый день» — преувеличение, но не такое уж большое. Мне не требуется нарочно вспоминать Хартли, она здесь, передо мной. Она — мое начало и мой конец, альфа и омега.

Я предпочел оставить этот вопрос открытым — слишком уж хлопотно было искать ответ. Решил просто писать, а там видно будет, способен ли я как-то подойти к этой огромной теме или, может быть, уже подошел к ней. И так же, как в свое время я неожиданно для себя написал: «Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире», — так вот теперь, бродя по моей пещере, я приблизился к великому источнику света и готов говорить о своей первой любви. Но что я могу

сказать? Где найти нужные слова? Моя первая любовь, моя единственная любовь. По сравнению с ней все, даже Клемент, были бледными тенями. Для меня это так непреложно, что мне трудно себе представить, что у других это может быть иначе. On n'aime qu'une fois, la première[16].

Звали ее Мэри Хартли Смит. Как быстро, как охотно я это написал. А сердце-то застучало. О господи. Мэри Хартли Смит.

Итак, заглавие для рассказа есть. А написать рассказ я не могу. Напишу кое-какие заметки к рассказу, тем, возможно, дело и кончится. Да и откуда взяться рассказу? Фабулы-то нет, одни чувства — чувства ребенка, юноши, молодого мужчины, туманные и святые, самое сильное, что испытано в жизни. Я почти не помню времени, когда я не знал Хартли. В школе у нас учились только мальчики, но женская школа была рядом, и мы все время общались с девочками. В то время Мэри было чуть ли не самое частое имя, поэтому ее все звали Хартли, так это имя за ней и осталось. Мы с ней дружили, но поначалу, сколько помнится, весело, по-детски, без глубоких эмоций. Эмоции начались лет в двенадцать. Они нас по-

---

[16] Примечания: 16
Любят всего один раз, самый первый *(фр.).*

разили, озадачили. Они трепали нас, как терьер треплет крысу. Мы были… нет, стертым словом «влюблены» это не выразишь. Мы любили друг друга, жили друг в друге и друг другом. Мы были друг другом. Почему то была такая чистая, беспримесная боль?

Странно, что я написал (и не изменю) слово «боль», ведь это была, конечно же, чистая радость. Может быть, дело в том, что чувство, как его ни назови, было столь всеобъемлюще и чисто. (Говорят, если завязать человеку глаза, он не отличит сильного ожога от сильного холода.) Или, может быть, в этом возрасте все эмоции ощущаются как боль, потому что не освещены мыслью. Все обращается в страх и ужас, и чем чудеснее, чем радостнее, тем страх и ужас сильнее. Но повторяю: мысль, рассуждения отсутствовали. Я не спрашивал себя, всегда ли Хартли будет меня любить, я просто знал, что она моя навеки. Но когда мы закрывали глаза, в них были слезы радости, а в сердцах — космический ужас.

Разумеется, мы держали все это в тайне. Одноклассники привыкли к нашей веселой дружбе. А потом мы затаились, притворялись равнодушными, придумали тайные места для встреч. Все это было подсказано инстинктом, не обсуждалось и

не решалось. Мы должны были прятать свое сокровище, чтобы его как-нибудь не повредили, не высмеяли, не осквернили. Мои родители, конечно, знали, кто такая Хартли, но у нас она почти не бывала, они так не любили, чтобы кто-нибудь приходил к нам в гости, да и я этого не предлагал. О моем особом интересе к ней они не подозревали, считая, что в моем возрасте никаких особых интересов быть не может. Ее родители, знавшие о моем сущесвовании, тоже нами не интересовались, впрочем, я им, кажется, не нравился. Был у нее старший брат, тот презирал нас обоих. Наш мир оставался замкнутым и тайным. Родителей мы успеем оповестить позже, когда поженимся, а поженимся мы непременно, когда нам исполнится восемнадцать лет. (Мы были ровесниками.) Мы целовались, но дальше этого не заходили. Не забудьте, дело было давно.

Попробую описать Хартли. О моя милая, как ясно я тебя вижу. Именно вижу, а не воображаю. Свет в пещере — не огонь, а свет дня. Может, это единственный свет в моей жизни, тот, что озаряет истину. Немудрено, что я боялся потерять его и навсегда остаться во мраке. Тут слились все слепые детские страхи, так рано внушенные мне матерью: не поцелует, унесет свечу. Хартли,

моя Хартли. Да, я вижу ее как сейчас, прыжки в высоту, веревку поднимают все выше, а она все перелетает через нее, и зрители каждый раз вздыхают с сочувственным облегчением, а я изнемогаю от тайной гордости. Она была чемпионкой по прыжкам в своей школе, во многих школах, и по бегу тоже. Хартли всегда занимала первое место, а я кричал «ура» вместе со всеми и смеялся от сокровенной радости. Хартли. Все затаили дыхание, вот она присела на параллельных брусьях, блестят ее голые ляжки. Учитель гимнастики поговаривает об Олимпийских играх.

«О Дух Святой, на нас сойди, огнем небесным освети…» Мы вместе конфирмовались, наша любовь приняла благословение свыше. Помню, как Хартли пела в церкви, подняв свое ясное, невинное, прелестное лицо к свету, к Богу, к той радости, которая, она знала, принадлежит ей по праву. Мы много говорили о религии (как и обо всем на свете) и чувствовали, что мы — избранные и любовь охраняет нас. Мы ощущали свою невинность и думали, что всегда быть хорошими не составит труда. Я помню восхитительный смех Хартли, но не помню, чтобы мы поддразнивали друг друга или много шутили. Наше счастье было торжественно, свято, и мы сторонились грубо-

ватой болтовни одноклассников. Вопросы пола, мне кажется, не вызывали у нас любопытства. Мы были одно, и только это имело значение. Мы жили в раю. Мы уносились на велосипедах и лежали в лугах среди лютиков, у железнодорожных мостов, на берегу каналов, на пустырях, ожидающих застройки. Наша сельская местность уже превращалась в пригород, но для нас она была чудесна и наполнена смыслом, как Эдем. Хартли не была особенно умной, начитанной девочкой, она обладала мудростью невинных, и мы общались как ангелы. Ей было легко во времени и в пространстве.

Вижу, как она мне улыбается. Она была красива, но особой, скрытой красотой. В школе она «хорошенькой» не числилась. Иногда лицо ее бывало тяжелым, почти суровым, а когда она плакала, то становилась похожа на младенца-поросенка в «Алисе». Она была очень бледная, находили, что у нее болезненный вид, а на самом деле она была крепкая и здоровая. Лицо у нее было круглое, белое, а в глазах — удивление и загадочность, как у юной дикарки. Глаза были темно-синие, какие-то даже фиолетовые. Зрачки часто расширялись, и тогда глаза казались почти черными. У нее были очень тонкие светлые во-

лосы, длинная стрижка. Губы бледные и всегда холодные, и, когда я, закрыв глаза, так по-детски касался их губами, какая-то холодная сила пронзала меня, словно копье, — такое мог бы почувствовать паломник, когда он, опустившись на колени, целует священный всеисцеляющий камень. Ее тело не отзывалось на мои объятия, но дух ее льнул ко мне языками холодного огня. Ее прекрасные плечи, ее длинные ноги тоже были бледны и казались холодными. Я ни разу не видел ее совсем обнаженной. Она была стройная, очень стройная, длинноногая и чистая и очень сильная. Она меня никогда не тискала, но, случалось, так сжимала мои руки пониже плеч, что оставались синяки. Ее загадочные фиолетовые глаза не закрывались, когда я тянулся поцеловать ее. Они глядели с тем странным удивлением, которое и было страстью. Эти тихие, молчаливые, почти чопорные объятия были самыми страстными, какие я знал. И мы были целомудренны, мы уважали друг друга и боготворили друг друга целомудренно. И это была страсть, это была любовь такая чистая, какой не будет уже никогда, какая и, вообще-то, редко встречается. Эти воспоминания сияют во мне, как ни одно произведение искусства, ярче и драгоценнее, чем Шекспир

или Пьеро делла Франческа. Глубоко внутри меня есть кто-то, не ведающий ни времени, ни перемен, и эта часть моего существа до сих пор пребывает с Хартли в том блаженном краю, где мы с ней были когда-то.

Теперь, написав это, что я могу добавить? Просто описывать Хартли я мог бы еще и еще, но очень уж это больно. Я потерял ее, жемчужину моего мира. И до сего дня для меня остается тайной, как это случилось: тайной души молодой девушки, ее отношения к жизни. Я боялся чего угодно — что она умрет или я сам умру, что нас постигнет кара за избыток счастья; но того, что произошло, я не боялся и не представлял себе, во всяком случае сознательно. Или все мои страхи сводились к этому, но осознать это я не решался? Любовь, доведенная до крайности, несет в себе ужас, а ужас, подобно иным молитвам, что предполагают всеведение Господне, не знает границ, вмещает все. Так что, возможно, я боялся и этого. Наверно, я кричал в глубине смятенного сердца: помилуй, не дай случиться и этому, хотя «это» казалось немыслимым.

Попробую изложить все просто, ведь оно и в самом деле очень просто. Когда подошло время, Хартли решила, что не хочет выходить за меня

замуж. Почему именно — выяснить не удалось. Я был слишком раздавлен горем, чтобы отчетливо думать, толково расспрашивать. Она отвечала смущенно, уклончиво — то ли не хотела причинить мне боль, то ли сама была слишком несчастна, то ли колебалась, а я, глупец, этого не заметил. Некоторые ее слова врезались в память. Но обозначали ли они «причины»? Все, что она говорила, она тут же смывала слезами. Еще давно у нас было условлено, что мы поженимся в восемнадцать лет, как только станем взрослыми. Среди этих непонятных, уклончивых, все смывающих слез как страстно я убеждал ее, что подожду, не буду ее торопить. Если это просто девичьи страхи, я не оскорблю ее, пусть остается как есть, лишь бы не отняла у нас наше драгоценное будущее, с которым мы так долго жили. Наш брак был ясной, определенной целью, я только боялся, что умру, не успев ее достигнуть. Имея перед собой эту ясную цель, я и уехал в Лондон, в театральное училище. Родителям мы все еще ничего не сказали. Может быть, в этом была моя ошибка? Я боялся осуждения матери, ее противодействия. Она могла сказать, что мы слишком молоды. Я не хотел до времени омрачать наше счастье семейными сценами, хотя мы столько раз говорили,

что никакие сцены нам не страшны. Но если б наши родители знали и дали согласие или если б мы уже повоевали за свою любовь, самый факт, что наши планы на будущее известны, сделал бы их более обязывающими, более реальными. И конечно, это изменило бы атмосферу нашего маленького рая. Может, этой перемены я и боялся, может, я потерял Хартли, потому что был трусом? В чем, в чем была моя ошибка? Что случилось, когда я уехал в Лондон, как шли ее мысли? Ведь она согласилась, она поняла. Конечно, была разлука, но я писал каждый день. Я приезжал на воскресенья, она казалась прежней. А потом в один прекрасный день сказала…

Мы уехали на велосипедах к каналу, как часто ездили раньше. Велосипеды наши, как всегда, лежали в обнимку в высокой траве у прибрежной тропы. Мы пошли дальше пешком, глядя на все то знакомое и дорогое, что стало для нас своим. Кончалось лето. Было множество бабочек. При виде бабочек мне до сих пор вспоминаются те страшные минуты. Она заплакала. «Я больше так не могу, не могу. Я не могу выйти за тебя замуж». «Мы не дадим друг другу счастья». «Ты не останешься со мной, ты уйдешь, не будешь мне верен». «Нет, я тебя люблю, но не могу тебе

верить, не понимаю». Оба мы обезумели от горя и в горе взывали друг к другу. В отчаянии, в смертельном ужасе я заклинал: «Будем хотя бы друзьями навеки, не можем мы покинуть друг друга, потерять друг друга, это невозможно, я умру». Она плакала и трясла головой. «Ты же знаешь, мы больше не можем быть друзьями». Вижу, как горят ее глаза, как дергаются мокрые от слез губы. Никогда я не мог понять, как она сумела проявить такую силу. Была ли она откровенна, или же ее слова скрывали другие слова, которые она не решалась произнести? Почему она передумала? Я спрашивал снова и снова, с чего она взяла, что я не буду ей верен, что мы не будем счастливы, почему вдруг утратила веру в будущее. «Я больше не могу, не могу». Может, кто-нибудь оговорил меня? Не может же она ревновать к моей жизни в Лондоне, где я только о ней и думаю. (Клемент еще была скрыта в грядущем.) Или она встретила кого-то другого? Нет, нет, нет, твердила она и принималась повторять свои непонятные доводы. Да, она была очень сильная. И она от меня ускользнула.

Мне нужно было возвращаться в Лондон. Через два дня я уже не верил в этот ужас. Я написал ей спокойное, властное, сочувственное письмо.

Потом бросил все и примчался обратно. Мы снова свиделись, и повторилась та же сцена, потом еще раз. А потом она как в воду канула. Я пошел к ней домой. И родители ее, и брат встретили меня враждебно. Через неделю я пошел снова. Потом получил письмо от ее матери: Хартли, мол, не желает меня видеть и просит оставить их всех в покое. Я искал, расспрашивал, подстерегал. Как может человек в двадцатом веке просто исчезнуть? Почему нет места, где справиться, учреждения, куда написать? На все каникулы я превратился в сыщика. Из школьных товарищей никто не знал, где она. Я дал объявление в местной газете. Я побывал во всех местах, о которых она когда-либо упоминала, у всех людей, которые ее когда-либо знали. Я разослал десятки писем. Гораздо позже мне, конечно, стало ясно, что она могла ускользнуть только так — сбежав, исчезнув.

Через какое-то время ее родители уехали из наших мест, а потом я получил от ее матери коротенькое письмо без обратного адреса и с известием, что Хартли вышла замуж. Я не поверил. Ее родители — злая сила, они ненавидят меня, потому что Хартли меня любит. Я продолжал искать. Продолжал ждать. Я чувствовал, что для

ее бегства должна быть какая-то особая причина и что время устранит эту причину и все станет по-прежнему. Я вел себя так сумасбродно, что многие узнали о моей любви и я прямо-таки прославился как влюбленный безумец. А мне уже хотелось, чтобы о моей беде знали все — авось кто-нибудь да просветит меня. Так и случилось. Мистер Макдауэл написал мне, сказал, что это правда, Хартли замужем. Ему я поверил. Подробностей он не сообщал (может быть, опасался каких-нибудь эксцессов с моей стороны), а я не стал расспрашивать. В его письме было сказано: «Ты просто смирись с тем, что ты ей не нужен, что она любит другого. Тут любой мужчина отступится».

Конечно, в каком-то смысле я «выздоровел». Я работал. Я познакомился с Клемент Мэйкин и дал ей меня похитить. Я ей все рассказал чуть ли не в первый день знакомства. А родителям не сказал, они, по-моему, так и не узнали. Они были простые люди, подозрительность была не в их характере, и к тому же они ни с кем не общались. Клемент выходила меня, убаюкала мою ревность, одно время это была у нас любимая тема разговоров. Ей это нравилось, ей казалось, что она исцеляет меня, и я не разубеждал ее, но

она ошибалась. Рана была слишком глубока, да еще загноилась от горькой, неистовой ревности. Эта страшная зараза вошла в мою жизнь, когда я прочел письмо мистера Макдауэла, и с тех пор не покидала меня. «Ты ей не нужен, она любит другого». Пока я искал ее, меня дразнила надежда. Я непрерывно прощал ее в сердце своем, и этот постоянно возобновляемый акт прощения утешал меня. Мне все казалось, что она должна знать, как я страдаю, что щупальца моих мыслей дотягиваются до нее. Но в этих моих мыслях она всегда была одна. Когда же я действительно понял, что она замужем, я не возненавидел ее, но демон ревности осквернил прошлое, и я уже ни в чем не находил покоя. Из всех сильных чувств ревность, вероятно, самое неуправляемое. Она отнимает разум, она лежит глубже мышления. Она всегда при тебе, как черное пятно в глазу, она обесцвечивает весь мир.

Хартли отказала мне по моральным причинам, вызвала в моей жизни неизлечимый метафизический перелом. Не потому ли я избрал для себя маску аморальности? Такие высокопарные рассуждения, конечно же, ерунда, я сам удивляюсь, как мог их записать. Какие «причины» были у Хартли? Этого я никогда не узнаю. Возможно, в

мои отношения с Клемент вкралась дьявольская решимость покончить с невинностью, словно я говорил Хартли: «Ты мне не верила. Так вот, я тебе покажу, что ты была права!» Может, и все мои романы были злобными попытками показать Хартли, до какой степени она оказалась права. Но права она была только потому, что покинула меня. Когда у тебя отнимают любовь, сердце умирает. Оттого, что моя мать грозила разлюбить меня, я оказался беззащитен перед преступлением Хартли. Хартли сгубила мою невинность, Хартли и демон ревности. Из-за нее я стал неверным. Ей я был бы верен, с ней вся моя жизнь была бы иной, не такой пустой, не такой никчемной. Так неужели я считаю, что моя жизнь прожита впустую? Смешно. Неужели Хартли действительно сочла меня «суетным»? Если так, значит она была-таки сродни моей матери. Это она, отвергнув меня, сделала меня суетным, обрекла на моральную гибель. Казалось ли ей, что в театре я пропаду? Она никогда этого не говорила. Я потому и сбился с пути, что она меня отвергла. Был бы я ей верен? А как мог бы я быть ей не верен, если б она жила со мной, шила на меня, готовила мне обед? Мы слились бы воедино, и святость брака стала бы нашим

оплотом и убежищем. Она была частью, залогом той чистой, без трещинки, веры в высшее добро, которой я навсегда лишился.

Гораздо позже прошлое словно бы вновь обрело свою прелесть. Это бывает. Мне опять стали видны вдали, подобно выцветшим, но все еще излучающим свет изображениям Адама и Евы на старинной фреске, два невинных существа, омытых чистым сиянием. Она стала моей Беатриче. Время шло, и мне уже казалось, что в ней сосредоточено все хорошее, что было в моей жизни. Все хорошее — не был ли то совсем особенный сплав невинности и целомудренной страсти? Вот я уже написал о ней, такой, какой она была тогда, и меня глубоко радует, что я оказался на это способен. Когда что-то из прошлого вырывается наружу живым и цельным, поневоле мерещится, что от него веет пламенем ада. Конечно, вся моя жизнь была соткана из воспоминаний о Хартли. Но раньше, мне кажется, я не мог бы это записать и не мог бы признать, что, наперекор нам обоим, эта любовь во мне еще жива. Я, конечно, больше не видел Хартли. В последующие годы я благодарил бога за то, что сам демон ревности запретил мне разузнавать о ней подробно, это было бы слишком мучительно, а так я ведь даже не узнал

ее новой фамилии. Я не хотел знать, где она прозябает, не хотел, чтобы мои мысли, ходя по кругу, натыкались на имена людей, названия мест. Но мне нравилось думать, что живется ей скучно. А потом, когда мое имя получило известность и стало часто появляться в газетах, мне нравилось воображать, что она испытывает тайные муки раскаяния и сожалений и терзается так же, как терзался я. Заодно с моим счастьем она и свое убила. Я бы сделал ее королевой в моем мире.

После тех страшных дней я всегда боялся, как бы в моей жизни не возник какой-нибудь непобедимо могущественный источник боли, и заранее закалял себя, чтобы не слишком сильно страдать. Возможно, отчасти поэтому я и не женился. Что за странную азартную игру являет собой наше существование! Мы решаем поступить не так, а иначе, и вот уже обе дороги разошлись и могут привести нас либо в ад, либо в рай. Только задним числом понимаешь, сколь велика и сколь ужасна разница. А чем был обусловлен наш выбор? Это, наверно, уже забыто. Знал ли тогда, что выбираешь? Конечно же нет. В жизни каждого столько разных «если бы…». Во время конфирмации я обещал себе всегда быть хорошим, и до сих пор мне смутно представляется, что это могло бы

быть. Образ Хартли в моей душе перелился из пронзительной боли в печаль, но до конца не угас. И в каком-то смысле я продолжал ее искать, только поиски эти были теперь иные, без участия воли, словно во сне. Словно я, упорно помня о ней, сам вдыхал в нее жизнь — как она двигалась, как ходила, словно физический абрис ее существа всегда мне сопутствовал. И поэтому, особенно когда боль уже стала утихать, я снова и снова «видел» ее, видел, как призрачные ее контуры накладываются на других женщин; ее плечи, ее волосы, походка, этот удивленный загадочный взгляд. Я и до сих пор вижу иногда эти призраки, один явился мне совсем недавно, в облике старой женщины в здешней деревне, — голова, увиденная мельком, как маска, надетая на другого человека. Раза два в Лондоне, еще давно, я даже пускался следом за этими призраками — не потому, что принимал их за Хартли, а просто чтобы себя помучить, наказать себя за то, что все еще помню.

Не так давно мне пришло в голову, что она, может быть, умерла. Странная бледность, расширенные зрачки, — может, то были предвестники болезни, какой-то затаившейся до времени убийцы? Может, она умерла давно, когда я был еще

молод? Я, пожалуй, был бы рад узнать, что она умерла. Что тогда сталось бы с моей любовью? Она бы тоже тихо скончалась? Или претворилась бы в нечто отвлеченное и невинное? Отпустила бы меня наконец та ревность, что горит и на этих страницах, развеялся бы запах адского пламени?

И сейчас еще я весь дрожу, когда пишу это. Память — слишком слабое слово для этого пугающего воскрешения. О Хартли, как абсолютна, как неподвластна времени любовь! Моя любовь к тебе не хочет знать, что я стар, а ты, может быть, умерла.

Сегодня в одиннадцать часов утра съел три апельсина. Апельсины следует есть в одиночестве, как лучшее угощение, когда проголодаешься. Ни в завтрак, ни в обед их включать нельзя, слишком много с ними возни. Замечу к слову, что я вообще не поклонник сытных утренних завтраков, хотя в теории отдаю им должное. Утром я только пью чудесный индийский чай. Кофе и китайский чай по утрам невыносимы, а кофе для меня невыносим и в любое время дня, разве что он особенно высокого качества и я не сам его заваривал. По-моему, напиток это неудобный и зря его так превозносят, но я допускаю, что это дело вкуса (тогда как другие взгляды, которых

я придерживаюсь относительно еды, близки к абсолютным истинам). С утра я обычно вообще не ем, поскольку даже один гренок с маслом способен вызвать нежелательное чувство голода, а наесться с утра — значит плохо начать день. А вот перекусить в одиннадцать часов я не прочь, и тут возможно большое разнообразие. Бывают, как уже сказано, минуты для апельсинов. Бывают и минуты для остуженного портвейна и кекса с изюмом.

Апельсиновое пиршество не испортило мне аппетит для второго завтрака — рыбные шарики с горячим острым индийским соусом и салатом из тертой моркови, редиски, кресса и зеленой фасоли. (Одно время я добавлял тертую морковь в любое блюдо, но это увлечение прошло.) На второе — пирог с вишнями и мороженое. Мое отношение к мороженому определилось лишь тогда, когда я понял, что есть его надо с пирогом или с печеньем, а ни в коем случае не с одними фруктами. Само по себе оно, конечно, бессмысленно, даже если содержит орехи или еще какую-нибудь ерунду. Причем под мороженым я разумею сливочное с ванилью. Для пуриста мороженое с примесями так же неприемлемо, как, скажем, фруктовый йогурт. И еще я никогда

не мог понять, чего ради придумано так называемое водяное мороженое, которое, чуть возьмешь его в рот, нахально превращается из жесткой ледышки в глоток столь же безвкусной воды. Мне очень обидно, что за неимением холодильника часть еды приходится выбрасывать. У моей матери холодильника не было, но ни крошки еды не пропадало. Все, что не съедалось сразу, шло в ход на следующий день. Как мы любили ее хлебные пудинги!

Прочел все, что написал о Хартли, и взволнован уже оттого, что смог это написать. Это пока лишь призрачная дань; может быть, попробую кое-что улучшить, если вообще буду в силах вернуться к этой теме. Странная вещь память. С тех пор как я начал писать о Хартли, воскресло еще столько связанных с нею картин, запрятанных в темных глубинах сознания. Ее длинные ноги на мчащемся велосипеде, ее запыленные босые ступни в сандалиях. Как она, сначала присев, легким движением выпрямлялась во весь рост на параллельных брусьях во время состязаний по гимнастике. Как я чувствовал сквозь рубашку ее сильные пальцы, сжимавшие мне руки пониже плеч. Мы не предавались нескромным ласкам. Наша пылкая молодость подчинялась рыцарству

чистой страсти. Мы были готовы ждать. Увы, увы. Никогда уже больше со мной не бывало, чтобы одно человеческое существо так чисто и нежно, так пронзительно, так предельно и свято стремилось слиться с другим душою и телом. Но, перечитывая мою историю, я опять ощущаю ее грозную тайну. Когда Хартли начала от меня отдаляться? Обманывала она меня или нет? Почему, почему так случилось?

Вторую половину дня я посвятил уборке дома. Снес два ведра с мусором к концу дамбы — и с неудовольствием обнаружил, что мусорщики в прошлый раз кое-что просыпали с дамбы вниз, на скалы. Пришлось спуститься туда и подобрать. В кухне я протер стены и вымыл пол из огромных черных плит. Такие не посрамили бы и собора. Посыльный доставил баллоны с газом (что меня удивило, хотя я сам об этом просил, когда заходил в «Магазин для рыбаков»). Не забыть справиться, нельзя ли через них достать газовый холодильник. Остатки мороженого растаяли. В кладовой все еще сыро. Я затопил камин в красной комнате и оставил все двери внизу открытыми. Целую кучу дров перетаскал в нижнюю внутреннюю комнату, авось они там высохнут. Привыкаю к тому, что теперь во всем доме пахнет древесным

дымком.

Дождь перестал, светит солнце, но небо над морем почти сплошь свинцово-серое. На этом темном фоне скалы под солнцем горят золотом. Что за рай! Никогда мне не надоест это море, это небо. Если б суметь донести по скалам до башни стол и стул, я мог бы сидеть там и писать с видом на Воронову бухту. Надо выйти и обследовать мои озерки в скалах, пока не померкло освещение. Кажется, я стал более наблюдательным — недавно приметил колонию очаровательных крошечных крабов, ни дать ни взять гроздь мелкого прозрачного желтого винограда, и еще — малюсеньких, свирепого вида рыбешек, очень похожих на вымерших морских гигантов в миниатюре.

Мысль о Хартли уже не вызывает у меня такого волнения, ей будто дано было раствориться в свежем, здоровом здешнем воздухе. Вот уж поистине критерий для оценки моей новой среды. (Они говорили: «Ты с ума сойдешь от одиночества и скуки».) Нет, инстинкт не обманул меня.

Хотелось бы мне рассказать все это кому-нибудь, может быть Лиззи. Вместе с этой первой любовью я упрятал в тайник свою невинность и бережную нежность, которые впоследствии нарочно отрицал и вытравливал, и вот теперь,

только теперь, они словно бы вновь пробудились и ожили. Неужели призрак женщины способен отомкнуть двери сердца?

История 1

Разглядывать крабов я так и не пошел. Мне втемяшилось в голову сейчас же отнести к башне стол и стул, и я пустился в путь по скалам, с тем складным столиком, который до этого перенес из внутренней комнаты в гостиную. Скоро он уже стал казаться мне непомерно тяжелым, и я с досадой обнаружил, что не в силах одолевать гладкие, крутые подъемы и спуски, держа столик под мышкой. Кончилось тем, что я уронил его в расщелину. Надо поискать к башне какой-нибудь другой путь, полегче.

С пустыми руками я полез дальше и сел на мокрый выступ скалы, нависшей над Вороновой бухтой. Солнце еще светило, и небо над морем было все такое же серое. Гладкое беспенное море вздымалось и опадало у подножия скал в тихом, зовущем ритме. Тени удлинились, и большие круглые камни, окаймляющие бухту, с одного бока блестели, а с другого стали совсем темными. В ясном предвечернем свете длинный изящный фасад отеля «Ворон» был виден отчетливо, во всех подробностях.

Не успел я немного успокоиться после досадного случая со столиком, как заметил, что из-за поворота шоссе, со стороны бухты, появился какой-то человек и двинулся по направлению к Шрафф-Энду. На нем был элегантный костюм и мягкая шляпа, и выглядел он на фоне яркого ландшафта как непонятная фигура на картине сюрреалиста. Я вгляделся в эту диковину. Пешеходов на нашем шоссе попадается еще меньше, чем машин. Потом мне почудилось что-то знакомое. Потом я узнал его. Гилберт Опиан.

Я ощутил легкий, но неприятный шок, и первым моим побуждением было спрятаться, я даже вдвинулся в сырую, пропахшую солью внутренность башни со светлым кругом неба над головой. Однако я не мог всерьез воспринять Гилберта как угрозу, да еще сообразил, что он, конечно же, привез Лиззи; поэтому, выскочив из башни, я стал поспешно карабкаться по скалам к шоссе. Когда я ступил на гудрон, Гилберт, заметив меня, уже повернул обратно. Мы сошлись, он улыбался.

Гилберт был в легком черном костюме с полосатой рубашкой и цветастым галстуком. Заметив меня, он снял шляпу. Я не видел его три или четыре года, он сильно изменился. Страшные перемены, которые возраст вносит в человече-

ское лицо, порой подготавливаются исподволь, подспудно, а потом разом становятся видны. На пороге среднего возраста Гилберт выглядел румяным юношей. Теперь он был весь в морщинах, сухой и насмешливый, с легким налетом скепсиса, какой неглупые пожилые мужчины часто напускают на себя инстинктивно в порядке обороны перед окончательной капитуляцией. Когда я видел его в последний раз, в нем еще было много непосредственного ребяческого самодовольства. Теперь же лицо его выражало тревожную настороженность, прикинувшуюся светским безразличием, словно он опасливо примерял свои новые морщины, как маску. Он чуть отяжелел, но ему еще удавалось казаться красивым мужчиной, и его белые вьющиеся волосы еще выглядели эффектно, еще не постарели.

Я был в джинсах и вылезшей из них белой рубашке. При виде Гилбертова галстука, его булавки, его легкого грима (или это мне показалось?) я ощутил к нему мгновенную презрительную жалость и одновременно — какой сам я мужественный и крепкий. Гилберт это явно уловил — и жалость, и мою мужественность. Его влажные голубые, чуть розоватые глаза тревожно замерцали меж сухих морщинистых век.

— Дорогой мой, выглядишь ты на пять с плюсом, загорел, помолодел, о господи, такой цвет лица…

Гилберт всегда говорил звучным, сдобным голосом, словно обращаясь к задним рядам партера.

— Ты привез Лиззи?

— Нет.

— Письмо, поручение?

— Не совсем.

— Тогда что же?

— Этот забавный дом твой?

— Да.

— Я бы выпил, хозяин.

— Ты зачем явился?

— Дорогой мой, я насчет Лиззи…

— Не сомневаюсь. Ну а дальше?

— Насчет Лиззи и меня. Прошу тебя, Чарльз, отнесись к этому серьезно и не смотри так, а то я заплачу! Между нами действительно что-то произошло, то есть не это, а вроде как настоящая любовь, о господи, в этом ужасающем мире не часто бывает, чтобы так божественно повезло, тут, конечно, мешает секс, если б только люди искали друг друга как души…

— Души?

— В том смысле, чтобы видеть людей, и любить

их спокойно и нежно, и стремиться к тому, чтобы хорошо было вместе, в общем, это, наверно, тоже секс, но секс, так сказать, космический, не тот, что диктуется органами…

— Органами?

— Мы с Лиззи связаны по-настоящему, мы близки, мы как брат с сестрой, мы перестали скитаться, мы дома. Пока не было Лиззи, я жил от выпивки до выпивки — джин, молоко, опять джин, опять молоко, ну, ты знаешь, как оно шло, я думал, так и будет идти до конца. А теперь все изменилось, даже прошлое изменилось, мы с ней обговорили всю свою жизнь, всю до капли, вроде как заново пережили прошлое и искупили его…

— Гадость какая!

— Мы говорили об этом благоговейно, особенно о тебе.

— Вы обсуждали меня?

— Ну а как же иначе, Чарльз, ты ведь не дух незримый… ой, прошу тебя, не сердись, ты же знаешь, как я всегда к тебе относился, как мы оба к тебе относимся…

— И хотите, чтобы я стал членом вашей семьи.

— Вот-вот! Пожалуйста, не говори так сухо, язвительно, не обращай это в шутку, прошу тебя, постарайся понять. Понимаешь, я теперь верю в

чудеса, милый Чарльз, в чудеса любви. Любовь — это чудо, я имею в виду настоящую любовь. Она выше тех границ и барьеров, о которые мы всегда спотыкались. Зачем уточнять, зачем мучиться, когда можно относиться друг к другу просто, с любовью, оставаясь свободными? Мы ведь уже не молоды…

— С мальчиками покончено? Никаких больше опасных приключений?

Гилберт, чей взгляд был до сих пор устремлен на открытый ворот моей рубашки, посмотрел мне в лицо. Он закатывал глаза, вращал глазами — может быть, следствие пьянства, и была у него манера морщить нос и опускать углы рта, скопированная с Уилфрида Даннинга. Он изобразил на лице какую-то болезненно-смешную гримасу. До чего же натренированы лица этих старых актеров!

— Пойми, о царь теней, Лиззи дала мне счастье. Я стал другим человеком, будто родился заново. Конечно, я очистился не от всех грехов, я вот и сейчас не отказался бы выпить. Но ты пойми, Лиззи от меня не отступится, ты не сможешь разорвать узы, которыми мы с ней связаны. Если ты думаешь, что это по́шло или смешно, значит ты ничего не понял. Ты только можешь сделать нас

очень несчастными, если будешь жесток и резок. Ну да, мы тебя боимся, да, как всегда боялись. Или ты можешь сделать нас очень счастливыми, и себя тоже, если просто будешь мягким и добрым, и будешь нас любить, и позволишь нам любить тебя. Ну почему бы и нет? А если заставишь нас страдать, тебе и самому будет плохо. Почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Чарльз, дорогой мой, пойми, ведь это выбор между добром и злом!

Тирада Гилберта — притом, что я еще сократил ее и поубавил слезливости, — была, конечно, сплошная чушь. По-настоящему меня обозлило то, что Гилберт и Лиззи анализируют друг друга и обсуждают (одному богу ведомо, в каких деталях) свои отношения со мной. Не мешает добавить, что Гилберта как актера (другие его ипостаси не в счет) я создал своими руками. Он всем был мне обязан. И теперь эта марионетка обрела голос, да еще грозит мне моральными санкциями! Однако я рассмеялся:

— Гилберт, спустись с облаков. Ты очень мило описал ваши трогательные отношения с Лиззи, но кто тебе поверит? Ты говоришь, что изменился, а на мой вопрос о мальчиках не ответил. В ваш семейный союз я ни вот столечко не верю

и не вижу, почему я должен его уважать. К чему было являться сюда и пороть всю эту дичь насчет братства и космического секса? Это дело касается меня и Лиззи, ты тут ни при чем, я уязвлен даже тем, что она тебе об этом рассказала. Пусть вы любите друг друга, как брат с сестрой, но сестры не на все просят разрешения у своих братьев. Звал я не тебя, а ее, с ней мы и решим, как нам быть, а твое дело — сторона. Если не уберешься, рискуешь нажить крупные неприятности.

Я говорил, а сам чувствовал, как во мне просыпается прежнее, знакомое чувство стяжателя, то желание схватить и не отдавать, которое в последнее время утихло и не примешивалось к моим мыслям о Лиззи. Может, то было чудо, а может — та самая «абстракция», за которую Лиззи меня корила. При этой мысли моя злость на Гилберта еще возросла. Он заставляет меня уточнить, огрубить побуждение, доселе столь великодушное и туманное. Пререкаться с ним было мелко и недостойно, но я уже не мог остановиться.

— Чарльз, мы не зайдем в твой забавный дом выпить по стаканчику?

— Нет.

— Ну, тогда я, с твоего позволения, посижу.

Гилберт поддернул брюки и аккуратно уселся на камень. Шляпу положил на траву и оглядел свои начищенные ботинки, на которые налипла грязь.

— Чарльз, дорогой, давай не будем волноваться. Помнишь, когда страсти накалялись, как ты, бывало, крыл нас почем зря, а потом вдруг переставал ругаться и говорил: «Ладно, мы как-никак живем по английским, а не по турецким законам»?

— Гилберт, отвяжись от меня, ради бога! Захочет Лиззи приехать, так приедет, а нет — так нет. Наших с ней отношений ты не понимаешь, не твоего это ума дело. И нечего приплетать сюда всякие бредни о чудесах и идеальной любви. В твои построения я не верю, по-моему, ты обманываешь себя, а заодно и Лиззи. Я даже начинаю усматривать мой долг в том, чтобы разгромить ваше злосчастное гнездышко. Так что ты меня не доводи. И убери к дьяволу руку с моего рукава.

— Дорогой мой, не поддавайся гневу, ты так меня пугаешь, я всегда…

— Наверно, мало пугаю.

— У тебя всегда был такой ужасный характер, и никому из нас это не шло на пользу. Ты-то думал, что это хорошо, но то была иллюзия. Здесь есть

худший путь и есть лучший. Господи, да разве ты не прочел ее письмо?

— А она его тебе показала?

— Нет, но я знаю, что она тебе ответила.

— А мое письмо она тебе показывала?

— Мм… нет…

— С души воротит от всего этого.

— Чарльз, ты не можешь отнять у меня Лиззи, не будь же таким старомодным, ведь здесь речь не о примитивном сексе, ведь к браку ты отнесся бы с уважением, впрочем, может быть, и нет, но ты обязан поверить Лиззи и хотя бы к ней отнестись с уважением, это священный союз, она меня не бросит, она это тысячу раз говорила…

— Женщина может солгать и тысячу раз.

— Лиззи права, ты презираешь женщин.

— Она это говорила?

— Да. И она думает, что ты шутишь. Отнять у меня Лиззи ты не можешь, но ты можешь все испортить, можешь добиться, что она сойдет с ума от горя и сожалений, что она опять в тебя влюбится, униженно, безнадежно, что мы оба исстрадаемся…

— Гилберт, замолчи. Я не намерен ни подыгрывать тебе, ни участвовать в твоем кривлянье. Можешь бредить и кривляться без меня. Почему

Лиззи не захотела сама приехать и сказать мне, что она думает, чего хочет? Она боится меня увидеть, потому что любит меня.

— Чарльз, милый, ты знаешь, как я с тобой считаюсь, ты способен начисто лишить меня душевного покоя…

— К чертям собачьим твой душевный покой…

И тут появилась Лиззи. Она возникла как темный мазок в углу моего глаза, под вечерним солнцем, и я знал, что это она, еще до того, как оглянулся. А едва я ее увидел, прежняя грешная жажда обладания взыграла во мне, и я понял, что битва окончена. Но я, разумеется, не выдал своих чувств, изобразив только легкую досаду.

Гилберт подобрал свою шляпу и нахлобучил низко на лоб. Он сказал Лиззи:

— Ты же обещала, ты говорила, что не хочешь, ах, зачем только я взял тебя с собой…

Я видел Лиззи, но смотрел мимо нее, на море, такое синее и спокойное после идиотского тявканья нашей с Гилбертом перепалки. Я повернулся и пошел по шоссе, а потом соскочил на камни и полез как мог быстрее в сторону башни. И сразу же услышал за спиной негромкое прерывистое топотание Лиззи. Она показала хороший класс, если учесть, что я знал здесь каждый камень, а

она нет, — добралась до лужайки у башни очень скоро после меня, запыхавшаяся, с оторванным ремешком от босоножки. Оглянувшись, я увидел, что и Гилберт пустился в путь по скалам, оступается и скользит в своих начищенных лондонских ботинках. Вот он провалился в расселину. Издали было слышно, как он ноет и чертыхается.

Я вошел в башню, Лиззи за мной, и мы очутились одни в зеленоватом свете, под круглым белым глазом неба, в прохладной траве. Влажный воздух внутри башни влияет на растительность, и трава здесь была выше и сочнее, росли одуванчики, и глухая крапива только что расцвела белыми цветами.

На Лиззи было очень тонкое белое бумажное платье, прямое, как рубашка, сумочку она крепко прижимала к груди и слегка поеживалась. Она, кажется, немного похудела. Ее курчавые коричнево-каштановые волосы были распущены и растрепались, под ветром сквозь них просвечивала белая кожа. Щеки ее пылали, но стояла она очень прямо, глядя на меня, стиснув терракотово-розовые губы, и вид у нее был храбрый, как у благородной героини перед казнью. Она тоже постарела, выглядела, во всяком случае, много старше, чем та светлая, дразнящая девочка-маль-

чик, какой я ее лучше всего помню. Но в лице ее была сдержанная внимательная зоркость, благодаря чему оно приобрело определенность и осталось красивым — этот крутой лоб, и от него смелая линия к короткому, но не вздернутому носику. Ее ясные светло-карие глаза покраснели от недавних слез. Я смотрел на нее, чувствовал себя победителем и ликовал, но вид принял суровый.

Лиззи опустила глаза, придержалась рукой за стену, чтобы снять разорванную босоножку, и встала голой ногой на траву. Потом сказала:

— Ты знаешь, что там в скалах есть стол?

— Да, это я его туда убрал.

— А я подумала, может быть, его выбросило море.

Я смотрел на нее и молчал.

Через секунду она прошептала:

— Мне так жаль… прости, прости.

Я сказал:

— Значит, вы с Гилбертом обсуждали меня?

— Да ничего важного я ему не говорила…

Она посмотрела на свою босую ногу, пошевелила ею белые цветы крапивы.

— Лгунья.

— Нет, я не…

— Тогда, значит, ты лгала ему?

— Ой, не надо, не надо…

— Почему ты не хотела меня видеть?

— Боялась.

— Боялась любви?

— Да.

Мы оба стояли одеревенев, а ветер, врываясь в проем двери, трепал ее платье и мою белую рубашку.

Я вспомнил ее целомудренные, сухие, льнущие поцелуи и возжаждал их. Мне хотелось схватить ее в объятия и громко хохотать от победного ликования. Но я не шелохнулся и, когда она чуть подалась ко мне, остановил ее быстрым движением.

— А теперь уезжай — обратно в Лондон, с Гилбертом.

— Чарльз, пожалуйста…

— Что «пожалуйста»? Милая Лиззи, я не хочу никого обижать, но я хочу, чтобы была полная ясность. Всегда этого хотел. Не знаю, что мы сейчас можем сделать и чем можем быть друг для друга, но выяснить это можно, только если мы оба будем до конца откровенны. Мне нужно твое безраздельное внимание, делить тебя я ни с кем не намерен, я поражен тем, что ты об этом просишь! Если хочешь видеть меня, избавься от Гилберта,

но уж тогда окончательно. Если хочешь остаться с Гилбертом, тогда ты меня больше не увидишь, я не шучу, больше мы не встретимся никогда. Как будто ясно. Ты дай мне знать поскорее, хорошо? А теперь, пожалуйста, уезжай, твой друг заждался.

Лиззи, снова стиснув сумку на груди, заговорила очень быстро:

— Мне нужно время… я не могу так сразу бросить Гилберта, не могу, не могу я сделать ему так больно, ты пойми… люди не понимают, они так гадко обошлись с нами, но ты-то должен понять, и тогда ты увидишь…

— Лиззи, не говори глупостей, ты раньше не была глупой, я не желаю «понимать» твое положение, это дело твое. Но ты должна либо покончить с этим и прийти ко мне, либо не покончить и не прийти ко мне.

— Ох, Чарльз, милый, милый…

Она вдруг повернулась, и тело ее из деревянного стало телом танцовщицы. Она отшвырнула сумку в траву и в следующее мгновение была бы в моих объятиях, но я сделал шаг назад и опять не допустил этого.

— Нет, не нужны мне твои поцелуи. Уезжай и подумай.

Упали первые капли дождя, и на ее платье

появились длинные темные пятнышки. Она коснулась руками пылающих щек и, продолжая начатое движение, стремительно нагнулась и подняла сумку.

— Ну, теперь беги, девочка. Не хочу я с тобой ни путаных объяснений, ни споров. До свидания.

Со слабым стоном она отвернулась от меня и выбежала из башни.

Я переждал немного, а когда вышел, она уже подбегала к шоссе. Там, на траве, передом к Вороновой бухте стоял теперь желтый «фольксваген». Из него выскочил Гилберт и открыл заднюю дверцу. Лиззи юркнула в машину. Обе дверцы хлопнули, и машина рванулась за поворот. Минуты через две она показалась на дороге к отелю. Я смотрел, пока она не миновала отель и не скрылась, когда дорога свернула прочь от моря. А тогда вернулся в башню и подобрал разорванную босоножку. Лиззи, пока добиралась до шоссе, наверняка поранила ногу.

С тех пор прошло два часа, я сижу в красной комнате. Я только что дописал свой отчет о посещении Лиззи в виде новеллы, и изложить его в такой форме оказалось почему-то волнительно и приятно. Жаль, что нет времени записать всю свою жизнь вот так, по кусочкам, а стоило бы.

Приятные куски стали бы приятны вдвойне, смешные куски — еще смешнее, а грех и горе смягчились бы в свете философских утешений.

Свидание с Лиззи разбередило меня, и я не уверен, умно или глупо себя держал. Конечно, если б я заключил бедную Лиззи в объятия, все бы разрешилось в ту же секунду. В то мгновение, когда она отшвырнула свою сумку, она была готова уступить, пойти на любые условия, пообещать все что угодно. И как мне этого хотелось! Это призрачное объятие осталось при мне как несостоявшаяся радость. (Должен признаться, что, после того как я ее увидел, мои идеи стали куда менее «абстрактными».) Но поступил я, пожалуй, разумно и доволен тем, что проявил твердость. Если б я в ту минуту принял Лиззи, согласился бы на ее согласие, проблема Гилберта все же не была бы разрешена, а избавляться от него пришлось бы мне самому. Гораздо лучше предоставить это Лиззи, и пусть поторопится, хотя бы из страха потерять меня. Я хочу, чтобы вся ситуация прояснилась и была зачеркнута, а пока предпочитаю о ней не думать. Не придаю я значения и второму «возражению» Лиззи, высказанному в ее письме, — ее страху, как бы я не разбил ей сердце! Эта опасность ее не остановит. Сдается мне, что

это был только предлог, лишний аргумент ради выигрыша времени. Она, вероятно, сразу поняла, что придется ей дать Гилберту отставку, а это, при его слезливом упорстве, могло показаться ей трудной задачей. Неужели я в самом деле такой донжуан? Если сравнить с другими — конечно же нет.

Что касается моей суровой тактики с Лиззи, то я, собственно, ничем не рискую. Если она будет слишком тянуть, приеду и увезу ее. Если опять начнет отнекиваться, не стану слушать. Мои угрозы насчет «больше никогда» — это, конечно, пустые слова, но она-то воспримет их всерьез. Если в конце концов она все-таки решит отказаться от меня, то этим только докажет, что она меня недостойна. Несмотря ни на что, я ведь могу обойтись без Лиззи. Не хочет — не надо.

Пройдусь-ка я по берегу в отель «Ворон» и закажу вина — пусть пришлют. Если понравится меню, может быть, даже останусь там пообедать. Я уже немного проголодался. Что-то мне вдруг стало весело, наверно, все будет хорошо.

Вскоре после этого произошло нечто в высшей степени нелепое, а потом… но сперва…

Я пошел в отель «Ворон», заказал партию вина и купил бутылку какого-то испанского красного,

чтобы взять с собой. Меню обеда оказалось малоинтересным, но я был так голоден, что толкнулся в ресторан, однако официант не пустил меня, потому что я был без галстука. Я хотел было назвать себя, но раздумал; пусть узнают сами, да будет поздно. Мимоходом я взглянул на себя в зеркало: рубашку я укротил, но вид у меня действительно был как у бродяги — грязные джинсы, отросшие нечесаные волосы и старая вязаная кофта, надетая наизнанку. Я потопал домой.

В отель я прогулялся с удовольствием, но теперь стало темнеть и похолодало, а к тому времени, как я подходил к дому, солнце село, хотя в небе еще оставалось много света — облака рассеялись, оставив приглушенную лазурь. Огромная вечерняя звезда блестела над морем, близко от нее висела бледная матовая луна, слабыми точками загорались другие звезды. Крупные летучие мыши мелькали над скалами. Проходя мимо Миннова Котла, я слышал, как в нем ревет вода. К дому я подходил по дамбе, держа бутылку в одной руке.

Дом, конечно, не был освещен изнутри, но в светящихся сумерках его узкий высокий силуэт эффектно выделялся на фоне неба. Когда я дошел до середины дамбы, мне показалось, что в одном

из нижних окон что-то движется. Я застыл на месте. Смотреть на дом было трудно — слишком ярким было небо позади него, я никак не мог сосредоточить на нем взгляд. В глазах двоилось, но я уже был уверен, что не ошибся: что-то двигалось в доме, в книжной комнате. Моргая, я очень медленно пошел вперед. И вдруг увидел, всего на миг, но совершенно ясно, что у окна, глядя наружу, стоит темная фигура. Фигура растворилась в темноте комнаты, а я словно ослеп. Я выронил бутылку, она скользнула по отвесному скату дамбы и с тихим звоном разбилась о скалы. Я поспешно вернулся по дамбе на шоссе.

В доме кто-то есть. Что делать? Теперь мне было слышно мягкое шуршание волн, словно кто-то легонько скребет ногтями по мягкой поверхности. И на пустом темнеющем шоссе я с содроганием осознал полное свое одиночество, свою беззащитность среди этих безмолвных скал, у поглощенного собой, безучастного моря. Я подумал, не вернуться ли в отель и там переночевать, но решил, что это глупо, и дадут ли еще мне номер, когда я в таком растерзанном виде и без единого чемодана. Потом подумал, что можно пройти дальше, в деревню, в «Черный лев», но… какой смысл? Друзей у меня в деревне нет. И

тут пришла новая, совсем уже пугающая мысль: я не решусь двинуться куда бы то ни было в этой сгущающейся тьме, по этой ужасной безлюдной дороге. Идти некуда, кроме как в дом.

Я медленно двинулся обратно по дамбе. Кухонную дверь я оставил открытой, а парадная заперта, придется, значит, обойти дом снаружи. И сколько времени уйдет на то, чтобы найти спички, зажечь лампу? Если в доме кто-то есть, он услышит, как я пробираюсь к черному ходу, и будет меня там ждать. Глупо, если меня со страху пристукнет какой-то грабитель! Я помедлил, но все же пошел, потому что теперь снаружи было страшнее, чем могло быть внутри, а пуще всего я страшился собственного страха и жаждал от него избавиться. Возможно, все это мне вообще только померещилось из-за обманчивого освещения и скоро я уже буду с аппетитом ужинать и смеяться над собой.

Я вспомнил, где лежит электрический фонарик — на полке за дверью, сразу как войдешь в кухню, и представил себе, где стоит лампа и рядом с ней спички. Бросив последний взгляд на небо, еще залитое тусклым светом, я взялся за ручку двери, стараясь погромче шуметь. Ввалился в кухню, дверь оставил отворенной, нашел фонарик, по-

том лампу и спички. Зажег лампу и подкрутил повыше фитиль. Тишина. Я крикнул: «Эй, кто тут есть?» Дурацкий испуганный возглас эхом отдался в доме. Тишина.

Держа лампу в поднятой руке, я вышел в прихожую, потом быстро прошел в ту комнату, где видел «фигуру». Пусто. Обошел остальные комнаты на нижнем этаже. Ничего. Подергал парадную дверь. Заперта. Стал совсем уж медленно подниматься по лестнице. С самого приезда сюда я смутно чувствовал, что если в доме обитает какая-нибудь нечисть, то самое подходящее для нее место — длинная верхняя площадка. И теперь, когда до верха оставалось всего несколько ступенек, я вдруг услышал дробное постукивание — кто-то отодвинул занавеску из бус.

Я остановился. Потом машинально двинулся дальше, разинув рот, выпучив глаза. Дойдя до площадки, я поднял лампу повыше и вгляделся в открывшееся передо мной пространство, где свет лампы и последние отблески наружного света, проникающего из открытой двери спальни, сливались в густое туманное марево. Я различил черную нишу в стене, контур арки, несчетные точки — бусы занавески. А потом внезапно у дальней стены, между занавеской и дверью во

внутреннюю комнату, увидел темную, неподвижную женскую фигуру. Первой, очень четкой мыслью было, что передо мной привидение, призрачная хозяйка этого дома, наконец-то! У меня вырвался сдавленный хрип, я готов был бежать обратно вниз, но не мог сдвинуться с места. Лампу я не выронил.

Фигура пошевелилась. Это был не призрак, а живая женщина. Вот в ней проступило что-то знакомое. Вот в свете лампы я увидел ее лицо. Это была Розина Вэмборо.

— Добрый вечер, Чарльз.

Меня еще трясло, но страх быстро улетучивался. Я испытывал одновременно острое облегчение и накипающую злость. Хотелось громко выругаться, но я молчал, стараясь выровнять дыхание.

— Что это, Чарльз, ты весь дрожишь. Что случилось?

Когда Розина не на сцене (если про такую женщину можно сказать, что она вообще когда-нибудь бывает не на сцене), она говорит с легким своеобразным акцентом, надо полагать — валлийским.

В доме было страшно холодно, и на секунду мне показалось, что я ненавижу его, а он меня.

— Что ты здесь делаешь, как ты очутилась в

моем доме?

— Зашла навестить тебя, Чарльз.

— Ну так разреши проводить тебя за порог.

Я спустился в кухню и зажег вторую лампу. Прошел в красную комнату и поднес спичку к растопке в камине. Проснулся голод, на время заглушенный страхом. Я вернулся в кухню, зажег газ, чтобы стало потеплее, и выставил на стол стакан, тарелку, хлеб, масло и сыр и бутылку вина. Розина вошла следом за мной и стала у плиты.

— Ты не предложишь мне выпить, Чарльз?

— Нет. Уходи. Я не люблю, когда врываются ко мне в дом и затевают игру в привидения. Так что уходи. Я не хочу тебя видеть.

— И не хочешь узнать, зачем я приехала, Чарльз?

В этом повторении моего имени было что-то гипнотическое и угрожающее.

— Нет.

— А ведь ты удивлен, заинтригован.

— Я не видел тебя и не слышал о тебе два года, нет, три, да и то мы, кажется, встретились у кого-то в гостях. А теперь вдруг такое несусветное явление. Или оно задумано как веселая шутка? По-твоему, я должен был тебе обрадоваться? Ты в моей жизни инородное тело, так что прошу тебя

— исчезни.

— Насчет инородного тела это ты, знаешь ли, ошибаешься. Да, ты испугался, Чарльз. Как интересно, прямо-таки откровение, до чего легко запугать людей, сбить их с толку, затравить, так что они уже себя не помнят от страха и жизни не рады. Недаром диктаторы процветают.

Я сел, но при ней был не в состоянии ни есть, ни пить. Розина нашла стакан, налила себе вина и села за стол напротив меня. Мне все еще было холодно от злости и тошно от пережитого страха, но теперь, когда я заморил червячка, меня и правда стало разбирать любопытство — что за странное проявление ее личности? Да и как от нее избавиться, если она не желает уходить? Не разумнее ли умилостивить ее, чтобы ушла по своей воле? Я стал на нее смотреть. На свой лад, до крайности самобытный, она, безусловно, была необычайно красивой женщиной.

— Милый Чарльз. Я вижу, ты приходишь в себя. Вот и хорошо, ужинай на здоровье. Bon appètit[17].

На Розине была теплая черная накидка с прорезями, сквозь которые она продела обнаженные до

---

[17] Примечания: 17
Приятного аппетита *(фр.)*.

локтя руки. Пальцы ее были унизаны кольцами, браслеты на запястьях поблескивали, когда она легонько сводила кончики пальцев. Ее жесткие темные волосы, сейчас почти черные, были уложены на голове каким-то подобием греческого венца. Либо она их отрастила, либо надставила фальшивыми косами. Лицо было густо накрашено, все в розовых, красных, голубых и даже зеленых мазках, и в круге неяркого света от лампы напоминало индейскую маску. Это было некое красивое уродство. Рот, удлиненный помадой, был огромный и влажный. Косящие глаза метали в меня яростные стрелы. Она играла роль, изображала сдерживаемые страсти, что актерам кажется верхом искусства, а для зрителей далеко не всегда убедительно.

— Клоун, да и только, — сказал я.

— Вот это уже лучше. Это как в прежние времена.

— Поесть хочешь?

— Нет, я сытно закусила с чаем у себя в отеле.

— В отеле?

— Ну да, я остановилась в «Вороне».

— В самом деле? А я там сегодня был. Меня не пустили в ресторан.

— Это понятно. Вид у тебя как у нищего шко-

ляра. Морской климат пошел тебе на пользу. Выглядишь на двадцать лет. Ну, на тридцать. Я слышала, как тебя обсуждали в баре. Ты, видно, всем здесь успел досадить.

— Быть того не может. Я ни с кем не знакомился…

— Я могла бы тебе заранее сказать, что деревня — наименее спокойное и уединенное местожительство. Самое спокойное место для отшельника — квартира в Кенсингтоне.

— Ты хочешь сказать, что официант меня не пустил, хотя знал, кто я такой?

— Ну, может быть, он тебя не узнал. Не так уж ты знаменит. Я куда знаменитее тебя.

Это была правда.

— Звезды всегда более знамениты, чем те, кто их создает. Можно узнать, что ты делаешь в отеле «Ворон»?

— Приехала к тебе в гости.

— И давно ты здесь?

— Давным-давно, неделю, не помню точно. Мне хотелось за тобой понаблюдать. Я подумала, что забавно было бы нагнать на тебя суеверного страху.

— Суеверного? Ты хочешь сказать…

— Неужели ты ничего такого не чувствовал?

Правда, сделала я не так уж много. Никаких тыкв со свечкой внутри, никаких саванов…

Я чуть не закричал от облегчения и ярости:

— Так это ты? Это ты разбила вазу и зеркало, это ты тут рыщешь по ночам и подглядываешь за мной…

— Вазу и зеркало я разбила, но по ночам не рыскала, в полной темноте я бы сюда не пришла, в этом доме и днем-то жутко.

— Да нет, рыскала и смотрела на меня в окошко из внутренней комнаты.

— Ничего подобного. Не было такого. Это, наверно, какое-то другое привидение.

— Нет, было. Кто-то был. Как ты проникла в дом?

— А ты не запираешь нижние окна, и, между прочим, напрасно.

Вот тут, пока я смотрел на нее, мне было видение. Словно лицо ее внезапно исчезло, стало дырой, и сквозь эту дыру я увидел змеиную голову, и зубы, и розовую пасть моего морского чудовища. Это длилось секунду. Вероятно, это было даже не видение, а мысль. Нервы у меня еще не успокоились. Я опять услышал шум моря, теперь уже громче. Но поскольку я не мог обвинить Розину в том, что она натравила на меня морское

чудовище, я счел за благо об этом умолчать.

— Но зачем ты меня преследовала? И почему вдруг решила себя обнаружить?

— Я сегодня видела в деревне Лиззи Шерер.

— Да, она здесь была и уехала. Но при чем это? Убей, не понимаю, какая тут связь.

— Неужели не понимаешь, Чарльз? Неужели забыл? Ну так я тебе напомню.

Розина положила ладони на стол и нагнулась ко мне. Ее длинные темно-лиловые ногти уставились на меня, как маленькие копья. Браслеты скребли по деревянному столу.

— Неужели забыл? Ты ведь обещал, что если когда-нибудь женишься, то женишься на мне.

Я снова почувствовал страх, холодный, сосущий, вторжение в мою жизнь чего-то непредвиденного и опасного. Раздражающе синие глаза Розины сверкали, искрились ее кольца. А сказала она чистую правду. Я ответил небрежным тоном:

— Разве? Я уже забыл. Наверно, был пьян. Во всяком случае, я не собираюсь жениться.

— Да? А еще ты обещал, что если решишь с кем-нибудь съехаться окончательно, так со мной.

Это, к сожалению, тоже была правда.

Розина улыбнулась. Зубы у нее не совсем ров-

ные, длинные и белые, и в улыбке она иногда сводит нижние зубы с верхними, а губы оттягивает назад. Зрелище малопривлекательное.

— Ты не был пьян. И ты не забыл, Чарльз.

Я пытался сообразить, какой тактики держаться с этой опасной женщиной. Вот уж не ожидал, что она вновь появится в моей жизни. Но теперь, когда это случилось, я отдал должное ее стилю. Разбитая ваза, расколотое зеркало — все это было не зря. Но зачем эти напоминания именно сейчас, что послужило толчком? Ответ надо искать в ее словах о Лиззи, но я, к сожалению, не успел их обдумать. Если все дело в этом, может быть, сказать ей, что приезд Лиззи ровно ничего не значит? Этим только оттянешь кризис, характер которого я только что начал прозревать. Неужели я в своих недавних размышлениях о Лиззи бессознательно предполагал, что она может стать для меня постоянной подругой жизни? Возможно. Думал ли я всерьез о том, чтобы жениться на Лиззи? Нет. Но запугивание Розины невыносимо, попросту нагло. Нет, лучше сразу выказать бескомпромиссную твердость.

— Ну, знаешь, хватит. Что именно я говорил — не помню, но то был эмоциональный вздор под влиянием минуты, и тебе это отлично известно.

Так себя не связывают, и я не связан. Никакое это было не обещание, просто слова.

— Обещания и есть слова. Ты связан, Чарльз. Связан.

Она повторила это слово тихо, проникновенно.

— Розина, не болтай глупостей. Мало ли что говорят в любовном угаре. Ну, если хочешь, можно сказать по-другому: да, я обещал, но нарушу обещание, как только найду нужным, все так делают.

— Так ты на ней женишься?

— На ком? Ты что имеешь в виду? Ты про Лиззи?

— Так это правда?

— Нет, конечно. Я на ней не женюсь.

— Так ты на ней не женишься?

— Розина, отстань от меня. И с чего это тебе взбрело в голову?

— Ну, это просто. — Розина щелкнула пальцами. — Она сама раззвонила. Всем и каждому сообщает, что ты без конца делаешь ей предложение.

Этому я, конечно, не поверил.

А Розина продолжала:

— Гилберт Опиан изо всех сил сколачивает против тебя некую клику. Очень весело, все в

восторге.

Гилберт — вот кто всему виной.

— А ты, скорее всего, и не знал, что Лиззи живет с Гилбертом. Еще один сюрприз. Кроме тебя, все знали. Если тебя не интересует, с кем она живет, значит ты не интересуешься ею достаточно для того, чтобы на ней жениться.

— Да не собираюсь я на ней жениться.

— Ты уже сказал это два раза.

— То есть я… Ох, Розина, уйди. И они не любовники.

— Ты в это веришь?

— То есть я поступлю так, как захочу.

— С кем жила я, это ты всегда знал.

— Не обольщайся. Мне решительно все равно, чем ты занимаешься и с кем живешь, лишь бы ко мне не приближалась. Марш отсюда.

Розина не сдвинулась с места, только протянула руку через стол и длинным острым ногтем среднего пальца коснулась рукава моей рубашки. А потом я почувствовал, как ее ноготь вонзился мне в руку. Я не вздрогнул, не шелохнулся.

— Ты ничего не понял, — сказала она. — Зачем, по-твоему, я к тебе пришла? Я не для того забиралась в твой дом и все тут крушила, чтобы позабавиться, а потом посмеяться вместе с тобой.

Слушай внимательно. Женишься ты на мне или нет — не знаю. Но я не допущу, чтобы ты женился на ком-нибудь еще. Обещал — так держи слово.

— Это не в твоих силах. Ты живешь в выдуманном мире.

— О, ты можешь официально сочетаться браком или выбрать себе постоянную подругу, но «жить счастливо до самой смерти» ты не будешь. Если ты опять сойдешься с Лиззи, я исковеркаю твою жизнь, как ты исковеркал мою. Тебе от меня не скрыться. Я всегда буду с тобой, буду в твоих мыслях день и ночь, стану демоном и твоей, и ее жизни Она горько пожалеет, что вообще тебя встретила. Запугивать людей очень легко. Я это знаю, Чарльз, пробовала. И калечить людей легко, и лишать их душевного покоя, и убивать их радость. Я не потерплю твоего брака, Чарльз. Если ты женишься на Лиззи или осядешь с ней прочно, я поставлю себе целью отравить твою жизнь, и это будет очень легко.

Она отняла руку. На рукаве моей рубашки выступило пятнышко крови. То не были бредовые выкрики ревнивой женщины. То была ненависть, а ненависть способна умерщвлять, у нее своя магия. Розина обладала и волей и силой, чтобы привести свою угрозу в исполнение. И при

этой мысли меня кольнула догадка, что именно за эту черную волю, только иначе направленную, я и полюбил ее когда-то. Она уже опять улыбалась, обнажив свои белые рыбьи зубы.

Я заговорил рассудительным тоном, который не обманул ее, потому что она чувствовала, что мне страшно:

— Угрозы твои несколько преждевременны, но, если ты почему-либо решишь меня изводить, я в долгу не останусь. К чему тебе затевать войну, к чему тратить силы и время? Ведь это ненависть, а не любовь. Ты же разумная женщина. Забудь это. К чему растравлять себя приступами взбалмошной ревности?

Последние слова были серьезной ошибкой. Розина стукнула ладонями по столу, и глаза ее засверкали от бешенства.

— И ты еще смеешь говорить о ревности! Как будто мне есть дело до этой дурочки, за которой ты бегаешь! Да, ты ради нее бросил меня, меня, и я этого не забыла. Я бы могла искалечить ее или довести до психоза, но я знала, что она тебе надоест, и так и вышло, тебе ведь все надоедают. Ты разрушил мой брак, из-за тебя у меня нет детей, из-за тебя я порвала со всеми друзьями. А когда ты умолил меня уйти от мужа и я от него ушла,

ты покинул меня ради этой куклы. Неужели ты забыл, какая у нас была любовь? Неужели не помнишь, почему произнес те слова?

— К счастью, любовные встречи забываются, как забываются сны.

— У тебя никогда не было ни на грош воображения, потому ты и пьесы не мог писать. Ты бесчувственный, равнодушный человек. Тебе нужны женщины, но те, кто тебе нужен, тебя не интересуют, поэтому ты и не знаешь людей. Романы у тебя были, но ты остался каким-то невинным, впрочем, нет, не невинным, ты по натуре порочен, но каким-то недозрелым. Твоей первой любовницей была твоя мать, Клемент похитила у нее младенца. Но неужели ты не понимаешь, что все это был мираж? Женщины любили тебя за власть, за магию, да, ты был чародей. А теперь это кончилось. Только я одна любила тебя ради тебя самого, а не за твою непобедимую мощь.

— Эта речь прозвучала бы более внушительно, если бы ты произнесла ее раньше, а не тогда, когда до тебя дошли какие-то слухи про Лиззи!

— А я хотела сперва убедиться, правда ли ты отрекся от мира или только хвастал. Я хотела, чтобы ты остался один как перст. Тогда, воз-

можно, ты был бы почти достоин меня. Дура я была, что вообразила, будто смогу когда-нибудь восхищаться в тебе не только этим дешевым чародейством. Но как бы там ни было, обещание ты мне дал в минуту истины, в минуту абсолютной любви, какие редко выпадают на долю мужчине. И это обещание — мое, единственное, что я имею взамен моего разбитого брака и всей той любви, которую я излила на тебя, только на тебя из всех мужчин. Обещание это мое, и я буду его хранить, даже если никак не смогу им воспользоваться, кроме как обратив твою жизнь в выжженную пустыню.

Я рывком встал, и она вся напряглась, даже подняла свои сверкающие руки, словно когтистые лапы. Словно балерина, играющая кошку.

— Вот что я тебе скажу, моя косоглазая красавица: время позднее, отправляйся-ка ты к себе в отель «Ворон». Я иду спать. И прошу тебя больше не рыскать по этому дому, ничего не разбивать и не подглядывать за мной. У меня нет никаких матримониальных планов, и ни с какой женщиной я не намерен связать свою судьбу.

— Клянешься?

— Все это твоя фантазия. Лиззи живет с Гилбертом, и точка. И разумеется, я не делал ей

предложения, это просто идиотские слухи. Ну же, уходи, я смертельно устал, да и ты, наверно, тоже после такого-то длинного спектакля.

Она встала и плотно запахнулась в свою накидку, стиснув перед собой руки, продетые в прорези. Минуту она жгла меня взглядом.

— Я уйду. Но скажи, что ты веришь тому, что я сказала.

— Отчасти верю.

— Скажи, что веришь.

— Верю, верю. Ради бога, уйди.

Я взял лампу и пошел к парадной двери, и она пошла за мной. Я открыл дверь. Свет лампы озарил туман, который ждал у порога, как живое существо. В нескольких шагах ничего не было видно.

— Я посвечу тебе до шоссе, — сказал я и вернулся за электрическим фонариком. — Впрочем, надо, пожалуй, проводить тебя до отеля. О черт!

— Не нужно, — сказала она тусклым, безжизненным голосом. — Я с машиной.

Я пошел по дамбе, освещая дорогу. На шоссе туман был не такой густой.

— Где твоя машина?

— Вон там, за скалой.

Мы подошли, она села в машину. Я сказал:

— Прощай.

Она сказала:

— Не забудь.

Она включила фары, и я различил очертания низкого красного двухместного автомобиля. Задним ходом Розина вывела его на дорогу, развернулась и двинулась в сторону отеля, и тут из тумана вдруг возникла какая-то фигура — кто-то шел по шоссе. Розина с силой нажала на акселератор, машина скакнула вперед, и на мгновение фигура, вдавившаяся спиной в скалу, оказалась в свете фар. Скрежет, машина вильнула и с ревом унеслась прочь. Я уронил фонарик в траву и остался в темноте.

Прохожим, на которого Розина чуть не наехала, была та старая женщина из деревни, что чем-то напомнила мне Хартли. Сейчас, в короткой вспышке света, я ее увидел. Эта старая женщина не была похожа на Хартли. *Это была сама Хартли.*

История 2

И вот теперь в Лондоне я пишу о появлении Розины и о том, что случилось сразу после ее отъезда. Когда ее машина умчалась, я остался стоять в полном шоке, в состоянии почти созерцательном, когда уже нет ни пространства, ни времени. Я был парализован. Непонятно, как я устоял на ногах, до того сокрушительным было мое открытие. В первую секунду я, сам не знаю почему, воспринял его именно так — не как нечто нежелательное или страшное, а только как невозможное, которое сбылось, как конец света, который мы не в силах вообразить. Это и в самом деле был конец света. Помню, как потом я медленно протянул руку, чтобы опереться о скалу. Когда я смог наконец пошарить в траве и поднять фонарик, я уже знал, что Хартли здесь нет — либо она ушла далеко вперед по шоссе, либо сокращает путь, свернув по тропинке полями. Да я и не был уверен, в какую сторону она шла, когда ее осветили фары. Я был так оглушен, что не мог даже сразу решить, что мне делать. Заспешил было по направлению к деревне, остановился.

Мне в голову не пришло окликнуть ее. Я и имя-то ее едва помнил, оно вырвалось бы у меня, как во сне, невнятным мычанием. Заспешил обратно и зачем-то стал водить фонариком во все стороны, осматривая то место, где видел ее. Тонкий луч осветил следы колес, примятую траву, желтую рябую поверхность скалы, волны тумана. Наконец я медленно, как возвращаются с похорон, двинулся по дамбе обратно к дому. Лампы в кухне еще горели, в красной комнате топился камин. Все было тихо, ничего не изменилось с тех пор, как я, миллионы лет тому назад, разговаривал здесь с Розиной.

Я весь дрожал. Ни пить, ни есть было немыслимо. Я пошел в красную комнату и сел у огня. Она вдова? Почему-то этот нестерпимый вопрос сложился как-то сразу, в самый первый ужасный миг узнавания. Ужасный не потому, что она так изменилась, а потому, что я понял: все вокруг меня лежит в развалинах, все прежние оценки сметены, все грозные возможности открыты. Что мне вскоре предстоит жестоко страдать — об этом я, кажется, в ту минуту не подумал. Не предчувствие страданий меня потрясло, а ощущение самой перемены. Я мучился настоящим, как, вероятно, мучится насекомое, выбираясь из

куколки, или плод, пробивающий себе путь из утробы на свет божий. Не было это и уходом в прошлое. Память словно оказалась ни при чем. Это было качественно новое существование.

В конце концов я лег и тотчас уснул мертвым сном. До этого у меня сложилось в сознании еще несколько простых мыслей или вопросов. «Она вдова?» — стучало так неотступно, что было, в сущности, даже не вопросом, а воздухом, которым я дышал. Я спрашивал себя, видела ли она меня в деревне, и если видела, то узнала ли? Я-то видел ее издали несколько раз. О господи, какой ужас, я видел ее и не узнал. Но меня нельзя было не узнать, ведь я почти не изменился. Так почему она со мной не заговорила? Может быть, случайно не заметила, может быть, она близорука, может быть… и вообще, что она делает в этой деревне? Живет здесь постоянно или приехала отдохнуть? Может быть, завтра она исчезнет и больше никогда не появится? Куда она шла по приморскому шоссе так поздно вечером, в тумане? Мелькнула догадка: возможно, она работает в отеле «Ворон»? Но ей за шестьдесят, Хартли за шестьдесят. Я никогда не думал о том, что Хартли тоже стареет. Потом я спросил себя, увидела ли она меня в темноте, а если да, поняла

ли, что я узнал ее? Потом подумал: она увидела меня с Розиной. Что она могла услышать, что мы тогда говорили? И не мог вспомнить. Потом решил, что она не могла меня увидеть, ведь я находился позади фар. А завтра — завтра я пойду искать ее, и буду искать, и найду, и тогда…

Наутро, едва проснувшись, я почувствовал себя в изменившемся мире. Ощущение ужаса отпустило, появилось новое беспокойное возбуждение, чисто физическая потребность ее присутствия, несомненный и яростный магнетизм любви. И еще просилась в душу вещая радость, словно за ночь я обрел некую благотворную силу, способность рождать добро. Я мог добывать добро и наделять им других. Я был тем царем, что искал нищенку[18]. Я был способен преобразить, поднять до себя, одарить неслыханным счастьем и радостью. Боже мой, я приехал сюда, именно сюда, и здесь, вопреки всем вероятиям, я наконец нашел ее! Я приехал сюда в память Клемент и нашел Хартли. Но: *вдова ли она?*

Еще не было девяти часов, когда я пришел в деревню. Солнечное утро обещало жару. Я быстро обошел все улочки. Потом спустился к пристани

---

[18] Примечания: 18

Намек на легендарного африканского царя Кофетуа, который полюбил нищенку и женился на ней.

и вернулся по тропинке, которая вела в гору, к коттеджам. Как только открылись лавки, заглянул в ту и в другую. Опять побродил по улицам. Зашел в церковь, совершенно пустую, и посидел, опустив лицо в ладони. Почувствовал, что могу молиться, мало того — что молюсь. Это было странно, потому что в Бога я не верю и не молился с детства. Я молился: сделай, чтобы я нашел Хартли, и чтобы она оказалась одна, и полюбила меня, и чтобы я сделал ее навеки счастливой. Сделать Хартли счастливой — это стало для меня самым заветным желанием, исполнение которого увенчает мою жизнь, придаст ей законченность и совершенство. Я все молился, а потом, видимо, заснул. Во всяком случае, я проснулся в безумном страхе, что потерял Хартли, потому что, пока я спал, единственная возможность найти ее появилась и пропала. Время ее отпуска истекло, она уехала домой, сбежала, скоропостижно умерла. Я вскочил и посмотрел на часы. Только двадцать минут десятого. Я выбежал из церкви. И тут наконец увидел ее.

Я увидел, как полная пожилая женщина в бесформенном коричневом платье колоколом, с хозяйственной сумкой в руке очень медленно, как во сне, прошла по улице, мимо «Черного

льва», к лавке. Эта женщина, которую я до того замечал лишь мельком, мимоходом, теперь преобразилась в моих глазах. Фоном ей служил весь мир. И между нею и мной, быть может в последний раз, проплыло видение — стройная длинноногая девочка с белыми ляжками. Я побежал.

Я догнал ее, подбежал к ней сзади, когда она только что миновала трактир, коснулся широкого коричневого рукава ее платья. Она остановилась. Я тоже. Я не мог выговорить ни слова.

Ее лицо повернулось ко мне — знакомое белое круглое лицо с загадочными лиловатыми глазами, и почти как рефлекс явилась утешительная мысль: это я могу понять, да, это та же самая женщина, и я вижу, что это она, та же самая.

Лицо Хартли, казавшееся сейчас совсем белым, выражало такой неподдельный ужас, что я бы и сам ужаснулся, не будь я занят лихорадочными, почти бессознательными поисками отдельных «сходств», какой-то возможности слить настоящее с прошлым. Да, это лицо Хартли, хотя изможденное и до крайности сухое и мягкое. Сеть тончайших морщинок тянулась от уголков глаз вверх ко лбу и вниз к подбородку, охватывая лицо как капор. Лоб прочертили строгие гори-

зонтальные складки, над верхней губой темнели волоски. Губы подмазаны влажной помадой, пудра на лице кое-где слиплась. Волосы поседели, завиты по моде и аккуратно причесаны. Но в форме лица и головы, в выражении глаз осталось что-то нетронутое, донесенное из прошлого в настоящее.

Она еле слышно сказала что-то вроде: «Ах, это…» Она, конечно, знала, кто я, это сразу стало ясно. Она лепетала: «Это… это…» — и в глазах ее был ужас и мольба.

Наконец я с трудом выговорил: «Пойдем, пойдем» — и опять потянул ее за рукав и стал подвигаться назад, к церкви. Я не пытался идти с ней рядом, она шла за мною, отстав на несколько шагов, а я все оглядывался и спотыкался. Одному богу ведомо, кто был свидетелем этой встречи. Может, человек десять, может, никто. Сам я не видел ничего, кроме полных ужаса глаз Хартли.

Я вошел в церковь и придержал тяжелую дверь, давая ей пройти. В церкви по-прежнему было пусто. Через высокие окна лился белый прохладный свет. Я сел на одну из ближайших скамей, а она — в следующем ряду передо мной, так что ей пришлось повернуться, чтобы видеть меня. В сыром, затхлом воздухе я чувствовал запах ее

пудры, тепло ее тела. Сумку она бросила на скамью и обеими руками ухватилась за спинку. Руки были красные, загрубелые, она тут же снова их спрятала. Она шепнула: «Прости…» — и закрыла глаза. Я приник лбом к полированной деревянной спинке скамьи там, где только что лежали ее руки, и сказал:

— Ох, Хартли… Хартли… Хартли…

Позднее мне пришло в голову, что я ни на секунду не усомнился, что она волнуется так же сильно, как я, а ведь могло быть иначе. Когда я поднял голову, она прикладывала к лицу платок и дышала прерывисто, с открытым ртом, не глядя на меня.

— Хартли, я… О, Хартли, о, моя милая… ты где живешь, ты живешь здесь, в деревне?

Не знаю, почему я начал с этого вопроса, может, потому, что на него было легко ответить. Словесное общение казалось непосильной задачей, точно мы говорили на разных языках и должны были обучать друг друга устной речи.

— Да.

— Не отдохнуть приехала, живешь все время?

— Да.

— Я тоже. Я больше не работаю. Ты где живешь?

— Наверху, на горе.

— В одном из коттеджей?

— Да. — И добавила: — Оттуда очень красивый вид.

Она тоже не знала, что сказать. От платка на щеке у нее остался след губной помады.

— Ведь ты тогда вышла замуж… ты и теперь… то есть твой муж и теперь… то есть у тебя и теперь есть муж?

— Да, да. О да. Мой муж жив, он со мной, да… мы живем… мы живем здесь.

Я молчал, пока целый мир возможностей медленно осел, как в сценическом трюке, бесшумно сплющился, упал, растворился, стал совсем маленьким и исчез. Так. Это, по крайней мере, ясно. И мне предстоит все выдумывать по-новому, пребывать в этой ситуации, которая, как я уже понимал, отныне станет для меня (не знаю, как для Хартли) единственной, окончательной, центром вселенной.

— Как жаль, — сказал я.

В ответ на это нескладное последнее признание она чуть качнула головой. Короткая панихида, всеобъемлющее «аминь».

Я продолжал:

— А я не женат. Так и не женился.

Она опять чуть кивнула, опустив взгляд на испачканный помадой платок. И мы помолчали, как будто рассматривали, замерев, огромной важности событие, только что происшедшее у нас на глазах. А потом, поскольку в критическую минуту люди спешат сказать хоть что-нибудь, я заторопился с вопросами:

— Ты меня раньше-то видела здесь? Или видела, но не узнала?

— Конечно видела. Недели три назад. Я тебя узнала. Ты не изменился.

Я не мог заставить себя сказать: «И ты не изменилась» — хотя потом выругал себя за то, что не сказал. Очень ли тяжко женщине терять свою красоту, понимает ли она, когда это происходит? Но меня тут же отвлекла и устрашила другая мысль.

— Так почему же ты со мной не заговорила?

— Я не была уверена, что тебе захочется со мной говорить. Думала, может, ты считаешь лучше, чтобы мы друг друга не узнали…

— То есть ты подумала, что я тебя узнал и нарочно не поздоровался… не подошел? Как ты могла это подумать!

— Я не знала — не знала, как ты после стольких лет… не осуждаешь ли меня, не забыл ли.

Ты теперь такой важный, знаменитый, может, я тебе не понравилась, не такие тебе нужны знакомые…

— Хартли, не надо, если б ты только знала… я все эти годы искал тебя, я не переставал тебя любить…

Я коснулся плеча ее коричневого платья, на мгновение сжал пальцами воротник.

— Не надо, — сказала она тихо и слегка отодвинулась.

— Ты знала, что вчера вечером я заметил тебя?

— Да.

— Вот только когда я тебя узнал. С тех пор я себе места не нахожу. Неужели я мог бы притвориться, что не узнал тебя? Какой ужас! Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя или забыл! Ты же моя любовь, была и осталась…

Она скривила губы как будто в улыбке и покачала головой, все еще не глядя на меня.

Я не мог продолжать, меня неудержимо несло к опасным темам.

— И ты все с тем же… мужем, с тем, за которого вышла… тогда?

— Да, с тем самым.

— Я даже не знаю, как его зовут… Я и твою новую фамилию не знаю.

— Я миссис Фич. Его фамилия Фич. Бенджамин Фич.

Эти слова были как удар под ложечку. Достаточно кошмарно, что Хартли замужем, а теперь этот кошмар, с которым мне предстояло как-то существовать, к тому же обрел имя. Волна жалости к самому себе захлестнула меня, я сморщился от боли.

— А что он делает, Хартли, то есть он… кем он работает?

— Он инвалид, разъезжал в машине каким-то представителем, много чем занимался, одно время был агентом по продаже, сейчас не работает. Мы приехали сюда, раньше жили в Лестершире, поселились здесь, в этом коттедже…

— Ну не странно ли, Хартли, оба мы приехали сюда, не зная друг про друга. Это, наверно, судьба. Но как же это больно.

Хартли не ответила. Она посмотрела на часы.

— А дети… они у тебя есть?

— У нас есть сын. Ему восемнадцать лет. Он сейчас в отъезде.

Это она сказала спокойнее и более деловито, словно выполняя неприятную обязанность.

— Как его зовут?

Она ответила не сразу.

— Титус. — И повторила: — Его зовут Титус. — Потом опять взглянула на часы. — Мне пора. Надо идти в лавку. А то опоздаю.

— Хартли, пожалуйста, не уходи, пожалуйста, мне нужно еще с тобой поговорить, ну скажи, какая была у твоего мужа последняя работа?

Только бы задавать еще и еще вопросы.

— Огнетушители. Он продавал огнетушители. — И добавила: — По вечерам он всегда бывал такой усталый.

Я вдруг представил себе ее вечера, годы и годы ее вечеров, и спросил совсем уже невпопад:

— И ты счастлива в браке, Хартли, ты прожила хорошую жизнь?

— О да, да, я была очень счастлива, очень счастливый брак, да.

Искренне она говорила или нет? Не знаю. Вероятно. Хорошая жизнь — какое странное я употребил выражение. Неужели с нашей последней встречи обе наши жизни прошли, так или иначе завершились? Слушая голос Хартли, в котором сохранилась чуть монотонная напевность, всегда так неотразимо меня пленявшая, и легкий намек на местный выговор, я понял, как сильно изменился мой собственный голос.

Я вдруг задохнулся и положил руки на спинку

скамьи. Мой мизинец коснулся ее платья, и опять она слегка отодвинулась. Что-то черное словно нависло над моей головой, как угроза. Она была счастлива все эти годы, ну да, почему бы и нет, и все-таки я не мог в это поверить, не мог это стерпеть. Все эти годы она существовала, а теперь наши жизни прошли. Я несколько раз глубоко вздохнул, и чернота рассеялась. Я подумал, надо действовать с умом, и слова «с умом» мне как будто помогли. Надо действовать с умом и оградить себя от слишком жестоких страданий. Надо обеспечить себе немножко счастья, ну хотя бы немножко утешения, быстро, с умом.

И сказал, сам не зная зачем:

— Эта женщина в машине, вчера вечером, это известная актриса Розина Вэмборо, она приезжала ко мне…

— Мы в театре почти не бываем.

— Приезжала по делу…

— Я тебя смотрела по телевизору.

— Правда? А что показывали?

— Я уже забыла. Ну, мне пора, — повторила она, встала и взяла свою сумку.

Мне стало страшно.

— Хартли, не уходи, у тебя такой… такой усталый вид.

Фраза не самая удачная, но она выражала ту тревожную заботу, и нежность, и жалость, и какое-то смирение, которое я испытывал к ней, когда она стояла передо мной вот так, в облике старой женщины. Вид у нее и правда был усталый, усталость была написана на ее лице — не печаль, не боль, а именно бесконечная усталость, какая бывает после долгих лет непосильной работы.

— Я здорова, только с желудком все время нелады. А ты выглядишь хорошо, Чарльз, и так молодо. Ну, я пошла.

Она двинулась мимо меня к выходу.

Я вскочил и пошел за ней.

— Но как же нам теперь быть?

Хартли посмотрела на меня, словно не зная, как понять мой вопрос.

Я повторил:

— Как нам быть? Я хотел сказать… Хартли, Хартли, когда я тебя теперь увижу? Может, мы встретимся, когда ты покончишь с покупками, встретимся в трактире, или, может, ты придешь ко мне…

Дальше маячило безумие.

Хартли потянула на себя тяжелую дверь, и через ее плечо я увидел могилу Молчуна, и пере-

плет железной ограды, и деревенскую улицу, по которой шли люди, и далекий морской горизонт. Я заговорил как в бреду:

— Конечно, я у вас побываю, мне так хочется познакомиться с твоим мужем, и вы приходите ко мне в мой забавный дом, выпьем по рюмочке, я живу…

— Да, я знаю, спасибо, но не сейчас, мой муж не совсем здоров.

— Но я должен тебя увидеть, какой твой адрес, какой номер коттеджа?

— Он называется Ниблетс, последний в ряду… но пожалуйста… я дам тебе знать…

— Хартли, прошу тебя, давай встретимся, когда ты все купишь, я бы помог тебе…

— Нет-нет, я и так опоздала. Ты со мной не ходи, увидимся потом, то есть в другой раз, а сейчас оставайся здесь. Я тебя извещу. Ну, я побежала, я тебя извещу. Пожалуйста, не ходи за мной. До свидания.

Все это время мне хотелось ее коснуться, но только кончиками пальцев, словно она была призраком и могла раствориться в воздухе. Теперь я ощутил более четкую потребность осторожно привлечь к себе ее голову, услышать, как бьется ее сердце. Внезапно проснулись давнишние

желания. Я видел ее синие-синие глаза, чуть сумасшедшее выражение на круглом, почти не изменившемся лице. И губы, когда-то такие бледные и холодные.

Я начал было:

— У меня нет телефона…

Она быстро вышла из церкви и плотно притворила дверь. Повинуясь ей, я вернулся на ту же скамью, сел и положил руки на то место, которого она только что касалась.

Что же мне делать, как распорядиться остатком своей жизни теперь, когда я нашел Хартли? Раз в неделю ходить на чашку чая в Ниблетс, к мистеру и миссис Бенджамин Фич? Или угощать их в Шрафф-Энде кларетом и фасолью с колбасой? Свозить их в Лондон в театр? Проявить интерес к будущему Титуса? Взять на себя заботу о всем семействе? Завещать Титусу мое состояние? Мысли мои носились скачками, распахивались необозримые перспективы, огромные участки будущего вдруг обрастали возможностями одна другой ужаснее. С умом, думал я, надо действовать с умом. Я взглянул на часы. Двадцать минут одиннадцатого. Столько страшного передумано за такое короткое время. Я еще посидел, пока Хартли, по моим расчетам, побывала в лавке и

поднялась к себе на гору, потом вышел из церкви и сел на могилу Молчуна, прислонившись к надгробному камню с высеченным на нем якорем. За деревьями мне были видны крыши коттеджей, в том числе последнего, резиденции мистера и миссис Бенджамин Фич. Бывший коммивояжер, инвалид. Что с ним такое, он калека? Я уже понимал, что очень скоро захочу увидеть мистера Бенджамина Фича своими глазами.

Почему Хартли была так неотзывчива, почему не сказала: «Да, приходи к нам в гости» или: «Мы с удовольствием тебя навестим»? Что бы ни было у нее на душе, нормальное общение требовало таких ответов. Их требовала вежливость, и вежливость могла бы нас спасти, хотя бы на время. Или муж-инвалид действительно болен, мучается, капризничает, может быть, прикован к постели? Но как узнать, что у Хартли на душе, почему она держалась так натянуто, так беспокойно? Что ей не хочется приглашать меня к себе, это, пожалуй, понятно, да, вполне понятно. «Ты стал такой важный, знаменитый». Может быть, она немного стыдится своего дома, своего мужа? Это не значит, что она его не любит. А она его любит? Это надо узнать. Она в самом деле счастлива? Это надо узнать. И как прежде, заше-

велилась тяжкая сладкая мысль: как она, должно быть, жалеет о своем выборе. Она, должно быть, всю жизнь жалела, что не вышла за меня. «Я видела тебя по телевизору». И что почувствовала? Обожгла ли ее боль раскаяния, когда она увидела меня «знаменитостью»? Откуда ей было знать, что я — по-прежнему просто я и до сих пор по ней тоскую? И как ей было не вообразить, что я окружен интересными женщинами и наверняка имею постоянную любовницу? Она видела Розину, видела, возможно, и Лиззи. А что, если — и в этой внезапно вспыхнувшей догадке сладость тоже мешалась с болью, — что, если ей из-за этих сожалений и не хочется меня видеть: раскаяние, ревность, игра бесплодных фантазий… Она не хочет возвращаться мыслью к тому, что могло бы быть. О господи, все эти годы, вся наша жизнь, которую мы могли бы прожить вместе. Она не хочет… меня полюбить… начать все сначала…

Инстинктивно я уже так избегал опасных мыслей, что и этой не дал ходу. Прямо сейчас, прислонившись к нагретой солнцем, в пятнах лишайника краткой надгробной надписи Молчуна, я набрасывал в уме программу выживания. Сводилась она к следующему. Нет ни малейшего сомнения в том, что остаток жизни я должен

каким-то образом посвятить Хартли. (Мысль, что мистер Фич серьезно болен и скоро умрет, я тут же отбросил.) Это возможно только при том условии, что я «приму» их брак и сумею наладить дружеские отношения с нею, а также, очевидно, и с ним. Мы с Хартли не просто посещаем друг друга, как туристы, об этом и речи быть не может. В худшем случае муж должен проявить ко мне терпимость. Может быть, я сгожусь как комический персонаж? Нельзя сказать, чтобы это мне улыбалось, но такова сила воображения, что я уже слышал, как Хартли говорит своему супругу: «Смотри-ка, он опять здесь, этот милый старый Чарльз, прямо-таки жить без нас не может!» — а на душе у нее в это время… кое-что другое. Может быть, мужу будет даже лестно, что его женой восхищается человек, причастный к «театральному миру». Впрочем, это были соображения малоаппетитные и, во всяком случае, преждевременные.

Сейчас нужно сосредоточиться на другом: возможна ли любовь как чистое, глубокое, ласковое взаимное уважение, как непрерывно связывающая мысль друг о друге. Конечно, нас свяжет любовь, как же иначе, но любовь, омытая от стяжательского безумия, омытая от эгоизма,

введенная в русло временем и необратимостью наших судеб. Мы должны найти путь к тому, чтобы стать наконец друг для друга абсолютом, никогда больше не терять друг друга, не сделать ни одного ложного шага, не расплескать ни капли из полного до краев сосуда истины и истории, поставленного между нами. Я буду ее уважать, буду уважать, твердил я себе. Я чувствовал к ней нежность глубокую и чистую, чудо сбереженной любви. Какая она прозрачная, эта струя, льющаяся из далекого прошлого! Да, мы должны спокойно собрать наше прошлое, собрать его в молчаливом согласии, без драм и надрыва, без взаимных осуждений и оправданий. И каким же удивительно возможным казался этот безмолвный процесс искупления, когда я мысленно повторял весь наш страстный, но бережный и божественно нескладный разговор в церкви. Вот как оно, значит, бывает, когда через много лет снова встретишь главную любовь своей жизни. И разве друг для друга мы в эти минуты не были теми же стыдливыми невинными созданиями, что и прежде? Суть нашего общения осталась незамутненной, и в этом нашем бессвязном диалоге явственно улавливались ее отзвуки. Может быть, с помощью Хартли и нашей старой детской

любви, теперь уже непоправимо целомудренной, я и впрямь смогу обрести то, что надеялся обрести, уезжая сюда, — чистоту сердца.

Вопрос «Вдова ли она?» уже относился, казалось, к далекому прошлому, к какому-то давно устаревшему способу мышления. Теперь вопреки программе разумного выживания, которой я утешал себя, самым насущным и мучительным грозил стать другой вопрос: «Счастлива ли она?» Для разрешения его требовалось лично убедиться в том, что представляет собой мистер Фич. И притом не откладывая. Медленно возвращаясь к себе в Шрафф-Энд, я думал: надо повидать мистера Фича сегодня же. Зайду к ним ближе к вечеру, часов в шесть.

И только когда я уже звонил в дверь коттеджа Ниблетс, я впервые спросил себя: а вообще-то, за все эти годы рассказывала ему Хартли что-нибудь обо мне?

Ниблетс — небольшой квадратный коттедж, построенный из красного кирпича и местами, к счастью, оштукатуренный. Он с удобством расположился на склоне горы, через дорогу от него — кучка мотающихся на ветру деревьев, сбоку спуск к деревне, сзади спуск к морю, а дальше и выше — лес. Выглядит он прочно, основательно.

Другие дома, возможно, построены на песке и даже из песка, но про Ниблетс этого никак не скажешь. Кирпичи острые, не выщерблены, не крошатся по углам. Крыша не замшелая, и чувствуется — никогда на ней мха не будет. Столь же незапятнанная дорожка из красных плиток ведет к парадной двери между низкорослыми колючими кустами только-только зацветших роз. Лохматое облачко белого клематиса, обвивая один из деревянных столбиков крыльца, смягчает излишнюю прямолинейность синей парадной двери, покрытой очень густым, очень блестящим слоем краски. В двери прорезано овальное окошко из матового дымчатого стекла, которое словно плывет перед глазами. Коттедж не лишен обаяния — скромный узор штукатурки и яркая, обрамленная цветами дверь придают ему нарядный и уютный вид. В доме четыре комнаты, гостиная и столовая-кухня расположены в глубине и смотрят на покатую лужайку, над которой раскинулось море. Но я забегаю вперед.

День и правда выдался жаркий. Днем температура поднималась до двадцати семи градусов, и сейчас воздух еще дрожал от зноя. С горы были видны в желтой горячей дымке далекие мысы, замыкающие бухту. Огромная чаша моря светилась

бледной голубизной с серебристыми бликами. Жарко пахли розы, обсыпавшие кусты. Звонок, который я нажал в ту секунду, когда сообразил, что мистер Фич, возможно, и не знает, что я знаком с его женой, и этим-то вызван был ее испуг, прозвучал мелодично, как камертон перед хором ангелов. В доме сейчас же послышались негромкие голоса. А потом Хартли отворила дверь.

Меня опять поразило в самое сердце, до чего она изменилась, — в моих неотступных любовных мыслях она успела снова стать молодой. Но вот я увидел на ее лице выражение испуга, тотчас исчезнувшее, а потом я уже не видел ничего, кроме ее больших глаз, лиловатых и туманных, словно глядящих куда-то сквозь меня. Я почувствовал, что краснею, проклятая волна крови заливала мне шею и лицо.

Я нарочно не приготовил никакой вступительной фразы. Я сказал:

— Простите ради бога, шел с прогулки, проходил мимо, ну и подумал, зайду на минутку.

Еще до того, как она ответила, я спохватился, надо было дать ей заговорить первой! Тогда, если она действительно не рассказывала обо мне мужу, она могла бы притвориться, что я продаю щетки. Я был в джинсах и чистой белой рубашке

и в выцветшей, но еще вполне приличной куртке. Я попробовал заглянуть ей в глаза, но не мог в них проникнуть, и страха — перед чем? — в ее лице уже не было.

Мне она ничего не сказала, но, повернувшись лицом к комнатам, проговорила что-то вроде «это он…» и одновременно стала закрывать дверь, так что мне уже показалось, что сейчас она захлопнет ее у меня перед носом.

Послышалось какое-то восклицание, может быть просто «да?».

Дверь опять отворилась пошире, Хартли улыбалась мне.

— Ну что ж, зайди на минутку.

Я вытер ноги о большой чистый щетинистый оранжевый коврик и шагнул с яркого света в темноту прихожей.

Всю дорогу из Шрафф-Энда, а вернее, весь день после того, как я решил пойти к Хартли, меня поташнивало от волнения, от некой смеси смутного физического возбуждения и отчетливого страха, похожей на то чувство (только гораздо хуже), которое я испытывал, когда в Калифорнии прыгал в воду с очень высокого трамплина, чтобы поразить воображение Фрицци. Сейчас, в полутьме, я видел Хартли неясно, но ощущал ее присутствие

как некий магнетизм, мощно заполнивший весь дом, словно Хартли и дом были одно, словно меня внесло в пещеру, где она окружала меня, а я не мог ее коснуться. И от невозможности коснуться ее все тело у меня дрожало, как под действием тока. Одновременно я до дурноты ясно помнил про невидимого мужа. Я ведь заранее так живо и столько раз представлял себе момент моего прихода в этот дом — как я звоню, как знакомлюсь с мистером Фичем, и мне казалось, что это будет прыжком в неведомое, да что там — в непоправимое. Но прыжок оказался мучительно медленным, словно вода, к которой я приближался, все отступала, а я все падал и падал.

Хартли же, оставив меня стоять в прихожей, ушла в одну из комнат, притворила дверь, и там стали шепотом совещаться. Прихожая была крошечная. Теперь я разглядел в ней столик, похожий на аналой, на нем вазу с розами, а над ним коричневую гравюру, изображающую средневекового рыцаря. Появилась Хартли и, распахнув другую дверь, пригласила меня в пустую комнату, как оказалось — гостиную. Она сказала:

— Прости, пожалуйста, мы как раз пьем чай, сейчас мы к тебе выйдем.

После чего опять оставила меня одного и за-

крыла дверь.

Тут только я понял, как глупо поступил и как это было опасно. В моем понимании шесть часов — самое время, чтобы выпить. Я вообразил, что заглянуть в это время в гости будет разумно и гуманно. А оказалось, что я прервал их ужин. Выругав себя за бестактность, я с горя стал оглядывать комнату. Большое окно фонарем с широким полукруглым белым подоконником смотрело боком на деревню, а прямо — на пристань и море. На подоконнике возле массивного кувшина с розами лежал полевой бинокль — вещь, видимо, недешевая. Море светило в комнату, как зеркало, излучающее собственный ясный свет. Этот свет возбуждал меня, выводил из равновесия и слепил так, что я почти ничего не видел вокруг себя. Пол был застелен толстым ковром, в комнате было жарко, душно и слишком сильно пахло розами.

Вошла Хартли, а за ней ее муж. В первую минуту мне сослепу показалось, что вид у Фича грубо мальчишеский. Он был невысок ростом, коренаст, с круглой головой, толстой шеей и коротко стриженными бесцветными волосами. У него были узкие темно-карие глаза, четко очерченный чувственный рот и крупный, блестящий нос с раздувающимися ноздрями. Широкоплечий, с

богатырской грудью. Ничто в нем не выдавало инвалида. Он вошел улыбаясь. Я, помаргивая, тоже расплылся в улыбке, и мы обменялись рукопожатием.

— Очень приятно познакомиться.

— Надеюсь, вы не в обиде за мое вторжение?

— Нет, что вы, что вы.

Хартли, на которой, когда она открывала дверь, было что-то синее, возможно хозяйственный халат, теперь предстала передо мной в желтом ситцевом платье с узким лифом и широкой юбкой. Она засуетилась, отводя от меня глаза.

— Ой, надо открыть окно, до чего же здесь душно. Да ты присядь.

Я опустился, вернее, вдавился в тесное и низенькое мягкое кресло.

Хартли сказала Фичу:

— Может быть, доедим здесь?

Он ответил:

— Ну что ж.

Хартли ушла на кухню и вернулась с двумя тарелками, а Фич оттащил от стены раздвижной столик и кое-как установил его на толстом ковре. Хартли передала тарелки Фичу, и он подержал их, пока она суетливо разыскивала круглые подставки. Затем тарелки, каждую со своим ножом и

вилкой, поставили на место, принесли тарелку с хлебом, подтащили по упирающемуся ковру два жестких стула, и Хартли с Фичем уселись, повернув стулья вполоборота ко мне. На тарелках были начатые порции ветчины с салатом, но теперь сразу стало ясно, что аппетит у хозяев пропал.

Хартли обратилась ко мне:

— Поесть хочешь?

— О нет, благодарю, ведь я на минутку. Мне так неловко, что я прервал ваш…

— Ничего, ничего.

Фич молчал, только смотрел на меня своими узкими темными глазами, широко раздувая ноздри. В покое его большой рот выглядел страшновато.

Удивление, а возможно, некоторая растерянность и досада словно лишили их дара речи, так что я поспешил начать хотя бы подобие разговора. Я уже решил, что уйду, как только состоится обмен необходимыми вежливыми фразами.

— Какой от вас отсюда красивый вид!

— Да, замечательный, мы и дом-то купили из-за вида.

— Из моего дома видны только скалы и море. Зато для купания удобно. Вы как, купаться ходите?

— Нет, Бен и плавать не умеет.

— И окно у вас такое широкое, видно во все

стороны.

— Да, хорошо, правда? — И добавила: — Мы о таком доме давно мечтали.

— А электричество у вас есть? — спросил Фич, до этого не сказавший ни слова.

Я расценил этот вопрос как верх дружелюбия.

— Нет. У вас-то, я вижу, есть, это великое дело. Я обхожусь керосиновыми лампами и баллонным газом.

— А машина есть?

— Нет, а у вас?

— Нет. Вы почему поселились в этих краях?

— Да никакой особой причины не было, мне рассказала про это место одна знакомая, она здесь выросла, а мне хотелось, когда уйду на покой, пожить у моря, и дома здесь дешевле, чем…

— Не больно-то они дешевые, — сказал Фич.

Все это время, после того как я привык к освещению, окружавшие меня предметы отпечатывались у меня в сознании с фотографической четкостью. Я ощущал свои неуклюже вытянутые вперед ноги, свое лицо, с которого еще не схлынула краска, учащенное биение своего сердца, душный запах роз, которого открытое окно словно бы и не развеяло, и свою невыигрышную позицию в этом низком кресле. Я запомнил

желтый с коричневым узор ковра, песочного цвета обои, блестящие желтые плитки перед встроенным в стену электрическим камином. По обе стороны его висели бронзовые барельефы — изображения церквей. Смешной растрепанный коврик, брошенный поверх большого ковра, создавал дополнительные неудобства для одной из ножек стола. Огромный телевизор, и на нем — тоже розы. Книг нет. В комнате очень чисто и прибрано; возможно, здесь только смотрят телевизор, а остальная жизнь протекает в кухне. О том, что комната обитаема, свидетельствовал лишь толстый прейскурант в глянцевой обложке, лежащий на одном из стульев, а рядом с ним — пепельница с погасшей трубкой.

За столом Хартли и Фич сидели очень прямо, в напряженных позах, как супружеская пара на картине художника-примитивиста. Особенно примитивны были четкие контуры и поверхности, образующие своеобразное и, в общем-то, скорее приятное лицо Фича. Лицо Хартли, может быть, потому, что я лишь урывками робко на него поглядывал, было более расплывчатым, беспокойным — мягкое белое пятно, на котором глаза едва угадывались. Я мог смотреть только на ее пышное желтое платье вроде ночной рубашки,

с круглым вырезом и рисунком из мелких коричневых цветочков. На Фиче был поношенный синий костюм в узкую коричневую полоску. Из-под незастегнутого пиджака, надетого, очевидно, когда ему сообщили о моем приходе, виднелись подтяжки. Голубая рубашка была чистая. Хартли то приглаживала, то взбивала волны своих седых волос. Я изнемогал от замешательства, от стыда, от желания поскорее уйти и разобраться в том, как все это на меня действует.

— И давно вы здесь живете?

— Два года, — сказал Фич.

— Еще не совсем обжились, — сказала Хартли.

— Мы вас смотрели по телевизору, — сказал Фич. — Мэри обрадовалась не знаю как, она вас вспомнила.

— Ну конечно, она меня запомнила со школьных лет, конечно.

— Мы ни с какими знаменитостями не знакомы, то-то ей было лестно, а?

Чтобы покончить с этой ненавистной темой, я спросил:

— А сын ваш еще в школе?

— Сын? — спросил Фич.

— Нет, он не в школе, — сказала Хартли.

— Он ведь у нас приемный, — сказал Фич.

До этого они еще время от времени брались за вилки, словно собираясь поесть, теперь же совсем о них забыли. Они смотрели не на меня, а на ковер у моих ног. Фич раза два бросил на меня быстрый взгляд. Я решил, что пора уходить.

— Ну, спасибо вам за гостеприимство. Мне надо бежать. Еще раз простите, что прервал ваш… ваше чаепитие. Очень надеюсь в ближайшее время видеть вас у себя. У вас телефон есть?

— Есть, — сказал Фич, — только он что-то не работает.

Хартли поспешно поднялась с места. Я тоже встал и споткнулся о растрепанный коврик.

— Какой коврик симпатичный.

— Да, — сказала Хартли. — Он из лоскутков.

— Из чего?

— Из лоскутков. Бен их сам делает.

И открыла дверь.

Фич поднялся медленно, и теперь, когда он посторонился, чтобы дать мне дорогу, я заметил, что он хромает.

— Вы идите вперед, — сказал он. — У меня нога барахлит. Военная рана.

Я сказал, пробираясь полутемной прихожей на слепящий овал окошка:

— Ну, будем знакомы, я очень, очень надеюсь,

что вы ко мне заглянете, и мы выпьем по стаканчику, и я покажу вам мой забавный дом, и…

Хартли распахнула парадную дверь.

— До свиданья, спасибо, что зашли, — сказал Фич.

Я стоял на дорожке из красных плиток. Дверь за мной затворилась. Едва свернув за угол дома, я пустился бежать. Я запыхался, пока добежал до деревенской улицы, и уже медленнее пошел по тропинке, срезающей путь к шоссе. И тут у меня появилось в спине какое-то тягостное, неуютное ощущение, которое я мог выделить из множества бушевавших во мне путаных ощущений и эмоций как ощущение, что за мною следят. Я хотел было оглянуться, но вдруг сообразил, что нахожусь в поле зрения Ниблетса и в пределах видимости полевого бинокля Фича, если бы тому вздумалось усесться на подоконник и проследить за моим уходом. Часть деревенской улицы была из Ниблетса видна, но церковь и кладбище скрывали деревья. Не этим ли объяснялось беспокойство Хартли — не опасением ли, что Фич мог увидеть, как я встретил ее и повел к церкви? Я вспомнил, что она шла не рядом со мной, а следом. Странную мы, должно быть, являли картину, я — свихнувшийся Орфей и она — оша-

рашенная Эвридика. Но что страшного в том, что она встретила кого-то на улице, пусть даже меня? Устояв перед искушением оглянуться, я бодрым шагом продолжал путь и скоро очутился среди низкорослых деревьев, кустов утесника и голых скал у шоссе, уже не видных с горы. Все еще было жарко. Я снял куртку. Под мышками она промокла от пота, и краска сошла на рубашку.

Тут я стал много чего обдумывать — от мелких насущных дел до туманных, можно сказать, метафизических проблем. Первым на очереди стоял вопрос, который я с таким запозданием задал себе, когда звонил в дверь коттеджа. Судя по всему, Хартли сказала мужу, что знакома со мной, но когда сказала, и в каких словах, и почему? Сто лет назад, когда только что встретилась с ним? Или когда они поженились? Или когда «смотрели меня по телевизору»? Или, может быть, даже сегодня, когда пришла домой после нашей утренней встречи в деревне? «Да, между прочим, встретила одного давнишнего знакомого, я так удивилась». И может быть, заодно напомнила ему ту телепередачу. Но нет, это что-то слишком сложно. Наверняка она сказала ему гораздо раньше, да и что тут особенного, разве мне хотелось бы, чтобы она сохранила меня в тайне, как я хра-

нил в тайне ее? А почему? Потому что она была чем-то таким священным, что почти любые слова о ней могли обернуться кощунством. Всякий раз, когда я хотя бы мельком упоминал о Хартли, я потом об этом жалел. Никто не понял. Никто не способен был понять. Уж лучше строгая стерильность молчания. Считается, что у супругов нет тайн друг от друга, этим я отчасти и объясняю свое отвращение к браку. «Это он». Да, конечно, они обо мне говорили сегодня. Противно было думать, что все эти годы они могли судачить обо мне, а потом это им надоело, они уже опошлили все это, разжевали и проглотили, как пресную семейную жвачку: «Твой школьный поклонник-то стал важной птицей!» Фич называет ее Мэри. Что ж, это тоже ее имя. Но настоящее ее имя Хартли. Неужели, отказавшись от него, она сознательно порвала со своим прошлым?

Когда я пришел домой, было еще светло, но дом по контрасту показался мне темным, а воздух в комнатах — сырым и холодным. Я налил себе хересу с тоником, забрал его с собой на свою крошечную лужайку за домом и уселся на плед, которым было застелено мое кресло в скале возле корытца, куда я складывал камни. Но тут же, убедившись, что мне необходимо видеть море, я,

балансируя стаканом, залез повыше и опустился на верхушку большой скалы. Море было лилово-синее, как глаза Хартли. О господи, ну что мне делать? В любом случае надо постараться не слишком страдать. Но чтобы не страдать, мне требуются два несовместимых условия: я должен наладить прочные и, в общем-то, близкие отношения с Хартли и в то же время не поддаться мукам ревности. И разумеется, я не должен посягать на ее брак.

А впрочем, почему «разумеется»?..

Нет-нет, я не допущу и мысли о том, чтобы посягнуть на ее брак. Это было бы крайне безнравственно, и к тому же я не имею никаких оснований надеяться на успех! Нет, это уж просто бредни. Увидев эту пару, я уже не воображал, что как «знаменитость» произведу на них впечатление. И опять вспомнил лицо Хартли, ее загадочный взгляд, словно устремленный не на тебя, а мимо. В прошлом я иногда позволял себе роскошь подумать о ее раскаянии. Вначале она, возможно, и раскаивалась. Но теперь… женщина, которую я любил в молодости и люблю до сих пор, не так глупа, чтобы прельститься громким именем. Так что, если я ищу какую-нибудь лазейку… да нет, ничего подобного, я просто пытаюсь

понять. *Le mari*[19] пока остался для меня загадкой. Теперь-то я понял, что ожидал встретить в его лице ничтожного человечка. И мне, конечно, нужен был именно ничтожный человечек. А Фич в каком-то еще непонятном мне смысле оказался отнюдь не ничтожеством. Что он такое? Что происходит в запечатанном контейнере этого брака? И суждено ли мне это узнать? А пока я хотя бы испытывал некоторое удовольствие от того обстоятельства, что Титус — приемыш.

И это вернуло меня к вопросу, ставшему как бы центральным: «Счастлива ли она?» О тайне брака я, конечно, знал достаточно для того, чтобы понимать, что задавать этот вопрос применительно к замужней женщине несерьезно. Семейная жизнь порой складывается так, что, даже когда счастье кончается, остается душевное довольство, которое не захочешь сменить ни на что другое. Лишь очень редко муж и жена с годами черпают друг в друге все больше радости и продолжают излучать счастье. Сидни и Розмэри Эш — те излучают счастье. В Ниблетсе такого излучения, безусловно, не наблюдалось, но следует принять во внимание и замешательство, вызванное моим неожиданным

---

[19] Примечания: 19
Муж *(фр.)*.

приходом. Неловкость, да, но почему именно? И конечно же, если б им было очень хорошо друг с другом, им невольно захотелось бы покрасоваться этим счастьем перед незваным гостем. Счастливые супруги не могут не красоваться. Сидни с Розмэри только это и делали. И Виктор с Джулией тоже. Но это не решает дела. Ясно было одно (и лишь благодаря этой мысли нестерпимая боль еще не завладела мной): что скоро я опять должен свидеться с Хартли, по возможности наедине, и получше уяснить себе всю ситуацию.

Когда солнце склонилось к закату и море под бледно-зеленым небом стало отливать золотом, я положил пустой стакан в выемку в скале и вскарабкался на утес еще выше, откуда передо мной открылся весь водный простор. И поймал себя на том, что в этом зловещем, но неверном свете внимательно высматриваю что-то вдали. Что же я там высматривал? А свое морское чудовище.

Назавтра я около девяти часов утра уже входил в церковь. Добрался я до нее кружным путем — сперва углубился в скалы за шоссе, потом круто свернул среди кустов утесника в сторону отеля «Ворон», пересек болото, не доходя фермы Аморн, миновал три поля и три живые изгороди и к Нарроудину подошел по шоссе не от моря, а с другого

конца. Таким образом, я ни разу не оказался частью «вида», открывающегося из окон Ниблетса. Я убеждал себя, что Хартли может и не прийти в церковь; однако решил, что только там и стоит ее подождать, поскольку рассчитывать, что она придет в Шрафф-Энд, и вовсе не приходится. В церкви, конечно, не было ни души, но со вчерашнего дня кто-то там побывал и поставил на алтарь большую вазу с белыми розами, которые своим ароматом дразнили меня, будя смутные, несвязные, не предусмотренные рассудком опасения. Время претерпело подводный сдвиг, я чувствовал, как темные обломки далекого прошлого шевелятся в его глубине и постепенно всплывают на поверхность. В полуобморочном состоянии я сидел и читал десять заповедей, едва различимо начертанных на потемневшей доске позади роз, стараясь особенно не вчитываться в седьмую и десятую, стараясь не ждать с минуты на минуту появления Хартли. Солнце ярко светило сквозь высокие, скругленные сверху, зеленоватые с частыми переплетами церковные окна, и от этого в обширной комнате — а как же иначе ее и назвать — было неуютно и жутко. Тут набралось изрядное количество пыли, она лениво взлетала и кружилась в солнечном свете, и запах роз мешался с

пылью и с застарелым запахом дерева и плесени, и церковь казалась покинутой, очень пустой и не совсем реальной — самое подходящее место для необычной, знаменательной встречи. Мне стало страшно. Может быть, я боялся Фича?

Я прождал в церкви больше часа. Ходил взад-вперед. Внимательно прочел все памятные доски на стенах. Нюхал розы. Прочитал несколько мест из отвратного нового молитвенника (немудрено, что церкви пустуют). Разглядел вышитые подушечки для коленопреклонений, сработанные местными дамами. Влезал на скамьи и глядел в окна. Думал о бедняге Молчуне, что лежит там, на кладбище, почти такой же бессловесный, как при жизни. Минут в двадцать одиннадцатого решил, что нужно выйти на воздух. Я допустил ошибку — зачем было прятаться в церкви, когда Хартли могла в открытую ходить по улицам? Желание увидеть ее было так сильно, что я чуть не стонал. Я выбежал из церкви, вышел за железные ворота и сел на скамью, откуда, оставаясь невидимым с горы, мог видеть кусок маленькой «главной улицы». Через несколько минут я увидел, что по противоположной ее стороне плетется женщина, похожая на Хартли. Говорю «плетется», потому что именно так я впервые воспринял ее

здесь в образе старой женщины, когда еще не знал, кто она, и этот же образ старой женщины явился мне сейчас. Я вскочил со скамьи и пошел за ней следом. Переходя улицу, она оглянулась, увидела меня и прибавила шагу. Да, это была Хартли, и она от меня убегала! В лавку она не вошла, а метнулась за угол, в переулок, ведущий к «Магазину для рыбаков». Я бегом добежал до угла, но ее уже нигде не было видно. Я заглянул в магазин, но там ее не было. Я чуть не взвыл от отчаяния. Я пробежал весь переулок до конца, где за кучкой необитаемых домиков была калитка, выходящая на окаймленный деревьями луг. Пересечь его она еще не могла. Неужели зашла в один из домов? Я побежал обратно и тут заметил узкий проход, темную щель между двумя глухими стенами. Я пробежал ее, спотыкаясь о рассыпанный гравий, и, круто свернув, оказался в квадратном замкнутом пространстве между низких оштукатуренных стен задних двориков, где взор радовали переполненные помойные ведра, старые картонки и сломанный велосипед. И там, посреди этого добра, неподвижно стояла Хартли. Она стояла возле торчащей из земли невысокой скалы, такой же блестящей и желтой, как те, что окружают мой дом.

Она смотрела на меня словно в трансе, без улыбки, покорно и спокойно, но видно было, что внутренне она вся дрожит, как загнанный зверь. В руках она держала корзинку и сумочку, черная тень от стены, падая во дворик, скрывала ее ноги, рассекала надвое скалу и придавала композиционную цельность всей картине. Сегодня на Хартли было синее бумажное платье с густым рисунком из белых ромашек, а поверх него мешковатая коричневая вязаная кофта, хотя утренняя прохлада уже сменилась жарой.

Я подбежал к ней и схватил ее не за руку, а за ручку корзины. Эта погоня с ее внезапным концом обоих нас напугала.

— Ох, Хартли, зачем ты так, не убегай от меня, это безумие, слава богу, что я тебя нашел, а то я бы просто рехнулся. Нам надо поговорить, пойдем в церковь, пожалуйста.

Я потянул за ручку корзины, и она пошла впереди меня по узкому проулку.

— Ты иди в церковь, я приду, когда побываю в лавке. Да, обещаю.

Я вернулся в церковь. После этой погони, после этого жуткого замкнутого пространства с помойными ведрами, скалой и велосипедом я и сам весь дрожал. Она пришла через десять минут. Я

взял у нее из рук тяжелую корзинку. Я не знал, как себя вести, нас разделял неодолимый барьер замешательства, а главное — страха. Если б какая-то благодать, ниспосланная свыше, претворила всю эту боль в душевное понимание, в знаки любви. Но благодати не было, ни в каком смысле. Я ощущал неистовое желание коснуться Хартли, обнять ее, но это казалось неосуществимым, словно требовало сверхъестественной физической силы. Мы сели на прежнее место, она — в ряду впереди, вполоборота ко мне.

— Зачем ты пряталась? Я так не могу. Мы должны… должны как-то сладить с этой ситуацией… я сойду с ума…

— Чарльз, прошу тебя, не будь таким… и пожалуйста, не являйся к нам так неожиданно…

— Виноват, прости… но мне нужно тебя видеть… я же тебя не забыл. А что мне, по-твоему, делать? Мы должны хотя бы стать друзьями, раз появилась такая возможность. Конечно, против твоей воли я не пойду… Нет, послушай, может, ты и твой муж наведаетесь ко мне, ну хотя бы завтра в шесть часов… ну, в пять или в семь, когда вам удобнее. Выпьем по стаканчику, покажу вам мой забавный дом. Давай?

Хартли сидела сгорбившись, голова ее ушла в

плечи, смятый воротник синего платья подпирал прическу. Она смотрела в землю, почти скрытая спинкой скамьи.

— Ты на нас не рассчитывай, то есть не ходи к нам и нас не приглашай, мы в гости не ходим.

— Да не в гости…

— Незачем нам так… только оттого, что мы… и пожалуйста, не бегай за мной по улицам, люди увидят.

— Это ты от меня убегала, ты спряталась…

— В здешних местах люди не устраивают приемов только потому, что живут по соседству. Каждый живет сам по себе.

— Но меня-то ты давно знаешь! И не нужно никаких «приемов», если под этим ты подразумеваешь всякие нелепые формальности, я и сам их терпеть не могу. Хартли, я так не согласен. Можешь ты наконец объяснить?

Теперь Хартли смотрела на меня. Я заметил, что сегодня губы у нее не накрашены, и это помогало мне видеть ее, видеть в ней, старой, ее молодую. Ее усталое, бледное, все в морщинках, круглое лицо было очень печально, какой-то покорной печалью, какой я не видел в нем даже в тот день, когда она расставалась со мной навсегда. Но была в этой печали и решимость, чуть ли не насторо-

женность, и взгляд внимательный, живой, а не туманный. Она извлекла на свет свои красные, немного распухшие руки и попробовала расправить смятый воротник платья.

— А что тут объяснять, к чему мне…

— Ты хочешь сказать, что я веду себя не по-джентльменски?

— Да нет же. Ну ладно, мне надо идти к парикмахерше.

— Тогда-то я вел себя по-джентльменски, и вот что получил за труды! Я тебя не торопил. Я верил тебе, когда ты говорила, что выйдешь за меня замуж. Я любил тебя. И люблю. Ну да, ты тогда сказала, что не можешь мне верить, что я тебе изменю и все такое, о господи! Может, ты и сейчас так думаешь — что не можешь мне довериться… Но уверяю тебя, никаких женщин у меня нет, я один, совсем один… Я хочу, чтобы ты это знала.

— Можешь этого не говорить, это не имеет значения…

— Да, но пойми меня правильно. Я только хочу, чтобы ты знала, что я — это просто я, такой же, как был всегда, так что беспокоиться не о чем.

— Мне надо идти к парикмахерше.

— Хартли, ради бога… Ну хорошо. И правда, к чему тебе что-то объяснять? Хочешь, чтобы я

ушел и больше не пытался тебя увидеть?

Я, конечно, задал этот вопрос не для того, чтобы услышать «да», и не услышал.

— Нет, этого я не хочу. Я сама не знаю, чего хочу.

От того, как безутешно это прозвучало, какую тоску я наконец уловил в ее словах, мне стало намного легче и голова прояснилась.

— Хартли, милая, тебе же хочется со мной говорить. Столько есть о чем поговорить, верно? Я не сделаю тебе ничего плохого. Тогда, давно, моя любовь к тебе была путаная, в ней много было такого, чего теперь нет, так что теперь все может быть лучше и мы вроде как все-таки возьмем свое. Понимаешь? Теперь мы можем действительно быть друзьями. И мне, право же, хочется поближе узнать твоего мужа. — Тут я почувствовал, что нужно добавить: — Он мне, кстати сказать, сразу понравился. — Это прозвучало фальшиво. Хартли снова сгорбилась за спинкой скамьи. — Так или иначе, говорить нам необходимо. Я столько всего хочу тебе рассказать, пока есть время. И тебя расспросить. Не о том, что случилось тогда, нет, о тебе, и как ты жила, и о… Титусе. Я бы так хотел его увидеть. Может быть, я сумел бы ему помочь.

— Помочь?

— Ну да. Например, в материальном отношении, или… я хорошо знаю жизнь, Хартли, во всяком случае, некоторые ее стороны. Кем он хочет быть, чем интересуется?

Хартли глубоко вздохнула и потерла щеки своими красными руками. Достала платок с пятнами от губной помады — глаза ее были полны слез.

— Хартли, милая…

— Он ушел, убежал, исчез, мы не знаем, где он. Мы почти два года ничего о нем не знаем. Он пропал.

— О господи!

Такой лукавой и подлой может быть душа человека, что я возрадовался: у Хартли, оказывается, есть вполне понятная причина для горя, и она сказала мне об этом и плакала об этом при мне. Вмиг родилось сострадание, духовная связь.

— Я так тебе сочувствую. Но разве его нельзя найти? Вы в полицию обращались? Пропавших без вести очень часто находят. Я бы и тут мог помочь.

Хартли утерла слезы, достала из сумки зеркальце и пудреницу и попудрила щеки под глазами. Сколько раз я видел, как женщины пудрятся. Хартли на моих глазах совершила этот маленький ритуал тщеславия впервые. Она сказала:

— Помочь ты не можешь и, пожалуйста, не пробуй. Лучше оставь нас в покое.

— Хартли, я тебя в покое не оставлю, так что ты уж смирись с этим и придумай какой-нибудь гуманный способ обращения со мной! Или ты боишься снова в меня влюбиться?

Она встала, взяла корзину, стоявшую рядом со мной, и бросила в нее сумочку. Я подошел и крепко обнял ее за плечи. Мне показалось, что я совершил невозможное. На минуту она нагнула голову и быстро потерлась лбом о мою рубашку. Я ощутил жар ее тела. Потом, оттолкнув меня, она пошла к выходу. Я за ней.

— Когда я тебя увижу?

— Пожалуйста, не надо, ты нас только растревожишь, и, пожалуйста, не пиши.

— Хартли, ну что это? Дай себе немножко воли, разреши себе немножко меня любить, ничего плохого от этого не будет. Или ты думаешь, что я и впрямь важная птица? Вовсе нет. Просто я твой самый старый друг.

— Ничего не делай. Я тебе напишу. Потом.

— Обещаешь?

— Да. Я напишу. Только не приходи.

— А почему, не хочешь объяснить?

— Нечего тут объяснять. Не ходи за мной, по-

жалуйста.

И ушла.

Дорогая Лиззи, я как следует обдумал твое милое и умное письмо, а также и то, что ты сказала в нашем разговоре у башни. Я должен просить у тебя прощения. Наверно, ты все-таки права. Я тебя люблю, но, возможно, моя «абстракция» (как ты выразилась) ни для тебя, ни для меня не есть лучший способ проявить эту любовь. Для нас обоих она, вероятно, обернулась бы только путаницей и огорчениями. Вполне возможно, что твои подозрения относительно меня оправданны, и не ты первая их высказываешь! Пожалуй, слишком беспокойным я стал донжуаном. Так что давай переиграем. Вывод это не такой уж печальный, и будем смотреть на вещи трезво, тем более что на карту поставлено и счастье третьего лица. Твои отношения с Гилбертом очень тронули меня и взволновали. Конечно же, они достойны уважения, ведь такое легко не дается. Не все ли равно, как это назвать, лишь бы люди любили и

лелеяли друг друга и были друг другу верны. Как правильно ты это заметила! Ты усомнилась в моей способности хранить верность, и я готов разделить твои опасения и сам склоняюсь к мысли, что лучше нам не рисковать. Даже хорошо, что мы не уточняли наших планов. Счастье наше, что нам и так неплохо, а нашу прежнюю нежную дружбу, ныне возобновленную, мы можем рассматривать уже как бесплатное приложение. Да, хватит с нас и тревог, и путаницы. Ты совершенно права. Я обещаю уважать твои мнения, и твои желания, и права моего старого друга Гилберта! Как ты и сказала, очень важно, чтобы мы все трое симпатизировали друг другу; и будем, как ты предлагаешь, черпать радость в свободном, не отравленном эгоизмом общении. Так что прошу тебя, забудь мое безрассудное письмо, на которое ты откликнулась так разумно и мужественно, а также мой несколько деспотический тон во время нашей последней встречи! Мне повезло, что у меня есть такие друзья, как ты и Гилберт, и, чтобы сохранить их, я твердо

намерен проявить здравый смысл и, надеюсь, великодушие. С радостью думаю о скорой встрече с вами в Лондоне, где мне в ближайшее время нужно побывать. Я вас тогда извещу. А пока примите мои самые лучшие пожелания и мои, хоть и запоздалые, поздравления. Будь здорова, крошка Лиззи, и не забывай меня.

Твой старый друг

Чарльз.

Вот какое письмо, смесь искренности с притворством, я написал Лиззи в тот день, когда второй раз виделся с Хартли в церкви. Домой я тогда вернулся сам не свой от горестной растерянности и, проведя сколько-то времени в бесплодных размышлениях о том, как же теперь быть, решил, что для начала имеет смысл разделаться с Лиззи. Это не требовало внутренней борьбы, вся задача состояла в том, чтобы написать соответствующее письмо и на время, потребное для его сочинения, заставить себя думать о Лиззи. Как изменилось все мое существо за последние дни, доказывал тот факт, что моя «абстракция» теперь казалась мне идиотской выдумкой, от последствий которой меня спас здравый смысл самой Лиззи, и за

это я благословлял ее. Пламя, вырвавшееся из прошлого, спалило дотла все мои умозрительные выкладки. За эти два дня (бесконечные, как месяцы) одно мне стало ясно: как прав я был, полагая, что в моей жизни была всего одна настоящая любовь. Словно я в каком-то духовном смысле действительно давным-давно женился на Хартли и не имел даже права думать о других женщинах. Я, конечно, всегда это знал. Но, увидев ее вновь, с особенной силой почувствовал, как безраздельно ей принадлежу; невзирая на утонченную жестокость наших судеб, невзирая на всю очевидность, мы принадлежим друг другу.

Пока я писал письмо, мне и впрямь удалось сосредоточить мысли на Лиззи, подумать о ней великодушно, смиренно и ласково. Я вспомнил ее сияющее смеющееся лицо тех времен, когда мы столько смеялись по поводу ее влюбленности в меня. Как ни нелепа была моя «абстракция», я, возможно, совсем непреднамеренно приобрел в Лиззи друга, чья верность и участие даже могут мне когда-нибудь пригодиться. Но сейчас надо подготовиться к решающей битве, не оставить ничего второстепенного, никаких проблем, никакой неясности, требующей обсуждения, писем, визитов. Нет у меня ни сил, ни времени на эту

канитель, и не застраховаться от нее было бы преступлением. Мой намек насчет приезда в Лондон был, разумеется, всего лишь уловкой, чтобы Лиззи не вздумала махнуть ко мне. Появления на моем пороге Лиззи с ее эмоциями я бы сейчас просто не выдержал. Все мои прежние интересы были начисто сметены, и на белом открытом пространстве будущего осталось теперь только одно. Так пусть крошка Лиззи побудет пока на хранении у Гилберта, теперь я даже к нему мог проявить снисхождение. Мимоходом я спросил себя, не есть ли это новое, почти безразличное великодушие первый симптом той новой, очищенной формы существования, которую сулит мне возвращение Хартли? Не суждено ли ей, видимой, но неприкосновенной, любимой, но не моей, сделать из меня святого? Как странно, как знаменательно, что именно сюда я приехал раскаиваться в себялюбии! Не в этом ли конечный смысл моего мистического брака с единственной моей любовью? Идея заумная, но в ней была своя глубинная логика, и питала ее полная невозможность выбора. В самом деле, какой иной путь мог я избрать?

Я, конечно, сознавал, что моя заумная идея хороша уже тем, что за нею утешительным

призраком маячит счастье, хоть и порядком истонченное и хилое. Другие возможности, тесно связанные с ужасом недавних событий, были и не столь туманны, и не столь приятны; и к тому же меня снедало желание действовать, не озаренное моим стремлением к святости. Но что я мог сделать? Предпринять поиски Титуса? На мой центральный вопрос я хотя бы имел теперь ответ: Хартли несчастлива. Но за этим вставал новый центральный вопрос: почему она несчастлива? Только ли потому, что пропал ее сын, или есть и другие причины? Почему она отказалась от моей помощи, почему избегает меня? Или наивно было ждать каких-то излияний от женщины, которую я не видел больше сорока лет? Я-то сохранил ее в себе живою, но что, если для нее я только тень, полузабытый школьник? Нет, в это я не мог поверить. А может быть, наоборот — она до сих пор так меня любит, что не надеется на себя и потому не хочет видеть? Может, вообразила, что у меня есть красивые, нарядные любовницы, и боится извести себя ревностью к ним? Как она оказалась на приморском шоссе в тот вечер, когда Розина вдруг осветила ее своими фарами? Хотела высмотреть меня, что-нибудь выведать?

Она обещала написать, но напишет ли, а если

напишет, объяснит ли? Способен ли я просто ждать ее письма, ждать и ждать и, повинуясь ей, бездействовать? Мне самому так хотелось «объяснить», выложить все, что я думал и чувствовал и чего не сумел сказать в те считаные минуты, что были нам отпущены. Написать ей длинное письмо? Если я его и напишу, то, уж конечно, не доверю почте. Так опять возник вопрос насчет le mari. Почему она несчастна? Потому что он ревнивец, тиран, самодур и никого к ней не подпускает? Так ли это? А если так… Тут мысль моя разом скакнула вперед, и впереди уже виделись темные тропы, огнедышащие пещеры. И одновременно я знал, что, если не хочу лишиться рассудка и предать мою веру в Хартли, я не вправе давать волю таким бредням.

Готовить завтрак было лень. Я поджарил яйцо, но есть не мог. Выпил стакан бургундского, доставленного из отеля «Ворон». (Вместе с другим, каким-то испанским вином я нашел его на крыльце, когда вернулся из деревни.) Потом стал писать письмо к Лиззи, приведенное выше. А потом подумал: может быть, на душе станет легче, если выкупаться. Было время прилива, море совершенно спокойно, и вода прозрачней обычного. Прежде чем нырнуть, я с высоты сво-

его утеса поглядел, как раскачиваются в глубине высокие темные деревья-водоросли, а между ними ходят рыбы. Я не спеша поплавал, глядя на море с того уровня, с какого оно видно только пловцу, и хотя бы на время почти забыв о своих тревогах. Море, как стеклянная, чуть вздымающаяся равнина, медленно двигалось мимо меня, словно задумчиво пожимало плечами, рассеянно баюкая своего верного поклонника. Несколько крупных чаек с ярко-желтыми клювами сбились в стайку и наблюдали за мной. Возвращение на сушу меня не страшило. Я подплыл обратно к утесу и, цепляясь руками и ногами, с легкостью на него взобрался. Не так уж это, в сущности, трудно; как я уже объяснил, все дело в том, что, когда волны то поднимают тебя, то быстро сдергивают вниз, не успеваешь крепко вцепиться пальцами в камень. Я подумал о том, как мало меня трогает, что Хартли потеряла свою красоту. Это была хорошая мысль; ухватившись за нее, я ощутил и нежность, и некоторое успокоение.

Затем я попробовал посидеть на солнце, но было слишком жарко, да и купание мне не очень-то помогло. Может быть, я и не ошибался, приписывая морю целительные свойства, но одной дозы лекарства, пусть и большой, оказалось мало, его

надо принимать регулярно. Я побродил, обжигая подошвы о горячие скалы, заглянул в два-три озерка, но без прежнего удовольствия, и мне уже не удавалось сосредоточить внимание на этих сверкающих, прозрачных крошечных мирках, хотя в ярком солнечном свете пестрые камушки и миниатюрные деревца-водоросли напоминали драгоценности от Фаберже. Я полюбовался на танец креветок и на медлительный ход зеленой морской улитки, снова видел длинного, свившегося кольцами красного червя, когда-то напомнившего мне моего морского змея. Потом я с досадой заметил кучку туристов, наверно из «Ворона», — они стояли на моей земле и рассматривали башню. Домой я вернулся с обгорелыми плечами и жестокой головной болью.

Без всяких сомнений, мне в ближайшее время предстояло что-то предпринять, совершить какое-то ритуальное действо, связанное с моим положением и, может быть, призванное изменить его. Хотелось мне, конечно, одного: бежать к Хартли. Я ведь даже еще не целовал ее. Каким робким и слабым я был нынче утром в церкви. Но, видно, придется пока «с умом» подыскать замену этому безрассудному броску. Как наркоман, лишенный наркотика, я ничем не мог отвлечься.

Что бы я ни делал, все должно было тяготеть к одному-единственному центру. Чтоб не сидеть на месте, я решил пройтись в деревню и опустить письмо, которое написал Лиззи. Я, конечно, надеялся встретить Хартли, но всерьез на это не рассчитывал. День уже клонился к вечеру. С неба лился такой чистый и сильный свет, что еще недавно я при виде его был бы готов кричать от радости. Дойдя до конца дамбы, я увидел в конуре несколько писем и извлек их оттуда. Одно было от Лиззи. Я вскрыл его и стал читать на ходу.

Родной мой, ну конечно я отвечаю «да». Страхи мои были глупы и недостойны. Прости, что так невразумительно отозвалась на чудесный вариант, который ты мне предлагаешь. Я твой паж, как была всегда, неужели же я не приду к тебе, если я тебе нужна хотя бы на минуту? Гилберту я пока ничего не сказала, очень уж это трудно. Когда мы встретимся, ты, пожалуйста, будь со мной помягче и посоветуй, как с этим быть. Просто бросить его я не могу. Надо придумать, как не сделать ему слишком больно. Пожалуйста, пойми. И назначь мне сви-

дание поскорее, мне столько нужно тебе сказать. Приехать к тебе или ты сам будешь в Лондоне? Жаль, что я не могу позвонить тебе по телефону. (Сюда не звони, из-за Гилберта.) Между прочим, я сказала Гилберту, что пишу тебе, потому что он спросил, и он приглашает тебя пообедать у нас в понедельник на будущей неделе, если будешь в городе. Приглашение передаю, но думаю, что при данных обстоятельствах ты не захочешь.

Я так люблю тебя.

Лиззи.

Я так боюсь – вдруг ты на меня сердишься. Успокой меня поскорее.

Я вздохнул над этим не слишком-то чистосердечным посланием, которое доставило мне так мало радости. Какой это «вариант» я ей предлагал? Послушать ее, она чуть ли не делает мне одолжение. Я отметил, что Гилберту она еще не сказала и, видимо, пока не намерена от него уйти. Но размышлять о душевном состоянии Лиззи меня не тянуло, теперь это не имело значения.

Я прибавил шагу и поспел на почту перед са-

мым закрытием. Письмо опустил и послал Лиззи телеграмму такого содержания: «Твоя первая реакция была правильной. Смотри мое письмо, разминулось с твоим. Лондоне буду скоро, удовольствием пообедаю у вас с тобой и Гилбертом. Спасибо. Целую. Чарльз». Теперь она кое-что поймет и будет хотя бы сидеть в Лондоне. Обедать у них я, разумеется, не собирался, в последнюю минуту чем-нибудь отговорюсь.

Я вышел на улицу, солнце еще не зашло, в вечернем свете каждая черепица на крышах отбрасывала узкую полоску тени, а оштукатуренные стены домов серебрились. Я добрел до церкви, заглянул в дверь. Пустота, полумрак и запах роз — расплывчатого белого пятна в пыльном воздухе. Снова вышел на свет и некоторое время разглядывал фрегаты и каравеллы на могильных плитах, рельефно выступающие в косых лучах солнца. Двинулся к дому, вспомнил, что «Черный лев» еще открыт, и зашел туда. Как обычно, при моем появлении там сразу стало тихо.

— Привидений больше не видели? — спросил Аркрайт, подавая мне сидр.

— Нет.

— Это, кажись, вы спрашивали насчет крупных угрей, — сказал кто-то. — Видели вы их?

— Нет.
— А тюленей видели?
— Нет.
— Ничего-то он не видел.
Смешки.

Я проголодался и съел бутерброд с сыром и кусок отвратительного пирога со свининой. Посидел еще, просмотрел другие письма. На посетителей «Черного льва» мне было плевать, и на их мнение тоже. Письма, которые переслала мне мисс Кауфман, все были личные, но интересного в них оказалось мало. Одно из них раньше порадовало бы меня — Сидни Эш описывал всякие смешные случаи из жизни в Стратфорде, провинция Онтарио. Было письмо и от моего приятеля из Кембриджа, физика Виктора Банстеда (кажется, я уже упоминал о нем). Я скомкал все письма, включая и первое, от Лиззи, и швырнул в угол, в корзину, а потом стал рыться в ней под насмешливыми взглядами публики и вытащил обратно, сунул письма в карман и простился. Никто не ответил. Едва дверь затворилась, раздался общий смех.

Я не свернул на тропинку, а пошел прямо вперед, к гавани. Выбравшись из деревни, остановился и посмотрел вверх, на склон горы. Солнце

садилось, кое-где в окнах уже зажглись огоньки. Я очень дальнозорок и, хотя письма читал в очках, коттеджи на горе видел совершенно отчетливо. Окно гостиной в Ниблетсе слабо светилось. Там, видно, уже поужинали и смотрят телевизор. Молча? Я вдруг подумал, что не могу представить себе, что такое женатая жизнь. Как она вообще возможна? Ужасно захотелось подняться к коттеджу и постучать в дверь. Что, если явиться к ним с бутылкой шампанского? Но я уже придумал, как провести ближайшие часы. Завтра утром вполне может быть письмо от Хартли. А если все же не будет, тогда я… тогда я решу, что делать. И тут я спросил себя: в этом маленьком доме где может она написать письмо так, чтобы об этом не узнали? В ванной? Когда-нибудь он, конечно, уходит из дому. Но он действительно не узнает про письмо? Поистине брак — великая тайна.

Я спустился до самой пристани, где тихое-тихое море плескалось чуть слышно. Тихо и пусто было в маленькой гавани, охваченной крепкой рукой каменного причала, из которого словно сочился густой и мутный свет. Под ногами чувствовалось тепло нагревшейся за день гальки. Низко над водой пролетел баклан — черное крестообразное знамение. Вот и луна показалась, бледная, рых-

лая, и блестящая вечерняя звезда. Чуть дальше, на «дамском купанье», два мальчика играли на темном ковре из водорослей, но играли молча, словно околдованные тишиной. Я медленно двинулся по дороге в сторону Шрафф-Энда, миновал свою дамбу и постоял, глядя на Воронову бухту и отраженные в ней огни отеля. Вечерняя звезда из золотой стала серебряной, луна уменьшилась, и края ее обозначились резче. Наконец я повернул к дому и, едва сойдя с шоссе, увидел, что в комнатах мелькает и движется огонек. Я остановился и стал наблюдать. В одном из окон свет стал ярче, потом потускнел, потом исчез. Кто-то расхаживал по дому со свечой. Первой моей мыслью было: это Хартли. Потом я подумал, что скорее это Розина. Я вернулся на шоссе — и правда, за тем же скалистым выступом, что и в тот раз, стоял ее отвратный красный автомобильчик.

Я так разозлился, что даже пнул колесо ногой. Я решил, что сейчас не в состоянии видеть Розину. Ее вторжение в мой дом — святотатство. Ее нахальная физиономия вызовет у меня взрыв нерассуждающей ярости. Еще одной ссоры, отвратительной в своей вульгарности, я не вынесу и отделаться от этой женщины не сумею. Длинными шагами, на цыпочках, я прошел дамбу

и, обогнув дом, очутился на лужайке. Теперь я мог заглянуть в кухню. Да, вон она, Розина, на кухонном столе горят две свечи, а она безуспешно пытается зажечь одну из моих ламп и, конечно, при этом портит фитиль. Она резко крутила фитиль вверх и вниз, тыкала в него горящей спичкой, и мне виден был ее напряженный косящий взгляд и сердитые движения губ. Лампа ярко вспыхнула и погасла. На Розине было что-то черное, с белой блузкой, и ее темные волосы, распущенные по плечам, находились в опасной близости от пламени свечи. Я неслышно попятился и подобрал с травы подушки и пледы. Хорошо еще, что я поел в трактире, иначе голод все равно загнал бы меня в дом.

Я полез по скалам прочь от дома, а когда он скрылся из виду, нашел над самым морем узкую неглубокую выемку, в которой в доисторические времена раза два принимал солнечную ванну. Ночь была очень теплая, очень тихая, и я, пристроив очки в безопасном месте и готовясь отойти ко сну, с грустным недоумением подумал, как это я ни разу не догадался переночевать здесь в те дни, когда был счастлив. Чуть ниже меня море ласково пошлепывало скалы, казалось, я лежу в лодке. Моя каменная кровать имела легкий

наклон в сторону моря, так что я, лежа головой на подушке, видел прямо перед собой горизонт, где от луны тянулась почти, но не совсем неподвижная серебряная дорожка. Первые звезды уже обозначились ярко и четко. Загорались новые звезды, еще и еще. Лежа на спине, укрытый пледом, я стиснул на груди руки и молился о том, чтобы у нас с Хартли все было хорошо, чтобы моя верность, мои воспоминания, длившиеся целую жизнь, то, что я теперь называл моим мистическим браком, не оказалось растрачено впустую, а как-нибудь да привело к добру. А потом, как будто дух, которому я молился, строго отчитал меня в ответ, я постарался ни о чем не просить для себя, а молиться только за Хартли, чтобы она была счастлива, чтобы Титус нашелся, чтобы муж любил ее, а она — его. Это оказалось труднее — так трудно, что искушение, которое я почувствовал раньше и так решительно отогнал, снова стало подползать откуда-то сбоку, как я ни старался отмести все мысли, кроме хороших. Потому ли она несчастна, что ее муж — Фич, Бен, как его там — самодур и ревнивец? Если да, то, может быть… Наконец я решил, что если завтра утром не получу от Хартли письма, то пойду к ним сам, и будь что будет. Потому что мне необходимо

узнать ответ на этот вопрос.

Потом я поймал себя на том, что думаю уже не о Хартли, а о моей матери. Я видел ее лицо, все в морщинках тревоги, неодобрения, любви. Потом увидел тетю Эстеллу — в маленькой круглой соломенной шляпе, за рулем белого «роллс-ройса». Я знаю, мой отец не мог без волнения видеть, как она правит этой огромной машиной. И дядя Авель тоже. И я. Тетя Эстелла с широкой лентой вокруг головы — эти ленты называли «бандо». Как хорошо она играла в теннис. У них в Рамсденсе был земляной корт. Странно, что они с Джеймсом были похожи, она — такая красивая, веселая, и он — молчаливый, с замкнутым, угрюмым лицом. Словно накинули на него прозрачный покров сходства, обманчивый, как сходство с Хартли, которое я на протяжении многих лет находил в стольких женщинах, даже в той смешной старухе в нашей деревне, совсем на нее не похожей. Но что это, как я успел забыть, что эта смешная старуха и есть Хартли? Тогда, значит, Джеймс — это тетя Эстелла? А вот тетя Эстелла танцует на черной крутящейся граммофонной пластинке, на середине ее, там, где наклейка, и выходит, что она и есть наклейка, лицо среди надорванной бумаги крутится и крутится вместе с пластинкой. И все

это время я лежал с открытыми глазами (вернее, старался, а они упорно закрывались), потому что не мог наглядеться на звезды, а там, вверху, творились поразительные вещи. Яркий спутник — рукотворная звезда — очень медленно и как бы прилежно прочертил от края до края неба огромную дугу, и вспомнилось, что она не так уж далеко, это спутник-друг медленно летает по своим делам, раз за разом опоясывая земной шар. А много, много дальше другие звезды беззвучно падали, рассыпались и исчезали, тихо падали и исчезали навек, падучие звезды, падающие ниоткуда в никуда, в не поддающийся воображению мрак. Сколько их было, словно небеса наконец зашатались и готовы обрушиться. И все это мне ужасно хотелось показать моему отцу.

Позже я понял, что успел заснуть, удивленно открыл глаза, и оказалось, что небо опять совершенно другое — уже не темное, а ясное, золотое, в золотой пыли, словно позади тех звезд, что я видел раньше, раздвинули занавес, а за ним второй, третий, и теперь я смотрю в бескрайний купол Вселенной, а Вселенная тихо выворачивается наизнанку. Звезды, а за ними еще звезды, а за теми еще, и вот уже нет ничего, кроме них, и ничего за ними, только тусклое звездное золото,

и нет пространства, и нет света, а только звезды. Луна пропала. Вода плескалась выше, ближе, касаясь скал так осторожно, что плеск ее воспринимался не как звук, а лишь как легкая дрожь. Море потемнело, покорившись звездам. А звезды двигались, весь небесный свод словно потрескивал, вращаясь, но теперь там все успокоилось — никаких метеоров, никаких падучих звезд, доступных человеческим чувствам или хотя бы представлениям. Все было сплошное движение, все беспрестанно менялось и почему-то было невообразимо, хоть и видимо. И я уже был не я, а некий атом, некий атом атома, подневольный, пригвожденный к месту зритель, крошечное зеркало, в которое все это без разбора светило в своем неподвижном кипении и кружении, золото, а за ним еще золото, и так без конца.

Еще позднее я снова проснулся, и уже ничего не было; и на минуту мне показалось, что все эти звезды я только видел во сне. Наступила внезапная, потрясающая тишина, как бывает, когда отзвучит мощная симфония или смолкнет какой-то долгий оглушительный шум. Неужели я не только видел, но и слышал те звезды, в самом деле внимал музыке сфер? Рассвет навис над скалами и над морем в грозном, алчном молчании,

словно вцепился в эти еле видные призраки и очень медленно, против их воли, вытаскивает их из тьмы. Даже вода совсем затихла — ни плеска, ни дрожи. Небо было прозрачно-серое, море матово-серое, а скалы — темные, серо-коричневые. Одиночество ощущалось гораздо острее, чем раньше, под звездами. Тогда я не чувствовал страха. Теперь мне было страшно. И к тому же я весь окоченел. Скала подо мной была жесткая, тело болело, как от ушибов. Мои подушки и плед намокли от росы. Я с трудом поднялся и стряхнул их. Потом огляделся. Нагромождения скал скрывали мой дом. И я увидел себя как темную фигуру посреди этой пустой, угрожающе безмолвной мглы, где свет еще не был светом, и в страхе перед самим собой поспешил снова лечь, натянул плед, закрыл глаза и замер, в полной уверенности, что больше уже не засну.

Однако я заснул, и мне приснилось, что Хартли — балерина и порхает на пуантах по огромной сцене в черной пачке и в головном уборе из сверкающих брильянтов и черных перьев. Время от времени она делала прыжок, и тогда я говорил себе: но она повисает в воздухе, так не бывает, это какое-то вознесение. И, глядя на нее, думал самодовольно, как хорошо, что оба мы молоды и

вся жизнь у нас впереди. Как могут старики быть счастливы? Мы-то молоды и знаем, что молоды, а ведь большинство молодых принимают это как должное. Потом сцена изображала лес, появился принц, тоже весь в черном, и унес Хартли, и голова ее свесилась через его плечо, точно у нее была сломана шея. А я все думал, как замечательно, что я молод, а то мне приснился такой скверный сон, будто я старый. И я знаю, знаю, за теми деревьями есть озеро, а может быть, это море. Я проснулся при ярком солнце, и, в отличие от предыдущих моих пробуждений, когда я сразу понимал, где нахожусь, на этот раз в сознании у меня все путалось, и я все еще видел мертвое лицо Хартли и как страшно свисает ее голова и ощущал тяжкое предчувствие и ужас, которых во сне не испытывал. Я приподнялся на локте и лишь постепенно сообразил, почему лежу здесь на скале, надо мной светит солнце, а впереди — синее, тихо рокочущее море. Я медленно поднялся на ноги и вдруг с бесконечной болью вспомнил, как радовался во сне, что я молод. Я взглянул на часы. Половина седьмого. И только тут я подумал: если утром не будет письма, пойду в Ниблетс. И точка.

Очень хотелось есть. Интересно, провела ли Розина ночь в моем доме? Я долез по скалам до

шоссе и пошел назад, к Шрафф-Энду. Заглянул за выступ скалы, где она ставила машину, — машины нет. Пошел дальше, пересек дамбу. Писем, конечно, еще не было. Войдя в дом, тщательно обыскал все комнаты. Повсюду валялись обгорелые спички, но постель моя была не смята, на ней явно никто не спал. Это меня порадовало. Видимо, она уехала вчера поздно вечером. Она открыла бутылку вина и банку маслин, поела хлеба. Записки не оставила, но оставила свой след, раскидав по кухонному столу осколки довольно-таки красивой чайной чашки. Могло быть хуже. Я был так голоден, что поджарил себе к чаю гренков и доел маслины. Потом стал ждать, просто ждать, и в это время старался вспомнить, что я чувствовал, глядя на звезды, но все это уже меркло, уходило. Потом я предпринял несколько вылазок к собачьей конуре. В половине десятого там оказалось несколько писем, но не от Хартли. В десять часов я уже шагал в обход деревни. В половине одиннадцатого я подошел к их коттеджу.

Отворив калитку, я постарался не бросать тревожных взглядов на дом. Мне нужно было создать впечатление, что я забрел сюда ненароком. Когда я выходил из деревни, у меня сердце ныло от тревожного, тоскливого ощущения близости Хартли.

Теперь исходящий от нее магнетизм породил во мне бесшабашную отвагу; я ощущал себя свободным от всех запретов, грозным, опасным. Я нажал кнопку мелодичного звонка, и его приглушенный ангельский звон громом отдался в доме.

Послышалась какая-то возня, но голосов было не разобрать. Я сообразил, что моя голова должна смутно виднеться сквозь матовое стекло. Часто ли к ним заходят гости?

Дверь отворил Бен. Для меня он теперь стал «Беном», ведь все это время я так старался увидеть мир глазами Хартли. Он был в белой футболке, в которой выглядел чуть ли не толстым, и, кажется, небрит. Там, где лицо его не было скрыто щетиной, оно лоснилось, шишки на лбу поблескивали. Когда он каким-то звериным движением вскинул голову, стала видна черная глубь его широких ноздрей.

Я сказал:

— Доброе утро! — и улыбнулся.

Он сказал:

— Что случилось?

И удивление, искреннее или притворное, избавило его от необходимости улыбнуться в ответ.

— Да просто возвращался с утренней прогулки, дай, думаю, зайду. Очень захотелось опять пови-

дать вас и Хартли, раз мы теперь соседи. И хотел вам кое-что занести. Можно войти на минутку?

Это я подготовил заранее. Я поставил ногу на порог.

Бен оглянулся, потом одной рукой открыл входную дверь пошире, а другой отворил дверь в одну из комнат. Потом отступил, раскинув руки так, чтобы, стоя между этими двумя дверями, прочно преградить мне путь в другие комнаты.

Я, видимо, находился в запасной спальне. Комната была небольшая, в ней помещались только диван-кровать, стул и комод. Солнце светило сквозь ярко-красные цветы на тонких занавесках. На диване под легким синим с белым покрывалом явно не было ни одеял, ни подушек. На стене висела в рамке цветная фотография — снимок полосатого кота. Бен вошел следом за мной и закрыл дверь, и на секунду мне стало страшно.

В комнате было тесно. Он не предложил мне сесть, и мы стояли друг против друга возле дивана. Я решил, что буду продолжать свою веселую болтовню, и только боялся забыть, в каком порядке наметил перебирать всевозможные темы. Мне много чего нужно было выяснить, а времени для этого могло оказаться очень мало.

— Как Мэри? Надеюсь, здорова? — Я вспомнил,

что надо называть ее Мэри. — Я так хотел ее повидать. У меня тут письмецо для вас обоих.

— Ее нет дома, — сказал Бен.

Я был уверен, что он соврал.

— Ну что ж, тогда вот оно, мое письмецо.

Я передал ему запечатанный конверт с надписью «Мистеру и миссис Фич».

Бен взял конверт, поглядел на него, хмуря брови, потом тупо уставился на меня. Сказал «спасибо» и открыл дверь.

Я сказал:

— А вы, будьте добры, прочтите. Это приглашение.

И опять улыбнулся.

Бен раздраженно вздохнул и разорвал конверт. В эту минуту я успел увидеть через его плечо, что дверь из прихожей в кухню, которая была закрыта, когда я пришел, теперь приотворена. Из прихожей донесся тяжелый запах роз, более пыльный, более печальный в комнатах, чем на воле. Мне был виден «аналой» и коричневый странствующий рыцарь над ним. Бен поднял голову, поймал мой взгляд и опять закрыл дверь в прихожую.

Я указал на письмо широким объясняющим жестом и сказал, пытаясь заполнить тесную

комнату притворным радушием и симулировать оживленный двухсторонний разговор:

— Как видите, это официальное приглашение, а на обороте, вон, взгляните, я написал, что от души надеюсь видеть вас и Мэри у себя. Ко мне должны приехать друзья из Лондона… — Это, конечно, была неправда, но мне казалось, что прозвучит это не столь многозначительно и пугающе, как предложение свидеться втроем. — Вот я и подумал, может быть, и вы с Мэри не откажетесь в пятницу прогуляться в Шрафф-Энд, встретились бы запросто, по-домашнему, никаких там формальностей, никаких одеваний, и можно побыть совсем недолго. — Это прозвучало не слишком вежливо, и, поскольку Бен все еще хмурился, разбирая строчки на обороте карточки, я добавил: — Если вам больше улыбается просто зайти вдвоем, в четверг или в субботу, в любое время, пожалуйста, я в любой день буду вам рад. У вас такой прелестный дом и так хорошо устроен, я бы посоветовался с вами насчет моего дома, и вообще я мечтал расспросить вас о здешней деревне, об этих краях, и все такое.

— Едва ли мы придем, — сказал Бен и добавил: — Извиняюсь.

— Ну что ж, если сейчас не можете, очень заня-

ты или просто неудобно, может быть, повидаемся чуть позже. Я мог бы заглянуть на будущей неделе, я часто прохожу мимо вас. Раньше я всегда был занят по горло, а теперь времени девать некуда, это вам, наверно, знакомо? Конечно, по-своему это замечательно, особенно когда живешь в таком месте. Да, ваш дом мне ужасно нравится. Это ваша киска? Прелесть какая!

Я указал на цветную фотографию кошки над диваном.

Бен повернулся к снимку, и на секунду его лоб и губы разгладились, а глаза расширились и посветлели.

— Да. Это Тамерлан. Мы его звали Тамми. Он уже умер.

— Какая прекрасная кличка. Это очень важно, как назвать кошку. Полосатые кошки самые красивые, правда? Сам я всю жизнь скитался, невозможно было завести собаку или кошку, до сих пор жалею. А сейчас у вас кошка есть?

Бен швырнул пригласительную карточку и скомканный конверт на диван. Этот резкий жест положил конец моей болтовне. Он постоял в нерешительности, открыв рот и обнажив неровные зубы. Взъерошил свои короткие, густые, бесцветные волосы. Сказал:

— Прошу понять, — и умолк, сглатывая слюну, и я затаил дыхание. Мы стояли вплотную друг к другу в тесной комнате, я даже чуть склонился над ним. — Прошу понять, пустая это затея. Мы с вами не хотим знаться. Жаль, что приходится так прямо говорить, но намеков вы, видать, не понимаете. Я к тому, что нет в этом смысла. Ну ладно, когда-то давно вы были знакомы с Мэри, но давно оно и есть давно. А теперь она не хочет вас знать, и я не хочу, понятно? Не обязательно видаться с людьми только потому, что видался с ними когда-то, либо в школе учился, либо еще что. Времена меняются, каждый живет своей жизнью, находит свое место. Мы вам не компания, это-то, кажется, ясно. Не хотим мы ходить к вам в гости, и встречаться с вашими друзьями, и пить ваше вино, пустая это затея. И не желаем мы, чтоб вы к нам вваливались во всякое время, извиняюсь, если выразился грубо, но лучше уж договориться раз и навсегда. Я не знаю, как вы там живете со своими друзьями, но мы так не живем, мы люди тихие, никого не трогаем, и нам никто не нужен. Понятно? Так что насчет «школьных товарищей» и такого прочего — это вы забудьте. Конечно, мы будем с вами здороваться, если повстречаем в деревне, но чтобы в гости друг к дружке ходить

— это увольте, не по нашей это части. Словом, благодарим за приглашение, но… Вот так-то.

И тут он громко погромыхал ручкой двери, видимо для того, чтобы Хартли ушла с дороги.

Пока он говорил, а я его слушал, я неотступно смотрел вниз, на узкий, едва застеленный диван. Он явно не служил Бену постелью. Значит, они спят вместе. Околесицу, которую он нес, я слушал почти без удивления, почти как мною же наговоренную магнитофонную запись. И одновременно меня злила, смущала, мучила уверенность, что Хартли здесь, в доме, молчит и прячется от меня. Почему?

Одно я твердо решил заранее: как бы ни реагировал на мое появление Бен, я не выйду из себя и внешне останусь спокойным. Сейчас мне было очень нелегко сохранить маску любезности. Бен, закончив свою речь, стоял как вкопанный, растревоженный собственными словами и озадаченно хмурясь на портрет кошки. Говорил он все время не повышая голоса, скорее даже тихо, хоть и внушительно, и дверь пока не открыл. Наверно, выжидал минуты, когда можно будет без дальних проволочек выставить меня за порог.

Я почувствовал, что меня опять подвела моя злосчастная способность краснеть. Кровь при-

лила к лицу и шее, щеки пылали. Я произнес, насколько мог легко и хладнокровно:

— Ну что ж, отлично, но я надеюсь, что вы еще подумаете. Ведь мы как-никак соседи. И вы глубоко ошибаетесь, если видите во мне какую-то важную персону. Я человек очень простой, в чем вы, надеюсь, убедитесь. Я вам еще как-нибудь напишу. Не мог бы я перед уходом повидать Мэри?

— Ее нет дома.

— Наверно, ушла в магазин. Может, она скоро вернется? Мне бы так хотелось ее повидать.

— Ее нет дома!

Бен схватил с дивана конверт и карточку и шмякнул об пол. Потом с треском распахнул дверь.

Он стоял между дверью и мной, минута была критическая. Он чуть отступил, а я сделал рукой примирительный жест, долженствующий развеять внезапно возникшую атмосферу насилия. Я прошел мимо него в прихожую и стал возиться с входной дверью. Бен, не отставший от меня ни на шаг, сам взялся за замок, и наши руки соприкоснулись. Тут мне пришлось сделать шаг в сторону, а потом выйти на крыльцо. Оглянуться на дверь в кухню я не успел, да и вообще уже ничего не видел от волнения. Зато с ужасающей

ясностью различил яркие красные и оранжевые шары каких-то гигантских роз, посаженных вдоль дорожки. Дверь хлопнула. Второпях я кое-как сладил с замысловатым запором калитки и выбрался на улицу. Я пошел под гору. Не побежал и все замедлял шаг, а в деревню вступил уже совсем неспешно. Острая злость, страх и какой-то жгучий стыд, терзавшие меня, постепенно улеглись. Неужели я выскочил из коттеджа пулей, как перепуганная собака? Я решил, что ответ на этот вопрос не имеет ни малейшего значения, и попробовал остудить горящие щеки тыльной стороной руки.

И по мере того как волнение мое утихало, откуда-то из темных глубин медленно поднималось новое чувство. Вернее, даже два чувства, тесно, нечестиво свившиеся воедино. Я ощущал пронзительную боль, вспоминая жалкий, незастеленный диван и свой вывод, что Хартли… спит… с этим неотесанным стареющим школьником. Я знал, что боль эта возникла именно сейчас не при виде дивана, а потому, что, пока я не убедился в том, в чем теперь убедился, я старался начисто выключить из сознания некоторые стороны ситуации, некоторые картины, некоторые ощущения. А вторым чувством, которое, тесно

переплетясь с первым и поблескивая черными отсветами, всплыло теперь на поверхность, было своего рода пугающее ликование. Бен оказался в точности таким, как я боялся — и надеялся. Да, он самодур и тиран. Он человек скверный, злой. А значит… а значит…

История 3

— Всякий затянувшийся брак держится на страхе, — сказал Перегрин Арбелоу.

Однако сначала нужно кое-что объяснить. Эти страницы, как и предыдущие (точнее говоря — начиная со страницы 131), я пишу в Лондоне, в моей жалкой, заброшенной новой квартире. Мне даже подумалось, что, если бы я захотел жить отшельником, удалившись от мира, это жилище подошло бы мне куда лучше. (Кто-то недавно сказал мне что-то в этом духе. Розина?) Столько всего случилось, и я пробую записать это как связный рассказ, по возможности не прибегая к настоящему времени. Вот и выходит, что я все-таки пишу свою жизнь, как роман. Ну и что? Трудность была в том, чтобы найти форму, и эту форму каким-то образом подсказала мне история, моя история. По ходу дела у меня будет время поразмышлять и повспоминать, отклониться в сторону и пофилософствовать, вернуться в далекое прошлое и описать почти не поддающееся описанию настоящее; так что в каком-то смысле мой роман все же окажется и мемуарами, и дневником. В

конце концов, прошлое и настоящее так неразрывны, только что не едины, словно время — это искусственное расчленение материала, который стремится к тому, чтобы стать компактным и однородным, тяжелым и очень маленьким, как некоторые небесные тела, о которых нас осведомила наука.

Я приехал сюда два дня назад и с тех пор пишу почти не отрываясь. На второй вечер, как будет рассказано чуть ниже, я навестил Перегрина. Сегодня буду писать дальше; как ни странно, здесь, в тесноте и полном хаосе, пишется легче, чем на просторах Шрафф-Энда. Мне удалось сосредоточиться, а сосредоточиться, видит бог, было на чем. Сегодня вечером уеду поездом домой. (Домой? Домой.) Я уже договорился по телефону с местным таксистом, чтобы встретил меня на станции. Сейчас сижу за расшатанным столом у окна, из которого мне видна до невероятия пушистая макушка нежно-зеленого платана, а позади его пляшущей листвы — мешанина окон, стен и труб и задние фасады домов, построенных из корявого, цвета навоза викторианского кирпича, из которого, надо полагать, сотворен весь этот район Лондона. Свою большую, удобную квартиру в Барнсе, в двух шагах от реки, в двух

шагах от вокзала, я продал в лихорадочной спешке, когда покупал Шрафф-Энд. А эта квартирка рисовалась мне некой часовней для покаяния. Я не успел даже расставить мебель. Рядом со мной на кресле расположился телевизор. (Счастье, что в Шрафф-Энде телевидение недоступно.) Дальше, лицом к стене, стоит книжный шкаф, повернув ко мне свою сероватую спину в лохмотьях паутины и дырочках от древоточца. Картины, лампы, книги, украшения и скатанные ковры загромождают пол, а между ними — печальная россыпь битого стекла и фарфора. Я безжалостно торопил грузчиков, и они оказались не на высоте. В крошечной кухне жмутся нераспакованные ящики с хозяйственной утварью. Хотя я много чего продал, а кое-что сдал на хранение (в том числе несколько чемоданов, набитых театральными сувенирами), вещей здесь явный переизбыток. Обе спальни очень небольшие, но из них открывается приятный вид на переулок, где перед низенькими домами посажено много деревьев и кустов. Кухня, если суметь в нее втиснуться, вполне хороша — с газовой плитой и холодильником. Вчера на завтрак я ел макароны с сыром из банки, приправленные прованским маслом, чесноком, базиликом и опять же сыром, а на вто-

рое — вкуснейшие холодные вареные тыковки (поджаривать их, на мой взгляд, не следует). Не забыть купить еще тыковок, а также зеленого перца и захватить с собой. И раз уж речь зашла о еде, я только что вспомнил, что вчера вечером (когда я был у Перри) я должен был обедать у Лиззи и Гилберта и забыл предупредить, что не буду. Они, наверно, весь день для меня стряпали.

Что привело меня в Лондон? Главным образом, вероятно, сознание, что в проблеме Хартли обозначилась очень важная пауза — пауза, необходимая для раздумий, планов и известного очищения намерений. А конкретно меня привезла сюда Розина в своем отвратном красном автомобильчике. Розина опять появилась в Шрафф-Энде вечером того дня, когда состоялось мое столкновение с Беном, на многое открывшее мне глаза; и я поверг ее в изумление, а заодно и отвязался от нее, попросив завтра рано утром отвезти меня в Лондон. Мне хотелось, как я уже сказал, уехать, чтобы подумать. И еще хотелось, как я сейчас объясню, найти старые снимки Хартли, оставшиеся в городе. А попутно я нашел удобный способ отделаться от Розины, хотя бы на время. Мало того что, осчастливив ее своим обществом и приняв ее шоферские услуги (а во-

дитель она первоклассный), я имел все шансы ее умилостивить, по дороге мне еще удалось убедить ее в полушутливой форме, что между мной и Лиззи ничего нет и что всерьез я, разумеется, ни минуты об этом и не думал. Эту новость Розина, как я и ожидал, приняла спокойно, с видом великодушным и понимающим, что привело бы меня в ярость, если б я рассказал ей всю правду. А так я даже дал понять, что она помогла мне «одуматься». Вправду ли она поверила, что я отказался от мысли о Лиззи, и притом под воздействием ее террористической тактики? Или же заподозрила, что тут кроется что-то другое? Трудно сказать. Ведь она как-никак актриса.

Нас обоих, кажется, удивило, какой приятной получилась эта поездка. Ни о чем личном мы не говорили, а просто болтали и судачили всю дорогу, и это время нам было хорошо вместе, как бывало давно, до того, как Розина влюбилась в меня и довела до безумия. Она с большим тактом рассказывала мне только о том, что мне хотелось услышать, — о провалах и неудачах, банкротствах и личных невзгодах. План экранизации «Одиссеи», с которым носился Фрицци, уперся в финансовые трудности, Маркус подал в суд на Алоиза из-за контракта с Нелл, третий муж

Риты сбежал с танцовщиком, Фабиан опять в психиатрической больнице. *Aprés moi le deluge*[20]. А я развлекал ее моими злоключениями в «Черном льве». И всю дорогу до Лондона я, ничем не выдавая своей озабоченности, думал о Хартли. Ведь я как-никак актер. Розина довезла меня до Ноттинг-Хилла. Мы простились дружески, не договариваясь о новой встрече. У нее хватило ума не приставать ко мне, тем более раз ей казалось, что она, используя свою власть надо мной, добилась какого-то преимущества. Я понятия не имел, что у нее на уме и что ей нужно, и скоро о ней забыл. Я не без приятности отдался тому немного пьянящему чувству, которое всегда охватывает меня, когда я въезжаю в Лондон, — будто в этой трагикомической столице снова возвращаешься в себя, едва оборвется общение, возникшее в поезде или в машине. Я пошел к себе на квартиру пешком (Розине я не разрешил довезти меня до места) и по дороге кое-чего купил. Открывая дверь своим ключом, ощутил болезненное волнение. Чужие загроможденные комнаты, еще хранящие запах других жизней, встретили меня враждебно. Я сразу принялся разыскивать фото-

[20] Примечания: 20
После меня хоть потоп *(фр.)*.

графии Хартли. Подумал, уж не пропали ли они при переезде, но все обошлось. Я вывалил их из конверта и разложил на столе — пожелтевшие, выцветшие, с завернутыми краями. Почти все — моментальные снимки, моя работа. Хартли смеется или улыбается, ветер раздувает ее волосы и юбку, Хартли на мосту над каналом, держит велосипед, прислонилась к калитке, на коленях среди лютиков смотрит на меня, и все лицо ее дышит любовью. Я пробовал найти сходство, уловить связь между молодым лицом и старым, прежним и новым. Но образы возникали слишком страшные, слишком мучительные, очень уж веяло от них молодостью и счастьем. И, опасаясь дать волю чувствам, я быстро собрал карточки и сунул обратно в конверт, чтобы увезти в Шрафф-Энд.

Потом я поискал и скоро нашел фотографию матери, лицо на меня глянуло не тревожное, а с широкой улыбкой, с выражением бодрым, энергичным, до ужаса знакомым. Гладко зачесанные волосы открывают тяжелый выпуклый лоб, широко расставленные глаза смотрят прямо на зрителя. Интеллектуалки из нее бы не вышло, но на многих поприщах она могла бы преуспеть. Она часто бывала веселой, но веселость ее была по-

чти нарочито обусловлена аскетически простой, безупречной жизнью. Век джаза обошел моих родителей стороной. Попался мне также, хоть я его не искал, трогательный (слишком трогательный) снимок моего отца, совсем молодого, в форме пехотного офицера Первой мировой войны. И как он только уцелел в этой бойне, и почему я ни разу не расспросил его об этом подробно? Он тоже смотрел на меня, но без улыбки, застенчиво, тревожным взглядом. Интересно, каково пришлось в армии этому мягкому, робкому человеку? Принимала решения и торговалась с поставщиками моя мать. Возможно, это благодаря ее северной жесткости, которую я унаследовал, столько людей с перепугу принимали меня таким, каким я хотел им казаться.

А потом из-под каких-то отвратных снимков Джеймса на его пони (зачем я их сохранил — неизвестно) выглянула еще одна фотография — дядя Авель танцует с тетей Эстеллой. Я разглядел ее. Они на каком-то балу, он держит ее немного на отлете, но, судя по тому, как они смотрят друг на друга, это только на мгновение. Еще мгновение — и они друг к другу прижмутся. Танго? Вальс? Медленный фокстрот? Что-то в их позе говорило не только о счастье, но еще о взаимной зависи-

мости, об идеальных отношениях между ними: он — такой крепкий, властный, элегантный, покровитель и защитник; она — такая хрупкая, грациозная, такая доверчивая, и покорная, и любящая. Такая, черт возьми, красивая. Бедная тетя Эстелла, ей повезло, она до конца оставалась прелестной. Как попал ко мне этот снимок? И вдруг я вспомнил, что сам выкрал его из семейного альбома в Рамсденсе. Я перевернул жесткую коричневую карточку и увидел на обороте остатки клея и кусочек темного пуха от толстой картонной страницы, к которой она была приклеена.

Пока мы с Розиной ранним солнечным утром катили по магистрали и болтали о Калифорнии и о последнем скандале в актерском профсоюзе, я сочинял письмо к Хартли, которое собирался написать, как только приеду в Лондон. Но сразу по приезде я ощутил более насущную потребность — навести порядок в мыслях и, чтобы хоть немного успокоиться, подробно написать обо всем, что случилось. А потом нашлись и другие причины повременить с этим письмом. Я чувствовал, что внутри у меня еще ничего не устоялось, и не то чтобы колебался, но как-то ослабел от нетерпения, тревоги и страха. Я все еще пытался отдалить страшную, мучительную, безрассудную боль

ревности, поджидавшую за ближайшим углом в моей смятенной душе. А чтобы не впустить ее, я должен был думать; и мысли мои свелись примерно к следующему.

Когда я ушел от Бена после нашей, в общем-то, отвратной встречи, я ощущал мрачное, мстительное ликование, потому что понял, что отныне волен его ненавидеть; и более того, отныне я волен был думать в плане *спасения Хартли*. В этой мысли заключался какой-то резкий, пугающий скачок, словно меня с силой дернуло вперед нечто, уже существующее в отдаленном будущем. Ненависть, ревность, страх и неистовая хищная любовь бушевали во мне одновременно. Бедная моя девочка, бедная моя, милая. Я терзался желанием завладеть, защитить, жгучей болью от мысли, что не уберег ее от долгих лет несчастливой жизни. Как я стал бы теперь лелеять ее, утешать и любить, если б только… Но уже из последних сил я урезонивал себя: нет, надо еще что-то додумать.

Перебирая в уме все улики и показания, я почти не сомневался в том, что они означают. Хартли меня любит и давно жалеет, что потеряла меня. Как же иначе. Мужа она не любит. Да и за что его любить? Умственно он человек заурядный, в нем

нет ни блеска, ни душевного обаяния. Внешне он непривлекателен — этот нескладный чувственный рот и вид как у только что остриженного школьника! К тому же он, видимо, варвар и чурбан. Он деспот, болен, должно быть, хронической ревностью, тупой и злобный пес, субъект ограниченный, без запросов, неспособный радоваться жизни. Хартли все эти годы была пленницей. Вначале она, возможно, мечтала вырваться на волю, но постепенно, как бывает с запуганными женщинами-затворницами, впала в отчаяние. Лучше не бороться, не надеяться. Увидеть меня снова было для нее, несомненно, колоссальным потрясением. Конечно, к тому времени, как я ее обнаружил, она уже немного оправилась. Ее испуг и увертки объяснить нетрудно. Она, вероятно, боится мужа, а главное — боится своей старой любви ко мне, еще живой, еще горящей скрытым огнем, как нефть под землей, — любви, которая сейчас грозит вконец разрушить ее маленький, непрочный душевный покой.

Обо всем этом и о том, как я, буде она того захочет, могу и намерен ее спасти, я собирался написать в письме и, разумеется, передать ей это письмо тайно. Но рассудок и размышления, не говоря уже о страхе, требовали отсрочки. Страх

твердил: если сейчас все почему-нибудь сорвется, я сойду с ума. Рассудок твердил, что улики и показания неубедительны и могут быть истолкованы по-другому. Пожалуй, я, заранее настроенный против Бена, не самый надежный свидетель. Действительно ли Бен во время нашей встречи показал себя с такой уж отрицательной стороны? Я ведь и сам вел себя безобразно. Ну хорошо, до последней минуты он сдерживался, но я-то с самого начала чувствовал в нем глухую, звериную враждебность. А есть и еще тайна — Титус. Почему он сбежал? Оказался трудным ребенком, возможно правонарушителем? Сблизила ли их трагедия его исчезновения, общее горе? Общее горе, общее ложе. Я все еще был вынужден держать свои мысли в узде, а они норовили разбежаться во всякие темные закоулки. И конечно, оставалась возможность (немаловажная!), что, хоть он и урод и без обаяния, и болван и скотина, она его любит и никогда им особенно не тяготилась. На ряд вопросов я уже нашел вполне удовлетворительные ответы. Оставался только этот, последний. Неужели она все-таки любит его? Нет, это немыслимо. А все же надо это узнать. Узнать до того, как приступить к осуществлению проектов и планов, настоятельно требовавших моего внимания и воли. Нужно

подождать, ничего нельзя предпринимать, пока я не найду ответа на этот вопрос.

Но как? Не решусь я просто написать и спросить, это значило бы слишком многое поставить на карту, и к тому же, обдумывая это, я пришел к выводу, что ответ ее непременно будет туманным. А потом (я говорю о вчерашнем дне) мне пришел в голову способ, пусть отвратный, но безошибочный способ решения этой проблемы. Об этом я напишу в свое время. А пока нужно отдохнуть, дать себе передышку. Для начала я позвонил Перегрину и вчера вечером пошел к нему, и мы напились, а разговор наш я сейчас изложу, поскольку он отчасти имеет отношение к моей ситуации. В сущности, как подумаешь — почти все на свете имеет отношение к моей ситуации. Я, конечно, ничего не рассказал Перегрину о Хартли. Я и раньше не говорил ему о ней, разве что упомянул когда-нибудь о своей «первой любви».

Я подкупил еще кое-чего из съестного и все ингредиенты для нашего ужина принес к нему, в его квартиру в Хэмстеде. С великим трудом я убедил Перри, как глупо и безнравственно ходить в дорогие рестораны, где нахальные официанты подают вам невкусную еду и выставляют за дверь, когда вам еще совсем не хочется уходить.

И мы с ним провели длинный отдохновенный вечер, наелись восхитительного карри (моего приготовления, Перри готовить не умеет), с рисом и салатом из свежих овощей, а потом долго лакомились фруктами и песочным печеньем и усидели три бутылки превосходного кларета из запасов Перегрина. (Я не из тех мелочных пуристов, что не пьют вино с карри.) Потом перешли на кофе, виски и рахат-лукум. К счастью, у меня всегда было прекрасное пищеварение. Грустно жить тем, кто не может наслаждаться главными, а для иных, возможно, и единственными радостями повседневной жизни — едой и питьем.

Каюсь, я пошел к Перегрину не только затем, чтобы выпить и поболтать со старым другом, но и ради мужского общества, тайного мужского содружества, которое можно сравнить с соучастием в преступлении, в шовинизме, в безнаказанных выходках, в том, чтобы просто наслаждаться минутой, даже если вокруг царит ад кромешный. О себе должен, впрочем, добавить, что непристойный «мужской» разговор для меня исключен. Похабщина мне глубоко противна. Еще в давние времена мне довелось преподать недвусмысленные уроки на этот счет и Перри, и еще кое-кому. Только не Уилфриду. Тот никогда

не сквернословил.

Итак, покончив с раздумьями и приняв решение, я ощутил отрадную передышку, возможность отдохнуть и собраться с силами. Хартли подождет. Не убежит. Она не может убежать.

— Всякий затянувшийся брак держится на страхе, — сказал Перегрин. — Копни поглубже человеческую природу, и что найдешь на дне? Подленький, злобный, жестокий самоохранительный страх, от которого либо хватаешься за кнут, либо съеживаешься в комок. А в браке люди со временем просто застывают на позициях господства и подчинения. Иногда, конечно, они «притираются» друг к другу или «достигают гармонии», раз уж к источнику ужаса в своей жизни надо подходить рационально. Я так думаю, что счастливых браков на свете очень, очень мало, только люди скрывают свое недовольство и разочарование. Сколько счастливых пар мы с тобой знаем? Ну да, Сид и Розмэри, у них и дети хорошие, и они разговаривают друг с другом, трещат без умолку, только диву даешься, но что мы о них доподлинно знаем? И долго ли еще это продлится? А больше никого я и не припомню, хотя есть несколько примеров, где с виду все в порядке, но я-то знаю, что творится за кулисами! Черт возьми,

Чарльз, умно ты поступил, что не женился. Ты сохранил свою свободу. Как и Уилфрид Даннинг. Не надел ошейника с цепью. Ой, как я ненавижу женщин. Но и на другое не тянет. Можешь не краснеть и не опускать глазки, на тебя я никогда не метил. Мне известно, до чего ты доигрался с Фрицци Айтелем! Нет… а вот старику Уилфриду я бы не отказал. Как обстояло у Уилфрида по части секса? Этого никто не знал. Может, и вовсе никак, тогда он тем более был молодец. До сих пор скучаю по Уилфриду. Милый был человек. И великодушный. Он в каждом умел найти хорошее. Он меня вдохновлял, ей-богу. Напиться со стариком Уилфридом — это было все равно что… о черт, да с чем это сравнишь. Ты знал, что Лиззи Шерер живет с Гилбертом Опианом? По-моему, они это здорово придумали.

— Я тоже скучаю по Уилфриду. Да, про Лиззи я слышал. — Одной из второстепенных целей, которые я имел в виду, когда шел к Перегрину, было выяснить, правда ли обо мне и Лиззи ходят сплетни, и если да, то как-то их пресечь. До Перри, видимо, ничего не дошло. — Значит, вы с Памелой…

— Тут все, собственно, кончено. То есть она еще живет здесь, но мы не общаемся. Это ад, сущий ад,

Чарльз, ты себе и не представляешь. Быть связанным с человеком, когда все источники общения загрязнены и отравлены. Что ни скажешь — все не то, все гнусно. Да уж, выбирать я не научился. Сначала эта сука Розина, потом дьяволица Пам. Ты Розину давно не видел?

— Давно.

— Я тоже, но стоит мне включить телевизор — и она тут как тут, прямо проклятие какое-то. Наверно, я ее когда-то любил. Или просто чувствовал себя с ней как Марк Антоний. *Penchè sur elle l'ardent Imperator…*[21] В глазах Розины я видел только свое отражение. А потом увидел суд, где нас разводили. С Розиной что плохо? Ей подавай всех мужчин подряд. Ей все нужны — Юлий Цезарь, Иисус Христос, Леонардо, Моцарт, Виламович[22], мистер Гладстон, Д. Г. Лоренс, Джимми Картер… Может, ты и от Памелы согласишься меня освободить? Нет? О господи, даже передать тебе не могу, на что это похоже, одно слово — поножовщина, и ведь до сих пор продолжается, ни у нее, ни у меня просто нет сил заняться разводом.

---

[21] Примечания: 21

Над ней склонившись, пылкий император… *(фр.)*

[22] Примечания: 22

Виламович-Меллендорф Ульрих (1848–?) — немецкий филолог, профессор Геттингенского университета.

Эти дела о разводе тоже не сахар, приходится думать, принимать решения, лгать. У нее, кажется, кто-то есть, я не знаю и знать не хочу. Она часто уезжает, но, к сожалению, всякий раз возвращается. Наверно, ей так удобнее. И нет конца этой разрушительной злобности, этому упорному разрыванию всех ниточек нежности, радости, всех милых пустяков, из которых строятся человеческие отношения. Я иногда еще пробую с ней пообщаться, но она в ответ только и старается, как бы уязвить побольнее. От этих бесконечных уколов душа мертвеет, ну и, естественно, сам становишься дьяволом, начинаешь изощряться в мерзости. Я это наблюдал у других — тот из супругов, который, пусть даже беспричинно, считает себя виноватым, обречен стать жертвой и уже не может удержать своих моральных позиций. Это ведет к взаимному запугиванию. И боже ты мой, когда мы еще спали вместе — лежишь, бывало, ночью без сна и только тем и утешаешься, что воображаешь во всех подробностях, как сейчас спустишься в кухню, найдешь топор и трахнешь ее по голове, так что на подушке только кровавый пудинг останется! Эх, Чарльз, что ты знаешь о семейных радостях. Подлей себе виски.

— Спасибо. Ну а как малышка… как ее? Да,

Анджела.

Это была дочка Памелы от ее прежнего брака с Рыжиком Годвином.

— Не такая уж она теперь малышка. Да ничего, учится в школе. Я по крайней мере так думаю, она каждый день куда-то уходит. Я ее не замечаю, а она меня, мы с ней никогда не ладили. Пам, кажется, тоже ее не замечает. Пам теперь часто бывает пьяная. Зрелище весьма назидательное. Да, Чарльз, тебе повезло. Ты, черт возьми, не попался в эти страшные капканы, что ранят в кровь, и орешь от боли, и чувствуешь, что становишься дьяволом. Ты ловкач, обошел их сторонкой. Ты гладенький, чистенький. Лицо у тебя гладкое, чистое, розовое, как у девушки, бреешься небось раз в месяц, и руки чистые, и ногти, черт подери, чистые (а у меня-то, глянь!), и все тебе сошло с рук, свободен как ветер, черт тебя подери. Да, да, нужно провернуть этот чертов развод, но это значит общаться с Памелой — а я не могу, не могу я сесть с ней рядом, даже и пробовать нечего, мы теперь больше не сидим вместе, — и постараться выработать разумный план, как избавить друг друга друг от друга. А может, она и не захочет. Может, ее вполне устраивает жить здесь, использовать этот дом как базу для своих художеств! Я

каждый месяц вношу изрядную сумму на ее счет в банке…

— А она не могла бы найти работу или…

— Работу? Пам? Laissez-moi rire![23] Пам никогда не была актрисой, только подавала надежды. Она ничего не умеет. Всю жизнь ее содержали мужчины. Содержал Рыжик, а до него какой-то другой несчастный американец, а до него еще кто-то. Рыжик до сих пор платит ей несусветные алименты. И со мной она расстанется, только если я соглашусь на такие же условия. А ты знаешь, я ведь до сих пор плачу алименты Розине, даром что она зарабатывает впятеро больше меня. Вот и скажи: suis-je un homme ou une omelette?[24] В то время она мне до того осточертела, до того я спешил с ней разделаться, что готов был подписать что угодно. Черт, увел бы ты и Памелу! Счастливец ты, Чарльз. С каждой получаешь удовольствие, а потом вильнул хвостом, и прощай. Ты даже от Клемент умудрялся сбегать. Мне бы такое умение.

— Если ты воображаешь, что с Клемент было так уж весело…

---

[23] Примечания: 23
Давно я так не смеялся! *(фр.)*

[24] Примечания: 24
Мужчина я или тряпка? *(фр.)*

— Твоя беда в том, Чарльз, что, в сущности, ты презираешь женщин, а вот я — нет, хотя по некоторым признакам это и можно заподозрить.

— Я не презираю женщин. Мне еще двенадцати лет не было, когда я был влюблен во всех шекспировских героинь.

— Но они не существуют, мой милый, в том-то все и дело. Они живут в сказочной стране, порожденной гением и мудростью Шекспира, и оттуда смеются над нами, внушая нам несбыточные надежды и пустые мечты. А в настоящей жизни — только злоба, и ложь, и грызня из-за денег.

Из моих записей можно заключить, что говорил все время один Перри, и к концу вечера примерно так и было. Он наделен чисто ирландским даром словоговорения, и, когда пьян, перебить его трудно. Во всяком случае, я был более склонен подзуживать его, чем говорить сам. Его красноречивые ламентации действовали на меня успокоительно, а его беды, каюсь, меня немного подбодрили. Что его второй брак не удался, было мне скорее приятно: я бы, пожалуй, даже огорчился, если бы узнал, что невольно осчастливил его *en deuxièmes noces*[25]. Такие чувства не делают

---

[25] Примечания: 25
Во втором браке *(фр.)*.

мне чести; однако ничего необыкновенного в них нет.

Мы сидели в его поместительной, со вкусом обставленной столовой. Белая, не первой свежести скатерть на столе была щедро закапана вином. Перри вдвинул в эту комнату свой диван-кровать и даже пристроил здесь электрический чайник и электрическую плитку (на которой я готовил карри), а остальную часть квартиры предоставил Памеле. Под плитку была подстелена сложенная газета, вся в сальных пятнах и крошках. Приходящая прислуга взяла расчет, Памела чем-то ее разобидела. В комнате было очень пыльно, пахло пригоревшей едой и грязным бельем. Но зато, как сказал Перри, «дверь можно закрыть и запереть на ключ».

Кажется, я уже где-то упоминал, что такого большого лица, как у Перегрина Арбелоу, ни у кого не видел; но когда он был молод, в дни «Удальца», это его не портило. Лицо у него большое, круглое, теперь оно расплылось и обрюзгло и обрамлено (не без помощи науки) густыми короткими каштановыми кудрями. (Это он мне посоветовал, как сберечь волосы.) Его большие глаза сохранили выражение невинное, или, вернее, озадаченное. Он рослый, грузный и всегда,

даже в жаркую погоду, ходит в теплых костюмах с жилетом. Часы носит на цепочке. В его речи проскальзывают интонации его родины — Ольстера, но на сцене они, конечно, начисто исчезают, не то что шепелявость Гилберта Опиана. Он превосходный комик, хотя Уилфриду уступает, но Уилфриду уступают все.

Я решил, что опасную тему о женщинах пора оставить, и спросил:

— В Ирландии последнее время бывал? — зная, что это самый верный способ пустить Перри по новому следу.

— Ирландия! Тоже… порядочная. Дьявольски бестолковый народ эти ирландцы. Как Пушкин сказал о поляках, их история — сплошное бедствие. Но поляки всегда страдали трагически, евреи страдали умно, даже остроумно, а ирландцы страдают бестолково, как корова мычит в трясине. Ума не приложу, как англичане до сих пор терпят этот остров. Эх, нет на них Кромвеля, вот когда бы он действительно пригодился. Белфаст разрушили к черту. И никому нет дела. Больно это, Чарльз, ох как больно, мучают друг друга, унижают, мстят. И почему этому не положат конец, как Христос в свое время? Кто спасет этот остров? Тут и сотни святых не хватит, и

тысячи. И забыть нет сил, все равно как рубашка этого, как бишь его[26], — липнет ко мне, въедается в тело. Одно утешение — найдет иногда такой стих, и даже радуешься, что другим хуже, чем тебе, что у кого-то на глазах застрелили мужа, сына, жену или самого на всю жизнь обрекли кататься в инвалидном кресле. Вот видишь, какая я сволочь! Я живу Ирландией, дышу Ирландией и, черт, до чего же ненавижу ее! Уж лучше бы быть шотландцем, все не так ужасно. Я, кажется, ненавижу Ирландию еще больше, чем театр, а этим многое сказано.

В эту минуту отворилась дверь и показалась голова Памелы. Потом и вся она, держась за дверь, ввалилась в комнату и уставилась на нас стеклянными глазами. Она была в пальто — видно, только что вернулась откуда-то. И до сих пор была хороша — с волнистой седой шевелюрой, сейчас порядком растрепанной. Уголки ее небрежно намазанного алого рта опустились в вызывающе жалкой усмешке. Она щурилась на меня, как бы

---

[26] Примечания: 26

В одном из мифов Геракл приказал кентавру Нессу перевезти его жену Деяниру через реку. Кентавр пытался похитить ее, но Геракл убил его отравленной стрелой. Из мести Несс, умирая, отдал свою одежду Деянире, сказав ей, что эта одежда поможет ей вернуть любовь мужа, но Геракл, едва надев ее, умер в страшных мучениях от яда — этим ядом, сохранившимся в одежде, была пропитана стрела, которой сам Геракл убил Несса.

не замечая Перри. Я сказал:

— Привет, Пам.

Осторожно, не выпуская дверь, она сделала было шаг к выходу, но повернулась, сморщила лицо, зашевелила губами и, собрав во рту достаточно слюны, плюнула на пол. Наклонилась разглядеть плевок и, шатаясь, отбыла, оставив дверь открытой.

Перегрин вскочил, пинком захлопнул дверь, схватил свой стакан и швырнул в камин. Стакан не разбился. Он обежал вокруг стола и буквально с пеной у рта снова замахнулся стаканом, издав при этом хриплое «Ааааагх!» — нечто вроде шипения рассерженной кошки, но с громкостью льва. Я встал, отнял у него стакан и поставил на стол. Тогда он подошел к двери, осмотрел то место, куда плюнула Памела, и, оторвав клочок от одной из своих замызганных газет, аккуратно накрыл его. После чего вернулся в свое кресло.

— Пей-ка, Чарльз, пей, милый. Ты что-то не пьешь. Совсем трезвый. Ну же, пей.

— Ты начал что-то про театр.

— Прав ты был, что не печатал свои пьесы, они были ничто, пустячки, однодневки, но хотя бы не претендовали на большее. Ну вот и обиделся, уж это мне авторское самолюбие! Да, театр я нена-

вижу. — Перри имел в виду театр лондонского Уэст-Энда. — Ложь, ложь, почти всякое искусство — ложь. Искусство и ад покажет красивеньким, уютным местечком. Дерьмо. Настоящее страдание, оно — ох и пьян же я, — оно не такое. Ох, Чарльз, видел бы ты, во что превратился мой родной город… а тут еще эта сука плюется. Да как только могут люди так жить, так друг над другом измываться? Если бы мы хоть научились молчать. Драма, трагедия — это все годится для сцены, но не для жизни — в том-то и горе. А душито не хватает. Всякое искусство искажает жизнь, подменивает ее, а больше всего театр, потому что он так похож на жизнь, — видишь живых людей, они ходят, разговаривают. Черт! Почему это, когда включаешь радио, сразу слышно, что говорит актер? Потому что все у него по́шло, театр — это храм пошлости. Лишнее доказательство, что мы не хотим говорить о серьезных вещах, а скорее всего, и не умеем. Все решительно, все самое печальное, самое святое, даже самое смешное, — все превращают в пошлую шутку. Ты прав, Чарльз, я помню, ты говорил про старика Шекспира, что он единственный. Он и еще какой-то грек, которого все равно никто понять не может. А все остальное — вонючее море самодовольной пошлости.

Уилфрид это чувствовал. Помню, он иногда насмешит публику до колик, а сам потом такой грустный сидит. Ох, Чарльз, хорошо бы был Бог, но Бога нет, вот нет, и все тут. — Большие круглые карие глаза Перри наполнились слезами. Он поискал в кармане платок, потом обошелся скатертью. Помолчав, он добавил: — Зря я ушел из университета и не стал врачом. А то ничего не осталось, как ползти к могиле. Я по утрам, как проснусь, думаю о смерти. А ты?

— Нет.

— Нет. Ты сохранил юношескую *joie de vivre*[27]. Причем твоей заслуги тут нет. У тебя вообще нет заслуг. Просто это врожденная способность, дар природы, как твоя фигура и девичий цвет лица. Но помни и берегись: есть такие, что живут в аду.

Я сказал:

— Ты когда-нибудь бьешь Памелу? А Розину бил?

Видно, я был не так трезв, как ему казалось.

Мой вопрос как будто взбодрил его немного.

— Странно, что ты это спросил, Чарльз, я как раз сегодня об этом думал, все спрашивал себя,

---

[27] Примечания: 27
Жизнерадостность *(фр.).*

почему не бью. И никогда не бил. Нет. Ни разу ни на кого не поднял руку. Неодушевленные предметы — это да. Стаканы, тарелки — все, что можно разбить, растоптать. Мне кажется… понимаешь… что это имеет какое-то отношение к Ирландии… что я это делаю для Ирландии. Смешно? Ей, суке, это, конечно, ни к чему. Но… понимаешь, как только кто-то кого-то ударит, вместо того чтобы наорать, или плюнуть, или… тогда, конечно, перейден барьер, может быть, последний барьер цивилизации, и тогда — пулеметы и выстрелы в коленную чашечку. О черт, зачем только я согласился играть в этой распроклятой телевизионной серии, это же дерьмо. Они-то, конечно, били меня, и Пам, и Розина, тут сдерживающих центров не ищи…

— Лицо царапали?

— Кой черт царапали, они кулаком бьют. Что ж, значит, заслужил. Я ведь сволочь. Я — сволочь. Да, да. Выпить надо.

Перри опять поднес к глазам скатерть, но тут дверь открылась, и появился высокий худенький мальчик, коротко стриженный, в черной кожаной куртке. Громко топая подошвами и не обращая на нас внимания, он прошел к буфету, открыл его, достал бутылку и вышел вон, затво-

рив за собою дверь.

— Это еще что за мальчик?

— А это не мальчик. Это, милый Чарльз, моя падчерица Анджела. Ей шестнадцать лет.

— О господи, когда я ее видел в последний раз, это была крошка с золотыми локонами.

— Теперь она уже не крошка с золотыми локонами. Месяц назад взяла и обрилась наголо. Только-только начала обрастать. Ей папаша подарил мотоцикл — не какую-нибудь фыркалку, на которой сидишь как на стуле, а этакую длинную толстую махину, на нее вскакивают как на коня, а она рычит: «Ааааргргргр!» Помню, когда ты, бывало, хныкал, до чего тебе, мол, хочется иметь сына, я тебя предупреждал, какой это будет ад, а с дочкой оно, по-моему, того хуже. Слава тебе господи, у меня хоть своих детей нет. Детки — святая невинность — черта с два! Послушал бы ты, какие слова произносит эта Анджи, а уж уродует себя — глаза бы не глядели. Памеле на это плевать, она… Да Памелу ты сам только что видел, она ведь сюда заходила, да? Или мне это приснилось? Так вот, Анджела, она носит горные ботинки и все прочее кожаное. И пьет. Все они пьют. Да, повезло тебе, Чарльз. Никакой, черт возьми, семьи. Семья, очаг любви. А ведь я не

только убеждал себя, что любил этих двух женщин, я их правда любил… то есть если я вообще способен любить. А я способен? Не знаю. И ведь я любил… ну, раньше… и других женщин, других людей, их уже нет, ушли навеки… да и все равно ничего бы не вышло — сволочи, гады, подонки не могут быть счастливы, так что есть все-таки на земле справедливость.

Я достиг той стадии, когда встать и уйти очень трудно, когда все очень трудно, кроме как пить еще и еще виски; и слезы Перегрина меня, как идиота, разжалобили.

— Перри, — сказал я, — кто был твоей первой любовью?

— Не называй меня Перри, гад. Ладно, могу сказать, только ты не… это был мой дядя Перегрин. Да. Дядя Перегрин. Упокой, Господи, его душу, хороший был человек. И если наступит когда-нибудь Судный день, все мои растакие родичи будут стоять на коленях позади дяди Перегрина в чаянии, что он замолвит за них словечко и спасет от вечного огня. И я буду распростерт на земле в ожидании, что он поднимет меня, и он меня поднимет. Милый был человек. Сам не знаю, почему я назвал его хорошим, откуда мне было это знать, я был ребенком. Он брал меня за руку, сажал на

колено, он, понимаешь, любил меня. Родители меня никогда не ласкали, не целовали. Навряд ли я им нравился, им была больше по душе моя стерва-сестрица. А дяде Перегрину я нравился. Он меня ласкал, целовал. И знаешь, так сладко меня и женщины потом не целовали, хотя это и было просто… не то, что ты думаешь, это было так невинно, так хорошо, и делал он это только, когда мы бывали одни. Из этого я кое-что усвоил. И говорили мы обо всем на свете, как сверстники, и я всегда скучал по нем, ждал его, точно он меня кормил. Но в один прекрасный день — то ли родители мои что-то подглядели, то ли решили, что дядя Перегрин мне не компания, — но они его изгнали. Я его больше не видел. Никогда.

— И что с ним сталось?

— Не знаю. Много позже слышал, будто он покончил с собой. Когда я стал актером, я взял себе его имя, отчасти из уважения, отчасти назло семье. Крещен-то я Уильямом. Вот какая у меня была первая любовь. А у тебя?

— Не помню. Спасибо, что рассказал мне про твоего дядю. Мне было очень интересно про него узнать.

— А я уже жалею, что рассказал. Начнешь теперь разводить психологию. А психология

— чушь.

— Это я без тебя знаю. Мне пора двигаться, Перегрин.

— Не уходи. Я тебе расскажу любимый анекдот Фрейда, дай бог памяти. Вот. Король встречает своего двойника и спрашивает: «Ваша мать работала во дворце?», а двойник отвечает: «Не мать, а отец». Ха-ха-ха, здорово, верно?

— Мне пора.

— Чарльз, ты не понял, в чем соль. Слушай. Король встречает этого типа, который на него как две капли воды похож, и спрашивает…

— Я понял, в чем соль.

— Чарльз, ради бога, не уходи, есть еще бутылка. «Не мать, а отец».

— Право же, мне пора.

— Ну ясно, хочешь удрать, как раз когда сознавать стало не так нестерпимо и забрезжил свет понимания. Мне еще столько нужно было тебе сказать. Ну да ладно, катись. Я, скорей всего, навещу тебя в твоем приморском жилище. Приеду на Троицу, если погода будет приличная, и мы с тобой опять напьемся.

— До свидания, Перегрин. Грустно это, насчет Ирландии.

— А ты, я вижу, все-таки пьян. Катись к черто-

вой матери.

Выходя за дверь, я услышал, что он бормочет: «Такой чистенький, дьявол его возьми» — и голова его медленно склонилась на закапанную вином скатерть.

Закончив предыдущую запись и доведя таким образом мой роман-дневник до настоящего момента, я уложил чемодан и ушел из своей противной тесной лондонской квартирки, где у меня не хватило духу переставить хотя бы один стул или распаковать чашку. Я закусил (доел макароны с сыром) и прикинул, что до отъезда домой вечерним поездом у меня остается еще довольно большой, не сулящий никаких событий промежуток времени (я ошибался). Часть этого времени я решил провести в какой-нибудь картинной галерее. Я не очень-то разбираюсь в живописи, но она доставляет мне тихую радость, и я люблю атмосферу музеев (а вот атмосферу концертных залов терпеть не могу). Должен также сознаться, что я испытываю чисто эротическое наслаждение от картин, изображающих женщин. Сами живописцы его, несомненно, испытывали, так чем я хуже?

После некоторого колебания я решил пойти в галерею Уоллеса, где уже давно не бывал. Мой

отец, понимавший в живописи еще меньше, чем я, водил меня однажды туда еще ребенком, в один из наших редких наездов в Лондон, чтобы показать мне «Смеющегося кавалера» Франса Хальса, и место это прочно связалось для меня с памятью об отце. Думается, он любил этот музей потому, что там никогда не бывало людно и, кроме картин, было столько мебели, что он производил впечатление роскошного жилого дома. Особенно ему нравились бесчисленные часы с боем (он вообще любил часы), которые все, хоть и не совсем одновременно и на разные голоса, отбивали время. Когда я пришел, в музее почти не было публики, и я стал бродить по залам, как в тумане, глядя на картины и думая о Хартли. Все вокруг казалось не совсем реальным — результат похмелья, которому я сопротивлялся все утро. С хорошим вином плохо то, что оно очень крепкое, а разбавлять его водой на людях неудобно. У меня сильно болела голова, хоть я перед уходом принял таблетку аспирина. В глазах то и дело начинали мелькать черные точки и какой-то коричневый пух. Ноги были ватные и как-то странно соотносились с паркетом, будто я вдруг сильно вытянулся в вышину.

Потом мне стало казаться, что здесь собралось

много моих женщин, но только не Хартли. Она была как огромный пробел, бледное, почти бесплотное создание, и лицо ее висело где-то чуть выше моего поля зрения, как луна за облаком. Всегда я бросался к женщинам, как в убежище. А что и есть женщины, как не убежище? И порой мне казалось, что, укрывшись в объятиях женщины, можно спастись от любого ужаса. Да, они, то есть многие из них, были со мной безупречны, и все же… через какое-то время… ведь в убежище не остаешься на всю жизнь. Хартли — не то, она скиталась со мной вместе, никогда я не видел в ней тихую пристань. Она вошла в мое существо, она была во мне, составная часть меня, как нервы, как кровь. Но остальные — пока я ходил из зала в зал, скользя, моргая, в странном соотнесении с паркетом, — остальные все были тут: Лиззи кисти Терборха, Жанна — Николаса Мааса, Рита — Доменикино, Розина — Рубенса, восхитительный набросок Грёза — портрет Клемент, какой я впервые ее увидел… Красавица Клемент, дорогая моя, как ей не хотелось стареть! Был даже портрет моей матери кисти Рейнольдса, немного приукрашенный, но очень похожий. А я высматривал Хартли. Кой-кто мог бы ее написать — может быть, Кампен, или Мемлинг,

или Ван Эйк. Но ее не было. А потом часы стали бить четыре.

На нижнем этаже стучали молотками какие-то рабочие, огненные вспышки сливались с моей головной болью. Я поймал себя на том, что пытаюсь вспомнить что-то очень важное, связанное с той ночью, когда я лежал среди скал и видел над собой звездную россыпь, когда Вселенная словно вывернулась наизнанку, и еще тогда это мне что-то напомнило, но я не знал что. Только сейчас, когда я словно опять увидел этот бескрайний, медленно вращающийся купол, полный золотых звезд, сплошные звезды, а за ними еще звезды и еще, я наконец вспомнил, что мне тогда примерещилось: перебегающие световые пятна в кино «Одеон», куда мы в детстве ходили с Хартли!

Я находился в длинной боковой галерее, куда отец водил меня смотреть «Смеющегося кавалера», и свет казался чуть мутным, со сгустками, и вроде бы зернистым и коричневатым, хотя день был солнечный, а может быть, это сказывалась вчерашняя выпивка. Галерея была пуста. И тут я заметил нечто очень странное, некое разительное совпадение. Я стоял перед «Персеем и Андромедой» Тициана, любуясь прелестным обнаженным телом девушки, — как она, чуть ли

не танцуя, старается разорвать свои цепи, чуть ли не витает в воздухе, как и ее спаситель, — и вдруг заметил будто впервые, хотя видел эту картину много раз, страшную клыкастую пасть морского змея, на которого с высоты, головою вниз, налетает Персей. Змей был не совсем такой, как мое морское чудовище, но пасть очень похожа, и воспоминание о моей галлюцинации, или что бы это там ни было, внезапно наполнило меня таким страхом, какого я не испытывал с тех пор, как оно мне явилось. Я быстро отвернулся и оказался лицом к лицу с рембрандтовским портретом Титуса, висевшим как раз напротив. Титус, значит, тоже тут. Титус, и морское чудовище, и звезды, и как мы с Хартли сидели в кино, держась за руки, сорок с лишним лет назад.

Я пошел прочь по длинному залу, и с каждым моим шагом рабочие внизу стучали молотками все ритмичнее, звонче, быстрей, настойчивее — как те деревянные колотушки хёсиги, которые в японском театре нагнетают напряжение и предвещают трагический конец, я сам не раз использовал их в моих пьесах. Я все шел по бесконечной галерее, и похмелье мое переходило в какое-то обморочное состояние. Дойдя до двери, я остановился и обернулся. В дальнем конце

зала из другой двери появился какой-то человек и стоял, глядя на меня сквозь странно мутный коричневый воздух. Я почувствовал, что падаю, и оперся рукой о стену. Конечно же, я сразу узнал его. Это был мой кузен Джеймс.

— Ну что, полегче стало?

— Да, снадобье чудодейственное. Не иначе как старинное тибетское средство от перепоя.

Было пять часов, и я сидел в квартире Джеймса в Пимлико. Квартира Джеймса напоминает большой магазин восточных товаров, и посему я относился к ней пренебрежительно, пока не узнал, что Будды в островерхих шапках и пляшущие Шивы, которых я считал бронзовыми, по большей части золотые. Помню, Тоби Элсмир как-то сказал мне, что мой кузен — очень богатый человек. (Я часто дивился, как это мне не удалось разбогатеть.) Вероятно, он получил изрядное наследство от родителей, и Элсмир помог ему с помещением капитала. Теперь я знаю, что многое в квартире Джеймса представляет большую ценность, но коллекционер и знаток он, мне кажется, неважный. Он, видимо, не задумывался над тем, как рассортировать и разместить свои сокровища, они не столько размещены, сколько свалены в кучу, так что изящнейшие

произведения искусства соседствуют с грошовой продукцией восточных базаров. Сентиментальные ассоциации? Непрактичность? Отчаяние?

Место действия таково, что требует не описания, а, скорее, перечня. Комнаты Джеймса набиты предметами, которые я не могу назвать иначе как фетишами (хотя он, вероятно, не одобрил бы этого слова): камни причудливой формы, палки, раковины, к которым привязаны или приклеены (кем, для чего?) другие предметы, например перья; неровные куски дерева с грубо вырезанными на них лицами, огромные зубы и даже кости, испещренные диковинными значками (надписи?). Стены скрыты либо книгами, либо вышивками, или, вернее, ярко-синими тканями, на которых укреплены всякие устрашающие маски. Всевозможные бусы (четки?) лежат, смотанные, в вазах или висят перед свитками, или таблицами мандала[28], или снимками какого-то места с экзотическим названием Кумбул. Имеются также во множестве прелестные соблазнительные фигурки животных из нефрита, которые меня так и подмывало стянуть,

[28] Примечания: 28

Мандала — у буддистов символическое изображение Вселенной, сложный чертеж, заключенный в круг. Считается подспорьем при религиозно-философских размышлениях.

и тарелки и миски неповторимого китайского серо-зеленого цвета, в которых, если стереть с них пыль носовым платком, под толстым слоем глазури можно различить лотосы и хризантемы. На маленьких лакированных столиках, должно быть алтарях, располагаются те самые Будды, молитвенные колеса и еще крошечные пагоды и ящички с башенками, частью изукрашенные кораллами, бирюзой и другими полудрагоценными камнями. А высоко на кронштейне красуется затейливая деревянная шкатулка в виде пагоды — в таких, если верить Джеймсу, ламы держат в плену демонов. (Когда я спросил Джеймса, сидит ли демон и в его шкатулке, он только посмеялся.) Сверкают самоцветами также ножны и рукоятки кинжалов, у одного из них (он обычно лежит у Джеймса на письменном столе) рукоятка длинная, изогнутая, золотая. Один раз, помню, я видел его на постели Джеймса. Порой мне думается, что в моем кузене есть что-то ребяческое.

В квартире стоит своеобразный сладковатый запах, я думаю, что это восточные благовония, но, когда спросил Джеймса, он сказал «мыши» — наверно, пошутил. По временам здесь что-то тихонько звенит, очевидно стеклянные украшения, которые свешиваются с потолка по углам длин-

ного полутемного холла. Эти звуки напомнили мне постукивание моей занавески в Шрафф-Энде; и мне стало неуютно, когда я представил себе, как мой «забавный дом» стоит безмолвный и пустой (надо надеяться), только эта занавеска слегка колышется на сквозняке. Квартира Джеймса находится на одной из длинных, спускающихся к реке улиц Пимлико, которые долго выглядели такими запущенными, а теперь обновляются. Квартира большая, но очень темная, потому что повсюду наставлены раскрашенные в темные тона ширмы и потому что Джеймс даже днем не до конца раздвигает занавески на окнах и в каждой комнате зажигает только по одной лампе. Я отчасти потому и оценил его богатства далеко не сразу, что не хватало света, чтобы их разглядеть. И книг у него, конечно, уйма, про многие я даже не могу сказать, на каком они языке. Квартира эта уже много лет служит Джеймсу его лондонской базой, а так как он столько времени проводит за границей, пожалуй, и неудивительно, что она похожа на битком набитый склад.

Мы пили чай из маленьких, до прозрачности тонких фаянсовых пиал и ели печенье с кремом — помню, Джеймс обожал его в детстве. Я мальчишкой ел все, что давали, а Джеймс — тот всегда

был гурман и привереда. Он, разумеется, вегетарианец, но удивительно то, что вегетарианцем он стал с детства, и притом по собственному почину. Сейчас он открыл окно (в комнате было душно и пахло «мышами») и выпустил муху, пойманную в накрытый листом бумаги стакан, который, надо полагать, держит под рукой для этой цели. Он закрыл окно. Я чихнул. Где-то вдали прозвенел колокольчик. Я сидел и думал, долго ли Джеймс наблюдал за мной в картинной галерее до того, как я его заметил, и почему он вообще там оказался именно в этот день и в этот час.

Попробую теперь еще раз описать внешность моего кузена. Лицо его кажется темным, хотя он, в сущности, не смуглый. Бриться ему приходится два раза в день. Иногда его щеки выглядят просто грязными. Волосы — еще довольно густая неопрятная оборка вокруг небольшой плеши — темно-каштановые, как у тети Эстеллы, только сухие и тусклые, а у нее были блестящие. Глаза мутно-карие, какого-то трудноопределимого оттенка, который к тому же меняется: то они почти черные, то темно-желтые. У него тонкий нос с горбинкой и тонкие, умного вида губы. Лицо его не запоминается, я не хочу этим сказать, что оно скучное, напротив, оно даже очень выразитель-

ное, но, когда я пытаюсь представить его себе, перед глазами возникают только отдельные черты, а целого не получается. Может быть, в этом лице и нет цельности. Оно словно занавешено легким облаком, и, может быть, этим объясняется мое представление о нем как о темном или грязном. В то же время, когда он улыбается своей дурацкой мальчишеской улыбкой, лицо это выглядит просто глупым. В его «мутном» взгляде нет никакого подвоха и, уж конечно, ничего зловещего, просто замкнутость. Сейчас, глядя, как он, чуть улыбаясь, выпускал в окно муху, я в который раз подивился, что же все-таки придает ему сходство с тетей Эстеллой. Разве что какой-то оттенок выражения, какая-то сосредоточенность, в основе которой у тети Эстеллы была радость, а у Джеймса нечто совсем другое.

— Так что дом твой стоит совсем один, у самого моря, на скалах?

— Да.

— Это хорошо, очень хорошо.

Мутные глаза Джеймса расширились, на мгновение стали пустыми, словно он унесся куда-то далеко. Эти короткие выключения тоже характерны для него. Одно время я подозревал, что он принимает наркотики (многие, кто живал на

Востоке, к ним пристрастились), но, возможно, ему попросту становится скучно. Как же меня мучила в юности мысль, что Джеймсу, может быть, со мной скучно!

— Но неужели ты не тоскуешь по сутолоке театра? Никаких хобби у тебя, сколько я помню, не было. Чем ты заполняешь время? Красишь свой дом? Говорят, многие, удалившись на покой, этим занимаются.

В разговорах со мной Джеймс, скорей всего бессознательно, возвращался порой к тому слегка покровительственному, наставническому тону, который так бесил меня в юности, тем более что Джеймс моложе меня. Употребив заезженное выражение «сутолока театра» и приравняв меня к людям, «удалившимся на покой», он как бы одним росчерком пера обесценил все мои занятия и в прошлом, и в настоящем. А впрочем, я, возможно, все еще реагировал на него слишком болезненно.

— Я пишу мемуары.

— Театральные сплетни? Анекдоты про актрис?

— Ничего подобного. Я задумал копнуть глубоко, чтоб был настоящий анализ, настоящая автобиография.

— Это нелегко.

— Знаю, что нелегко.

— Мы создания непонятные, обращенные внутрь. Эта обращенность внутрь и есть в нас самое поразительное, более поразительное, чем наше сознание. Но мы не можем просто войти в пещеру и оглядеться. Почти все, что мы, как нам кажется, знаем о своем сознании, — это знание неподлинное. Мы все такие безнадежные позеры, так наловчились делать упор на воображаемые ценности. Герои Троянской войны, как их изобразил Стесихор, сражались за призрак Елены. Ненужные войны за призрачные ценности. Надеюсь, ты найдешь время поразмыслить о суете человеческой. Все так много лгут, даже мы, старики. Впрочем, это не страшно, если в этом присутствует искусство, ведь в искусстве есть своя правда. В наших представлениях о французских аристократах мы следуем за Прустом. Кому важно, какими они были на самом деле? Какое это вообще имеет значение?

— Я бы сказал, самое простое и очевидное, но я-то не философ. По-моему, это имеет значение еще и для историка, и даже для критика. И твое «мы, старики» мне не понравилось. Говори за себя.

— Разве имеет значение, что на самом деле

случилось с Лоренсом в Дераа? Даже зуб собаки излучает свет для тех, кто ему искренне поклоняется. Предмет поклонения наделен силой, и в этом и состоит простой смысл онтологического доказательства. И ложь, при наличии искусства, способна просветить нас не меньше, чем истина. Да и что такое истина, какая истина? Сами мы, какими себя знаем, — подделки, фальшь, сплошные иллюзии. Можешь ты точно определить, что ты почувствовал, подумал, сделал? В судах мы вынуждены притворяться, что это возможно, но только удобства ради. Ну да ладно, это не суть важно. Надо мне у тебя побывать, посмотреть на твой дом и на твоих птиц. Олуши у вас там водятся?

— Я не знаю, какие они на вид.

Джеймс, потрясенный, умолк.

Постепенно ко мне подкрадывалось давнишнее знакомое ощущение, которое я, как ни странно, успел почти забыть, — ощущение разочарования и беспомощности, словно я надеялся много получить от разговора с Джеймсом, а меня умышленно не пустили на этот праздник души; словно что-то очень важное, что я хотел ему сказать, свяло у меня внутри, потеряло смысл под лазерным лучом его ума. Образ мыслей Джеймса, его

способность к абстрактному мышлению располагались в совсем иной плоскости, чем у меня, и порой мне казалось, что он забавляется, нарочно показывая мне, как невозможно между нами какое-либо общение. Но разумеется, тут не было никакого умысла, да и никакого праздника души, и моего кузена можно воспринять как нудного эксцентрического педанта, а его усталость и разочарованность — как весьма скучную материю. Ведь и у него были в жизни свои огорчения, и о самых серьезных из них я, конечно, никогда ничего не узнаю. А хотелось мне просто поболтать с Джеймсом по-дружески, но это не получалось, и, наверно, зря я воображал, что это вообще возможно. А ведь он — все, что осталось от моих родителей и от дяди Авеля и тети Эстеллы.

— Да, море, море, — продолжал Джеймс. — Ты знаешь, что по отцовской линии Платон произошел от Посейдона? У тебя там есть дельфины, тюлени?

— Тюлени, говорят, есть, я не видел.

Я опустил мою хрупкую пиалу на стол с такой силой, что тут же поднял ее снова — удостовериться, что она не треснула. Я впился руками в сиденье стула. Я только что сообразил, что испытанное мною в музее жуткое ощущение, от

которого Джеймс исцелил меня своим зельем, было вовсе не похмелье, а запоздалый рецидив галлюцинаций, вызванных ЛСД. Нечто похожее на это ощущение внезапно овладело мною вместе с воспоминанием о разверстой пасти Тицианова морского змея.

— В чем дело, Чарльз? Что-то с тобой творится неладное. В галерее ты был сам не свой, я долго за тобой наблюдал. В чем дело? Ты болен?

— Помнишь ты, чтобы я когда-нибудь упоминал о девушке по имени Мэри Хартли Смит?

Уж конечно, я не собирался говорить с Джеймсом о Хартли. Я и не помышлял о таких признаниях. А тут меня точно загнали в угол или околдовали, и рассеять чары я мог, только произнеся вслух ее имя.

Джеймс, уже опять со скучающим видом, протянул:

— Нет, что-то не припоминаю.

Я-то знал, что ни разу ни словом не обмолвился ему о Хартли.

— Так кто же она?

— Она была первой девушкой, которую я полюбил, и по-настоящему я, кажется, не любил больше никого. Она тоже меня любила. Мы вместе учились в школе. Потом она вышла замуж

за другого и исчезла. Я не переставал думать о ней и тосковать по ней, поэтому и не женился. Так вот, я опять ее встретил, она живет там, у моря, живет в соседней деревушке, с мужем, я ее видел, говорил с ней. Это уму непостижимо, и вся моя старая любовь жива, протянулась от самого начала моей жизни.

— Ну, это еще ничего, — сказал Джеймс. — Я уж думал, не заболеваешь ли ты гриппом, мне сейчас очень не хотелось бы его подхватить.

— Я познакомился с ее мужем, ничтожество, грубый, невежественный человечишко… но она… она так мне обрадовалась, она до сих пор меня любит… это знамение свыше, новое начало…

— А он все тот же?

— То есть как… ну да, да, все тот же.

— Дети у них есть?

— Сын, лет восемнадцати, приемный, но он сбежал, они не знают, где он, он исчез…

— Исчез, какое это, должно быть, для них горе.

— Да, но Хартли… конечно, она изменилась, а вместе с тем и не изменилась… понимаешь, какая это была удача — вот так снова встретить ее, это перст судьбы. У нее была такая несчастливая жизнь, можно подумать, что она молилась обо мне, и вот я явился.

— И теперь?..

— Теперь я ее вызволю и дам ей счастье на то время, что у нас еще осталось.

Да, это казалось совсем просто, и на меньшее я не намерен был соглашаться. Я откинулся на стуле.

— Чаю еще хочешь?

— Нет, спасибо. Я бы сейчас глотнул чего-нибудь. Сухого хереса.

Джеймс стал рыться в буфете. Он налил мне вина. Казалось, он не спешит высказаться по поводу моего потрясающего сообщения, словно уже забыл о нем. Он как ни в чем не бывало продолжал пить чай.

— Ну вот, — сказал я после паузы. — Обо мне хватит. Расскажи мне о себе, Джеймс, как тобой распорядилась армия, отбываешь в Гонконг или еще куда?

Я решил платить ему той же монетой.

— Я понимаю, — сказал Джеймс, — ты хочешь от меня что-то услышать, но я просто не знаю, что сказать. Я не знаю, что это значит. Такая неожиданная встреча со старой любовью… Не знаю, как к этому отнестись. Есть у меня разные соображения…

— Скажи какие.

— Во-первых, ты, возможно, обманываешь себя, воображая, что действительно всю жизнь любил эту женщину. Чем ты это докажешь? Да и что такое любовь? Любовь населяет те горы, куда уходят умирать праведники, — это несомненно, но твоя идея столь долгой любви к кому-то, кого ты потерял из виду так давно, не кажется мне состоятельной. Возможно, ты это только теперь придумал. Другое дело, конечно, к чему это, в свою очередь, может привести. А во-вторых, мне кажется, что твоя идея насчет того, чтобы ее вызволить, — чистейшая фантазия, фикция. Я не допускаю, чтобы это у тебя было всерьез. Что ты знаешь о ее браке? Ты говоришь, она несчастна. А многие ли счастливы? Долгий брак, пусть и не идеальный, сближает людей, и эти прочные союзы следует уважать. Пусть ты невысокого мнения о ее муже, но ей он, возможно, подходит, хотя встреча с тобой и не оставила ее равнодушной. Она сама просила тебя о помощи?

— Нет, но…

— А как на тебя смотрит муж?

— Он намекнул мне, чтоб не совался.

— Так мой тебе совет — не суйся.

Не скажу, чтобы меня очень удивила позиция Джеймса, его нежелание заинтересоваться моей

ситуацией. Я и раньше замечал, что он не любит обсуждать вопросы брака. Эта тема приводила его в замешательство, а может, и в уныние.

Я сказал:

— Слышу голос рассудка.

— Голос инстинкта. Я чувствую, что все это может кончиться печально. Лучше поостыть. Не следует подходить слишком близко к тому, в чем угадываешь чужие страдания.

— Спасибо за совет, кузен. А теперь расскажи о себе.

— Смотри не опоздай на поезд. Впрочем, можно заказать такси по телефону. У вокзала Виктория есть вполне надежная стоянка. Его как зовут?

— Кого, мужа?

— Нет, я о пропавшем мальчике, о сыне.

— Титус.

— Титус, — повторил Джеймс задумчиво и продолжал: — А они его искали? Заявляли в полицию, ну, вообще, принимали какие-нибудь меры?

— Не знаю.

— Он сбежал давно? Они хоть догадываются, где он может быть? Он им писал?

— Не знаю, не знаю…

— Как им, должно быть, тяжело…

— Да, несомненно. Но давай забудем о моих бреднях. Какие у тебя планы, что нового в армии?

— В армии?.. С армией я расстался.

— Расстался с армией? — Я удивился, растерялся, словно армия в свое время каким-то образом обезвредила Джеймса и держала его в рамках или служила ему безобидным времяпрепровождением. Словом, я, очевидно, всегда чувствовал, что, пока он военный, нам не угрожают ни столкновения, ни соперничество. А вот теперь… — О, понятно, ты подал в отставку, надо думать, ушел с почетом, с наградами и все прочее. Оба мы с тобой отставные генералы.

— Не то чтобы подал в отставку, нет.

— Ты имеешь в виду…

— Скажем так: я навлек на себя немилость начальства.

Я отставил стакан и выпрямился. Теперь я был не на шутку поражен и расстроен.

— Нет, Джеймс, не может этого быть… ты… я хочу сказать…

Домыслы, притом не такие уж фантастические, относительно того, чем мой кузен мог навлечь на себя немилость начальства, закружились у меня в мозгу, и я онемел.

Я взглянул на помрачневшее лицо Джеймса. Он сидел спиной к свету лампы. Вечер за полузадернутой шторой был еще сверкающе-голубой. Джеймс чуть заметно улыбался, как тогда, когда выпускал муху, и тут я заметил, что он смотрит на другую муху, которая опустилась ему на палец. Муха мыла передние лапки, потом энергично провела ими по голове сзади наперед. Потом перестала умываться. Джеймс и муха поглядели друг на друга.

— Это все не страшно, — сказал Джеймс. Он пошевелил пальцем, и муха улетела. — Так или иначе, мою военную карьеру я уже завершил, и неплохо, а чем заняться — найду.

— Можешь покрасить свой дом.

Джеймс засмеялся.

— Хочешь, покажу тебе снимок олуши? Ну хорошо, в другой раз. Жаль, что тебя не будет здесь завтра, поехали бы на стадион, там международные крикетные состязания интересно проходят. Ну, давай вызову тебе такси. Да прихвати печенья, я знаю, ты любишь этот сорт, тетя Мэриан всегда совала его мне потихоньку в карман, когда я от вас уходил.

Джеймс вызвал такси, а потом я спросил его:

— Кто был этот старик, которого я у тебя видел

в прошлый раз?

Я вдруг вспомнил, а до этого успел начисто забыть, как в прошлый мой визит к Джеймсу, перед самым уходом, я увидел, что в соседней комнате, за полуоткрытой дверью, неподвижно сидит на стуле какой-то восточный старичок с жидкой бородкой.

Джеймс как будто слегка удивился.

— Ах, этот… да так, ничего особенного… он, к счастью, уехал. А вот и твой таксист звонит. Надеюсь, в поезде тебя накормят приличным обедом.

— Дорогой мой Чарльз, — сказала Розина, — я знаю, ты чудак, каких мало, но не может быть, чтобы тебе понадобилась восьмидесятилетняя старуха с усами и с бородой.

Дело было на следующий день. Накануне я добрался домой очень поздно. Такси, как и было условлено, ждало меня на станции, но ехали мы медленно из-за густого тумана. В поезде обедом не кормили из-за какой-то забастовки, так что пришлось мне обойтись печеньем с кремом, и от мысли, что некогда моя мать совала его Джеймсу в карман, мне стало досадно и грустно. Дома я поел хлеба с чеддером (масло прогоркло). Постель была волглая, но я разыскал грелку, да и усталость меня сморила. Проснулся я поздно, весь

окоченелый, и, когда поднялся, у меня застучали зубы. Легко представить себе, как меня страшило то, что я задумал в этот день совершить.

Я надел на себя все, что у меня было самого теплого, включая толстый шерстяной ирландский свитер, подарок бедной Дорис, но и тогда не мог унять дрожь. Может быть, Джеймс не ошибся и это все-таки грипп? Густой золотисто-коричневый туман все еще скрывал землю и море и таил в себе грозную непроницаемую тишину. Море, там, где я смог его разглядеть, когда вышел из дому, ластилось к скалам, гладкое и маслянистое. Я поеживался от влажного, знойного воздуха, хотя по градусам было, вероятно, не очень холодно. Рубашка, которую я оставил сушиться на лужайке, промокла насквозь. Зато в доме действительно стоял могильный холод и появился новый запах — плесени, а по оконным стеклам бежали струйки воды. Я попробовал, но безуспешно, разжечь новый керосиновый обогреватель, купленный в «Магазине для рыбаков». Потом вскипятил чайник, заварил чай и только что стал чувствовать себя получше, как услышал в конце дамбы гудки автомобиля. Сразу догадавшись, что это Розина, я так разозлился, что готов был выскочить из дому и наорать на нее. Подумал было спрятаться, но

мне как раз захотелось есть, и я не видел причин подвергать мой дом вторжению, которое могло и затянуться. И тогда, в порядке разумной самозащиты, я решил попросту рассказать ей все как есть. Да, это будет правильный ход.

Мы сидели на кухне, у зажженной газовой плиты, и ели курагу и чеддер. (Когда ешь курагу с печеньем, ее следует предварительно вымочить и подогреть, а с сыром она идет сухая.) Я пил чай, Розина потребовала коньяку. Туман сгустился так, что казалось — задернуты занавески, и я зажег две свечи, но их бледные язычки не в силах были разогнать мутный коричневый полумрак. «Освещение волнительное», как выразилась Розина. Я решил рассказать ей некую версию истории про себя и Хартли, потому что в теперешнем своем настроении, при теперешних своих рискованных планах не мог и подумать о том, чтобы лгать, изворачиваться, а может быть, и оказаться втянутым в небезопасный скандал. Честно говоря, ненависть Розины внушала мне прямо-таки суеверный страх. Хотелось на время нейтрализовать эту женщину, чтобы хоть она мне не докучала. Сейчас мне предстояли другие опасности и другие решения, а реакцию Розины на мою исповедь я предчувствовал интуитивно

и оказался прав.

Она начала военные действия с заявления (которого я ожидал), что ни на минуту не поверила, будто я действительно порвал с Лиззи, и не поверила, что я останусь в Лондоне надолго, и правильно сделала, что не поверила, а если я воображаю, что могу так легко от нее отделаться… Я перебил ее и рассказал — вкратце и с купюрами — про свой «первый роман». Как удобны эти штампованные выражения, как утешают они наболевшую душу и как вводят в заблуждение, как много скрывают! Вот и я, на пороге решающего шага, измученный любовью, страхом и только еще разгорающейся ревностью, рассказывал Розине про свой «первый роман» в легких, даже юмористических тонах и таким образом, говоря правду, обманывал ее. Розина проявила хладнокровие, интерес, чувство юмора, понимание. Она слушала совсем не так, как Джеймс, гораздо лучше. Я даже испытал некоторое облегчение, рассказывая мою отредактированную повесть этой женщине, умной и, как оказалось, способной посочувствовать. С самого начала, через считаные секунды (так быстро работает наше сознание) после того, как раздались невыносимо нахальные гудки красного автомобильчика, я

почувствовал, что «проблему Хартли» Розина воспримет совсем по-иному, чем «проблему Лиззи».

У ревности (а ревность — одна из главных тем моей книги) есть интересное свойство: хотя во многих отношениях чувство это не только неодолимое, но и совершенно иррациональное, в нем все же можно усмотреть разумное начало там, где дело касается приоритета во времени. С Лиззи я сошелся после того, как узнал и оценил Розину, и у Розины сложилось твердое (хоть и ошибочное) представление, что Лиззи меня «увела». К тому же Лиззи и теперь еще привлекательная женщина. Такие соображения складываются в классическую картину и вызывают типичную реакцию. А Хартли как героиня «первого романа» — совсем иное дело, и тут природный ум Розины мог проявиться без помехи. Хартли — это мое далекое прошлое, Хартли старая (то есть моего возраста), Хартли непривлекательная, незаметная и (что немаловажно) мужняя жена. Эти данные проворная Розина не замедлила усвоить и собрать воедино — мне так и виделось, как за ее поблескивающими косыми глазами работает компьютер. Розина взвесила мои шансы и оценила их невысоко. Подобно Джеймсу, она сочла, что все это кончится печально, и мой правдивый рассказ

незаметно утверждал ее в этом мнении.

Скоро стало ясно, что Розина ни с какой точки зрения не может рассматривать Хартли как серьезную соперницу, а следовательно, способна пожалеть ее — не злорадно, а объективно и даже участливо. Главным для Розины было то, что я, встретив Хартли, утерял всякий интерес к Лиззи. А значит, когда этот дурацкий эпизод закончится крушением… умная, сострадательная Розина будет наготове, чтобы подобрать обломки. Розина, конечно, уловила, что говорить с ней доставляет мне облегчение, что я благодарен ей за живой, разумный отклик; и в эти минуты я действительно был ею доволен. И конечно, я рассказал ей не все, а главное — умолчал о своих ближайших планах. Я ощущал себя таким хитроумным Макиавелли, что даже не чувствовал, что совершаю предательство, обсуждая Хартли с опасной, острой на язык Розиной. Я «направлял» Розину, а там, где это было мне нужно, собственный изобретательный ум вводил ее в заблуждение.

Интересно, что Розина отлично помнила тот вечер, когда ее фары высветили Хартли, пригвожденную к скале.

— Я уж испугалась, что сейчас раздавлю эту старушенцию как козявку. Полно, Чарльз, она и есть

старушенция, этого ты не станешь отрицать.

— Любовь такими категориями не мыслит. Пусть любовь слепа, как летучая мышь…

— У летучих мышей есть радиолокатор. А вот твой, как видно, вышел из строя.

— Да не прикидывайся ты глупенькой. Кто угодно может полюбить кого угодно. Возьми хоть Перри и его дядю Перегрина.

— Кого-кого?

— Не важно.

— Я знала, что ты врал, в тот раз, когда везла тебя в Лондон. Актер ты никудышный. Не понимаю, как ты вообще пошел работать в театр. Я знала, что мысли у тебя чем-то заняты, но думала, что это все Лиззи.

— К Лиззи я так никогда не относился.

— Ну смотри, а то я этой Лиззи…

— Да нет же! Неужели я тебя не убедил? Эту женщину я люблю.

Я люблю ее так, думал я, как будто все эти годы был на ней женат и на моих глазах она постепенно старела и теряла свою красоту.

— Брось, милый, этого просто не может быть. Тебе явно повредило внезапное переселение к морю и этот жуткий бессмысленный дом. Такого противного дома я, кажется, еще не видела.

Немудрено, что тебя посещают болезненные фантазии.

— Какие фантазии?

— Я помню, ты что-то говорил о своей первой любви, но такие вещи — вымысел, игра воображения. Ты еще не оправился от шока. Подожди недельки две, все пройдет. И брак у нее по всем правилам, и сын, и, боже мой, Чарльз, она самая заурядная женщина, нельзя же так накидываться на заурядную женщину только потому, что она нравилась тебе в школе, это чушь, и она не поймет. Да и не выйдет у тебя ничего, ты не всемогущ, уж в реальной-то жизни во всяком случае! Только впутаешься в неприятную историю, во всякие дрязги, а ведь ты их терпеть не можешь. Ты потеряешь лицо. Подумай об этом! Настолько-то ты себя знаешь, можешь понять, какой это для тебя будет ужас. Тебе тут не отведено никакой роли, никаких эффектных реплик. Ты сам сказал, что она и говорить с тобой не хочет.

— Потому что боится, потому что слишком меня любит и еще не уверена, может ли поверить в мое чувство. А когда поверит, любовь сама толкнет ее ко мне.

И подумал: нужно дать ей знать, нужно ее убедить, что люблю ее безраздельно, нужно на-

писать ей длинное письмо и тайно передать, и когда она действительно поймет…

В своем серьезном, но несколько обобщенном рассказе я упомянул о Титусе, но почему-то не сказал, что он приемыш и что сбежал из дому. Может быть, я еще побаивался дать волю собственным мыслям о Титусе и о том, как он может повлиять на мои шансы. И не описал свой позорный *tête-à-tête* с Беном. Вот уж когда можно было бы пройтись насчет «потери лица»! Я только сказал, что Титуса не было дома и что у меня состоялись ни о чем еще не говорящие встречи с Хартли в деревне и вежливые беседы с ней и с ее мужем. Я не объяснил, сколько страха и опасности заключено в этой ситуации. К счастью, Розина так забавлялась, что не задавала лишних вопросов.

— Чарльз, будь человеком. Она робеет, стесняется, она, должно быть, показалась себе невероятно отсталой, посредственной и скучной, когда после такой своей жизни встретила тебя после твоей-то жизни. Она, наверно, стыдится своего скучного мужа, и ей обидно за него и хочется его защитить. Войди же в ее положение! А тебе, дорогой мой, она бы живо надоела, надоела до чертиков, и это она, бедняжка, понимает. Она на пенсии по старости, ей хочется отдохнуть, вытянуть ноги

и смотреть телевизор, а не пускаться в рискованные приключения. А представь себе, что ты ее уговорил уйти к тебе и она тебе надоела, — что ты тогда будешь делать с ней и с собой? Ты привык к женщинам интересным, плюющим на условности, ты уже давно старый холостяк, ты не выдержишь совместной жизни ни с кем, разве что с таким умным старым другом, как я. Не сможешь ты ужиться с новой женщиной, а для тебя она именно новая, несмотря на все твои трогательные воспоминания о пикниках и велосипедах. По-моему, тебе просто хочется увести ее от мужа, как когда-то меня. Я-то крепкая, но ты и мне доставил немало горя, и я не намерена тебе это спустить, тебе еще отольются мои слезы. Ты всю жизнь прожил в гедонистском раю и вел себя как негодяй, и тебе это сходило с рук, потому что ты всегда выбирал женщин, которые могут без тебя обойтись. И боже ты мой, ты был достаточно откровенен, не связывал себя никакими обязательствами, никогда не говорил, что любишь, даже когда любил! Холодная рыба с чистыми руками! Но если женщины выживали, так только по счастливой случайности. Ты как тот человек, что стрелял из пулемета в универмаге и только случайно не стал убийцей. Нет-нет, здесь не то,

ты должен отнестись с уважением к выбору этой женщины, к ее сыну, ее скучному старому мужу и уютному новому домику. Оставь ее в покое, Чарльз. Неудивительно, что она удирает со всех ног, чуть завидит тебя.

— Ты не понимаешь.

И как ей было понять? Многое из того, что она сказала, было разумно, разумнее даже, чем она сама думала. Единственное, чего она не учла, был абсолютный характер моего союза с Хартли и то, что оба мы, невзирая на поведение Хартли, были убеждены в нерушимости этого союза. Хартли не была «новой женщиной», она была самой давней, самой важной частью моей жизни. И не мог я объяснить Розине, как я устал от «интересных, плюющих на условности женщин» и как случилось, что для меня эта «старушенция» — самый близкий и дорогой человек, самое безгрешное создание в мире и самое привлекательное. Я отдал Хартли мою первую, мою единственную невинную любовь, до того как стать «гедонистом» и «холодной рыбой». Конечно, эти оскорбительные определения были подсказаны ревностью и злобой, но, если я и показал себя «негодяем», повинна в этом была Хартли! Ей я отдал на хранение мою невинность, и теперь чудо дало мне

возможность ее востребовать. А из этих мыслей рождалась жажда обладания. Я чувствовал нежность, жалость, неистовое желание лелеять Хартли, уберечь ее в дальнейшем от всякой боли и напастей, баловать ее, исполнять любую ее прихоть, дать ей счастье. Все то время, что было еще нам отпущено, я хотел утешать ее как бог. Но я также хотел, и притом все сильнее, так сильно, что этот огонь грозил выжечь всю нежность, владеть ею, обладать ее душой и телом.

С той самой минуты, как я узнал ее на шоссе, вожделение, едва зародившись, еще не осознанное, шевелилось и бродило во мне, мысли мешались с чувствами, потому что, пока я старался свести воедино ее молодость и ее старость, я так страстно желал возжелать ее. Достичь этого было последней проверкой, подвигом в ее честь. Теперь это свершилось; и моя любовь стала подобна реке, прорвавшейся к морю. Хартли вернула мне цельность, которую я утратил, когда она ушла от меня. Она воскресила меня, и я хотел сжать ее в объятиях, и подчинить ее себе, и делить с ней ложе jusgu'a là fin du monde[29]; и еще ошеломить, да, ошеломить ее смирение силой моей любви,

[29] Примечания: 29
До конца дней *(фр.)*.

но самому стать смиренным и предоставить ей в конечном счете утешить меня и вернуть мне мое «лучшее я». Ибо ей я вверил свою добродетель, и она хранила ее все эти годы. Она — моя альфа и омега. И это не иллюзия.

Теперь Розина поглядывала на меня, не скрывая усмешки. Я сидел, разбросав руки по столу, все еще не согревшись, несмотря на ирландский свитер, и на коньяк (к которому тоже приложился), и на тепло от газовой плиты — я ведь как раз перед появлением Розины собирался затопить камин в красной комнате. Розина сидела, задрав кверху одно колено, в широких синих брюках, закатанных поверх синих парусиновых сапог, и в полосатой, синей с красным рубашке, схваченной узким кожаным пояском. Вид у нее был ленивый, деловитый, пиратский, поразительно молодой. Ее темные косящие глаза поглядывали на меня с хищной веселостью. Густые жесткие темные волосы были сегодня зачесаны назад и накрепко стянуты лентой, что придавало ее лицу сухое, настороженное выражение. Пальто она сбросила — видно, совсем не озябла. Что же это творится, подумал я, ведь не холодно, ведь сейчас как-никак лето. Но меня по-прежнему знобило. И не глупо ли жечь свечи в одиннадцать часов

утра? Света они все равно как будто не давали, и я их задул. Возможно, туман немного рассеялся, хотя окно не посветлело. Розина только собралась мне ответить, как дверь кухни тихо отворилась и кто-то вошел. Вошла женщина, и на одно безумное мгновение мне почудилось, что это Хартли, живое воплощение моих мыслей. Но нет: это была Лиззи Шерер.

Увидев друг друга, обе женщины тихо вскрикнули, вернее, как-то сдавленно тявкнули. Розина быстро встала и заняла позицию позади своего стула. Лиззи, не спуская с нее глаз, шагнула ко мне и бросила сумку на стол, словно вызывая на бой. Я остался сидеть. На Лиззи был светло-коричневый плащ и очень длинный желтый индийский шарф, она его размотала и, аккуратно свернув, положила на стол рядом с сумкой. Она густо покраснела. (Я тоже.) Волосы ее были в мелких каплях воды. Возможно, на улице шел дождь.

Розина приподняла свой стул и швырнула его боком на каменные плиты пола. После чего сказала мне:

— Лжец и предатель!

Я спросил Лиззи:

— Дождь идет?

Лиззи ответила:

— Кажется, нет.

Я сказал:

— Розина как раз собралась уходить.

И тут же поспешно встал и перешел на другую сторону стола, так что алые когти Розины, метнувшиеся к моему лицу, успели только оцарапать мне шею. Лиззи отступила к двери. Я обратился через стол к разъяренной Розине:

— Я тебе не солгал. Никакой договоренности с Лиззи у меня не было. Я никак не ожидал ее увидеть. И она *не знает*.

— Она здесь живет? — спросила Лиззи.

— Нет! Здесь никто не живет, кроме меня. Она просто зашла ненадолго, люди же заходят друг к другу, ты вот зашла. Выпей чаю, коньяку, поешь кураги, сыру.

— Она не знает? — сказала Розина, сверля меня взглядом, но уже смягчаясь. — Так ты ей скажи. Или давай я скажу.

— Ты женишься на Розине? — спросила Лиззи, вся застыв, руки в карманах.

— Нет!

— Чарльз, можно сказать тебе два слова наедине?

— Нет, нельзя, — сказала Розина. — О черт, шла бы речь только о Лиззи и обо мне, мы бы могли с

ней подраться из-за тебя на кухонных ножах.

Я почувствовал новый приступ озноба и опять сел на стул.

— Что-то мне нездоровится.

— Можно сказать тебе два слова наедине?

— Нет, — сказала Розина. — Чарльз, я хочу слышать, как ты ей скажешь то, что сказал мне. Я хочу слышать…

— Гилберт с тобой? — спросил я Лиззи.

— Нет, я приехала одна. Ну ладно, если она не уйдет… — И Лиззи, игнорируя Розину, села за стол напротив меня. — Чарльз, я хотела поблагодарить тебя за твое милое, великодушное письмо…

— Скажи ей, скажи.

— Поблагодарить за твое милое, великодушное письмо. Ты очень добр к нам обоим.

— Мне ужасно жаль, что я тогда не смог у вас пообедать. Я…

— Очень добр к нам обоим. Но такое великодушие мне не нужно. Я была дура. Гилберт — это ерунда. Все ерунда, кроме того, что я твоя на любых условиях. Спорить тут не о чем, я твоя, и делай со мной что хочешь. Мне все равно, получится из этого что или нет, и как все сложится, и сколько продлится, то есть я, конечно, хочу, чтобы длилось вечно, но это на твое усмотрение. Я и

приехала, чтобы сказать тебе это, чтобы отдать тебе себя, если я тебе еще нужна, как ты говорил.

— До чего же умилительно! — сказала Розина. — А что ты ей говорил, Чарльз, хоть на этот вопрос ты можешь ответить правду?

Она схватила сумочку Лиззи, швырнула ее на пол и поддала ногой.

Лиззи словно и не видела. Взгляд ее был прикован ко мне, лицо пылало, губы были влажные, правдивые глаза сияли восторгом самопожертвования. Я был глубоко растроган.

— Лиззи, милая… милая моя девочка…

— Вы опоздали, Лиззи, — сказала Розина. — Чарльз надумал жениться на бородатой старухе, так ведь, Чарльз, верно я говорю? И мы как раз говорили о вас, и Чарльз сказал, что никогда вас не любил…

— Не говорил я этого! А с Лиззи я объяснюсь наверху. Ты за нами не ходи. Я скоро вернусь.

— Только попробуй не вернуться. Даю тебе пять минут. Если вы удерете в Лондон, я догоню вас и столкну в кювет.

— Вернусь, обещаю. И скажу ей, да. Пожалуйста, ничего здесь не круши. Пошли, Лиззи.

Лиззи взяла со стола свой шарф, подняла с пола сумку. На Розину она не смотрела. Я повел ее

вон из кухни, вверх по лестнице. На верхней площадке я приостановился. Занавеска из бус была неподвижна, мне не хотелось ее шевелить. Я ввел Лиззи во внутреннюю комнату и закрыл дверь. В комнате было темно, через окошко свет почти не проникал, то ли из-за тумана, то ли я не поднял шторы в гостиной. И было пусто — ведь я сам унес отсюда тот столик, что до сих пор лежит в расщелине между скал, куда я уронил его по дороге к башне. Остался только протертый ковер. И еще остался и почему-то стал особенно заметным и каким-то зловещим вычурный чугунный кронштейн для лампы высоко на стене. Ковер под шагами издавал запах сырости.

— Я так боюсь этой женщины. Чарльз, ты не связал себя с ней, нет?

— Нет, нет, нет. Просто она меня преследует. Лиззи…

— Я не знаю, про что она говорила, но это ерунда. Слушай, Чарльз, милый, я твоя и, наверно, сумасшедшая была, что сразу не сказала. Я тогда перепугалась как идиотка, мне показалось, я просто не вынесу еще одного разбитого сердца и что мне нужен покой, и вообразила, что смогу удержаться и не ринуться в прежнее безумие, но не вышло, и ринулась, и опять безумная. Я

жалела Гилберта и тянула время, чтобы придумать какой-нибудь компромисс, но компромисса быть не может. Мне все равно, что будет и чем кончится, умру от этого — тоже все равно. Мне не нужно от тебя самоотречения, щепетильности, великодушия. Ты мне нужен как повелитель и король, каким был всегда. Я тебя люблю, Чарльз, я твоя и до конца дней буду тебе повиноваться.

Мы стояли, глядя друг на друга и дрожа в этой узкой темной комнате-келье, под чугунным кронштейном.

— Лиззи, прости меня, это была ошибка. Лиззи, милая, не надо так, не можем мы быть вместе. Не могу я, как думал, схватить тебя и не выпустить, не могу я больше быть королем. Напрасно я тебе написал. Я тебя очень, очень люблю, но не так. То была пустая мечта, абстракция, как ты и сказала, ты права, ничего бы не вышло, надолго меня бы не хватило. Понимаешь, я встретил первую. Так что не могу я быть твоим, крошка Лиззи, а знал и любил очень давно, я тебе говорил про нее, самую первую. Так что не могу я быть твоим, крошка Лиззи, а ты не можешь быть моей. Ты возвращайся к Гилберту, пусть будет счастлив, пусть все остается как есть. Прошу тебя, поверь мне и прости. Это была ошибка.

— Ошибка, — повторила Лиззи, глядя вниз на свои блестящие черные туфли на высоких каблуках, намокшие от травы на дамбе. — Понятно.

Она подняла голову и посмотрела на меня, пунцовая нижняя губа дрожит, глаза туманные, грозные.

— Ты, наверно, помнишь, я как-то говорил тебе про ту девушку, так вот я ее снова встретил, она живет здесь, и я…

— Ну, тогда до свиданья.

— Лиззи, милая, не уходи так, мы останемся друзьями, ведь правда? Как ты просила в первом письме. Я буду навещать вас с Гилбертом…

— С Гилбертом я, наверно, не останусь. Не может все остаться как было. Мне очень жаль. Прощай.

— Лиззи, дай хоть мне руку.

Она послушно протянула мне ручку — маленькую, влажную, вялую, и я не решился притянуть ее к себе и обнять. Она отняла руку и стала рыться в сумке. Извлекла осколок зеркальца, которое разбилось от пинка Розины, и крошечный белый платочек. Как только платок оказался у нее в руке, она беззвучно заплакала.

Я смотрел на нее с умилением и грустью и в то же время как-то отчужденно и гордо, словно

передо мной вдруг мелькнула, исчезая вдали, вся жизнь, которую я мог бы прожить, если бы рядом со мной была Лиззи, мой Керубино, мой Ариэль, мой Пэк, мой сын; жизнь, которую мы могли бы прожить вместе, будь я другим и будь она другая. Теперь это кануло в небытие, как бы ни повернулось дело дальше, и весь мир изменился. Я повторил с какой-то грустной, мучительной отрадой:

— Нет, Лиззи, родная моя, храбрая моя крошка Лиззи, это невозможно. Я так благодарен тебе за твое… за твою…

— Смешно, — сказала Лиззи почти спокойно, сквозь беззвучные слезы. — Смешно. Как я ехала из Лондона, очень-очень долго, я взяла машину напрокат, Гилберту не сказала, и всю дорогу я вела с тобой удивительный любовный диалог, только очень уж долго я ехала, и вот все ближе, ближе, я уж думала, как ты удивишься мне и обрадуешься, и какое это будет счастье для нас обоих, и мы будем смеяться, смеяться без конца, как бывало, и представляла себе это, и была полна такой любви, такой радости, хоть и говорила себе, что все это может кончиться разбитым сердцем и на этот раз я уже не выживу, но я думала — все равно, как бы ни кончилось, сколько бы ни

пришлось страдать, лишь бы я была ему нужна и он меня обнял, и вот теперь все кончилось, не начавшись, я и вообразить не могла, что с первого шага все будет испорчено, сломано… и у меня не осталось ничего… только моя любовь к тебе… ты снова ее разбудил и отверг, а она проснулась… навсегда…

— Лиззи, она утихнет, уснет, она ведь засыпала.

Лиззи помотала головой, кусая платок.

— Лиззи, я тебе напишу.

Слезы ее высохли. Она убрала платок и осколок зеркальца и развернула желтый шарф.

— Нет, не пиши, пожалей меня. Смешно. Я тогда думала, что конец, а тогда не кончилось, кончилось теперь. Пожалуйста, не пиши мне, я не хочу… больше…

Она скомкала шарф и затолкала в карман. Потом круто повернулась и распахнула дверь, чуть не сбив с ног Розину. Розина отскочила, а Лиззи бросилась вниз по лестнице, хватаясь за перила, стуча высокими каблуками туфель. Я хотел бежать за ней, но Розина схватила меня за руку и, проявив недюжинную силу, уперлась сапогом в мою ногу. Мы отлетели к стене.

— Не держи ее.

Парадная дверь хлопнула.

Минуту я постоял, глядя на занавеску из бус, она колыхалась и постукивала. Потом медленно пошел вниз по лестнице. Розина за мной. Мы вошли в кухню и опять сели за стол.

— Не волнуйся, Чарльз, эта похотливая зверюшка не умрет от разбитого сердца.

Я промолчал.

— Теперь ты, надо полагать, жаждешь обсудить со мной бедную Лиззи?

— Нет.

— Бедный старый Чарльз, как бог ты больше не котируешься.

— Ну и отлично. Уйди, пожалуйста.

— Если ты когда-нибудь свяжешься с Лиззи Шерер, я вас обоих убью.

— Ох, Розина, перестань, это же глупо, это по́шло. Ты только уезжай поскорее. А впрочем, если ты возвращаешься в Лондон, дай Лиззи время отъехать подальше.

— Я не в Лондон. Я сейчас поеду в отель «Ворон» и сытно позавтракаю там одна. А потом в Манчестер, на съемки. Оставляю тебя наедине с твоими мыслями, и дай бог тебе от них осатанеть. В твои шашни с бородатой старухой я не стану вмешиваться при одном условии.

— А именно?

— Пообещай, что будешь держать меня в курсе.

— Ладно.

— Обещаешь?

— Да.

— Встань, Чарльз.

Я повиновался, как робот. Розина обошла вокруг стола, и я успел подумать, что сейчас она меня ударит. Она меня поцеловала.

— Ну, пока. Еще увидимся.

Парадная дверь снова хлопнула, а чуть позже я услышал прощальный вопль красного автомобильчика. Блеснула надежда — а вдруг Лиззи вернется? А потом мысль: какое счастье, что Лиззи не примчалась ко мне после моего первого письма.

Я пошел в красную комнату и попробовал затопить камин, но тщетно. Не хватило растопки. Слезы Лиззи и поцелуй Розины сильно меня растревожили. Я ругал себя за Лиззи, но без гнева, и думать о ней не хотелось. Мне нужно было ее сочувствие. Я уже раскаивался в своем пошлейшем разговоре с Розиной. Почему-то я решил, что это будет очень здорово — рассказать ей про Хартли, но теперь меня томили недобрые

предчувствия. Я сам дал ей в руки новое оружие. Потом я вспомнил Джеймса, лениво подумал — как это его угораздило? Гомосексуализм? Или в верхах решили, что держать на секретной службе свихнувшегося буддиста небезопасно? Шея у меня побаливала там, где к ней прикоснулись алые ноготки Розины. Я решил было смерить температуру, но не смог найти градусник.

Тумана теперь не было. Сумерки только что настигла тьма, и маленькая злая луна светила ярко, затмевая звезды, изливая на море металлический блеск и оживляя сушу призрачными застывшими очертаниями скал и деревьев. Небо было ясное, иссиня-черное, не освещенное луной, а лишь придающее силы ее свету. Земля и все предметы на ней были густо-коричневые. Тени были резкие, и все, мимо чего я проходил, молчало так грозно, что я то и дело нервно оглядывался. Тишина была бескрайняя, совсем не такая, как та, что утром таилась в тумане, — только изредка ухнет сова или залает вдалеке собака.

В деревню я не стал заходить. Я пошел по шоссе в сторону пристани, через ущелье, которое я окрестил «Хайберским проходом», где огромные желтые скалы, вторгшиеся в сушу, громоздились по склону горы и в них был вырублен узкий кори-

дор для дороги. В лунном свете скалы были почти черные, но обсыпаны сверкающими точками — это свет выхватывал крошечные грани кварца. Я миновал эту темную щель, миновал пристань и чуть подальше свернул в гору, по тропинке, которая поднималась опушкой леса и выводила на гудрон сразу же за коттеджами. Все это я проверил во время дневной рекогносцировки и тогда же наметил, как проникнуть в сад Фичей. Это было нетрудно: только ряд столбиков, соединенных провисшей проволокой, отделял нижний конец сада от длинного покатого луга, испещренного кустами утесника и выходами камня, который тянулся вдоль тропинки со стороны деревни. Был в задуманной мною экспедиции один серьезный изъян (помимо страшного риска, что меня обнаружат): к тому времени, когда я смогу пролезть в сад незамеченным, супруги, возможно, уже улягутся спать. Была, конечно, и другая возможность — что они будут смотреть телевизор в полном молчании.

Я очень не хотел шпионить за Хартли и Беном — не из моральных соображений, а потому, что при одной этой мысли мне делалось тошно от волнения и страха. Брак — дело до противности секретное. Тот, кто без спроса приподнимет эту

завесу, рискует самым непредвиденным образом навлечь на себя мщение божества. И возможно, что отныне и вовеки такого святотатца будет преследовать какая-нибудь, неожиданно открывшаяся ему, страшная картина, какой-нибудь непристойный кошмар. К тому же мне приходилось бороться с моим суеверным ужасом перед супружеской жизнью, этим невообразимым состоянием близости и взаимного рабства. Однако теперь эта опасная и неприглядная авантюра была мне навязана логикой самой ситуации. То был очередной шаг, попытка ответить на очередной вопрос. Мне необходимо было так или иначе выяснить, что же наконец представляет собой этот брак и чем эти двое являются друг для друга.

Луна, светившая с моря, отбрасывала тени деревянных столбиков на покатую лужайку сада. Трава была словно покрыта инеем. Я еще снизу увидел, что в гостиной полное освещение, хотя «окно с видом» и занавешено. Я переступил через провисшую проволоку и стал тихонько подниматься по лужайке к дому, прислушиваясь к своим почти не слышным шагам, прислушиваясь к своему прерывистому дыханию и к тяжкому до боли биению своего сердца. Днем прошел небольшой дождь, но земля после долгой полосы

сухой погоды была твердая, и я не боялся, что на ней останутся следы. Шагах в двадцати от дома я остановился. Окно было закрыто, только вверху приотворена фрамуга. Занавески были без подкладки, и на них, как витраж, светился рисунок — зеленые попугаи на лимонном дереве. Посредине окна между неплотно сдвинутыми занавесками оставалась узкая щель. Я двинулся дальше, потом прислушался. Из комнаты доносились голоса. Телевизор? Помня об опасной зоне перед щелью и чувствуя, что вот-вот низвергнусь в бездну, я наконец заставил себя осторожно и бесшумно дойти до самого окна, опуститься на колени, придержавшись за кирпичную стену, и сесть так, что голова моя пришлась чуть пониже подоконника. Росы я не предусмотрел, но, предвидя соприкосновение с кустами роз, надел плащ. До сих пор свет луны помогал мне различать и обходить клумбы, но у самого дома — то ли меня ослепило освещенное окно, то ли я ослеп от страха, только оказалось, что я сел прямо на розовый куст. Раздался слабый оглушительный треск, и крошечное острое копье впилось мне в икру. Я сидел скорчившись, замерев, притулившись к стене, широко раскрыв рот и глаза, внезапно увидев перед собой освещенное луною море и с

ужасом ожидая грозного оклика: «Кто здесь?»

Но голоса продолжали звучать, и теперь я слышал каждое слово. Как легко шпионить за людьми! То, что последовало, до того меня сразило, до того замутило мне рассудок, что я не буду и пытаться описать мои чувства. Я просто приведу диалог, как в пьесе. Кто что сказал, будет ясно и так.

— Но зачем он сюда-то явился?

— Я не знаю.

— Заладила одно: не знаю, не знаю — больше ты ничего не можешь сказать? Или в уме повредилась? Знаешь, не можешь не знать. Думаешь, я совсем уж идиот?

— Ты сам в это не веришь.

— Во что не верю?

— Не веришь в то, что говоришь.

— Это еще что значит, что это я такого сказал, во что, видите ли, не верю? Я, значит, вру?

— Ты говоришь, что я знала, но не можешь ты в это верить, это ненормально.

— Выходит, я либо враль, либо чокнутый, так, что ли?

— Нет, нет…

— Не пойму я тебя, несешь какую-то дичь. Зачем он сюда явился?

— Я не знаю, так вышло, это случайность.

— Ничего себе случайность. Ну ты и ловка, знала, чем меня пронять. Я иногда думаю, ты нарочно доводишь меня до белого каления, чтобы я…

— Милый мой, родной, милый Бинки, не надо так, прошу тебя… мне так жаль, так жаль…

— Опять ты свое — тебе, вишь, жаль, ты не знаешь. Расколоть бы тебе голову да поглядеть, что ты знаешь. Можешь ты наконец объяснить? Можешь признаться? Вон сколько это уже тянется, сказала бы толком, все бы легче стало.

— Нечего мне сказать!

— И ты думаешь, я этому поверю?

— Раньше ведь верил.

— Никогда не верил, только прикидывался. О черт, я хотел забыть, устал я от такой жизни, устал жить с твоими мечтами…

— Ни о чем я не мечтала.

— Ах ты, чертова…

— Я ни о чем не мечтала.

— Не ври и не смей на меня орать. Черт, сколько же ты мне врала! Так с самого начала и живу среди сплошного вранья. А тут еще мальчишка…

— Нет, нет!

— Да, тут я свалял дурака, но не мог я себе представить…

— Нет!

— Как подумаю, что есть же на свете счастливцы, у которых и жена, и семья как семья, и простая пристойная жизнь, и нормальная любовь, а у нас…

— И у нас была нормальная любовь…

— Было одно притворство, потому что мы оба устали, сил не хватало быть честными. Мы устали говорить друг другу правду о том, что заперты в клетке, хотелось хоть изредка отдохнуть, прикинуться, будто все хорошо, когда было плохо, и ломать эту чертову комедию, которую ты называешь браком. Не могли мы без конца калечить себя и друг друга этой мерзостной правдой. Так что теперь мы оба погрязли во лжи, она затянула нас, как вонючее болото, мы в ней тонем. И господи ты боже мой, я думал, может, станет лучше, если мы уедем, уедем к морю, у меня хоть будет свой сад, я думал… А теперь — здрасьте пожалуйста, он тут как тут. Вот комедия-то, а?

— Милый, ну перестань, тебе ведь здесь нравится… нравилось…

— И как у тебя язык поворачивается говорить мне об этом сейчас? Хочешь, чтоб я тебе в лицо плюнул? Мы прикидывались, что мы порядочные, тихие люди…

— Не больно-то ты прикидывался.

— Опять ты начинаешь?

— Ты сам начал.

— А ты полегче на поворотах. И еще чего я тебе не могу простить, так это что ты из меня сделала такого… сделала меня такой сволочью… о черт, ну почему мы не можем договориться? Если б ты мне хоть раз сказала правду. Я просто хочу знать, что к чему. Зачем этот человек приехал сюда, в эту деревню, не куда-нибудь, а именно сюда?

— Ты спрашиваешь все одно и то же. Я не знаю. Я его сюда не звала.

— Врешь. Сколько раз ты его видела?

— Только один раз, я тебе говорила.

— Врешь. Я сам видел тебя с ним два раза, а сколько еще раз вы встречались, одному богу ведомо. Врала бы хоть поумнее. И чтобы сюда приходил, это ты его подговорила.

— Неправда!

— Ну так больше ты его не увидишь.

— И не надо.

— Это все твое прошлое, прошлое, черт его дери, ничего у нас хорошего не было, все испорчено, это ты все испортила, ты и твой…

— Бинки, милый, родной, не надо…

— И не подлизывайся ко мне, хватит изде-

ваться.

— Ты хоть постарайся быть со мной подобрее, пожалеть меня, ну пожалуйста.

— Сама бы постаралась. О черт, до чего же это было жестоко…

— Не жестокая я, это ты с ума сошел, с ума сошел…

— Не кричи на меня, наслушался я крику, хватит. Всю жизнь кричала, а теперь скоро и умирать пора. По мне, уж поскорее бы. Ты этого, наверно, и добиваешься — чтобы меня хватил удар. Тогда ты сможешь сбежать со своим…

— Прости меня, прости, прости…

— Перестань, слушать тошно, повторяешь, как попугай. Ох, устал я. Все испорчено. Оно и не начиналось, а все из-за тебя. А потом еще этот гнусный обман, а я-то подумал…

— Не было никакого обмана!

— Замолчи. Ну да, это говорено-переговорено, точно мы заводные куклы, но думаю-то я об этом все время, надо же иногда и вслух сказать. Я и эту ложь проглотил, потому что ничего другого не оставалось, и очень уж мне хотелось хоть немножко счастья — ну, не счастья, на это я не надеялся, но хоть немножко покоя в моей разнесчастной жизни, хоть передышки. Так нет, ты

мне и передышки не дала…

— Неправда.

— Полегче, полегче. Я думал, у меня и выхода другого нет, как терпеть тебя с твоей ложью, совсем, видать, свихнулся, мне бы надо убраться к чертям и оставить тебя с твоим…

— Нет!

— Ты бы обрадовалась незнамо как. А теперь еще этот является, наглец бессовестный, и звонит в мою дверь. То-то ты небось веселилась, когда это подстроила.

— Не говори, чего сам не думаешь.

— А я это очень даже думаю. Я-то знаю, когда ты лжешь. Думаешь, меня так легко провести? Куда ты его письма спрятала, куда?

— Никаких писем у меня нет.

— Значит, уничтожила. Ох и хитра! Но ты послушай, что я тебе скажу.

— Ну, слушаю.

— Планчик твой не пройдет.

— Какой планчик?

— Ты хочешь, чтоб я сказал: «Ладно, катись на все четыре стороны», хочешь до того меня извести, чтоб я тебя отпустил. Верно я говорю?

— Нет.

— Не смотри на меня такими глазами, чтоб те-

бе… не то я… Ну так вот, ничего у тебя не выйдет, понятно? Я тебя не отпущу, никогда не отпущу, понятно? Останешься здесь и будешь обо мне заботиться, даже если мы друг другу больше ни единого слова не скажем, понятно? Даже если я тебя на цепь посажу…

— Прости меня, прости, не сердись. Не вынесу я этого, перестань сердиться, мне так больно, так страшно…

— Не реви. Хватит с меня твоих слез. Зачем он сюда явился, в чем тут дело, вот что я хочу знать. Черт, можешь ты наконец сказать мне правду? Сколько можно жить в этом кошмаре и притворяться, будто все хорошо? Весь этот дом, на который мы ухлопали столько трудов, и обстановка, и сад, и розы эти треклятые, все одно притворство, взял бы и порушил все к чертовой матери. Почему ты не можешь сказать мне правду? Зачем он сюда явился, что это значит?

— Ой, не надо, больно, ой, прости, мне так жаль, так жаль…

— Что это значит?!

— Ой, перестань, мне так жаль…

Я записал это, как запомнил, со всеми повторениями. Я не передал и пробовать не буду передать интонации — его злобный крик, ее жалобные

слезливые оправдания. Я этого никогда не забуду. Поистине соглядатай получил сведения, за которыми пришел!

Я хотел уйти гораздо раньше, но был парализован — и ужасом, и судорогой в ноге, потому что как уселся в неудобной позе, так с тех пор и не рискнул пошевелиться. Наконец я перекатился на бок и пополз прочь, вниз по мокрой подстриженной, серой от луны лужайке. Я с усилием встал, выбрался из сада и побежал вниз по тропинке, лицом к заходящей луне. Я бежал почти всю дорогу домой. А дома выпил виски, принял снотворное, лег и с маху погрузился в сон. Мне приснилось, что я нашел в Шрафф-Энде комнату, о которой раньше не подозревал, и в ней лежит мертвая женщина.

Наутро я был невменяем. Я бродил, чуть ли не бегал, вокруг дома, по лужайке, по скалам, по дамбе, к башне и обратно. Бегал, как остервенелое животное в клетке, когда оно, больно ударяясь о прутья, снова и снова выполняет те же беспомощные прыжки и повороты. Золотая утренняя дымка постепенно таяла, день обещал быть жарким. Я в изумлении смотрел на знакомые места, где привык купаться, на спокойное море, вкрадчиво плещущее о желтые скалы. Бегом вернулся

в кухню, но был не в силах даже вскипятить чай. Раз за разом я спрашивал себя вслух: «Что мне делать? Что же мне теперь делать?» И самое странное, что теперь, когда я получил полную, до краев, информацию, притом ту самую, какая была мне нужна, меня не покидало чувство горести, страха и какой-то тошноты.

Я понял далеко не весь разговор. Временами мне казалось, что я вообще ничего не понял, кроме того, что было до непристойности очевидно: эти ужасающие интонации и еще — что так уже бывало раньше, много-много раз. Раздирающие вопли двух душ, истерзанных виной и болью. Ад супружеской жизни. Я не мог, да и не пытался доискаться до смысла того, что было сказано. Ясно, что джентльмен (почему-то я мысленно стал называть его «джентльменом») недоволен моим появлением на сцене. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я тешил себя фантазиями, как поднимаюсь в Ниблетс и, схватив его за шиворот, едва он откроет дверь, даю ему в морду. Но толку от этого не будет. Да и едва ли он тот «скучный старый муж», которого придумала Розина. Пусть он и хромой, но с ним шутки плохи. Вполне возможно, что он опасный человек. Пусть он классический тип хулигана, который, как счи-

тается, мигом спасует, если его припугнуть, но те, кто собирается припугнуть хулигана, вправе усомниться, существует ли столь удобный тип в действительной жизни. Проверять это опытным путем нет смысла. Мне нужно просто увести Хартли и нужно подумать о том, как это сделать. А думать трудно.

Размышляя об этом раньше, я, как видно, исходил из предпосылки, что, как только я удостоверюсь (если такая минута настанет), что Хартли несчастлива в браке, мне уже не составит труда разрушить этот брак и разлучить их. Я не сомневался, что в данных обстоятельствах она захочет ко мне прийти, что прибежать наконец ко мне будет для нее радостным избавлением, исполнением давнишней мечты. Такая уверенность может показаться наивной, но не наивность ее меня теперь смущала. Просто я, когда пришло время действовать, никак не мог решить, какие же действия предпринять, а ведь важны были именно детали. Ниблетс, его розы, его отвратные новые ковры, бронзовые барельефы, жуткие занавески, звонок — все это не играло для меня роли, все было не более как туманной фантазией, по его выражению — притворством. Что играло роль, так это некая особенность самого этого

страшного разговора, некое понимание долгой вереницы прошедших лет, понимание прочности и фактуры клетки. И все-таки оставалась возможность, что стоит мне позвать Хартли, и она придет. А раз так, надо было решить, когда и как это сделать, а на пути к этому решению будто снова вставали все не до конца осознанные препятствия. Неужели же я попросту боялся Бена?

Часов в одиннадцать я перестал бегать и приготовил чай. Была одна мысль, которую я почерпнул из подслушанного разговора, но, хотя мысль была, я сначала не мог уточнить ее и сформулировать. А подсказал ее мне сам джентльмен, что-то вроде того, а вдруг он и правда ее прогонит, вдруг его можно до этого довести? Не разрешит ли это проблему клетки, которая так трудно поддавалась определению? Джентльмен сказал, что никогда ее не отпустит, но самое упоминание об этом показывает, что такая возможность есть. Пусть доведет себя до точки своим паршивым характером или паршивой ревностью — не знаю точно, из-за чего он так бесится. Уж конечно, дело не только в моем появлении — школьный товарищ, ставший знаменитостью, звонит в его дверь, — хотя и это, несомненно, его не обрадовало. Если как следует взвинтить его, если все там у

них полетит к черту и рассыплется прахом, тогда у нее не останется крыши над головой и не останется клетки, и она бегом прибежит прямо в мои объятия. Но с другой стороны, если довести его до точки, если мир его зашатается — что помешает ему изувечить ее, убить? От боли при этой мысли я и прыгал по скалам, как бешеный леопард. Ее вскрик в конце разговора: «Перестань, перестань, мне больно!» — сколько раз прозвучал он за все эти проклятые годы? Сил нет об этом думать. Я вскочил, расплескав чашку с чаем, и, громко что-то бормоча, снова выбежал из дому. Что мне делать? Столько всего теперь прояснилось, но я просто не мог обдумать, какой тактики держаться на последнем этапе. Я вообще не мог думать, а не мог потому, что не мог выкинуть из головы этот чудовищный разговор, он облепил меня, как густая, клейкая пена. Я должен спасти Хартли, теперь это слово «спасти» обрело наконец свой подлинный смысл. Но вот как?

А немного спустя Хартли словно сама пришла мне на помощь. Я увидел ее кроткое, бледное, несчастное лицо и ощутил нездешний покой, словно на меня повеяло ее присутствием. Я понял, что, прежде чем выступить в открытую, должен снова с ней поговорить, по возможности

даже не один раз. Первым моим побуждением было сейчас же пойти в этот отвратный коттедж и увести ее. (Возможно, этого в конце концов и не избежать.) Но конечно же, ее нужно подготовить. Если дело дойдет до увода, нельзя допустить никакой промашки, никакой ошибки. Столько всего произошло в моем сознании, о чем она и не догадывается. Нужно дать ей понять, какую роль во всем этом играю я сам. Сейчас ни к чему искать с ней новых свиданий в деревне — она будет так расстроена и испугана, что и слушать толком не сможет. Все самое главное нужно объяснить ей в письме. Ведь, по моим предположениям, она, еще не зная моих намерений, больше всего боится собственного сердца. Откуда ей знать, нет ли у меня любовных отношений с какой-нибудь другой женщиной. Она, несомненно, настрадалась от раскаяния и тайной скорби по старой любви, так неразумно отвергнутой. Однако теперь я прозревал и ее другие, более конкретные страхи, и во мне закипал расслабляющий тревожный гнев на ничтожного ревнивца, что сидит у окна с биноклем, поджидая ее возвращения домой. Скоро я пришел к выводу — и сразу ощутил от этого облегчение, — что нужно просто написать ей длинное письмо, потом дать ей время вникнуть

в него, откликнуться, и тогда уже… Понемногу оправляясь от смятения и страха, я с облегчением думал, что особой спешки нет, что сегодня мне не нужно подниматься к ее жилищу и решать, какой тактики держаться с ревнивым самодуром. Оставалось придумать, как передать ей письмо, но эта проблема не была неразрешимой, более того — кое-какие планы на этот счет у меня уже имелись.

Я закусил мясными консервами с красной капустой и маринованными орехами, доел остатки кураги и сыра. Ни хлеба, ни масла, ни молока в доме не было — утром я так бесновался, что и не вспомнил о покупках. Потом я отдохнул. Потом посидел над этим дневником, подгоняя его к сегодняшнему дню. Потом написал письмо Хартли, текст которого приведу немного ниже. Потом выстирал изрядную порцию белья и разложил сушить на солнце. Потом выкупался со ступеней у башни. Потом посидел возле башни, глядя, как предвечернее солнце разбрасывает густые черные тени позади круглых камней Вороновой бухты. Потом, увидев в отдалении каких-то туристов и вспомнив, что сижу голый, оделся и вернулся домой, прихватив по дороге высохшую стирку. А затем достал снимки Хартли, которые

привез из Лондона, уселся в свое каменное кресло возле каменного корытца и стал медленно перебирать их, внимательно разглядывая.

На некоторых карточках мы сняты вместе. Кто же нас снимал? Не помню. С пожелтевшей, загнувшейся по краям бумаги, из безгрешного мира, смотрели на меня ясные, еще не оформившиеся юные лица. То был неосквернённый мир — мир поистине простых и чистых радостей, счастливый мир, поскольку моя вера в нее была безгранична и поскольку мы в своем детском старомодном целомудрии еще не помышляли о физической близости. В этом мы, по-моему, были счастливее нынешних детей. Свет чистой любви и чистой романтики озарял наши дни, проведенные вместе, наши ночи, проведенные врозь. Я вовсе не идеализирую некую выдуманную Аркадию. Мы были невинными детьми в невинном мире, мы любили своих родителей и своих наставников и слушались их. Муки жизненного пути еще ждали нас впереди — страшные минуты выбора, неизбежные преступления. Мы были вольны любить.

Когда же наступило начало конца? Пожалуй, когда я сбежал в Лондон. Но и после этого наша любовь еще длилась. И я до последней минуты

все так же верил Хартли. Сколько времени, в какой мере она меня обманывала? Может быть, моя эгоистичная потребность в ней была так велика, что усомниться в утолении этой жажды мне не приходило в голову. И, вспоминая эту жажду, я подумал еще и о том, как надежно Хартли в те годы защищала меня от Джеймса. Сейчас мне показалось странным, что они, в сущности, ничего друг о друге не знали. С Хартли я почти не говорил о Джеймсе, а с Джеймсом о Хартли и подавно. Она и не знала, как стойко ее любовь защищала меня от крушения моей гордости и самолюбия.

Приведу теперь письмо к Хартли, которое я написал с твердым намерением как-нибудь да передать ей на следующий день.

> *Дорогая моя Хартли, родная моя, я тебя люблю и хочу, чтобы ты была со мной. Для этого я и пишу. Но сначала я должен кое-что сказать тебе, кое-что объяснить. Случайность, которая вернула мне тебя, ворвалась в мою жизнь как буря. Столько всего нужно сказать, чего ты не знаешь. Тебе могло показаться, что я теперь принадлежу к другому миру, к «широкому миру», о котором тебе*

ничего не известно, и что в этом мире у меня много друзей, много непонятных тебе отношений. Это не так. В каком-то смысле моя жизнь в театре представляется мне теперь сном, а прежние дни с тобой – единственной реальностью. У меня очень мало друзей и никаких «любовных уз», я один и свободен. Вот этого я и не сумел тебе толком объяснить во время наших встреч в деревне. Я сделал блестящую карьеру, но жизнь у меня была пустая. Вот к чему все свелось. О женитьбе я никогда и не думал, потому что знал: есть только одна женщина, на которой я хотел бы и мог бы жениться. Хартли, подумай об этом, поверь этому. Я тебя ждал, хотя не смел надеяться, что когда-нибудь еще тебя увижу. И вот теперь, спасаясь от мирской суеты, я бежал к морю и нашел тебя. И я люблю тебя, как любил всегда, старая моя любовь живет и трепещет каждым нервом, каждым побегом и стебельком. Конечно, я уже не молод, и в этом смысле это любовь другого человека, а все-таки это та же любовь. Она сохранилась неизменной,

она сопровождала меня всю жизнь, и вот, каким-то чудом, уцелела. О моя милая, сколько было дней и ночей, о которых ты не знала, когда, может быть, думала, что я далеко в моем «широком мире», а я сидел один в тоске и думал о тебе, вспоминал тебя, терзался вопросом, где ты. Как это может быть, чтобы люди исчезали и мы не знали, где они? Хартли, ты всегда была мне нужна, нужна и сейчас.

Я узнал – не спрашивай как, но узнал наверняка, что ты очень несчастлива в браке. Я знаю, что ты живешь с человеком деспотичным, может быть жестоким. Я все думаю, сколько же раз за прошедшие годы ты мечтала стать свободной, а потом, сломленная, отчаявшаяся, оставалась в плену, потому что уйти было некуда. Хартли, сейчас я предлагаю тебе мой дом, мое имя и преданность до гроба. Я все еще жду тебя, единственная моя любовь. Неужели ты не придешь ко мне, не останешься со мной на оставшиеся нам годы? Хартли, я мог бы дать тебе столько счастья! Я это знаю, но хочу сказать и другое. Если б я думал, что ты

счастлива и так, счастлива в браке, я бы и не вздумал докучать тебе признаниями в моей затянувшейся любви, я бы нес свою любовь молча, возможно, и скрывал бы ее, возможно, уехал бы. Я подозреваю – прости мне такую догадку, – что тебя не раз мучили сожаления, когда ты думала о том, какой «интересной жизнью» я живу и как безвозвратно ты меня потеряла. Но если б я думал, что, несмотря на это, ты хоть в какой-то мере довольна своей жизнью, хоть притерпелась, – я не стал бы вторгаться, посмотрел бы на тебя издали и отвернулся. Но зная, как глубоко ты несчастна, я не могу и не хочу пройти мимо. Разве при моей любви к тебе я могу допустить, чтобы ты и дальше так страдала? Хартли, ты придешь ко мне, ты не можешь не прийти туда, где должна бы была пройти вся твоя жизнь.

Не пугайся, не мучайся над тем, как отнестись к этому письму. Пока можешь даже не отвечать на него, я просто хотел тебе сказать о своей любви и готовности. Тебе самой решать, когда и как ты отзовешься. Я и не жду, что ты завтра же ко

мне прибежишь. Но когда все обдумаешь, когда свыкнешься с мыслью, что возвращаешься ко мне, именно возвращаешься, тогда, может быть, ты подумаешь и о том, как это осуществить. И тогда мы будем готовы поговорить и уж придумаем, как это устроить. Будем продвигаться не спеша, шаг за шагом. Когда ты подашь мне знак, что готова разрешить мне до конца дней о тебе заботиться, тогда я решу, что нам делать, и в любую минуту, по твоему желанию, возьму все на себя. Не бойся, моя Хартли, все будет хорошо, вот увидишь, все будет хорошо.

День, два или несколько дней, как захочешь, ты просто думай о том, что я тебе сказал. А потом, когда захочешь, напиши мне письмо и пошли по почте. Так будет лучше всего. Не терзайся, не бойся. Я найду способ связаться с тобой. Я буду любить тебя и лелеять и сделаю все, чтобы наконец-то дать тебе счастье.

Твой всегда, теперь, как и прежде, и во все эти годы верный

Чарльз.

P. S. Приди ко мне так или иначе, конечно, без всяких условий, позволь мне только помочь тебе, служить тебе, а ты уж сама решишь, где и как захочешь жить дальше.

Я написал это письмо быстро, страстно, без помарок. Перечитав его, чуть не поддался соблазну кое-что изменить, потому что местами оно звучало — ну, скажем, немного самовлюбленно, немного напыщенно, немного театрально, что ли. А потом решил — нет, это мой голос, пусть она его услышит. Едва ли, читая это письмо, она будет настроена критически. Если я стану улучшать его и отделывать, оно, чего доброго, покажется неискренним и потеряет свою силу. А что до эгоцентризма, то, конечно же, я эгоцентрик. И пусть она не сомневается, что я пекусь и о своих интересах, а не только о ней, из чистого альтруизма! Пусть знает, что может, обретя свободу, дать мне счастье.

Закончив письмо и решив, что оно сгодится, я вложил его в конверт и напечатал на машинке имя и адрес. На машинке я пишу плохо и текст письма написал от руки. Потом я посидел, подумал, разрешил себе минуту надежды, почти

радости. Потом, как уже сказано, пошел купаться. Море прохладно обняло мое теплое тело, обволокло меня своей прохладной чешуей. Поверхность воды чуть колыхалась, гладкая и блестящая, как яблочная кожура. Даже без веревки из занавесок, которую шаловливое море опять отвязало, я без труда выбрался на берег. Пишу я это уже на следующий день, а письмо к Хартли в толстом конверте все еще лежит в гостиной на столе у окна. С утра я сел за дневник. Скоро буду завтракать — доем мясные консервы с вареным репчатым луком. (Вареный лук — тоже яство для королей.) Красную капусту я доел вчера вечером, с яичницей, и выпил изрядную толику испанского белого вина (напрасно). После завтрака пойду за покупками, ужасно хочется фруктов, гренков с маслом, молока к чаю. Владелица лавки говорила, что на этой неделе будут, вероятно, вишни.

Почему я медлю, откладываю? Почему делаю вид, будто ничего не случилось и все идет по-прежнему? Меня все еще поддерживает сознание достигнутой цели, заработанной передышки. Я искал решающее доказательство и нашел. Я решил, что делать и как это сделать. Я поговорил с ней красноречиво, определенно, хотя мои слова еще не достигли ее. Они словно еще летят к ней

по воздуху, летят к ней в сердце. Или я медлю потому, что мне страшно? Передать ей письмо будет нелегко, допустить промашку непростительно, но не этого я боюсь. Чем скорее я вручу ей письмо, тем скорее узнаю ее ответ. Каков-то он будет? Если она скажет «нет» или не ответит, я, конечно, решу, что у нее от страха совсем опустились руки. Но как мне тогда быть и сколько времени ждать, прежде чем предпринять следующий шаг, и чем занять это время? Эта передышка не будет спокойной, лучше продлить теперешнюю. С тех пор как я подслушал тот разговор, я настолько теснее, настолько ужаснее связан с ними обоими. Я стал членом семьи, а отсюда ненависть, ревность, семейные демоны. И еще: что, если она только воспользуется мною, чтобы вырваться на свободу, а потом бросит меня? Можно ли это вообразить? Мог бы я потерять ее вторично, могла бы она исчезнуть? Я бы просто сошел с ума. Перечитав свое письмо, я счел нужным добавить постскриптум, мне показалось, что это будет честно. Но разумно ли? Может, лучше его зачеркнуть. Пусть лучше считает, что, убежав ко мне, сожгла свои корабли.

Я должен убедить себя, что эти соображения преждевременны и никчемны. Но я отлично

понимаю, почему сижу здесь, смотрю на письмо и пока еще не хочу доставить его по адресу.

Теперь я расскажу, что случилось дальше, а тут было много неожиданного. Медлил я после предыдущей записи всего лишь до вечера того же дня. Выжидательное спокойствие, описанное мною, внезапно сменилось неистовым желанием немедленно узнать свою судьбу, и я сразу же приступил к осуществлению моего плана. Я надел легкий плащ и старую шляпу с полями, сунул письмо в карман, не зачеркнув постскриптум, и повесил на шею бинокль, который Джеймс подарил мне для наблюдения за птицами, когда мы еще учились в школе. В нашем детстве так уж повелось, что Джеймс делал мне подарки, часто дорогостоящие, а я не дарил ему ничего. Вероятно, мои родители принимали это как неизбежный элемент покровительственного отношения богатых к бедным; и я лишь долго спустя сообразил, что на самом-то деле подарки были от дяди Авеля и тети Эстеллы. Бинокль был не особенно сильный, не сравнить с тем, в который Бен наблюдал за женой, но я решил, что и он сгодится.

Я пошел, как и в тот раз, верхней дорогой, через болото, в обход фермы Аморн и к дальнему концу деревни. Мне нужно было попасть в лес за тем лу-

гом, что граничит с садом Ниблетса. По военной карте я выяснил, что в начале деревни (чуть не доходя церкви) вправо отходит в лес узкая дорога, она поднимается в гору, в ту часть леса, что расположена позади коттеджей. Таким образом, я мог сделать полный круг, ни разу не оказавшись на виду. На крутом подъеме я разогрелся и устал, но скоро вышел на прохладную лесную тропинку, отходящую в сторону моря, по моим расчетам — чуть дальше, чем кончалась проезжая дорога к Ниблетсу. Через несколько минут сквозь деревья засветилось открытое поле, и не так уж далеко от меня показался коттедж, на который я тут же и направил бинокль.

Я ждал долго, остыл, потом даже озяб немного, хотя солнце еще светило. Занемели руки, устали глаза. Наконец «джентльмен» вышел из дому. Температура у меня подскочила, и сердце забилось быстрее. Я с удовольствием отметил, что в руке он несет мотыгу. Его длинная вечерняя тень заскользила вниз по траве. Приятно было ощутить, что я без ведома Бена держу его на прицеле, как он держал меня. Я никогда не имел дела с настоящим ружьем, но на сцене прицеливался много раз, и ощущение это мне знакомо. В нижнем конце сада он задержался возле одной

из цветочных грядок, сперва лениво потыкал мотыгой в землю, а потом вдруг принялся раз за разом ударять ею по одному и тому же месту — не копать, не рыхлить, а бить. На кого он накинулся? На улитку, на полевой цветок? О чем он думал, столь сосредоточенно и яростно изничтожая какого-то крошечного, ни в чем не повинного врага? Однако раздумывать над этой интереснейшей картиной было некогда. Я двинулся вверх под прикрытием деревьев, время от времени поглядывая на Бена в бинокль, и достиг точки на той же высоте, что и конец шоссе, от которого меня теперь отделяло ярдов двести открытого места, и Бен вот-вот должен был скрыться из виду за углом коттеджа. Я прикинул, что в течение двух-трех секунд после того, как я выйду из лесу, он еще сможет меня заметить. Я глянул на него в последний раз. Он сидел на корточках возле грядки, спиной ко мне. Я сделал несколько длинных скользящих шагов по открытому месту, а потом во весь дух пустился к шоссе и через калитку, по дорожке, к парадной двери.

Звонить я не стал. Этот сладенький певучий перезвон вполне мог разнестись далеко по вечернему воздуху. Я постучал в дверь пальцами, условным стуком, как мы с Хартли в детстве,

бывало, стучались друг к другу. Очень скоро она открыла дверь. Думаю, надеюсь, что такая реакция на мой стук была у нее инстинктивной. Мы воззрились друг на друга в ужасе, разинув рот. Я видел ее взгляд, застывший от изумления и страха. Я сунул ей письмо неловким движением — не сразу нашел ее руку и письмо чуть не упало. Но вот она ухватила его, прижала к юбке, а я повернулся и побежал, бессознательно свернув по шоссе вниз, прямо к деревне. Обратного пути я вообще не спланировал, все мои предварительные выкладки кончались моментом вручения письма, и теперь, проходя мимо «Черного льва», я подумал, что, может быть, лучше было вернуться тем же путем, как пришел. Но, шагая по деревенской улице и сворачивая на тропинку, где меня мог настигнуть бинокль Бена, я чувствовал себя бесшабашным и сильным, и даже недавняя моя осторожность представлялась трусостью. Где сейчас Бен? Все еще возится у грядки или уже в доме, вырывает у Хартли письмо? Эх, не все ли равно? Может, оно и к лучшему, если он сейчас, в эту самую минуту, читает мои слова и трясется от ревнивой злобы. Недолго ему осталось тиранствовать.

Когда я подходил к дому, еще не стемнело, но

дневной свет был словно затянут мерцающей дымкой, что в разгар лета возвещает наступление сумерек, которые теперь несколько дней так и не будут сменяться полной темнотой. Вечерняя звезда была еще еле видна, но теперь она еще долго будет блистать в великолепном одиночестве. Море было совершенно плоское, неподвижное, словно чаша, налитая до краев, — было время прилива. Вода была цвета бледно-голубой эмали. Две морские птицы (олуши?), пролетая низко над водой на среднем плане, отражались в ней расплывчато и искаженно, как в вогнутой металлической крышке. Я шел по шоссе мимо красивого каменного указателя с надписью «Нарроудин — 1 миля», и на меня чуть веяло теплом от желтых скал, за день прогревшихся на солнце.

В доме мне по контрасту показалось холодно, и опять он словно готовил мне какой-то подвох. После ясного, пронизанного красками света на дворе воздух здесь был какой-то серый, нечистый. Слышались какие-то слабые звуки, — может быть, это бусы занавески постукивали на сквозняке от открытой двери. Я постоял в прихожей, прислушался. Неужели вернулась эта треклятая Розина и прячется где-то, готовясь меня напугать? Я не выдержал и обыскал весь дом — первый

этаж, второй, нелепые внутренние комнаты. Никого. По дороге я распахивал все окна и двери, чтобы дать теплому, пахнущему морем воздуху от окружающих скал свободно погулять по дому. Я сбросил свою маскировочную шляпу и плащ, вытянул заправленную в брюки рубашку. Захватил с собой большой бокал сладкого хереса с тоником, вышел на лужайку и постоял там, глядя на летучих мышей и гадая, все ли у Хартли в порядке и что она сделала с моим длинным письмом, после того как прочла его. Сожгла, спустила в уборной, закатала в пару чулок?

Допив херес, я вернулся в кухню, налил в тот же большой бокал белого вина и открыл банку маслин, банку копченых корейских мидий и пачку сухого печенья. Свежей еды не было — я, конечно, опять забыл сходить в лавку. Дом все еще хитрил, но теперь я чувствовал, что изучил его повадки, и перестал на него сердиться. Он уже не таил ничего зловещего или угрожающего, он уподобился светочувствительной бумаге, на которой временами отпечатывается то, что случилось в прошлом или, как я теперь впервые подумал, что случится в будущем. Предчувствие беды? Мне стало холодно, и я надел свой белый ирландский свитер. В доме сумрак сгустился,

хотя за окнами словно еще больше посветлело, и я, лишь напрягая зрение, смог вымыть и высушить маслины, сложить их в миску и полить прованским маслом. И тут кто-то громко застучал в парадную дверь.

Стучавший, видимо, не заметил звонка, потому что его медная ручка была покрашена черной краской. Но там имелся еще и старый дверной молоток в форме дельфина, и теперь тяжелая голова дельфина колотилась о дверь с такой силой, что, казалось, сотрясался весь дом. Страх мгновенно охватил меня и сдернул с места. Розина? Нет, Бен. Оскорбленный супруг. Он видел письмо. Боже, какого я свалял дурака. Я выбежал в прихожую, чтобы запереть дверь на засов, но вместо этого, с ощущением «чем хуже, тем лучше», внушенным тем же страхом, широко распахнул ее. Хартли влетела в дом испуганной птицей. Она была одна.

В первые секунды она казалась такой же ошеломленной, как я. Может быть, ее ослепил внезапный мрак в помещении. Она стояла, стиснув лицо руками, словно сдерживая вопль. Я было оставил дверь настежь, но тут же неуклюже кинулся закрыть ее и налетел на Хартли. Я успел почувствовать тепло ее бедра. Захлопнув дверь,

я осознал, что повторяю «Ох, ох, ох» и что она тоже силится что-то сказать. Я протянул вперед жадную ищущую руку и коснулся ее плеча. Она словно хотела заговорить, но я обхватил ее, неуклюже, но крепко, и сжал в медвежьем объятии, о чем так давно мечтал. Я приподнял ее от пола и услышал, как она ахнула, прижатая ко мне почти всем телом. Потом я медленно опустил ее обратно в сером полумраке прихожей под доносившееся сверху задумчивое щелканье занавески из бус, и мы долго стояли молча и неподвижно, я — обхватив ее обеими руками, она — вцепившись обеими руками в мою рубашку.

Опомнившись наконец от ее вздоха и беспокойного движения пальцев, я спросил:

— Он там, за дверью?

— Нет.

— Он знает, что ты здесь?

— Нет.

— Ты письмо уничтожила?

— Как ты сказал?

— Ты письмо уничтожила?

— Да.

— Он его не видел?

— Нет.

— Так, хорошо. Войди и сядь.

Я потянул ее в кухню, толчком усадил на стул у стола. Потом вернулся в прихожую и запер парадную дверь. Попробовал зажечь на кухне лампу, но руки у меня дрожали, фитиль только вспыхнул и погас. Я зажег свечу и задернул занавеску. Потом пододвинул стул, сел с нею рядом и обнял уже осторожнее, мягче, касаясь коленями ее колен.

— О моя милая, ты пришла, ненаглядная моя…

— Чарльз…

— Подожди, не говори ничего. Я хочу просто знать, что ты здесь. Я так счастлив.

— Послушай, я…

— Прошу тебя, родная, прошу тебя, молчи, и прошу тебя, не отталкивай ты меня так.

— Хорошо, но говорить я должна… времени так мало…

— Времени много, сколько угодно, ведь ты прочла письмо, да?

— Да, конечно.

— Поэтому ты и здесь?

— Да…

— Остальное не важно. Ты здесь и здесь останешься. Ведь ты пришла?

— Да, но только чтобы объяснить…

— Хартли, перестань. Какие еще объяснения? Все и так ясно. Я тебя люблю. Ты здесь. Ты меня

любишь, я тебе нужен. Не противься. Уедем в Лондон, завтра утром, сегодня же. Об одежде не думай. Я тебе куплю все, что нужно. Ты теперь моя жена.

Я чуть отодвинулся от нее, одной рукой сжимая ее плечо, а другой переставил свечу так, чтобы свет падал на ее лицо. Глаза окружала густая сеть морщинок, веки были коричневые, словно в крапинках, щеки мягкие, дряблые, не округлые, и розоватые — возможно, от наспех наложенной пудры. Ее короткие волнистые седые волосы были сухие и ломкие на вид — наверно, от многолетних, по инерции, хождений к неумелым парикмахерам. Сейчас ей было не до этого, она и не заметила, что на конце одной из волнистых прядей повисла заколка. Лицо было сухое, только влажно блестели ненакрашенные губы, которые она то и дело облизывала, да синие глаза, эти бессмертные озера, были влажные и вдруг наполнились непролитыми слезами. Она подвигала плечом в слабой попытке высвободиться, и я отнял руку. Впервые после нашей новой встречи я как следует рассмотрел ее лицо и ощутил глубокую победную радость от того, что это дорогое лицо, в сущности, не изменилось, и от того, что она старая, а я все равно ее люблю.

И еще в ее лице, хоть оно было и встревоженным и печальным, я увидел что-то от ее юношеской живости. Я узнал — и только тут понял, как прочно успел забыть, — форму ее губ, которые помада только портила. Я коснулся этих знакомых губ коротким, легким поцелуем, как мы целовались когда-то; и в ее спокойном, пассивном приятии этого поцелуя было понимание, само по себе служившее ответом.

Она сказала:

— Я так изменилась, я теперь другой человек, в твоем письме столько доброты, но так быть не может — ты любишь нашу молодость, но это не я.

— Это ты. Я узнал тебя в поцелуе.

И это была правда. Поцелуй преобразил ее, как принцессу в сказке. Я вспомнил ощущение, вкус ее губ, их трепет; и начисто пропала вся скованность, сознание, что мне никогда ее не обнять, которое мучило меня тогда в церкви. Теперь наши тела внезапно зазвенели в одном и том же ключе, послушные одной и той же силе. Когда я это почувствовал, мне захотелось кричать от радости, но я сохранил спокойный тон — я хотел лаской вызвать ее на разговор, не хотел вспугнуть ее.

— Хартли, ведь это чудо, я ушел из театра, я

приехал сюда в поисках одиночества — и нашел тебя. Я и ехал сюда за тобой, теперь я это понял.

— Но ты же не знал, что я здесь…

— Конечно, но я тебя искал, всегда искал.

Она сказала:

— Так не может быть, — и подняла руку, словно заслоняя лицо. Потом опустила руку на стол, и я твердо прикрыл ее ладонью. — Чарльз, послушай, я должна с тобой поговорить, времени очень мало. — Тыльной стороной другой руки она прикоснулась к глазам, и непролитые слезы перелились через край. Потом она добавила: — Ох, Чарльз, милый ты мой, — и, склонив голову, подалась ко мне движением покорной собаки.

Я погладил сухие, ломкие волосы, осторожно отцепил повисшую заколку и положил в карман.

— Теперь ты останешься со мной навсегда, Хартли.

Она подняла голову, опять утерла глаза, на этот раз рукавом зеленого летнего пальто, надетого поверх желтого платья, которое я уже на ней видел.

— Хартли, сними пальто, я хочу тебя видеть, трогать тебя. Сними.

— Нет, здесь холодно.

Я потянул пальто, и она сняла его. Была в этих

движениях острая прелесть, словно то был всего лишь невинный духовный символ раздевания женщины, игра, в которую могли бы играть ангелы, не до конца ее понимая. Я тронул ее груди там, где они тепло и крепко прижимались к материи желтого, с круглым вырезом платья. Меня бесконечно радовало в ней полное отсутствие кокетства. С этим я столкнулся впервые. Пудра — небрежная привычка, платье неряшливое, первое попавшееся. Только ненакрашенные губы я воспринял как дань себе. Женщина, давно переставшая следить за своей внешностью, не может сразу приобрести нарядный и ухоженный вид. Меня бесконечно радовало, что Хартли и такая для меня привлекательна. Я чувствовал себя гордым, властным, успокоенным, словно избавился от долгих лет страха. И думал, я накуплю ей таких чудесных платьев, не слишком нарядных, не ярких, а именно таких, какие ей нужны. Я буду о ней заботиться.

— Чарльз, я должна тебе поскорее кое-что сказать, я для этого и пришла после твоего письма, пока он не вернулся…

— А он где?

— В столярке.

— Где-где?

— На столярных курсах. Они, собственно, строят там лодки, но занимаются и столярной работой, лодки он, по-моему, никогда не построит. На этой неделе, например, они делают полки. Все другие дни он вечером дома, вот мне и пришлось прийти сегодня же. Они кончают поздно, после работы, наверно, еще пьют пиво.

— Не хочу я о нем говорить, — сказал я.

И подумал: будь у меня машина, я, если б умел править, увез бы ее сейчас же, сию же минуту.

— Чарльз, прошу тебя, послушай. Я пришла к тебе не так, как ты думаешь, не так, как ты просил в письме, это невозможно. Я просто пришла, чтобы кое-что тебе сказать и… ах, Чарльз, до чего же это странно — видеть тебя. Я думала, этого никогда не будет, немыслимо это, чтобы мы опять были вместе. Я представить себе не могла, что когда-нибудь опять увижу тебя и потрогаю, это как сон.

— Так-то лучше. Но это не сон. Твоя жизнь без меня — вот что было сном. А теперь ты просыпаешься ото сна, от кошмара. Ах, почему ты меня покинула, как ты могла, я чуть не умер от горя…

— Сейчас нельзя об этом говорить…

— Нет, можно. Я хочу говорить о прошлом, хочу, чтобы мы вместе все вспомнили, все поняли,

все заново пережили, утвердились как единое существо, которое никогда и не должно было разделиться. Почему ты меня покинула, Хартли, почему ты сбежала?

— Я не знаю, не могу вспомнить.

— Должна вспомнить. Это как загадка. Ты должна вспомнить.

— Не могу, не могу.

— Хартли, постарайся. Ты сказала тогда, что я не буду тебе верен. Это и была причина? Не может быть, чтобы ты это думала, ты же знала, как я тебя любил!

— Ты уехал в Лондон.

— Да, но это было нужно. Я не от тебя уехал, я все время думал о тебе, ты это знаешь, я тебе писал каждый день. Или появился кто-то другой?

Как ни странно, эта ужасная догадка только сейчас пришла мне в голову.

— Нет.

— Хартли, ты его тогда знала? Ты знала его до того, как ушла от меня?

— Я не помню.

— Не можешь не помнить!

— Пожалуйста, перестань, пожалуйста.

Услышав, как она произнесла эти слова — както машинально, почти инстинктивно-уклон-

чиво, — слова, так похожие на те, что я совсем недавно подслушал, — я чуть не закричал от боли и ярости и от какой-то жгучей жалости к ней.

— Ты его тогда знала?

— Это не важно.

— Нет, важно, каждая мелочь важна, каждую мелочь нужно разыскать, подобрать, искупить, надо заново прожить прошлое, прояснить его, очистить, мы должны наконец друг друга спасти, исцелить друг друга, неужели ты не понимаешь…

— Я тогда не знала его, он был вроде как женихом одной моей двоюродной сестры, Эдны, помнишь? Нет, конечно, где там, а потом она его отставила, и мне было его жалко…

— Но где ты с ним познакомилась? Это было уже после того, как ты сбежала?

— Да, я поехала к моей тетушке в Сток-он-Трент, там и Эдна жила. Когда мы были с тобой, я его не знала. Не в этом было дело, и вообще ни в чем, я не хотела, чтобы ты стал актером, ничего такого не было, пожалуйста, перестань.

— Да успокойся же, Хартли, и отвечай на мои вопросы. Я на тебя не сержусь, а все это очень даже важно. Ты не хотела, чтобы я стал актером? Но ты этого никогда не говорила.

— Говорила. Я хотела, чтобы ты поступил в университет.

— Но, Хартли, не может быть, чтобы только из-за этого.

— Никакого «только» не было, ох, не расстраивай ты меня, слишком уж мы были как брат с сестрой, и ты все командовал, я и решила, что не хочу. — Опять брызнули слезы. — У тебя платок есть?

Я достал ей чистое посудное полотенце, и она устало вытерла глаза, лицо, шею. На груди у нее на тесном лифе желтого платья не хватало одной пуговицы. Я готов был облапить ее и разорвать на ней платье.

Я снова сел.

— Хартли, если у тебя были сомнения, почему ты молчала? Мы вместе могли бы придумать какой-то выход. Так ужасно, что ты ушла без единого слова, просто грешно.

— Прости, прости, я только так и могла уйти, иначе было нельзя, это было нелегко. Ой, как мне холодно. Я лучше надену пальто.

Она надела пальто, запахнулась и подняла воротник.

— Как это могло случиться, не может быть, чтобы ты просто решила, было что-то еще, что ты

утаила от меня. Помнишь тот день…

— Чарльз, сейчас некогда, и, право же, я не помню. Столько времени прошло, целая жизнь.

— А мне кажется, это было вчера. Я с тех пор так с этим и живу, вспоминаю каждую мелочь снова и снова и все спрашиваю себя, где же получилась осечка, и что с тобой сталось, и куда ты пропала. Не было, кажется, дня, чтобы я не гадал, где ты. И все это время я был один, хранил свою свободу, ради тебя. Это было вчера, Хартли, только тогда я и жил по-настоящему.

— Один. Как грустно.

Я не сразу понял, что это не издевка. Один? В каком-то смысле — да. Судя по ее тону, она никогда ничего не пыталась вообразить, ни о чем не задумывалась.

— Ты говоришь, что решила, что не хочешь идти за меня замуж. Но это не объяснение, я хочу знать…

— Ох, довольно. Ну просто так получилось. Если б я достаточно тебя любила, я бы за тебя вышла, если б ты достаточно меня любил, ты бы на мне женился. Никаких особых причин нет.

— Ты говоришь, я мало тебя любил, с ума сойти можно! Я тебя любил до предела и сейчас люблю, я сделал все, что мог, я не сбежал, не женился на

другой, это ты виновата, я с ума сойду, если ты…

— Нельзя нам говорить об этих вещах, мы только… ну, барахтаемся, да теперь это и не имеет значения. Постой, я же должна тебе кое-что сказать, а ты не слушаешь…

Я подумал, надо держать себя в руках. Нельзя ее сейчас расспрашивать, но я все равно дознаюсь.

— Хартли, выпей вина. — Я налил ей испанского белого, и она стала машинально его потягивать. — Съешь маслину.

— Я маслины не люблю, они кислые. Но послушай же меня…

— Мне жаль, что здесь так холодно, этот дом ухитряется быть холодным, даже когда… ну хорошо, хорошо, я тебя слушаю, но помни: ты здесь и здесь останешься, что бы там ни было в прошлом, теперь ты моя. Скажи мне только одно: в тот вечер, когда ты была здесь рядом, на шоссе, и тебя вдруг осветили фары, ты тогда шла ко мне?

— Нет, но я… я просто хотела посмотреть на твой дом. Это как раз тоже был столярный вечер.

— Ты хотела посмотреть на мой дом. Постоять на дороге и посмотреть на освещенные окна. О моя милая, значит, ты все-таки любишь меня, несмотря ни на что.

— Чарльз, это не имеет значения.

— То есть как не имеет? Ты опять…

— Нет ни места, ни возможности, никакой… опоры, все рассыпалось, ты поймешь, когда я тебе скажу то, что и пришла сказать.

— Хорошо, я буду слушать, но сначала дай я тебя поцелую. Тогда все будет хорошо. Поцелуй мира.

Я потянулся к ней и очень мягко, но проникновенно приник сухими губами к ее влажным губам. Какие же разные бывают поцелуи. Этот поцелуй был священный. Мы оба закрыли глаза.

— Ну так теперь говори.

Я подлил ей вина. Рука у меня дрожала, и вино расплескалось на стол.

Она снова сказала:

— Времени так мало, и часть его мы уже потратили. — А потом: — О господи, я забыла часы. Сейчас который час?

Я взглянул на свои часы. Было без четверти десять. Я сказал:

— Десять минут десятого.

— Чарльз, это касается Титуса.

— Титуса?!

О Титусе я и думать забыл, а тут сразу встревожился.

— Да, вот послушай. О господи, я уже опьянела. Не привыкла к вину. Я должна тебе сказать. После

нашей встречи в деревне мне иногда казалось, что ты можешь помочь, но теперь вижу, помочь ты можешь только тем, что оставишь нас в покое, совсем от нас отдалишься.

— Какая ерунда.

— Понимаешь, я тебе сказала, что Титус у нас приемный…

— Да, да.

— Мы хотели ребенка, и Бен хотел, и я, и мы все ждали. А потом я захотела кого-нибудь усыновить, а он не хотел, он еще надеялся. И я стала терзаться, как бы не опоздать, ведь усыновлять разрешают до известного возраста, я уже и тогда убавляла себе лет. Бен моложе меня, он-то…

— Моложе? А я думал, он был на войне.

— Был, но только в самом конце.

— А что он делал на войне?

— Служил в пехоте. Он редко об этом вспоминает. Он попал в плен, сидел в лагере.

— А меня в армию не взяли.

— По-моему, в войну ему было хорошо. Он считает себя солдатом. Сохранил свой армейский револьвер, хоть и не полагалось, он очень его любит. А в гражданской жизни он так и не нашел себе места. Иногда он говорит: «Поскорее бы опять война».

— Но ведь вы уже были женаты, когда он попал в плен. А ты где была?

— Жила в Лестере, в муниципальном доме. Работала на выдаче продовольственных книжек. Очень одинокое было время.

Одинокое время. Значит, пока я путался с Клемент и колесил по стране в автобусе, приобщая к театру население воюющей Англии, Хартли была несчастна и *одна*. Черт, ведь мы даже в Лестере побывали.

— О господи! — сказал я.

— Но ты слушай про Титуса. Понимаешь, в конце концов, в самую, можно сказать, последнюю минуту, я уговорила Бена насчет усыновления. Он не хотел, но согласился — потому, наверно, что видел, в каком я состоянии, я чуть не… чуть не… я очень была расстроена, и я же все и проделала, все взяла на себя — все формальности, документы, все, что требовалось, а Бен только подписывался не глядя, как во сне. Он не хотел знать. Я видела, что ему это не по душе, но думала — будет в доме ребеночек, он его полюбит, все пойдет по-другому, и нам всем будет так хорошо…

— Не плачь, Хартли, дай мне руку, теперь я буду о тебе заботиться…

— Титус был такой крошечный, плохонький, с

заячьей губой, пришлось делать операцию…

— Да, да, перестань плакать и рассказывай дальше, если уж тебе это нужно.

— А еще я допустила ужасную ошибку…

— Хартли, не горюй ты так, это невыносимо, выпей еще вина…

— Ужасную, ужасную ошибку и заплатила за нее ужасной ценой, надо мне было знать…

— В чем же была ошибка?

— Я ничего не сказала Бену про тебя, то есть не сказала сразу, в самом начале, а потом это становилось все труднее…

— Не рассказала ему, как мы росли вместе и любили друг друга?

— Ничего про нас не сказала. Когда он спросил, был ли у меня кто-нибудь, ответила, что нет. И он, конечно, ничего об этом не узнал, и Эдна не знала, ты помнишь, мы, когда были детьми, все скрывали…

— Да, это и было лучше всего, Хартли. Конечно, мы все скрывали. Это было наше драгоценное, тайное, святое.

— В общем, не было опасности, что он от кого-нибудь узнает.

— Опасности? Но какое это могло иметь значение? Ведь со мной ты тогда уже рассталась.

— Бен так ревновал, он вообще ужасно ревнивый, а я сначала ничего в ревности не понимала, то есть не понимала, что она может быть как безумие.

Да, как безумие. Я-то это понимал.

— Еще до того, как мы поженились, он вроде бы грозил мне. Когда бывал мной недоволен, он говорил: «Вот поженимся, тогда я тебе отплачу!» И я никогда не знала, в шутку он это или всерьез. Стоило мне посмотреть на другого мужчину — буквально посмотреть и больше ничего, — он приходил в такую ярость… и так продолжалось и после, когда мы уже поженились. И в конце концов я от страха совсем потеряла голову и сказала ему.

— Сказала, что любила меня, а я тебя?

— Ну да, вроде того. Я хотела изобразить это как пустяк, но оттого, что раньше-то я это утаила, оно показалось ужасно серьезным…

— Оно и было серьезно, какой там пустяк!

— Ах, если б у меня хватило ума и смелости либо рассказать сразу, либо уж молчать до конца. Но понимаешь, когда я увидела, как Бен ревнует, какой он вспыльчивый и ревнивый человек, меня обуял страх, что вдруг когда-нибудь… ты снова появишься…

— И я появился!

— И мне пришлось обезопасить себя тем, что я хотя бы упоминала о тебе когда-то. Понимаешь, я боялась, вдруг кто-нибудь что-нибудь скажет или ты сам узнаешь, где я, я так старалась, чтобы никто не узнал, кто мог бы тебе сказать, я порвала все связи, а родители мои переехали в другой город, я думала, может, ты будешь меня разыскивать…

— Да, связи ты порвала на совесть. Но скажи, если ты так боялась его с самого начала, чего ради ты за него, негодяя, пошла?

— Я все думала, может, потом станет лучше.

— Меня ведь ты никогда не боялась?

— Нет, нет. Но я боялась, что ты узнаешь, где я, и напишешь мне. Он прочитывал все мои письма. Годами я утром вставала первая и бежала вниз забрать почту, на случай, что будет письмо от тебя.

— О господи!

— Я и потом так делала, после того как рассказала ему. Я всю жизнь боялась почты, вдруг он к чему-нибудь прицепится, не так поймет. В общем, почувствовала, что не могу больше жить под этой угрозой, вот и сказала сама… и это было… ужасно.

— Он злобствовал, ревновал?

— Это было ужасно. Понимаешь, он не поверил, что это было невинно.

— Хартли, — сказал я, — это было невинно, но очень серьезно, в те годы что-то определилось для нас на всю жизнь, так что в каком-то смысле он имел основания так всполошиться. Ты ему рассказала такое, что изменило решительно все, это я могу понять.

— Он не поверил, что мы не были любовниками, думал — я соврала, что я девушка. Самый ужас был в том, что подозревал он меня зря, а я не могла его в этом убедить, как ни старалась. Иногда он пробовал меня поймать — говорил, что простит меня, если я признаюсь, а я знала, что и это не поможет. Он все спрашивал, спрашивал, снова и снова, никак не мог поверить.

— Родная моя, мы и были любовниками, только не в этом смысле…

— Спрашивал и спрашивал, изо дня в день, а то по нескольку раз на дню. И задавал все тот же вопрос, теми же словами, что бы я ни ответила. И конечно, чем больше он ярился, тем я отвечала все более нескладно, бестолково, так что, наверно, и вправду казалось, что я лгу.

— Своими руками убил бы этого человека.

Она отпила еще вина и сидела поеживаясь,

уже не плача, с потемневшими огромными глазами, вперив взгляд в свечу и бессознательно прижимая полотенце к щеке, как восточное покрывало. Ее большой лоб, белый в свете свечи, был сморщен и испещрен крошечными тенями, но поднятый воротник зеленого летнего пальто, подпиравший волосы, придавал ей очень юный вид. Может быть, так же она поднимала воротник своего макинтоша в те дни, когда мы с ней ездили на велосипедах. Внимательно прислушиваясь к ее словам, я не отрываясь, с какой-то творческой страстью смотрел на ее лицо, как некий бог, воссоздающий ее красоту для своих высших целей.

— Подожди, Хартли, еще рано, — сказал я, когда она вдруг испуганно подняла голову. — Сейчас я зажгу еще свечей, я хочу смотреть на тебя.

За окном почти стемнело. Я высыпал на стол коробку свечей и зажег еще четыре — капал стеарином в чашки и прилеплял их к донышку. Я расположил их полукругом перед Хартли, как на аналое. Потом сел напротив, не рядом с ней, и смотрел, смотрел. Мне так хотелось, чтобы она улыбнулась мне. Это ускорило бы процесс воссоздания.

— Хартли, убери покрывало. Улыбнись мне.

Она опустила полотенце, и я увидел скорбно

опущенные уголки ее влажных губ.

— Чарльз, который час?

Было двадцать пять одиннадцатого.

— Половина десятого, даже меньше. Слушай, Хартли, дорогая моя, все это не важно, все это теперь позади, понимаешь? Ну да, он был ревнивый, недалекий человек и заслуживает наказания, но сейчас это уже не страшно, тебе не надо возвращаться в этот ад. Только при чем здесь Титус? Ты ведь хотела сказать мне что-то про Титуса.

— Он думает, что Титус твой сын.

— Что-о?

— Он думает, что Титус твой сын.

Хартли положила обе ладони на стол. Теперь, ярко озаренная свечами, она была как подсудимая на допросе.

Я выпрямился на стуле, краснея от изумления и неожиданности, и вдруг заметил, что тоже положил ладони на стол. Мы воззрились друг на друга.

— Хартли, ты это не всерьез… он это не всерьез. Как может Титус быть моим сыном? Твой муж ведь не помешанный. Он знал, что Титус усыновлен, знал, откуда он попал к вам.

— Нет, в том-то и дело, он не знал, откуда Титус к нам попал. Это я ввела Титуса в нашу жизнь, это

была моя идея, я сама все и устроила. Бен все это время был как в шоке, он ни в чем не участвовал, только подписывал документы, не читая. Один раз к нам приходил представитель от комитета, он видел Бена, но разговор вела я, а Бен сидел как истукан.

— Но, Хартли, погоди, он же знал, что я остался в прошлом, ты же усыновила Титуса через много лет после того, как ушла от меня.

— Он решил, что мы продолжали встречаться. Тайно.

Теперь ее сухие, распахнутые глаза и бледный лоб придавали ей вид чуть ли не обвиняющий.

— Хартли, милая, не могут люди верить в такие сумасбродные выдумки, притом совершенно недоказуемые. Он не мог не знать, что ты со мной не виделась.

— Откуда ему было знать? Я весь день оставалась одна, а иногда и всю ночь, когда он бывал в разъездах.

— Ну хорошо, мы-то давай не будем увлекаться, скажем так: это было в высшей степени маловероятно. Да, кроме того… о господи, как он мог не верить тебе, как мог терзать тебя такими адскими домыслами!

— Это случилось не сразу. — Хартли отпила

вина. — Титуса он невзлюбил с самого начала, — может, потому, что это единственное, чего я добилась против его воли, и ему это было досадно, и в глубине души хотелось, чтобы ничего хорошего из этого не вышло. Понимаешь, он до самого этого времени без конца твердил, что ты был моим любовником, а я без конца это отрицала и уже так устала, мы, кажется, оба устали, я уж старалась, когда он заговаривал о тебе, думать о чем-нибудь другом. Сначала я думала, он на самом деле не считает, что мы с тобой сохранили связь, а только говорит это мне назло, может, сперва так и было, но что мы раньше были любовниками — это он думал наверняка. И забыть о тебе мы не могли, о тебе все время писали в газетах, а потом, позже, мы смотрели тебя по телевизору…

— О господи.

— И это постепенно отравляло ему мозги, а потом вдруг у него в уме все сошлось, его как осенило, он связал тебя с Титусом. Ему портили жизнь две вещи, и он все думал и думал о них, пока не почувствовал, что они между собой связаны, должны быть связаны, и в обеих виновата я.

— Но сколько же лет было тогда Титусу и какие доказательства…

— Я не помню, сколько было Титусу, может быть, все это случилось не так сразу. С Титусом он всегда был суров, даже когда он был совсем крошкой, а дальше пошло хуже. Может, он сказал это сгоряча, чтобы уколоть меня, а когда увидел, как мне больно, так стал думать, и тут уж в каждом моем слове ему чудилось доказательство моей вины.

— Но, Хартли, это же безумие. Он ненормальный человек, душевнобольной.

— Нет, он нормальный.

— Это как раз признак психоза, когда люди во всем видят подтверждение того, во что хотят верить.

— Он говорит, что Титус похож на тебя.

— Вот видишь.

— И что забавно, он и правда немножко на тебя похож.

— Он похож на тебя, потому что ты его воспитывала, а ты похожа на меня, потому что мы столько лет смотрели друг на друга. Долгая любовь иногда порождает такое сходство.

— В самом деле? Может, и так. Это и правда было странно, даже жутко.

Мысль эта как будто показалась Хартли интересной, на минуту словно бы даже обрадовала

ее.

— А кроме того, должны же быть какие-то сведения о рождении Титуса, его родителях.

— С этим тоже вышло нескладно. Понимаешь, когда мне отдали Титуса, я не хотела знать, кто его родители, не хотела думать о том, что он не весь без остатка мой. В комитете по усыновлению мне дали много всяких бумаг, там было даже письмо от его матери, но я не стала ничего читать, а сразу все уничтожила. Я хотела забыть о его родителях, обо всем, что с ним было до того, как я увезла его к себе, и забыла, вычеркнула из памяти. Так и вышло, что, когда Бен стал меня подозревать и выспрашивать, я не знала, что отвечать, не сразу даже вспомнила, как назывался комитет. Наверно, это и правда звучало как вранье.

— Но должны же были сохраниться какие-то записи, официальные.

— Теперь их хранят, а тогда не было столько формальностей и не было закона насчет того, что дети имеют право знать, кто их родители. Какие-нибудь записи, наверно, были, но к тому времени, когда Бен заинтересовался подробностями, тот комитет уже прекратил существование, и к тому же много бумаг погибло во время пожара, так мне говорили. Бен ничему этому не верил, а на

письма никто не отвечал. Я пробовала выяснить, ездила в Лондон, он не поехал, я остановилась в гостинице…

— Ах, Хартли, Хартли!

Я отчетливо представил себе это путешествие и ее возвращение домой.

— Я честно пробовала, но ничего не могла выяснить и почему-то даже тогда не хотела.

— Но все-таки я не понимаю, что у него было в голове? Что он про нас думал?

— Он думал, что мы продолжали встречаться, может, не все время, а с перерывами, тайно. И что я забеременела и…

— Но вы жили вместе!

— Это тоже получилось странно. Как раз перед тем, как усыновление наконец разрешили, я надолго уезжала из дому, а то все сидела на месте. Я ездила к отцу, он болел, тогда же при мне и умер, и Бен решил, что в это время ребенок родился. Я тогда уже не была стройной девочкой, по фигуре могла сойти за беременную — видишь, как все сошлось. И он решил, что всю историю с усыновлением я выдумала, чтобы привести в его дом твоего ребенка.

— Но он видел документы…

— Мало ли где я могла их добыть, он-то их все

равно не читал. А тот представитель, который к нам приходил, мог быть сообщником.

— У твоего мужа изобретательный ум. Он скверный, жестокий, полоумный изобретательный мучитель.

Хартли, уставившись на пламя свечи, только помотала головой.

— Но сам-то Титус, он, наверно, не знал, то есть не знал, какие у Бена подозрения?

— Узнал, — сказала она, — только позже, когда ему уже было лет девять-десять. Мы, конечно, всегда говорили ему, что он приемный, так положено. Но потом Бен стал ему внушать, что он родился от любовника своей матери и что мать его шлюха.

— Какая чудовищная, изощренная жестокость…

— Бен одно время сильно поколачивал Титуса. Соседи вызвали людей из Общества защиты от жестокого обращения. Я ничего не могла поделать, не могла за него заступиться, пришлось вроде бы стать на сторону Бена, это было ужасное время, все было сломано, как будто стоять на ногах еще можешь, а внутри все сломано, и кости, и суставы, и ты как будто вся рассыпалась, как будто уже не человек.

Медленно выступили слезы, и она, не отрывая взгляда от свечи, стала ощупью искать на столе полотенце. Я пододвинул его ближе к ней.

— Но почему ты не могла за него заступиться… ох, прости, это дурацкий вопрос. Хартли, я больше не могу.

— Он считал, что это все я виновата, да я и была виновата, надо было сразу ему сказать, когда он спросил, был ли у меня кто-нибудь до него, а я, в сущности, солгала, ведь был ты, хоть мы и не были любовниками, а потом, когда я ему рассказала, получилось так таинственно и значительно. А вышла я за него, потому что жалела, хотела, чтобы ему было хорошо, а потом… потом…

— Хартли, довольно!

— А иногда я как нарочно делала все не так, будто старалась ему досадить, будто выбирала, чем бы вернее вывести его из себя. Один раз, когда он вечером был на курсах, нечаянно заперла дверь на цепочку, а сама легла и заснула, и он не мог войти, а в три часа вдруг проснулась, шел дождь, и тут он стал меня бить и не давал спать…

— Хартли, ради бога, перестань рассказывать мне эти мерзости. Я не желаю слушать, и к тому же теперь все это позади.

— Ох, я вела себя так глупо, так глупо, и в шко-

ле Титус, конечно, пришелся не ко двору, и все шло вкривь и вкось, решительно все. Я думаю, вначале Бен сам во все это не верил, да и потом, наверно, тоже, но мое поведение только портило дело, точно он мне внушал, чтобы вела себя так, будто я виновата. И я не уверена, чему Титус верил, чему он и теперь верит. Титус сидел и слушал, как Бен говорил одно, а я другое, мы словно читали на два голоса, страшные такие стихи, и уж не знаю, понимал ли он, где правда и есть ли тут вообще правда, все запуталось в каком-то тумане бессмысленных ссор и перепалок. Все слилось в какой-то кошмар, а позже Титус меня же за это осуждал и отчасти был прав, иногда мне кажется, что меня он осуждал больше и обижался на меня больше, чем на Бена. Конечно, пока он был маленький, он все время жил в страхе и пикнуть не смел, сидит, бывало, весь вечер на своем стульчике у стены весь бледный, сжавшийся и тихий-тихий. Позже, лет в пятнадцать, он иногда притворялся, будто он твой сын, а раз или два сказал Бену, что узнал это от меня. Но он, наверно, только хотел позлить Бена, потому что подрос и теперь Бен уже не мог его бить.

— Хартли, перестань. Ты расскажи мне еще про Титуса. Когда он ушел? Как ты думаешь, где он?

— После школы он поступил в политехнический колледж там, где мы жили, ему дали стипендию, он изучал электричество. Жил дома, но нас как будто и не замечал, подверг бойкоту. Иногда мне казалось, что он нас обоих ненавидит. Он так и не простил мне, что не заступалась за него, когда был маленький. А перед самым нашим переездом сюда перебрался в общежитие, а потом исчез. Из общежития он выехал и не написал нам и не оставил адреса. Я там побывала, но никто не знал, куда он уехал, да и не интересовался, кажется. Он так и не написал. Он знал, что мы переедем сюда. Думаю, что он отправился на поиски своих настоящих родителей, было у него такое намерение. Он, бывало, много о них говорил и гадал, — может, они богатые. Как бы там ни было, нет его больше. Пропал.

— Не принимай так близко к сердцу, Хартли, он найдется. Где вы живете, он знает, верно? Значит, объявится. Окажется без денег и вернется домой. Они всегда так.

Она покачала головой:

— Иногда я и не хочу, чтобы он вернулся. Иногда думаю, что он умер. Иногда чуть не желаю, чтобы он умер и чтобы я об этом узнала, чтобы разом кончилась и тревога, и надежда, и страх и

мы бы наконец отдохнули. Если он вернется, это может оказаться… ужасно.

— Почему?

— Ужасно. — Медленные слезы опять пролились, и она поморгала, чтобы смигнуть их на щеки. Сказала: — Напрасно мы усыновили ребенка, это я виновата, Бен был совершенно прав, без него нам было бы лучше, я бы уж как-нибудь справилась, а Бен был бы… таким, как мне хотелось…

Невзирая на всю боль и скверность ее рассказа, мысль моя уносилась вперед, в сияющую даль, растекалась по зримым путям внезапной надежды. Я увезу Хартли, и вместе мы найдем Титуса. В каком-то удивительном, метафизическом смысле это правда, я сделаю это правдой. Титус — мой сын, дитя нашей давнишней любви.

— Хартли, маленькая моя, не плачь, твоя оргия ужасов кончилась, больше не надо. Теперь ты моя, я буду о тебе заботиться, защищать тебя…

Она опять замотала головой.

— А я-то за него вышла, чтобы ему было хорошо! Но ты не думай, что было только плохое, вовсе нет. То, что я тебе рассказала, — это плохое, но у тебя, наверно, сложилось ложное впечатление.

— Ты еще, чего доброго, скажешь, что была

счастлива в браке!

— Нет, но не все было плохо. Бен не всегда так ужасно обращался с Титусом. В нем точно сидят два разных человека, может, все мужчины такие. Просто чуть дело касалось тебя, он срывался. А забыть про тебя мы не могли, ты стал такой знаменитый, но у нас бывали и хорошие времена.

— Какие, например?

— Да ничего особенного, тебе, наверно, показалось бы скучно. Мы жили тихо…

— Ничего себе тихо!

— Свою работу Бен не очень любил, но он любил все делать по дому. Он любил СС.

— СС?

— «Сделай сам». Один раз мы ездили в Лондон на выставку в «Олимпии». Он ходил на всякие вечерние курсы.

— Чему он учился в тот тихий вечер, когда ты заперла дверь на цепочку?

— Учился склеивать фарфор.

— О господи! А ты, Хартли, что ты делала целыми днями? Были у тебя друзья, приглашала гостей?

— Да нет. Бен этого не любил, а мне было все равно. Мы и здесь почти ни с кем не знакомы.

— А ты не ходила на вечерние курсы?

— Начала как-то заниматься немецким, но он не хотел, чтобы я одна выходила по вечерам, а расписание не совпадало.

— Ох, Хартли… И все эти годы он был тебе верен, никого другого у него не было?

В первую секунду она как будто не поняла.

— Нет, что ты.

— Не знаю, почему ты так уверена. И у тебя тоже никого другого не было?

— Конечно нет!

— Н-да, для тебя это, наверно, значило бы рисковать жизнью.

— Понимаешь, мы были очень поглощены друг другом. Мы очень…

— Поглощены! Да, теперь мне все ясно.

— Нет, не все тебе ясно, — сказала она и, вдруг повернувшись ко мне, провела пальцами по глазам и по рту. — Не может это быть тебе ясно, никто не может понять чужой брак. Я так молилась о том, чтобы не разлюбить Бена…

— Это комедия, Хартли. Неужели ты и сейчас не видишь, что ситуация невыносимая, немыслимая? Хватит тебе разыгрывать христианскую добродетель перед этим мучителем, если ты в этом видишь свой долг.

— Он тоже мучается, а я иногда бываю… очень

недоброй. Он не виноват, а я с самого начала была виновата.

— Ты терзаешь меня этими тошнотворными рассказами и еще хочешь, чтобы я ему сочувствовал! Почему ты сюда приехала, почему пришла ко мне, почему вообще все это мне рассказала?

Хартли, не отрывая от меня глаз, словно задумалась. Потом заговорила медленно:

— Потому, наверно, что когда-нибудь — это я всегда знала — я должна была кому-нибудь это рассказать, описать, повторить те богохульные слова, то, что ты называешь мерзостями. А друзей у меня, в сущности, никогда не было, я тебе уже говорила, мы с Беном жили так уединенно, так скрытно, какой-то тайной жизнью, как преступники. Мне не с кем было поговорить, если б и захотела.

— Выходит, что я — твой единственный друг!

— Да, ни на кого другого я не могла бы это взвалить.

— Взвалить? Ты хочешь, чтобы я разделил твою боль…

— Что ж, в какой-то мере ты в ответе…

— За твою загубленную жизнь? Так же, как ты в ответе за мою! Значит, это твоя месть? Нет-нет, шучу.

— Я не в том смысле, просто выдумки Бена насчет тебя — это что-то вроде демонов в нашей жизни. Но конечно, дело не только в том, что хотелось с кем-то поделиться. Ты знаешь, когда я в первый раз увидела тебя в деревне, я чуть в обморок не упала. Я как раз свернула с той дороги, где коттеджи, а ты как раз входил в трактир, и я почувствовала такую слабость, что немножко поднялась в гору и села на траву. Потом решила, что это мне снится, что я сошла с ума, не знала, что и делать. А на следующий день услышала в лавке разговор о тебе, кто-то сказал, что ты ушел на покой и поселился здесь. И я не сразу решила, рассказать ли Бену, ведь он мог и не узнать тебя, ты не очень похож на свои портреты, а потом подумала, что он так или этак узнает, кто-нибудь скажет ему в столярке, и упомянула, что встретила тебя, он страшно разъярился, сказал, что надо сейчас же продать дом и уезжать, и, конечно, решил или притворился, что решил, что ты приехал сюда нарочно из-за меня, а оно, конечно, и правда было странно.

— Ну и что, продает он дом?

— Я не знаю, он сказал, что заявит агенту, может, и заявил, я не спрашивала. Но сегодня я потому пришла, что хотела рассказать тебе про

Титуса и про подозрения Бена и просить у тебя помощи…

— Помощи? Родная моя, я же о том и говорю, я только об этом и мечтаю. Поедем в Лондон хоть завтра, хоть сейчас, если есть поезд…

— Нет, нет, нет. Пойми, я не могу решиться, прикидываю то так, то эдак. Думала — попрошу тебя уехать, продать этот дом и уехать. Если б ты понял, как это важно для меня и для Бена, как это ужасно, какой это кошмар, что ты здесь, ты бы наверняка уехал.

— Хартли, это мы с тобой уедем, ты и я, вот в чем выход.

— Я думала, напишу тебе письмо, попрошу уехать, но очень уж трудно было бы объяснить все это в письме.

— Хартли, ты уедешь со мной? Сегодня, завтра, уедешь?

— А еще подумала — но это, наверно, совсем уж бред сумасшедшей, — может, ты как-нибудь убедишь его, докажешь ему, что все эти годы я говорила правду, как-нибудь повлияешь на него.

— Как?

— Ох, не знаю, дашь какую-нибудь священную клятву, или у нотариуса, или…

Слово «нотариус» точно вобрало в себя всю

абсурдность того, что она говорила. Недоставало нам только иметь дело с нотариусами! Воображаю, как это подействовало бы на Бена. И в то же время с быстротой, присущей мыслям, я строил вполне трезвые планы. Я, конечно, не терял надежды, что Хартли все же решит остаться у меня. Однако не исключена была и другая возможность, да если и решит, с нее станется завтра же пожалеть об этом. Слишком энергично подгоняя ее, я рискую не столько помочь, сколько повредить делу. Не лучше ли дать ей спокойно подумать о нашем воссоединении и самой сделать выводы. Мне казалось, что она все еще пребывает во сне, что она заперта внутри своего кошмара. Она выйдет на волю, но, возможно, не так уж скоро. Возможно, мне еще надо будет проделать большую работу, чтобы вернуть ей надежду и жизнь, пробудить в ней жажду свободы, такую, казалось бы, для нее естественную. А пока надо во что бы то ни стало держать с нею связь, добиваться, чтобы она сама строила планы, сама придумывала новую жизнь, в которой буду участвовать я. Стоит ей проникнуться желанием счастья, и она к нему ринется. Сейчас, пожалуй, нет смысла опровергать ее безумную мысль, что я способен в чем-то «убедить» Бена. Если б она

стала безнадежно и мрачно упрашивать меня уехать, моя задача была бы куда труднее, хотя в конце концов я бы и с этим совладал. Хартли — больная женщина.

Я сказал:

— Насчет Бена это ты неплохо придумала, может быть, мне и удастся открыть ему глаза на правду, на то, что было, или, вернее, чего не было в прошлом, об этом мы с тобой еще посоветуемся. Но сейчас важнее всего не это. Сейчас ты должна расстаться с Беном и прийти ко мне насовсем, навсегда…

Хартли, до сих пор сидевшая как в забытьи, оглушенная собственным непривычным красноречием, вдруг вскинула голову и стала в ужасе озираться по сторонам.

— Чарльз, который час?

Было без пяти одиннадцать. Я сказал:

— Что-то около десяти. Хартли, милая, оставайся, ну пожалуйста.

— Десять? Не может быть, наверно, больше. Мне тридцать пять минут добираться до дому, а Бен обычно приходит в одиннадцать. — Она встала. — Я, наверно, опьянела, не привыкла к вину, я пойду. — Она сделала шаг к двери, потом вдруг пригнулась к моей руке, посмотрела на

мои часы и запричитала высоким, жалобным голосом: — Одиннадцать, одиннадцать часов! Ах, зачем ты это сделал? Зачем я тебе поверила? Как я могла уйти без часов? Что мне делать, что делать? Что я ему скажу, он наверняка догадается, где я была! Я так старалась не лгать ему, а теперь он подумает… Ох, как нехорошо получилось, как я сглупила, что же мне теперь делать?

— Оставайся здесь, незачем тебе идти домой.

Когда я увидел, в каком она горе и ужасе, мне стало жалко ее и немного стыдно, но тут же я подумал: пусть еще один скандал, еще одна безобразная сцена, пусть все поскорее рухнет до основания. Чем хуже, тем лучше. И еще подумал: если только он ее не убьет. И еще: нужно удержать ее здесь. Да, да, нужно кончать немедленно. Нельзя ее отпускать.

— Не могу я идти домой. И остаться не могу. Придется ему сказать, что была у тебя, а как я скажу, будет опять, как в те ночи, ох, я не выдержу, лучше мне умереть, почему я должна так мучиться. Ой, что же мне делать?

— Хартли, прекрати истерику. Оставайся здесь, и все.

— Не могу я остаться, мне надо бежать, бежать. Но все равно поздно. Он уже, наверно, дома и так

беспокоится, так сердится. Не могу я вернуться, ох, как я могла поступить так неосторожно, так глупо, вот я всегда так, только все порчу, надо было мне знать, сколько времени.

— Не ругай себя, Хартли, ты думай так: часы оставила дома нарочно, чтобы отрезать себе путь к отступлению, а что теперь не можешь от меня уйти, так это только хорошо.

— Зря я к тебе пришла, зря рассказала тебе все это, он поймет, что я тебе все рассказала, заставит меня повторить каждое мое слово.

— Ты пришла повидать старого друга, ничего плохого в этом нет, я ведь твой друг, ты это признала и так меня этим порадовала, а друзья помогают друг другу.

— Ох, если б только я ушла час назад, тогда все было бы хорошо! Надо бежать, скорее…

— Хартли, успокойся. Если ты непременно хочешь идти, я тебя провожу.

— Нет, я пойду одна, мы больше не должны встречаться, никогда! Ох, лучше бы мне умереть!

— Перестань причитать, это невыносимо!

Все это время Хартли металась по кухне, как обезумевшее от страха животное, — к двери, потом обратно к столу. Забывшись, она даже подобрала на ходу посудное полотенце и засунула в

карман. Ее исступление начало на меня действовать, мне тоже стало страшно. Чтобы утишить собственный страх, я подбежал к ней и схватил ее в объятия.

— Родная моя, не бойся ты так, перестань, оставайся у меня, я тебя люблю, я…

И тут она стала вырываться молча, отчаянно, с неожиданной силой, лягала меня в ноги, извивалась всем телом, уперлась одной рукой мне в шею, а другой щипала за плечо. Перед глазами у меня мелькнул ее раскрытый рот, пена на влажных зубах. Я попытался приподнять ее, завладеть хотя бы одной ее рукой, а потом укрощать это озверелое создание стало слишком отвратительно и слишком трудно, и я разом отпустил ее, от толчка отлетел назад, к столу, и повалил свечи. В ту же секунду Хартли исчезла — выбежала из кухни не в прихожую, а черным ходом прямо на лужайку между скал.

Мне бы нужно было, как верному псу, кинуться за ней вдогонку, нужно было силой втащить ее обратно в дом. А я, дурак, задержался поднять упавшие свечи и только потом, сунув их кое-как в чашки, выбежал в прозрачный синий сумрак и безмолвную пустоту скалистого берега. После яркого света свечей я сначала ничего не увидел, и

меня поразила мысль, что, пока я разговаривал с Хартли, я совсем забыл о море, забыл, что оно так близко, и теперь, полуслепой среди этих грозных скал, чувствовал себя растерянным, сбитым с толку.

Хартли как сквозь землю провалилась, — очевидно, она, карабкаясь и прыгая с проворством двадцатилетней, успела скрыться где-то в скалах, окружающих мою маленькую лужайку. Я крикнул: «Хартли!» — и голос мой прозвучал мрачно, как предостережение. В какую сторону она пошла? Удобного пути к шоссе отсюда не было ни справа, ни слева, ни со стороны деревни, ни со стороны башни. В этой синей мгле только и было что беспорядочно изломанные каменные складки, да скользкие озерки, да неожиданно глубокие расселины. Я стоял и прислушивался, надеясь, что она откликнется или выдаст свое присутствие каким-нибудь неосторожным движением.

То, что сперва показалось тишиной, теперь обернулось множеством мельчайших звуков, но ни один из них не мог мне сказать, куда девалась Хартли. Был слабый шуршащий плеск — это маленькие волны набегали на подножие моего утеса, отступали и набегали снова. Был далекий шелест машин на шоссе у отеля «Во-

рон». Был еле слышный звон, — возможно, это после вина звенело у меня в ушах. И еще был ритмичный свистящий шум, перемежающийся гулким эхом, — звук воды, убегающей из Миннова Котла.

Мысль о Минновом Котле вселила в меня новый страх: умеет ли Хартли плавать? До этого у меня еще не сложилось четкого представления, что она могла, выбежав из дома, сразу броситься в море. Она ведь кричала: «Лучше мне умереть». Думала ли она за эти годы о самоубийстве, могла ли не думать? Опытный пловец едва ли бросился бы в спокойное море с расчетом утонуть. Но человеку, не умеющему плавать, смерть-избавление вполне могла представиться в образе моря. Умеет она плавать или нет? В детстве, когда море для нас обоих было далекой мечтой, она плавать не научилась. Купаться в черном канале нам и в голову не приходило. Я, правда, стал неплохим пловцом уже в четырнадцать лет, когда ездил в Уэльс с мистером Макдауэлом. В нашем первом разговоре в Ниблетсе Хартли упомянула, что Бен не умеет плавать, но о себе не сказала ничего. Неужели же она кинулась из моих объятий, от моего обмана, прямо в вечный покой морских глубин?

С этими мыслями я лез по скалам вправо, в сторону деревни, ведь Хартли, если бы устремилась домой, инстинктивно повернула бы в эту сторону. Выйти на шоссе легче было бы мимо башни, потому что на пути к деревне между шоссе и берегом пролегал глубокий овраг — не бог весть какое препятствие при дневном свете, но в темноте безусловно опасный. Хартли, впрочем, могла этого и не знать. Я карабкался и скользил, снова окликал ее и теперь мог кое-что разглядеть в рассеянном полумраке. Светила вечерняя звезда, еще какие-то звезды и уже побледневшая луна. Я молился — пусть она упадет и растянет сухожилие, тогда я снесу ее обратно в дом и никуда не пущу, а этот дьявол пусть делает что хочет.

Продвигаться по скалам быстро было невозможно, они громоздились без какого-либо порядка или системы. Никогда еще я так не ощущал их бессмысленности. Я все старался держаться ближе к морю, но скалы упорно сводили мои усилия на нет — не злонамеренно, а из-за этой самой неразберихи, и я то соскальзывал в заросшее водорослями озерко, то передо мной вставала гладкая отвесная стена или зияли черные расщелины и ямы. Почему-то я был уверен, что над морем светло, и мне хотелось окинуть его

взглядом, убедиться, что не темнеет там голова тонущей женщины, не молотят водную гладь ее беспомощные руки. Я тихо постанывал, хватаясь за острые выступы, изредка выкрикивал ее имя глухим совиным криком и наконец неожиданно очутился на гладкой вершине высокого утеса прямо над водой. Я выпрямился и обозрел море. На его светящейся, подернутой рябью поверхности не было ничего, кроме расплывчатых желтых отражений луны, уже готовой окунуться в воду, и вечерней звезды. Небо еще было дымчато-синее, еще не утонуло в черной синеве ночи. За большим зубчатым фонарем вечерней звезды едва проглядывалось несколько звезд-малюток. Я повернулся спиною к морю. Теперь я ощущал, каким теплом веет воздух и скалы после знобкого холода в моем доме. Скалы тянулись вдаль почти бесцветными грудами над чернотой провалов. За ними было шоссе, а вдалеке мерцали редкие огоньки деревни и фермы Аморн. Я еще раз крикнул, теперь уже громче: «Хартли! Хартли! Отзовись, я к тебе приду». Отзовись, и я приду — да, в этом вся суть. Но ответа не было, только тишина, сотканная из мельчайших звуков.

Что же делать дальше? Удалось ли Хартли перебраться через овраг на шоссе? Может быть,

эти скалы знакомы ей лучше, чем мне. Может быть, они с Беном устраивали здесь пикники. Вот уж правда, что чужой брак — потемки. Что там творится? Что, если излияния Хартли были всего лишь больными фантазиями? Что на самом деле думает Бен? Я решил выйти на шоссе и двинуться в сторону башни. За пять минут я одолел овраг и побежал обратно, не переставая звать Хартли, миновал свой дом и достиг поворота, откуда видны были огни отеля «Ворон». Пусто, ни души. Теперь окончательно стемнело, и лазать по скалам представлялось бесцельным. Где Хартли? Уже дома, или лежит без сознания в какой-нибудь темной впадине среди скал, или того хуже? Что же делать? Чего я безусловно не мог сделать, так это вернуться в Шрафф-Энд, задуть свечи и улечься спать.

Стало ясно, что придется идти в Ниблетс — либо для того, чтобы, подслушав, удостовериться, что Хартли вернулась, либо… вторая возможность оставалась туманной. Я опять повернул и быстро зашагал к деревне. Я заметил, что на мне все еще мой ирландский свитер, а мне уже было жарко, и я, стянув свитер, засунул его за камень с надписью «Нарроудин» и заспешил дальше, на ходу заправляя рубашку в брюки. Я

думал было пройти более длинной, безопасной дорогой — мимо пристани и в гору по опушке, чтобы подойти к коттеджу сзади, но слишком сильна была моя тревога, и я, как обычно, свернул наискось по тропинке к деревне. Три желтых фонаря освещали безлюдную улицу, по которой я бежал мимо темной запертой лавки и под висячей вывеской с изображением геральдического черного льва. Трактир тоже закрылся, лишь в редких окнах горел свет, в деревне ложились рано. Самый звук моих бегущих шагов выражал нетерпение и страх. Я добежал до церкви и, задыхаясь, стал подниматься в гору. Здесь фонарей не было, дорога лежала черная, затененная близким лесом. Я замедлил шаг и увидел, что уже почти достиг цели. Вот и огни Ниблетса, дверь открыта настежь, а вот у калитки, глядя на дорогу, лицом ко мне стоит Бен.

Прятаться было поздно, да у меня и не возникло такого желания. Мелочные уловки казались неуместными, и мелькнула надежда, что больше они не понадобятся. Я заспешил дальше, к Бену, который тем временем вышел за калитку и вглядывался в меня, возможно подумав, что черная фигура на дороге — его жена.

— Хартли вернулась?

Бен уставился на меня, и я подумал: какое идиотство, он называет ее Мэри, наверно, никогда и не слышал ее настоящего имени.

— Мэри вернулась?

— Нет. Где она?

Свет из окна и открытой двери падал на коротко стриженную круглую мальчишечью голову Бена и на его синюю военного покроя летнюю куртку. Вид у него был встрепанный и молодой, и на секунду я увидел в нем не «дьявола» из страшных рассказов Хартли, а заботливого молодого мужа, обеспокоенного тем, не случилось ли с его женой какое несчастье.

— Я встретил ее в деревне и пригласил зайти ко мне выпить стаканчик, но она зашла только на минутку, а потом сказала, что пойдет домой короткой дорогой по скалам, а после ее ухода я вдруг спохватился — что, если она упала и растянула сухожилие.

Прозвучало это слабенько, фальшиво.

— Короткой дорогой по скалам? — Предположение это было нелепое, но Бен, по-видимому, страшно встревожился, потому что не стал опровергать его и даже забыл о враждебности. — По тем скалам, что возле вашего дома? Там она могла упасть, да. Надо пойти поглядеть, а то… Стойте, я

захвачу фонарь.

Он пошел к дому, а я отвернулся от окна и освещенных ступенек и стал вглядываться в дорогу, по которой пришел. Через минуту я увидел темную фигуру. Это была Хартли. Она медленно поднималась в гору.

Несколько мыслей столкнулись у меня в мозгу. Нельзя было сюда приходить, ведь этим я свел на нет любую отговорку, какую Хартли могла придумать, чтобы объяснить свое позднее возвращение. И еще: необходимо предупредить ее, что я сказал Бену, что она ко мне заходила. Так или иначе надо теперь остаться с ними, чтобы защитить ее от Бена. И мучительное сознание, что это невозможно. И еще: а что, если побежать ей навстречу, схватить ее за руку и силой увести, бежать куда угодно, через деревню, в поле. Переночевать на ферме Аморн, а завтра с утра поездом в Лондон. Или попроситься на любой грузовик — в Манчестер, Йорк, Бристоль, Кардифф, Глазго, Карлайл. Это тоже было невозможно по причинам, еще не совсем мне ясным. (Нет при себе денег, Бен увяжется следом, она побоится и не поедет и пр. и пр.) И еще: к черту, пусть будет семейная ссора, самая жестокая, самая гнусная. Один раз Хартли ко мне прибежала. Прибежит и

еще раз. Надо только подождать.

Все эти мысли промелькнули за какие-нибудь четыре секунды, пока я со всех ног бежал к Хартли. Я не коснулся ее; я проговорил, понизив голос, очень быстро, но отчетливо:

— Прости, я так беспокоился, я сказал ему, что мы случайно встретились в деревне и я зазвал тебя выпить, а потом ты пошла домой по скалам. Сейчас я не могу остаться, но ты приходи ко мне, поскорей. Приходи поскорей и насовсем. Здесь тебе больше нельзя жить. Я буду ждать тебя каждый день.

Лица Хартли мне не было видно, но вся ее фигура выражала не столько страх, сколько последнюю степень удрученности и страдания, уже перешагнувшего через страх, уже смирившегося. Казалось, она промокла насквозь, словно и вправду утонула и это явилась ее тень.

Бен тем временем уже вернулся к калитке, я крикнул:

— Вот она, пришла! — И мы с Хартли двинулись к нему.

Бен вышел на улицу. Когда мы подошли, он сказал:

— Ну ладно. Тогда, значит, до свидания.

Повернулся и пошел к дому, словно не сомне-

ваясь, что Хартли последует за ним. Я придержал калитку. Она прошла мимо меня с поникшей головой, как утопленница.

Была минута, когда я готов был догнать ее, ворваться вместе с нею в дом, сесть, завязать разговор, потребовать кофе. Но нет, это только повредило бы ей. Все пошло прахом. Дверь захлопнулась.

Теперь мне не хотелось подслушивать, у меня и любопытства почти не осталось, ужас и отвращение отбили у меня охоту заглянуть в этот дом, в этот брак. Все мне опротивело — и я сам, и он, и даже она.

Я пошел домой не быстро и не медленно, не забыл по дороге забрать мой свитер, намокший от росы. В доме было темно. Свечи снова упали и догорели на деревянном столе — прожгли в нем длинные темные желобки, которые остались там навсегда, как напоминание об этой ужасной ночи.

История 4

То, о чем я сейчас расскажу и о чем рассказал на предыдущих страницах, записано не по следам событий, а много позже. Поэтому оно обдумано глубже и изложено более связно, чем если бы я продолжал вести дневник. Случилось так, что одно время смена событий почти не оставляла мне времени для дневника, хотя то, что мне предстоит описать сегодня, немного напоминает интермедию (пожалуй, комическую). Однако в том, что касается фактов (слышу вопрос Джеймса: а что такое, в сущности, факты?), мой роман, родившийся из воспоминаний, точен и правдив. В частности, я, может быть в силу моей профессии, превосходно запоминаю диалоги, и я уверен, что магнитофонная запись нашего с Хартли разговора при свечах лишь очень немного отличалась бы от того, как я его здесь передал. Я, конечно, привел его в сокращенном варианте, но ничего существенного не упустил и слова употребил те самые, что были произнесены. Да и многие разговоры, переданные в этой книге, как уже состоявшиеся, так и еще предстоящие, крепко

запечатлелись в моей памяти и в моем сердце.

Вернувшись домой в описанный вечер, я без сил лег в постель и заснул. (Корейские мидии я так и не съел и утром выкинул их.) Проснулся в половине десятого, под шум дождя. Английская погода опять преподнесла мне сцену с волшебным превращением. Над морем одновременно с плотной завесой дождя повис прозрачный серый свет. Дождь в этом свете был виден как решетка, каждая капля круглилась, как бусины моей занавески. Так она и висела, чуть вибрируя в светящемся сером воздухе, а дом гудел, как машина, от неумолчного стука по крыше. Я встал, побродил по кухне и приготовил чай, упрямо и угрюмо, как зверь, отмахиваясь от необходимости что-то обдумать. Я не спрашивал себя, что произошло в Ниблетсе после моего ухода. Скоро все это уже будет древней историей. Потом я посидел в красной комнате, так же угрюмо отвернувшись от света дождливого утра. Я решил, что, насильственно приблизив критическую минуту, все же кое-чего достиг. И право же, сейчас мне ничего не нужно делать, а только ждать. Она придет, не может не прийти. А если… если все же не придет, на этот случай я уже строил исподволь новые планы. Я испробую другие средства. Я подожду. И с этим

решением я обрел какой-то непрочный, неуютный покой.

Немного позже, на второй или третий день моей самовольной передышки, подобно призраку, которого ждали, появился Гилберт Опиан. Почему я почти не удивился, когда после робкого короткого звонка на пороге возник нервно улыбающийся Гилберт, а за ним, в конце дамбы — его желтая машина? Как ни странно, я уже составил некий план, требовавший участия кого-нибудь вроде Гилберта, и лучшего кандидата нечего было желать. Наконец-то судьба пришла мне на помощь.

— Лиззи?

— Нет.

Тем лучше. Дождь лил по-прежнему. Я изобразил удивление и досаду:

— Тогда что?

— Можно мне войти, о царь теней? А то мне дождь затекает за шиворот.

Я прошел с ним обратно в кухню, где до его прихода ел диетическое шоколадное печенье, запивая его овалтином. Одной из особенностей моего промежуточного состояния было то, что с половины одиннадцатого утра и до конца дня я должен был то и дело что-нибудь жевать. В крас-

ной комнате пылал камин, живые, подвижные очертания огня плясали за открытой дверью, отбрасывая дрожащий свет в завешенную дождем кухню.

С Гилберта текло.

— Ну так что?

— Дорогой мой, Лиззи меня бросила.

— И ты…

— Я решил приехать к тебе. Просто не мог удержаться. Так хотелось рассказать тебе про Лиззи, словно бы обязан был это сделать. Она ведь больной человек, то есть душевнобольной. Она опять безумно в тебя влюблена, это рецидив, я его опасался. И один из симптомов — отвращение ко мне. Надо думать, наше сожительство и, вообще-то, было весьма неустойчивым чудом. Так или иначе, теперь с этим покончено, наша идиллия рухнула, наш дом разбомблен. У меня нет крыши над головой. Она ушла. Я даже не знаю, где она.

— Здесь ее, во всяком случае, нет.

— О, я не…

— Ты, наверно, думаешь, что это моя вина, для того и приехал, чтобы сказать мне это?

— Нет-нет, я никого не виню. Судьба, возможно — Бог или я сам. Битва жизни, и как в ней побеждать. Не гожусь я на роль воина. Она ушла, и мне

уже не верится, что она могла меня любить и что мы создали дом и вместе выбирали вещи, как все люди. Нет, я просто подумал: съезжу-ка я к тебе. Ты всегда был для меня магнитом, а теперь я старею, и плевать мне, что люди думают и как отшивают меня, попробовать-то можно, жаль только, что в молодости не был посмелее. Как я к тебе отношусь — тебе известно, ну ладно, ладно, ты это презираешь, тебе это гадко, противно, хотя на самом-то деле любой, кого хоть кто-нибудь любит, должен быть благодарен, ну а в общем, я сейчас без работы, вот и решил — съезжу к тебе, повидаю, может, ты оставишь меня погостить, и я мог бы оказаться полезным. Не могу я сидеть дома один, без нее, когда все напоминает…

— Полезным?

— Ну да, я мог бы готовить или убирать комнаты, всякую работу делать, что придется. Я всегда чувствовал, что должен кому-то принадлежать, понимаешь — как бы даже юридически быть чьим-то имуществом, без всяких, понимаешь, претензий или прав. У меня, мне кажется, душа раба. Может, я в каком-нибудь предыдущем воплощении был русским крепостным, дворовым, мне эта мысль нравится. Очень, наверно, было уютно, работа легкая, целуешь барина в плечико

да спишь на печке.

— Ты хочешь быть у меня дворовым?

— Хочу, ваша милость. Если желаете, могу жить в собачьей конуре.

— Ладно, я тебя нанимаю.

Так начался своеобразный кусочек моей жизни, на который я, как ни странно, оглядываюсь с грустной нежностью — потому, возможно, что это было затишье перед такой страшной бурей. Гилберт в роли крепостного даже пришелся мне по душе. В прошлом его раболепство мешало мне уважать его, но его преданность доказывала наличие у него кое-каких здравых понятий. И даже на этой стадии он бывал полезен, а позже стал просто необходим. Жизнь моя упорядочилась. Гилберт убрал весь дом, даже ванну отчистил. Я пошел на то, чтобы его кулинарные достижения являли собой некий компромисс между его вкусами и моими. Низвести его до своего уровня простоты я не мог, жестоко было бы и стараться. Сардинки с гренками и бананы со сливками не отвечали его представлению о сытном завтраке, а я со своей стороны терпеть не мог его любимые жирные галльские блюда. Мы ели отлично заправленные салаты из свежей зелени и молодую картошку, к которой я питаю особое пристрастие

(она наконец-то появилась в лавке). Я разрешил ему сочинять вегетарианские супы и овощные рагу и научил готовить оладьи по-японски — в этом искусстве он сразу меня превзошел. И еще разрешил ему печь пирожные. Он ходил за покупками в деревню и привозил испанское вино из «Ворона», где забавы ради изображал из себя моего дворецкого. Спал он на большом продавленном диване во внутренней комнате на нижнем этаже, среди плавника. Диван был сырой, но я уступил ему грелку.

Каждый день я купался — когда на солнце, когда под дождем — и чувствовал, что весь насквозь пропитался морем. Когда светило солнце, я подолгу оставался на скалах. Гилберт сторожил у парадной двери и ходил смотреть почту, но никто к нам не заходил и Хартли не писала. Я опять принялся собирать камни — выковыривал их из расщелин, выуживал в озерках и приносил на лужайку, а там Гилберт помогал мне выкладывать бордюр. Эти камни, такие приятные на ощупь, такие разные, каждый со своим рисунком, радовали меня, словно были маленьким безобидным племенем, которое я обнаружил в пустыне. Многие из них восхищали искусством, в простоте своей недоступным никакому

художнику: светло-серые с тонкими розовыми прожилками, черные с замысловатым белым узором, коричневые с лиловыми эллипсами, полосатые, в крапинку, в клеточку, безупречно гладкие даже там, где многовековая работа моря оставила на них легкие зазубрины и ямки. Все больше и больше их накапливалось в доме — на столе палисандрового дерева и на подоконнике у меня в спальне.

Гилберту тоже хотелось собирать камни и рвать цветы, но стоило ему ступить на скалы в своих лондонских ботинках, подбитых кожей, как он тут же падал. Он купил себе в деревне парусиновые туфли на резине, но и это не помогло. В море он, конечно, и не совался. Зато пилил дрова и таскал их в дом, и эта работа, в его глазах отчасти символическая, доставляла ему большое удовлетворение. С утра до ночи он придумывал себе какие-то дела. Занавеску из бус до блеска промыл с порошком «ВИМ», сняв с нее слой чуть липкой грязи, к которой я успел привыкнуть. Так мы недолгое время жили вдвоем, каждый во власти своих иллюзий, и вдвоем катились назад, к первобытной простоте, к одержимости, граничащей с фетишизмом.

Когда мне надоедало разыскивать камни, я

шел на «мост», под которым сердитые волны врывались в Миннов Котел, и подолгу сидел там, свесив босые ноги в летучую радугу брызг. С печально-сладким чувством неотвратимости грядущего я наблюдал, как волны, устремляясь в эту глубокую, загадочно круглую яму, разрушаются в кипящей схватке встречных потоков. А с началом отлива Котел превращался в столь же неистовый водоворот, вода закручивалась вихревой спиралью, в отчаянном усилии поскорее вырваться на волю через узкий просвет под аркой, а там ее в лоб встречал ветер, налетавший с моря. Ветер в эти дни дул не переставая, и, когда он крепчал, волны стонали, ударяясь о скалы, и всасывались во все расселины с оглушительным шелестом, и я, каждым нервом отзываясь на все эти звуки, начал от них уставать. Никогда бы я не поверил, что шум моря может мне быть неприятен, однако порой, особенно по ночам, он действовал на меня угнетающе.

Вечерами я сидел у огня в красной комнате. Гилберт обычно сидел на кухне, наслаждаясь своей ролью слуги. (Подозреваю, что он был бы не прочь нарядиться горничной, но резонно полагал, что это мне не понравится.) Иногда он сидел со мной, бессловесный, как собака, поглядывал

на меня и вращал глазами по своей непонятной привычке. Иногда мы понемножку разговаривали. В свете лампы он временами становился до жути похож на Уилфрида Даннинга. Сходство это, разумеется, объясняется тем, что Гилберт бессознательно подражал мимике своего кумира. Но мои натянутые, настороженные нервы ощущали в этом нечто большее, нечто сродни явлению с того света. Если так, то к чести Гилберта, что ему досталась роль медиума. Мы вспоминали прошлое, говорили об Уилфриде и о Клемент, о минувших днях. Общее прошлое — это кое-что да значит. И я думал о Клемент. Ведь, по справедливости, это Клемент сплавила воедино мою жизнь и создала меня, и о ней должна бы быть написана эта книга. Но в таких делах справедливости нет, или, вернее, справедливость жестока.

— Чарльз, дорогой мой.

— Да?

— Ничего, если я спрошу? Ты правда любил Клемент или только Клемент любила тебя? Говорили всякое.

— Конечно, я любил Клемент.

Да, к концу я ее полюбил. А сначала? Я любил ее красоту, ее славу, ее талант, ее помощь. Нашел бы я Хартли, если бы мною не завладела Клемент?

Клемент длилась столько лет. Только она и была постоянной величиной, и зачеркнула ее только смерть. Я был ее юным любовником, ее творением, ее деловым компаньоном, без пяти минут ее мужем (никто другой не мог претендовать и на такое определение), а в последние годы — ее немолодым, неизменно ей преданным сыном. Моя любовь к Клемент со всеми ее метаморфозами — одно из главных достижений моей жизни, эта любовь, которая столько раз почти угасала, но так до конца и не угасла. Настанет ли день, когда я буду сидеть у огня с Хартли и рассказывать ей про Клемент? Поймет ли она, захочет ли слушать? Как это кажется важно — для продления собственной жизни раскрыть себя перед кем-то, оправдать себя, перебрать в памяти прежние увлечения.

— Чарльз?

— Да?

— Сегодня в трактире я слышал любопытную вещь.

— Вот как?

— Этот шофер, который у тебя работал, Фредди Аркрайт, он, оказывается, брат хозяина, он на Троицу приезжает сюда.

— Вот как?

Стыд, вина, еще один демонский след.

— Забавно, правда, как люди возвращаются в нашу жизнь?

— Да.

— Чарльз, дорогой мой.

— Да?

— Если б ты жил с Лиззи, я мог бы быть у вас дворецким. Ты выпить хочешь?

— Нет, спасибо.

— А мне можно? Хорошо бы отучиться от вина, это же символ разврата, доказательство, что ты — раб. Влюбленность — это тоже вид рабства, глупость, как подумаешь, просто помешательство. Превращаешь другого человека в бога. Не может это быть хорошо. Слава Создателю, из этой ловушки я выбрался. Истинная любовь — чувство свободное и нормальное. Наваждение, бред — есть ли способ от них избавиться? Мы с Лиззи много об этом говорили. Истинная любовь — это как брак, когда сошла первая позолота. Или она приходит с годами, как моя любовь к тебе, дорогой мой, только ты не желаешь об этом знать. Отрадно чувствовать, как она не похожа на прежнюю жадность. Не то чтобы я уже ничего не хотел для себя, но к тому идет. Любовь. О господи, как часто мы произносили это слово в театре и

как мало о ней задумывались.

— Фредди остановится в трактире?

— Нет, на ферме Аморн. Там все Аркрайты живут из той семьи. Славный мальчик. Ты знал, что он «такой»?

— Нет.

— А в моей молодости «таким» приходилось ох как трудно.

И разумеется, все это время — беседовал ли я с Гилбертом, или вспоминал Клемент, или смотрел, как волны насмерть разбиваются в Минновом Котле, — я думал о Хартли, и ждал ее, и гадал, долго ли еще выдержат мои нервы. Я уже решил в общих чертах, каким будет мой следующий шаг, если она не подаст знака, но суеверный страх удерживал меня от разработки подробных планов, пока я не почувствую, что пришло время изменить мир силой. Я непрестанно ощущал Хартли, ощущал ее живое присутствие, она была со мной, как Христос был со мной, когда я был ребенком. Я думал о ней упорно, но думал, опять-таки из суеверного страха, неспешно, уважительно-абстрактно. Воспоминаниям из далекого прошлого я давал невозбранно посещать меня и уноситься прочь. А вот от настоящего с его ужасами и от пропасти, заполненной долгими

годами мучений, мое воображение брезгливо отворачивалось. Я не хотел, чтобы ее страдания заполонили меня, не хотел тратить душевные силы на ненависть к Бену. Скоро все это уже будет не важно. И я обращался к прошлому, когда Хартли была незамутненным источником моей невинной любви, вспоминал ее такой, какой она была, когда я видел в ней мое будущее, всю мою жизнь, что была у меня отнята и все же словно существовала где-то в виде утаенной возможности.

Но я еще не успел решить, что пора положить конец моему ожиданию и ее молчанию, когда произошло нечто еще, совсем уж неожиданное и необычайное.

Возможно, я описал мой странный мирный tête-à-tête с Гилбертом так, словно он длился много недель, на самом же деле он исчислялся днями. В последний из этих дней, в тот день, когда tête-à-tête разом кончился, я с утра не находил себе места от тревоги. Чтобы отделаться от Гилберта, я повесил на шею бинокль и ушел на скалы наблюдать птиц, а также с мыслью, что, может быть, увижу тюленей, потому что Гилберт сказал, что одного, кажется, видел. Но когда я добрался до вершины моего миниатюрного утеса, на меня напал страх, показавшийся мне знакомым. На-

чать с того, что у меня закружилась голова, точно до поверхности воды от меня было не двенадцать футов, а все сто, и я был вынужден сесть. Потом я ощутил нервную потребность внимательно разглядеть в бинокль поверхность моря; но высматривал я не тюленей.

Разумеется, все эти дни я знал, что приближается нечто пугающее — необходимость предпринять нечто, что мне угодно было именовать спасением, предпринять хоть что-нибудь в ответ на грозное молчание Хартли, о причинах которого я еще не хотел задумываться. Когда врываешься в дом, чтобы вызволить заложника, которого сторожит убийца, как поведет себя убийца, как поведет себя заложник? Вот этот-то страх, возможно, и заполнил сейчас огромную пустую сцену. День был солнечный, прохладный, ветреный. Море — темно-синее, неспокойное, небо бледное, и на нем, низко над горизонтом, протянулось, как шелковый лоскут, длинное, с матовым блеском, рыжеватое облако. На мне был ирландский свитер, подарок Дорис. Я стал изучать море в бинокль. С нарастающей тревогой я обшаривал его беспокойную, в белых хлопьях поверхность, уже понимая, что ищу и готов вот-вот увидеть мое змееголовое морское чудовище. Я

отложил бинокль — сердце колотилось, стучало все быстрее, как хёсиги, которые я в последний раз слышал в темноватом от коричневого тумана зале Музея Уоллеса.

Неспешно, чтобы убедиться, что ничего и не увижу, и успокоиться, я снова принялся разглядывать пляшущее море. Было на нем два-три пятна потемнее — всплывшие водоросли, какая-то деревяшка снова и снова вставала торчком, летали чайки со стеклянными глазами, баклан стремительно пересек круг окуляра. Без какой бы то ни было особой причины я пересел так, чтобы мой зачарованный, хорошо вооруженный глаз мог скользить то по морю, то по суше. Я увидел, как волны разбиваются о желтые скалы у подножия башни, как вспененная вода вытекает обратно из щелей и расселин. Мокрые скалы, потом сухие скалы, потом пучки мясистой, похожей на кактус травы, потом дрожащий на ветру кустик белого, как из папиросной бумаги, горицвета. Потом низкая трава возле башни. Потом основание самой башни, огромные обтесанные камни в мазках желтого лишайника, разграниченные черными швами. Потом, выше по стене башни, — человеческая нога в поношенной спортивной туфле.

При виде этой ноги я выронил бинокль и, за-

слонив лоб ладонью, отчетливо разглядел на полпути между вершиной башни и землей фигуру, лягушкой распластавшуюся на стене, руками и ногами нащупывающую опоры, все ниже и ниже. Вообще-то, человеку ловкому и тренированному влезть на эту башню должно быть не так уж трудно, но я перепугался до ужаса и опять схватился за бинокль. Альпинист успел спуститься еще ниже и наконец спрыгнул на землю, а когда я опять поймал его в объектив, он уже повернулся спиной к башне и стоял, прислонившись к ней, раскинув руки и глядя в мою сторону, и вдруг мне вспомнилась другая фигура, выхваченная светом автомобильных фар и пригвожденная к скале. Моим незваным гостем, смотревшим теперь прямо в стекла бинокля, оказался мальчик или, вернее, юноша, едва переступивший порог цветущей, но еще не определившейся возмужалости. На нем были коричневые штаны, закатанные до колен, и белая футболка с круглым вырезом и какой-то надписью на груди. Лицо у него было очень худое, веснушчатая бледность подчеркивала немного слащавую розовость полураскрытых губ. Светлые, с рыжим отливом волосы, не столько вьющиеся, сколько растрепанные, свисали до плеч, отдельные пряди даже пристали к грубому

камню за его головой. Он разглядывал меня с явным интересом. Незваные гости забираются в мои владения нередко, но этот был особенный.

Я поспешно встал и двинулся в его сторону. Почему-то было ясно, что именно я должен подойти к нему, а не он ко мне. Бинокль мешал мне, я пристроил его на высоком выступе скалы и полез дальше, на время потеряв мальчика из поля зрения. Я прошел по Миннову мосту. Последний подъем из ложбинки до уровня башни дался мне нелегко, и я сильно запыхался, пока долез до травы и остановился, тяжело дыша и борясь с желанием сразу сесть на землю. Мальчик тем временем отошел от башни и стоял у дальнего края лужайки, на фоне моря.

Я заговорил первым:

— Это не… ты, случайно, не… тебя зовут Титус?

— Да, сэр.

Удивительно было все, а уж это «сэр» и подавно меня изумило. Я сел, и он, подойдя, тоже сел, сперва опустившись на колени и не сводя с меня глаз. Я смотрел на его быстрое дыхание, на грязную футболку с надписью «Лидсский университет», на влажную розовость губ и волоски на шраме. Жестом, исполненным бессознательной грации, он прижал руку к сердцу.

— А вы… вы мистер Эрроуби, Чарльз Эрроуби?

— Да.

Глаза у него были не очень большие, но длинные, узкие, серо-синие, как камешки сквозь воду. Подвижный веснушчатый лоб напряженно морщился. Я, конечно, с первой же секунды уловил его сходство с Хартли, призрачное сходство, витавшее над ним, как сходство с Уилфридом Даннингом витало над Гилбертом. И конечно, заметил заячью губу.

Следующие его слова были:

— Вы мой отец?

Я сидел, обхватив руками колени, подогнув ноги вбок. А тут мною овладело желание вскочить, бить себя в грудь, громогласно изъявлять свои чувства, словно его вопрос требовал не ответа, а шумного одобрения. Овладело мною также четкое искушение сказать «да», сразу же перечеркнутое запретом: этому мальчику я не должен лгать ни в чем, никогда. Но почему я ни разу не подумал о таком появлении, о таком вопросе, почему не ожидал его? Я был смущен, застигнут врасплох, я не знал, как с ним говорить.

— Нет.

Прозвучало это слабо, лицо его не изменилось, он по-прежнему хмурился. Я знал, как важно

сейчас же, немедля убедить его. Любая путаница в этом деле была чревата новыми ужасами. Я поднялся на колени, так что наши глаза оказались на одном уровне.

— Нет. Поверь мне. Нет.

Он опустил глаза, губы надулись и задрожали, как у ребенка. Потом он втянул нижнюю губу и прикусил ее. Потом быстрым движением, от которого я вздрогнул, поднялся на ноги, и я тоже встал. Теперь мы стояли рядом. Он был чуть выше меня. Мысли мои разбегались в бескрайние дали.

Он уже снова хмурился, глядел сурово, откинув голову на длинной тонкой шее.

— Простите. То есть простите, что побеспокоил.

— Что ты, Титус, я так рад, что ты явился!

Это было первое из того многого, что я хотел ему сказать и мысленно уже отметал и распределял по степени важности. Я протянул ему руку.

Немного удивленно, но с достоинством и даже как бы официально он пожал мне руку, после чего отступил на шаг.

— Простите. Это был глупый вопрос. Пожалуй, даже… неуместный.

Эта легкая заминка мгновенно, как то свой-

ственно человеческой речи, вызвала мысль о его природном уме. Я отметил также его четкий, почти старательный выговор, при том что в голосе его звучали монотонные интонации ливерпульских «Битлз», которые теперь поголовно усвоила молодежь и с которыми так неохотно расставались мои начинающие актеры.

Я сказал:

— Нет, что ты. Вовсе нет. — И спросил: — Ты, значит, студент? Учишься в Лидсском университете?

Он опять нахмурился, провел пальцем по шраму, сощурил глаза, сжал губы.

— Нет, ни в каком я не в университете. А это я просто купил. Они продаются в магазинах, кому угодно. — И еще добавил для ясности: — Там и американские продаются, Флорида, Калифорния. Кто хочет, тот и покупай.

— Понимаю. — Потом из вихря мыслей вырвался самый естественный, хоть и затруднительный вопрос: — Ты у них уже побывал?

— У кого «у них»?

— У отца с матерью.

Он покраснел, лицо и шея жарко вспыхнули.

— Это вы про мистера и миссис Фич?

— Да.

Я испугался этой неловкости, этой ранимости, испугался, как бы не сделать ему больно, точно малому беспомощному птенцу.

— Они мне не отец с матерью.

— Да, я знаю, они тебя усыновили.

— Я искал своих родителей. Но не удалось — никаких записей нет. А должны бы быть, я имею право знать. Но ничего не нашлось. А я вроде надеялся…

— Что я твой отец?

Он сказал сурово и немного чопорно:

— Что как-нибудь да я это выясню. Но, по правде-то, я не воображал…

— Ты был у них, в их коттедже, где они живут?

Он холодно и отчужденно глянул на меня своими мокрыми камешками.

— Нет. Я приехал сюда только повидать вас. Теперь я уйду.

Панический страх сдавил мне горло. Ведь мальчик может уйти, исчезнуть, никогда больше не появиться.

— Неужели же ты их не навестишь, не дашь о себе знать? Они о тебе очень беспокоятся, они были бы тебе рады.

— Нет. Простите, что побеспокоил вас.

— Как ты узнал, где я живу?

— Прочел в одном журнале, музыкальном. — И добавил: — Вы знаменитый человек, про вас многие знают.

— Расскажи мне о себе. Чем ты сейчас занимаешься?

— Ничем. Я на пособии. Безработный. Как все.

— А колледж ты окончил? Ты ведь изучал электричество?

— Нет. Тот колледж закрылся, а в другой я не попал. Да я и не пробовал. Перешел на пособие. Как все.

— Как ты сюда добрался?

— На попутных. Простите, что побеспокоил, отнял у вас время. Я пойду.

— Не спеши. Я тебя выведу на шоссе. Здесь пройти легче. Но сначала, будь добр, принеси мой бинокль, я его оставил вон на той скале.

Моя просьба, казалось, порадовала Титуса. В одно мгновение он скатился по крутому склону, на который я поднялся с таким трудом, и помчался к мосту, прыгая с камня на камень, как коза. Мне нужно было хоть несколько минут, чтобы подумать. Ох, до чего же он скользкий, и обидчивый, и гордый. Нужно его удержать, нужно проявить такт, осмотрительность, ласку, твердость. Найти к нему подход. Теперь, чувствовал я, все, все за-

висит от Титуса, он — центр мира, он — ключ ко всему. Меня распирало от горьких и радостных чувств, которые я должен был скрывать. Так легко обидеть, спугнуть, оттолкнуть.

Вернулся он даже слишком скоро, последний подъем одолел бегом, рискуя сломать себе шею, и протянул мне бинокль с улыбкой, первой улыбкой, которую я увидел на этом замкнутом, недоверчивом, еще полудетском лице.

— Прошу. А вы знаете, что там в скалах спрятан вполне приличный столик?

Я и забыл про тот столик.

— Ах да, спасибо. Может быть, со временем ты поможешь мне его вытащить. Слушай, ты не уходи, мне хочется с тобой поговорить. Оставайся позавтракать. Ты же, наверно, голоден.

Что он голоден, было ясно без слов. На меня нахлынуло сочувствие, жалость, все те сильные, опасные и радостные эмоции, что втайне ждали своего часа.

Он колебался.

— Спасибо. Ну что ж, ладно, чего-нибудь перекушу. Вообще-то, мне надо быть в… другом месте.

Я не очень-то поверил в это «другое место». Между тем легкой дорогой мы почти дошли до шоссе. Взобрались на последнюю скалу и по-

стояли, глядя на Воронову бухту, где море было спокойнее, не такое глубокое и ярко-бирюзового цвета.

— Красота здесь, верно? Тебе знакомы эти места?

— Нет. — И вдруг простер вперед руки. — Ах, море, море, оно такое чудесное.

— Да, тут я с тобой согласен. Я вырос в глубине Англии. Ты, кажется, тоже?

— Да. — Он повернулся ко мне. — Скажите…

— Да?

— Почему вы… вы сюда приехали из-за моей матери?

Столько нужно было выяснить, столько объяснить, и притом осторожно, в должном порядке. Я сказал:

— Меня радует, что ты называешь ее матерью. Она ведь и правда тебе мать, хоть и приемная. Это реально, в этом есть правда. Они твои настоящие родители, и отрицать это было бы несправедливо.

— Это-то я понимаю. Но тут есть… еще кое-что…

— Расскажи.

Это была ошибка, я поторопился.

Он нахмурился и повторил свой вопрос:

— Вы приехали сюда из-за моей матери, то есть за ней, или как?

Тон суровый, обличающий. Я смотрел на него, борясь с искушением обнять его за плечи.

— Нет, поверь мне, я приехал не за ней, как ты выразился, я попал сюда чисто случайно. Получилось удивительное совпадение. Я не знал, что она здесь. Я вообще не знал, где она. Я уже очень, очень давно потерял ее из виду. А когда встретил ее снова, был ошарашен, буквально сражен такой случайностью.

— Да уж, странная случайность.

— Ты мне не веришь?

— Да нет, верю, пожалуй. Пусть так. Все равно это не мое дело.

— Я сказал тебе правду.

— Ладно, не имеет значения. Они вообще не имеют значения.

— Кто «они»?

— Бен и Мэри. Никакого значения. Вы были так любезны, предложили мне закусить. Может, найдется кусок сыра или сэндвич. А то мне пора отчаливать.

«Бен и Мэри» — это тоже был сюрприз. Мы медленно двинулись по шоссе к дому. По дороге Титус забрал две пластиковые сумки, оставлен-

ные на обочине.

— Все твое земное достояние?

— Есть и еще немножко.

Когда мы свернули на дамбу, из парадной двери вышел Гилберт и застыл на месте. Я сообразил, что ни ему, ни Лиззи ни слова не говорил о существовании Титуса. Гилберту было известно то, что я рассказал Лиззи о своем «первом романе», но его попытки посмаковать эту тему я решительно пресек. Титус словно и не имел отношения к этой истории, даже в рассказах самой Хартли он оставался скорее призраком, и вдруг теперь…

Приближаясь к Гилберту, я сказал бодрым, звучным голосом:

— Привет, знакомьтесь, это Титус Фич, сын моих здешних друзей. А это мистер Опиан, он помогает мне по хозяйству.

Тон и самые слова были выбраны с таким расчетом, чтобы оставить Гилберта, хотя бы на время, за неким необозначенным барьером. В глазах Гилберта уже появилось что-то этакое томное, задумчивое. Такого рода осложнения мне не требовались, и к тому же я, говоря по правде, уже стал проникаться к Титусу чувством собственника.

— Входи, — сказал я и, проталкивая Титуса в

дверь, слегка лягнул Гилберта в порядке предостережения. — Гилберт, ты бы не подал нам с Титусом завтрак в красную комнату? Выпьем, Титус?

Он выпил пива, я — белого вина, а Гилберт, облачившись в передник, проворно и бесшумно накрыл бамбуковый стол на двоих и подал завтрак. Думаю, он был бы рад прислуживать мне таким образом каждый день, но не предлагал этого, боясь навлечь на себя мое недовольство. Сыгранная им роль безупречного чинного дворецкого послужила бы украшением любой салонной комедии. В какой-то момент, глянув на меня поверх головы Титуса, он подмигнул. Я ответил ему ледяным взглядом. Мы поели ветчины, тушенной в сладком соусе по рецепту Гилберта, с салатом из консервированных итальянских помидоров и зелени. (Эти превосходные помидоры лучше всего есть холодными. Можно их и подогреть, но ни в коем случае не доводить до кипения, это отбивает у них всю пикантность.) На второе были вишни с Гилбертовыми бисквитно-лимонными пирожными, а затем — глостерский сыр с жестким печеньем, которое Гилберт еще подсушил в духовке. Наш дворецкий, повинуясь телепатическому приказу, вскорости удалился.

Пили мы белое вино. Титус уплетал все подряд за обе щеки.

Пока Гилберт оставался в поле зрения, я вел легкую светскую беседу.

— Ты, наверно, держишься левых взглядов, как вся молодежь?

— Я? Нет.

— Политикой интересуешься?

— Партийной политикой? Нет.

— Ну а какой-нибудь политикой?

Он сказал, что его интересует охрана китов. Поговорили на эту тему.

— И еще я против загрязнения среды. По-моему, ядерные отходы — это тихий ужас.

Поговорили и об этом.

Когда опять наступила пауза, я спросил:

— Значит, ты приехал не для того, чтобы повидать их?

— Нет, я приехал повидать вас.

— Задать мне тот вопрос?

— Да. Спасибо, что ответили. Больше я, конечно, не буду к вам приставать.

— Брось, глупости это. Но, значит, ты… ты к ним не зайдешь, не дашь им знать, что ты здесь?

— Нет.

— А может, следовало бы? Я, конечно, понимаю,

такие встречи не всегда приятны. У меня вот отношения с родителями были самые хорошие, но…

— А у меня с моими — самые плохие.

От вина у него развязался язык. Я успел кое-что обдумать. У меня уже вызревал некий план. Тот самый план.

— И с ним, и с ней?

— Да. Она-то не так уж была виновата. Это он меня невзлюбил. А она держала его сторону. Иначе, наверно, не могла.

— Она боялась.

— А выходило гнусно. Он не велел ей со мной разговаривать. И ей всегда казалось, что она должна ему врать, хоть по мелочам, лишь бы жить было полегче. Вот это меня бесило.

— Нельзя тебе осуждать ее.

Это было очень важно.

— Может, он был и неплохой человек. Но ему ничего не удавалось, это его угнетало, и он, может быть, озлобился и отыгрывался на нас. Она ничего не могла поделать. Впрочем, я преувеличиваю. Бывало и хорошее, и не очень плохое, но плохое-то было… самое главное.

Опять заминка. Может быть, отзвук чужого голоса. Чьего?

— Понимаю.

— И в любую минуту все могло начаться снова-здоро́во. Слово, бывало, боишься сказать.

Я содрогнулся, представив себе, как ломали эту гордую детскую душу. Вспомнились слова Хартли про бледненького, вечно молчащего ребенка. Бедная Хартли! Видеть все это и быть бессильной помочь.

— Твоя мать, наверно, очень страдала за тебя и вместе с тобой.

Он бросил на меня хмурый, подозрительный взгляд, но не ответил. При ближайшем рассмотрении он показался мне менее красивым, а может — просто более грязным и неопрятным. Кожа у него была очень белая, как у всех рыжих, но длинные спутанные волосы были давно не мыты и лоснились. В худом, со впалыми щеками лице было что-то волчье. Серо-синие глаза (в крапинках, как один из моих камней) светились холодным блеском, но все время щурились. Возможно, он был близорук. У него был маленький красивый рот, почти не обезображенный после операции, и решительный прямой носик, какому позавидовала бы и девушка. Он был аккуратно выбрит, на подбородке поблескивали рыжевато-золотистые точки, но темная щетинка на шраме, недося-

гаемая для бритвы, производила впечатление крошечных несимметричных усов. Шрама он явно стеснялся, то и дело подносил к нему палец. А пальцы были грязные, с обкусанными ногтями.

— Да еще история со мной тут примешалась.

Я не пытался привлечь к себе внимание, просто мне не хотелось, чтобы он ушел от этой темы.

— А-а, да, это тоже время от времени всплывало. Но вы не делайте такого вывода, будто…

— Тебе, вероятно, известно, что в молодости я очень любил твою мать. С тех пор я ее не видел до того дня, как встретил здесь…

— То-то, наверно, изменилась!

— Я и до сих пор ее люблю, но любовниками мы не были.

— А мне-то что. Простите, это я не так сказал, наверно, спьяну. Я к тому, что вы мне таких вещей не рассказывайте, мне это неинтересно. Я верю, что вы не мой отец, ну и все, точка. Только мне все-таки непонятно, как вы здесь очутились. Вы с ними-то видаетесь, или как?

— Да, изредка.

— Я вас очень прошу, не говорите им…

— Про тебя? Ладно, не буду. Имей в виду, я и сейчас очень хорошо отношусь к твоей матери, принимаю в ней участие. Я хотел бы ей помочь.

Жизнь у нее, мне кажется, сложилась не очень счастливо.

— Какая ни на есть, а жизнь.

— Это как понимать?

— А так, что ничего мы не знаем. Скорее всего, жизнь почти у всех никудышная. Это только в молодости ждешь чего-то другого. Она малость фантазерка, мечтательница, наверно, все женщины такие. Ну, мне пора. Спасибо за угощение.

Я рассмеялся.

— Нет, так скоро я тебя не отпущу. Мне еще много чего хочется о тебе узнать. Вот ты говоришь, твой колледж закрылся. А тебе чем хотелось бы заняться, если б ты мог выбирать?

— Раньше я думал, что хорошо бы как-нибудь работать с животными. Животных я люблю.

— А к электричеству не тянет вернуться?

— О, это было, только чтобы уйти из дому. Как дали стипендию, я сразу смотался. Нет, теперь, если б можно выбирать, я бы лучше стал актером.

Вот это была удача так удача — впору закричать от радости.

— Актером? А ведь с этим я могу тебе помочь.

Он вспыхнул и произнес вызывающе четко:

— Я не за этим сюда приехал. Я к вам приехал не за помощью и не выпрашивать чего-то.

Приехал, чтобы спросить. Это было нелегко. Вы — знаменитость. Я долго это обдумывал. Надеялся доискаться правды с другого конца, через комитет по усыновлению, но не вышло. А помощь ваша мне не нужна, и в вашу жизнь втираться я не хочу. Не захотел бы, даже если б вы были моим отцом.

Он встал, словно собрался в дорогу. Я тоже встал. Так хотелось обнять его.

— Хорошо, будь по-твоему. Но не уходи так сразу. Может, хочешь выкупаться?

— В море? Ой, еще бы!

— Так ты немножко отдохни, потом пойдем купаться, потом попьем чаю…

— Лучше прямо сейчас купаться.

Мы вышли на лужайку, не взглянув на Гилберта, который почтительно встал, когда мы проходили через кухню, и по скалам добрались до вершины моего утеса. Теперь море было под нами всего в каких-нибудь десяти футах. Оно было спокойнее, чем утром, полупрозрачная вода под ярким солнцем была бутылочно-зеленая.

— Это вы здесь купаетесь? Ух, здорово. И можно прямо нырять? Терпеть не могу купаться, где мелко.

Сейчас было не до скучных наставлений. Я не

намерен был толковать Титусу о трудностях и опасностях.

— Да, тут самое лучшее место.

Титус уже рвался в воду.

— А я и плавки не захватил.

— Ничего, тут никто не увидит, я всегда купаюсь нагишом.

Титус уже стянул с себя футболку Лидсского университета, под которой обнаружились густые вьющиеся золотисто-рыжие волосы, и, прыгая на месте, стаскивал штаны. Меня разобрал радостный смех, и я тоже стал поспешно раздеваться. Но я еще не успел расстегнуть рубашку, как всплеск от его безупречного прыжка обрызгал сверкающие скалы. Следом за ним прыгнул и я, чуть зашелся от холода, но через несколько секунд уже согрелся и возликовал.

Мой лакей Опиан вынес нам полотенца, после чего, казалось, скромно ретировался, но я заметил, что он спрятался за ближайшей скалой и подглядывает за Титусом. А тот явно работал на публику, он резвился, как дельфин, — белый, быстрый, вертлявый, так и мелькали руки, пятки, подвижные плечи, бледные ягодицы и мокрое, отчаянно смеющееся лицо, облепленное волосами как водорослями. Волосы, потемнев от

воды, сразу изменили его внешность — темные, прямые, приставшие к шее и плечам, спадавшие на глаза, они делали его похожим на женщину. Сознавая это, он прелестно встряхивал головой, отводил со лба тяжелые намокшие пряди. Плавал он без видимых усилий, легким кролем, которого я так и не постиг, и в морской своей радости раз за разом нырял стойком, исчезал под водой, а потом с победным кличем выныривал в другом месте. То же упоение владело и мной, и море смеялось, и вкус соленой воды был вкусом надежды и счастья. Я хохотал, фыркал, кувыркался. Столкнувшись со своим собратом-водяным, крикнул:

— Ну что, доволен, что приехал ко мне?

— Да, да, да!

Конечно же, он с легкостью взобрался на мой маленький отвесный утес. Ведь и на башне он держался, как муха на потолке, когда я в первый раз увидел его. Мне-то пришлось нелегко, и я пережил одну скверную минуту, но утаил это от него. Рановато еще было терять престиж и выставляться стариком. Я хотел, чтобы он принял меня как товарища. Искупавшись, он поспал в тени нависшей скалы. После этого мы попили чаю и основательно закусили. А уж после этого он согласился у меня переночевать, но с тем,

чтобы назавтра уйти рано утром. Я тем временем конфисковал и спрятал его две пластиковые сумки на случай, если ему взбредет в голову удрать. Я заглянул в сумки, имущества там оказалось немного: бритвенные принадлежности, белье, приличная полосатая рубашка, галстук, пара туфель, свернутая в комок смятая бумажная куртка. Дорогие запонки в бархатном футляре. Любовная лирика Данте — итальянский и английский тексты, в роскошном издании с рискованными гравюрами. Эти два последних предмета заставили меня призадуматься.

Гилберта, успевшего сообразить, кто явился к нам в гости, обуревало, разумеется, сильнейшее волнение и любопытство.

— Как ты намерен с ним поступить?

— Потерпи, и узнаешь.

— Я-то знаю, как хотел бы поступить.

— Об одном прошу — не вмешивайся.

— Ладно, ладно, я свое место знаю.

По моему совету Титус вымыл голову пресной водой. Волосы его, когда он их вытер и расчесал, превратились в густую шапку из темно-рыжих кудряшек, что очень его красило. Вечером он надел запасную, почти чистую рубашку, но без запонок. А Гилберт тайком выстирал футболку

Лидсского университета.

Мы с Титусом обедали при свечах. Он вдруг сказал:

— До чего же романтично!

И мы оба расхохотались.

Титус теперь с любопытством поглядывал на Гилберта, очень уж безупречно игравшего свою роль, но вопросов не задавал. Я сам как бы вскользь пояснил:

— Он старый актер, сейчас у него полоса невезения, — решив, что до поры до времени большего не требуется.

За обедом мы говорили о театре и о телевидении. Оказалось, что Титус пересмотрел чуть ли не все лондонские постановки, знает по именам многих актеров. Он рассказал мне, что в школе сам ставил «Чудо-Крайтона». Он не хвастал, о своих замыслах говорил сдержанно. «Это пока только так, идея». Я не навязывался с советами. Мы много смеялись.

Лег он рано, я устроил ему постель на диванных подушках среди своих книг в нижней комнате. К книгам он проявил живой интерес, но свечу задул очень скоро. (Я наблюдал за ним, стоя на лестнице.) За утренним чаем он согласился остаться до второго завтрака. Лакею Гилберту

я разрешил пить чай вместе с нами и принять участие в разговоре. Я не хотел, чтобы он стал для Титуса интригующей тайной.

После первого завтрака я отправил Титуса купаться и обследовать скалы, добавив, что мне нужно заняться моими «записями». Я решил: пусть отдохнет от моего общества, и, во всяком случае, надо дать ему время подумать. Титус был явно не прочь порезвиться и в одиночестве. Из своего окна я со смешанным чувством симпатии и зависти следил за его быстрыми, ловкими передвижениями. Наконец он вернулся и притащил отбившийся от дома столик, торжественно подняв его одной рукой высоко в воздух. Он расставил столик на лужайке и предложил там же и поесть, но это я отверг. (По части еды на свежем воздухе я согласен с мистером Найтли[30].) Гилберт тем временем побывал в лавке и под моим руководством приготовил вполне съедобную солянку с мороженым окунем.

За вторым завтраком, когда мы с Титусом опять остались с глазу на глаз, я решил, что пора поговорить о деле. Не век же завоевывать его доверие и бояться его спугнуть. Да и нервы у меня начи-

---

[30] Примечания: 30

Мистер Найтли — персонаж романа Джейн Остин «Эмма» (1815).

нали сдавать, так мне не терпелось узнать свою судьбу.

— Послушай-ка, Титус, у меня к тебе серьезный разговор.

Он насторожился, положил ладонь на стол, словно готовый вскочить и умчаться.

— Я хочу, чтобы ты у меня пожил, хотя бы недолго. Сейчас объясню зачем. Я хочу, чтобы ты повидался с матерью.

Глаза его сузились, красивые губы презрительно скривились.

— Не пойду я туда.

— Я этого и не предлагаю. Она сама сюда придет.

— Значит, вы им сказали. А обещали, что не скажете.

— Ничего я им не сказал. Я хотел сначала поговорить с тобой. Если она узнает, что ты здесь, она сама придет. А ему можно и не говорить.

— Она все равно скажет. Она ему всегда все говорит.

— На этот раз не скажет, это я беру на себя. Я просто хочу, чтобы она тебя здесь навестила. Да и что он может сделать, если б и узнал? Поневоле притворится, что очень рад. Так что бояться нечего.

— А я не боюсь!

Начало получилось неудачное, я сбился, не находил слов и в воображении уже слышал за дверью рычание Бена.

Титус произнес задумчиво:

— Его, пожалуй, можно пожалеть. У него тоже, наверно, жизнь сложилась не очень счастливо, это я ваши слова повторяю.

— А я повторю твои: какая ни на есть, а жизнь. Если ты его жалеешь, так тем более должен пожалеть ее. Она столько о тебе горевала. Неужели ты не хочешь ее повидать, не доставишь ей такую радость?

— Ей ничем не доставишь радость. Никогда.

Категоричность этого заявления ужаснула меня.

— Ты хоть попробуй! — взмолился я. — Ты хоть представь себе, каково это ей — не знать, что с тобой сталось.

— Ну ладно, можете ей сказать, что видели меня.

— Этого мало. Ты сам должен с ней повидаться. Она должна прийти сюда.

Титус и сегодня был очень хорош. На щеках легкий загар, блестящие волосы мягко обрамляют резкое, костлявое лицо. Его отвратная футболка

высохла, но он опять надел полосатую рубашку, не застегнув ее доверху.

— Послушайте, вот вы сказали, что видаетесь с ними «изредка». Мне это непонятно. Вы ведь всегда были у нас в доме пугалом, хуже черта. Я помню, какой у нее делался отчаянный взгляд, стоило упомянуть ваше имя. Что же они, простили вас? Ну хорошо, ничего такого вы не сделали, но вы понимаете, о чем я. А теперь вы ходите к ним играть в бридж, так, что ли?

— Нет, конечно. Он, вероятно, и сейчас меня терпеть не может, и кто его знает, чему он верит, а чему нет. Возможно, он и сам не знает. Но я склоняюсь к мысли, что это не имеет значения.

— Почему бы?

— Потому что я думаю, что твоя мать от него уйдет.

— Вот уж нет. Никогда. Ни под каким видом.

— А я думаю, что при известных условиях ушла бы. Ушла бы, если бы поняла, что это возможно, а раз возможно, то и не трудно.

— И куда бы она ушла?

— Ко мне.

— Значит, вы… вы этого хотите?

— Да.

— И хотите, чтобы я убедил мою мать уйти от

моего отца? Ну, знаете, не слишком ли многого вы ждете в уплату за обед и ужин?

— И еще за чай и первый завтрак.

— Экая наглость.

Меньше всего я чувствовал себя наглецом. Весь наш разговор шел на фальшивых нотах, все звучало огрубленно, упрощенно. Я боялся взять слишком возвышенный тон, чтобы не вызвать резкого отпора, и в то же время хотел внушить ему, что говорю вполне серьезно. Меня бесило, что вот я держу в руке все куски от головоломки, но еще дадут ли мне ее сложить?

— Мой милый Титус, ни в чем убеждать твою мать тебе не придется. Я хочу, чтобы ты повидал ее, потому что знаю, каким это будет для нее облегчением. И хочу, чтобы ты повидал ее здесь, потому что больше негде.

— Выходит, я нужен как приманка, как какой-то… заложник?

Это было до ужаса близко к истине, но я упустил еще нечто очень важное, о чем следовало сказать с самого начала.

— Да нет же. Слушай внимательно. Я хочу тебе еще что-то сказать. Как ты думаешь, почему я уговорил тебя задержаться здесь, а не отпустил сразу?

— Я уж подумываю, не потому ли, что хотите, чтобы моя мать пришла к вам из-за меня.

От столь всеобъемлющей формулировки я уже не мог отговориться еще одним «нет». В ней заключалась правда, но правда безобидная, невинная, даже чудесная. Я смотрел ему в глаза и надеялся, что вдруг он в таком свете ее и увидит. Но он, может быть умышленно, глядел по-прежнему недоверчиво и жестко. Я сказал, не давая ему отвести глаза и весь сжавшись, как перед прыжком:

— Да, я этого хочу. Но хочу отчасти из-за тебя, ради тебя, ты к этому тоже причастен, ты теперь ко всему причастен. Ты — это, может быть, самое главное.

— Это в каком же смысле?

— Я уговаривал тебя остаться, потому что ты мне понравился.

— Большое спасибо.

— А ты остался, потому что тебе понравился я.

— И жратва. И купание. Вот и прекрасно.

— Считай хоть так. Пока это наметки, не более того. Ты ищешь отца. Я ищу сына. Почему бы нам не поладить?

Он не выказал ни интереса, ни удивления.

— Насчет сына это вы, по-моему, только что

выдумали. А я ищу своего настоящего отца, и не потому, что отец мне так уж нужен, а просто чтобы избавиться от дурацкого любопытства, которое меня всю жизнь одолевало.

Нет, он совсем не такой, каким я его себе представлял, хотя я не мог бы ответить, почему представлял его себе тупицей. Возможно, виной тому был безнадежный тон, каким о нем рассказывала Хартли. Он умный, прелестный мальчик, и я в лепешку расшибусь, лишь бы завладеть им. Сначала им, а потом его матерью.

— Ну ладно, ты это обдумай. Это конкретное предложение, причем с моей стороны абсолютно серьезное. Понимаешь, это очень странно, в связи с моим давнишним отношением к твоей матери я как бы предназначен на роль твоего отца. Чепуха, конечно, но у тебя хватит ума понять чепуху. Ты мог бы быть моим сыном. Я не первый встречный. Судьба свела нас. И я мог бы тебе во многом помочь…

— Не нужны мне ни ваши деньги, ни ваша протекция, я не затем сюда приехал!

— Это ты уже говорил, это пройденный этап, так что на этот счет помолчи. Я хочу увести твою мать, хочу наконец дать ей немного радости, хоть ты и считаешь это невозможным. И хочу, чтобы

ты тоже в этом участвовал. Ради нее. Ради меня. Большего я не предлагаю. Свою долю участия можешь определить сам.

— Вы хотите сказать, что увезли бы нас обоих и мы стали бы жить втроем на какой-нибудь вилле на юге Франции?

— Да. Если бы ты захотел, почему бы и нет?

Он сдавленно тявкнул, потом театральным жестом развел руками, уже не такими грязными, как вчера.

— Вы ее любите?

— Да.

— Но вы же ее не знаете.

— Как ни странно, мой милый, я ее знаю.

— Н-ну, — сказал Титус, и в его взгляде я наконец прочел восхищение, — тогда ладно… давайте, пригласите ее сюда повидаться со мной.

Я лежал в высокой сочной зеленой траве, уже покрытой розовым пухом цветения. Трава была прохладная, очень сухая и при каждом моем движении поскрипывала. Я лежал в лесу за тропинкой, на той же высоте, что и сад Фичей. В руке у меня было карманное зеркальце. Хартли только что вышла в сад.

Титус не дал никаких обещаний на будущее. Какие бы чувства ни волновали его, он сумел

их скрыть за напускным цинизмом. Он притворился, будто для него вся моя затея — чуть ли не шутка, игра, в которой он готов участвовать в угоду мне, забавы ради, чтобы посмотреть, «что из этого выйдет». Он согласился еще пожить у меня, «раз делать ему все равно нечего», и повидаться с матерью. Но тут же добавил, уже более мрачно, что почти уверен, что она не придет.

Это еще предстояло проверить; и мне еще было неясно, как он относится к ней после всех тех лет, когда она «держала сторону Бена», потому что «иначе не могла». Есть ли тут куда вместить прощение? Милосердие, лояльность, любовь? Что, если я вмешиваюсь в нечто мало сказать неизвестное, но и опасное? Поддерживало меня подобие оптимизма, рожденного мимолетной грезой самого Титуса о том, как мы втроем будем жить на юге Франции. Если он от меня не отступится, а она придет, тогда всех нас ждет грандиозное духовное обновление, вроде того восторга, который мы с Титусом пережили в море. Я могу сделать ее счастливой — и сделаю. И ему тоже подарю счастье, успех и свободу.

Когда Титус согласился, как он снова цинично выразился, «стать заложником», у меня возник еще один вопрос. Получив от него согласие по-

жить у меня «еще немножко», если уж мне так хочется, я спросил нарочито небрежно:

— Тебя, значит, никто нигде не ждет? А то, может, есть какая-нибудь девушка?

Он ответил холодно:

— Нет. Была одна. Но с этим покончено.

И тогда я подумал: может, он пришел ко мне покинутый, отчаявшийся? Если так, тогда он, может, тем более готов принять мои авансы, мою любовь?

Дальнейшее произошло в конце того же дня. Ждать дольше не было смысла. Я даже в общих чертах обрисовал свой план Гилберту, но часть его все же скрыл, даже от Титуса. Гилберт, в предвкушении важной роли, уже раньше для него намеченной, без зазрения совести наслаждался всей ситуацией. До появления Хартли я прождал в лесу около часа. «Джентльмен» не показывался.

Я не спеша рассмотрел ее. На ней было знакомое желтое платье с коричневыми цветочками и поверх него — свободный синий халат. Ступала она неловко, ссутулившись, понурив голову, засунув руки в карманы халата. Она спустилась в нижний конец сада и постояла там, тупо, как животное, уставившись взглядом в траву. Потом, подняв голову, поглядела на море, это воплоще-

ние недостижимой свободы. Потом вынула одну руку из кармана и коснулась лица. Очевидно, заплакала. Сил не было на это смотреть.

Я осторожно сдвинул крышку с карманного зеркальца и, наклонившись вперед, поймал им солнце. Яркий зайчик, похожий на живого зверька, тотчас заиграл на траве, чуть ниже сада. Не давая ему приблизиться к дому, я медленно повел его вверх, к ее ногам, и через минуту увидел, что она его заметила и поняла, что это такое. В детстве мы любили подшучивать так друг над другом. На мгновение я послал зайчика ей в лицо, а потом стал уводить его по траве, прочерчивая линию от нее к лесу.

Хартли стояла неподвижно, глядя в мою сторону. Я поднялся на колени и покачал цветущую ветку ольхи. Хартли поднесла руку к горлу, потом повернулась и пошла в гору, к дому. Я чуть не вскрикнул от разочарования, но тут же сообразил, что она, очевидно, пошла проверить, где находится и чем занимается Бен. Может быть, он склеивает фарфор. Минута тревожного ожидания — и вот она опять появилась, уже без халата, подбежала к изгороди, пролезла под проволокой и побежала ко мне.

Я чуть отступил на прогалину под старым ясе-

нем. Большой его сук сломало — наверно, зимней бурей, и солнце падало в просвет на пышный, в бледных цветах, куст шиповника и ковер из отцветающего купыря и лютиков. Я стоял под ясенем, его гладкий серый ствол будил какое-то ускользающее воспоминание детства, связанное с Хартли. А она уже раздвигала руками крупные плоские соцветия ольхи. Вот она уже подошла ко мне — я заметил, что она инстинктивно старается держаться в тени деревьев.

Я обнял ее, и она не противилась, только вся застыла, склонив голову. Я провел рукой по ее спине, прижимая ее к себе, ощущая ее мягкое тепло, коленом касаясь ее колена. Она вздохнула, отвернула лицо, не подняла безжизненно повисших рук. Вдохнув тепло ее тела под тонким платьем, я закрыл глаза и чуть не забыл про свой план и как у меня мало времени.

— Хартли, родная моя, милая…

— Не надо было приходить.

— Я тебя люблю. — Я сел под деревом, прислонился к стволу и потянул ее к себе. Мне хотелось, чтобы она положила голову мне на грудь, вздохнула свободно. — Иди сюда. Мы с тобой часто так сидели, помнишь?

Но она не двигалась, стояла в пронизанной

солнцем тени, вздымая грудью пуговицы на платье, такая прелестная, так похожая на себя прежнюю, словно какой-то лесной волшебник вернул ей молодость.

Она опустилась на колени рядом со мной и схватила мою руку, глядя на меня огромными потемневшими глазами. Потом внезапно и нежно поднесла мою руку к губам и поцеловала.

Это так потрясло меня и растрогало, что я наконец опомнился. Надо было как можно скорее ее увести, а я еще и не приступил к объяснениям.

— Хартли, маленькая моя, ты меня любишь, как хорошо! Но слушай, мне тебе надо что-то сказать. Где он?

— Его нет дома. Это я только на всякий случай ходила проверить. Но не надо тебе было приходить…

— Куда он ушел? На сколько времени?

— Пошел договориться с одним человеком насчет собаки. Он еще не скоро вернется.

— Собаки?

— Да. Это далеко, на ферме Аморн. А погода такая хорошая, он решил пойти пешком.

— Пешком? Я думал, у него нога больная…

— Нога плохо гнется, быстро ходить он не может, но он любит ходить, и это ему полезно.

Понимаешь, в лавке висело объявление, они написали, что убьют собаку, если не найдется охотника ее взять, это валлийская колли, взрослая, не щенок. Овец стеречь она не научилась. Вот мы и решили, надо взглянуть. Позвонили им, разговаривали они хорошо, их фамилия Аркрайт.

— А-а, знаю, Аркрайт. А ты не пошла, решила остаться дома, вдруг я приду…

— Бен сказал, что лучше мне не ходить, а то переволнуюсь из-за собаки, он уж сам решит. Брать взрослую собаку всегда рискованно.

— Хартли, послушай, Титус вернулся. Он у меня.

Она отпустила мою руку и боком повалилась в траву.

— Не может быть…

— Да. *Его* он не хочет видеть, только тебя, а тебя очень хочет повидать. Пошли, пошли скорее…

— Титус… но почему он пришел к тебе? Господи, как странно, какой ужас…

— А я думал, ты обрадуешься.

— Но чтобы он пришел к тебе… ох, что же мне теперь делать, что делать…

Она разом превратилась в запуганного хнычущего ребенка.

— Пойдем, повидаешь его. Ну же, вставай. — Я

помог ей подняться. — Ты что, не хочешь повидать своего сына? Ведь это замечательно, что он вернулся.

— Да, замечательно… но мне отсюда нельзя отлучаться… Скажи ему, пусть придет сюда и пусть не говорит, что был у тебя…

— Сюда он не пойдет, в том-то все и дело! Ну же, Хартли, очнись, двигайся, действуй! Сюда он ни за что не пойдет, ты это знаешь. Пойдем, он нас ждет. За глаза успеешь повидать его, пока Бен не вернулся. Там под горой нас ждет машина.

Я стал тянуть ее к тропинке, но она упиралась, мало того — опять села на землю.

— Но ты скажи мне, Титус, он что…

— Ох, иди же! Если ты не хочешь, чтобы Титус сказал, что видел меня, ты лучше пойди и сама ему это скажи.

Этот довод, при всей его неясности, как будто подействовал на нее или хотя бы проник сквозь стену страха.

— Ну хорошо, но только на несколько минут, и ты сейчас же привези меня обратно!

— Да, да, да.

Я опять помог ей встать.

— И не надо выходить из леса, а то еще кто-нибудь увидит…

— Я думал, ты здесь ни с кем не знакома. Ну же, скорей!

Мы пустились вниз по лесной тропинке. Местами она вся заросла, мы спотыкались в полумраке, нас хлестали ветки, облепляли репейники, не давали пройти крошечные деревца, росшие прямо под ногами. Я готов был на крик кричать от этих идиотских задержек. Тело Хартли двигалось рядом со мной, неуклюже, толчками, словно я тащил под гору деревянную колоду.

Растерзанные, запыхавшиеся, мы выбрались на приморское шоссе. Машина Гилберта стояла на обочине. Завидев нас, он включил мотор и подогнал ее к нам задним ходом.

За несколько дней вольготной жизни у моря Гилберт преобразился. Он выглядел моложе, бодрее, даже белые кудри лежали более небрежно и естественно. В «Магазине для рыбаков» он приобрел спортивные туфли, легкие парусиновые брюки и просторный бумажный свитер, который и был на нем сейчас надет поверх белой рубашки.

То были для Гилберта счастливые дни. Он чувствовал себя нужным человеком. Он помогал мне завладеть женщиной — не Лиззи — и участвовал в приключении, в котором фигурировал

прелестный мальчик. Глаза его так и сверкали от распиравшей его энергии и любопытства. Я подсадил Хартли на заднее сиденье, сел с нею рядом и почему-то попытался представить себе, какими эти двое видят друг друга. Гилберт — упитанный, приятной наружности состоятельный джентльмен на отдыхе. Роль дворецкого забыта. Теперь он играет владельца яхты. А она… но нет, я не в силах был вообразить, какой представляется Гилберту моя любимая или какой он ожидал ее увидеть.

— Мой друг мистер Опиан. Миссис Фич. Жми, Гилберт.

Машина понеслась по шоссе, и Хартли повернулась ко мне, но ничего не сказала. Одной рукой она, может быть бессознательно, сжимала рукав моей куртки. Я отдыхал, вполне довольный тем, что ощущаю ее пальцы и ее колено. Глаза ее полиловели, на лице появилось то загадочное выражение, которое в молодости делало ее похожей на бесконечно пленительную дикарку. Сейчас оно казалось почти безумным. Я поймал себя на том, что блаженно улыбаюсь, так мне спокойно в закрытой машине, так радует ее скорость. Чувство счастливого избавления переполняло меня. Я беспечно улыбнулся Хартли.

Когда машина остановилась у дамбы, ей не захотелось вылезать.

— Он ведь знал, что я приеду? Почему он не мог выйти сюда, к машине?

— Хартли, голубка, слушайся меня.

Я помог ей выйти, а Гилберт, согласно моим инструкциям, погнал машину дальше. Она скрылась за поворотом в направлении отеля «Ворон».

Титусу я велел ждать на кухне, но не успели мы пройти и до середины дамбы, как он открыл парадную дверь.

До сих пор я был так занят техническими подробностями моего плана, что не успел толком подумать о том, какой будет эта встреча. Мои намерения перешагнули через нее, мои надежды возводили более стройное будущее. А теперь меня рывком вернуло в настоящее, к испуганному, смятенному сознанию того, что я натворил.

При виде Титуса Хартли встала как вкопанная, и лицо ее уродливо исказилось. Рот приоткрылся, углы его поползли вниз, как будто она вот-вот заплачет, глаза помутнели, а лоб был сморщенный, испещренный тенями, каким я его уже видел однажды; но выражало все это не изумление, не огромную грустную радость, а чувство вины и мольбу. И руки она бессознательно простерла не

чтобы обнять, а чтобы умилостивить.

Все это я мгновенно уловил, и мне стало так больно, что я чуть не крикнул: «Не надо, перестань!» Сострадание толкало меня вмешаться, как в неравный бой. Но я уже был отстранен от участия в этой сцене. Титус шел к Хартли хмурый, гордый, сощурив глаза, явно вознамерившись остаться непреклонно-спокойным и не выказать никаких чувств. Однако он был неспособен скрыть — это сквозило во всех его движениях, даже в походке, — что он склонен простить кающуюся грешницу. Подойдя к Хартли, он грубовато облапил ее и стал подгонять к дому. Он протолкнул ее в дверь, обеими руками упершись ей в спину. Я поспешил за ними следом.

Когда я вошел, они уже беседовали, стоя в прихожей, и мне подумалось — как это не похоже на свидание матери с сыном. Но почему, собственно? Семейные отношения бывают такие странные, натянутые. Или Хартли так и не сумела — или ей так и не дали — стать ему матерью? Что они могут сказать друг другу?

— Мы не знали, где ты, куда девался, мы так старались узнать, писали, расспрашивали…

(Словно Титус успел поставить ей в вину, что она его не нашла.)

— Да, да, я ничего, у меня все в порядке.

(Это — в ответ на еще не заданный вопрос.)

— И здоров, и работаешь, или все еще… Где ты живешь?

— Я безработный. Я нигде не живу.

— Мы оставили свой адрес, думали — вдруг ты его потерял и вдруг зайдешь туда. И я послала письмо…

— Ничего, Мэри, ничего.

Чтобы прервать этот разговор, который порядком меня раздражал (мне претило, что он успокаивает ее и называет Мэри), я сказал:

— Вы бы прошли на кухню. Выпить не хотите?

Сам я выпил бы охотно, а на их месте просто изнывал бы по глотку спиртного, но они, видимо, не ощущали такой потребности и мой вопрос пропустили мимо ушей.

Титус прошел в кухню, Хартли за ним, и они остановились у стола, держась за него и удрученно уставившись друг на друга. Лицо Хартли выражало робкую мольбу и страх, его лицо — пристыженную, брезгливую жалость. Боль заполнила комнату, как ощутимая преграда. Я смотрел на них, мучаясь желанием помочь, вмешаться.

— А поужинать не хотите? Давайте поужинаем,

поговорим…

Титус сказал:

— Адрес ваш я, конечно, не потерял.

Хартли сказала:

— Мне нельзя здесь оставаться. Может быть, пойдем к нам? Только не говори, что был здесь. Хочешь?..

Титус покачал головой.

Она продолжала:

— Бен не знает, что ты явился. Он пошел на одну ферму, узнать насчет собаки.

— Собаки? — переспросил Титус.

— Да, мы хотим завести собаку.

— Какой породы?

— Валлийская колли.

— Он приведет ее с собой?

— Не знаю.

Это хотя бы напоминало разговор на какую-то тему.

Мне надоело, что меня не видят и не слышат, и я крикнул:

— Давайте выпьем, давайте поужинаем!

Титус, не оглядываясь, отмахнулся от меня и сказал Хартли:

— Пошли сюда.

Она последовала за ним в красную комнату, и

он закрыл дверь у меня перед носом.

Тут до меня наконец дошло, что лучше оставить их одних. К тому же теперь, когда Хартли была здесь, надлежало подробно обдумать следующие шаги, опасные и решающие. Я постоял в прихожей, подумал, потом побежал наверх в гостиную и достал почтовую бумагу. Еще давно я нашел в каком-то ящике пачку листков со штампом «Шрафф-Энд» — очевидно, собственность миссис Чорни — и теперь написал на одном из этих глянцевитых листков:

Многоуважаемый мистер Фич!

Сообщаю, что Мэри у меня и Титус тоже.

Искренне Ваш

Чарльз Эрроуби.

Я сунул листок в конверт и выбежал из дома.

Меня немного удивило, что на дворе стоит теплый летний вечер. То ли в доме было холодно, то ли мне чудилось, что нормальное время должно было остановиться. Трава за шоссе была изумрудно-зеленая, торчащие из нее там и сям скалы сверкали, словно обсыпанные алмазами. Теплый воздух хлынул на меня волной, напоенной запахами земли, цветов, произрастания.

Я пробежал дамбу, свернул по шоссе в сторону башни и «Ворона», за поворот, откуда видна была бухта. Здесь, послушный моим указаниям, Гилберт остановил машину. Мне нужно было ее скрыть на тот случай, если позже понадобится что-нибудь соврать про нее в разговоре с Хартли.

Гилберт сидел на камне, глядя на ярко освещенную синюю воду. Он вскочил и подбежал ко мне.

— Гилберт, будь добр, свези это письмо и передай в Ниблетс, ну, ты помнишь, последний коттедж на той дороге.

— Слушаюсь, хозяин. Как там дела?

— Все хорошо. Езжай сейчас же, ладно? А потом возвращайся и жди здесь.

— А поужинать? В дом мне хоть можно войти?

Гилберт, снедаемый любопытством, жаждал быть в гуще событий.

Но это не входило в мои планы.

— Нет еще. Ты купи себе сэндвич в «Черном льве», а потом возвращайся сюда. Я еще не уверен, что будет дальше.

— Надеюсь, обойдется без кровопролития?

— Я тоже надеюсь. Ну же, поторопись.

— Но послушай…

— Езжай, ради бога.

— Могу я посидеть в трактире, пропустить ста-

канчик? Сил нет, хочется выпить.

— Можешь, но не долго. Четыре минуты.

Я поежился — недовольная физиономия Гилберта напомнила мне Фредди Аркрайта. А теперь куда ни плюнь — всюду Аркрайты, и Бен с ними заодно.

Я бегом пустился обратно, машина обогнала меня у дамбы. Я вошел в дом (там и правда было холодно), в кухне налил себе полстакана хереса. Подслушивать у двери в красную комнату не стал — вышел на лужайку, поднялся на невысокую скалу, с которой видно море, и отпил глоток хереса.

Пока все неплохо. Но как поведет себя Хартли, когда я поставлю вопрос ребром? И что сделает Бен, когда получит мою записку? А когда он ее получит? Если он в оба конца пройдет пешком да полчаса положит на собаку, дома он будет примерно в девять тридцать. Сейчас начало девятого. Я вспомнил, что проголодался. От хереса покруживалась голова. Но если эти окаянные Аркрайты отвезут его домой на машине, он может вернуться вскоре после половины девятого. С другой стороны, если он будет идти пешком с собакой, то может задержаться и до десяти или около того. И на что ему вдруг понадобилась со-

бака? Он что, хочет ее запрограммировать, чтобы кидалась на меня?

Подумав еще немного, я решил, что не так уж важно, в котором часу Бен вернется домой, поскольку сегодня он, вероятно, ничего не предпримет — сначала будет ждать, что Хартли и Титус вот-вот явятся, а потом просто скрежетать зубами. Я представил себе, что он, чувствуя, как в нем нарастает ярость, даже испытывает от этого мрачное удовлетворение. Что и говорить, несимпатичная личность.

Я допил херес и вернулся в дом. Из красной комнаты по-прежнему доносились приглушенные голоса, и мне подумалось — чем дольше они будут беседовать, тем лучше. Каждая лишняя минута связывает их все теснее и хоть немного сокращает опасный промежуток времени. Когда проголодаются, наверно, выйдут на кухню. Но похоже, что от волнения они не чувствуют голода.

А я, несмотря на мои страхи, был очень голоден. Я поел печенья и маслин, потом выскреб из кастрюли остатки солянки и, прихватив тарелку и бокал белого вина, снова пошел любоваться морем. Состояние у меня было очень странное — возбужденное, нервное, чуть пьяное, но голова ясная.

Однако едва я устроился на своей скале, как услышал голос Титуса. Он, видимо, не решался окликнуть меня «Чарльз!» или «Мистер Эрроуби!», а потому несколько раз прокричал: «Эй-эй!» — и еще поухал по-совиному.

Я думал было оставить эти крики без внимания, но потом решил, что не стоит, хотя опасаться появления Бена было еще рано. И вернулся на лужайку, балансируя тарелкой и бокалом.

Титус и Хартли стояли у задней двери, и на лице ее было смятенное, испуганное выражение, так хорошо мне знакомое.

Титус сказал:

— Вы знаете, Мэри говорит, ей пора домой. Я ей сказал, что времени вагон, но она хочет ехать сейчас, ничего?

Хартли сказала:

— Пожалуйста, можно подать машину немедленно?

Прозвучало это жестко, почти гневно.

Титус сказал:

— Я из той двери выглянул — машины нигде не видно, а она беспокоится.

— Беспокоиться нечего, — сказал я и вместе с ними вошел в кухню. — Может быть, все-таки поужинаем?

— Я не могу ждать, — сказала Хартли.

Короткий срок, отпущенный ей на Титуса, кончился, и жестокое, поработившее ее время, где властвовал муж, заставило ее забыть даже про Титуса. Опять вступил в свои права панический страх. Как я ненавидел этот свирепый, почти неумолимый страх, написанный на ее лице! Он делал ее безобразной. В лесу, когда она поцеловала мою руку, она была прекрасна.

Титус сказал:

— Ну давайте, где же машина, ей надо ехать домой.

Титус, видимо, забыл, что его задача — удержать ее в Шрафф-Энде. А скорее, просто заразился ее страхом. Я обрисовал ему положение слишком тактично, слишком туманно. Я высказал ему не все мои соображения, отчасти потому, что не был уверен, как он их воспримет. Я сказал, что, по-моему, Хартли захочет у меня остаться и ему надо только помочь мне уговорить ее. Но теперь я понял, что следовало выразиться яснее.

— Никуда не нужно ехать, — сказал я.

— Я и так пробыла дольше, чем собиралась, — сказала Хартли. — Он сказал, что вернется в полдесятого, но может вернуться и раньше. Так что, пожалуйста, мне надо ехать сейчас, сию же

минуту.

— Никуда ехать не нужно. Я послал Опиана с запиской, сказать, что ты здесь с Титусом, так что он не будет беспокоиться, он придет сюда. А потом мы вас всех отвезем обратно.

Титус свистнул. Он сразу оценил чудовищность того, что я сделал.

До Хартли смысл этого дошел не сразу.

— Значит, ты… ты ему сказал… нарочно сказал… ох, какой же ты злодей, какой дурак… ты не знаешь, не знаешь…

Слезы отчаяния и ярости навернулись ей на глаза, лицо пылало.

— Хартли, — сказал я, продолжая играть свою роль, однако же вполне искренне, — не бойся ты его так! Осточертело мне твое отношение к этому мерзавцу. Почему тебе кажется, что ты все время должна ему лгать? Почему тебе нельзя побыть здесь с Титусом, это же вполне естественно, и ничего предосудительного тут нет.

Титус поглядел на Хартли участливо, а на меня лукаво.

— Вы и его сюда пригласили? Ну и ну! — И добавил: — Письма-то он, конечно, еще не видел, ведь его еще нет дома.

Хартли, бросив взгляд на часы, тоже это сооб-

разила.

— Да-да, нельзя, чтобы он увидел письмо. Если поехать сейчас, мы еще успеем его перехватить. Тогда все обойдется. Лишь бы он не увидел письмо. Скорее давайте машину, скорее!

Я сказал нарочито спокойно:

— Мне очень жаль, но машины здесь нет. Она в гараже отеля «Ворон», у нее с мотором какие-то неполадки.

— А когда вернется? — спросил Титус.

— Не знаю. Скоро, наверно.

— Можно им позвонить?

— У меня нет телефона.

Хартли вскрикнула:

— Я пойду, пойду, если бегом, я еще поспею!

— Я могу сбегать, — сказал Титус.

— Нет, — оборвал я его свирепо. — Хартли, сядь и перестань психовать. Машина будет здесь с минуты на минуту. Но послушай. Я не хочу, чтобы ты возвращалась к нему, в его дом. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, со мной и с Титусом.

Я сделал Титусу знак глазами. У меня было такое ощущение, словно я по капле вливаю ей в голову разум.

Хартли села на стул. Она переводила взгляд с меня на Титуса, как испуганное животное. Я сел

рядом с ней. Она дрожала, и я заметил, что сквозь ужас в ее глазах забрезжило понимание. Внезапно в воздухе повеяло решительной схваткой.

Титус сказал:

— Она хочет домой. И я с ней пойду. Я так решил.

Я сказал, все еще стараясь протянуть время:

— Нет-нет, оставайтесь оба здесь. Хартли, милая, он будет знать, где ты, он не подумает, что ты утонула. Пусть приходит сюда, повидает Титуса здесь. Титус здесь живет. Титус, ведь тебе на самом-то деле не хочется туда идти?

Титус, явно расстроенный, повторил:

— Она хочет домой. Она не хочет, чтобы он увидел письмо. Время еще есть. Я мог бы добежать туда за двадцать минут. Ведь это сразу за деревней?

— Ох, сбегай, пожалуйста, — взмолилась Хартли. — Дверь не заперта, ты просто…

— Или сбегать в отель? Куда ближе?

Я сказал Титусу:

— А я хочу, чтобы он увидел письмо. И вы оба оставайтесь здесь. Что мы, его рабы? Я хочу освободить твою мать из этой клетки.

У Хартли вырвался горестный вопль.

— Почему вы хотите, чтобы он увидел пись-

мо? — спросил Титус. — Я ничего не понимаю, это какой-то заговор. Да, вы сказали, что надеетесь, что она захочет повидать меня здесь, и все такое. Но я не думал, что вы готовы пустить в ход насильственные средства.

— А я как раз и намерен пустить в ход насильственные средства.

— Нет, нет!

Хартли вскочила и метнулась к двери.

Я догнал ее, хотел схватить за плечо и надорвал вырез платья. Почувствовав это, она остановилась. Потом вернулась к столу, села и закрыла лицо руками.

Титус сказал:

— Послушайте, это мне не нравится. Нельзя держать ее здесь против воли.

— Я хочу, чтобы она решила сама, без нажима.

— Сама? Это она не может. Она давно забыла, что значит свобода выбора. Да если вы будете ее здесь держать, она от страха не сможет думать. Вы не понимаете, что это такое, ей недолго и с ума сойти. Я, наверно, не понял. Может, вы так и не сказали, но я думал, вы с ней как-то договорились. Я думал, она вроде как подготовлена. Нельзя заставить человека сразу бросить человека, с которым прожил всю жизнь.

— Почему? Когда бросают кого-то, с кем прожил всю жизнь, обычно это делается именно сразу, потому что иначе это вообще невозможно. Я помогаю ей сделать то, что она хочет сделать, но одна, без помощи, не может. Ясно?

— Не так чтобы очень.

— Она успокоится, соберется с мыслями, скоро, завтра.

— Завтра, здесь?

— Да.

— Вы продержите ее всю ночь?

— Да.

— А если он придет?

— Едва ли. Ты ведь меня спрашивал, так вот, могу ответить: я его не приглашал.

— О черт, что же он подумает?

— А мне в высокой степени плевать, что он подумает. Чем хуже подумает, тем лучше. Пусть думает все, что способно ему подсказать его гнусное воображение.

— Это и значит — разрушить до основания?

— Да.

— Ну и ну. — И после паузы: — По-моему, это непристойно. И мне не нравится, что вы говорите о ней, как будто она ребенок или душевнобольная. Я пошел купаться.

— Титус, не думай обо мне плохо… понимаешь…

— Да я не думаю о вас плохо, в каком-то смысле вы даже повергаете меня в восхищение. Просто сам бы я так не мог.

— Ты не побежишь за письмом?

— Нет. Да теперь уж, наверно, и поздно.

— И от меня не убежишь?

— И от вас не убегу.

И вышел через заднюю дверь.

На улице свет уже померк. Тени от скал тянулись по траве длинные-длинные. Я не стал смотреть на часы. Я подсел к Хартли.

Она отняла руки от лица и сидела мешком, уставясь глазами в стол. Надорванный вырез платья отогнулся треугольником. Мне был виден глубокий красноватый мазок загара от шеи вниз. Был виден ее бюстгальтер и округлость стянутых им грудей. И ее частое, почти горячечное дыхание.

Это и вправду было непристойно. С той самой минуты, как возник мой план, я был намерен удержать Хартли здесь, если потребуется — силой; но подробностей я себе не представил и почему-то надеялся, что стоит ей увидеть в моем доме Титуса, и в ее психике произойдет скачок, интуиция, нужная догадка: она увидит свою сво-

боду и возможность жить со мной и с Титусом. А уж если впереди замаячит свобода, вполне можно надеяться, что она придет ко мне, даже притом что Титус — величина неизвестная и нельзя знать, как он распорядится собственной свободой. Но пожалуй, я, вдохновленный его столь своевременным появлением, действительно поторопился. Последние полчаса были так ужасны, что решимость моя поколебалась и мне стало казаться, что лучше, пожалуй, все же отправить ее домой. Но как теперь это сделать? Бен почти наверняка вернулся и прочел мое письмо, и… моя затея так блестяще удалась, что я и сам оказался в ловушке. Теперь я посмотрел на часы. Было двадцать пять минут десятого.

Я взял ее руки, положил их одну на другую и прикрыл своей. Потом заглянул ей в лицо. Она не плакала. С невыразимым облегчением я встретил не тот злой, тревожный взгляд, которого так страшился, а другой взгляд, спокойный, мягкий и задумчивый; и она хоть и была грустна, но казалась моложе, больше напоминала себя прежнюю и выглядела живее, умнее, не такой апатичной. Я снова почувствовал себя увереннее. Возможно, это в ней проснулась свобода. Возможно, мои расчеты оправдались. Хартли нужно лечить,

вылечить ее душу. И в эту минуту я решил, что проявить сейчас слабость было бы роковой ошибкой. Нет, я должен идти напролом, должен быть тем героем, что поверг Титуса в восхищение.

— Я не отпущу тебя, Хартли, ни сегодня, ни вообще никогда. Сегодня-то тебе, во всяком случае, нельзя возвращаться. Письмо перехватывать поздно, он его уже прочел. Пусть думает что хочет. Зачем тебе ему лгать, бояться его? Мне это так больно, просто невыносимо. И Титусу тоже. Титус хочет быть с тобой, а с ним — нет. Скажи сама, что из этого следует? Титус мне по душе, а я ему. Почему бы Титусу не быть моим сыном, почему бы тебе не быть моей женой? Это судьба, Хартли, судьба. Почему Титус объявился именно сейчас, почему он пришел ко мне? Почему я вообще здесь оказался? Видишь, как поразительно все сошлось. Титусу так хотелось к тебе, но в Ниблетс он бы не пошел, ни за что. И ты была рада его увидеть, разве нет? И смогла с ним поговорить. Вы о чем говорили?

— О собаках.

— О собаках?

— Он вспоминал, какие у нас были собаки, когда он был маленький. Он любит животных.

— А-а, ну вот и хорошо. Хартли, вздохни свобод-

но, забудь, сбрось это все.

— Что сбросить?

— Да ты сама знаешь, ну, это бремя, эту никчемную бесплодную преданность, это бессмысленное самопожертвование. Ты ведь и ему портишь жизнь, покончи с этим, покончи с ним. А то ты какая-то полумертвая.

— Да, — произнесла она задумчиво. — Я и чувствую себя полумертвой. Да… часто. Наверно, многие так. Но жить можно и полумертвой и даже находить в жизни кое-что хорошее.

Ее задумчивый голос звучал для меня музыкой. Я задел в ней какую-то струну. Она заговорила об этом, о самом главном. Моя спящая красавица пробуждается.

— Ты, наверно, проголодалась. Выпей вина. Съешь солянку, там осталось немножко.

— Я только выпью вина. И кусочек хлеба.

— С сыром. И маслин возьми.

— Маслины я не люблю, я тебе уже говорила.

Она пожевала хлеба с сыром и отодвинула тарелку. Выпила вина. И я выпил. Есть я не мог.

— Знаешь, Хартли, ты, по-моему, перешла Рубикон. И что на другом берегу? Свобода, счастье.

— Что-то произошло, безусловно, — сказала она и обратила ко мне успокоенное лицо, разгладила

рукою лоб. Потом разгладила щеки, чтобы лицо стало совсем спокойным и открытым. В этом таилось какое-то намерение, какое-то обещание, это придало мне бодрости. И в самой ее отрешенности я усмотрел своего рода покой. — Но это не то, что ты думаешь. Счастье тут ни при чем. Я не буду с тобой бороться, милый Чарльз, то есть не буду бороться физически — пытаться убежать, когда на это нет сил, визжать и плакать, хотя в душе я и сейчас визжу и плачу. Я уже поняла, что есть минуты, когда можно только смириться. Я понимаю, что ты задумал и для чего. Ты задумал сокрушить мой брак, взорвать его. Но это невозможно. Он несокрушим.

— Тебя послушать, так это тюрьма.

— Люди и в тюрьме живут.

— Только когда не могут выйти на волю.

— Не только, не всегда… Но… ох нет, ты не понимаешь. Ты можешь только напортить. И сегодня напортил достаточно.

Теперь ее слова, ее тон звучали грозно, как смертный приговор из уст спокойного судьи. А все-таки, подумал я, если бы ей отчаянно, неудержимо захотелось уйти, она бы и плакала, и визжала, и имела бы основания думать, что этим заставит меня уступить. А раз она пусть

трагически, но спокойна, значит в глубине души она рада, что ее вынудили остаться. Нет сомнения, чувства у нее безнадежно перемешались, в голове полная каша.

В кухне стало темнеть. Вернулся Титус и прошел к плите. На нас он не смотрел. Он нашел тарелку с остатками солянки. Я вспомнил, что Гилберт все дежурит на дороге, и крикнул вслед Титусу, уже исчезавшему в прихожей с тарелкой в руке:

— Сходи позови Гилберта. Он с машиной около башни. А потом запри парадную дверь.

Я подлил ей вина. Теперь в ее покорном спокойствии было что-то тревожащее. Может быть, она думала, что я вдруг все-таки решу отвезти ее домой? Может быть, она и затихла так от ужаса перед этой мыслью?

Я не сразу вернулся к нашему разговору. Я встал, запер дверь на улицу и положил ключ в карман. Я был почти уверен, что сегодня Бен не появится. Теперь я чувствовал себя таким сильным, что мне, в сущности, было все равно, появится он или нет. Я слышал, как в дом вошел Гилберт, громко жалуясь Титусу, слышал, как повернулся ключ в парадной двери. Я зажег свечу и задернул занавески, хотя снаружи еще было

светло от огромной тусклой луны цвета венслидельского сыра. Впервые мое свидание с новой Хартли не было ограничено жестким сроком. Странное это было ощущение, что мы с ней одни, что время раздвинулось, — и захватывающее, и нереальное. Я выпил еще вина.

— Хартли, с тех пор как ты ушла, я не знал счастья. Ты и вообразить не можешь, как я тогда страдал. Но с тобой-то мы были счастливы, да? Когда катались на велосипедах. Это была молодость, какой она и должна быть, — радостная, безоблачная. Никого больше я не любил. Так что ты уж прости меня, если теперь я себе позволяю…

Я перешел на более легкий тон в надежде, что и она в ответ смягчится. А сам думал: о господи, если бы я нашел ее во время войны, если бы встретил на улице в Лестере! И мгновенно, как разматывается кинопленка, увидел: вот я встретился с ней, и она говорит, что ее брак не удался или, еще лучше, что Бен пал смертью храбрых и… Я успел даже придумать, какими словами оправдываюсь перед Клемент, но тут Хартли опять заговорила:

— Тебя удивляет, что я так спокойна. А ведь я не притворяюсь. Иногда мне кажется, что пройти осталось уже немного.

— Не понимаю.

— Иногда мне хочется, чтобы он поскорее…

— Что — поскорее? Он тебе угрожал?

— Нет-нет, я не это хотела сказать.

— Так что же ты хочешь сказать? Пойми, ты не можешь к нему вернуться, я этого не допущу, даже если ты не захочешь остаться со мной.

(А что я тогда сделаю, посажу ее за кассу в цветочном магазине?)

— Хартли, оставайся со мной и с Титусом, твое место здесь. И между прочим, то, что Титус пришел ко мне, подтвердит подозрения Бена, что он мой сын.

— Об этом ты только сейчас подумал?

— Хартли, милая, пожалей меня, не будь такой отчужденной. Признайся, скажи словами, что никогда никого не любила, кроме меня, что наконец-то пришла домой. В тот вечер, когда я увидел тебя в свете фар, ты же приходила сюда, не могла не прийти. Скажи, что любишь меня, что все образуется, что мы будем счастливы. Господи, да неужели тебе не хочется быть счастливой, жить с человеком, который тебя любит и лелеет и верит тебе? Хартли, посмотри на меня. Нет, пойдем отсюда. Какой смысл сидеть за этим дурацким столом.

Я взял свечу, за руку провел Хартли в красную комнату и задернул занавески. Я сел в кресло, хотел посадить ее к себе на колени, но она соскользнула на пол, не выпуская моей руки. Я стал целовать ее медленно, осторожно, потом ласкать ее грудь. Мы были как дети. Я испытывал к ней влечение, восхитительно неотличимое от чистой любви, благоговейной, сильной, покровительственной. И в то же время это было влечение подростка, неопытного, неумелого и смиренного. Я не знал, как обнять ее, как вызвать отклик на ее сухих губах. Наконец я тоже съехал на пол, уложил ее рядом с собой и неуклюже обхватил, глядя ей в глаза.

— Хартли, ведь ты меня любишь? Любишь?

— О… да… но что это значит?

— Мы рядом, мы знаем друг друга.

— Да, это странно, но я тебя знаю, и никто другой мне так не близок. Наверно, это потому, что мы были молодые, позже людей уже нельзя узнать, я, например, не могла.

— Ты меня знаешь, а я тебя.

— Мне казалось, что меня нет, что я невидимка, а весь мир где-то далеко-далеко. Ты и вообразить не можешь, насколько я всю жизнь была одна. В этом никто не виноват. Я сама виновата.

— Я тебя вижу, Хартли, ты есть, ты здесь. Я тебя люблю. И Титус любит. Мы будем все вместе.

— Титус меня давно разлюбил.

— Не плачь. Он тебя любит, я знаю, он мне сказал. Все будет хорошо, раз ты ушла от этого негодяя.

Я касался тихих слез на ее щеках, а потом и она, слегка отстранив меня, стала гладить меня по лицу.

— Ах, Чарльз, Чарльз, так странно.

— Мы с тобой, как прежде, лежим в лесу… Хартли, пожалуйста, пробудь со мной наконец всю ночь, просто вместе, совсем тихо. Не обязательно нам лежать здесь так до утра, верно?

Она вся сжалась, потом приподнялась, села.

— Это вино. Не привыкла я пить, наверно, пьяная.

— Только уж не проси, чтобы я отвез тебя домой! Слишком поздно, с какой точки ни посмотри.

Она встала на колени, с трудом распрямилась. Я тоже встал и кончиками пальцев поддержал ее за локти.

— Чарльз, ты и не знаешь, что ты наделал. Завтра я, конечно, уйду домой. А сейчас мне надо поспать, я хочу просто поспать, одна, хорошо бы умереть во сне, хорошо бы разбежаться и упасть

в море.

— Чушь какая. Ты плавать умеешь?

— Нет.

— Пошли наверх. Пообещай, что не сбежишь ночью.

— Завтра я уйду домой. Это все моя бестолковость, все-то я так бестолково делаю, нельзя мне было отлучаться из дому. Я на тебя не сержусь, я сама виновата, во всем виновата. Да, я тебя, наверно, люблю, я тебя никогда не забывала и, когда увидела тебя, опять все вспомнила, но это что-то из детства, это не из реальной жизни. В настоящем мире для нашей любви никогда не было места. А то она бы победила, и мы бы не расстались. Не во мне одной дело, в тебе тоже, ты уехал, ты теперь и не помнишь, как это было, и теперь для этой любви нет в мире места, она пустая, выдуманная, мы в выдуманном мире и завтра должны его покинуть. Ты говоришь, это судьба, может быть, и так, но не в таком смысле, как ты думаешь. Это злая судьба, моя судьба. Каким-то образом я стала причиной этой путаницы, этого ужаса. Почему ты сюда приехал жить? Это я тебя выманила, бывает ведь, что людей заманивают, не для хорошего, только на горе и погибель. Это я и делала всю жизнь — ни дома не создала, ни

ребенка, только ужасы.

Я вспомнил слова Титуса: «Она малость фантазерка» — и, конечно же, она была пьяна. Спорить с ее безумными словами было сейчас бессмысленно. Я обнял ее покрепче. И отпустил.

— Перестань, старушка, маленькая моя. Никуда я от тебя не уезжал, ты только себе оправдания придумываешь. Для нашей любви найдется в мире место, вот увидишь, теперь, раз ты здесь, все очень просто. Настанет утро, будет светло, и ты у меня станешь храбрая. А пока пошли наверх, и спи там, где захочешь.

Забрав свечу, я повел ее через кухню к лестнице. Под дверью комнаты, где спал Титус, лежала полоска света. При мысли о том, как Титус и Гилберт сидят там на полу на подушках при свече, я ощутил укол ревности. Мы с Хартли стали подниматься по лестнице.

Я показал ей ванную, подождал, пока она выйдет, привел в свою спальню, но было ясно, что спать она со мной не будет. И вообще лучше было оставить ее одну. Ее обуял какой-то суеверный страх, вылившийся в отчаянную жажду забытья. «Я хочу спать, мне надо поспать, только спать, спать». В предвидении такой ситуации я еще раньше догадался устроить ложе на полу в верх-

ней внутренней комнате, куда принес матрас со своей тахты. Еще я принес туда свечу, спички, даже ночной горшок. Я предложил ей пижаму, но она сразу легла, прямо в платье, и укрылась одеялом с головой, как покойница саваном. И действительно уснула мгновенно: прыжок в небытие человека, уставшего непрерывно страдать.

Я вышел из комнаты, прикрыл дверь и неслышно запер ее снаружи. Меня не оставляло кошмарное видение — обезумевшая женщина бежит к морю топиться. У себя в спальне я скинул ботинки и забрался в постель. Я был совершенно без сил, но думал, что от возбуждения не смогу уснуть. Я ошибался: не прошло и минуты, как я крепко спал.

Наутро я проснулся словно бы в новом, полном опасностей мире, как в первый день войны. Пришла и радость, и надежда, но в первую очередь страх, черное смятение, словно глубинная логика вселенной внезапно сплоховала. В чем это я был так уверен, на что полагался? Чего я, собственно, добиваюсь? Не натворил ли я вчера что-то дикое, как преступление под пьяную руку, когда вспоминаешь о нем трезвый? И еще — впереди маячил визит Бена.

То, что Хартли в доме, уже само по себе казалось

сном, требовалось срочно выяснить, пережила ли она эту ночь. Я был как ребенок, который бежит к клетке нового любимца проверить, а вдруг птичка умерла. Борясь с тошнотой и сердцебиением, я выбежал на площадку, продрался сквозь занавеску из бус, неслышно отпер дверь и постучал. Молчание. Неужели она ночью умерла, как пойманный зверь, неужели каким-то образом сбежала и утопилась? Я отворил дверь и заглянул в комнату. Хартли была на месте и проснулась. Она привалила подушки к стене и лежала на матрасе с приподнятой головой, закрыв одеялом рот. Ее глаза впились в меня из-под опущенных век. Голова чуть покачивалась, и я увидел, что она вся дрожит.

— Хартли, милая, как ты? Ты спала? Не озябла?

Она чуть опустила одеяло, и губы ее шевельнулись.

— Хартли, ты останешься со мной. Сегодня первый день нашей новой жизни, да? Ах, Хартли…

Она стала неуклюже подниматься, прислоняясь к стене, все еще прячась за одеялом. Потом, не глядя на меня, пробормотала невнятной скороговоркой:

— Мне нужно домой.

— Не начинай все сначала.

— Я пришла без сумки, без всего. Ни пудры с собой нет, ни крема.

— Господи, да какое это имеет значение!

Впрочем, я понял, что для нее это имеет значение. В холодном неживом утреннем свете, проникавшем через окно из гостиной, она выглядела ужасно. Лицо оплыло и лоснилось, лоб сморщился, рот очертили резкие складки. Слежавшиеся волосы, сухие и курчавые, напоминали старый парик. Глядя на нее, я ощутил в себе новую силу, сотканную из сострадания и нежности. И поскольку я хотел показать ей, как мало меня трогает ее неопрятно-беспомощный вид, моя огромная любовь готова была преодолеть и более серьезные препятствия.

— Давай вставай, старушка, — сказал я. — Приходи вниз, будем завтракать. Потом я пошлю Гилберта в Ниблетс за твоими вещами. Все очень просто.

Я надеялся, что с этим она согласится.

Она медленно подтянулась, встала на четвереньки, потом с усилием поднялась во весь рост. Желтое платье было безнадежно смято, она без толку теребила его и одергивала. Все ее тело выражало конфузливую скованность человека, убитого горем.

— Постой, я тебе дам халат. У меня есть очень красивый.

Я сбегал в спальню и принес ей мой лучший халат — черный шелковый с красными звездочками. Она стояла в дверях, воззрившись на занавеску из бус.

— Что это?

— Это хитрая штука. Занавеска из бус. Ну, одевайся. Где ванная, помнишь?

С моей помощью она безропотно надела халат и спустилась в ванную. Я ждал, сидя на лестнице. Она вышла и полезла назад в свою комнату, двигаясь тяжело, как старуха.

— Сейчас принесу тебе гребень, а то пройди к зеркалу в мою спальню, там светлее.

Но она вернулась к себе. Я принес гребень и ручное зеркало. Она причесалась, не глядя в зеркало, и опять опустилась на матрас. Другой мебели, впрочем, и не было — столик, который Титус извлек из расщелины, еще оставался в прихожей.

— Вниз сойти не хочешь?

— Нет, я побуду здесь.

— Тогда я тебе чего-нибудь принесу.

— Мне нехорошо. Это от вина.

— Чего хочешь — чаю, кофе?

— Мне нехорошо.

Она опять легла и накрылась одеялом.

В отчаянии я вышел, закрыл и запер дверь. После этой нарочитой апатии она вполне могла вдруг сорваться с места, выскочить из дому, исчезнуть среди скал, броситься в море.

Я сошел вниз. Гилберт сидел в кухне у стола. При моем появлении он почтительно встал. Титус, стоя у плиты, с которой он научился управляться, жарил яичницу. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Это и порадовало меня, и раздосадовало.

— Доброго утречка, хозяин, — сказал Гилберт.

— Привет, папочка.

Шутка Титуса мне не понравилась.

— Если непременно хочешь фамильярничать, имей в виду, что мое имя — Чарльз.

— Извиняюсь, мистер Эрроуби. Как сегодня чувствует себя моя мать?

— Ох, Титус, Титус…

— Поешь яичницы, — сказал Гилберт.

— Я ей отнесу чай. Она как пьет, с молоком, с сахаром?

— Не помню.

Я собрал на поднос чай, молоко и сахар, хлеб, масло, джем. Снес наверх и отпер дверь, держа

поднос на одной руке. Хартли по-прежнему лежала под одеялом.

— Смотри, какой вкусный завтрак.

Она ответила почти театрально-страдальческим взглядом.

— Подожди, сейчас принесу стул и стол.

Я сбежал вниз и вернулся с тем столиком и со стулом. Переставил все с подноса на стол.

— Ну, иди, милая, а то чай остынет. И еще смотри, какой я тебе принес подарок, камень, самый красивый на всем берегу.

Я положил рядом с ее тарелкой тот овальный камень, мою первую находку, жемчужину моей коллекции, большой, пятнисто-розовый, неровно исчерченный белыми полосками, образующими узор, перед которым склонились бы во прах Клее и Мондриан[31].

Хартли приблизилась медленно, ползком, потом встала и плотно запахнулась в халат. На камень она не взглянула и не коснулась его. Я обнял ее и поцеловал похожие на парик волосы. Потом поцеловал теплое, укрытое шелком плечо. Потом вышел и запер дверь. О возвра-

---

[31] Примечания: 31

Пауль Клее (1879–1940) — швейцарский живописец и график, один из лидеров экспрессионизма. *Пит Мондриан* (1872–1944) — нидерландский художник-абстракционист.

щении домой она не заговорила — и то хорошо. Наверно, боится. А уж если ей сейчас страшно думать о возвращении, тогда каждый лишний час, проведенный ею здесь, усилит мои позиции. Я не удивился, обнаружив позднее, что чаю она попила, но к еде не притронулась.

Я взглянул на часы. Еще не было восьми. Интересно, когда и как именно явится Бен. Я поморщился, вспомнив слова Хартли о том, что он не сдал свой армейский револьвер, и пошел вниз отдавать приказы.

Гилберт уплетал яичницу, гренки, поджаренные помидоры.

— А где Титус?

— Пошел купаться. Как Хартли?

— Ужасно… то есть хорошо. Послушай, Гилберт, ты бы не мог выйти из дому и посторожить?.. Да, конечно, сначала доешь завтрак, ты уже как будто неплохо навернул.

— В каком смысле посторожить? — спросил Гилберт подозрительно.

— Просто постой или, если хочешь, посиди на шоссе в конце дамбы, а когда увидишь, что он идет, приди сюда и скажи мне.

— А как я его узнаю? По плетке?

— Не узнать его невозможно.

Я подробно описал Бена.

— А вдруг он на меня нападет? Едва ли он настроен благодушно. Ты сказал, что он грубиян, вроде бандита. Я тебя люблю, мой дорогой, но драться я не намерен.

— Никто и не собирается драться.

(Будем надеяться.)

— Могу посидеть в машине, — предложил Гилберт. — Запру дверцы и буду смотреть на дорогу, а если увижу его — посигналю.

Это идея, решил я.

— Отлично, только поторопись.

Сам я вышел через заднюю дверь, пересек лужайку и по скалам добрался до своего утеса как раз в тот момент, когда Титус прыгнул в зеленую воду и в воздухе мелькнули его длинные белые ноги, устремленные к небу. Он напомнил мне брейгелевского «Икара». Absit omen[32].

Я купаться не стал, мне не хотелось, чтобы Бен застал меня без штанов, к тому же была сильная зыбь и я знал, что вылезти из воды мне будет трудно. Титус — другое дело, ему это пара пустяков. Не забыть приспособить у башни какое-нибудь новое подобие веревки.

---

[32] Примечания: 32
Да не сбудется это знамение *(лат.).*

Солнце уже поднялось высоко, и море ближе к скалам было прозрачно-зеленое, а дальше сверкало бирюзой, колыхалось и вспыхивало, словно на поверхности его плавали большие белые бляхи. Горизонт был — золотая черта. Большие, но очень гладкие, медленные волны катились к берегу и бесшумно вспенивались среди скал; в плавной, но механической мощи их сильных, равномерных движений таилась угроза.

Я с нетерпением ждал, когда Титус кончит купаться. Нечего ему особенно резвиться в такую серьезную минуту. Он увидел меня, помахал, но явно не торопился. Крикнул, чтобы и я прыгал в воду, но я покачал головой.

Титус был мне срочно нужен на суше, отчасти потому, что я хотел сгладить болезненное впечатление от нашей дурацкой кухонной пикировки. И еще я хотел, чтобы, когда «джентльмен» явится, Титус был рядом со мной, одетый, собранный и готовый к бою. Я не воображал, конечно, что Бен явится и тут же всех нас убьет, однако, если с нашей стороны не будет демонстрации силы, с него станется дать мне кулаком по голове; а я хотя и в форме и не обделен физической силой, но искусством нападения никогда не владел. Во время войны я часто думал, как это человек мо-

жет увидеть другого человека и убить его. Выучка сказывается и, надо думать, страх. Я был рад, что избежал этой доли.

И еще я подумал, угрюмо поглядывая на дельфиньи кувырки Титуса, что ведь понятия не имею, как он-то себя поведет. Правда, он дал мне ясно понять, что ненавидит своего приемного отца. Но молодая душа — потемки. При виде Бена он может оробеть или вдруг в нем проснется сочувствие. Либо застарелые необоримые сыновние ощущения. Неужели Титус способен перекинуться к врагу? И знает ли это сам Титус?

Наконец он подплыл обратно к утесу и, цепляясь руками и ногами, без труда вынес свое голое тело из взлетающего ввысь и спадающего прибоя. Он взобрался наверх, перевалился через край и рухнул навзничь, переводя дыхание.

— Титус, милый, одевайся, живо, вот твое полотенце.

Он послушался, вопросительно взглянув на меня:

— А что, мы куда-нибудь едем?

— Нет, но я боюсь, вот-вот появится твой отец.

— В поисках моей матери. Да, это возможно. И как вы тогда поступите?

— Не знаю. Смотря как поступит он. Слушай,

Титус, и прости, что я так спешу, я хочу поскорее тебе сказать, что мы с тобой должны держаться друг за друга.

— Ну да. Я весьма ценная собственность. Я подсадная утка. Я заложник.

— В том-то все и дело, что нет. Это-то я и пришел тебе сказать. Не ради этого. Ради тебя. Пойми, ты сам мне нужен, я хочу стать тебе отцом, хочу, чтобы ты стал моим сыном… что бы ни случилось, даже если твоя мать со мной не останется — но я-то верю, что она останется, — но даже если нет, я хочу, чтобы ты принял меня как отца.

— Забавно это, — сказал он, — принять кого-то как отца, когда сам уже взрослый. Что-то я не знаю, как это делается.

— Как это делается — покажет время. Тебе надо только захотеть. Попробуй. Я чувствую, что между нами возникла настоящая близость, и она, естественно, будет возрастать. Не думай, что я только пользуюсь тобой в своих целях, нет, я тебя самого полюбил. Прости, что выражаюсь так нескладно, мне некогда сейчас сочинять изящные речи. Я чувствую, что судьба — или Бог, или не знаю кто — подарила нас друг другу. Давай же ухватимся за эту возможность. Не допустим, чтобы ее испортила дурацкая гордость,

или подозрения, или недостаток воображения, или недостаток надежды. Давай отныне целиком принадлежать друг другу. Не важно, что именно это значит, во что выльется, это сейчас еще не видно. Но согласен ты принять, попробовать?

Я не подготовил, да и не предвидел столь страстной мольбы. Я ждал, глядя на него с тревогой и надеясь, что произвел хоть какое-то впечатление.

Он теперь был одет, и мы стояли рядом на высоком утесе над морем. Он смотрел на меня хмурясь, сощурив глаза. Потом отвернулся.

— Ну хорошо… вы, наверно… ну да, конечно… ладно. Честно говоря, я немножко ошарашен. Я рад, что вы это сказали — насчет того, что я вам нужен сам по себе. А то я не был уверен. Я вам верю… кажется. Смешно, я о вас всю жизнь думал и всегда знал, что когда-нибудь придется поехать на вас посмотреть, но все откладывал, потому что боялся. Думал, что, если вы меня оттолкнете… ну, то есть решите, что я враль и попрошайка, что меня интересуют деньги и все такое… а ведь вы вполне могли так подумать, ведь все очень странно… для меня это был бы страшный удар. Даже не знаю, как бы я это пережил. Я бы почувствовал себя обесчещенным на всю жизнь. Очень многое

было поставлено на карту.

— Да, многое, но хотя бы в этом отношении все хорошо. Мы поняли друг друга. И не потеряем друг друга.

— Это произошло так быстро…

— И быстро, и легко, потому что так и должно было получиться.

— Ну что ж, попробую, а что это значит — одному богу ведомо, вы сами так сказали. Но я согласен, во всяком случае попробую.

Он протянул мне руку, я стиснул ее, и мы постояли так, растроганные и смущенные.

А потом с шоссе донеслись громкие, настойчивые гудки Гилбертова клаксона.

— Это он!

Я вздрогнул и полез по камням к дому. Титус обогнал меня, в два прыжка пересек лужайку. У кухонной двери он налетел на Гилберта.

— Он здесь, пришел по шоссе, остановился у дамбы, а когда увидел меня в машине и когда я стал сигналить, прошел дальше.

— Дальше, минуя дом?

— Да. Может быть, решил пробраться обратно по скалам.

Гилберт, видно, не на шутку перепугался.

Я пробежал через прихожую на дамбу, добежал

до шоссе. Бена не было видно. Я заметил, что Гилберт, дабы обеспечить себе отступление, поставил машину поперек дамбы в виде баррикады. Поэтому Бен, очевидно, и прошел мимо. Я еще колебался, когда из-за дома раздался крик Титуса.

Столкнувшись в дверях с Гилбертом, лопотавшим какой-то вздор, я опять выбежал из кухни на лужайку. Титус стоял на одной из высоких скал, указывая вдаль:

— Вон он! Я его вижу. Он идет от башни.

Теперь я уже не сомневался в том, чью сторону держит Титус, и на том спасибо. Я крикнул ему:

— Подожди здесь, я его встречу. Будешь мне нужен — позову.

Я полез по скалам в сторону башни и сразу же увидел Бена: он с достойным удивления проворством тоже лез по скалам, в сторону дома.

Точкой, где наши пути сходились, — вернее, единственной точкой, через которую вел сравнительно легкий путь от башни к дому, — был Миннов мост, каменная арка, под которой море врывалось в Котел. К этой точке мы оба и устремлялись, оступаясь и скользя, пока не очутились возле моста, в каких-нибудь десяти шагах друг от друга. У меня мелькнула чуть тревожная надежда, что Титус еще видит нас со своей вышки.

Я быстро оглянулся. Нет, не видит.

Бен был в темных, потертых на коленях вельветовых штанах, должно быть из «Магазина для рыбаков», и в белой рубашке. Ни куртки, ни пиджака, хотя утро еще было прохладное. Почему он оделся так легко — показать, что при нем нет оружия, или же чтобы удобнее было драться? Грузный, штаны тесноваты, но вид подтянутый и деловитый. Свежевыбрит, не то что я. Брился один в своем внезапно опустевшем доме и бог весть о чем думал, глядя на себя в зеркало. Короткие бесцветные волосы, большая мальчишечья голова, широкие плечи и невысокий рост — очень он напоминал барана, либо кабана, либо еще какое-то некрупное, но свирепое животное. По контрасту с этой тупой, тяжелой силой я почувствовал себя прямо-таки щуплым — стою разболтанный, неопрятный, растрепанный и, как я только что сообразил, в полосатой пижамной куртке.

Я ступил на мост, и он тоже. Было время прилива, и большие сильные волны, врываясь в Котел, жадно вылизывали его гладкие стены. Низкий свистящий гул звучал не так громко, чтобы заглушить переговоры. Я стоял, проверяя, застегнуты ли пуговицы на пижаме, и ждал, чтобы он за-

говорил первым. Гул воды действовал на меня успокоительно. Я надеялся, что Бена он собьет с толку. Для меня шум всегда был союзником.

Никогда еще я не видел лицо Бена так близко и при таком хорошем освещении. Он был, пожалуй, красивее, чем я себе представлял. У него были удлиненные карие глаза с длинными ресницами и большой, хорошего рисунка рот, выражавший (впрочем, может быть, только сейчас) легкую издевку. Срезанный подбородок уходил в толстую шею. Я сразу и с облегчением увидел, что он нервничает и в то же время очень рассержен. Может быть, он побаивается меня? Что это, чувство вины? Ведь оно порождает страх.

— Где моя жена?

— Здесь, в моем доме, и хочет здесь остаться. И Титус тоже, он не был моим сыном, как вам прекрасно известно, но теперь он мой сын. Я его усыновил.

— Что?

— Да.

— Как вы сказали?

Еще приятнее мне было убедиться, что Бен глуховат, во всяком случае слышит хуже меня, и шум воды ему мешает. Правда, свое сообщение я изложил не очень внятно. Теперь я произнес до

обидного отчетливо:

— Она здесь. Титус здесь. Они останутся здесь.

— Я пришел забрать ее домой.

— Послушайте, вы же в самом деле не думаете, что Титус мой сын? Уверяю вас, что нет.

— Отдайте мою жену.

— Вы поняли, о чем я толкую? Вам это должно быть интересно. Титус — не мой сын.

— Это мне теперь все едино. С этим покончено. Мне нужна Мэри.

— А она хочет остаться здесь.

— Не верю. Вы ее держите силой. Вы ее похитили. Я знаю, по своей воле она бы не осталась, знаю.

— Она пришла ко мне, прибежала ко мне, как и раньше, как в тот раз, когда вы были на столярных курсах. По-вашему, я смог бы вытащить ее из вашего дома силой?

— Она сумку оставила.

— Вы ее не любите, она вас не любит, боится до смерти, зачем скрывать это от самих себя? Зачем длить этот отвратительный обман?

— Отпустите Мэри, не то я заявлю в полицию.

— А вас там обсмеют. Вы прекрасно знаете, что полиция в такое дело не станет вмешиваться.

— Отдайте мою жену.

— Она не хочет к вам возвращаться, с нее хватит. Я пришлю машину за ее вещами.

— Чего она вам наврала?

— Ах вот как вы хотите повернуть дело! Облить ее грязью, свалить всю вину на нее! Да, этим вы себя с головой выдали.

— Она истеричка, бог знает что выдумывает, она больная.

— Что с нее хватит вашей жестокости, — это она, безусловно, не выдумала. Давайте, давайте, идите в полицию, посмотрим, что из этого выйдет.

— Вы не знаете, во что встряли, не понимаете. Она моя жена, я ее люблю и заберу домой, там ей и место, там она и хочет находиться. И что вы ни с того ни с сего влезли в нашу жизнь, зачем решили здесь поселиться и докучать нам, мы вас не звали, вы нам не нужны. Я знаю, что вы за человек, я про вас читал, вы дрянной человек, негодяй, разрушитель, вы дерьмо. Мэри вам не какая-нибудь распутная актерка, она порядочная женщина, вы к ней прикоснуться недостойны. Отвяжитесь от нас, не то плохо вам будет. Я вас предупреждаю, отвяжитесь от нас.

Не находя слов под стать своему гневу, Бен стоял набычившись, скаля крепкие, мокрые от

слюны зубы. На минуту меня заворожил ритмичный свистящий гул мощных машинных волн — я и не глядя видел, как они закручиваются в каменной воронке у меня под ногами. И пришла мысль, такая ясная и отчетливая, словно в ней участвовало все мое тело: нужно быстро сделать три шага вперед и столкнуть этого мерзавца с моста. Пусть он сильнее, зато я проворнее. Плавать он не умеет; да и хороший пловец сразу задохнется в этом кипящем котле. Нас никто не видит. Можно будет сказать, что он на меня напал. Стоит толкнуть его — и все мои беды кончатся.

С этой мыслью я сверлил Бена глазами. Во мне уже шевелились зачатки движения, хотя со стороны, кажется, не было видно, чтобы я шелохнулся. Однако хватало и взгляда, и я был уверен, что он прочитал мое намерение, если только это можно назвать намерением, потому что я, конечно, нипочем бы его не выполнил. Он отступил к самому концу моста, а я разжал кулаки и опустил глаза. И тоже отступил.

— Верните ее! — сказал он, повысив голос, потому что грохот воды разделил нас теперь стеной. — Верните ее нынче же утром, не то берегитесь, уж как-нибудь да я до вас доберусь. Понятно? Я не шучу.

Я промолчал.

Он опять заговорил, словно бы вдруг смутившись, прерывающимся голосом:

— Вы о ней-то подумайте. Она хочет домой, я знаю. Вам не понять. Кончайте это дело. Ведь ей же будет хуже. Когда-нибудь все равно придется идти домой. Неужели не ясно?

Я произнес одними губами:

— К чертовой матери.

Он стал удаляться. Потом обернулся и крикнул:

— Скажите ей, собаку я вчера привел. Я думал, она так обрадуется.

Я смотрел, как он, двигаясь теперь медленнее и наконец-то волоча ногу, карабкается по скалам, то исчезая, то снова появляясь. Когда он уже почти добрался до шоссе, я стряхнул с себя оцепенение и поспешно двинулся к дому. Нужно было удостовериться, что он действительно ушел.

Титус, все еще сидевший на своей вышке, соскочил с нее и пошел за мной. Гилберт был на лужайке. Оба приступили было ко мне с расспросами, но я пробежал мимо. Они догнали меня, и мы втроем ступили на дамбу и дошли до машины, стоявшей все в той же позиции. Мы стали в шеренгу позади машины. Бен приближался к нам

по шоссе. Титус бросил на него взгляд, а потом повернулся к шоссе спиной. Жест был многозначительный. Бен прошел мимо нас, свирепо сжав губы, без слова, без взгляда, и не спеша зашагал дальше к деревне.

— Что у вас там произошло? — спросил Титус, вид у него был смятенный, испуганный.

— Ничего.

— Как это ничего?

— Он свое сказал.

— Что он сказал?

— Наврал с три короба. Сказал, что она истеричка, невесть что выдумывает.

— Истеричка — это да, — сказал Титус. — Она могла закатить истерику на целый час. Очень бывало страшно. Что и требовалось.

— Если ты решил, что он все-таки тебе отец, можешь идти с ним домой, я тебя не держу.

— Не надо так со мной говорить. Очень уж мне ее жалко, черт побери.

— А пойти к ней навестить не хочешь?

— Нет… пока она… нет.

— А-а…

Не помня себя от бешенства, я бегом вернулся в дом, взбежал по лестнице и отпер дверь в комнату Хартли.

Она сидела на матрасе, привалясь к стене и подтянув колени, закутанная в мой черный халат. Она глянула на меня опухшими глазами и, не дав мне переступить порог, затянула монотонным голосом:

— Отпусти меня домой, пожалуйста, я хочу домой, мне туда надо, больше идти некуда, отпусти меня домой, пожалуйста.

— Твой дом здесь, со мной, ты дома!

— Отпусти меня. Почему ты такой недобрый? Чем дольше откладывать, тем будет хуже.

— Зачем тебе возвращаться в эту тюрьму? Он тебя что, загипнотизировал?

— Лучше мне умереть. Я, наверно, скоро умру, я чувствую. Я иногда чувствовала, когда ложилась спать, что вот захочу умереть — и умру, но потом всякий раз просыпалась, и оказывалось, что нет, я еще тут. Каждое утро убеждалась, что я — это все еще я. Это же сущий ад.

— Так уйди из этого ада. Дверь открыта, я ее держу.

— Не могу. Ад во мне самой, от него никуда не деться.

— Да ну же, Хартли, встань! Пойдем вниз, посидим на солнышке, поговори со мной, поговори с Титусом. Ты не пленница. Хватит тебе страдать,

ты меня с ума сводишь. Я предлагаю тебе свободу, счастье, хочу увезти тебя и Титуса в Париж, в Афины, в Нью-Йорк, куда захочешь!

— Я хочу домой.

— Да что с тобой творится? Вчера ты была не такая.

— Я, наверно, скоро умру, я чувствую.

В ее глазах, упорно не желавших смотреть на меня, была холодная отчужденность, как у человека, твердо решившего больше ни на что не надеяться.

Последовали дни, удивительнее которых я не припомню. Хартли отказалась сходить вниз. Пряталась в своем углу, как больное животное. Я запирал ее, чтобы не убежала топиться, не оставлял ей свечи и спичек, чтобы не сожгла себя. Я только и думал что о ее благополучии, а между тем не решался оставаться у нее все время или даже подолгу, мало того — вообще не знал, как держать себя с ней. На ночь она оставалась одна, а ночи были длинные, потому что она ложилась рано и засыпала быстро (я слышал ее храп). Спала она много, и ночью, и во второй половине дня. Сон не подводил ее, всегда спешил на помощь. А я тем временем наблюдал и ждал, высчитывая по какой-то мудреной и ненадежной системе

правильные сроки своих посещений. Я молча провожал ее в ванную. Я подолгу просиживал на площадке возле ее двери. Отнес пару диванных подушек в пустой альков, из которого, как мне когда-то приснилось, выходила через потайную дверь миссис Чорни, чтобы выгнать меня из своего дома. Я сидел на подушках, неотступно глядя на дверь Хартли и прислушиваясь. Мне случалось задремать под ее мерный храп.

Разумеется, я часто заглядывал к ней, пытался поговорить либо сидел молча. Я опускался возле нее на колени, гладил ее руки и волосы, ласкал ее, как беспомощного птенца. Она была босая, но поверх платья неизменно надевала мой халат. И все же я, легкими прикосновениями, незаметно сводил знакомство с ее телом; постигал его объем и вес, ее великолепные округлые груди, полные плечи, бедра; я охотно провел бы с нею ночь, но малейшая, еле уловимая моя попытка раздеть ее наталкивалась на еле уловимое сопротивление. Она нервничала без своей косметики, я послал Гилберта в деревню купить все, что ей было нужно, и она при мне подкрасила глаза и губы. Эту малую дань кокетству я воспринял как хороший знак. Однако я по-прежнему опасался и ее, и за нее. В том, что я без слов, но категорически

отказывался отпустить ее, уже было насилие. Я боялся, как бы дальнейший нажим не вызвал у нее вспышку неистовой враждебности либо полный уход в себя, и тогда я стану таким же безумным, как она; а о ней я порой уже думал как о безумной. Так мы и жили в атмосфере непонятной и непрочной взаимной терпимости. Время от времени она повторяла, что хочет домой, но мой решительный отказ принимала пассивно, и это меня подбадривало. Конечно же, с каждым часом рос ее страх перед возвращением в Ниблетс, что само по себе вселяло надежду. Должен же наступить момент, когда этот страх самой своей тяжестью толкнет ее ко мне?

Изредка нам все же удавалось побеседовать о каких-нибудь пустяках. Когда я пробовал напомнить ей прежние дни, она порой откликалась; и бывало, что, любя и жалея ее всем сердцем, я чувствовал, что мое «лечение» приносит какие-то плоды. Однажды она вдруг спросила: «Что сталось с тетей Эстеллой?» А я и не помнил, что рассказывал ей про тетю Эстеллу, — дядина семья всегда казалась мне запретной темой. В другой раз сказала: «Филип тебя не любил». Филип был ее брат. «Что он поделывает?» — «Убит на войне». И добавила: «По-настоящему это ты был моим

братом». Она никогда не задавала вопросов о моей жизни в театре, и я не пытался ей ничего рассказывать. Думаю, что это ее и не интересовало. Одно я, во всяком случае, теперь понял: она вовсе не жалела, что не стала женой знаменитого человека. Раза два она спрашивала, знаком ли я с такими-то известными актерами, но о театре ничего толком не знала и не выпытывала. Один раз спросила: «А ты не знал такую актрису — Клемент Мэйкин?» После минутной запинки я ответил: «Знал, и очень хорошо. Она меня любила, некоторое время мы жили вместе». — «Значит?..» — «Ну да, она была моей любовницей». — «Но она же была намного старше тебя?» — «Да, но это как-то не имело значения». — «Она уже была совсем старая». Немного погодя Хартли заплакала и позволила мне обнять ее. О Клемент она больше не заговаривала. То была одна из тех минут, когда мне казалось, что из моей любви и жалости на меня глянула надежда. И я задумался о великой тайне: наверно, у Хартли столько же воспоминаний и такая же длинная история, как у меня, но я никогда не узнаю этой ее жизни, никогда в нее не проникну. Конечно, это меня раздражало. Я-то думал, что она, когда утихнет отчаяние, будет так несчастна, что поневоле станет искать у меня

поддержки. Именно потому, что она не сломилась, я теперь пребывал в полном разброде.

Я рассчитывал на помощь Титуса, но он не хотел, а может быть, не мог мне помочь. Хартли он словно бы побаивался — его пугало ее положение узницы, ее беспомощность, ее психика, какой он ее себе представлял. Ему претило ее унижение. Он не желал быть к нему причастным. Вся эта история, то, что он называл моей «игрой» или «методами», словно внушала ему отвращение, смешанное с чувством соучастия и вины. И он, несомненно, боялся Бена, пусть это был страх не за себя, а за мать. Он жаловался, что в комнате у Хартли плохо пахнет, уверял, что не может там дышать, и однако же от смущения не мог заставить себя уговорить ее выйти на воздух. Просил меня не уходить, когда говорил с нею, а если я оставлял их вдвоем, очень скоро убегал. Трудность, надо полагать, заключалась в том, что говорить про Бена они не могли, а кроме как о вещах, связанных с ним, говорить было почти не о чем. И еще я уже успел заметить, что Титус избегает говорить о том, как он жил после того, как ушел из дому; он очень неохотно отвечал на мои вопросы, и эта его скрытность исключала еще одну возможную тему для разговоров. Хартли и

сама не выказывала особого любопытства насчет его похождений. Можно сказать, что разговор у них шел *вежливый*. Во всяком случае, в первый день. После этого Титус все неохотнее навещал ее, а она все больше психовала, и потому мне все меньше хотелось его понуждать.

Я никак не мог привыкнуть, что он называет ее Мэри.

— Мэри, выходи на солнце. Здесь холодно.

— Нет, спасибо.

— Тебе сегодня лучше?

Каким-то образом возникла спасительная теория, будто она нездорова.

В нарочито снисходительном тоне они обсуждали достоинства Ниблетса. Но было похоже, что они и не думают о том, что говорят.

— И сад хороший? В доме тридцать четыре у нас и сада-то не было. Просто двор.

— Да, просто двор. Это в доме тридцать четыре.

— Я помню, там в углу под навесом стоял каток для белья. Помнишь каток?

— Да.

— Так что теперь ты можешь сажать розы. Ты об этом всегда мечтала, верно?

— Да, много-много роз, всех колеров.

— И прямо из окон видно море? Помнишь, мы

говорили, как это было бы здорово?

Непонятно, что находила в этих разговорах Хартли. Я уже понимал, как наивно было воображать, что мать и сын заключат друг друга в объятия и сразу обретут язык любви. А впрочем, может, это и был язык любви. Любовь там, безусловно, присутствовала, но почему-то ни он, ни она двух слов не могли связать от застенчивости. Диалог подвигался неуклюжими скачками, главным образом усилиями Титуса. С прелестями Ниблетса они, к счастью, покончили быстро. А после этого наиболее успешные их беседы сводились к самым примитивным воспоминаниям о домах и садах из времен Титусова детства.

— Помнишь дырку в заборе, в которую я заглядывал, когда мы жили в доме шестьдесят семь?

— Да…

— Я ведь влезал на ящик?

— Да, на ящик…

Почему они не могут разговаривать как люди? Неужели за эти годы ее любовь к Титусу и его любовь к ней в самом деле была растоптана? Страшная мысль. Позже я понял, что, конечно же, вся ситуация в целом лишала их дара речи; а создал эту невозможную ситуацию не кто иной, как я.

Этот период заточения Хартли непомерно растянулся в моей памяти, словно он вместил в себя историю долгой душевной драмы, важнейшие события, перепады, неожиданности, срывы, взлеты, рецидивы. На самом деле он длился всего четыре-пять дней. История, драма, перепады — все это действительно было. Странно, но после первого дня я перестал терзаться из-за Бена. Я, конечно, о нем не забыл и, конечно, поджидал его. На ночь неукоснительно запирал двери. Мелькала и тревожная мысль, что с него станется попытаться поджечь дом — он ведь как-никак имел отношение к пожарам. Но как навязчивая идея он перестал существовать, может быть, потому, что мне удалось и мысленно от него отгородиться, и опасность, исходящая от него, стала менее реальной. Почему он ничего не предпринимает? Разрабатывает какой-нибудь сложный план или предпочел себя мучить, выжидая, пока его ярость достигнет точки кипения? Возможно ли, что он боится Титуса? Э, да стоит ли ломать себе над этим голову?

Что касается Титуса и Гилберта, то они, едва им удавалось улизнуть от меня и Хартли, вели себя как школьники на каникулах. Титус не желал обсуждать своих приемных родителей, он

решительно отмежевался от этих проблем. Он каждый день купался, всегда с моего утеса, порой по два, по три раза в день. Обмазывался кремом для загара и голышом валялся на скалах. От опасений, что его заподозрят в попрошайничестве, не осталось, видно, ни следа. Он принимал мое гостеприимство как должное и ничего не давал взамен — ни помощи, ни тепла. Впрочем, я к нему несправедлив. Не могу я осуждать его за то, что он «не хотел знать», что творится на втором этаже. Вероятно, он над этим и не задумывался, да и при желании не мог бы догадаться. К тому же я теперь уделял ему очень мало времени, и это могло показаться ему обидным. Я же, со своей стороны, пришел к мысли, что Титус — натура не столь сложная, как я вообразил сначала; а может быть, он, столкнувшись с ужасами, сознательно выбрал простоту.

Гилберт проявлял куда больше любопытства, а также стремления мне помочь (он даже предложил поставить в комнате Хартли букет цветов), но его я решительно отстранил. Он, разумеется, по-прежнему был полезен. Он готовил еду. Ездил в лавку, пока Титус принимал солнечные ванны. Но на верхнюю площадку я его не пускал. Об одной забавной подробности, связанной с этим

временем, я до сих пор не могу вспомнить без содрогания. Выяснилось, что и Титус, и Гилберт обожают петь. У Гилберта был очень неплохой баритон, Титус пел вполне приличным тенором, мог и фальцетом. Более того, у них оказался неисчерпаемый общий репертуар. Пока я не выгонял их за дверь, дом буквально сотрясался от их дуэтов. Конечно, они были бы не прочь иметь меня в качестве публики (все певцы тщеславны), и, конечно, они были бы не прочь просиживать в кухне полночи, распевая во все горло и поглощая мое вино. (Оба пили много, пришлось послать Гилберта в отель «Ворон» за пополнением.) Их было слышно даже с улицы, причем довольно далеко от дома, до того громко они пели и с такой радостью хвастали друг перед другом своими талантами. (Хартли никогда не упоминала об их пении, ей, наверно, было все равно, а может быть, она, как и ее супруг, была туга на ухо.) Они исполняли арии из опер и оперетт, мадригалы, поп-мелодии, народные песни, неприличные куплеты и любовные романсы по-английски, по-французски и по-итальянски. Мне кажется, они буквально опьяняли себя музыкой; возможно, то была естественная реакция на царившую в доме предгрозовую атмосферу.

Я только что сказал, что Титус в моих глазах стал проще, чем показался мне вначале. Это — применительно к его матери и к моим личным проблемам. (Вернее, пожалуй, было бы сказать не «проще», а более равнодушным, менее внимательным.) Но стоит отметить и другое, и Гилберт тоже это заметил: по некоторым второстепенным признакам, Титус был культурнее, чем можно было ожидать от мальчика, который не стал доучиваться в средней школе, а пошел в политехнический колледж «изучать электричество». Где он обретался последний год или два? Это оставалось тайной. Я помнил запонки и любовную лирику Данте. По моим предположениям, он жил с женщиной старше его. Он сейчас был в том же возрасте, как я, когда меня умыкнула Клемент; «похищение младенцев» — так это называлось. Какая-нибудь хищница похитила Титуса, а потом, совсем недавно, дала ему отставку. Гилберт же, естественно, предполагал, что Титус жил с мужчиной. Сам Титус на этот счет помалкивал. (Здесь, пожалуй, уместно будет сказать, что Перри, конечно же, ошибался касательно моих отношений с Фрицци Айтелем.)

Я упомянул историю и перепады, и позже мне в самом деле казалось, что за эти дни я заново

пережил всю историю моей любви к Хартли — не только давние времена, но и все промежуточные годы. С каждым днем, с каждым часом я вспоминал все новые подробности. К вечеру второго дня Хартли ненадолго разговорилась; перед тем она словно бы о чем-то размышляла, и эти свои размышления теперь облекла в слова. Так состоялся диалог, закончившийся крайне плачевно.

Мы сидели на полу — она на матрасе, я на голых досках, вытянув ноги, лицом к длинному окошку, выходящему в гостиную. Внутренняя комната, и всегда полутемная, тонула в сумерках, но вечернее солнце проникало сюда в виде тусклого теплого свечения. Я коснулся руки Хартли. Всем телом я ощущал, что она рядом.

— Хартли, милая, мой халат тебе очень к лицу, но неужели тебе никогда не хочется его снять?

— Мне холодно.

— Ты еще не чувствуешь, что ты здесь дома?

— По-твоему, самое главное — что с моей стороны было ошибкой не выйти за тебя замуж.

— Ошибка-то была. Но сейчас самое главное — исправить ее.

— Просто тебе нужен кто-то, с кем можно вспоминать прошлое.

— Ну, это уж нечестно, когда я так хочу гово-

рить о будущем, только ты вот не хочешь!

— Ты на меня в обиде за то, что ушла.

— Ага, так ты признаешь, что ушла?

— Наверно, так. Давно это было.

— Ты сказала, что я тебе изменю.

— Разве? Не помню.

(Я-то всю жизнь исходил из этих ее слов, а она их не помнит!)

— Наверно, сказала, я только знаю, что чувствовала себя виноватой.

— Потому что сделала мне больно?

— Да. Я всегда чувствовала себя виноватой и думала, что ты осуждаешь меня. И мне нужно было как-то защититься мыслью, что ты меня ненавидишь.

— Но как это могло тебя «защитить»?

— Когда я тебя увидела в деревне, я подумала, что ты меня видел и нарочно не узнал, потому что ненавидишь меня.

— Не мог я тебя ненавидеть, родная, ни одной минуты.

— Мне нужно было так думать.

— Но почему?

— Чтобы быть уверенной, что ты действительно ушел, что все действительно кончено. Чтобы вроде как умертвить это в памяти.

— Ох, Хартли, для меня оно никогда не кончалось, в моей памяти никогда не умирало. Значит, ты обо мне скучала, боялась обо мне думать? Разве это не доказательство, что ты меня любишь?

— А мне все-таки кажется, что ты меня ненавидишь. Обижен на меня.

— Теперь? Да ты с ума сошла.

— Если б не обида, ты бы не был такой недобрый.

— Хартли, не мучь меня, ты рассуждаешь как ненормальная.

— Либо это любопытство, как у туриста, ты меня осматриваешь, осматриваешь мою жизнь и чувствуешь свое превосходство.

— Хартли, перестань! Или ты нарочно стараешься меня уязвить? Уж если кто недобрый, так это ты. Мы связаны вечными узами, ты это знаешь, это ясно как день, яснее Иисуса. Я хочу, чтобы ты стала наконец моей женой, чтобы обрела во мне успокоение. Я хочу заботиться о тебе всю жизнь, пока не умру.

— Мне бы самой поскорее умереть.

— Замолчи, ради бога.

— Хоть бы все поскорее кончилось. Я свою жизнь прожила. Хоть бы кто-нибудь убил меня.

— Значит, он грозил тебя убить?

— Нет-нет, это все у меня в мыслях.

— Вернуться ты сейчас не можешь, я тебя не отпущу, даже если я тебе не нужен. Это же так просто, ты сама все усложняешь.

— Это ты все усложняешь по-своему, изворачиваешься, извиваешься как угорь. Это в тебе всегда было, я помню.

— Ну вот, теперь я угорь, этого еще не хватало. Когда речь шла о тебе, я не изворачивался и не извивался. Я всегда хотел тебя, и только тебя. Я-то был верен. Я-то не женился.

— Ну так жил с женщинами, хотя бы с той старой актрисой.

— Пусть так, но я ведь не мог тебя найти. Как ни старался, как ни искал, а в глубине души не терял надежды, поэтому, может быть, я тебя и нашел.

— Я была несправедлива к Бену.

— О господи, опять ты про Бена. Бена больше нет.

— Он так мучился, когда Титус исчез, это было вроде епитимьи.

— Допускаю, но он заслужил свою муку, он сам выжил Титуса и, поверь, был очень рад.

— Нет-нет, не так уж плохо он обращался с Титусом, как я сказала. Он был с ним строг…

— Не строг, а жесток. И с тобой тоже. Не засту-

пайся за него. И давай не будем больше говорить про этого негодяя.

— Из Общества защиты детей никто не приходил, это я только так сказала.

— К черту Общество защиты детей. Мне плевать, приходили они или нет.

— Но я сказала, что приходили, а этого не было.

— Если и не приходили, так следовало прийти.

— Но это была неправда.

— Зачем тебе нужно обелять этого мерзкого, жестокого человека? Титус его ненавидит. Какие еще нужны доказательства? По-моему, никаких.

— У Бена, кроме меня, никого нет на свете. И ничего нет.

— Не умрет, перебьется. А я как? Почему бы для разнообразия не пожалеть меня? Старый актер, может ли быть фигура более жалкая? Что у меня осталось, кроме воспоминаний? Я расстался со своей властью и славой — ради чего, и сам не знал, а оказалось — ради тебя. Теперь ты уж не можешь меня подвести.

— Ты в Бога веришь?

— Нет.

— А я, кажется, верю в Иисуса Христа. Во что-то нужно верить, держаться за что-то. Без Бога люди

посходили бы с ума, разве нет? Мы с тобой когда-то говорили об этом, да?

— Я рад, что ты помнишь эти разговоры. А помнишь нашу конфирмацию? Это было для нас важное событие, верно? «О Дух Святой, на нас сойди…»

— Я, кажется, верю в отпущение грехов.

— Ну, в это нам всем не мешает верить.

— Любовь искупительная, это ведь что-то значит?

— Только не говори мне, что собираешься искупить любовью грехи Бена! А мои грехи ты не хочешь искупить?

— Его никто, кроме меня, не полюбит.

— Иисус полюбит.

— Нет, понимаешь ли, для Бена мне самой приходится быть Иисусом.

— Право же, родная, ты городишь чепуху. Ну подумай сама. Неужели тебе не ясно, что Бен вздохнул бы свободно, если б ты от него ушла? Да ты, черт возьми, уже ушла от него. Не так уж ты ему нужна. Сам он, может быть, и не прогнал бы тебя, но теперь, раз ты сбежала, он только рад будет.

— Ты стараешься сделать его нереальным, а он настоящий.

— Настоящее становится нереальным, когда приближаешься к истине.

— Наша любовь не была настоящей, это было ребячество, вроде игры, мы были как брат с сестрой, мы тогда не знали, что такое любовь.

— Хартли, ты же знаешь, что мы любили друг друга.

— Да, но любовниками мы не были, и очень жаль.

— Я думал, ты не хочешь, я-то хотел… О черт!..

— Мы были детьми. Ты не стал частью моей настоящей жизни.

— То, что ты называешь твоей настоящей жизнью, было, судя по всему, сущим адом. Ты сама это сказала. Счастливая женщина не станет мечтать о смерти.

— Напрасно я тебе столько рассказала, я еще об этом пожалею. Конечно, это сплошная путаница, но это моя путаница, я в ней живу. Не могу я из нее выскочить, сбросить ее с себя, как разбитую скорлупу.

— Очень даже можешь. Выскочи, убеги, забудь. Убедись, что боль может кончиться.

— Может? Боль может кончиться?

Она смотрела на меня широко открытыми глазами, словно в растерянности, а я думал: по-

мешанная она, полутруп или же передо мной некое духовное существо, очищенное страданием? Может быть, странная, дикарская красота, исполнившая меня в юности такой любви и преклонения, и была предвестником некой загадочной духовности? Бывают ведь неведомые святые с диковинными судьбами. Но нет, она — разбитая чашка, бедная сломанная ветка, все, что было в ней честного, своего, разрушено той жестокой силой, что заставила ее отступиться от Титуса. Но как бы там ни было, я люблю ее и предан ей, как был всегда, и здесь, и там, где звезды, а за ними еще звезды и еще, которые я видел в ту ночь, когда лежал на скалах, а золотое небо медленно выворачивало Вселенную наизнанку.

— Может, моя дорогая, моя царица, мой ангел, боль может кончиться!

Ах, суметь бы достучаться до ее сознания, снять с него цепи, пробудить в ней надежду, влить в нее хоть каплю надежды, желания — желания любви, счастливой жизни! Но она только растерянно нахмурилась и вернулась к Бену:

— Нехорошо я с ним обращалась.

— А я уверен, что ты вела себя с ним как святая, многострадальная святая!

— Нет, я вела себя плохо.

— Ну пусть так, называй как хочешь, все равно с этим покончено.

И тогда я увидел ее невинной, как в прошлом мужчины видели девушек-послушниц и думали: «Мы — скоты, а вот они — ангелы, чистые, не замаранные, как мы». Я увидел ее прекрасно невинной, простой, недалекой, ничего не понимающей, как живой укор мне, прожившему жизнь среди суетных эгоистов и бойких, расчетливых женщин. Но и виноватой я ее увидел, реально повинной в реальных проступках. А могло ли быть иначе? Я вспомнил слова Перегрина: тот из супругов, который, пусть и беспричинно, считает себя виноватым, становится рабом другого и не может удержать своих моральных позиций. Вместе с собственными грешками она взвалила на себя и его вину. Она чувствовала себя повинной в его грехах против нее, против Титуса. Все стало мне ясно. И, взяв вину на себя, присвоив ее, она стала преклоняться перед виновником, возвела его в святые. Ах, если бы только мне удалось избавить ее от этого давящего, калечащего чувства вины, от этого надуманного преклонения! Боже мой, она даже передо мной считает себя виноватой и вынуждена утешаться мыслью, что я ее ненавижу! Она заколдована, вся опутана чарами

самосохранения, которые сама же сотворила за долгие годы, чтобы защититься от страшной боли, которую принес ей брак с мерзким, маниакально ревнивым самодуром. В страхе перед ним она поддалась внушению, когда из года в год он снова, и снова, и снова твердил одно и то же: что во всем виновата она, и только она. Неудивительно, что Титусу хочется удирать на скалы и петь, лишь бы ему не напоминали об этих сценах.

Она поплакала. Слезы в старости — не то что юные слезы.

— Не плачь, Хартли, ты похожа на поросенка в «Алисе», как в детстве.

— Я знаю, я безобразная, отвратительная…

— Да брось, родная, стряхни с себя этот кошмар…

Она утерла слезы моим платком, дала мне подержать ее за руку, снова принялась размышлять вслух:

— Но почему ты думаешь, что мой брак такой несчастливый?

Теперь она смотрела на меня почти лукаво, словно готовясь начисто опровергнуть любой мой ответ.

— Хартли, милая, ты запуталась. Ты же признала, что ты несчастлива, вот только сейчас

говорила о нескончаемой боли.

— Боль — это другое, она есть во всяком браке, вся жизнь — страдание, но тебя… тебя оно, может быть, миновало.

— Может быть, и так, и слава богу.

— Ты знаешь, дома, по ночам, я часто думала об узниках в концлагерях.

— Если ты утешалась мыслью, что ты хотя бы не в концлагере, не очень-то ты, видно, была счастлива!

— Но почему тебе кажется, что мой брак такой уж скверный? Ты не можешь об этом судить, не можешь понять…

— Могу судить. Я *знаю*.

— Но как ты можешь знать, это лишь твои домыслы, в браке ты ничего не смыслишь, ты только жил с женщинами, это другое дело, у тебя нет доказательств.

— Насчет тебя и его — есть.

— Не может этого быть. Ты с нами знаком совсем недавно, и общих знакомых у нас нет, да этого про нас никто и не знает, не может у тебя быть доказательств.

— А вот и может, и есть. Я слышал ваш разговор, слышал, что вы говорили друг другу. — Я выпалил это с отчаяния и, признаюсь, не без желания

уязвить. Ее непробиваемое упрямство да еще это выражение лукавого превосходства вывели меня из себя.

— Как это так?

— А я подслушал. Спрятался под окном и слышал, как вы с ним разговаривали. Слышал его скрипучий голос, его грубый, неприличный тон, и как он кричал на тебя, а ты раз за разом повторяла: «Прости, прости». Зря я тогда не разбил окно, не сломал ему шею. Я убью его. Надо мне было столкнуть его в море.

— Ты подслушивал… ты слышал… когда?

— Да уж не помню, неделю назад или две, я потерял счет времени. Так что видишь — хватит тебе притворяться, хватит обелять его и уверять, что ты счастлива в браке. Я знаю правду.

— Правду? Ничего ты не понимаешь. Ты подслушивал… и долго?

— Ох, сто лет, целый час, нет, не помню, вы так омерзительно кричали друг на друга, во всяком случае он на тебя кричал, а ты хныкала, это было отвратно.

— Как ты мог… ты не знаешь, что ты наделал. Как ты мог втереться, шпионить за нами, тебя это не касалось, как ты мог вмешаться в секретные дела, которых тебе все равно не понять, — так

гадко, так грешно, так обидно со мной еще никто не поступал…

— Хартли, милая, ведь я это только для того, чтобы помочь тебе. Пойми, мне нужно было узнать, удостовериться…

— Как будто ты мог что-нибудь узнать, нет, ты так меня обидел, я тебе никогда не прощу, никогда, это как убийство, ты не понимаешь, ой, мне так больно, так больно…

— Прости, родная, прости меня, я никак не думал…

Сидя очень прямо, прислонясь к стене, она теперь плакала так, как не плакала у меня на глазах ни одна женщина (а я их насмотрелся довольно). Слезы ее лились бурными потоками, потом из мокрых губ вырвался сдавленный крик, животный крик нестерпимой боли. Потом она испустила долгий тихий стон и повалилась на бок, судорожно хватаясь за горло, словно халат душил ее. За стоном последовал прерывистый вдох, и она забилась в истерике.

Я вскочил и в ужасе уставился на нее. Вот когда я понял слова Титуса: «Очень бывало страшно, что и требовалось». Я чувствовал, что под угрозой мой дух, мой здравый рассудок. Истерические припадки мне случалось наблюдать и раньше, но

такого я не видел. Я опять опустился на колени и пробовал удержать ее, встряхнуть, но у нее откуда силы взялись, а я как-то сразу ослабел, да и касаться ее стало невыносимо. Она вся содрогалась, словно заряженная опасным для жизни электричеством. Лицо было багровое, залитое слезами, изо рта текла слюна. Хриплым, пронзительным голосом, как до смерти перепуганный человек, выкрикивающий непристойности, она издавала какие-то безумные звуки — протяжное «а-а-а», переходящее в быстрые всхлипы «ой-ой-ой», потом опять вопль; и так снова и снова, точно человеком завладела некая демонская машина. Меня охватил ужас, страх, какой-то брезгливый стыд — стыд за себя, за нее. Я не хотел, чтобы Титус и Гилберт услышали эти жуткие ритмичные звуки, этот разгул агрессивной скорби. Я надеялся, что они далеко, среди скал, распевают свои песни. Я крикнул: «Замолчи, замолчи!» Я чувствовал, что еще минута — и мной овладеет буйное помешательство, мне нужно было утихомирить ее, хотя бы для этого потребовалось ее убить, я опять встряхнул ее, заорал на нее, бросился к двери, вернулся. Никогда мне не забыть это лицо, эту маску и неотступную жестокую ритмичность этих звуков…

Наконец они кончились, как кончаются все ужасы, пусть порой конец им кладет смерть. Мое присутствие, мои уговоры на нее не подействовали, я даже не уверен, сознавала ли она, что я здесь, хотя в каком-то смысле весь спектакль был разыгран для меня, его неистовство адресовано мне. Она обессилела, внезапно умолкла и откинулась навзничь, как в обмороке. Я схватил ее за руку. Рука была ледяная. В панике я готов был бежать куда-то, звать врача, но я боялся оставить ее одну и слишком обессилел, чтобы принимать решения. Я прилег рядом с ней, обнял ее, без конца повторяя ее имя. Дыхание ее стало глубоким и ровным, как во сне. Я взглянул на нее — глаза ее были открыты. Она опять смотрела на меня тем странно лукавым взглядом, словно оценивая, как подействовал на меня ее припадок. Но когда еще через какое-то время она заговорила, тон был спокойный, разумный:

— Ох, Чарльз, милый, мне так жаль…

— Прости меня, я болван, толстокожий идиот.

— Нет-нет, это ты прости, что я так расстроилась, расшумелась, наверно, это у меня шоковое состояние.

— Мне так жаль, дорогая…

— Ничего, ничего. Скажи мне, сколько времени

я провела здесь, в этом доме?

— Два дня.

— Он, мой муж, приходил сюда? Или, может быть, написал мне письмо?

Об этом она спросила впервые.

— Письма не было, а то я бы тебе его отдал. Он приходил наутро после твоего приезда.

— И что сказал?

— Хотел, чтобы ты вернулась домой и…

— И что?

Я был так измучен и разбит, что продолжал тупо:

— Сказал, что собаку он привел.

— Ах да, собака, собака, я и забыла. — Слезы опять навернулись на глаза и покатились по уродливо распухшим щекам, но она взяла себя в руки. — Ах ты, горе какое, лучше бы я была дома, когда он привел собаку.

— Послушай, Хартли, — сказал я, — ты, по-видимому, неспособна обдумать это дело, так давай я буду думать за тебя. Так продолжаться не может. Я уже чувствую себя каким-то злодеем. Ты меня поставила в такое положение, что я вынужден играть тирана, а эта роль мне глубоко противна. Ну, допустим, я ничего не знаю про твой брак, допустим, он был не такой уж скверный, и он вел

себя не так уж скверно, но удачным он, безусловно, не был, и я не понимаю, к чему тебе и дальше терпеть неприятного и необузданного сожителя, когда в этом нет нужды. Ты вольна уйти. Вероятно, ушла бы и раньше, если б было куда. А теперь есть. Давай уедем в Лондон. Здешняя ситуация сводит меня с ума. Я ее не меняю, потому что не хочу тебя принуждать, чтобы ты потом не говорила, что не сама приняла решение. Я не хочу быть вынужденным тебя принуждать. Подумай обо мне и о Титусе. Титуса я очень полюбил, я отношусь к нему как к сыну. А он ненавидит этого человека, и, если ты к нему вернешься, Титуса тебе больше не видать. Ты выбираешь не просто между мной и твоим жутким — прости за выражение — неудавшимся браком. Титуса тоже нельзя сбрасывать со счетов. Уедем в Лондон, втроем, а оттуда куда-нибудь подальше, куда угодно. Мы теперь семья. То, чего я не имел с тех пор, как ушел из родительского дома. Уедем, куда захочешь, и поищем счастья. Неужели тебе не хочется, чтобы Титус был счастлив? Он хочет стать актером, я могу ему помочь. Неужели тебе не хочется увидеть его счастливым?

Она слушала, но к концу моей тирады закачала головой. А потом сказала:

— Пожалуйста, не увози меня никуда, ты меня убьешь. Мне надо возвращаться домой. Ты сам это знаешь и знаешь, что я не хочу здесь остаться. Того, что тебе хочется, все равно не будет… это уж было бы чудом.

— Ну да, Хартли, дорогая моя, подожди чуда, дождись его, имя ему — любовь.

— Нет, имя ему не так, и оно не случилось и не случится. Неужели ты не понимаешь, что губишь меня? Теперь уж он никогда не будет мне верить, никогда. И это — твоих рук дело, твое преступление. Это как убийство. Никогда, никогда.

Вскоре после этого она сказала, что очень устала и хочет спать, и я оставил ее одну.

Я проснулся как от толчка. В окно спальни светила луна — я забыл спустить штору. Я услышал, как плещется море и как шуршат камни, которые волны нежно перебирают, уходя из Котла. Видимо, начался отлив. И еще я услышал, или ощутил, огромную пустоту, своды молчания, под которыми невероятно быстро билось мое сердце. Мне не хватало воздуха, и, чтобы не задохнуться, я рывком сел в постели. Мгновенно охваченный болью, любовью и страхом, я вспомнил, как всегда теперь вспоминал, просыпаясь, что Хартли находится у меня в доме. И одновременно испы-

тал предельный ужас, предчувствие страшной беды, скорее даже уверенность, что беда уже случилась. Весь дрожа, я спустил ноги на пол и нашарил свечу. Зажег ее, встал и прислушался. В пустом темном доме стояла зловещая тишина. Распахнув дверь, я выглянул на площадку. Из ниши словно струился слабый свет, но, может быть, это лунный луч там резвился. Я снова прислушался — где-то очень, очень далеко что-то стучало, глухие тяжкие удары все учащались. Я медленно двинулся вперед, стараясь ступать осторожно, чтобы не скрипнули половицы. Стала видна дверь в комнату Хартли и ключ в замке. Я хотел дотянуться до него, но страшно было ускорить шаг, страшно войти в эту жуткую комнату. Я взялся за ключ, повернул его и, подняв свечу, переступил порог. Матрас на полу, на который я, как всегда, первым делом взглянул, был пуст, постель в беспорядке. Хартли исчезла. Я огляделся вокруг, сдерживая крик ужаса. И вдруг увидел ее — она стояла в углу. Я подумал: странно, я и забыл, какая она высокая. Потом сообразил, что она стоит не на полу, так странно, влезла на стул или на стол. А потом увидел, что она свисает с кронштейна для лампы. Она повесилась.

Я проснулся. Вспышка мысли, показавшая мне

этот сон, в тот же миг показала мне, что это был сон. Я лежал в постели. Я не входил в комнату Хартли, не видел ее мертвой, она не повесилась на своем чулке на чугунном кронштейне для лампы, не влезла на стол, не соскочила с него. Я испытал неистовое облегчение, а потом пришла мысль: а вдруг это правда? Трепеща, я встал, зажег свечу и тихонько отворил дверь. Свеча озарила занавеску из бус, но за ней ничего не было видно. Бусы тихо постукивали, — вероятно, из двери потянуло сквозняком. Я осторожно раздвинул нитки бус, проскользнул к двери Хартли и бесшумно повернул ключ. И заглянул в комнату.

Да, вот она, в свете моей свечи, лежит, свернувшись на матрасе, под одеялом, прикрыв лицо рукой. Я постоял, слушая ее ровное, спокойное дыхание. Потом бесшумно вышел и опять запер дверь. Пробравшись как можно тише сквозь занавеску, я, чисто по рассеянности, вошел не в спальню, а в гостиную. С тех пор как началось заточение Хартли, я избегал туда входить, меня удерживало какое-то чувство приличия, ведь туда смотрело длинное окно из ее комнаты. Теперь я туда вошел, движимый смутным желанием убедиться, что там никого нет, и, конечно, там никого и не было. Я стоял, высоко подняв свечу

и глядя на длинное внутреннее окно, похожее сейчас на черное зеркало, и мне пришло в голову, что избегал я сюда входить не из чувства приличия, а из страха, как бы не увидеть Хартли, если бы ей и правда вздумалось ко мне заглянуть. И вдруг я вспомнил лицо, которое увидел когда-то сквозь темное стекло, и как я тогда подумал, что лицо это расположено слишком высоко. Оно не могло быть лицом человека, стоящего на полу. Оно было как раз на том уровне, на каком пришлось бы лицо Хартли, если б она действительно повесилась.

Потом я подумал: моя свеча светит к ней в комнату, льет туда бледное призрачное сияние. Какие страхи осаждают ее, бедную пленницу, если она просыпается ночью? Влезает она на стул, чтобы заглянуть в пустую, слабо освещенную луной гостиную? Или пробует тайком отворить дверь, страшась и надеясь, что сумеет спуститься по лестнице и убежать в ночной мрак? Я поспешил вернуться в спальню и закрыть дверь. Ежась от холода, сел на постель и взглянул на часы. Половина третьего. Что же я делаю, вернее, что со мной творится? Я сжал руками виски. Я был предельно уязвим и беспомощен. Я утратил власть над своей жизнью и над чужими жизня-

ми, в которые вмешался. Мной владел ужас, и пугающее безразличие, и тяжкое горе, какого я не знал с тех давних времен, когда Хартли меня бросила. Я разбудил какого-то спящего демона, пустил в ход какую-то смертоносную машину, и теперь будь что будет.

На следующее утро и правда кое-что случилось: появилась Розина.

После моей жуткой ночной интерлюдии я умудрился заснуть. Возможно, меня сморило равнодушие. Пусть Бен придет сюда, пусть подожжет дом, пусть убьет меня. Поделом мне будет. Наутро, однако, я ощутил куда меньше равнодушия и куда больше тревоги. Нужно было срочно принять какое-то решение, но для этого у меня не было основы — каких-либо данных или доказательств. Я страстно желал увезти Хартли в Лондон или хоть на край света, вернее — мне хотелось желать этого достаточно сильно, чтобы тут же это сделать. Но возможно ли, позволительно ли сделать это против ее воли? Могу я силком втащить визжащую женщину в машину Гилберта и умчать в город? Могу я обманом внушить ей, что она едет домой? Пойдет ли на это Гилберт? И Титус? Если я увезу ее силой, это может настроить ее против меня и помешать

пробуждению в ней собственной воли, которого я так нетерпеливо ждал.

А между тем может ли все оставаться как есть? И если нет, в какую сторону все может повернуться? Отпустить Хартли домой, к этому человеку, представлялось мне немыслимым, особенно после того, что она сказала вчера, что теперь он больше никогда, никогда не будет ей верить. А вдруг он ее убьет? Получится, что это я лишил ее жизни. Могу я открыть дверь и сказать: «Ну хорошо, я сдаюсь, можешь возвращаться домой»? Нет. Единственное, но драгоценное рациональное зерно, за которое я могу ухватиться, — это слова Хартли о чуде, которое не произошло. Раз она хотя бы произнесла такие слова, не значит ли это, что мысли ее раздваиваются и она лелеет хоть каплю благоприятной для меня надежды, хоть слабенькое святое желание захотеть того, чего хочу я? Она просто не может не хотеть свободы и счастья, этого хотят все. Где-то в глубине ее истерзанной души не может не таиться ожидание, что я уведу ее, избавлю от горя и рабства. Ее не может не воодушевлять мысль о Титусе, о том, чтобы снова без помехи любить его, о новой семье, новой жизни. Ведь ей стоит только открыть глаза, протянуть руку, сказать «да». Рано или поздно ее

воля к свободе неизбежно вырвется наружу. Надо только ждать, удерживать ее здесь, пока само время не пробудит ее волю.

Я накормил ее завтраком и попытался поговорить с нею, объяснить то, что только что записал, а она все повторяла, что хочет домой. Ее отекшее лицо, синяки под глазами и непрошибаемая вялость наводили на мысль, что она, чего доброго, и вправду больна и нужно бы вызвать врача. А потом, движимый не столько жалостью, сколько раздражением, я подумал, что не мешало бы ее приструнить; круто повернувшись, я вышел за дверь и тут же устыдился. Я стоял и теребил занавеску из бус, не зная, как быть дальше, и тут снизу донесся громкий взрыв смеха, а затем пение на три голоса, из которых один был женский.

Я бегом спустился в кухню. На столе сидела Розина и болтала ногами, а Гилберт и Титус на нее молились (другого слова не подберешь). На ней был темно-серый, в мелкую клетку, очень элегантный легкий костюм с белой шелковой блузкой и очень высокие мягкие белые сапожки на высоких каблуках. Блестящие темные волосы были подстрижены или уложены искусным парикмахером в виде прически из круглых валиков, выглядевшей и затейливо, и небрежно

(Хорэсу понравилось бы). Ее резкое, плотоядное лицо дышало здоровьем, энергией и откровенным любопытством. Она явно чувствовала себя хозяйкой положения, тогда как остальные двое, возможно потому, что долго держали себя в узде, то давились от смеха, то хохотали как идиоты. Мое появление вызвало новый взрыв слегка истерического смеха, и тут же они, словно по команде, снова запели. Пели они и были, казалось, готовы петь без конца итальянский канон, слова которого я запомнил, потому что Гилберт и Титус и в предыдущие дни исполняли его как заведенные. Гилберт узнал его от Титуса, а теперь и Розина его постигла. Слова были такие: *Eravamo tredici, siamo rimasti dodici, sei facevano rima, e sei facevan' pima-poma-pima-poma*[33]. О чем там шла речь — понятия не имею. Пение — это, конечно, вид насилия. Влажные открытые рты и поблескивающие зубы поющих так и норовят растерзать жертву — слушателя. Певец жаждет слушателя, как зверь — добычи. Опьяненные собственными голосами, эти трое драли теперь глотку, сменяя друг друга, — сочный баритон Гилберта, псевдонеаполитанский тенор Титуса

[33] Примечания: 33

Нас было тринадцать, осталось двенадцать, шестеро сочиняли, а шестеро напевали пима-пома... *(ит.)*

и сильное, грубоватое контральто Розины. Я крикнул: «Тихо! Кончайте этот кабак!» — но они продолжали мне назло, не спуская с меня смеющихся глаз, размахивая руками в такт мелодии; а утомившись наконец, перестали петь, и опять их затрясло от идиотского смеха.

Я сел на стул и смотрел на них.

Розина обрела наконец дар речи и сказала, утирая слезы:

— Ох, Чарльз, ты такой потешный, ты неиссякаемый источник веселья для твоих друзей. Оказывается, ты прячешь твою пассию здесь, наверху? Нет, это просто неописуемо!

— Какого черта вам понадобилось ей рассказывать? — спросил я Гилберта и Титуса.

Гилберт, безуспешно пытаясь стереть с лица бороздки смеха и избегая моего взгляда, стал глупо вращать глазами.

Титус ответил, надувшись:

— Вы не говорили, чтоб не рассказывать.

Потом поймал взгляд Розины и расцвел.

Гилберт, конечно, встречался с Розиной и раньше. До сих пор он относился к ней с чопорной неприязнью, какую некоторые гомосексуалисты инстинктивно питают к очень женственным хищницам (а вот с милыми, кроткими женщи-

нами вроде Лиззи отлично ладят). Но сегодня он, судя по всему, мгновенно обратился в новую веру. Титус, мальчишка, попросту млел от восторга, что видит воочию знаменитую актрису и она не только заметила его, но и оценила его юношескую прелесть. Они все поглядывали друг на друга, он — робко, она же смело и весело. Как и Гилберт, Титус похорошел от солнца и моря. Его светлые рыжеватые волосы образовали вокруг головы нимб из тончайшей проволоки, а в вырезе незастегнутой рубашки тепло светилась кожа и сверкали рыжие завитки на груди. Из-под высоко закатанных брюк торчали длинные, стройные бронзовые ноги. Он был босиком. От шрама на губе красивый рот выглядел более мужественно. Розина, обворожительная как никогда, весело упивалась своей властью. Зорким косящим взглядом она поощряла по очереди двух своих поверженных в прах рабов. Оба они явно подпали под ее чары. Да, это было совсем не похоже на сгущавшуюся в Шрафф-Энде атмосферу могильного склепа.

— Что тебе здесь нужно, Розина?

— То есть как это «что тебе нужно»? Разве так гостей встречают? «Что тебе нужно», — передразнила она. — Ничего себе вопрос!

Те двое покатились со смеху. Каждое слово Розины казалось им верхом мудрости и остроумия.

— Зачем ты сюда явилась?

— А ты не мог бы говорить со старой знакомой повежливее?

— Мне сейчас не до светских разговоров.

— Оно и видно. Впрочем, двое премилых гостей к тебе уже явились, даже трое, включая бывшую пассию. Ну да ладно, я не напрашиваюсь на приглашение погостить недельку. По-моему, этот дом на редкость противный, неприятный, неуютный какой-то.

— Он полон необъяснимых вибрррраций, — сказал Титус.

— Золотые твои слова, — сказал Гилберт.

Это уже был сговор против меня.

— Но скажи, это правда, что твоя избранница здесь, наверху? И как же ты намерен с ней поступить? Ты ведь обещал все как есть мне рассказывать о твоей интереснейшей личной жизни, только мне, конечно, пора бы помнить, что ты не держишь обещаний. В общем, я решила заехать, посмотреть, как у тебя идут дела. Я что-то заработалась и почувствовала, что надо отдохнуть. Я опять в отеле «Ворон». Мне там нравится, и бухта нравится, и эти диковинные круглые

камни. А кормят превосходно, не в твоем стиле.

— Желаю тебе с приятностью отдохнуть в отеле «Ворон».

— В Лондоне про тебя ходят поразительные слухи.

— Воображаю. Там, наверно, только и разговоров что обо мне.

— А знаешь — нет. Некоторые слухи мне пришлось пустить самой, чтобы память о тебе не совсем угасла. Тебя уже стали забывать. Ты, и пока работал, уже числился в предках, а теперь ты — древняя история. Молодые о тебе и не слышали, Чарльз. Тебя нет, ты даже не миф. Теперь мне это ясно, милый Чарльз, ты — старик. Где то обаяние, о котором мы столько трепались? Это была власть, а больше ничего. Кончилась власть, кончилось и обаяние. Немудрено, что ты вынужден довольствоваться бородатой старухой.

— Катись-ка ты отсюда, Розина.

— Но что происходит, Чарльз? Я сгораю от любопытства. Со слов этой парочки я поняла, что ты держишь ее вроде бы в клетке. Можно, я поднимусь к ней и потыкаю палочкой сквозь прутья?

— Розина, ради бога…

— Но что у тебя на уме, Чарльз? Помнится, там еще фигурирует муж. Впрочем, мужья тебя обыч-

но не отпугивали. Но не может же быть, чтобы ты хотел ее увезти, жениться на ней! Честное слово, это уже просто смешно. В прежние времена ты никогда не бывал смешон. У тебя было достоинство и стиль.

Титус и Гилберт, притихнув, не поднимали глаз, смущенно разглядывали крупные плиты пола.

— Я провожу тебя до шоссе, Розина. Твоя машина там?

— А я не ухожу. Я хочу еще немножко попеть. Кто этот красавчик?

— Это Титус, мой сын.

Титус нахмурился и погладил шрам на губе. Гилберт поднял брови. Розина побледнела, глянула на меня с пронзительной злобой, потом рассмеялась:

— Ну-ну… Ладно, я пошла. Машина моя на шоссе. Можешь меня проводить. До свиданья, братцы-кролики. Славный мы устроили концерт…

Она прошагала в прихожую, размахивая сумкой, я за ней.

Не оглядываясь, она вышла через парадную дверь и двинулась по дамбе. Я дошел с ней до ее отвратного красного автомобиля.

Тут она накинулась на меня, уже не сдерживая злости:

— Этот мальчик правда твой сын?

— Да нет, я его вроде как приблизил к себе. Я всегда хотел иметь сына. Это их сын, приемный, приемыш Хартли и ее мужа.

— Понятно. Могла бы сразу сообразить, что это дурацкая шутка. А я на секунду подумала, а вдруг… как же ты думаешь поступить с этой женщиной? Не можешь ты связать свою жизнь с полоумной теткой. И не можешь держать ее на цепи, как бешеную собаку. Или я что-то перепутала?

— Она не пленница. Она меня любит. Ей слишком долго обрабатывали мозги.

— А брак и есть обработка мозгов. И это не всегда плохо. Тебе, например, не помешало бы. О господи, как я устала. Ехала, ехала… по-моему, ты теряешь рассудок, это начало старческого слабоумия, ты живешь в выдуманном мире, притом довольно противном. Хочешь, расскажу тебе что-то, что тебя взбодрит?

— Нет, благодарю.

— Ты говоришь, что «всегда хотел иметь сына». Это всего лишь сентиментальная ложь. Ты не хотел забот, не хотел ничего знать. Ни разу не

поставил себя в такое положение, когда мог бы иметь настоящего сына. Все твои сыновья — фантазии, ими оперировать легче. Неужели ты вообразил, что можешь действительно «приблизить к себе» этого глупого, безграмотного мальчишку? Он исчезнет из твоей жизни, как и все остальное, потому что ты неспособен ухватить сущность, реальное. Он тоже окажется грезой — тронешь его, и он исчезнет. Вот увидишь.

— Ну хорошо. Ты свое сказала, теперь уезжай.

— А я еще только начала. В свое время я тебе не сказала, думала, что и никогда не скажу. Ты сделал мне ребенка, а я его уничтожила.

Я нарисовал пальцем круг на пыльном радиаторе машины.

— Почему ты мне не сказала?

— Потому что тебя не было, ты уже упорхнул, не то с Лиззи, не то с какой-то еще очередной принцессой-грезой. Господи, как жестоко могут вот так, походя, поступать мужчины — женщина остается одна и должна сама принять решение, пусть у нее хоть душа пополам разорвется. Я приняла решение сама. Господи, как я об этом жалею! Я тогда себя не помнила. Пошла на это отчасти из ненависти к тебе. Какого черта я не сохранила ребенка. Сейчас он был бы почти взрослый.

— Розина…

— И я научила бы его ненавидеть тебя, тоже было бы утешение.

— Мне так жаль.

— Ах, тебе жаль. И я, скорее всего, была не единственная. Ты нарочно разрушил мой брак, занимался этим долго, старательно, умело. А потом ушел и оставил меня ни с чем, хуже чем ни с чем — с этим гнусным преступлением, которое мне пришлось совершить в одиночку, я плакала об этом много месяцев… много лет… до сих пор плачу.

На секунду ее темные глаза наполнились слезами и тут же, как по волшебству, высохли. Она взялась за дверцу машины.

— Розина…

— Я тебя ненавижу, ненавижу всей душой, с тех пор ты в моих глазах хуже дьявола…

— Ну да, я тебя бросил, но ты сама меня до этого довела, ты тоже ответственна. Эмансипация не помешала женщинам, как и прежде, валить вину на нас, когда это им удобно. Сейчас ты рассказала мне этот ужас, чтобы…

— А, замолчи. Как зовут эту особу?

— Кого, Хартли?

— Это ее фамилия?

— Нет, ее фамилия Фич.

— Фич. Очень хорошо. Мистер Фич, я спешу к вам.

— Ты что, бредишь?

— Он ведь живет где-то здесь? Я узнаю его адрес и утешу его. Ему будет полезно встретиться с настоящей живой женщиной вместо старой карги. Он, наверно, и забыл, какие бывают женщины. Я его не съем, просто подбодрю его, обойдусь с ним лучше, чем ты обходишься с ней. Надо же мне немножко позабавиться, пока я на отдыхе. Я думала было соблазнить красавчика, но это было бы слишком легко. Папаша — предприятие поинтереснее. Как-никак жизнь полна сюрпризов. Безнадежно скучным стал только ты, Чарльз. Скучно с тобой. Прощай.

Она села в машину и захлопнула дверцу. Машина красной ракетой рванулась в сторону деревни.

Я тупо смотрел ей вслед. Скоро на дороге не осталось ничего, кроме облака пыли под бледно-голубым небом. Какое-то время мне казалось, что я сойду с ума, если стану вдумываться в то, что узнал от Розины.

Остаток этого дня (до того, как вечером случилось много новых событий) прошел как в

горячечном сне. Погода, уловив мое настроение, а может быть заразившись им, становилась все жарче, но то была душная, зловещая жара, предвещающая грозу. Свет померк, хотя солнце по-прежнему сияло в безоблачном небе. Меня пошатывало от слабости и знобило, как бывает, когда начинается грипп. И впечатление, что Хартли больна, усилилось. Глаза у нее поблескивали, руки были горячие. В ее комнате стоял затхлый запах больницы. Говорила она разумно, вполне нормально, даже спорила со мной. Я убеждал ее сойти вниз, выйти на воздух, на солнце, но при одной мысли об этом она, казалось, лишалась последних сил. И в разумности ее было что-то неприятное, как в логике помешанного или в словесных упражнениях, к которым прибегают, лишь бы что-то сказать. Она продолжала твердить, что хочет домой, что выбора у нее нет и тому подобное, но мне казалось, что нет у нее и настоящего желания уйти. Я пытался усмотреть в этом отсутствии твердой воли хорошее предзнаменование, но теперь оно почему-то стало меня пугать.

И молчание Бена меня нервировало. Что оно означает? Решил ли он по зрелом размышлении, что Хартли ему больше не нужна, и перестраива-

ется на счастливую холостяцкую жизнь вдвоем с собакой? Или у него есть подружка, к которой он теперь на радостях и сбежал? Или он разрабатывает сложные планы, обдумывает, как вызволить Хартли, либо готовит страшную месть мне? Сколотил он банду — может быть, из старых приятелей по армии — и в любую минуту приведет ее сюда, чтобы избить меня до полусмерти? Обратился ли к юристу? Или ведет тонкую игру, ждет, когда у меня сдадут нервы, когда не он ко мне придет, а я к нему? Или он тоже впал в нервную апатию, не знает, чего хочет, не знает, как быть? Я-то временами уже чувствовал, что, если кто-то, пусть даже полиция, применит ко мне насильственные меры, все будет лучше, чем эта гулкая пустота, чреватая столькими возможностями.

Я теперь очень старался собраться с духом, чтобы увезти Хартли в Лондон — впихнуть ее в машину и обманом внушить ей, что она едет домой, но был далеко не уверен, что это правильный ход. Пусть Шрафф-Энд, как выразился Титус, «полон необъяснимых вибраций», но это мой дом, я к нему привык. И здесь я могу спокойно общаться с Хартли, здесь струится узкий ручеек общения, особенно когда мы говорим о прошлом. В каком-то смысле нам легко вдвоем. И конечно

же, скоро наступит какой-то перелом, какое-то диалектическое изменение. А что я, черт возьми, буду делать в Лондоне с плачущей, истеричной Хартли, в моей тесной квартирке, где стулья навалены на стол и фарфор стоит нераспакованный? К кому мы можем пойти в Лондоне? Не хочу я показывать Хартли людям, которые, даже искренне желая помочь, будут тихомолком смеяться над ней. Скорее всего, мне, нам обоим, нужен кто-то, кто бы о нас заботился или хотя бы просто был при нас, как защита и гарантия обыденности. Пусть от Титуса и Гилберта не много пользы, но благодаря их присутствию всю ситуацию можно хоть как-то терпеть.

Однако после того, как у нас побывала Розина, Титус и Гилберт взбунтовались, хотя пока еще и не в открытую. Думаю, что их тоже, каждого по-своему, угнетало молчание Бена. Они ждали кульминации, развязки. Ждали, когда кончится напряжение и можно будет перевести дух. Гилберт откровенно боялся драки и рукоприкладства. Что на уме у Титуса — в этом я не был уверен и страшился гадать. С тех пор как Хартли жила у нас, я ни разу толком не поговорил с ним. А следовало. Я все хотел, но так и не собрался. Возможно, что Титус изнемогает от напряжения

и колебаний — хочет и не хочет убежать к отцу, помириться, или даже претерпеть наказание, избавиться от матери, избавиться от меня. Эта ужасающая догадка мешала мне позондировать его, притом что мне еще столько предстояло обдумать и решить. А он тем временем ушел в себя, обиженный, что его перестали обхаживать. Я не прочь был его обхаживать, но сейчас не находил в себе для этого ни ума, ни сил. И он разочаровал меня. Я рассчитывал на его помощь, на его любовь и поддержку в отношении Хартли, его находчивость, его обещание, наконец. А он ясно показал, что отмахнулся от проблем, связанных с его матерью. Предпочел не думать о непристойности ее заточения. Не захотел стать при ней вторым тюремщиком. Это можно было понять. Но меня раздражало, что он как будто безмятежно наслаждается жизнью. Он купался в море, он пел, он сидел на скалах с Гилбертом, попивая вино и черносмородинный сок (их последнее увлечение). Вел себя как тот самый нахлебник, от роли которого так гордо отмежевался. Поскольку Гилберт объявил, что боится один ездить за покупками, Титус сопровождал его, и они накупали на мои деньги прорву дорогостоящей еды и напитков. Бена они ни разу не встретили. Может

быть, Бен уехал? Куда? К кому? Эти тайны мало меня утешали.

Бунт Гилберта и Титуса выразился и в намеках, что мне пора что-то предпринять насчет Бена. Гилберт, во всяком случае, что-то мямлил в этом смысле, и Титус, несомненно, был к этому причастен. Что именно я должен сделать, было не так ясно, но какого-то шага они от меня ждали. Петь они стали поменьше и побольше сидели в кухне и шептались как заговорщики; и я, даже среди других своих горестей и забот, испытывал ревность, когда видел их вместе и они сразу замолкали при моем появлении. Они то и дело бегали смотреть, нет ли писем. Гилберт даже купил большую квадратную корзину и пристроил ее на камнях в конуре, чтобы какое-нибудь письмо не намокло или его не унесло ветром. Я не вступал с ними в разговоры, очень уж боялся, как бы не услышать от Титуса, что он намерен сходить на разведку в Ниблетс. Что, если Титус уйдет в Ниблетс и не вернется? О нелепой похвальбе Розины я им, конечно, не рассказал, да и про себя решил, что это очередная выдумка назло мне. Не забыл и той новости, что узнал от нее, как ни гнал от себя эти мысли. Я от души надеялся, что она отбыла обратно в Лондон.

К вечеру того дня я внушил себе, что, если Бен не даст о себе знать, я завтра что-то предприму, что-то окончательное, решающее, хотя и не видел еще ясно, каким будет этот шаг к избавлению. Скорее всего, я увезу Хартли и Титуса в Лондон. Сколько еще можно надеяться, что она проявит собственную волю? Наверно, она хочет, чтобы я увез ее силой. Придя к этой мысли, я почувствовал, что решение мое почти созрело, я даже почувствовал какое-то облегчение. Но это решающее «завтра» в том виде, как оно мне рисовалось, так и не наступило.

К вечеру плотный голубой воздух стал темнеть, тяжелеть, хотя солнце светило и небо оставалось безоблачным. Солнце светило как сквозь дымку, но дымка словно состояла из голубых капель, слетевших с неба. Я помню мертвенный колорит этого вечера, яркий сумрачный свет, блестящие, вибрирующие краски скал, травы за шоссе, желтой машины Гилберта. Ни ветерка, ни малейшего дуновения. Море угрожающе спокойное, гладкое как стекло, маслянистое, везде одинаково синее. Беззвучные зарницы на горизонте — как гигантский далекий фейерверк или какие-то нездешние атомные взрывы. Ни облачка, ни глухого раската грома, только эти огромные беззвучные вспышки

желтовато-белого света.

Днем я побеседовал с Хартли, мы говорили о прошлом, и я вновь ощутил узкий чистый ручеек общения с нею, становившийся, как я убеждал себя, все глубже и шире. Да, легкость этого общения несомненна, аромат его ни с чем не спутаешь. Здесь я мог водрузить знамя моей любви, мог надеяться мало-помалу убедить ее. Любовь к ней в такие минуты выливалась в сострадание, в жалость, в одно желание — уберечь, исцелить, пробудить жажду счастья там, где раньше была пустота. Для этого я старался всеми правдами и неправдами заглушить в ней мысль о возвращении домой, незаметно внушая ей, что теперь оно невозможно; а пока пусть тешит себя иллюзией, что это возвращение состоится, скоро она поймет, что оно немыслимо, что она сама его больше не хочет. Исподволь я усиливал нажим. Моя тактика постепенности была выбрана правильно и скоро, скоро принесет свои плоды. Хартли еще повторяла, что ей нужно домой, к мужу, но говорила она это почти спокойно и, кажется, не так часто и словно бы механически.

Наконец я ушел от нее. Днем я перестал ее запирать. Она ведь нарочно, упорно пряталась — от Гилберта и, главное, от Титуса. Да и куда она убе-

жит днем незамеченная? Другое дело — ночные приступы отчаяния.

В парадную дверь позвонили. Спустившись в прихожую, я увидел, как дрожит проволока, еще раньше, чем услышал негромкий звонок на кухне. Я подумал: Бен. Спросил себя: один? И чтобы обогнать страх, пошел к двери быстро, без всяких предосторожностей. Я не стал запирать дверь на цепочку, а сразу распахнул ее. Передо мной стоял мой кузен Джеймс.

Джеймс улыбался спокойной, глуповатой, довольной улыбкой, которую он иногда на себя нацеплял. В руке он держал чемодан. На шоссе рядом с «фольксвагеном» Гилберта стоял его «бентли».

— Джеймс! Какими судьбами?

— Ты забыл? Завтра Троица, ты пригласил меня.

— Ты сам себя пригласил. А я забыл, разумеется.

— Если хочешь, могу уйти.

— Да нет, входи… Зайди хоть на минутку.

Меня охватило замешательство, досада, испуг. Появление моего кузена всегда предвещает недоброе. Его присутствие в доме все изменит, вплоть до чайника. Здесь мне с Джеймсом не

сладить. При нем я не могу управлять моей жизнью.

Он вошел, поставил чемодан, с интересом огляделся.

— Хорошо стоит твой дом. А эта бухта с шаровидными валунами просто поразительна. Я, конечно, ехал нижней дорогой.

— Конечно.

— А этот громадный утес в море, весь усеянный кайрами… ты понимаешь, о чем я говорю?

— Нет.

— Ты его что, не видел? Ну да ладно. И башня мартелло здесь, оказывается, есть. Это тоже твои владения?

— Да.

— Понятно, что это место тебе приглянулось. Дом когда построен?

— Ох, не знаю. В начале века, чуть раньше, чуть позже. О господи!

— Что с тобой, Чарльз? Ты меня извини, надо было предупредить тебя письмом. Я пробовал позвонить, но у тебя, видимо, нет телефона. Я могу остановиться и не у тебя. Мили за две отсюда я проезжал мимо очень приятного вида гостиницы… Ты здоров, Чарльз?

— Заходи в кухню.

Из-за необычного освещения в кухне было полутемно. Одновременно с нами туда вошли через другую дверь Титус и Гилберт, и позади них мигнула беззвучная летняя зарница.

Пришлось их представить друг другу.

— Знакомьтесь, это мой кузен Джеймс, заглянул ненадолго. Гилберт Опиан. А это мой юный приятель Титус. Больше здесь никого нет, мы перед тобой в полном составе.

Говоря это, я как бы случайно приложил палец к губам, авось заметят.

— Титус, — сказал Джеймс, — значит, ты здесь. Это хорошо.

— Не понимаю, — сказал я Джеймсу. — Ты же его не знаешь.

Я заметил, что Титус уставился на Джеймса, словно узнал знакомого.

— Нет, но ты упомянул о нем в нашем разговоре, неужели не помнишь?

— Ах да. Ну как, Джеймс, выпьешь на дорогу?

— Спасибо. Чего-нибудь. Хоть вот этого белого вина, благо откупорено.

— Мы пьем его с черной смородиной, — сказал Титус.

— Вы его кузен по отцовской или по материнской линии? — поинтересовался Гилберт, он

любил ясность в таких вопросах.

— Наши отцы были братьями.

— Чарльз всегда притворяется, что у него нет родных. Такой скрытный.

Любезно вращая глазами, Гилберт налил четыре бокала вина. Он немного похудел, лазая по скалам в своих новеньких спортивных туфлях. Выглядел моложе, держался свободнее. Титус подлил в бокалы сока. Было ясно, что оба они рады новому человеку, непредубежденному, со стороны, с которым можно поговорить, который разрядит атмосферу; рады, возможно, и тому, что мы получили подкрепление.

— Да, дом у тебя очень своеобразный и интересный, — сказал Джеймс.

— Ты не ощущаешь никаких вибраций?

Джеймс взглянул на меня.

— Кому он принадлежал?

— Некой миссис Чорни. Я о ней ничего не знаю.

— Из верхних окон, вероятно, видно море?

— Да, но самый лучший вид открывается со скал. Могу тебе показать, если ты не торопишься. У тебя что на ногах? А то здесь недолго и ногу вывихнуть.

Я хотел поскорее увести Джеймса из дома. Мы

вышли на лужайку, и я довел его по камням до нагретой солнцем высокой скалы с видом на море. Море успело изменить оттенок — теперь это была бледная дымчатая лазурь, испещренная мельчайшими бликами.

— Такая духота, Джеймс, ты, надеюсь, не против того, чтобы остановиться в этой гостинице, она называется «Ворон», оттуда замечательный вид на бухту, которая тебе так понравилась. А если поедешь нижней дорогой, успеешь наглядеться на чаек, или как их там зовут. Дело в том, что в доме у меня нет ни одной свободной кровати. Все заняты. Титус и так уже спит на полу.

— Понимаю, ситуация сложная.

Ничего ты, к счастью, не понимаешь, подумал я. И еще подумал: через две минуты провожу его до машины.

Я посмотрел на моего кузена — при ярком сумрачном свете он, как и все вокруг, был виден до жути отчетливо. Джеймс принес с собой по камням свой бокал и теперь потягивал вино и смотрел на море с видом полного отдохновения и довольства, от которого впору было на стенку лезть. На нем были легкие черные брюки, блекло-розовая рубашка с открытым воротом и белый летний пиджак. Вообще-то, он уделял мало

внимания своему костюму, но ему случалось и пофрантить, на свой лад. Его горбоносое лицо было темным от неистребимой щетины и от странной тени — возможно, от непроницаемых, почти черных глаз, — которая словно всегда его омрачала. Темные волосы, непричесанные, торчали во все стороны.

Мне вдруг подумалось, раз он ушел из армии, зачем ему было ехать ко мне в гости под праздник, когда на дорогах столько машин?

— Ты чем-нибудь занимаешься? — спросил я. — Нашел себе новую работу или как?

— Нет, бездельничаю.

Это было странно. И меня озарило: конечно же, Джеймс вовсе не бросил армию. Он ушел в подполье. Готовится к какой-то сверхсекретной миссии, возможно связанной с возвращением в Тибет. Почему он был так явно раздосадован, когда я увидел в его квартире того восточного человека? Мой кузен стал секретным агентом!

Я уже прикидывал, как бы потактичнее дать ему понять, что догадался, но тут он опять заговорил:

— А как поживает Мэри Хартли Смит?

— Мэри Хартли Смит?

— Ну да, твоя первая любовь. Ты мне сказал,

что она живет здесь с мужем. Этот мальчик — ее сын. Я еще спросил тебя, как его зовут. Титус. Ты и это забыл?

Удивительное дело, ведь я и в самом деле начисто забыл, что рассказал Джеймсу эту историю. Почему Джеймс пожелал узнать, как зовут Титуса?

— Я, наверно, с ума сошел, — сказал я. — Ведь и правда забыл. Но теперь вспомнил. Ты дал мне тогда хороший совет.

— Ты ему последовал?

— Да. Ты, конечно, был прав. Я все это навоображал. Потрясение от встречи с нею всколыхнуло всякие воспоминания. Теперь это прошло, и я, конечно, не влюблен в нее, я же не идиот. Да и что она теперь? Скучная старуха, и ничего больше. Мальчик у меня бывает изредка. Он тоже скучноват.

— Понятно. Значит, все хорошо, что хорошо кончается?

— У тебя галстук с собой есть?

— Галстук? Есть.

— Он тебе понадобится, а то не пустят в ресторан в отеле «Ворон». Пойдем, провожу тебя до машины.

Я повел его в обход дома, чтобы избежать даль-

нейших разговоров на кухне.

— Машина хороша. Новая?

— Да, ходит отлично. Мне где свернуть?

— Сразу вон за той скалой. Как темно, стоит включить фары.

— Да, погода сегодня странная. Похоже, будет гроза. Ну, спасибо за вино, будь здоров. — Он протянул мне пустой бокал.

— До свидания, не гони на поворотах.

Черный «бентли» сдвинулся с места, развернулся, набрал скорость. Джеймс помахал мне, исчез за поворотом. Вернется ли когда-нибудь? Едва ли.

Я медленно побрел по дамбе к дому, вошел и затворил дверь. Как я мог забыть, что рассказал ему об этом? Наверно, был пьян. Ну что ж, завтра все решится. Завтра я начну действовать. Увезу Хартли в Лондон. На этом доме точно заклятие лежит.

Я постоял в прихожей. Мне хотелось побыть одному. Бокал Джеймса я поставил на лестницу. Из кухни доносились заговорщицкие голоса Гилберта и Титуса. Титус, Хартли и я поселимся втроем, в другом месте. Своим поступком я создам новую семью.

Послышался слабый скребущий звук. Я под-

нял голову и увидел, как дрогнула проволока от звонка. Потом услышал нетерпеливые повторные звонки на кухне. Бен? Я резко повернулся к парадной двери и распахнул ее.

Передо мной стоял Перегрин Арбелоу с чемоданом в руке.

— Здорово, Чарльз. Ну и забавное местечко!

— Перри?!

— Очень прошу, зови меня Перегрин. Сколько можно напоминать?

— Каким ветром тебя сюда занесло?

— Хорошенькое дело, «каким ветром занесло». Ты пригласил, я принял приглашение. Ведь завтра Троица, или забыл? Я ехал страшно долго, я страшно устал. Все последние сто миль мне грезились раскрытые объятия и радостные возгласы.

Я разглядел белый «альфа-ромео» Перегрина на том месте, где только что стоял Джеймсов «бентли».

— Перегрин, прости ради бога, ко мне нельзя, нет кроватей и…

— Войти-то все-таки можно?

И он вошел.

На его громкий голос из кухни появились заговорщики.

— Перегрин!

— Гилберт! Вот приятный сюрприз. Чарльз, я могу занять ложе Гилберта.

— Черта с два! Я свой диван без боя не уступлю.

— Познакомь меня с твоим прелестным юным другом, Гилберт.

— Это Титус Фич. Увы, не моя собственность.

— Здорово, Титус. Я — Перегрин Арбелоу. Гилберт, будь добр, дай промочить горло.

— Пожалуйста, но здесь, знаешь ли, имеется только сухое вино и херес. Крепких напитков Чарльз не держит.

— Ах, дьявольщина, я и забыл. Надо было прихватить бутылку.

— Перегрин, — сказал я, — тебе здесь не понравится. Пить нечего, спать негде. Мне очень жаль, что я забыл, какое сегодня число, а впрочем, я тебя, по-моему, вообще не приглашал. Тут совсем близко есть отличная гостиница…

Звонок опять зазвонил. Перегрин открыл дверь, и через его плечо я увидел моего кузена Джеймса.

— Здравствуйте, — сказал Перегрин. — Добро пожаловать в Приют Гостеприимства, владелец — Чарльз Эрроуби, пить нечего, спать не на чем, но…

— Здравствуйте, — сказал Джеймс. — Прости, пожалуйста, Чарльз. В отеле «Ворон» нет ни одного свободного номера, и я подумал…

— Туда-то он, вероятно, и меня хотел сплавить, — сказал Перегрин.

— Пошли в кухню, — сказал Гилберт.

Гилберт шел первым, потом Титус, потом Перри, потом Джеймс. Я немного задержался, потом поднял с лестницы бокал и последовал за ними.

— Я — Перегрин Арбелоу.

— По-моему, я о вас слышал, — сказал Джеймс.

— Очень приятно.

— Это мой кузен генерал Эрроуби, — сказал я.

— Ты не говорил, что он генерал, — сказал Гилберт.

— Я и не знал, что у тебя есть кузен, — сказал Перегрин. — Рад познакомиться, сэр.

Я взял Джеймса за рукав его белоснежного пиджака и потянул обратно в прихожую.

— Послушай, здесь ты не можешь остаться. Я вот что предлагаю…

Тут глаза у Джеймса удивленно расширились, он смотрел мимо меня, и я понял, что на лестнице стоит Хартли.

На ней был мой черный шелковый халат с красными звездочками. Он доставал ей до полу,

и в сочетании с поднятым воротником, подпиравшим прическу, это создавало впечатление вечернего платья. Ее глаза, испуганные, огромные, отливали лиловым; и хотя растрепанные седые волосы придавали ей вид помешанной старухи, но сейчас, в это застывшее мгновение, в ней было что-то царственное.

Опомнившись, я кинулся к лестнице. При первом же моем движении Хартли повернулась и пустилась наутек. Мелькнула голая лодыжка, босая пятка. Я нагнал ее на повороте лестницы и доволок до верхней площадки.

Мы чуть не бегом пересекли площадку, и я втолкнул ее в ее комнату. Войдя, она сразу опустилась на матрас, как послушная собака. За все время ее заточения я, кажется, ни разу не видел, чтобы она села на стул.

— Хартли, родная, ты куда это собралась? Искала меня? Или подумала, что пришел Бен? Или решила сбежать?

Она плотнее запахнулась в халат и только помотала головой, не в силах перевести дух. И вдруг посмотрела на меня снизу вверх таким грустным, кротким, милым взглядом, что мне сразу вспомнился мой отец.

— Ох, Хартли, я так люблю тебя! — Я сел на

единственный стул и закрыл лицо руками, чтоб не видно было, какая его исказила гримаса. Я чувствовал себя так беспомощно, так уязвимо близко к своему детству. — Хартли, не покидай меня. Я не знаю, что сделаю, если ты уйдешь.

Хартли спросила:

— Этот человек — он кто?

— Какой человек?

— С которым ты был, когда я стояла на лестнице.

— Мой кузен Джеймс.

— А-а, знаю, сын тети Эстеллы.

От этого неожиданного проявления памятливости мне чуть не стало дурно.

Снизу из кухни доносился оживленный гул голосов. Я не сомневался, что Гилберт и Титус, избавленные появлением Хартли от необходимости держать язык за зубами, рассказывают Перегрину и Джеймсу все, что знают, и более того.

Я застонал.

В ту ночь мы спали так: я у себя в спальне, Хартли во внутренней комнате, Гилберт на своем диване, Перегрин на подушках в книжной комнате, Джеймс на двух креслах в красной, а Титус — на лужайке под открытым небом. Ночь была жаркая, но гроза так и не собралась.

Наутро все мои гости пребывали в праздничном настроении. Титус, как всегда, нырял с утеса. Джеймс, обследовав башню и высказав касательно ее ряд исторических соображений, выкупался с башенных ступенек. (Я все еще не прикрепил там веревку, но было время прилива.) Перегрин, полуголый, лежал белой глыбой на солнце и основательно обгорел. Гилберт съездил в деревню и привез целую гору всякой снеди и несколько бутылок виски, которые записал в лавке на мой счет. Потом в деревню съездил Джеймс купить «Таймс» и вернулся с пустыми руками. Все поражались, как я могу жить без последних известий, не знать, «кто умер, кто бастует, кого избили дубинками», как выразился Перри. Он привез с собой транзистор, но я велел ему убрать его подальше. Джеймс предложил всем вместе поехать в отель «Ворон» посмотреть по телевизору крикетный матч, но Гилберт, вторично отряженный в деревню, на этот раз за мазью от солнечных ожогов для Перегрина, сообщил, что местное телевидение не работает из-за перебоев с электричеством. Гилберт и Титус, дабы пополнить свою капеллу, завербовали Перри, который пел грубым, шершавым басом, и отступились от Джеймса, который не мог пропеть ни единой

ноты. Я еще с вечера успел предупредить Титуса и Гилберта, чтобы не проболтались Перри о налете Розины. И хорошо, что успел, потому что утром я вообще не был способен мыслить сколько-нибудь разумно. Словно что-то лопнуло у меня в голове, прорвался нарыв в мозгу, если так бывает.

Мое отчаянное состояние было отчасти вызвано присутствием Джеймса, который, подобно магниту, притягивал остальных. Каждый из них по отдельности сообщил мне, до чего ему нравится Джеймс. Они, без сомнения, рассчитывали, что такая информация будет мне приятна. Титус сказал: «Очень странно, у меня такое чувство, точно я его где-то видел, а этого не было, я знаю. Может, я его видел во сне».

А еще меня сводила с ума внезапная перемена в тоне Хартли. В последнее время она, хоть и твердила, что ей нужно домой, не вкладывала в эти слова никакого смысла, словно убедилась, что время для этого упущено. Теперь же стала повторять их на полном серьезе и даже приводить почти разумные доводы.

— Я знаю, тебе кажется, что ты ко мне очень добр.

— Добр? Я тебя люблю.

— Я знаю, тебе кажется, что ты хочешь сделать

как лучше, и я тебе благодарна.

— Благодарна? Это уже кое-что.

— Но все это чепуха, случайность, проходной эпизод, мы не можем остаться вместе. В этом нет смысла.

— Я тебя люблю, ты меня любишь.

— Да, ты мне не безразличен…

— Не выражайся иносказательно. Ты меня любишь.

— Ну пусть, но это нереально, как во сне, как в сказке. Ведь это было так давно, сейчас это нам только снится.

— Хартли, неужели у тебя нет ощущения настоящего времени, неужели ты не можешь жить в настоящем? Проснись, попробуй!

— Я живу в долгих сроках, не в отдельных настоящих моментах, пойми, я замужем, мне надо возвратиться туда, где я есть. Если ты увезешь меня в Лондон, как сказал, мне придется от тебя сбежать. Ты все портишь, чем дальше, тем больше, не хочешь понять…

— Ну хорошо, ты замужем, и что из этого? Ты никогда не была счастлива.

— Это не важно.

— А по-моему, так очень важно. Не знаю, что может быть важнее.

— А я знаю.

— Ты признала, что любишь меня.

— Любить можно и сон. Ты видишь в этом достаточное основание, чтобы действовать…

— Это и есть основание.

— Нет, потому что это сон. Он соткан из лжи.

— Хартли, у нас есть будущее, а значит, мы можем сделать ложь правдой.

— Мне нужно домой.

— Он тебя убьет.

— Я должна пойти и на это. Другого пути у меня нет.

— Я тебя не пущу.

— Ну пожалуйста…

— А Титус? Он останется у меня. Ты не хочешь остаться с Титусом?

— Чарльз, мне нужно домой.

— Ох, замолчи. Неужели не можешь придумать чего-нибудь получше?

— Себя не пересилишь. Тебе не понять таких людей, как я, как мы, не таких, как ты сам. Ты — как птица, что летает по воздуху, как рыба, что плавает в воде. Ты движешься, смотришь туда, сюда, хочешь то того, то этого. А другие живут на земле, и передвигаются еле-еле, и не смотрят…

— Хартли, доверься мне, уедем вместе, я свезу

тебя на себе. Ты тоже сможешь двигаться, смотреть по сторонам…

— Мне нужно домой.

Я ушел от нее, запер дверь и выбежал из дому. С одной из ближайших скал я увидел Джеймса, он стоял на мосту над Минновым Котлом. Он помахал мне, окликнул, и я спустился к нему.

— Чарльз, подумай, какая же силища заключена в этой воде. Это фантастика, это ужас, верно?

Его голос был еле слышен за ревом водоворота.

— Да.

— Это грандиозно, да, именно грандиозно. Кант оценил бы это. И Леонардо. И Хокусаи.

— Вероятно.

— А птицы… ты только посмотри на этих длинноносых.

— Я думал, это обыкновенные бакланы.

— Нет, длинноносые. Я сегодня видел и клушицу, и сорочая. А в бухте слышал кроншнепов.

— Ты когда уезжаешь?

— Знаешь, твои друзья мне нравятся.

— А ты им.

— Мальчик, по-моему, хороший.

— Да…

— Нет, ты посмотри на эту воду, что она выделывает!

Мы двинулись к дому. Подходило время второго завтрака, если для кого-то еще существовали такие условности.

Джеймс привез с собой полную форму для отдыха на море: на нем были очень старые закатанные штаны цвета хаки и чистая, но древняя синяя рубашка навыпуск, незастегнутая, открывающая верхнюю часть его худого, почти безволосого розового тела. На ногах — сандалии, сквозь которые виднелись его тощие белые ступни с цепкими костлявыми пальцами, которые в детстве очень меня занимали. («У Джеймса ноги как руки», — сообщил я однажды матери, словно обнаружив тайное уродство.)

Приближаясь к дому, он сказал:

— Как же ты намерен поступить?

— С чем?

— С ней.

— Не знаю. Ты когда уезжаешь?

— До завтра остаться можно?

— Можно.

Мы вошли в кухню, и я автоматически взял в руки поднос, приготовленный Гилбертом для Хартли. Я отнес его наверх, отпер дверь и, как всегда, поставил поднос на стол.

Она плакала и не сказала мне ни слова.

— Хартли, не убивай меня своим горем. Ты не знаешь, что ты со мной делаешь.

Она не ответила, не пошевелилась, а только плакала, привалясь к стене и глядя прямо перед собой, изредка утирая медленные слезы тыльной стороной руки.

Я посидел с ней молча. Я сидел на стуле и поглядывал по сторонам, как будто столь обыденное занятие могло ее утешить. Заметил пятно сырости на потолке, трещину в одном из стекол длинного окна. Фиолетовый пух на полу — наверно, из какого-нибудь кресла миссис Чорни. Наконец я встал, легонько коснулся ее плеча и ушел. При мне она есть отказывалась. Дверь я запер.

Когда я вернулся в кухню, они все четверо стояли вокруг стола, на котором Гилберт расположил завтрак — ветчину и язык с салатом из зелени и молодой картошкой и крутые яйца для Джеймса. Их еда меня теперь, конечно, совсем не интересовала, да и вообще аппетит у меня почти пропал. Под краном студились две откупоренные бутылки белого вина. Перегрин, в одетом виде выглядевший куда пристойнее, пил виски и слушал по транзистору матч. Когда я вошел, наступило молчание. Перри выключил радио.

Все словно чего-то ждали.

Я налил себе бокал вина и подцепил на вилку кусок ветчины.

— Продолжайте, не стесняйтесь. Я поем на воздухе.

— Не уходи, мы хотим с тобой поговорить, — сказал Перегрин.

— А я не хочу с вами говорить.

— Мы хотим тебе помочь, — сказал Гилберт.

— Да ну вас к черту.

— Подожди, пожалуйста, минутку, — сказал Джеймс. — Титус хотел тебе что-то сказать. Ведь правда, Титус?

Титус, весь красный, промямлил, не глядя на меня:

— По-моему, вы должны отпустить мою мать домой.

— Ее дом здесь.

— Но право же, дружище… — начал Перегрин.

— Я не нуждаюсь в ваших советах. Я вас сюда не звал.

Джеймс сел, остальные тоже. Я остался стоять.

— Мы не хотим вмешиваться, — сказал Джеймс.

— Ну и не надо.

— И не хотим докучать тебе советами. Мы эту

ситуацию не понимаем, что вполне естественно. Но мне кажется, что ты и сам ее не совсем понимаешь. Мы не хотим тебя уговаривать…

— Тогда зачем вы настроили Титуса сказать то, что он сейчас сказал?

— Чтобы ты услышал определенное мнение. Титус так считает, но боялся тебе сказать.

— Вздор.

— Тебе предстоит трудное и, сколько я понимаю, безотлагательное решение. Если б ты согласился с нами поговорить, мы бы помогли тебе принять это решение разумно, и не только принять, но и выполнить. Ты не можешь не видеть, что тебе нужна помощь.

— Мне нужен шофер, а больше ничего.

— Тебе нужна поддержка. Я — твой единственный родственник. Гилберт и Перегрин — твои близкие друзья.

— Ничего подобного.

— Титус говорит, что ты для него как отец.

— Вы, я вижу, всласть обо мне посудачили.

— Не сердись, Чарльз, — сказал Перегрин. — Мы не ожидали, что угодим в такую передрягу. Мы приехали сюда отдохнуть. Но видим, что тебе несладко, и хотим тебя поддержать.

— Вы ничем не можете мне помочь.

— Неверно, — сказал Джеймс. — Я думаю, тебе станет намного легче, если ты обсудишь все это дело с нами — не обязательно детали, но общую линию. Это не потребует от тебя ничего бесчестного. Так вот, грубо говоря, возможны два варианта: или ты держишь ее у себя, или возвращаешь. Рассмотрим сперва, что будет, если ты ее вернешь.

— Я не собираюсь ее возвращать, как ты изволил выразиться. Она не бутылка.

— Из слов Титуса я понял, что ты отчасти потому не отвозишь ее домой, хоть она и хочет уехать…

— Она не хочет.

— …что опасаешься за нее, боишься каких-нибудь эксцессов со стороны мужа.

— Это одна из причин, есть еще сто других.

— Но если эти возможные эксцессы — результат недоразумения и если это недоразумение можно разъяснить…

— Не говори глупостей, Джеймс. Ты отлично понимаешь, что то, что я сделал, как это ни назови, нельзя ни разъяснить, ни оправдать. И ты, пожалуйста, думай, что мне говоришь.

— Я пытаюсь сказать тебе две вещи. Во-первых, что, если ты намерен отвезти ее домой, это надо

сделать с умом. Мы все поедем с тобой в порядке демонстрации силы, а также чтобы подтвердить твои показания.

— Показания?!

— А во-вторых, что, если ты не собираешься ее вернуть, потому что боишься насильственных действий и этот страх можно ослабить, это может повлиять на твое решение.

— Ты понимаешь, что он имеет в виду? — спросил Перегрин.

— Да! Но, как признал Джеймс, понять ситуацию не в ваших силах. Вы говорите — объяснить, подтвердить показания, с тем же успехом можно что-то объяснить бизону. И вообще вся эта аргументация ни к чему, двух возможностей нет. Я не допускаю возможности ее возвращения к мужу.

— Ну, тогда рассмотрим второй вариант, — сказал Джеймс.

— Ничего мы рассматривать не будем. Я не желаю, чтобы вы копались в этой проблеме. Это наглость с вашей стороны и очень для меня обидно. Но раз уж речь об этом зашла, я хотел бы спросить Титуса, почему мне, по его мнению, следует отпустить его мать домой.

Титус, все это время неотрывно глядевший на ветчину (может быть, проголодался), покраснел

и ответил с явной неохотой, не поднимая глаз:

— Ну… понимаете… тут как бы и моя вина…

— Это еще каким образом?

— Это очень трудно, когда отцы и матери… тут намешано столько разных эмоций и… как бы это сказать… предрассудков, что ли. Может, я вам все описал ужаснее, чем оно было, хотя и было ужасно. А она часто преувеличивает, в голове у нее полно всяких идей и фантазий. Может быть, ей с ним и правда лучше, а я против того, чтобы людей принуждали, по-моему, люди должны быть свободны. Вы хотите все решить наспех. Но если она захочет к вам прийти, то может прийти и потом, когда успеет все обдумать.

— Правильно, Титус, — сказал Джеймс.

Титус бросил на него взгляд, всколыхнувший мою недремлющую ревность.

Перегрин сказал:

— В браке ты ничего не смыслишь, Чарльз. Не побывал в этой шкуре. Тебе кажется, что любая размолвка — это конец, крушение, а это вовсе не так.

— Прежде всего, — сказал я, — свобода здесь ни при чем, мы имеем дело с человеком запуганным, с узницей. Ее нужно вывести из тюрьмы, сама она никогда не выйдет. Так что решать это надо

сейчас. Если она к нему вернется, то уж не уйдет никогда.

Джеймс сказал:

— А это разве ничего не значит? Разве это не значит, что ей следует вернуться? Что она хочет там остаться? Обычно люди делают то, что им хочется, пусть и не сознавая этого.

— Может, она и останется. Но «захочет»? Тут не размолвка, как сказал Перри, тем доказав, что понятия не имеет, о чем идет речь. Этот человек замучил ее, затравил, она никогда не была с ним счастлива, она сама мне это сказала.

— Может, брак ее и не был счастливым, но продержался он долго. Ты слишком много думаешь о счастье, Чарльз. А это не так уж важно.

— Так и она сказала.

— Вот видишь.

— Титус, — сказал я, — счастье — это важно?

— Да, конечно, — ответил он и наконец посмотрел мне в глаза.

— Вот видишь, — сказал я Джеймсу.

— Голос молодости, — сказал Джеймс. — А теперь выслушай еще один довод…

— Беда твоя в том, Чарльз, — перебил Перегрин, отхлебнув виски, — что ты, как я уже имел случай заметить, презираешь женщин, видишь в них

движимое имущество. Для тебя и эта женщина движимое имущество.

— …еще один довод. Эта драма разыгралась очень быстро, в сплошном вихре мыслей и чувств. Ты говоришь, что все эти годы хранил в душе образ чистой первой любви. Возможно, ты даже возвел ее в высшую ценность, в эталон, по сравнению с которым все другие женщины ничего не стоят.

— Да.

— Но не следует ли тебе пересмотреть эту ведущую мысль? Не буду называть ее фикцией. Назовем ее сном. Конечно, мы все живем в снах, живем снами, и даже в упорядоченной духовной жизни — а в каком-то смысле особенно там — трудно отличить сон от действительности. В житейских делах на помощь человеку приходит смиренный здравый смысл. Большинству людей он заменяет моральное чувство. Но ты, как видно, нарочно отгородился от этого скромного источника света. Спроси себя: что и между кем, по сути, произошло столько лет назад? Ты сочинил из этого сказку, а сказки лгут.

(Здесь Титус, не выдержав, украдкой схватил кусок ветчины и ломоть хлеба.)

— И этой сказкой из далекого прошлого ты

руководствуешься, намечая для себя важный и необратимый поступок на будущее. Ты делаешь рискованные обобщения, а обобщения и всегда-то таят опасность, вспомни Расселову курицу.

— Расселову курицу?

— Жена фермера каждый день выходила во двор и кормила курицу. А однажды вышла во двор и свернула курице шею.

— Не понимаю, давай лучше без курицы.

— Я хочу сказать, что ты на основании весьма зыбких, на мой взгляд, данных — собственных воспоминаний об идиллических сценах в школе и тому подобное — предположил, что стоит тебе ее увести, и ты сможешь ее любить и дать ей счастье, а она сможет любить тебя и дать тебе счастье. Такие ситуации до крайности редки и труднодостижимы. Далее, как нечто неотделимое от счастья, которое ты так высоко ценишь, ты предположил, что спасти ее таким образом, пусть и без ее согласия, — это нравственно. А не следует ли тебе…

— Джеймс, сделай милость, перестань оскорблять меня твоими высокопарными выкладками. Ты совершенно невыносим. Как ты и сказал, дело это разыгралось быстро и изрядно запуталось. Но в пределах этой путаницы никакой нравствен-

ности уже нет. Это обыкновенная человеческая жизнь. Возможно, солдаты-отшельники в таких вещах не разбираются.

Джеймс улыбнулся.

— «Солдаты-отшельники» — это очень мило. Так ты признаешь, что не уверен, что увести ее силой было бы похвально?

— Не уверен, откуда мне знать? Но ты пытаешься навязать мне аргументацию, которая для этого случая не подходит. Все, что ты говоришь, это не по существу, какой-то абстрактный комментарий. Это ты «сочиняешь сказку». А в моем мире все реально.

— Ну а какая же аргументация для этого случая подходит?

— Что я ее люблю. Она меня любит. Она это сказала. А любви нет дела до «мнений» и «обобщений». Любовь *знает*. Она была очень несчастлива, и я не отпущу ее к тирану, который теперь станет обращаться с ней еще более жестоко. Пусть я сам навлек это на нее, но это факт. Свидетель жестокого обращения у нас имеется, хотя он как будто и не склонен давать показания.

— Это не довод, — сказал Джеймс. — Скорее это довольно-таки путаная формулировка идеи.

— Так или иначе, на основании этого я намерен

действовать. Не понимаю, зачем я вообще дал втянуть себя в этот дурацкий спор.

— Очень хорошо. Мое личное мнение, надо полагать, уже всем ясно, а тебя, естественно, оно может не интересовать. Но вот что я хочу добавить: если ты, хоть и опрометчиво, все-таки решишь ее увезти, мы все готовы по мере сил помочь тебе в этом. Так я говорю?

— Так, — сказал Перегрин.

— В чем-то я с Чарльзом, пожалуй, согласен, — сказал Гилберт.

— Например, куда ты ее увезешь? Надо подумать и о деталях. Что она будет делать целыми днями?

— Одного этого вопроса достаточно, — сказал Перегрин, — чтобы любой мужчина раздумал жениться.

— Чарльз, прошу тебя, не считай меня наглым, а главное — поверь, что я хочу тебе добра. Я просто не могу спокойно смотреть, как ты летишь в пропасть. Тут нужно действовать сообща. Может, ты разрешишь мне поговорить с ней? Очень недолго.

— Тебе? Поговорить с ней? Да ты с ума сошел!

И тут я услышал страшные звуки — звуки, которых я, в сущности, ждал и боялся с тех самых пор,

как затеял свой опасный эксперимент. Хартли наверху вдруг стала колотить в дверь с криком: «Выпусти меня! Открой!»

Я ринулся вон из кухни, захлопнул дверь, бегом взбежал по лестнице. Хартли продолжала пронзительно кричать и бить в дверь ногой. Ничего подобного раньше не бывало. «Выпусти меня! Открой!»

Я сам чуть не заорал и со всей силы ударил по двери кулаком:

— Перестань. Замолчи. Замолчи сейчас же!

Тишина.

Я сбежал вниз. В кухне тоже молчали. Я выскочил через парадную дверь на улицу, пробежал дамбу и зашагал по шоссе к башне.

В тот же день, ближе к вечеру, сидя с Джеймсом на скалах, я уже стал соглашаться на многое, что теперь казалось неизбежным.

— Чарльз, ситуация ужасающая. По одной этой причине надо положить ей конец. А положить ей конец можно только так. Это ты наконец понял?

— Да.

— Письмо — это, по-моему, важно. В письме можно все толком объяснить.

— Он не станет его читать. Разорвет и растопчет.

— Допустим. А может, и сохранит как улику против тебя. Но я думаю, рискнуть стоит. Мне кажется, он из одного любопытства его прочтет.

— Любопытство ему недоступно.

— И ты согласен, чтобы мы поехали с тобой?

— Я согласен, чтобы ты поехал.

— А по-моему, чем больше нас будет, тем лучше.

— Но только не Титус, разумеется.

— Нет, и Титус тоже. Для нее так будет легче, да и Титусу не помешает пять минут вежливо поговорить с отцом.

— Вежливо! Можно подумать, речь идет о светском рауте.

— Чем больше это будет похоже на светский раут, тем лучше.

— Титус не согласится.

— Уже согласился.

— Ах, вот как.

— Значит, Перегрин может съездить в деревню и позвонить?

Я помедлил. Отступать было некуда. Если я сейчас скажу «да», то отныне распоряжаться мною уже будут другие. Я дам согласие на совершенно новое, непредсказуемое будущее.

— Да.

— Вот и отлично. Ты побудь здесь, я схожу проинструктирую Перегрина.

До этого я поговорил с Хартли. Джеймсу я в этом не признался, но его «выкладки» помогли мне кое-что увидеть яснее, либо породили во мне кое-какие мысли, либо я попросту достиг какой-то решающей стадии отчаяния. Это страшное «Выпусти меня! Открой!» сокрушило мою веру и надежду. Я спросил ее, правда ли ей хочется домой. Она ответила утвердительно. Я сказал — хорошо. Я больше не взывал к ней, не уговаривал. И когда мы смотрели друг на друга — молча, не решаясь ничего добавить к достаточно понятным словам, — я почувствовал, что между нами выросла новая преграда. Раньше наше общение казалось мне трудным. Теперь я понял, как все же близки мы были это время.

По намеченному плану, Перегрин должен был съездить в деревню, позвонить Бену по телефону и сказать, что мистер Эрроуби и его друзья привезут «Мэри» домой. Скажет ли Бен: «К черту, она мне теперь не нужна»? Нет, едва ли. Что бы он ни задумал, такого одолжения я от него не дождусь. Но может быть, его нет, он уехал, может быть, когда дойдет до дела, Хартли передумает… Впрочем, надеяться сейчас всего больнее.

Вот и Джеймс возвращается, прыгает с камня на камень.

Сердце у меня забилось быстро, глухо.

— Все в порядке, он сказал — привозите, только не сегодня, а завтра утром.

— Странно. Почему не сегодня?

(Не иначе как столярные курсы.)

— Он притворяется, что ему все равно. Хочет лишний раз уязвить. Показать, что мы должны считаться с его желаниями. Ну и пусть, у тебя зато будет больше времени написать письмо. Пожалуй, письмо даже лучше доставить ему до того, как мы явимся, больше шансов, что он его прочтет.

— Ох, Джеймс…

— Ничего, не горюй. *Sic biscuitus disintegrat*.

— Что-что?

— Так крошится печенье.

Многоуважаемый мистер Фич!

Написать это письмо было нелегко. Я хочу внести полную ясность в несколько вопросов. Начну с главного: я увез Вашу жену и держал ее у себя в доме против ее воли. Доказательством того, что она не «сбежала», если таковое требуется,

может послужить то, что она даже не захватила с собой сумку. (Простите, если я пытаюсь доказать очевидное, я хочу изложить в этом письме в точности то, что произошло на самом деле.) Я заманил ее в свою машину, сказав ей, что Титус находится у меня, что соответствовало действительности. Когда она приехала, я ее запер. Так что Вы были правы, обвинив меня в «похищении». С тех пор она не переставала проситься домой. Никаких «отношений» у меня с ней, само собой разумеется, не было. Она упорно противилась всем моим предложениям и планам и только просила разрешить ей вернуться к Вам. Короче говоря, она в этом деле вела себя безупречно. Мои друзья мистер Опиан и мистер Арбелоу, а также мой кузен генерал Эрроуби, которые все это время гостили у меня, могут поручиться, что мои слова – истинная правда.

Мне нет смысла оправдываться, и в дальнейших объяснениях тоже мало смысла. Я поддался иллюзии и причинил много ненужных огорчений Вашей жене и Вам, о чем сожалею. Действовал я не

по злобе, а по велению давнишней романтической привязанности, не имеющей, как я теперь понял, ничего общего с тем, что есть в настоящее время. И здесь, пожалуй, уместно добавить (хотя и это очевидно), что я, разумеется, не виделся и не общался с Вашей женой с той поры, когда она была юной девушкой, и недавняя наша встреча была чистой случайностью.

Я верю и не сомневаюсь, что Вы, будучи человеком разумным и справедливым, не примените к Вашей ни в чем не повинной жене никаких репрессий. Этот вопрос серьезно заботит меня, моего кузена и моих друзей. Она не погрешила против Вас ни словом, ни делом и заслуживает Вашего уважения и благодарности. Что до меня, я чувствую себя достаточно наказанным, отчасти за собственные заблуждения.

Уважающий Вас

Чарльз Эрроуби.

Хорошо, что у меня оказалось лишнее время — на сочинение этого письма ушел весь вечер.

Писать его и правда было нелегко, и окончательный результат оставлял желать лучшего. Первый набросок был намного задиристее, но, как заметил Джеймс, которому я его показал, если б я стал обвинять Бена в тиранстве и жестокости, это сразу навело бы его на мысль, что я повторяю слова Хартли. Конечно, опустив эти обвинения, я фактически свел свою самозащиту на нет, и мне и без Джеймса было ясно, что в другую эпоху Бен и я, повинуясь условностям и понятиям чести, были бы вынуждены решить дело смертельным поединком. В другую эпоху, а Бен, возможно, и в нашу. Мои шаткие «оправдания» тоже было нелегко сформулировать: они должны были быть достаточно смиренными, чтобы умилостивить Бена, если он склонен к прощению, но не настолько, чтобы он ими пренебрег, если предпочтет драться. Оставалось только надеяться, что Бен обуздает свои агрессивные инстинкты, потому что и сам чувствует себя виноватым. Многозначительную ссылку на «моего кузена и моих друзей» мне подсказал Джеймс, но лживое утверждение, будто они гостили у меня «все это время», я добавил от себя. Джеймс полагал, что, узнав о присутствии в моем доме целой группы неких более беспристрастных и более солидных

лиц, Бен почувствует, что действует на глазах у публики, и, соответственно, умерит проявления своего гнева. Я в это не верил. Пусть даже его поведение «серьезно заботит» всяких важных особ, но стоит за супругами закрыться входной двери, и он распояшется. Джеймс больше не просил у меня разрешения поговорить с Хартли. Да и время было упущено. Гилберт просунул мое послание в щель почтового ящика в Ниблетсе в тот же вечер, часов в десять.

Я зашел ненадолго к Хартли. Очень это было странно. Я сказал ей, что завтра она едет домой. Она кивнула, поморгала понимающе. Я спросил, не хочет ли она сойти вниз, поужинать вместе со всеми. Она, к счастью, отказалась. Я не стал ее спрашивать еще раз, довольна ли она, что уезжает. Сидя на полу, мы поиграли в карты, в простенькую игру, которую сами придумали в детстве. Спать все разошлись рано.

История 5

Следующий день был одним из самых плохих в моей жизни, если не самым плохим. Я проснулся как перед казнью. Никто, кроме Титуса, и не вспомнил о завтраке. Было все так же душно и жарко, и вдали уже погромыхивал гром.

Хартли являла собой страшное зрелище. Она не пожалела косметики и от этого выглядела особенно старой. Ее желтое платье было грязное, жеваное, рваное. Я не мог отправить ее домой к мужу в моем халате. Порывшись в своих вещах, я нашел синюю пляжную рубашку, которую и заставил ее надеть, благо их носят и мужчины и женщины. И еще я нашел легкий шарф, накинуть ей на голову. Я словно одевал ребенка. Мы боялись произнести лишнее слово. Мне теперь хотелось одного: покончить с этим. Меня терзало опасение: а вдруг она в последнюю минуту скажет: «Пожалуй, я лучше все-таки не поеду» — и я с трудом удерживался от того, чтобы не крикнуть: «Перестань!» Возможно, и она испытывала нечто подобное. У меня мелькнула мысль: боже мой, да ведь точно так же было тогда. Я сделал для

нее все, что мог, а она меня покидает. Я сложил в полиэтиленовый мешочек ее косметику и розовый с белыми полосками камень, который я ей подарил (она, наверно, и не взглянула на него с тех пор). Она ничего не сказала, но внимательно смотрела, как я кладу камень в мешочек. Гилберт крикнул снизу, что машина готова.

Пока Хартли ходила в ванную, я снес мешочек вниз и подождал в прихожей. Было решено, что «делегация», как выразился Перегрин, будет доставлена на место в его белом «альфа-ромео». Джеймс, Перегрин и Титус уже вышли на улицу. Гилберт появился из кухни и сказал мне:

— Чарльз, очень чудно́ получилось вчера вечером, я тебе не сказал.

— Что именно?

— Когда я опускал письмо ему в ящик, мне послышался в доме женский голос.

— Телевизор, наверно.

— По-моему, нет. Чарльз, до драки ведь не дойдет, а? Почему все-таки он просил нас приехать только утром? Может быть, он созвал на подмогу всех своих дружков?

Эта мысль и мне приходила в голову.

— Нет у него дружков, — сказал я.

(А если из столярки?)

Хартли начала спускаться с лестницы. Я подтолкнул Гилберта, и он вышел за дверь. Она спускалась медленно, держась за перила, точно с трудом. Шарф она надела на голову, как я и хотел, и лицо ее было в тени. Я пожалел, что она без вуали. Это была наша последняя минута, последняя секунда наедине. Я пожал ей руку, поцеловал ее в щеку и сказал, будто ничего не случилось:

— Мы не прощаемся. Ты ко мне вернешься. Я буду ждать.

Она стиснула мою руку, но не ответила. В глазах ее не было слез. Они смотрели куда-то вдаль.

Мы вместе вышли на дамбу. Остальные ждали у машины. Было в этом что-то до смешного похожее на отъезд новобрачных.

Когда мы подходили к машине, никто на нас не смотрел. Я не подумал заранее, как мы рассядемся. Титус открыл заднюю дверцу, и я подсадил Хартли и сел с ней рядом, а Титус рядом со мной. Остальные втиснулись втроем на переднее сиденье. Хартли надвинула шарф на лицо. Те трое не оглянулись.

Перегрин, сидевший за рулем, спросил:

— Прямо, а потом направо?

Гилберт ответил:

— Через деревню, я покажу, где свернуть.

Хартли прижало ко мне. Она словно вся застыла. И Титус сидел весь застыв, с невидящим взглядом, с полуоткрытым розовым ртом. Я чувствовал его учащенное дыхание. Все смотрели прямо перед собой. Я сложил руки на коленях. Солнце светило. Отменная погода для свадьбы.

Чуть не доезжая того места, где в сплошной породе пробито узкое ущелье для шоссе, — места, которое я окрестил Хайберским проходом, — о ветровое стекло с невероятной силой ударился камень. Все мы разом очнулись, каждый от своего транса. Потом по машине ударил еще камень и еще. Перегрин резко затормозил. Другой водитель проскочил бы вперед, но Перри был не таков. «Что за дьявольщина. Кто-то швыряет в нас камнями. Это они нарочно», — и вылез из машины.

Мы уже въехали в ущелье, с обеих сторон над нами громоздились желтые скалы. Джеймс что-то говорил Перегрину, кажется, звал его вернуться. Я успел подумать: «Бен здорово устроил засаду, выбрал самое подходящее место». И тут ветровое стекло раскололось. Прямо на него свалился внушительных размеров камень, сброшенный сверху. Вжжик — и стекло побелело и пошло трещинами. Камень, подпрыгнув, упал на радиатор,

оставив в нем вмятину, потом скатился на дорогу. Перегрин заорал от ярости.

Титус выскочил из машины, я за ним. Гилберт остался где был. Джеймс пересел на место водителя и, обернув руку платком, пробил в стекле дырку. Потом тоже вышел.

— Вон она, вон! — орал Перегрин, указывая вверх.

Над ухом у меня пролетел камень. Я задрал голову и на фоне синего неба увидел Розину. Она стояла на колене на одном из самых высоких утесов, заранее, как видно, обеспечив себя боеприпасами. Она была вся черная, черная колдунья в чем-то вроде крестьянской шали. Мне были видны ее оскаленные зубы. Скоро стало ясно, что целит она в Перегрина. Один камень угодил ему в грудь, другой в плечо. А он, вместо того чтобы отбежать, взревел как зверь и открыл ответный огонь. Камни летали вокруг Розины, но ни один, кажется, ее не задел.

— Кто эта дама? — спросил Джеймс изысканно-любезным тоном.

— Бывшая жена Перегрина.

— Нам обязательно из-за нее задерживаться?

— Перри, марш в машину!

Я схватил его за полу пиджака. Он яростно

вырвался и нагнулся за новым метательным снарядом.

Еще один камень больно ударил меня по руке, и я поспешно попятился к машине.

— Розина! Розина!

Это кричал Титус. Он махал ей, жестикулировал, плясал на месте. Я втащил его за собой в машину. Джеймс сладил с Перри. В следующую секунду мы все сидели по местам, и Перегрин дал газ. Машина скакнула вперед и рванулась с шоссе вправо, к деревне.

Здесь Перегрин выключил мотор, принес из багажника домкрат и с силой выколотил из рамы остатки ветрового стекла, обдав нас всех белыми осколками. Потом осмотрел вмятину на радиаторе.

— Какого черта эта стерва сюда притащилась? — сказал он, но таким тоном, что ответа явно не требовалось. А чуть позже добавил задумчиво: — В школе она увлекалась крикетом.

Причудливое неистовство этого эпизода оглушило меня, и я не сразу вновь ощутил присутствие Хартли, которая за все это время не пошевелилась и словно бы не заметила, что произошло. Потом мне вдруг вспомнились слова Гилберта насчет того, что накануне вечером он

слышал в коттедже женский голос. Неужели Розина выполнила-таки свою непристойную угрозу «утешить» Бена и, если так, не потому ли Бен не был готов принять Хартли вчера? Откуда иначе было Розине узнать о нашем приезде? Эта мысль вызвала у меня неясный бессильный гнев.

Мы уже проехали через деревню, мимо церкви, где я когда-то так робко, так давно разговаривал с Хартли, и свернули в гору к коттеджам. Перегрин, весь красный, гнал как на пожар и так был углублен в свои мысли, что больше не участвовал в наших делах и почти не замечал, что происходит.

Когда я представлял себе, каким будет возвращение Хартли домой, я не представил себе, как открою дверцу, и помогу ей выйти, и отопру калитку, и пройду по дорожке, и в любое из этих мгновений еще можно будет крикнуть: «Нет! Довольно!» — и схватить ее за руку и убежать с ней. Ничего этого я не сделал. Я не коснулся ее. Она сняла шарф и мою синюю рубашку и быстро выбралась из машины. Я отворил калитку и двинулся следом за ней по дорожке. За мной шел Джеймс, потом Титус с испуганным лицом, потом Гилберт — тоже с испуганным лицом, потом Перегрин во власти своей отдельной, личной

ярости.

Хартли позвонила. Едва раздался мелодичный звон, как в доме поднялся бешеный лай и грубые окрики. Где-то хлопнула дверь, лай зазвучал тише. Потом Бен открыл входную дверь. Он, кажется, готов был снова ее захлопнуть, впустив Хартли, однако я, памятуя наставления Джеймса, быстро шагнул за ней следом, а за мной и остальные.

Не представил я себе заранее и сцену в доме, а если смутно и представлял что-нибудь, так либо потасовку, либо торжественный военный совет — то и другое с участием Хартли. А вышло не так. Хартли, едва переступив порог, исчезла. Как мышь юркнула в спальню и закрыла за собой дверь. (Причем в их спальню, а не в ту маленькую комнату, где состоялась моя беседа с Беном.)

Собака, судя по всему животное крупное, не умолкала, и все дальнейшее шло как бы под аккомпанемент ее лая. Бен отступил к двери в гостиную, Гилберт прислонился к входной двери, Перегрин сердито разглядывал рыцаря на картине, Джеймс смотрел на Бена с живым интересом, а Бен и Титус воззрились друг на друга.

Первым заговорил Бен:

— Ага, Титус и есть.

— Привет.

— Вернулся, значит, домой с мамой. Теперь останешься здесь?

Титус молчал, дрожа и кусая губы.

— Теперь останешься здесь, так, что ли?

Титус покачал головой и ответил сдавленным шепотом:

— Нет… Я лучше… не останусь.

Я сказал:

— Титус не мой сын, но я намерен его усыновить.

Голос мой срывался от волнения, и слова прозвучали неубедительно, чуть не беспечно. Бен пропустил их мимо ушей. Не сводя глаз с Титуса, он резким движением словно отбросил его от себя. Титус весь сжался.

Из всех нас Бен был самый низкорослый, но физически самый устрашающий. Его бычьей шее и могучим плечам было тесно в старой защитной рубашке, казалось, она вот-вот лопнет. Над черным ремнем круглилось небольшое брюшко, но был он, видимо, в отменной форме. Лицо покрывал здоровый загар, короткие бесцветные волосы стояли ежиком, он был свежевыбрит. Руки его свисали по бокам, и он не переставая шевелил пальцами и приподнимался на носки, точно

перед трудным гимнастическим упражнением. В передней было душно, как мне и помнилось, но пахло по-другому, хуже. Я заметил несколько ваз с увядшими розами. Собака наконец замолчала.

Я спросил:

— Вы мое письмо прочли?

Бен будто и не слышал. Он теперь смотрел на Джеймса, а Джеймс на него. Джеймс задумчиво хмурился и вдруг сказал:

— Старший сержант Фич.

— Точно, он самый.

— Инженерных войск.

— Точно.

— Это ведь вы отличились тогда в Арденнах?

— Точно.

— Хорошо себя показали.

Лицо у Бена окаменело, — может быть, он старался скрыть какие-то чувства, даже проблеск радости.

— А вы его кузен?

— Да.

— И до сих пор служите?

— Да. Вернее, только что ушел в отставку.

— Зря я не остался в армии.

Последовала короткая пауза, словно оба задумались о прошлом и сейчас начнутся фронтовые

воспоминания. Потом Джеймс заспешил:

— Мне очень неприятна эта история. Я… Ваша жена вне подозрений, она ни в чем не повинна, и ничего не случилось, даю вам честное слово.

Бен сказал без всякого выражения: «Ладно» — и повел плечами и головой, давая понять, что разговор окончен.

Джеймс повернулся ко мне, как любезный председатель собрания, без слов справляющийся у почетного гостя, не хочет ли тот что-нибудь добавить. Я не ответил на его взгляд, но повернул к выходу. Гилберт отворил дверь, Перегрин шагнул за порог, за ним Гилберт, потом Титус, потом я, потом Джеймс. Дверь за нами бесшумно затворилась.

Еще не дойдя до машины, я сообразил, что так и держу в руке полиэтиленовый мешочек с косметикой Хартли и камнем, который я ей подарил. Я машинально повернул назад. Джеймс хотел перехватить меня, но я увернулся и решительно направился к дому. Какое-то суеверное чувство подсказывало мне, что мешочек нужно непременно оставить у Хартли, не увозить его, не привозить в Шрафф-Энд, где он, как предвестник несчастья, будет обрастать грязью демонов. Лишь позже до меня дошло, что я мог оставить его на

крыльце. Я нажал кнопку мелодичного звонка и стал ждать. Опять раздался оглушительный лай и окрик Бена: «Уймись, дьявол!»

Прошла минута, и Бен открыл дверь. Бесстрастной маски как не бывало. Он весь перекосился от ненависти. Я почувствовал, что мой поступок граничит с безрассудством, но иначе не мог. И еще я понял, что прервал семейную сцену. Дверь в спальню была открыта.

Я протянул мешочек Бену:

— Это ее вещи. Простите, забыл отдать.

Бен схватил мешочек и с такой силой швырнул в угол, что он громко простучал по полу. Я отступил от близко придвинувшегося ко мне перекошенного бешенством лица.

— Чтоб духу вашего здесь не было, — прорычал он, — не то убью. И щенку этому, черт его дери, скажите, чтоб держался подальше. Убью!

Дверь захлопнулась с грохотом, даже звонок отозвался. Собака надрывалась, уже не лаяла, а визжала. Я прошел обратно по дорожке и за угол, к машине, куда слова Бена не могли долететь.

Гилберт и Титус сидели на заднем сиденье. Переднее было усыпано матовыми белыми камушками наподобие огромных жемчужин.

— Это что? — спросил я.

— Разбилось ветровое стекло, разве не помнишь? — сказал Джеймс. — Ну что, Перегрин, поехали домой?

Машина с ревом взяла с места в гору, развернулась, понеслась под гору. В незащищенное переднее окно хлестал ветер. Все молчали.

Не доезжая приморского шоссе, Титус сказал:

— Остановитесь, пожалуйста. Я отсюда пойду пешком.

Перегрин резко затормозил, и от толчка мы все повалились вперед. Титус пригнулся к дверце.

— Титус, ты что, опять туда? — закричал я, хватая его за рубашку.

— Нет! — Он выскользнул из машины и бросил через плечо: — Если хотите знать, меня сейчас вырвет.

И пошел в сторону пристани. Перегрин снова дал газ.

Гилберт спросил Джеймса:

— Какое это происшествие в Арденнах вы поминали?

Вид у Джеймса был оживленный, даже довольный. Казалось, встреча с Беном привела его в хорошее настроение. Он ответил:

— Странная была история. Этот Фич был в лагере для военнопленных в Арденнах, в плен попал,

очевидно, в сорок четвертом году. Офицеров в лагере не было, из унтер-офицеров он, наверно, был старшим по званию, во всяком случае был там центральной фигурой. В мае сорок пятого, когда немцы перед приходом наших войск готовились эвакуировать лагерь, он развязал собственную войну. Сумел подчинить себе всех. Среди пленных была группа отчаянных головорезов, но, в общем, к нему примкнули все. Организовано все было отлично, продумано классически, они занимались подрывной работой на транспорте, кажется, даже пустили под откос целый поезд. Они достали оружие и перестреляли немало немцев. Бывали и дикие расправы — возможно, сводились личные счеты. Короче говоря, когда подошли наши части, на роли пленных были те немцы, что еще уцелели, а молодой Фич, к тому времени полный хозяин лагеря, стоял у ворот и радушно нас приветствовал. Поистине образец личной храбрости и инициативы. Правда, ходили кое-какие разговоры о «ненужной жестокости», но они скоро улеглись. Он был награжден Военной медалью.

— Вы сами там были? — спросил Гилберт.

— Нет, я в это время был в другом месте, но лагерь освобождали подчиненные мне части, и мне

об этом рассказали. Я помню фотографии этого парня, он не изменился. И фамилию его я вспомнил, все это хранилось где-то в памяти, в свое время произвело впечатление. Он был храбрец. Странно, что довелось вот так с ним встретиться.

— Храбрость малоприятного свойства, — заметил я.

— И война тогда шла малоприятного свойства, — сказал Джеймс.

— Он просто убийца.

— Одни лучше приспособлены убивать, другие хуже, это еще не говорит о порочности. Он вел себя как надлежит солдату.

Мы доехали до дому. Перегрин проскреб машиной по придорожной скале, и она встала. Все вылезли. Я посмотрел на часы. Ровно десять. Весь день впереди.

Через прихожую и кухню я вышел на лужайку. Джеймс, не отстававший от меня, прислонился к кухонной двери. Я сказал:

— Благодарю за помощь. Теперь, когда ты выполнил здесь свой долг, тебе, наверно, не терпится уехать.

Он ответил:

— Да нет, если ты не против, я останусь до завтра.

— Сделай одолжение.

Я пошел прочь в сторону башни, по мосту через Миннов Котел. Нашел место у самой воды, откуда видна была Воронова бухта. С моря дул горячий ветер, шла крупная волна, но воздух был уже не такой душный. Вероятно, гроза прошла стороной.

Болела рука там, где в нее попал камень, пущенный Розиной. Уже появился кровоподтек. Я, оказывается, сильно вспотел. Горячий ветер сушил прилипшую к спине рубашку и легкую куртку. Я скинул куртку, расстегнул ворот рубашки. Над бухтой висела дымка, вода была бледно-голубая, окаймленная кружевом разбивающихся волн. Огромные валуны казались горячими, словно скопившееся в них тепло, которое они теперь отдавали, зримо мерцало. Разводы темно-желтых водорослей на них напоминали иероглифы. За дальним мысом бухты на воде лежали фиолетовые блики. Волны, вздымаясь и опадая, почти достигали моих ног, обрызгивали желтые скалы пеной, которая тут же высыхала. В недавней сцене я свалял дурака, и мне грустно было сознавать, что в таких серьезных обстоятельствах я выставил себя в смешном свете.

Я услышал негромкие шаги за спиной, увидел

тень. Джеймс подошел и сел рядом со мной. Я даже не взглянул на него, и какое-то время мы сидели молча.

Джеймс стал нашаривать вокруг себя мелкие камешки и бросать их в воду. Наконец он сказал:

— Не терзайся ты за нее. Я думаю, она не пострадает. Даже уверен.

— Почему?

— Моя общая оценка обстановки.

— Понятно.

— И еще этот странный сегодняшний эпизод.

— Ты думаешь, уважение старшего сержанта Фича к генералу Эрроуби перевесит…

— Не совсем так. Но что-то между нами передалось.

— Армейская телепатия?

— Вроде того. Мне кажется… как бы это сказать… была задета струна чести.

— Чепуха, — сказал я. — Не обижайся, Джеймс, но всякий раз, как ты начинаешь выражаться по-военному, ты сразу глупеешь. Солдатский гонор, что ли, сказывается.

Мы опять помолчали. Я тоже набрал камушков и покидал их в воду, предварительно осмотрев один за другим, чтобы выяснить, не стоит ли его сохранить. Бен, наверно, скоро выкинет тот

красивый камень из полиэтиленового мешочка. Может быть, запустит им в собаку. Мне стало жалко собаку.

Джеймс сказал:

— Надеюсь, тебе не кажется, что я оказал на тебя давление, заставил поступить не так, как ты считал нужным?

— Нет.

Мне не хотелось с ним спорить. Конечно, он оказал на меня давление. Но как я сам-то счел бы нужным поступить?

— Что ты намерен делать с Титусом?

— Как ты сказал?

— Что ты намерен делать с Титусом?

— Не знаю. Он, вероятно, сбежит.

— Не сбежит, если ты постараешься его удержать. Но это потребует усилий. Он говорит, что хочет стать актером.

— Представь себе, он мне об этом сообщил.

— Ты мог бы устроить его в театральное училище?

— Не исключено.

— Это будет для тебя занятие.

— Благодарю за заботу о моих занятиях.

— С этим домом ты, наверно, расстанешься?

— Какого черта мне с ним расставаться?

— Разве не лучше было бы…

— Это мой дом. Мне здесь нравится.

— Мм…

Мы бросили в воду еще по нескольку камешков.

— Можно, я еще кое-что скажу, Чарльз?

— Можно.

— Я тут думал… ты правда не обидишься?

— Да говори сколько хочешь, мне-то что.

— Время может оторвать нас от действительности. Оно может отделить нас от людей и превратить их в призраков. Вернее, это мы превращаем их в призраков или демонов. Некоторые виды бесплодной одержимости прошлым могут создавать такие подобия, а они бывают наделены большой силой, как те троянские герои, что сражались за призрак Елены.

— Значит, я, по-твоему, сражаюсь за призрак Елены?

— Да.

— Для меня она реальна. Реальнее, чем ты. Как ты можешь оскорблять несчастную страдающую женщину, называть ее призраком?

— Я не ее называю призраком. Она реальна, как всякий человек, но ее реальность лежит в другом плане. Не совпадает с порождением твоей

фантазии. Ты не сумел ее преобразить. Признай, что пытался и потерпел неудачу.

На это я ничего не ответил. Да, безусловно, я пытался что-то сделать и потерпел неудачу. Но что именно сделать и что доказывает эта неудача?

— Ну вот, ты попробовал, так не можешь ли ты теперь успокоиться? Перестань терзаться из-за этой истории. Попробовать было нужно, согласен, но теперь с этим покончено, и я уверен, что ты не причинил ей серьезного вреда. Подумай теперь о другом. В армии судят за так называемое умышленное членовредительство. Не совершай этого преступления. Подумай о Титусе.

— Опять ты про Титуса.

— Виноват. Но право же, взгляни на это так: твоя любовь к этой девушке, такой, какой она была когда-то, неожиданно обрела нечто вроде новой жизни. Неожиданная встреча с ней после стольких лет воскресила твои тогдашние чувства. Это психологический ребус, пусть и неизбежный, в нем есть свой смысл, но не тот, что тебе чудится. Конечно, сразу это не пройдет. Но через несколько недель или несколько месяцев ты еще раз все это переживешь, пересмотришь, перечувствуешь — и избавишься от этого. Это не навек, ничто человеческое не вечно. Вечность — это наша

иллюзия. Как в сказке. Пробьет двенадцать, и все рассыплется и исчезнет. И ты почувствуешь, что свободен от нее, навсегда свободен, и бедный призрак волен идти своей дорогой. Останутся только обычные обязательства, обычные интересы. И ты почувствуешь облегчение, вздохнешь свободно. Сейчас ты еще во власти наваждения, гипноза.

Джеймс говорил, склонившись над водой и бросая плоские камешки так, чтобы они отскакивали от ее поверхности, хотя при такой зыби отскакивали они недалеко. Глядя на них, я чуть не застонал — мне вспомнилось, как мы с Хартли играли в эту игру на старом пруду близ нашего дома. У нее получалось лучше, чем у меня.

Я ответил:

— Ты говоришь как будто и умные вещи, но это все сотрясение воздуха. Для любви вся эта мелкая психология не годится. Ты, видно, неспособен себе представить, что любовь может быть на всю жизнь. А как раз в этом и есть ее чудо. Должно быть, ты никогда никого не любил так сильно.

И вдруг я вспомнил, что мне сказал однажды Тоби Элсмир в связи с моим предположением, что Джеймс, возможно, гомосексуалист. Оказывается, когда-то в Индии Джеймс был очень привязан к одному солдату, непальцу племени

шерпа, который потом каким-то образом погиб в горах. Конечно, о чужих любовных делах мы ничего не знаем, а что там было у Джеймса, этого я и подавно не узнаю никогда. Чтобы загладить мое бестактное замечание, я сказал:

— Тебе, видимо, представляется, что прошлое вообще нереально, что это сплошные призраки. А для меня нет ничего реальнее прошлого, и верность ему важнее всего на свете. Тут не просто сентиментальные вздохи о юношеском увлечении. Это жизненный принцип, программа действий.

— Ты хочешь сказать, что все еще веришь в свою идею после того, как испробовал ее и вынужден был признать, что Хартли хочет вернуться домой и что для нее так лучше?

— Да. Потому я и должен здесь остаться. Я должен ждать. Должен быть на посту. Она будет знать, что я жду, что я здесь. Ведь и у нее могут быть сомнения. Сейчас ей пришлось вернуться, потому что все произошло слишком быстро. Но она подумает и поймет, что цепь-то уже разорвана. Рано или поздно она придет ко мне, я это знаю. Один раз уже пришла. И придет снова.

— А если не придет?

— Буду ждать хоть до конца жизни. Это мой

долг, мое место здесь. Или, вернее, я подожду — а потом начну все сначала.

— То есть опять займешься ее спасением?

— Да. И перестань, ради бога, швырять камни.

— Виноват, — сказал Джеймс. — Помнишь, мы так играли на пруду близ Рамсденса, когда ты к нам приезжал с дядей Адамом и тетей Мэриан?

— Я должен ждать. Она придет ко мне. Она — часть меня. Это не прихоть и не пустая мечта. Когда знал человека с детства, когда и не помнишь такого времени, чтобы его не было рядом, это уже не иллюзия. Она вросла в меня. Неужели ты не понимаешь, что такая связь абсолютно нерасторжима?

— Да, — сказал Джеймс. — Ну что ж, я пойду. Я обещал съездить с Перегрином в гараж и привезти его обратно. Увидимся за завтраком. Завтрак, надо полагать, будет?

Завтрак был, однако нельзя сказать, чтобы он прошел в особенно сердечной обстановке. Мы ели свежую макрель, раздобытую где-то Гилбертом. Он же нашел к ней дикого укропа. И готовил, конечно, он. Аппетита не было ни у кого, кроме Титуса. Я очень обрадовался, увидев его, — значит, вернулся, почуял, как собака, где его дом. Да, я помогу ему, буду его опекать, сделаю из

него себе занятие и предмет заботы; но пока мы избегали смотреть друг на друга. Мешал какой-то смутный стыд. Он стыдился своих родителей — своей несчастной стареющей матери и тупого грубияна-отца. Я стыдился того, что не удержал Хартли, что был вынужден ее отпустить, мало того — сам отвез ее в этот супружеский ад. Да, думал я, меня к этому вынудили, и не только Джеймс, но и Гилберт, и Перегрин, и даже Титус. Если бы меня оставили в покое, я бы не изверился и мне удалось бы удержать ее. Все эти непрошеные зрители выбили у меня почву из-под ног.

Перегрин вновь обрел (или притворился, что обрел) свое обычное агрессивное хладнокровие. Они с Гилбертом болтали о каких-то пустяках. Гилберт излучал затаенную радость человека, который вышел невредимым из опасного приключения и предвкушает, как будет сплетничать об этом в другой компании. У Джеймса вид был кротко-отрешенный или, может быть, грустный. Титус стыдился и дулся. Я спросил тех троих, когда они уезжают, и выразил желание, чтобы они не задерживались, поскольку спектакль окончен. Все согласились на том, что разъезд состоится завтра. Машина Перри к тому времени будет готова, Джеймс свезет его в гараж. Гилберт,

хоть и неохотно, тоже согласился уехать, утешая себя мыслью, что сможет сообщить обо мне кое-что новое в Лондоне. И мы с Титусом останемся одни.

После завтрака я, по разумному совету Гилберта, составил список продуктов и напитков, которыми он мог бы снабдить меня впрок, пока у нас еще есть машина, и с этим списком он снова отбыл в деревню. Титус пошел купаться. Перегрин, теперь ярко-розовый и блестящий от крема для загара, лежал на траве возле башни. Джеймс, устроившись на полу в книжной комнате, перебирал мои книги, изредка прочитывая страницу-другую. Гилберт вернулся с нагруженной машиной и с известием, услышанным в лавке, что Фредди Аркрайт приехал в отпуск на ферму Аморн. Перегрин ввалился в дом с отчаянной головной болью и прилег в книжной комнате, задернув занавески. Джеймс вышел на лужайку и стал выгребать из корытца камни и раскладывать их на траве в виде сложного узора, обведенного кругом. День тянулся, было очень жарко, и вдали опять ворчал гром. Море было как жидкое желе, вздымалось и опадало гладкими густыми валами. Потом, вскоре после того как Титус вернулся с купания, оно стало сердиться.

Поднялся свежий ветер. Гладкая зыбь усилилась, волны стали выше, мощнее. Мне было слышно, как они бушуют в Минновом Котле. Низко над горизонтом повисла длинная гряда пушистых облаков, но солнце повернуло на закат торжественно, в безоблачном голубом сиянии. Гилберт и Титус сидели теперь возле башни, в тени, которую она отбрасывала на траву, и пели «Eravamo tredici».

Я твердо решил дать отдых моему истерзанному, израненному мозгу. У меня не осталось сомнений, что все случившееся было подстроено Джеймсом вопреки моей воле. Если б у меня не сдали нервы, если б я продолжал гнуть свою линию, если б догадался сразу увезти ее отсюда, Хартли не стала бы мне противиться. Она бы махнула рукой, уступила, сперва от бессильного отчаяния человека, в котором всякая надежда на счастье давно убита. Моя задача — научить ее желанию жить, и я еще это сделаю. Я, только я в силах ее воскресить, в этом мое предназначение. Может быть, размышлял я, даже неплохо, что на этот раз я ее отпустил — ненадолго. В конечном счете моя ударная тактика оправдается, у нее будет время подумать, сравнить двух мужчин, представить себе иное будущее. Мои уговоры

принесут свои плоды. Как знать, может быть, после пребывания у меня, после того как я заронил в ее душу семена свободы, небольшая порция Бена откроет ей глаза на осуществимость, а потом и на желательность немедленного избавления. Небольшая порция Бена заставит ее наконец собраться с мыслями. Так будет даже лучше, потому что она сама примет решение, а не просто послушается меня. Ей бы только немножко оправиться от страха, от чувства безысходности, и она подумает и решится уйти. Не следовало мне действовать так сплеча, так сурово, ни в коем случае не следовало запирать ее в комнате — это было ошибкой. Какое-то время я вполне мог бы удержать ее силой убеждения и достучаться до ее разума. А я сразу обрек ее на роль пленницы и жертвы, что само по себе лишило ее способности рассуждать. Теперь, в этом страшном вертепе, она хотя бы «дома» и сможет подумать. Не станет же он беспрерывно колотить ее душу и караулить ее тело. Я буду ждать. Она придет. Я не буду никуда отлучаться. Ведь она может прийти в любое время дня или ночи. А если не придет, извернулся я напоследок, — что ж, поступлю так, как сказал Джеймсу, начну все сначала.

Приближался вечер. Титус и Гилберт пришли

приготовить чай, потом в машине Гилберта укатили в «Черный лев». Перегрин появился, принял дозу виски от головной боли и снова исчез. Джеймс отправился на поиски новых камней для своей мандалы, или как она там называется. С такими вот мыслями о Хартли, хоть немного притуплявшими мое отчаяние, я полез по скалам вверх, в сторону деревни. Мне видны были пенные гребни, радугой вставшие над все набиравшими силу валами, брызги долетали до меня мельчайшими каплями. Я соскользнул в длинную расщелину, где отвесные скалы расходились глубоким треугольником — укромное местечко, которое я еще давно обнаружил. По дну расщелины тянулось узкое озерко, а рядом с ним — ручеек из гальки. Гладкие скалы сильно нагрелись, и в тесном пространстве между ними меня охватило и окутало их успокоительное тепло. Я сел на камушки. Стал их переворачивать. Снизу они были влажные. Я сидел неподвижно, очень тихо, пытаясь заглушить свои мысли. Откуда-то сверху в мой ручеек скатился гладкий камешек, я безучастно посмотрел на него. Через минуту скатился еще один камешек и еще. Я поднял голову. Из-за выступа скалы на меня смотрело лицо, обхваченное двумя руками. Появились кашта-

новые кудряшки, их трепал ветер. Два лучистых светло-карих глаза близоруко щурились на меня, в них читался и смех, и страх.

— Лиззи!

Лиззи подтянулась на остром скалистом выступе, перекинула через край загорелую ногу, уже исцарапанную до крови, потом, путаясь в широкой юбке своего синего платья, перекинула вторую ногу и, не удержавшись, съехала по гладкой скале прямо в воду.

— Лиззи! Разве так можно?

Я вытащил ее из озерка и привлек к себе, смеясь тем безудержным смехом, в котором предельная досада готова прорваться слезами.

Лиззи, тоже смеясь, выжимала подол платья.

— Ты порезалась.

— Пустяки.

— Ты потеряла туфлю.

— Она в воде. Дай мне пока другую, или ты решил коллекционировать мои туфли? Ой, Чарльз, ничего, что я приехала?

— Ты знаешь, что Гилберт здесь?

— Да, он мне написал, не мог не похвастаться, что гостит у тебя.

— Он тебя просил приехать?

— Нет, что ты. По-моему, ему не хотелось ни с

кем тобой делиться. А мне вдруг так захотелось приехать, я и подумала, а почему бы и нет?

— Крошка Лиззи подумала, почему бы и нет. Ты на машине?

— Нет, поездом, а потом такси.

— Оно и лучше, а то на моей стоянке скоро не останется свободных мест. Пошли домой, тебе надо обсохнуть. Только не поскользнись еще раз, тут недолго и растянуться.

Я повел ее к дому, на лужайке она спросила:

— Это что за камни?

— Так, кто-то выкладывал узор. Ты похудела.

— Это я нарочно. Ах, Чарльз, милый, ну как ты, ничего?

— А что мне сделается?

— Да я не знаю…

Мы вошли в кухню.

— Вот тебе полотенце.

Я не собирался выяснять, какую пошлую, наглую версию последних событий Гилберт преподнес ей в письме. Мысль об этом сильно тревожила бы меня, не будь у меня более серьезных забот.

На Лиззи было переливчато-синее летнее платье с глубоким вырезом и пышной юбкой. Ее кудрявые волосы, спутанные ветром, рассыпа-

лись рыжеватыми штопорчиками по блестящему воротнику. Светло-карие глаза, увлажнившиеся от ветра, от нежности, от облегчения, смотрели на меня снизу вверх. Она выглядела до нелепости молодо, словно излучала жизнерадостность и лукавое веселье, и в то же время смотрела на меня внимательно и смиренно, как собака, угадывающая каждый оттенок в настроении хозяина. Я не мог не подумать, как не похоже это здоровое, открытое миру создание на ту неповоротливую, пришибленную женщину, закутанную и бессловесную, которую я нынче утром позволил увезти из моего дома. А между тем любовь стремится к собственным целям, выискивает, а то и выдумывает собственные чары. Я готов был, если потребуется, объяснить это Лиззи.

Лиззи, сидя на стуле, сбросила туфли и, закинув одну голую ногу за другую, высоко подтянув пышную синюю юбку, вытирала ногу полотенцем.

Вошел Джеймс и остановился, пораженный.

— Знакомьтесь, — сказал я ему. — Гостей все прибывает. Это моя приятельница по театру, Лиззи Шерер. Джеймс Эрроуби, мой родственник.

Они поздоровались.

В парадную дверь позвонили.

Я побежал открывать, уже видя, как Хартли

стоит на пороге, задохнувшись от ветра, в полном расстройстве чувств, как падает в мои объятия.

На пороге стоял мужчина в кепке.

— За бельем.

— За бельем?

— Ну да, вы заявили, чтоб прислать из прачечной. Я приехал.

— Ах, боже мой, да, спасибо, сейчас ничего нет. Заезжайте в другой раз, на будущей неделе, или…

Я бегом вернулся в кухню. Там уже был Перегрин. С Лиззи он, конечно, был знаком, хотя и не близко. Пока они обменивались приветствиями, явились Гилберт и Титус.

— Лиззи, милая!

— Гилберт!

— Это твой чемодан? Мы его нашли на дамбе.

Опять звонок. Ну хоть теперь-то это Хартли?

— Телефон.

— Телефон?

— Вы заказывали. Я пришел подключить.

К тому времени, как я показал ему, где поставить аппарат, в кухне хором пели «Спелые вишенки».

И продолжали петь. И мы напились. И Гилберт приготовил роскошный салат, поставил на стол

хлеб, сыр и вишни. И Титус сиял, глядя на Лиззи, а та, усевшись на стол, скармливала ему одну вишню за другой. А я подумал о душной комнате по ту сторону деревни, где Хартли прячется от людей и повторяет раз за разом: «Прости, прости, мне так жаль». Я выпил еще вина. Гилберт не скупясь накупил его за мои деньги. Когда стало темнеть и после «Пребудь со мной» они затянули «Окончен день, Тобою данный, Боже», мы все вышли на лужайку. Джеймсов узор из камней уже пострадал, многие успели о него споткнуться. Мне захотелось побыть с Лиззи вдвоем и все ей объяснить. Я отвел ее в сторонку, и мы уселись на скалах, где от дома нас не было видно. Она сразу же поцеловала меня своим целомудренным, сухим, льнущим поцелуем.

— Лиззи…

— Милый мой, ненаглядный, ты пьян!

— Лиззи, ты ведь мне друг?

— Да, конечно, друг навеки.

— Зачем ты приехала? Чего ты хочешь?

— Хочу всегда быть с тобой.

— Лиззи, это невозможно, ты ведь знаешь, этого не может быть никогда.

— Ты просил меня… об одной вещи… неужели забыл?

— Я много чего забываю. Вот забыл, что разбилось ветровое стекло.

— Какое стекло?

— Не важно. Послушай, Лиззи, послушай…

— Ну, слушаю.

— Лиззи, я себе не принадлежу, я связан с этой очень несчастной женщиной. Она ко мне вернется. Тебе Гилберт рассказал?

— Упомянул в письме. Ты мне сам расскажи.

— Я не помню, что тебе уже известно.

— Розина сказала, что ты женишься на бородатой старухе, а ты сказал, что встретил эту женщину из своего прошлого и что то, что ты сказал мне, было «ошибкой».

— Лиззи, я люблю тебя, но не так. С ней я связан нерушимо, это что-то абсолютное.

— Но она замужем.

— Она уйдет от мужа ко мне. Он гнусная личность, и она его ненавидит.

— А тебя любит?

— Да.

— А она правда такая уродина?

— Она… Лиззи, она прекрасна. Знаешь ли ты, что это значит — оберегать кого-то, оберегать в своем сердце от всякого зла, всякого мрака, воскрешать, словно ты — бог?

— Даже если все это неправда, как во сне?

— В каком-то смысле это должно быть правдой, это не может быть сном, чистая любовь делает сон явью.

— Я понимаю, ты жалеешь ее…

— Это не жалость, это много возвышеннее, много чище. Ах, Лиззи, от этого сердце разрывается.

Я уронил голову на колени.

— О мой милый…

Лиззи коснулась моих волос, погладила их очень тихо и нежно, как гладят ребенка или смирную домашнюю собаку.

— Лиззи, милая, ты плачешь? Не плачь. Я тебя люблю. Будем любить друг друга, что бы ни случилось.

— Тебе нужно все, Чарльз, верно?

— Да, но по-разному. Будем любить открыто, свободно, как ты писала в том письме, не вцепляясь друг в друга когтями и зубами.

— Дурацкое было письмо. Вцепляться когтями и зубами — это, кажется, единственное, что я могу понять.

— А с ней, с Хартли, это что-то вне времени, оно было всегда, оно больше, чем она и чем я. Она ко мне придет, должна прийти. Она была со мной всегда и теперь вернется к себе, в родной

дом. У меня такое странное чувство, будто все это я сделал для нее — порвал с прежней жизнью, ушел из театра, поселился здесь. Я давно отдал ей весь смысл моей жизни, и она до сих пор хранит его. Даже если сама не знает, что это так.

— Все равно как даже если уродина, она прекрасна, и даже если не любит тебя, то любит.

— Но она любит.

— Чарльз, либо это очень возвышенно, очень благородно, либо ты сошел с ума.

— Милая Лиззи… Благодаря ей я сегодня так полон любви.

— Так одели ею других.

— Да, но не всех без разбора. Когда чувствуешь, что полон до краев своей жизнью и весь, без остатка, принадлежишь не себе, это рождает и чувство свободы. Я не знаю, что ждет меня впереди, Лиззи. Знаю только, что все будет связано с ней. Но от этого другая любовь, если она вообще существует, становится тем более реальной, потому что она чиста, самоотверженна, ничего не просит. Ты будешь любить меня так, ничего не прося, никуда не зовя, просто потому что мы — это мы?

— Это либо высшая мудрость, либо жульничество. А что ты пьян — это факт.

— Ответь же мне, Лиззи, милая.

— Да. — И она стала целовать мои руки.

— Лиззи, Лиззи, где ты?

(Голос Гилберта.)

Уже почти стемнело, хотя над морем, где отблески заката подсвечивали гряду белых облаков, сиявших, как бледные лампы, над мчащимися к берегу волнами, еще оставалось немного света. Начинался прилив.

— Лиззи, иди спой нам «Voi che sapete».

Она стрелой от меня умчалась, только мелькнула длинная голая нога. Гилберт уже протягивал ей сверху руку. Я остался где был.

Какой жуткой, зловещей пародией на счастье был этот вечер — словно маска, надетая духом печали. Хватит ли у меня сил не пойти к тому дому, не узнать, что там происходит, не ворваться в их жизнь подобно буре, подобно ливню, стучащему в окна, подобно грому?

Вскоре я двинулся к Шрафф-Энду. Он был освещен необычно ярко, похож на кукольный дом. Гилберт, очевидно, купил на мои деньги еще несколько ламп. Свет из окон падал на траву. Лиззи все еще пела соло. Ее верный правдивый голосок витал в воздухе, взлетал ввысь, повергая группу окружавших ее мужчин в полную тиши-

ну. Перри, очень пьяный, стоял скрестив руки возле кухонной двери. Его пошатывало. Гилберт сидел по-турецки, с умильной улыбкой на лице. Титус стоял на коленях — рот полуоткрыт, глаза распахнуты, в лице затаенное волнение и радость. Джеймса я сперва не увидел. А потом разглядел, что он полулежит на траве внизу, почти у моих ног. Семейное сборище.

«Voi che sapete» уже отзвучало, Лиззи теперь пела «Розы Пикардии». Эту песню певала тетя Эстелла, аккомпанируя себе на рояле в гостиной в Рамсденсе. К боли от этого воспоминания примешалась мысль, уж не Джеймс ли попросил Лиззи спеть «Розы». Потом я вспомнил, что сам когда-то говорил ей, что люблю эту песню, но не сказал почему. Сейчас Лиззи пела ее для меня.

«Розы Пикардии» — это было уже слишком. Я стал спускаться на лужайку, и Джеймс, почуяв меня, приподнялся. Я сел рядом с ним, но не глядя на него, а он на меня поглядел, протянул руку, коснулся меня, и я произнес еле слышно: «Да, да». Песня кончилась.

После этого и до той минуты, когда произошло самое ужасное, вечер как бы потихоньку сходил на нет, распадался, становился бессвязным, как бывает к концу удачной встречи старых друзей. А

может быть, это у меня в памяти все смешалось. Над скалами дрожал слабый свет, но откуда он исходил — не помню. Возможно, это облака еще продолжали светиться. Появилась луна, бесформенная, пятнистая, большая и бледная, сама как облако. Яростный пенный прибой был точно пронизан светом. Я побрел на поиски исчезнувшей Лиззи. Казалось, все порознь бесцельно бродят по скалам с бокалами в руках. Где-то вдали от берега ухала сова, и голоса моих гостей доносились урывками, такие же далекие, глухие, смутные. Мне хотелось найти и Джеймса, я чувствовал, что, кажется, обошелся с ним грубо. Хотелось что-то сказать ему, сам не знаю что, про тетю Эстеллу. Она ведь как-никак озарила мое детство. Вот уж поистине *che cosa è amor*[34]. Я поднялся на свой утес и поглядел, как о него бьются волны. Погромыхивал гром. Светились белые гребни волн в открытом море. Где-то неподалеку Гилбертов журчащий баритон затянул: «Куда спешишь, красотка, станцуй со мной чечетку». Чуть позже стало слышно, как в другой стороне Титус, тоже в одиночестве, выводит «Джок из Хэзелдина». Было что-то нелепое и трогательное в том, как

---

[34] Примечания: 34
Что такое любовь *(ит.).*

погружены в себя и довольны собой эти пьяные певцы. Потом я наконец услышал вдали голос Лиззи, поющий «Отец твой спит…». Я прислушался, но не мог разобрать, откуда идет звук, до того громко ему вторило разбушевавшееся море. Потом подумал, как гулко отдается ее голос, словно через усилитель. Не иначе как она поет в башне.

Я еще недалеко отошел от дома, а теперь вступил в более темное пространство. Подсвеченные облака померкли, луна, уже поменьше и поярче, но еще не в полном блеске, висела в так и не погасшем до конца небе. Голос Лиззи все пел, все звал меня «динь-дон, динь-дон». Я пробирался между скал, обходя знакомые ловушки. Дошел до моста над Минновым Котлом и, как всегда, остановился там поглядеть на гладкую яму, в которой волны прилива метались и пенились в самоубийственной ярости. Брызги искрились, словно наделенные своим, из глубины идущим светом. Я смотрел вниз как в глубокую темно-зеленую стеклянную трубу. И вдруг кто-то подошел ко мне сзади и столкнул меня в воду.

Поскольку я пишу эту книгу, всякому должно быть понятно, что я уцелел, но мне вряд ли удастся описать это переживание, передать, сколько оно длилось, как было страшно, как безнадежно,

да, вот это главное — полная потеря надежды. Падение, то, чего боится и ребенок и взрослый, само по себе символ смерти, недолговечности человеческого тела, его хрупкости, непрочности, его полной зависимости от посторонних причин. Даже в безобидном падении на дороге присутствует момент ужаса, когда падающему становится ясно, что он не может удержаться на ногах; им завладел какой-то неумолимый механизм и не отпустит до конца, не избавит от последствий. «Отныне я бессилен что-либо изменить». Какой долгой, бесконечно растянутой становится секунда, когда в нее вторгнется эта мысль, равноценная смерти! А ужаснее всего — это, конечно, падение в пустоту, каким я часто представлял его себе в самолете. Руки, ноги, мышцы, все защитные механизмы нашего тела вдруг оказываются ни к чему. Вся враждебность материи обрушивается на хрупкое, ломкое, беззащитное живое существо, и всегда-то, вероятно, неуместное в жестоком минеральном мире, управляемом законом земного притяжения.

Каждая часть моего тела словно пережила свое, отдельное, отчаяние. Спина и поясница ощущали жуткий отпечаток рук, которые с огромной силой и, конечно же, умышленно сбросили меня с

моста. Руки тщетно искали, за что бы ухватиться. Ноги, еще касавшиеся камня, от которого вот-вот оторвутся, дернулись в слабой, бесполезной судороге, в последней попытке удержать равновесие. А потом они дергались уже в воздухе и я падал вниз головой, точно и голова, и плечи сразу налились свинцом. Одновременно я успел почувствовать (или подумать напоследок), как уязвима моя голова, и даже заметить, что мои руки пытаются защитить ее. Мой торс дурнотно перекрутился в напрасных поисках правильного положения. И еще я успел увидеть прямо под собой, в рассеянном летнем мраке, белые гривастые волны и спиральное их кружение в тесной воронке. Потом я погрузился в воду, ощутил ее леденящий холод как новый шок и инстинктивным усилием пловца попробовал распрямиться; но тело уже знало, что плыть в этом водовороте невозможно. Поглядев вверх, в темный, чуть светящийся зеленый купол — нависшую надо мной волну, — я почувствовал, будто у меня ломается шея. Я задыхался, захлебывался, весь поглощенный одним — как бы еще раз вздохнуть. И в то же время смог подумать: это конец. Я еще боролся, все мое тело боролось, вслепую барахтаясь среди бешеных бурунов, норовивших разорвать меня

на части. Потом голова моя с силой ударилась о гладкую скалу, и я потерял сознание.

Я лежал на спине на скалах. Открыл глаза и увидел звезду. Мне только что снился давно знакомый сон, а между тем он приснился мне впервые. Мне снилось, что кузен Джеймс целует меня в губы. Я знал, что есть звезда и что произошло чудо: я дышу. Свое дыхание я воспринимал как нечто космически огромное, нечто естественное и, однако, сверхъестественное, чудесное. Я дышал медленно, ровно, глубоко, уверенно. Где-то ниже меня что-то глухо непрерывно шумело, и я лежал в этом шуме, как в чаше, и смотрел на звезду. Я чувствовал боль, но спокойно, как бы со стороны. Я отдыхал, как после здорового крепкого сна, готовый снова уснуть. Я закрыл глаза. Я дышу.

Сквозь тот шум, а потом отдельно, на фоне его я услышал другие звуки, различил голоса и понял, где я. Я лежал на плоской каменной плите на подходе к мосту. И еще я вспомнил, тоже как бы со стороны, что со мной случилось. Кто-то застонал, может быть Перри, кто-то рыдал, может быть Лиззи или Титус. Донесся голос Джеймса: «Отойдите, не надо толпиться». И другой голос: «Кажется, дышит». Я подумал, надо бы сказать

им, что со мной все в порядке. Значит, все в порядке? Я составил фразу, которую, наверно, скоро смогу произнести: «Что за переполох? Со мной все в полном порядке». Но говорить почему-то не хотелось, казалось, что это очень трудно. Я осознал, что лежу с открытым ртом. Усилием воли я закрыл рот, потом опять открыл и начал: «Что за…» — а дальше дело не пошло. Какой-то звук все же получился. Я сделал судорожное движение, слабую попытку приподняться. И продолжал дышать.

Кто-то сказал:

— Слава богу!

Голоса все звучали.

— Теперь, пожалуй, можно его нести.

— А если сломаны кости?

— Надо его согреть. Нельзя оставлять его здесь.

Поспорили еще. Потом стали обсуждать, из чего сделать носилки и каким путем лучше идти. Наконец понесли меня на одеяле, вернее — поволокли, очень грубо. Путь по скалам запомнился как кошмар. Я попробовал сказать, что могу идти сам, но, как выяснилось позднее, только простонал что-то невнятное. Все мои боли теперь локализовались. Отчаянно болела голова, и от движения в глазах ходили огненные круги. В руке

билась нестерпимая боль, похожая на зубную. Я подумал: наверно, рука сломана и кость сейчас прорвет кожу. И еще была донельзя болезненная точка в спине. Носильщики мои оказались на удивление неуклюжи и бестолковы, то и дело пререкались из-за того, где лучше пройти, и оступались и ушибали меня о скалы.

Наконец меня внесли в кухню и с поразительной неловкостью стащили с меня одежду, растерли полотенцами и одели во все сухое, не переставая спорить о том, что мне сначала дать — супу, коньяку или аспирина. Когда их осенило, что нужно затопить камин, они сперва не могли найти сухих дров, потом не могли найти спички. Но в конце концов меня все же уложили в красной комнате на полу, на подушках перед горящим камином. Я стал согреваться, и боль немного утихла, а когда меня перестали тормошить, расслабился и меня стало клонить в сон. Я ощутил облегчение и что-то вроде того странного спокойствия, которое ощущал, когда смотрел вверх на звезду. И только тут, уже засыпая, я вспомнил, что это не был несчастный случай. Кто-то меня столкнул.

Сейчас я должен записать одну вещь, о которой вспомнил позднее и в то время склонен

был счесть за сон. Я лежал на полу под кучей одеял, один, в комнате, освещенной дрожащим огнем камина. У меня появилось ощущение, что я должен что-то сделать как можно скорее, пока кто-нибудь не вошел, а главное — пока я не забыл какого-то чрезвычайно важного факта, который вот-вот ускользнет из памяти. Нужно было записать этот важный факт, поймать его и удержать, до того как он улетучится. Я поднялся на колени, достал ручку и лист бумаги со стола, за которым иногда работал, и записал, что именно так настоятельно требовалось запомнить. То, что я написал, заняло полстраницы, а может быть, и поменьше. Я писал быстро, но уже тогда не был уверен, все ли мне удалось вспомнить. Потом я аккуратно сложил листок и спрятал его где-то в комнате. Все это — как я что-то записал и спрятал — вспомнилось мне на следующее утро. Но… Я уже не помнил, что показалось мне столь важным и что я об этом написал, и не мог найти тот листок, хотя тщательно обыскал всю комнату. Это «нечто» было окутано атмосферой сильнейшего волнения, предельного напряжения всех чувств, но разглядеть его я не мог, сколько ни всматривался. Возможно, весь этот эпизод мне приснился. Впрочем, я не сомневался, о чем шла

речь в моей записи (если она вообще существовала): речь в ней шла о том, кто же был человек, попытавшийся меня убить.

— Но как, скажи на милость, я оттуда выбрался? — спросил я Лиззи.

Я сидел в кресле в красной комнате, пил чай и ел гренки с анчоусами. Часа в два ночи прибыл очень сердитый врач, разбудил меня, подергал за ноги, за руки и объявил, что я практически здоров. Переломов нет, сказал он, только контузия и шок. Нужен покой, тепло и впредь не гулять по скалам ночью, после щедрых возлияний. Тут только я сообразил, что никто, кроме меня и убийцы, конечно же, не знает, что это не был несчастный случай.

Теперь было часов десять утра. День опять был жаркий, и гром рокотал уже громче, ближе. Молнии ощущались как еле видные толчки. Меня навещали, справлялись о самочувствии, поздравляли, что легко отделался. Звучали эти поздравления как-то суховато — то ли мои друзья чувствовали, что эмоций было с лихвой проявлено с вечера, то ли они разделяли мнение врача. Словом, выходило, что я по глупости доставил всем массу лишних хлопот. Какой-то инстинкт, в котором я еще не успел разобраться, подсказал

мне, что не стоит, или пока не стоит, разглашать, что падение мое произошло не случайно.

Скоро надо будет решать, что делать. Я жалел, что так и не нашел тот драгоценный листок. Но насчет того, кто был убийца, я не сомневался.

— Джеймс думает, что тебя выбросила какая-нибудь шальная волна, — сказала Лиззи.

Лиззи сияла, ее длинные кудрявые волосы спутались, они росли как здоровое растение. На ней была полосатая рубашка и бумажные брюки, кое-как подрезанные до колен. Даже после голодной диеты она была полновата для такого наряда, но меня это не смущало. Ее кожа излучала здоровье. Только по мельчайшим морщинкам возле глаз можно было бы угадать ее возраст. Смутная досада, которую мой подвиг вызывал у мужской части компании, ее не коснулась. Поскольку все кончилось хорошо, она готова была задним числом упиваться этой драмой, и каким-то образом мое спасение дало ей сильнее почувствовать, что я ее собственность.

— Не может этого быть, — сказал я, — там слишком глубоко. Кто меня вытащил?

— Да все вместе. Когда ты закричал, все сбежались, я последняя. Я примчалась, а Джеймс и Титус уже тащат тебя к той плоской плите, а

Гилберт и Перегрин им помогают.

— Воображаю, сколько от них было помощи. Забавно, а я ведь не помню, что кричал.

— Доктор сказал, что ты, возможно, не будешь помнить того, что было перед самым падением и сразу после него. Это результат контузии. Мозг чего-то там не регистрирует.

— А потом все вспомнится?

— Не знаю, он не сказал.

— Как меня несли к дому, я помню. Ушибов мне досталось, по-моему, не меньше, чем в воде. На мне места живого нет.

— Да, это было ужасно, ты был как большущий намокший мешок, такой тяжелый, мы тебя чуть не уронили в расщелину. Но это было гораздо позже.

— Почему позже?

— А ты не помнишь, как Джеймс подарил тебе «поцелуй жизни»?

— Да… вроде как…

— Понимаешь, мы думали, что все кончено. Он минут двадцать над тобой бился, пока ты задышал нормально. Вот это так правда был ужас.

— Бедная Лиззи. Ну ладно, я, как видишь, не умер и готов всем доставить еще немало хлопот. Как вы вчера разместились? Тут у нас скоро будет

второй отель «Ворон».

— Я спала на диване во внутренней комнате здесь внизу, Джеймс на твоей постели, Перри в книжной комнате, а Гилберт в столовой, а Титус на улице. Подушек и одеял наскребли.

— Подумать только, Джеймс захватил мою постель!

— Тебя побоялись нести по лестнице, да и затопить здесь было можно…

— Джеймс еще не заходил ко мне.

— Он, по-моему, еще спит, он совсем вымотался.

— Мне очень жаль, что это происшествие испортило нам вечеринку. Я помню, как ты пела «Voi che sapete».

— Я надеялась, что ты услышишь. Ах, Чарльз…

— Лиззи, прошу тебя, не надо…

— Ты на мне женишься?

— Лиззи, перестань.

— Я умею стряпать и водить машину, и я тебя люблю, и характер у меня золотой, без всякой неврастении, а если тебе нужна нянька, буду и нянькой…

— Это же была шутка.

— Я ведь была тебе нужна, когда ты писал…

— Это мне пригрезилось. Я тебе объяснил, я

люблю другую.

— А не это ли тебе грезится?

— Нет.

— Она ведь ушла.

— Да, но теперь, Лиззи, мне только что был подан удивительный знак… и вот неожиданно путь… открыт.

— Смотри-ка, дождь пошел.

— Будем любить друг друга свободно, как я говорил вчера.

— Если ты уйдешь к ней, то уж никогда не захочешь меня видеть.

А ведь и верно, подумал я. Если я завладею Хартли, я сразу увезу ее подальше, я ее спрячу и сам спрячусь вместе с ней.

Мы не поедем с ней ни в Париж, ни в Рим, ни в Нью-Йорк, это были пустые фантазии. Я не могу познакомить Хартли ни с Сидни Эшем, ни с Фрицци Айтелем, ни с вылощенной Жанной, которая теперь именует себя принцессой. Я не могу даже повести ее в ресторан с Лиззи, или с Перегрином, или с Гилбертом. На этом роскошном фоне она не смотрится. Мы с Хартли будем жить одни, скрытно, инкогнито, где-нибудь в Англии, в деревне, в маленьком доме у моря. И она будет шить и ходить в лавку, а я буду работать в саду и красить

прихожую, и у меня будет все, что я упустил в жизни. И мы будем беречь и лелеять друг друга, и будет много непритязательной доброты, и простор, и покой, незапятнанный, незамутненный. И я буду общаться с обыкновенными людьми и сам стану обыкновенным и отдохну, боже, как мне хочется отдохнуть, и мой конец сомкнется с моим началом, как было предопределено, как положено. Этого, именно этого я инстинктивно жаждал, когда, к всеобщему удивлению, бросил театр и уехал сюда, сюда! Мы с Хартли будем вместе, вдвоем, почти ни с кем не будем видаться, и наша верность друг другу восстановится, и давний молодой невинный мир тихо обступит нас снова.

Лиззи, которой я этих мыслей не поведал, наконец ушла. Я понимал, что ее поддерживает надежда: что бы я ни говорил, поверить в Хартли она не могла. Навестили меня и остальные — Перегрин, Гилберт, Титус. Об отъезде никто не заговаривал. Похоже, что праздник продлевается. Какие еще радости он сулит? Я справился о Джеймсе, но Гилберт сказал, что он еще отдыхает наверху в моей постели, у него полный упадок сил. Возможно, он простудился накануне на холодных скалах, когда склонялся над моим

намокшим безжизненным телом.

Дождь лил прямой, серебристый, словно хлестал землю стальными прутьями. Он стучал по крыше и по скалам, рябил поверхность моря. Гром грохотал, как рояль вниз по лестнице, потом переходил в более мягкое ровное ворчание, почти не слышное за шумом дождя. Молнии сливались в длинные световые полосы, и трава становилась ядовито-зеленая, а скалы — ослепительно-желтые, как Гилбертова машина. Дом полнился напряжением, тревогой, страхом — стихии как бы по-своему откликались на мои злоключения. Я встал с кресла и сказал, что схожу к Джеймсу, но оказалось, что он все еще спит. Гилберт доложил, что протекла крыша и вода стекает по лестнице в ванную. Я дошел до кухни, и у меня закружилась голова. Болели бесчисленные ушибы, в теле засел неистребимый холод, я вернулся к камину. Когда подошло время завтракать, я поел супу, а потом сказал, что хочу отдохнуть, пусть меня не тревожат. Сидя в кресле, укутанный одеялами, я стал думать. Дождь так шумел, что моря не было слышно.

Что на мою жизнь покушался Бен, в этом я не сомневался. Последнее, что он сказал мне, было: «Убью». Да еще я сам привлек его внимание к

мосту через Миннов Котел как к самому подходящему месту для убийства. Я сам ощутил соблазн столкнуть его в воду, и он не мог этого не почувствовать. Тут был даже как бы элемент возмездия. А что он решил действовать именно сейчас, это психологически вполне объяснимо. Он подвергся унизительному вторжению, и даже вспоминать об этом было для его самолюбия нестерпимо. Был ли его поступок предумышленным? Выжидал ли он удобной минуты, спрятавшись у моста? Или бродил поблизости, вынюхивая, пестуя свою ненависть, и не удержался? Так или иначе, он, конечно, тогда был уверен, что попытка его удалась. Мое спасение оказалось поистине чудом, а для него — мрачнейшим предзнаменованием.

Но что же дальше? Как поступают в цивилизованном обществе, когда кто-то пытается тебя убить? К закону апеллировать я не могу, и не только потому, что у меня нет доказательств. Я не могу подать в суд на мужа Хартли, допустить, чтобы ее коснулась пошлость судебного разбирательства. И не могу я даже подумать о том, чтобы явиться к Бену с моими друзьями и задать ему трепку. Я хотел бы с ним встретиться лицом к лицу, но такая встреча была бы всего лишь роскошью, как ни приятно мне было бы загладить

впечатление подхалимства, которое должно было у него остаться от нашего последнего свидания. Надо как-то использовать и то, что мне известно, и то, что я сейчас собой представляю как выходец с того света, имеющий все основания пылать праведным гневом. Это я и имел в виду, когда толковал Лиззи о поданном мне удивительном знаке. Боги, сохранившие мне жизнь, распахнули передо мной дверь и повелели войти в нее.

Проблема оставалась прежней, изменился только угол зрения. Я должен увести Хартли, остаться с ней вдвоем и разбудить ее, внушить ей уверенность в возможности свободы. Да, теперь я это понял, главное — остаться с ней вдвоем, как можно скорее и навсегда. Когда она была моей пленницей, каким унизительным, наверно, было для нее присутствие в доме других людей. Больше свидетелей не будет. Я ей это скажу. Ей вовсе не нужно вступать в мой утонченный, устрашающий, чуждый для нее круг. Чтобы жениться на нищенке, царь сам — и с какой радостью! — станет нищим. Отныне это целительное смирение и будет моей путеводной звездой. Это и есть необходимое условие ее свободы, как я не понял этого раньше? Наконец-то я увижу, как изменится ее лицо. Да, в моих мыслях о будущем

присутствовала и уверенность, что, придя ко мне, Хартли обретет и былую свою красоту: так узники, освобожденные из концлагеря, сперва выглядят стариками, но, очутившись на воле, отдохнув и отъевшись, опять молодеют. Ни боли, ни тревоги не останется в ее лице, оно станет спокойным и прекрасным; это помолодевшее лицо уже светило мне из будущего подобно лампаде. Когда я уходил из театра, я мечтал об одиночестве; теперь оно обрело для меня облик Беатриче. Только так счастье может стать для меня невинной и незапретной целью, даже идеалом. На тех путях, где я гонялся за ним раньше, оно оборачивалось либо блуждающим огоньком, либо чем-то порочным. Найти свою истинную любовь — значит найти единственного человека, с которым счастье целомудренно и невинно.

Однако для начала вставал чисто технический вопрос. Как увести ее? О долгом ожидании теперь не могло быть и речи, поскольку следовало, пока не поздно, использовать мою новую власть над Беном. На сей раз я стал замышлять не похищение, а скорее массированную атаку. Прежде всего я напишу Хартли письмо. Потом зайду к ним с Титусом. Почему я думаю, что он нас впустит в дом? Да потому, что он виноват и боится. Ему

будет любопытно, что мы задумали. Откуда ему знать, что у меня нет доказательств? Откуда ему знать, что не было свидетелей? Тут я себя поправил: а почему бы свидетелям и не быть? Я могу сказать ему, что свидетель был, могу даже подговорить кого-нибудь (Гилберта, Перегрина?), пусть скажут, что видели, как все случилось. В конце концов, кто угодно мог увидеть! Это уже окончательно устрашит Бена. Почему бы мне не пустить в ход шантаж? Что угодно, лишь бы он сказал ей: «Ладно, уходи». Есть ли шанс, что он это скажет? Не означает ли его долгое молчание после похищения Хартли, что он еще не решил, насколько она ему теперь нужна? Если он согласится, цепи спадут, и она, мой ангел, выйдет на волю. Или если на ее глазах разоблачить его как убийцу, это может подействовать благотворно: все ее чувства к нему — страх, отвращение — разом обострятся и потребуют выхода. Только бы найти верный путь к разгадке. Куда я, черт возьми, задевал тот листок, который так ловко спрятал от самого себя?

Да, действовать нужно скорее, пока Бен не очухался. Он, надо думать, пережил нешуточную встряску; впрочем, поскольку его радиоприемник и телевизор ничего ему не сообщили, он, к

сожалению, уже должен был понять, что убить знаменитого Чарльза Эрроуби ему не удалось. Но сейчас, пока Лиззи и Джеймс находятся в моем доме, я ничего не могу сделать, разве что написать Хартли. Нехорошо было бы по отношению к Лиззи затевать спасение ее соперницы при ней и даже, может быть, с ее помощью. А Джеймс, тот сбивает меня с толку своими моральными сентенциями… Значит, от них обоих надо избавиться. Гилберт и Перегрин еще ненадолго могут мне понадобиться. И Титус, конечно…

Тут я засомневался: а что, если я допустил серьезный просчет, когда определял Титусу его роль в истории с Хартли? Найдется ли Титусу место в том раю на двоих, который я только что рисовал себе? Нет. Но это не столь важно. Супружеские отношения сплошь и рядом существуют отдельно от отношений с детьми. С Титусом у меня будут совсем особые отношения, он, кстати, и сам дал понять, что это его устроило бы. Но все же до сих пор мне казалось, что Хартли захочет сохранить какую-то связь с Титусом. Или я ошибался? И тут Титус собственной персоной появился на пороге.

За последние дни я ни разу спокойно не побеседовал с Титусом и осуждал себя за это. Даже независимо от моих отношений с Хартли маль-

чик занял важное место в моей жизни, он был буквально подарком судьбы. Оставалось проверить, в какой мере я гожусь на роль отца. Мне уже было ясно, что Гилберт и даже Перегрин склонны усмотреть в моей дружбе с Титусом совсем иное.

Пока я предавался размышлениям, дождь перестал, и в прорывы между свинцовых туч солнце уже поглядывало на очень мокрую землю. Моя лужайка превратилась в болото, скалы стали похожи на губки. Наверху громко перекликались Гилберт и Лиззи — он залез на чердак и осматривал крышу, а она, раз за разом выжимая тряпку, подтирала пол в ванной. Когда явился Титус, я решил выйти на воздух, чтобы поговорить с ним без помехи. Сил у меня как будто прибавилось, и головокружение не повторялось. Но когда он медленно и осторожно вел меня по скалам, я чувствовал себя стариком, а добравшись до Миннова Котла, еле заставил себя ступить на мост. И как только я не погиб в этой глубокой яме, между этих гладких стен, этих свирепых волн!

Скалы начали куриться на солнце. Со всех сторон словно били горячие источники. Мы сели на полотенца, которые умница Титус прихватил из кухни, на скале с видом на Воронову бухту, недалеко от того места, где я накануне беседовал

с Джеймсом. Море, хоть и казалось спокойным, потому что зыбь после дождя была такой лоснящейся и гладкой, полно было затаенной злобы, грозно катило огромные горбатые волны, на которых не видно было пены, пока они не разбивались о скалы мутно-белым прибоем. Солнце светило, только над горизонтом висела теперь серая завеса дождя. С моря на сушу перекинулась радуга. Воронова бухта была бутылочно-зеленого цвета, такой я еще никогда ее не видел. Где-то сейчас Розина?..

Поднимались мы сюда в молчании и, усевшись, не сразу заговорили. Я все поглядывал на него, а он все глядел на море. Его красивое лицо было сердито, рот подрагивал, как у обиженного ребенка. Шрам на верхней губе словно пульсировал, чуть заметно растягивался и сжимался, может быть, в силу привычки, усвоенной с детства. Давно не чесанные волосы слежались и спутались.

— Титус.

— Я.

— Мог бы ты называть меня Чарльзом? Мог бы к этому привыкнуть? Мне кажется, так нам обоим было бы легче.

— Попробую, Чарльз.

— Титус, я… Ты для меня очень много значишь,

и ты мне нужен.

Титус погладил свой шрам, потом приложил к нему палец, чтобы не подрагивал. Я только тут сообразил, что он, возможно, задумывался о двусмысленности наших с ним отношений, которая сразу пришла на ум Гилберту, более того, какая-нибудь грубая шутка Гилберта, возможно, и навела его на эту мысль. Мне-то она до сих пор не приходила в голову — отчасти потому, что я вообще был поглощен другим, отчасти потому, что сам набросил на него покров невинности, позаимствованный у многострадальной Хартли.

— Не пойми меня превратно, — добавил я. Его влажные надутые губы дрогнули в улыбке, а я продолжал: — Я хочу тебе кое-что рассказать.

Я вдруг решил, что надо рассказать Титусу о том, что Бен пытался меня убить.

— Если это про Мэри…

— Да.

Я не разговаривал с Титусом после той жуткой сцены в Ниблетсе, когда «делегация» привезла согрешившую жену домой к ненавистному мужу.

— Мне от всего этого тошно. Вы меня простите, пожалуйста, но я просто не хочу быть к этому причастным. Я сбежал из дому, чтобы меня не впутывали в такие дрязги, я ненавижу дрязги,

а с ними обоими я всю жизнь только и видел что дрязги, с утра до ночи. Так-то они неплохие люди, просто не могут уразуметь, как жить по-человечески.

— Она неплохой человек, с этим я согласен…

— Просто передать не могу, как мне было скверно, когда мы ездили к ним на машине, я бы много дал, чтобы этого не видеть, а теперь никогда не забуду. Мне было так стыдно. С Мэри поступили как с какой-то мебелью или с малым ребенком. Нельзя так вмешиваться в чужую жизнь, особенно в жизнь жены и мужа. Тем брак и ужасен. Просто не понимаю, как на это можно отважиться. Надо их оставить в покое. Пусть ненавидят и мучат друг друга на свой лад, им это в охотку.

— Раз это так ужасно, вмешаться необходимо. Зачем же быть таким циником и пессимистом.

— Я не циник и не пессимист, в том-то и дело. Мне это безразлично, вы думаете, что я об этом все время думаю, а я совсем не думаю, я не хочу видеть, не хочу знать, плевать мне на их терзания!

— Ну а мне не плевать, и я намерен вызволить твою мать из этого ада, и притом не откладывая.

— Вы же попробовали, а она только хныкала, что хочет домой. Ну и ладно, и скатертью дорога.

Простите, это я нехорошо сказал. Вы ошиблись, только и всего, теперь забудьте об этом. Честное слово, я в толк не возьму, зачем она вам, не понимаю, что это — сентиментальность, либо благотворительность в стиле Армии спасения, либо что, но не может быть, чтобы человек был так уж необходим, не доходит это до меня. Есть ведь эта женщина, Лиззи Шерер, она к вам, по-моему, очень хорошо относится, и Розина Вэмборо…

— А я, понимаешь ли, люблю твою мать.

— О-о, любите… то есть…

— Тебе не понять, молод еще.

— Для меня, наверно, естественно проявлять нормальный интерес к молодым женщинам. В старости, возможно, все не так.

Я молчал, уязвленный до глубины души. Дурак я был, что зашел так далеко. Я чувствовал себя усталым, слабым, обескураженным. Самая молодость Титуса, его здоровая, неунывающая энергия нестерпимо раздражали меня. Раздражали его длинные загорелые голые ноги в рыжеватых волосках, торчащие из небрежно закатанных брюк. Я чувствовал, что теряю с ним контакт, что вот-вот накричу на него, а потом буду вынужден просить прощения.

— Мне жаль, что все это так тебя расстраивает. Отчасти я понимаю. Но мне нужна твоя помощь, ну, или, скажем, поддержка. Я должен рассказать тебе что-то важное про твоего отца.

— Про Бена. Он мне не отец. Кто мой отец — одному богу ведомо, я уж теперь никогда не узнаю. Давайте не будем говорить про Бена, он мне надоел. Не по душе мне это дело…

— Прости, я немного запутался, какое именно дело?

— Да насчет нас с вами. Давайте забудем про них, поговорим про вас и про меня.

— Давай. Я и сам хотел об этом поговорить, Титус, тебя-то я не пытаюсь похитить.

— Да, я знаю.

— Мы-то с тобой свободны по отношению друг к другу. И нет надобности ничего определять.

— А разве «отец» — это не определение?

— И верно. Ну, если тебе больше нравится, давай будем просто друзьями. Подождем, посмотрим. Ты же знаешь, тут нет ничего… постыдного… ну, ты понимаешь…

— О, это-то я знаю!

— Мне нужно просто ощущать, что мы с тобой связаны совсем особыми отношениями, особыми узами.

— Не понимаю, зачем вам это, — сказал Титус. — Простите, это неблагодарность с моей стороны, я ведь живу у вас, ем и пью за ваш счет, я это помню, но я вот все думаю: какое вам до меня дело? Будь вы и вправду моим отцом, это бы еще ладно, хотя и тогда… в общем, я вот что хотел сказать. Мне было интересно с вами встретиться, интересно у вас жить, несмотря на все ужасы. Когда-нибудь я, наверно, буду думать, что хорошее это было время, да. Но я хочу сам зарабатывать себе на жизнь, и жить самостоятельно, и чтобы это было в театре. Я не желторотый младенец, которого манит сцена, я не воображаю, что стану звездой, я даже еще не знаю, выйдет ли из меня актер, но я хочу работать в театре, мне кажется, что там я буду у места. Отдыхать здесь у вас чудесно, но я хочу вернуться в Лондон, только там и есть настоящая жизнь.

— А здесь настоящей жизни нет?

— Ну, вы же понимаете, о чем я. Ваш кузен где живет?

— В Лондоне. — Опять меня ужалила змея ревности. Неужели Джеймс успел заарканить Титуса? Между ними с самого начала что-то возникло. Я поспешил сказать: — Очень тебя прошу, не говори с остальными про то… ну, сам

понимаешь.

— Ну еще бы, ни слова, могли бы этого и не говорить.

— Вот и хорошо.

— Главное, я не хочу, чтобы вам казалось, будто у вас есть по отношению ко мне какие-то обязательства. А то выйдет, что и у меня есть обязательства. Я не хочу больше сидеть у вас на шее. Хочу жить самостоятельно. Если вы мне немножко поможете, что ж, скажу спасибо. Может быть, вы мне поможете поступить в театральное училище. Если поступлю, попробую получить стипендию, тогда мне и денег хватит. Может, получается, что я хочу попасть в училище по блату, но блат, по-моему, — это не так уж страшно. Тогда я буду сам себе хозяин, и мы сможем быть друзьями или как там хотите, но только если я буду сам по себе, понимаете?

Каким слабым и беспомощным я чувствовал себя перед этой простодушной, напролом идущей энергией! Он ускользал от меня, пока я даже еще не научился его любить, не придумал, как удержать его!

— Хорошо, я помогу тебе поступить в театральную школу, но это надо еще обдумать. Мы с тобой съездим в Лондон, а сначала ты поможешь мне

здесь. Я все-таки расскажу тебе кое-что про Бена, тебе следует это знать. Ты говоришь, он неплохой человек, а он плохой. Он злобный и мстительный. Он пытался меня убить.

Мне нужно было поразить воображение Титуса, взорвать это его возмутительное безразличие.

— Убить? Каким образом?

— Он столкнул меня в воду. Я не случайно свалился в водоворот. Он столкнул меня.

Титус не выказал особого волнения. Наклонившись вперед, он почесал комариный укус на лодыжке.

— Вы его видели?

— Нет, но почувствовал.

— Откуда же вы знаете, что это был он?

— А кто же еще? Когда мы виделись последний раз, он сказал, что убьет меня.

— Не могу себе это представить, очень уж на него не похоже, просто не верится, — тупо твердил Титус.

— Меня столкнули! Кто-то толкнул меня в спину!

— Вы уверены? Вы ведь могли упасть и удариться спиной о скалу, а потом соскользнуть в воду, а ощущение было бы как от толчка в спину. И доктор сказал, что у вас все могло спутаться

в голове.

Продолжать я был не в состоянии — слишком устал и пал духом. Не надо было уходить так далеко от дома.

— Ладно, Титус, поставим на этом точку. Никому не передавай, что я тебе рассказал.

Титус поглядел на меня, сощурив глаза.

— Вот видите, не так это весело — играть в отцы и сыновья.

Это было самое ласковое из всего, что он сказал.

— С училищем я тебе помогу, — сказал я. — Мы еще это обсудим. А теперь беги.

Он встал.

— Я вас доведу до дому.

— Справлюсь и сам.

— Нет, не справитесь. К тому же и дождь опять начинается.

Он протянул мне руку. Я взял ее, и он помог мне подняться, а потом ухватил под локоть. Сказал:

— Когда-нибудь мы с вами друг друга узнаем. Времени хватит.

— Времени хватит.

Хартли, родная, я хочу сказать тебе несколько вещей. Во-первых, прости, что

увез тебя и насильно держал у себя в доме. Мной руководила любовь, но теперь я вижу, что это было глупо. Я напугал тебя и сбил с толку. Прости меня. Во всяком случае, это доказывает, что я тебе предан бесконечно и хочу, чтобы ты была со мной. Ты моя, и я не собираюсь от тебя отступаться. Так что скоро ты меня снова увидишь! Надо полагать, что, вернувшись домой, ты много чего обдумала и отчасти стала на мою точку зрения. Ну зачем тебе, моя дорогая, оставаться в краю страданий? Ведь я для тебя не чужой человек, не предлагаю тебе ничего и никого незнакомого. Ты сама сказала, что я твой единственный друг! И ты совсем уж была готова сказать «да», только боялась его. Ведь страх – это в конечном счете привычка. А в глубине души ты разве не чувствуешь, что изменилась? Теперь уж скоро ты сможешь сделать то, о чем мечтала годами, – распахнуть дверь и выйти.

И еще вот что. Я не собираюсь увести тебя в какой-то роскошный мир, полный актеров и знаменитостей. Я и сам в та-

ком мире не живу. Ты как-то сказала, что тебе по душе тихая жизнь. Вот и мне тоже. Иначе зачем бы я приехал сюда! Мы уедем и будем жить с тобой вдвоем совсем просто, в маленьком домике в Англии, где-нибудь в деревне, если захочешь – у моря, и постараемся совсем просто скрасить друг другу жизнь. Об этом я всегда мечтал, а теперь, когда я освободился от театра, я могу так жить с тобой. Мы будем жить очень тихо, Хартли, и ценить простые радости. Неужели тебе не хочется этого настолько, чтобы уйти из дома, где тебя не любят и мучают? И Титусу мы, конечно, поможем, и он придет к нам по своей воле, и все старые раны заживут. Мы будем его любить. Но самым главным всегда будем мы с тобой.

Теперь вот еще что я тебе скажу, это страшная вещь. Позавчера Бен пытался меня убить. Он в темноте столкнул меня в водоворот. Одному богу ведомо, как я не погиб. Я отделался контузией и ушибами. Приглашал врача (но ты не тревожься, ничего серьезного нет). Покушение на убийство – не такая вещь,

которую можно оставить без внимания и жить дальше, как будто ничего не случилось. В полицию я еще не обращался, обращусь или нет – это зависит от Бена. Добавлю одну немаловажную подробность: есть человек, который все это видел.

Но не о мести я сейчас думаю. Я хочу одного – увезти тебя. Помимо всего прочего, ты едва ли захочешь остаться с человеком, который доказал, что способен на убийство. Перестань ты наконец заниматься самобичеванием. И пожалуйста, начни разбирать свои вещи – отбери, что возьмешь с собой из одежды, и вообще. Я не хочу тебя торопить. Но в покое я тебя теперь не оставлю, все время буду у вас появляться. Если Бену это не понравится, пусть согласится на твой отъезд, а не то он вынудит меня обратиться в полицию. Это не шантаж, это наконец игра в открытую!

Бену об этом рассказывать не надо, разве что захочется. Я приду скоро, прямо следом за этим письмом, и тогда сам ему скажу. Поскольку объявлений о моей смерти не было, он уже знает, что он не убийца. Вздохни спокойно, родная, не тревожься и предоставь все мне. Отбери платья, какие взять. Я тебя люблю. Мы будем вместе, моя дорогая.

Ч.

Я думал было написать прямо Бену, но потом решил сперва подготовить Хартли. Трудность, как и раньше, заключалась в том, как передать ей письмо. Явиться с ним самому — рискованно, могут не впустить. Посылать Титуса не хотелось, а Гилберт, которого я позондировал, сказал, что боится. Джеймс, Лиззи и Перегрин вообще не должны ничего об этом знать. Можно было послать по почте, напечатав адрес на машинке, но он, конечно же, вскрывает все ее письма. Впрочем, если он и вскроет это письмо, ничего страшного. Игра идет к концу.

Дело было на следующий день. Письмо я написал с утра, но все еще не решил, что с ним делать. Теперь надо избавиться от Джеймса и Лиззи.

Джеймса можно просто попросить уехать. Для Лиззи придется выдумать какой-нибудь предлог.

Джеймс, как ни странно, все еще не вставал. Он проспал уже много часов, с короткими перерывами. А я, хотя мне-то действительно тяжело досталось, чувствовал себя намного лучше. Я пошел наверх навестить его.

— Джеймс, соня ты этакий! Ну, как самочувствие? Уж не малярия ли тебя опять свалила?

Джеймс лежал в моей постели, как в гнезде, обложившись подушками, вытянув руки прямо перед собой поверх одеяла. Перед моим приходом он не читал. По его оживленному выражению я заключил, что он напряженно о чем-то думал. А тело его как-то устало обмякло. Небритые щеки изменили его лицо, в нем появилось что-то испанское — не то монах, не то воин-аскет. Но вот он улыбнулся, и я вспомнил, как меня всегда бесила эта его дурацкая бодрая улыбка, словно выражающая снисходительное превосходство. В комнате стояла тишина, шум моря и тот доносился глухо.

— Я ничего. Наверно, простудился. Скоро встану. А ты как себя чувствуешь?

— Прекрасно. Тебе чего-нибудь принести?

— Нет, спасибо. Есть мне не хочется. А чаем

меня напоила Лиззи.

Я нахмурился.

— Где Титус? — спросил Джеймс.

— Понятия не имею.

— Ты за ним приглядывай.

— Сам не маленький, что ему сделается.

Мы помолчали.

— Сядь, — сказал Джеймс. — А то у тебя такой вид, будто сейчас уйдешь.

Я сел. Вялость Джеймса словно передалась и мне. Я вытянул ноги с таким чувством, будто вот-вот засну, хоть и сидел на жестком стуле. Плечи и руки обмякли, налились тяжестью. Я, конечно, тоже был порядком вымотан.

— Тебе по-прежнему хочется, чтобы Титус вернулся к Бену? — спросил я.

— Разве я это говорил?

— Дал понять, во всяком случае.

— В сущности, его место — с ними.

— С ними? Скоро, очень скоро «их» больше не будет.

Джеймс, уловив мою мысль, спросил:

— Ты все еще мечтаешь об этом спасении?

— Да.

Мы опять помолчали, словно оба успели задремать. Потом Джеймс продолжал:

— Ведь он — их сын в самом настоящем, глубоком смысле. У меня сложилось впечатление, что ситуация там не совсем безнадежная.

Его «впечатление» разозлило меня. На чем оно основано? И я с ужасом ответил себе: на разговорах с Титусом. Я зашел к Джеймсу, чтобы поторопить его с отъездом, и не собирался ничего ему говорить о преступлении Бена. К чему касаться столь захватывающей темы. Но теперь меня так и подмывало поколебать его невозмутимое благодушие. Обдумывая это, я сказал:

— Я решил усыновить Титуса.

— Юридически усыновить? А это возможно?

— Да. — На самом деле я не знал, возможно или нет. — Я позабочусь о его карьере. И завещаю ему мои деньги.

— Не так-то это легко.

— Что именно?

— Чтобы создать отношения, мало этого захотеть и остановить на ком-то свой выбор.

Я чуть не возразил: «Тебе-то это, наверно, нелегко». А потом словно услышал голос Титуса, когда он спросил: «Ваш кузен где живет?» И вспомнил, что мне рассказал Тоби Элсмир про того шерпу, к которому Джеймс так привязался, он еще потом погиб в горах, и на минуту у меня возникло

желание расспросить его об этой «привязанности». Однако это было бы бестактно и опасно. Я всегда помнил, что Джеймс способен сделать мне очень больно. Как странно, ведь даже сейчас я не мог с ним общаться без страха! Cousinage, dangereux voisinage. И в то же время он вызывал во мне досаду, с ним я чувствовал себя увальнем и невеждой, и хотелось сбить с него это сонное спокойствие. Рассказать ему про Бена или не надо? Если я расскажу, не отсрочит ли это его отъезд? А рассказать очень хотелось. Страх берет, как подумаешь, что каждый поступок, пусть самый незначительный, имеет свои последствия и может оказаться точкой, от которой дороги расходятся в противоположные стороны.

А Джеймс развивал свою мысль:

— Настоящие отношения по большей части складываются сами собой.

— Как в семье? Вроде как ты говорил про Титуса?

— Да. А иногда кажется, что они предопределены. Буддист сказал бы, что вы знали друг друга в предшествующей жизни.

— Ты считаешь себя суеверным? Только не отвечай, ради бога, что это смотря по тому, что считать суеверием.

— Тогда я не могу ответить.

— Ты веришь в перевоплощение? Веришь, что, если человек жил плохо, он родится вновь в виде… хомяка, например, или мокрицы?

— Это все символы. Истина скрыта глубже.

— Жуткая, по-моему, доктрина.

— Чужие религии часто кажутся жуткими. Подумай, каким жутким должно казаться со стороны христианство.

— Оно и мне таким кажется, — сказал я, хотя до тех пор никогда об этом не задумывался. — А буддисты верят в загробную жизнь?

— Смотря по тому…

— Ладно, не стоит.

— Некоторые тибетцы верят… — сказал Джеймс и тут же поправился, он теперь всегда говорил об этой стране в прошедшем времени, словно об исчезнувшей цивилизации: — Верили, что души умерших в ожидании нового рождения пребывают в некоем месте вроде Гомерова Аида. Они называли его «бардо». Место, прямо скажем, малоуютное. Там полно всевозможных демонов.

— Стало быть, это место наказания?

— Да, но наказания чисто автоматического. Мудрецы считают этих демонов субъективными видениями, которые зависят от того, как умер-

ший прожил свою жизнь.

— «Какие сны в том смертном сне приснятся…»

— Да.

— Ну а как же Бог, или боги? К ним душа не может обратиться?

— Боги? Боги сами всего лишь сны. Они тоже суть субъективные видения.

— Что ж, тогда можно хотя бы надеяться на какие-то счастливые иллюзии в будущей жизни!

— Возможно, но едва ли, — произнес Джеймс рассудительно, словно прикидывая, поспеет ли он на поезд. — Очень уж редки люди, у которых нет своих… спутников-демонов.

— А в «бардо» отправляются все?

— Не знаю. Говорят, в момент смерти у человека есть шанс.

— Шанс?

— Шанс освободиться. В момент смерти человеку дано увидеть всю реальность в целом, это подобно мгновенной вспышке света. Для большинства из нас это и есть… как бы сказать… всего лишь яркая вспышка, как от атомной бомбы, нечто пугающее, слепящее, непостижимое. Но если ты в силах постичь и удержать ее, тогда ты свободен.

— Выходит, есть смысл знать, что умираешь. Ты говоришь — свободен. От чего свободен?

— Просто свободен — нирвана — освобождение от Колеса.

— От колеса перевоплощения?

— Ну да, от привязанностей, страстей, желаний, всего, что приковывает нас к нереальному миру.

— Привязанностей? Значит, даже любви?

— Того, что мы называем любовью.

— И тогда мы существуем где-то еще?

— Это все символы, — сказал Джеймс. — Некоторые утверждают, что нирвана возможна только здесь и сейчас. Символы для объяснения символов, картины для объяснения картин.

— А истина скрыта глубже!

Тут мы опять умолкли. Веки у Джеймса опустились, но глаза из-под них еще поблескивали. Я спросил шутливо:

— Ты что, предаешься размышлениям?

— Нет, если б я правда предавался размышлениям, то был бы невидим. Мы видим друг друга, потому что каждый из нас — центр беспокойной умственной деятельности. Размышляющий мудрец — фигура незримая.

— Да, ничего не скажешь, жутко! — Я не мог разобрать, всерьез ли он говорит. Скорее всего,

нет. Но от этого разговора мне стало очень не по себе. Я сказал: — Ты когда собираешься уехать? Наверно, завтра? А то мне, кроме всего прочего, хотелось бы вернуться на свое ложе.

— Да, извини, можешь здесь спать хоть сегодня. А я двинусь отсюда завтра. У меня в Лондоне уйма всяких дел. Надо готовиться к путешествию.

Значит, я не ошибся! Джеймс вовсе не расстался с армией, его опять посылают с тайной миссией в Тибет! Мне захотелось деликатно намекнуть ему, что я все знаю.

— А-а, да, к путешествию, понятно. Впрочем, задавать вопросов не буду.

Джеймс только посмотрел на меня своими темными глазами на темном небритом лице. Я быстро глянул на него и отвел взгляд. Я решил рассказать ему про Бена.

— Ты знаешь, Джеймс, вот когда я упал в эту яму…

— В Миннов Котел. Да?

— Ведь я упал не случайно. Меня столкнули.

Джеймс отозвался не сразу.

— Кто тебя столкнул?

— Бен.

— Ты его видел?

— Нет, но кто-то столкнул, а больше некому

было.

Джеймс задумчиво поглядел на меня. Потом спросил:

— А ты не ошибся? Ты уверен, во-первых, что тебя столкнули, и, во-вторых, что это был Бен?

Я не намерен был выслушивать его «во-первых» и «во-вторых». Ничем его не проймешь, даже покушением на убийство.

— Просто хотел тебе рассказать. Ладно, забудем. Так завтра ты уезжаешь. Отлично.

И тут я услышал звук, которого никогда не забуду. Он мне до сих пор иногда мерещится. Он ворвался в мое сознание как вестник какого-то ужасающего несчастья, и комната наполнилась страхом, как туманом. Это был голос Лиззи. Она вскрикнула где-то на улице, перед домом. Потом вскрикнула еще раз.

Мы с Джеймсом воззрились друг на друга. Он сказал:

— Нет, нет…

Я ринулся вон из комнаты, запутался в занавеске из бус, кое-как скатился с лестницы. Задыхаясь, пересек прихожую и у парадной двери чуть не упал, как будто густое облако усталости и отчаяния поднялось мне навстречу и затуманило мозг. Я услышал шаги Джеймса, бегущего по лестнице

следом за мной.

На шоссе творилось что-то неладное. Первым я увидел Перегрина, он стоял возле машины Гилберта и смотрел куда-то в сторону башни. Потом я увидел Лиззи — опираясь на руку Гилберта, она медленно шла обратно к дому. Там, недалеко от башни, стояла машина, и несколько человек, сбившись в кучку, смотрели вниз, на землю. Я подумал, кто-то попал в аварию.

Перегрин оглянулся, и я крикнул ему:

— Что случилось?

Вместо ответа он быстро подошел ко мне и ухватил было за плечо, чтобы не пустить дальше, но я стряхнул его руку.

Джеймс уже нагнал меня. На нем был мой шелковый халат, тот, что носила Хартли. Он тоже спросил Перри:

— Что случилось?

Я замер. Перри ответил не мне, а Джеймсу:

— Титус.

Джеймс подошел к желтому «фольксвагену» и, прислонившись к нему, пробормотал что-то вроде: «Надо мне было продержаться…» А потом сел на землю.

Перегрин что-то говорил мне, но я уже бежал дальше, мимо Лиззи, она теперь сидела на камне,

а Гилберт стоял около нее на коленях.

Я добежал до кучки людей. Люди были незнакомые и смотрели на Титуса, лежащего на обочине. Но он не попал под машину. Он утонул.

Подробно описывать дальнейшее я не в силах. Титус, несомненно, был уже мертв, хотя я сначала отказывался в это поверить. Он был недвижим, голый, мокрый, но такой на вид невредимый, такой красивый, волосы потемнели от воды, кто-то откинул их у него с лица, глаза почти закрыты. Он лежал на боку, виден был нежный изгиб живота и слипшиеся мокрые волосы на груди. Между разомкнутых губ белели зубы, ясно обозначился шрам на верхней губе. А потом я заметил на виске темное пятно — след от удара.

Я бросился обратно к дому, громко призывая Джеймса. Он по-прежнему сидел на земле возле машины. Он медленно поднялся.

— Джеймс, Джеймс, сюда!

Джеймс вернул меня к жизни. Он может оживить и Титуса.

Вид у Джеймса был совсем больной. Перегрин повел его под руку.

— Скорей, скорей, помоги ему!

Когда Джеймс добрался до поворота, один из незнакомых людей (это были туристы) уже про-

бовал что-то сделать. Он уложил Титуса ничком и без особого толка сдавливал ему плечи.

Перегрин сказал, точно от имени Джеймса:

— Лучше попробовать «поцелуй жизни».

Джеймс опустился на колени, говорить он, видимо, не мог и сделал знак, чтобы Титуса перевернули на спину. Тут все как-то смешалось, несколько человек заговорили разом, потом взревела сирена полицейской машины. Впоследствии выяснилось, что какие-то проезжие сообщили о происшествии в отель «Ворон», а оттуда позвонили в полицию.

Энергичный деловитый полисмен приказал всем расступиться и сам попробовал искусственное дыхание «рот ко рту». Примчалась машина «скорой помощи».

Джеймс отошел в сторону и сел на траву. Другой полисмен стал расспрашивать Перегрина и меня, известно ли нам что-нибудь о Титусе. Отвечал на его вопросы Перегрин.

Оказывается, туристы, купаясь в Вороновой бухте, увидели, как тело Титуса вынесло волнами из-за угла, со стороны башни. Они подплыли к нему и вытащили на берег.

Больше ничего сделать было нельзя. Титуса положили на носилки и вдвинули в санитарную

машину. Полиция отбыла в Ниблетс известить родителей. Присяжные на дознании вынесли вердикт — смерть от несчастного случая. Титус утонул в результате удара в голову. Была принята версия, что волной его швырнуло о скалу. Как именно все произошло, навсегда осталось тайной.

А у меня к тому времени уже не было и тени сомнения, что Титус зверски убит. Тут замешан убийца-маньяк. Рука, которой не удалось сразить меня, сразила Титуса. Но об этом я до поры до времени решил молчать.

Тело Титуса отвезли в больницу за много миль от нас и там предали милосердному огню безымянной кремации.

История 6

Прошло сколько-то времени. Для меня это время утонуло в тумане тоски, горьких сожалений и планов жестокой мести.

Гилберту пришлось вернуться в Лондон для участия в какой-то телепостановке. Лиззи осталась, и я уже привык к ее несчастному, распухшему от слез лицу. И Перегрин остался, но груб стал просто до неприличия; облаченный в теплые брюки, рубашку и подтяжки, он каждый день уходил прочь от моря, в сторону фермы Аморн, и возвращался вспотевший и злой. Он явно страдал, но словно не мог заставить себя сняться с места. Раза два он свозил Лиззи в деревню за покупками. Джеймс тоже остался, но держался особняком. Со мной он был мягок и предупредителен, но к беседам казался не расположен. Мы не расставались (хоть и не разговаривали), словно из желания служить друг другу защитой. Конечно, им не хотелось оставлять меня одного. Каждый, возможно, собирался уехать последним. И все мы словно ждали чего-то.

Стряпала Лиззи. Мы жили на макаронах и сыре.

Невозможно было вернуться к обычным человеческим трапезам, которые люди предвкушают и находят в них удовольствие. Все мы, кроме Джеймса, много пили.

В тот день, который я теперь хочу описать, я проснулся рано утром после невыносимо страшного кошмара. Мне снилось, что Титус утонул. Я испытал облегчение — слава богу, это был сон, — а потом вспомнил…

Я встал и подошел к окну. Было часов шесть, солнце уже светило. Опять стояла прохладная летняя погода с небом в дымке и спокойным морем. Вода, серо-голубая, очень светлая, почти белая, одного цвета с небом, чуть двигалась, словно в легком танце, и подернутое дымкой солнце разбросало по ней маленькие вспышки металлического бледно-голубого света. Какое счастливое море, подумал я и почувствовал, что смотрю на него глазами Титуса.

Я уже опять жил в своей спальне. Остальные трое спали внизу, хоть мне и не нравилось, что они там так близко друг к другу. Я решил, что сегодня велю им всем уехать. Я уже достаточно окреп, и хотя одиночество немного страшило меня, для моих планов оно было необходимо. Я быстро оделся и сошел в кухню. Там брился

Перегрин. Он не обратил на меня внимания, и я прошел мимо него на лужайку. Туда как раз спустился со скал Джеймс. Через минуту я услышал, как в кухне Лиззи разговаривает с Перегрином. Все мы в этот день поднялись спозаранку.

Джеймс сел в каменное кресло возле корытца, в которое я складываю — вернее, складывал — интересные камни. Кто-то, может быть Титус, подобрал с травы камни из Джеймсовой «мандалы», после того как ее разорили в вечер нашего концерта. Мой каменный бордюр почти не пострадал. Я тоже сел на землю. Скалы уже немного нагрелись.

Джеймс только что побрился. Его лицо, покрытое красноватым загаром, казалось очень гладким над черным пунктиром бороды. Он был виден словно бы отчетливее, чем обычно, а может, освещение было лучше. В его мрачноватых карих глазах явственно поблескивали желтые крапинки, тонкие умные губы влажно алели, волосы блестели живым блеском, скрывая плешь. Таинственное сходство с тетей Эстеллой проступило яснее обычного, хотя он не улыбался.

— Джеймс, я хочу, чтобы ты уехал. Чтобы вы все уехали. Завтра. Согласен?

Джеймс нахмурился:

— Только если ты тоже поедешь. Погости у меня в Лондоне.

— Нет, мне нужно быть здесь.

— Зачем?

— Есть дела.

— Какие?

— Да мало ли, надо решать с домом, я его, пожалуй, все-таки продам. И вообще я хочу побыть один. Я совершенно здоров.

Джеймс достал из корытца камень, золотисто-коричневый с двумя голубыми ободками.

— Хорошая у тебя коллекция. Можно, я возьму этот камень себе?

— Разумеется. Так, значит, договорились? Пойду скажу остальным.

— Какие у тебя планы насчет Бена и Хартли?

— Никаких. С этим покончено.

— Не верю я тебе.

Я пожал плечами и хотел встать, но Джеймс удержал меня за рукав рубашки.

— Чарльз, очень прошу, скажи мне, какие у тебя планы. Я знаю, ты что-то задумал.

И правда, что я задумал? Я сам знал, что мое состояние граничит с психозом, и однако же я не был помешан. Некоторые виды одержимости, в том числе влюбленность, парализуют нормаль-

ную работу мозга, его естественный интерес к внешнему миру, который иногда называют рациональным мышлением. Я был достаточно нормален, чтобы сознавать, что одержим одной идеей, что я могу только снова и снова возвращаться все к тем же нестерпимо мучительным мыслям, без отдыха бежать все по тому же кругу фантазии и умыслов. Но я был недостаточно нормален для того, чтобы прервать это механическое движение или хотя бы захотеть его прервать. Я хотел одного: убить Бена.

Я хотел его убить, но это не значит, что у меня уже сложился четкий план или программа с твердыми сроками. Это все уточнится, и уточнится скоро, лишь бы остаться одному. Неизбежный период сплошной бездумной муки кончился, скоро я смогу принимать решения. Бен посягнул на мою жизнь, и теперь, задним числом, меня поражало, как я мог до сих пор так легко относиться к этому преступлению, этому афронту, что даже не счел нужным сразу за него отплатить. Мой недавний, но уже устаревший план повести осаду Хартли, «все время появляясь у них в доме», имел целью спасти ее, а не наказать его. Я собирался припугнуть его только затем, чтобы он ее отпустил. Теперь же ситуация в корне из-

менилась. Я не мог «легко отнестись» к убийству Титуса или оставить его неотмщенным. Оттого, что я не умер, Бен нанес Титусу удар по голове и утопил его. Он подло убил мальчика в отместку мне, а что он мог настолько обезуметь, в это мне легко было поверить, поскольку теперь я сам обезумел не меньше. В основе моего безумия было неизбывное горе об утрате этой бесценной молодой жизни, потрясение, вызванное внезапной гибелью мальчика от руки беззастенчивого злодея. Единственное, что могло утолить мою боль, была ненависть, на смену этой боли я призывал мстительную целенаправленную ярость. Как в междоусобной войне, утешиться можно было, только множа убийства; и, чтобы самому не погибнуть после убийства Титуса, я, как мне теперь казалось, должен был стать террористом.

За последние дни, изображая естественную скорбь под внимательными взглядами Джеймса и Лиззи, я успел отчетливо представить себе, как люто Бен, с его вывертами, ненавидел меня, а из-за меня и Титуса все годы разнесчастного Титусова детства. Связь между мной и Титусом должна была стать для него истинным наваждением. Мальчик, постоянно маячивший у него перед глазами, был для него зримым символом

неверности жены и безнаказанного благоденствия ненавистного соперника, который то и дело глумился над ним с газетных страниц и с экрана телевизора. Бен по натуре человек неистовый, разрушитель, душегуб. Как же он, должно быть, клял и меня, и мое отродье, и какое это было самоистязание! Отыграться на жене и мальчишке — этого мало, пока главный виновник гуляет на свободе и над тобой же смеется. Да, ненависть — сама по себе опасный вид безумия. Сколько раз за эти долгие годы Бену представлялось, как он убивает меня?..

Когда мы наконец встретимся, он сразу поймет, что и во мне накопилось не меньше гнева и злобы. Он не забыл, что я готов был столкнуть его в воду в тот день, когда мы стояли друг против друга на мосту. Он знает, что я хотел убрать его с дороги, и, возможно, уже сообразил, на что я способен, если дойду до крайности. С него станется даже сказать, что он пытался убить меня в порядке самозащиты. А раз я назло ему остался жив, раз я все еще здесь и мозолю ему глаза, да еще опекаю ненавистного приемыша, как родного сына, — не естественно ли, что свою слепую злобу он обрушил на меня через Титуса, чтобы еще больше усладить свою мерзкую душу. Мне

все вспоминалось последнее напутствие Бена, в котором проклятия на голову «щенка» мешались с криками «убью!».

Могу ли я теперь сделать вид, будто всего этого не было? Думать нечего. На поступок надо ответить поступком. Но как? Я был еще достаточно нормален, чтобы попытаться обуздать себя мыслью о Хартли. Я вызывал в памяти ее лицо, спокойное и печальное, прекрасное, каким оно некогда было и, возможно, станет вновь. Придет время, и я обниму ее, и мы наконец утешим друг друга. Чего я не в силах был вообразить, так это того, каким образом убиение Бена может привести меня к Хартли и каким образом оно вообще совершится. Теперь, когда я пришел к выводу, что вправе его убить, мне начинало казаться, что ненависть к нему перевешивает во мне даже любовь к Хартли; во всяком случае, вглядываясь в свою одержимость, я убедился, что уничтожить его мне теперь нужно не только ради нее. Это стало самоцелью.

Что касается осуществления моих намерений, то я успел перебрать в уме множество разных проектов, но все они пока пребывали на стадии смутных фантазий. Вот все уедут, тогда я смогу сосредоточиться и займусь претворением одной

из них в конкретную программу действий. Можно обратиться в полицию. Кто-то пытался меня убить, и все обстоятельства прямо указывают на Бена, а он в ответ на официальное обвинение, скорее всего, признает себя виновным, такая нахальная линия вполне в его характере. В самом деле, это, пожалуй, простейший способ поймать его: расставить большую сеть, и он с разбега в ней запутается. Человек он буйный, но недалекий, юридические тонкости сразу отпугнут его, и он махнет рукой на ложь и увертки. Эта фантазия так меня увлекла, что порой мне уже казалось — успех обеспечен. Но с другой стороны, если Бен вздумает упорно и последовательно отвергать обвинения, доказательств-то у меня, в сущности, нет.

Рассматривал я также различные комбинации хитрости и насилия. Если б заманить его в дом, а потом сбросить в Миннов Котел — это было бы самое справедливое, но он, конечно, поостережется и не придет. Думал я и о других способах утопить его. Каждый представлял свою трудность. Предпочтительнее какой-то прямой акт насилия, однако же не слишком прямой, ведь Бен сильный, опасный человек, и, если он меня серьезно изувечит, пока я стараюсь изувечить

его, я просто с ума сойду от огорчения. Помог бы соучастник, но я поклялся себе, что справлюсь своими силами. Я не забыл слова Хартли о том, что Бен не сдал свой армейский револьвер. Конечно же, он у него начищен и смазан, только вот патронов, возможно, нет. У меня имеется — в Лондоне — великолепный бутафорский пистолет из театрального реквизита. Что, если взять Бена на мушку, заставить оглянуться, а потом ударить молотком? А дальше что? Все рассказать полиции? Заставить Хартли присягнуть, что я действовал в порядке самозащиты? Поскольку Бен в любую минуту может предпринять новое покушение, мои выдуманные поступки и правда все больше смахивают на самозащиту.

Умалишенный в воображаемой клетке часто представляет себе волю, но она не прельщает его. Я сознавал и то, что ненависть мою подогревает смутное ощущение собственной вины, но сейчас не время было в это вдаваться. Бродя, как призрак, по дому и вокруг него, исполняя некий ритуальный танец на глазах у Джеймса, Лиззи и Перри, я думал о Хартли и представлял себе нашу с ней мирную жизнь в том домике, куда мы навсегда укроемся. Но если я совершу то, что так отчаянно хочу совершить, в чем только и нахо-

жу утешение, — если я убью Бена, или изувечу, или сделаю на всю жизнь идиотом, или засажу в тюрьму, смогу ли я тогда вкусить мира с Хартли? Что это будет за мир? Поможет ли мне впоследствии мысль о восстановленной справедливости? Или под всеми этими личинами кроется иное и я стремлюсь к собственной смерти?

Я ответил Джеймсу, высвобождая рукав, за который он меня держал:

— Ничего я не задумал. Просто я отупел от горя.

— Поедем со мной в Лондон.

— Нет.

— Я вижу, что ты строишь планы. У тебя в глазах страшные видения.

— Морские чудища.

— Чарльз, скажи мне.

Эти слова живо напомнили мне, как трудно бывало обмануть Джеймса в бытность нашу мальчишками. Он умел выудить из тебя что угодно, точно задуманная ложь прямо на губах обращалась в правду. Но сейчас я ему ничего не скажу. Разве могу я кого-нибудь посвятить в мои кошмары?

— Джеймс, уезжай. Я приеду попозже, скоро. Приеду и займусь разборкой в квартире. А теперь

перестань меня мучить. Просто я хочу несколько дней побыть спокойно один, вот и все.

— Тебе не дает покоя какая-то страшная мысль.

— Никаких мыслей у меня нет, голова пустая.

— Ты ведь в свое время вообразил, что это якобы Бен столкнул тебя в Котел.

— Да.

— Но теперь ты, конечно, так не думаешь?

— Думаю, но это уже не важно.

Джеймс смотрел на меня, словно что-то прикидывая. Лиззи крикнула из кухни, что завтрак готов. Солнце спокойно и весело светило на освеженную дождем траву, на бордюр из красивых камней и сверкающие желтые скалы. Карикатура на безмятежный пейзаж.

— Нет, важно, — сказал Джеймс. — Я не хочу оставлять тебя здесь с этой бредовой идеей.

— Пошли завтракать.

— Но это, право же, бред, Чарльз.

— Да что ты так волнуешься? У тебя своя точка зрения, у меня своя. Пошли.

— Постой, постой, это не точка зрения, я знаю. Я знаю, что это не Бен.

Я уставился на него:

— Ничего ты не знаешь. Ты что, видел, как это

произошло?

— Нет, но…

— Или кто-нибудь другой видел?

— Нет…

— Так откуда ты можешь знать?

— А вот знаю. Прошу тебя, Чарльз, поверь мне. Неужели ты не можешь мне поверить? Только не спрашивай ничего. Поверь мне на слово, Бен не виноват.

Мы сверлили друг друга взглядом. Проникновенный тон Джеймса, его глаза, его напряженное лицо заронили во мне сомнения. Но поверить ему я не мог. Как он мог узнать такую вещь? Разве только… разве только он сам меня столкнул? Что кроется за этой маской индейца? Всегда и во всем мы были соперниками, причем я — более удачливым. Детская ненависть, как и детская любовь, может длиться всю жизнь. А Джеймс — чудак, странный человек со странным складом ума. Он избрал беспощадную профессию. Мне вспомнилось, как уважительно он отзывался о Бене. Может, он попробовал меня убить просто потому, что догадался, что я понял, что он — тайный агент и должен вернуться в Тибет? Я сжал руками виски.

Однако сказал я другое:

— Послушай, Джеймс, и перестань говорить жалкие слова. Бен мало того что пытался убить меня. Он убил Титуса.

— О господи, — вздохнул Джеймс и отвернулся, словно потерял последнюю надежду, а потом сказал: — Как ты докажешь, что он убил Титуса? Ты это видел?

— Нет, но это ясно как день. Никто не заинтересовался этим ударом по голове. Плавал Титус отлично. А после того как Бен пытался убить меня…

— Да, вот оно, твое доказательство, но я-то знаю, что этого не было.

— Джеймс, не можешь ты это знать! Я понимаю этого человека и силу его ненависти. Тебе было просто интересно встретить однополчанина. Я же вижу в нем человека, обученного убивать и снедаемого, прямо-таки одержимого ревнивой злобой, которая, между прочим, родилась не вчера. А я знаю, что такое ревнивая злоба.

— Вот этого я и боюсь, — сказал Джеймс, — твоей злобы. Ну чем мне поклясться, чтоб ты поверил? Клянусь тебе нашим детством, памятью наших родителей, нашим родством: Бен не виноват. Умоляю тебя, прими это как факт и больше ничего не спрашивай. Забудь об этом. Поедем в

Лондон, подальше отсюда.

— Как я могу это «принять»? Я заметил, ты утверждаешь, что это не Бен, но не то, что я все это выдумал! А ты сам принял бы как факт, что некий неизвестный пытался тебя убить? И ты не можешь знать наверняка, что это был не Бен. Разве что это был ты.

— Нет, не я, — сказал Джеймс, нахмурясь. — Не болтай чепуху.

Даже смешно, какое я почувствовал облегчение. Неужели я успел всерьез вообразить, что мой кузен пылает ко мне кровожадной ненавистью? Я, конечно же, сразу, ему поверил, и, конечно же, я сболтнул чепуху. Но если это не Джеймс и, как он утверждает, не Бен — тогда кто же? Хоть я и не мог поверить Джеймсу, его торжественная клятва произвела на меня впечатление. Гилберт, втайне ревнующий ко мне Лиззи? Розина, скорбящая о своем нерожденном ребенке? Пожалуй, этак у многих найдутся основания убить меня. Фредди Аркрайт? Почему бы и нет? Он меня ненавидит, он сейчас живет на ферме Аморн, куда Бен ходил за собакой. Что, если Бен подговорил Фредди убить меня или хоть покалечить, а кончилось это тем страшным купанием?

Джеймс, уловив ход моих мыслей, безнадежно

махнул рукой.

— Не мастер я отгадывать загадки, — сказал я. — Я думал, что это Бен, и до сих пор так думаю.

— Тогда пойдем, — сказал Джеймс и поднялся.

Мы вошли в кухню. Лиззи стояла у плиты. Волосы она подколола. На ней был очень короткий клетчатый халат поверх очень короткого платья. Она выглядела до смешного молодо, и лицо было как у глупенькой провинившейся школьницы. Перри сидел за столом, локти на столе, ноги вытянуты вперед. Его большое лицо уже лоснилось от пота, глаза мутные. Возможно, он даже был пьян.

Джеймс сказал одно слово:

— Перегрин.

Перегрин сказал, не двигаясь, по-прежнему глядя мутными глазами в пространство:

— Если вы там обсуждали, кто убил Чарльза или не сумел убить Чарльза, так могу сообщить: это я.

— Перри…

— Меня зовут Перегрин.

— Но послушай, Перегрин, почему… нет, это правда?.. Почему?

Лиззи, не выказав удивления, отошла от плиты и села. Она, видимо, уже знала.

— Почему, спрашиваешь? — сказал Перегрин, не глядя на меня. — А ты подумай.

— Ты хочешь сказать… нет, не может этого быть… Из-за Розины?

— Представь себе, да. Ты умышленно разрушил мой брак, сманил у меня жену, которую я обожал, причем проделал это хладнокровно, обдуманно, по плану. А когда она от меня ушла, ты ее бросил. Она даже не была тебе нужна, тебе нужно было только отнять ее у меня, чтобы утолить твою гнусную ревность и жажду обладания! А когда ты этого достиг, когда мой брак разлетелся вдребезги, ты упорхнул еще куда-то. И мало того, ты еще рассчитывал, что я это стерплю и по-прежнему буду тебе другом. А почему? Потому что воображал, что все тебя любят, какие бы пакости ты ни творил, за то, что ты — единственный, замечательный, необыкновенный Чарльз Эрроуби.

— Но, Перегрин, ты же сам говорил мне, и не раз, что рад был избавиться от этой стервы…

— Да, а зачем ты мне верил? И просил бы выражаться поизящнее. Всем, конечно, известно, что ты женщин за людей не считаешь. Но особенно меня бесит, что ты сгубил мою жизнь, мое счастье, а тебе хоть бы хны, этакая наглость, в самом деле!

— Не верю я, что ты был счастлив, это ты сейчас так говоришь.

— А иди ты к дьяволу! Ты отнял ее у меня по злобе, из ревности. Ладно же, я тоже умею ревновать.

— Но ты сам уверял, что это к лучшему. Зачем тебе нужно было притворяться, вводить меня в заблуждение? А теперь вот ругаешь. Будь у тебя тогда более удрученный вид, я бы чувствовал себя более виноватым. А ты держался так славно, так по-дружески, точно всегда был рад меня видеть…

— Я актер. А может, я и был рад тебя видеть. Приятно бывает повидать людей, которых мы ненавидим и презираем, чтобы лишний раз дать им возможность продемонстрировать их омерзительные качества.

— Значит, все эти годы ты ждал случая отыграться.

— Нет, не так. Мне нравилось подзуживать тебя, глядеть на тебя и думать, как бы ты удивился, если б узнал мои мысли. Все эти годы ты был для меня скверным сном, был при мне неотлучно, как демон, как раковая опухоль.

— О господи, мне так жаль…

— Меньше всего мне сейчас нужны твои оправ-

дания…

— Допустим, я перед тобой виноват, но все же не заслужил смертной казни.

— Правильно, согласен, это я сгоряча, да к тому же был пьян. Я тебя толкнул и пошел дальше. Я, в сущности, и не знал, что там случилось. Мне было наплевать.

— А еще говоришь, что ты против насилия, что ты никогда…

— Ладно, считай, что твой случай особый. Терпение мое лопнуло, когда я вдруг увидел эту чертовку Розину, как она сидела на утесе этакой черной колдуньей. Я решил, что вы с ней до сих пор любовники, так оно, видимо, и есть…

— Ничего подобного.

— А мне плевать…

— Я еще думал, почему ты перестал о ней говорить. Ты, значит, обдумывал, как убить меня.

— Плевать, мне до тебя дела нет, ни одному твоему слову я не верю, ничего хорошего в тебе не вижу. Просто я не стерпел, когда увидел ее там и ветровое стекло разбилось. Я не стерпел, меня как оглушило, я света невзвидел, точно меня продырявили, и вся застарелая ненависть, вся зеленоглазая ревность вышла наружу. Руки чесались как-нибудь тебе навредить. Я хотел

просто столкнуть тебя в море. Наверно, здорово был пьян. Я не выбирал это место, даже в голову не пришло, что это тот самый водоворот, или как вы его там называете…

— Значит, тебе повезло. Ведь я вполне мог погибнуть.

— А мне плевать, — сказал Перегрин. — Туда тебе и дорога. Было время, я хотел вызвать тебя на дуэль, да спохватился — вдруг не я тебя, а ты меня убьешь, пьешь-то ты меньше, чем я. Ну да ладно, теперь моя честь, можно сказать, отомщена, и не надо мне больше уговаривать тебя выпить, и даже охота пропала говорить тебе, какая ты сволочь. Ты — бывший миф. А ведь до сих пор мнишь себя Чингисханом! *Laissez-moi rire*. Не понимаю, как ты столько лет что-то для меня значил. Тут, наверно, твой авторитет примешался и бесконечные триумфы, когда ты «расширялся подобно многоветвистому дереву». А теперь ты старый, дряхлый, ты увянешь, как Просперо, когда он вернулся в Милан, станешь беспомощным, жалким, и добрые женщины вроде Лиззи будут навещать тебя и подбадривать. Не до бесконечности, правда. Ты-то никогда ничего не делал для людей, все только для себя. Если бы ты не приглянулся Клемент, никто о тебе и не услышал бы, работа

твоя яйца выеденного не стоила, сплошные трюки, теперь-то это всем ясно, позолота тускнеет быстро, и скоро ты останешься один, даже чудовищем ни для кого уже не будешь, и все вздохнут с облегчением, пожалеют тебя и забудут.

Наступило короткое молчание, потом я сказал:

— Но если это так тебя радует, зачем было признаваться? Молчал бы… или ты хотел, чтобы я узнал?

— Плевать мне, что ты знаешь, чего не знаешь. Это твой кузен из меня вытянул, ему бы следователем быть. Сказал, что ты подозреваешь Бена и только зря себя взвинчиваешь.

— Тебя послушать, ты меня всегда ненавидел, а это неправда. Не такой уж ты хороший актер. Ты мне рассказал про твоего дядю Перегрина.

— Нет у меня никакого дяди Перегрина.

Я совсем запутался.

— А как же Титус?

— Ты о чем? — спросил Джеймс.

— Что случилось с Титусом? Ведь я… я думал… его-то уж наверно убил Бен?

Ответила Лиззи:

— Чарльз, никто его не убивал. Это был несчастный случай.

Перегрин встал.

— Ну ладно. Кажется, разобрались, и генерал, надеюсь, доволен. Я еду в Лондон. Всего доброго, Лиззи, приятно было повидаться.

Он решительно вышел из кухни, и я услышал, что он складывает чемодан. Потом стало слышно, как «альфа-ромео», взревев, дал задний ход на дамбу, а потом его рев постепенно замер вдали.

Джеймс между тем встал и смотрел в окно. Лиззи, беззвучно плача, наливала под краном чайник. Она поставила его на плиту и зажгла газ.

Я сказал Джеймсу:

— Ты говорил, что не хочешь оставлять меня здесь с моей бредовой идеей. Ну вот, бред кончился, так что ничего больше тебя здесь не держит.

Джеймс обернулся.

— А какие у тебя планы насчет них?

— Никаких. С этим покончено. Покончено.

Но я, разумеется, солгал ему.

Тот день и следующие прошли как в болезненном трансе, словно бы под знаком покорности судьбе и тихой безнадежной скорби, а на самом деле полные страха и желчи. Я не чаял, когда уедет Джеймс, весь его вид, его общество, его назойливое невидимое присутствие раздражали меня до исступления. И Лиззи меня раздражала

— слезами, которых не умела сдержать, глупым умоляющим сострадательным выражением, которое нацепляла, когда я на нее смотрел, и в котором я вдруг улавливал свой портрет, нарисованный Перегрином, — дряхлый, беспомощный экс-волшебник, предмет всеобщей жалости.

Я понимал, почему Ливзи не хочет уезжать. Она дожидается того момента, когда я выбьюсь из сил и обращусь к ней за помощью, а она схватит меня и больше не выпустит. Почему медлит Джеймс, было не так ясно. Он, безусловно, поверил мне, когда я сказал, что уже не считаю Бена убийцей. Может быть, он подозревает, что я не отказался от мысли спасти Хартли, но не может же он следить за мной до бесконечности. Что я не собираюсь уехать в Лондон в его «бентли» — это тоже ясно. Прояви он немного такта — а такта ему обычно хватало, — он бы теперь оставил меня вдвоем с Ливзи. Ему как будто и говорить со мной расхотелось. Словно он преследует какую-то свою цель. Я догадывался, что он упорно думает о Титусе и казнит себя, как и я себя казню, за то, что уделял ему мало внимания. Я теперь держался подальше от скал и от моря, а Джеймса неудержимо туда тянуло, он заглядывал на мой утес, подолгу стоял на Минновом мосту, поднимался к башне, словно

измеряя интересующие его расстояния.

Несколько раз мы с Лиззи ходили гулять далеко за шоссе, мимо того места, где я в предшествующем существовании собирался разбить огородик, в те края, которые я так и не обследовал. За шоссе сначала тянулось болото с выходами камня, кустами утесника и черными «окнами». Кое-где рос вереск, и было множество мелких желтых цветов-мухоловок и пунцовые с белым цветы, похожие на миниатюрные орхидеи. В синем воздухе обитали две пары ястребов. За болотом начинались поля и луга, овцы паслись по склонам, далекие полосы горчицы ловили солнце на свою яркую желтизну. Часто попадались остовы каменных домиков без крыш — приют кипрея, дикой буддлеи и бабочек, а однажды мы набрели на развалины большого дома, оплетенного ползучими розами, в кольце некогда подстриженных изгородей, разросшихся в целый лес. Я отмечаю эти подробности, которые отчетливо помню, потому что они — воплощение печали, зримый образ того, что могло бы дарить радость, но не дарило.

Я видел мир сквозь черное покрывало тоски, раскаяния, сомнений, страха; и мне казалось, что вместо сердца я ношу в себе маленький свинцо-

вый гроб. Лиззи вдоволь наплакалась о Титусе и до сих пор часто плакала, но теперь больше тайком, про себя, по-женски экономя свое горе, во время наших прогулок я уже чувствовал, как ее щупальца тянутся ко мне. Лиззи не пропадет, выкарабкается. Если б я сегодня умер, она скоро уже плакала бы еще в чьих-нибудь объятиях. Это сказано зло; но я в то время и был озлоблен против Лиззи, зная, как недолговечны ее муки и как быстро, если я обращусь к ней за сочувствием, они превратятся в торжество обладания. Лиззи — одна из тех милых добрых женщин, которые привлекают мужчин своим пониманием и мягкостью, но наделены прямо-таки несокрушимым чувством самосохранения. Ну что ж, пусть так. На прогулках мы почти не разговаривали, и я замечал, как Лиззи поглядывает на меня, и читал ее мысли: «Как ему хорошо гулять со мной вот так, молча. Мое присутствие, мое молчание — это для него лучшее лекарство. С кем еще он мог бы так спокойно ходить и ходить?» (Тут она, вероятно, была права.) Конечно, злобу мою подогревало и чувство вины. Не дававшую мне покоя мысль, что я повинен в смерти Титуса, можно объяснить так: я никогда не пугал его морем. А почему? Из тщеславия. Отлично помню тот первый день,

когда мы с Титусом ныряли с утеса. Мне хотелось показать ему, что я тоже силен и бесстрашен. Эта минута потеряла бы всю свою прелесть, если б я сказал: «Место опасное», или: «Обратно выбираться нелегко», или: «Я, пожалуй, не буду здесь купаться». Мне нужно было нырнуть вместе с ним и утаить от него так хорошо мне известные трудности. Я даже не упомянул, что в других местах выбраться из воды еще труднее. Не предложил воспользоваться ступенями у башни: впрочем, я и новую веревку там не приспособил, а без веревки в большую волну ступени чуть ли не еще опаснее, чем мой утес. Я пускал Титуса купаться в любую погоду. А все из тщеславия и потому, что как дурак гордился его молодостью, его отвагой, ловкостью, которую он проявил в тот первый день, когда лазил на башню. А ему, разумеется, хотелось нырять. Кто в юности будет осторожно входить в море, когда есть возможность нырнуть? Я не хотел, чтобы мелочная опека уронила Титуса в моих глазах или меня в глазах Титуса.

Все это я твердил себе снова и снова, когда думал о том, что я мог бы сделать и что должен был сделать; как и Джеймс, вероятно, думает, когда бродит один по скалам, которых я теперь просто

видеть не могу. И моя тоска по Титусу — жгучее, безысходное чувство утраты того, что могло бы стать для меня величайшим благом, — еще обострилась теперь, когда моя навязчивая идея насчет Бена оказалась у меня отнята. Ведь ею я как-никак утешался, я мог переложить на него свою вину. Это безумие прошло, но не сменилось более чистой, более нормальной печалью. Груз греха и отчаяния остался, он только еще тяжелее придавил меня. Мне открылись новые грани горя. Я убил сына Хартли. Я, как вор, вломился в ее жизнь и украл то единственное, что было для нее куда большим благом, чем могло бы стать для меня. Я не решался представить себе ее страдания и как они могут отразиться на ее отношении ко мне. Неужели она теперь будет считать меня убийцей? Иногда мне почему-то казалось, что ей просто не придет в голову меня осудить, что она неспособна воспринять меня отвлеченно, как ходячее зло. А иногда казалось, что скорбь по Титусу, в которой нет места для Бена, может даже нас сблизить. Пока мне оставалось только ждать. Мне даже верилось, что теперь-то она подаст мне знак. И в этом я не ошибся.

Вот так, выжидая, наблюдая, горюя, мы с Лиззи совершали наши прогулки. И понемногу стали

говорить о прошлом, об Уилфриде и Клемент, и Лиззи рассказала, как ревновала меня к Клемент даже после того, как я ушел от нее. «Я всегда чувствовала, что ты — собственность Клемент». Говорили о театре, и какое это чудо, и какой ужас, и как Лиззи рада, что разделалась с ним. Лиззи спросила у меня про Жанну, и я кое-что рассказал ей, а потом пожалел, потому что увидел, как больно ей было это услышать. На этих прогулках Лиззи, потная, запыхавшаяся, в мятых выгоревших платьях, с лицом, красным от загара и частых слез, не казалась моложе своих лет. Она из тех женщин, чья внешность подвержена разительным переменам. В ее лице и теперь еще бывало что-то детское, таинственная смесь старого и юного. Но она утратила былое сияние — или это мне заволокло глаза. Она была преданная, милая и так старалась меня утешить, все говорила о второстепенном, избегая главного. «Конечно же, Перри не питал к тебе ненависти, никогда этого не было, это он просто так сказал. Он любил тебя, преклонялся перед тобой, всегда говорил о тебе с таким восхищением».

Как-то раз на обратном пути мы неожиданно вышли к ферме Аморн, которую я обычно обходил стороной. Мы быстро миновали жилой дом

под дружное тявканье целой семейки колли, и я уже перевел дух, как вдруг из-за угла, из прохода между службами появился Боб Аркрайт, хозяин «Черного льва». Он приблизился к нам с видом собаки, которая не лает, но вот-вот зарычит и укусит.

— Скверное вышло дело, мистер Эрроуби, хуже некуда.

— Да.

— Говорил я вам, какое у нас море.

— Да.

— Не мог выбраться на берег, вот в чем беда-то.

— Возможно.

— Я его видел как раз за день до того. Был возле башни и видел, как он все пробовал влезть на ту скалу, что возле вашего дома, и все срывался. Это надо быть совсем без головы, чтобы купаться, когда такие волны. В конце-то концов он вылез, но это уж из последних сил. Долез до верхушки и свалился мешком. А в этот раз, видать, совсем вымотался, волны и шваркни его о скалу. Да, вот так, наверно, и было. Зря вы разрешали ему там купаться. С нашим морем шутки плохи, я же вам говорил. Говорил или нет?

— Да, нельзя было это допустить.

Я двинулся дальше.

Он крикнул мне вслед:

— Мой брат Фредди вас знает. Он вас знает.

Я не обернулся. Всю дорогу до дому мы с Лиззи молчали. Я решил, что велю Джеймсу уехать завтра, а Лиззи отправлю на следующий день. Спровадить их вместе я не мог, потому что не хотел, чтобы Джеймс вез ее в Лондон в своей машине. Я чувствовал, что больше она мне не нужна, а без Джеймса и подавно мог обойтись, и невтерпеж стало при свидетелях переживать то, что я все острее ощущал как мой позор и падение.

Я вошел в дом с твердым намерением разыскать Джеймса и сказать ему, чтоб уезжал завтра утром, и вдруг услышал какой-то диковинный, ритмичный, сверлящий звук. Не сразу я сообразил, что это телефон, — я успел начисто забыть о нем. Это он звонил в первый раз, и я тотчас решил, что звонит Хартли. Потом я, конечно, не мог вспомнить, где он стоит. Наконец я обнаружил его в книжной комнате и с замирающим сердцем подскочил к нему.

Голос был Розины.

— Чарльз, это я.

— Привет.

— Я хотела сказать, до чего жаль мальчика.

— Да.

— Ужасно жаль. Ну да что тут скажешь. Но послушай, Чарльз, я хочу у тебя что-то спросить.

— Что?

— Это правда, что Перегрин пытался убить тебя?

— Он столкнул меня в море. Он не хотел меня убивать.

— Но он столкнул тебя в эту страшную яму, в самый водоворот?

— Да.

— Ну и ну.

— Ты откуда звонишь?

— Из «Ворона». Могу сообщить тебе новость.

— Какую?

— Ты слышал про этот суперфильм «Одиссея», который собирается снимать Фрицци Айтель?

— Да.

— Ну так вот, он предложил мне роль Калипсо.

— Как раз для тебя.

— Замечательно, правда? Я давно так не радовалась.

— Желаю удачи. А меня, Розина, оставь, пожалуйста, в покое.

— Оставляю тебя в покое.

И дала отбой.

Выйдя из книжной комнаты, я услышал в кухне голоса Лиззи и Джеймса. Дверь была закрыта, но что-то в тоне их разговора насторожило меня. Чуть помедлив, я распахнул дверь. Джеймс увидел меня через голову Лиззи и сказал:

— Чарльз.

Вещий страх пронзил меня. Сердце заколотилось, во рту пересохло.

— Да?

Они вышли в прихожую. Лицо у Лиззи было красное, вид испуганный.

— Чарльз, мы с Лиззи хотим тебе что-то сказать.

Как же молниеносно в человеческом мозгу возникают видения катастрофы! За две секунды я прожил долгую пору душевных мук. Я сказал:

— Знаю я, что вы хотите мне сказать.

— Нет, не знаешь, — сказал Джеймс.

— Ты хочешь сказать, что вы очень привязались друг к другу и считаете своим долгом сообщить мне об этом. Отлично, принято к сведению.

— Нет, — сказал Джеймс, — Лиззи привязана не ко мне, а к тебе. В том-то все и дело, потому я и должен рассказать что-то, что должен был рассказать уже давно.

— Что же?

— Мы с Лиззи давно знакомы, но решили не говорить тебе, потому что это наверняка вызвало бы у тебя совершенно беспочвенную ревность. Вот, в сущности, и все.

Я воззрился на Джеймса. Таким я, кажется, еще никогда его не видел. Вид у него был не то чтобы виноватый, но смущенный и растерянный. Я отвернулся и настежь распахнул парадную дверь.

— Вот видите… — начала Лиззи, чуть не плача.

— Не перебивайте, — сказал Джеймс.

— Мне кажется, добавить тут нечего, — сказал я.

— Ты торопишься с выводами, — сказал Джеймс.

— А что еще прикажешь мне делать?

— Выслушать правду. Я познакомился с Лиззи очень давно, на вечеринке, которую ты устроил по случаю какой-то премьеры. Я тогда оказался в Лондоне, ну и пришел.

— Представь себе, я даже как будто припоминаю этот случай.

— Лиззи запомнила меня просто потому, что я твой родственник. Потом, гораздо позже, когда ты уже ушел от нее и она была очень несчастна, она мне позвонила и спросила, не знаю ли я твой адрес в Японии — ты тогда работал в Токио.

— Я хотела тебе написать, — сказала Лиззи сдавленным голосом. — Это была моя инициатива, я натолкнула его на это.

— Но вы стали встречаться, — сказал я, — вы не только разговаривали по телефону.

— Да, мы встречались, но очень, очень редко, не больше шести раз за все эти годы.

— И ты думаешь, я этому поверю?

— Ему было жалко меня, — сказала Лиззи.

— А как же! Значит, вы встречались, чтобы поговорить обо мне.

— Да, но только, если можно так выразиться, на деловой почве.

— Смотри, какие деловые люди!

— Я в том смысле, что Лиззи интересовало, где ты находишься, как твое здоровье. Ни в каком другом смысле мы тебя не обсуждали. Знакомство наше было поверхностное и отнюдь не в личном и не в эмоциональном плане.

— Не может этого быть.

— Речь шла о тебе, а не обо мне и Лиззи. И, повторяю, мы почти не видались и вообще никакого общения не поддерживали.

— Он просил, чтоб я к нему не приставала, — сказала Лиззи, — а мне иногда так хотелось что-нибудь про тебя узнать.

— Джеймс всегда знал про меня меньше, чем кто бы то ни было.

— Безусловно, — сказал Джеймс, — нам давно следовало тебе сказать, что мы немного знакомы. Но ты мог истолковать это знакомство по-своему. Не обижайся, но я ведь знаю, какой у тебя болезненно ревнивый характер.

— Ты очень недвусмысленно дал мне понять, что я уже расстался с Лиззи к тому времени, когда ваше знакомство созрело…

— А оно и не созрело. Но la jalousie naot avec l'amour…

— Это-то верно.

— Что это значит? — спросила Лиззи, все такая же красная, испуганная, несчастная.

— Ревность рождается вместе с любовью, но не всегда умирает вместе с любовью.

— Но зачем было говорить мне теперь? — спросил я Джеймса. — Могли бы дурачить меня и дальше.

— Я должен был сказать тебе раньше, — повторил Джеймс. — Это вообще не должно было случиться. Всякая ложь таит в себе моральную опасность.

— В том смысле, что рано или поздно попадешься!

— Это было преградой и… — он поискал нужное слово, — и… изъяном.

— В твоем представлении о себе.

— Нет, в нашей… — он опять запнулся, — в нашей дружбе и… да, и во мне самом.

— Дружбе! Не знаю, что нас с тобой связывает, но только не дружба.

— И раньше мне казалось, что я должен оберегать Лиззи.

— Ну еще бы!

— Но теперь… в последнее время сказать тебе стало необходимо, ради Лиззи, чтобы устранить всякие помехи.

— Какие еще помехи, черт побери?

— В ее любви к тебе, в твоей любви к ней. Секреты — это почти всегда ошибка и источник порчи.

— И еще из-за Тоби, — брякнула Лиззи.

— О господи, а Тоби при чем? Это ты про Тоби Элсмира? — спросил я Лиззи.

— Он видел нас с Лиззи в баре, — сказал Джеймс.

Это он выдавил из себя с трудом.

— И вы, конечно, говорили обо мне?

— Да.

— И вы побоялись, что он мне расскажет, и

потому решили лучше рассказать сами! А то бы так и продолжали лгать.

— Мы бы все равно тебе рассказали, — сказала Лиззи. — Мы больше не могли молчать, это стало каким-то кошмаром, для меня, во всяком случае. Сначала казалось, что это такой пустяк и говорить-то не о чем, тем более зная твой характер. И пойми, мы и виделись-то через год по пять минут. И еще я звонила ему, очень, очень редко, узнать про тебя. Как правило, я его вообще не заставала…

— Какая жалость. Оба вы за мной шпионили. С этого, во всяком случае, началось.

— Все было не так, — сказал Джеймс, — но что поделаешь, раз уж начал лгать, так получай по заслугам.

— А когда вы встретились здесь, то сделали вид, что незнакомы. Эту сцену я не скоро забуду!

— Мы не сказали, потому что знали: ты нарочно не захочешь понять, — сказала Лиззи, — и вот пожалуйста, ты нарочно не хочешь понять.

— Значит, вы оба считаете, что виноват во всем я, раз я, как вы выражаетесь, так болезненно ревнив.

— Виноват я, — сказал Джеймс.

— Нет-нет, это я виновата, — сказала Лиззи. — Я

заставила его. Я знала, как ему это претит.

— Пожалуй, я все же знаю Джеймса лучше, чем ты, — сказал я Лиззи. — Никто никогда еще не мог заставить его сделать то, что ему претило.

— Он не виноват…

— Этот спор меня не интересует. Можете продолжить его где-нибудь не здесь, уверен, что это вам обоим доставит большое удовольствие.

— Я же вам говорила, — сказала Лиззи Джеймсу. — Я говорила, что он не поймет…

— Ну ладно, — сказал Джеймс. — Дело сделано. Поступили мы непохвально, но ты, надеюсь, согласен или согласишься, когда поостынешь…

— Как это я поостыну?

— …что в мировом масштабе все это не так уж важно. Понятно, что ты вспылил. Но, подумав, ты поймешь, что это никак не отражается на твоих отношениях с Лиззи да и, надеюсь, на твоих отношениях со мной. Как это случилось и почему — яснее ясного, что это не должно было случиться, — я признаю и очень сожалею…

— И ты думаешь, я тебе верю?

— Да, — сказал Джеймс строго. Однако на лице его было написано горестное недоумение — как он мог уронить свое достоинство, очутиться в столь несвойственном ему положении обороня-

ющегося.

— А я вот не верю. С чего бы? Ты поступил гадко, отвратительно. Ты сам признал, что сказал мне только потому, что Тоби застукал вас с Лиззи в баре. По-твоему, мне должно быть приятно, что вы годами встречались…

— Лишь очень, очень редко…

— …и говорили обо мне?

— Ты не понимаешь, как это было, — сказала Лиззи со слезами на глазах. — Тут не было ничего постоянного, не было никаких «отношений», просто мы случайно познакомились на той вечеринке…

— Отсюда мораль — не устраивай вечеринок.

— И раззнакомиться уже было нельзя, и я иногда справлялась у Джеймса, где ты и как ты, потому что я тебя любила и это было моей единственной связью с тобой все время, пока ты был с Жанной и когда ты был в Японии и в Австралии тоже, и я о тебе думала, и ни с кем, кроме Джеймса, я не могла…

— Ни с кем, кроме Джеймса, заместитель, полагаю, был не плох. Неужели вам не ясно, до чего больно это слушать?

— Она права, — сказал Джеймс, — тут совсем не то, что ты думаешь. Однако…

— Так и вижу, как вы сидите рука в руке и говорите обо мне.

— Никогда мы не сидели рука в руке! — сказала Лиззи.

— Проклятье! А мне не все равно, сидели или не сидели? Или чем там еще занимались, в чем никогда не признаетесь. Вы беседовали по телефону, и встречались, и смотрели друг другу в глаза, скорее всего, вы всегда были знакомы, ты, скорее всего, познакомился с Лиззи раньше, чем я, ты был первым, ты обскакал меня, как было и с тетей Эстеллой, и… и с Титусом, недаром он сказал, что видел тебя во сне. Ты, наверно, и был тот человек, с которым он прожил те два года, понятно, что он не захотел в этом признаться! И ты заставил Лиззи спеть ту любимую песню тети Эстеллы. Лиззи небось каждую ночь видит тебя во сне, ты всюду лезешь, ты все мне портишь, ты бы и Хартли мне испортил, если б мог. Но до нее тебе не достать, она-то моя, и только моя!

— Чарльз!

— Ты всюду поспевал раньше меня и всюду будешь после меня, когда я умру, а вы с Лиззи будете сидеть в баре и обсуждать меня, и уже не важно будет, кто вас может увидеть.

— Чарльз, Чарльз…

— Я в тебе разочаровался, — сказал я Джеймсу. — Никогда я не думал, что ты способен на подлое предательство, никогда не думал, что ты можешь впутаться в такую грязную историю. Это самая заурядная, неумная хитрость, и я, как дурак, воображал, что ты ею не страдаешь. Ты вел себя как все заурядные люди, неспособные представить себе последствия своих поступков. И одно из последствий — что я тебе не верю, не могу верить. Между вами могло быть что угодно. Ничтожные, заурядные люди воображают, что достаточно покаяться в десятой доле истины, чтобы целиком себя обелить. Все твои слова обернулись ложью, ты сам их выхолостил, ты одним махом испортил все прошлое, теперь уже ни на кого и ни на что нельзя положиться.

— Пожалуй, было ошибкой заговорить об этом сейчас, — сказал Джеймс. В его тоне сквозь явное огорчение уже пробивалась досада. — Конечно, ты в любое время усмотрел бы в этом обиду, это-то мы знали. Я надеюсь и верю, что со временем ты расценишь то, что мы утаили, как совершеннейший пустяк, хотя самый факт утаивания пустяком не был. Я понимаю, что ты счел его оскорбительным для твоего достоинства…

– *Моего* достоинства?

— Ну да, и я об этом от души сожалею. Но с поправкой на то, что это была ошибка, едва ли ты захотел бы, чтобы недоразумение продолжалось. Говорить эту самую правду нелегкое дело, мы пошли на это ради тебя. Лиззи чувствовала, что, если не покается в этой лжи, она не может быть для тебя тем, чем хочет быть. Она не хотела, чтобы вас, особенно сейчас, разделял барьер неправды.

— Почему же это «особенно сейчас»?

— Не надо, — начала Лиззи, — не надо…

— Не беспокойся, я не волнуюсь, я даже не сержусь. Так не сердятся. — Я и правда ни разу не повысил голоса.

— Тогда, значит, все в порядке, — сказала она. — Ведь верно, все в полном порядке?

— Возможно, твои выхолощенные слова даже соответствуют истине, если они вообще что-нибудь значат.

— Ну, тогда все в порядке, Чарльз, милый…

— Если не считать, что все кончилось.

— Что именно кончилось? — спросил Джеймс.

— Я хочу, чтобы вы оба сейчас же уехали. Чтобы ты увез Лиззи в Лондон.

— Я-то собирался уехать, а Лиззи оставить здесь, — сказал Джеймс. — Теперь, когда ты все знаешь, я, мне кажется, имею на это право. Для

этого я тебе и рассказал. Этого я и дожидался.

— Ты думал, я тебя отругаю, а ей все спущу, потому что она мне нужна? Шалишь, не настолько она мне нужна.

— Чарльз, не казни ты себя, — сказал Джеймс. — Почему тебя вечно тянет разрушать все, что тебя окружает и может служить тебе поддержкой?

— Уезжайте, прошу вас. Уезжайте вместе.

Я вдруг схватил руку Лиззи, и на миг ее рука стиснула мою, но тут же обмякла. Я и Джеймса схватил за руку и насильно соединил их руки. Они затрепыхались у меня в ладонях, как пойманные зверьки.

Джеймс вырвался и ушел в книжную комнату. Я услышал, что он швыряет свои вещи в чемодан.

Я сказал Лиззи:

— Ступай укладываться, — и она метнулась было ко мне, а потом, всхлипнув, отвернулась.

Я вышел и по дамбе дошел до машины Джеймса. Она стояла на неярком предвечернем солнце, большая, черная, немного запылившаяся, но готовая к услугам. Я отворил дверцу. Внутри все дышало покоем и роскошью, как в пышном особняке или богатом безлюдном храме. Поблескивало полированное дерево, от коричневой кожи шел свежий благородный запах. Рукоятка

скоростей уютно устроилась в мягком гофрированном чехле. Коврик был толстый, без единого пятнышка. Интимная тишина машины вещала, что она — для избранных. И в это святилище я сейчас втисну Джеймса и Лиззи и ушлю их прочь навсегда, точь-в-точь как если б запаял их в гроб и утопил в море.

Повернув обратно к дому, я по привычке заглянул в каменную конуру, где Гилберт так заботливо пристроил корзинку, чтобы почта не подмокала от дождевой воды. В корзинке лежало письмо. Я достал его. Оно было от Хартли. Я сунул его в карман.

Первой из дома вышла Лиззи. Она несла свою сумку и плакала. Хотела мне что-то сказать, но я распахнул дверцу, подсадил ее и закрыл за ней дверцу с негромким прощальным стуком.

Потом вышел Джеймс, он нес оба чемодана, свой и Лиззи, и на дамбе остановился, ожидая, что я к нему подойду. Но я вместо этого обошел машину, отворил другую дверцу и встал возле нее. Джеймс поставил чемоданы в багажник и тоже подошел к дверце.

Я сказал:

— Не желаю вас больше видеть. Вы испортили друг друга в моих глазах так основательно, что я

готов усмотреть в этом злой умысел.

— Напрасно. Хватит тебе дурить. То, что произошло, случайность и вполне простительно. Хватит изводить себя ревностью.

— Я не шучу. Я не желаю больше тебя видеть, Джеймс, и тебя тоже, Лиззи, никогда, до скончания века. Ваши письма я буду рвать не читая, на порог вас не пущу, на улице не буду узнавать. Может, это чрезмерная резкость, но скоро вы убедитесь, что тут есть некая автоматическая справедливость. Это ты, Джеймс, толковал об автоматической справедливости, так вот тебе пример. Общими силами вы создали некий механизм, теперь можете увидеть его в действии. Если вы огорчены, ничего, скоро сумеете утешить друг друга. Я хочу, чтобы вы были вместе. Я и думать о вас так буду. И не нужно вам, оказывается, ждать моей смерти, можете хоть сейчас сидеть рука в руке, хоть всю дорогу до Лондона, благо Джеймс первоклассный водитель. Прощайте.

— Чарльз… — сказал Джеймс.

Я свернул по дамбе к дому. Слышал, как тихонько захлопнулась дверца и замурлыкал мотор. «Бентли» удалялся, звук сперва нарастал, потом стал стихать за поворотом. Потом стало совсем тихо. Я вошел в пустой дом, нащупывая в кармане

письмо от Хартли.

Вскрыл я письмо не сразу. Я чувствовал, что его присутствие у меня в кармане само по себе утешение. Во всяком случае, на ближайшее время оно оградит меня от страха. Пусть останется, хотя бы ненадолго, просто вещью, талисманом, волшебным камнем, священным перстнем, драгоценной реликвией, чем-то охранительным, нежным и чистым. Ибо теперь у меня ничего не осталось на свете незапятнанного, кроме Хартли. Да, Джеймс всегда и все мне портил. Он и тетю Эстеллу испортил. Кажется, я сказал ему что-то про тетю Эстеллу? Я уже не мог толком вспомнить, что наговорил ему. В голове все смешалось. Пальцы сжимали драгоценное письмо. Пора, пора было искать спасения, и притом немедля.

И однако, уже чувствуя, как целительный покой, исходящий от Хартли, бальзамом вливается в меня, я каким-то другим участком мозга сознавал, что очень скоро начну сожалеть и раскаиваться, что услал Джеймса в Лондон вместе с Лиззи. Как я мог совершить такое безрассудство? Это был непроизвольный акт разрушения, того саморазрушения, в котором обвинил меня Джеймс. Я мог бы выгнать Джеймса, придержать Лиззи, а потом выгнать и ее. Всего-то дела на

полчаса. Незачем было бросать их в объятия друг другу. Но я хотел еще усилить весь ужас происшедшего, чтобы не осталось лазейки для отступления; так же вот Хартли защищалась мыслью, что я ее ненавижу. Я спровадил их вместе, чтобы уж наверняка никогда не сменить гнев на милость. И в виде дополнительной страховки еще заставил Джеймса уронить свое достоинство, а этого он никогда не простит. В моих глазах Лиззи и Джеймс умертвили друг друга, словно договорившись о совместном самоубийстве. На мгновение я даже представил себе, как Джеймс приставляет револьвер к виску Лиззи, а потом к своему. Какая демоническая причуда судьбы именно этих двух людей свела вместе? Что бы ни было между ними в прошлом, а этого я никогда не узнаю, Лиззи склонится головой на плечо Джеймсу еще задолго до того, как они доедут до Лондона. В какую ловушку я попал! Но нет, я поступил разумно. Помочь здесь может только смерть. Для меня они оба умерли.

В доме стояла непривычная, зловещая тишина. Я вспомнил, как давно не оставался здесь один. Сколько у меня перебывало гостей — Гилберт, Лиззи, Перри, Джеймс, Титус. Пластиковая сумка с его сокровищами — галстуком и запонками и

любовной лирикой Данте — по-прежнему лежала в углу книжной комнаты, как брошенная собачонка. Мне вспомнились слова Боба Аркрайта. Титус не желал смириться перед утесом. Снова и снова он пробовал за него зацепиться, и каждый раз могучие волны невозмутимо стаскивали его обратно. А когда он выбился из сил, еще одна волна, посильнее других, швырнула его о скалу. Я пошел в кухню и налил себе виски из запасов Перри. В открытую дверь дул ветер с моря, на верхней площадке постукивала занавеска из бус. Я стал пить виски. Теперь все на свете зависит от письма Хартли. Я подсел к столу. Взглянул на часы. Около шести. Джеймс и Лиззи остановятся где-нибудь пообедать. Джеймс наверняка знает, где есть хороший ресторан. Они свернут с шоссе в сторону. Усядутся в баре, изучат меню. Они уже успокоились, им теперь дышится легче. Не нужно больше скрываться. Пусть кто угодно видит, как они держатся за руки. О господи, что мне стоило сказать Титусу: «Не купайся здесь, это опасно. При сильной зыби тут не выбраться на берег. Никогда не купайся в сильное волнение, мой мальчик. С нашим морем шутки плохи». Но время отказывалось поворачивать вспять, как бывает во сне, когда еще можно что-то попра-

вить. Титус посещал мои сны во всем сиянии своей юности, отныне уже вечной. А не то мне снилось, что он умер, и, проснувшись, я успевал обрадоваться. Я достал письмо Хартли, прижал его ко лбу и помолился ей, чтобы спасла меня от бездонного отчаяния.

Я посмотрел на конверт, и мне пришло в голову, что я не получал писем от Хартли сорок с лишним лет. А почерк узнал сразу. Он почти не изменился, стал чуть помельче и не такой аккуратный. Все ее прежние письма я хранил долго, потом уничтожил их однажды, когда видеть их стало чересчур тяжело, а потом пожалел об этом. Я, разумеется, уже придумал десятки писем, какие она могла мне написать. «Чарльз, прощай, я тебя больше никогда не увижу», или «Бен ушел, что мне теперь делать?», или «Милый, я приду к тебе, жди меня с машиной завтра». Я уже записал номер местного такси и положил листок возле телефона. Я пощупал конверт и решил, что письмо короткое. Хорошо это или плохо? Во всяком случае, это не какие-то бессвязные излияния вроде: «Я тебя люблю, но не могу его бросить» и т. д. на много страниц. Неужели Хартли наконец приняла решение? Что мы скажем, что мы сможем сказать о Титусе, когда свидимся?

Вот оно, главное, вот что, возможно, окажется решающим. Какую жестокую шутку сыграла со мной судьба — привела Титуса ко мне, а потом утопила. Доведется ли мне скорбеть о нем вместе с Хартли? Как это будет и как отразится на нас? Я все не вскрывал письмо. Я много чего навоображал, но только не то, что она написала.

Фактически прошло не так уж много времени. Я перестал пить. Вообще-то, я виски терпеть не могу. Я обошел весь дом, заглянул во все комнаты. Даже влез на чердак и осмотрел дырку в крыше. Тут все еще было очень сыро. Гилберт и Лиззи подставили под дырку два ведра. Оба были полны до краев. Я не стал их трогать. Я облазил весь дом, словно искал что-то, и всюду носил с собой письмо Хартли. Наконец я повалился на постель и стал вскрывать конверт, как ребенок, дождавшийся возможности без помехи насладиться подарком. Закончить мою игру в надежды меня побудила мысль, что, если мне предстоит увезти Хартли, нужно заказать такси теперь же. И тут я неистово заторопился — вдруг я уже упустил время?

Меня трясло от страха, зубы стучали, дрожащие неловкие пальцы с трудом разорвали конверт, разорвали и письмо, развернули его. И тут пришлось вскочить и бежать к окну, где было

посветлее.

Дорогой Чарльз!

Мы были бы очень рады, если бы ты зашел к нам на чашку чая. Хорошо бы в пятницу в четыре часа. Если неудобно – дай знать. Надеюсь, что ты сможешь прийти.

С сердечным приветом

Мэри Фич.

Послание это ошеломило меня, я просто не знал, как к нему отнестись. Хорошо оно или плохо? Предложение свидеться, но «с нами». Если Хартли не хочет, чтобы я что-то предпринял, ей и самой лучше было бы ничего не предпринимать. Однако же вот письмо. Что оно значит, каков его подспудный смысл? Пятница — это завтра.

Я смотрел на письмо, дрожа, краснея, и пытался понять его. Через какое-то время до меня дошло, что оно вообще не от Хартли. Подписано «Мэри Фич». Она его написала, но не от себя. Оно написано на глазах у мужа, возможно даже под его диктовку. Ну а это что значит? Сама ли она исхитрилась внушить ему желание пригласить меня в гости? Но как ей это удалось и на что она рассчитывает? Неужели уговорила Бена только для того,

чтобы повидать меня, увидеть мое лицо? А когда я приду, даст она мне понять, чего ждет от меня? А может, это и вовсе ловушка, страшная месть, в которой ее заставили участвовать? Если Бен винит меня в смерти Титуса, он теперь, наверно, совсем обезумел — и от собственного раскаяния, и от злобы на меня. Теперь-то он понял, как любил Титуса, и, возможно, находит облегчение лишь в том, чтобы ощущать, как ненавидит меня. Я ведь и сам после смерти Титуса искал облегчения, во всем обвиняя Бена. Ну что ж, даже если это ловушка, я не отступлю.

Я все смотрел на письмо, вертел его и так и сяк, даже поглядел на свет. Назначенное время подверглось изменению. Сначала было написано шесть часов, потом переправлено на четыре. Тут напрашивалась догадка. Под диктовку Бена, под его взглядом, она написала шесть, а потом, уже вкладывая бумагу в конверт, наспех переправила шесть на четыре, зная, что в четыре Бена не будет дома. Может, он отлучится за чем-нибудь или за кем-нибудь, нужным для ловушки? Так что она, выходит, все же будет одна? И бросится мне на шею, как в тот вечер, когда убежала потом и бродила по скалам, потому что так боялась Бена, боялась к нему вернуться, боялась остаться

у меня. Пришла же она тогда по собственному почину. Это ли не доказательство?

Потом я подумал: ну а если она окажется одна и скажет: «Увези меня», мне же понадобится машина. Опять растерянность, опять беда, и надежда пополам со страхом, когда я вообразил, как будет ужасно, если машина будет, а Хартли — нет: эмблема спасения при отсутствии принцессы, которую надо спасать. Все же я решил вериться надежде и планы строить соответственно, а потому позвонил таксисту и попросил его завтра ждать меня у церкви начиная с четырех часов. После этого я почувствовал себя много лучше, словно и впрямь повысил свои шансы.

Был уже десятый час. Я решил, что пора ложиться. Я выпил вина, поел хлеба с медом и принял снотворное. Ложась, я вспомнил, что потерял Джеймса. И теперь мне подумалось, что потерял я его не в наказание за его грех, за его «изъян», как он выразился, а просто потому, что он увез Лиззи в своей большой черной машине. Увез на свою погибель, по моей вине. Теперь мне уже никогда к нему не вернуться, не сломать барьер, который мы с ним общими силами так искусно возвели. Мы разделены навеки. И я даже подивился, что это не случилось раньше, до того

опасны мы были друг для друга.

Следующий день свелся к простой задаче — как заполнить время до четырех часов. Сперва я решил, что эта задача невыполнима и что мне грозит буйное помешательство. Но я сумел сохранить относительное спокойствие, задавая себе одно за другим всякие мелкие дела, связанные с Хартли. Я немного занялся своей внешностью, хоть в этом и была доля притворства, поскольку я не мог вообразить, что для Хартли мой внешний вид имеет значение, да к тому же я, и когда обтрепан и неопрятен, выгляжу вполне прилично, может быть даже интереснее. Я выстирал одну из своих лучших рубашек и высушил на солнце. Вымыл голову, чтобы волосы лучше лежали. Купаться в море я перестал, но они еще были жестковатые от морской воды. Я решил собрать небольшой чемодан на случай поспешного бегства и проделал это с замиранием сердца. Когда пришло время второго завтрака, я поел, без аппетита, но из чувства долга, и не выпил ни капли спиртного.

После завтрака я обошел дом, закрыл и запер на задвижки все окна. Вылил воду из ведер на чердаке и опять поставил их под дыркой в крыше. Спустившись вниз и заглянув в красную комнату,

я увидел на столе, полускрытый промокашкой, конверт с тем длинным письмом, которое я написал Хартли, когда Титус был еще жив, но так и не доставил по адресу, — письмо о том, как Бен пытался меня убить, и как я буду появляться «снова и снова», и как мы заживем с ней тихой жизнью вдали от всех. После признания Перри и смерти Титуса оно, конечно, устарело, я с болью осознал это и уже хотел его уничтожить, но решил сперва перечитать. Такое решение, видимо, входило в мрачную деловитость этого дня. Жаль было, что пропадет зря красноречие вступительной части и ценная информация, содержавшаяся в письме, поэтому я уничтожил только последние две страницы, где речь шла о Бене и Титусе. Потом на отдельном листке я написал: «Письмо это я написал давно, но не доставил. Прочти его внимательно. Я тебя люблю, и мы будем вместе». Приписал свой номер телефона, вложил в новый конверт, заклеил и сунул в карман.

Я заблаговременно пошел в деревню со своим чемоданом и в лавке разменял чек. Купил лезвий для бритвы, а заодно крема и пудры того сорта, какой употребляла Хартли. Еще не было половины четвертого, и я не спеша побрел к церкви. Меня мутило от страха и надежды, я был готов к тому,

что меня либо вырвет, либо я потеряю сознание. Такси уже было на месте — таксист сказал, что делать ему все равно нечего. Я сказал ему, пусть ждет, я приду. Он засмеялся:

— Хоть три часа ждать?

Я ответил:

— Если понадобится, так и три.

Я прошел на кладбище, поглядел на могилу Молчуна и вспомнил, что собирался показать ее Титусу. Вошел в церковь, посидел, чтобы отдышаться, и вдруг испугался, как бы не опоздать, выскочил на воздух и чуть не бегом поднялся в гору. День был теплый, но ветер с моря приятно освежал.

Дойдя до их дома, я остановился перевести дух у голубой деревянной калитки с замысловатой задвижкой. Огромные розы всех цветов и оттенков сверкали на солнце. Я обнаружил, что все еще держу в руке чемодан, который собирался оставить в такси, и бумажный пакет с косметикой Хартли, который собирался убрать в чемодан. И тут я услышал что-то ужасное, невыносимое, от чего кровь застыла в жилах. В доме две флейты, большая и малая, в унисон играли «Зеленые рукава».

Чего-чего, а дуэта на флейтах я сейчас никак не

ожидал услышать. Но мало того, в далеком прошлом «Зеленые рукава» были для нас с Хартли заветной мелодией. Я старательно выводил ее на своей флейте, и вместе мы подбирали ее на стареньком пианино ее родителей. Мы пели ее друг другу. Это была наша любимая, наша любовная песня. Если б я сейчас услышал ее в исполнении одной флейты, то не замедлил бы воспринять как тайную весть надежды. Но две флейты… Возможно ли, что это умышленное оскорбление, преднамеренное глумление над прошлым? Нет. Она просто забыла.

Все это промелькнуло у меня в голове, пока пальцы возились со щеколдой. Я медленно ступил на дорожку. Музыка смолкла, в доме истерически залаяла собака. Я зашагал к двери, обуздывая свое воображение и уже с новыми мыслями. Профанация «Зеленых рукавов» ничего особенного не означает. Может быть, он любит эту песню, а она не сумела изгнать ее из обихода. И игра на флейтах ничего не означает. Будь у нее намерение сбежать, она с тем большим основанием вела бы себя как обычно. А может быть, эта мелодия все же адресована мне? Пока несомненно только то, что она не одна. Я позвонил, хотя благодаря собаке надобность в этом отпала

и неистовый лай все равно заглушил звонок.

Дверь открыла Хартли. Голова ее была откинута, что придавало ей надменный вид, но она, должно быть, просто волновалась. Она смотрела на меня без улыбки, чуть раскрыв губы, а я смотрел на нее, жарко краснея и чувствуя, что глаза у меня круглые, как блюдца. Каким-то образом я уловил, что Бен стоит у нее за спиной, у открытой двери в гостиную. Даже будь у меня наготове какая-то фраза, предназначенная только для ее ушей, я не мог бы выговорить ни слова, мы оба окаменели. Собака, гладкая черно-белая длинномордая колли, подбежала к Хартли, не переставая лаять. Перекрывая этот содом, я сказал:

— Здравствуйте!

И Хартли ответила:

— Вот как хорошо, что собрался.

Я шагнул в переднюю. Запах роз, которые и здесь стояли в нескольких вазах, мешался с затхлым духом дома, приторным и чуть тошнотворным, как в комнате у дряхлой старухи.

Хартли сказала собаке: «Тихо», но та стихла, когда сама сочла нужным, а тогда стала обнюхивать меня и вилять хвостом. Бен крикнул из гостиной:

— Заходите!

Я вошел. За широким окном отлого спускался луг, а дальше поднималось синее море, терявшееся в знойной дымке, и никогда еще красивый вид не выглядел столь зловеще. Обе флейты лежали на широком белом подоконнике рядом с биноклем.

— Садись, пожалуйста, — сказала Хартли.

Я заметил, что она прифрантилась. Волосы завиты и аккуратно уложены, на ней строгий темно-синий сарафан и полосатая синяя с белым блузка. Выглядит как будто моложе, здоровее.

— Где хочешь сидеть, здесь или здесь?

Я опустился в низкое кресло с деревянными подлокотниками, предпочтя его тому тесному мягкому креслу, в которое с трудом вдавился когда-то. На круглом столике и рядом на подносе все было приготовлено для грандиозного чаепития — хлеб и масло, домашние лепешки, варенье, какие-то сэндвичи и торт с глазурью.

— Пойду заварю чай, — сказала Хартли и исчезла в кухне, оставив меня наедине с Беном.

Бен, не садясь, вступил в разговор с собакой:

— Чаффи (так ее, очевидно, звали), Чаффи, ко мне. Сидеть.

Чаффи сел, после чего уселся и Бен, но тут вернулась Хартли с чайником, и Чаффи опять

вскочил.

— Пусть чуток настоится, — сказал Бен.

Хартли потрясла чайник, сказала:

— Уже настоялся, — и обратилась ко мне: — С молоком? С сахаром?

— Спасибо, и с тем и с другим.

— Молоко можно сразу? Сэндвич хочешь? Или чего-нибудь с вареньем? Торт домашнего приготовления, но приготовлен, увы, не в этом доме.

И стала разливать чай.

— Сэндвич, да, спасибо. Вид от вас замечательный.

Последнее я добавил чисто автоматически. От волнения я почти не сознавал, что говорю.

— Да, вид что надо, — сказал Бен. Он повторил: — Вид что надо, — и опять заговорил с Чаффи: — Сидеть! Вот так, молодец, — и дал ему половину сэндвича.

— Балуешь ты его, — сказала Хартли.

— Это та самая собака, с фермы Аморн? — спросил я все так же автоматически.

Потом спохватился: а может быть, считается, что я ничего про это не знаю? Потом подумал: не все ли равно?

— Да, они их разводят, — сказал Бен. — Хорошая порода, валлийские колли. Этот-то оказался

неспособным, не научился стеречь овец. Что, Чаффи, не захотел тратить драгоценное время на безмозглых овец, верно я говорю?

Чаффи опять вскочил и завилял хвостом.

Я поставил чемодан на пол рядом с собой, а на него положил пакет с косметикой Хартли и своими лезвиями. Теперь я отставил чашку, открыл чемодан, убрал в него пакет и закрыл чемодан. Я боялся, что Бен как-нибудь разглядит или угадает, что в пакете. Бен и Хартли следили за моими движениями.

— Интересно было встретить вашего брата, военного, — сказал Бен.

Едва ли Хартли когда-нибудь рассказывала ему о моей родне. У чудовищ родни не бывает.

— Он мой двоюродный брат.

— Ах да, двоюродный. В каких частях служит?

— Полк королевских стрелков.

— Знаю, «зеленые куртки».

— Да, «зеленые куртки».

— Он все гостит у вас?

— Нет, уехал в Лондон.

— Зря я не стал кадровым военным, — сказал Бен.

— В мирное время было бы, наверно, скучновато, — сказала Хартли.

— Зря, — повторил Бен. — В армии человека узнаешь как облупленного. Все время среди людей. А впрочем, и дома неплохо.

— Очень даже неплохо.

— Как ваш дом?

— Крыша протекла.

— Да, дождь был знатный.

— Скушай еще сэндвич, — сказала Хартли. — Ах, ты и первый не съел.

Я схватил сэндвич и так сжал, что огуречный сок брызнул на пол. Я стал запихивать сэндвич в карман. Сказал:

— Это такое горе, такое горе, мне так жаль…

— Титуса, — сказал Бен. — Да, нам тоже. — И после паузы добавил: — Чего только не бывает.

— Это была трагедия, — сказала Хартли, будто давала научное определение.

Я продолжал что-то говорить. Мне нужно было всех нас втянуть в общий поток скорби, нужно было остановить эту ужасную машину пристойной, неискренней вежливости, но я не мог найти подходящих слов.

— Мне все кажется, что это я виноват… я не могу… я никогда не…

— Вовсе ты не виноват, — сказала Хартли.

— Вы-то, безусловно, не виноваты, — сказал

Бен рассудительно. — Скорее уж, это он виноват.

— Я не вынесу этого. Я не могу в это поверить, я…

— Мы должны и поверить в это, и вынести, — сказала Хартли. — Это случилось. Словами тут не поможешь.

— Да, словами тут не поможешь, — сказал Бен. — Это как на войне. Что-то случилось, а ты продолжаешь делать свое дело. Потому что нужно. Так я говорю?

Хартли сидела, сложив руки на коленях. На меня она не смотрела. Она неловко поеживалась и приглаживала свою аккуратную прическу. Губы она не подмазала, на загорелом лице не было и признака косметики. В вырезе полосатой блузки видна была загорелая шея и ключицы. Такой гладкой, чистенькой и ухоженной я еще не видел ее со времени нашей новой встречи.

И Бен тоже, как я отметил, излучал комфорт и довольство. На нем была чистая рубашка в широкую полоску и галстук в тон. Свободная коричневая летняя куртка, брюки тоже коричневые, но посветлее, и белые, на вид новехонькие парусиновые туфли. Обтянутый рубашкой живот самодовольно выдавался вперед повыше кожаного ремня. Короткие волосы приглажены, щеки

свежевыбриты. А на лице странное выражение какой-то спокойной отчужденности. Глаза прикрыты, короткая верхняя губа как-то брезгливо втянута. Он тоже не смотрел на меня. Он уже успел съесть несколько сэндвичей.

— Наверно, так, — ответил я на его вопрос.

— Я тебе дам салфетку, — сказала Хартли. — У тебя все руки липкие.

Она достала из ящика бумажную салфетку и протянула мне.

— Зимовать будете здесь? — сказал Бен.

Разговор о Титусе они, видимо, считали законченным.

Я не осуждал их. К чему им открываться мне в своих чувствах? Им нужно оправиться от этой утраты по-своему. Они довольны, что тема эта была нами затронута и теперь ее можно оставить. Возможно, для этого меня и пригласили.

— Да, я здесь живу постоянно.

— Я думал, может, поедете во Францию, либо на Мадейру, либо куда там еще богачи на зиму ездят.

— Нет, не собираюсь. К тому же я не богач.

— А тут зимой дьявольски холодно.

— Ты погляди, погляди, как он сидит! — сказала Хартли, указывая на Чаффи.

Тот теперь сидел, аккуратно подобрав под себя передние лапы, а задние вытянув во всю длину. Он поднял голову, очень довольный собой.

— Смешная ты собака, а? — сказал Бен, и Чаффи вильнул хвостом в знак согласия.

— Собаку не думаешь завести? — спросила Хартли.

— Нет, едва ли.

— Кошатник? — спросил Бен.

— Как вы сказали?

— Кошатник?

— А-а, э-э… нет.

— Морока с этим карантином, — сказал Бен. — Шесть месяцев, это надо же.

— С карантином?

— Ну да, мы уезжаем в Австралию. Хватит с нас английских зим. Мы, когда взяли Чаффи, не знали, что это так долго, а теперь уж тебя не бросишь, верно, псина?

— В Австралию? То есть как, насовсем?

— Да.

Я посмотрел на Хартли. Ответом мне был взгляд широко раскрытых лиловых глаз и едва заметная улыбка. Потом она встала и понесла чайник на кухню.

— В Австралию?

— Ну да, ума не приложу, почему все туда не уезжают. Климат прекрасный, еда дешевле, жилье дешевле. Черт, стать бы опять молодым, я бы нашел, чем там заняться.

— Пенсию Бен может получать и в Австралии, — сказала Хартли, возвращаясь с чайником.

— Вы там бывали? — спросил Бен.

— Да, несколько раз. Страна замечательная.

— Сиднейский порт, сиднейский оперный театр, дешевое вино, кенгуру, медведи коала и все прочее, просто не дождусь.

— И когда же вы уезжаете? — спросил я, глядя на Хартли, наливавшую Бену чай.

— О, еще не скоро, недель через пять-шесть. Еще много всяких дел, и сестру хочу повидать. Думаем-то мы об этом давно, но теперь, когда малого нет, это проще.

— Но… вы, значит, все время это обсуждали? — Я постарался поймать взгляд Хартли. — Ведь отъезд в Австралию требует длительной подготовки, я и не знал, что у вас такие планы. Как же ты мне не сказала?

Это я спросил лично у Хартли.

— А мне самой не верилось, — отвечала она со слабой улыбкой. — Казалось, это сон.

— Поверишь, когда увидишь оперный театр, —

сказал Бен. — Как он улыбается, словно огромная раковина на синей воде.

Если они уезжают через пять-шесть недель, этот план не мог возникнуть после того, как я последний раз виделся с Хартли. Почему она мне не сказала? Как она могла мне не сказать? Потом я подумал: может, она и правда не верила, что это сбудется. Ну а если она склонялась к мысли сбежать со мной, так и подавно не сказала бы. Я не сводил с нее глаз, но она после той слабой улыбки уже не смотрела в мою сторону.

Она обратилась к Бену:

— Ты как думаешь, Чаффи нас узнает после такого долгого карантина?

— Конечно узнает. Ведь узнаешь, Чаффи, а?

— Выпей еще чаю, — сказала Хартли. — Может быть, съешь лепешку или торта?

Я что-то проглотил и протянул ей чашку. Съел я тот скомканный сэндвич, который так и не засунул в карман. Я был совершенно сбит с толку, растерян, как человек в чужой стране, ставший жертвой непостижимого розыгрыша. Я ничего не понимал.

— Вы, я вижу, тоже куда-то собрались, — сказал Бен, кивнув на мой чемодан.

— А-а, это я в Лондон, на одну ночь… я сразу

вернусь… я буду здесь.

— Не выношу я Лондон, — сказал Бен. — Шум, давка, по магазинам чертовы иностранцы шастают.

— Да, — сказал я, — в это время года там много туристов.

И допил чай.

— Ну что ж, — сказал Бен, ясно давая понять, что мой визит окончен, — может, еще увидимся до нашего отъезда, а если нет, так пожелаю вам всего лучшего.

— Что вы, конечно, мы еще увидимся. Я вернусь завтра. И все время буду дома, путешествовать не намерен. А теперь мне, пожалуй, пора. Спасибо за чай.

Я встал. Дурень Чаффи тут же залился лаем. Неопределенно помахав Бену, я поднял свой чемодан и двинулся к двери. Хартли пошла за мной. Бен прикрикнул на Чаффи и закрыл за нами дверь гостиной, чтобы собака не выскочила. На несколько секунд мы с Хартли остались в передней одни.

— Хартли, это неправда, что ты уезжаешь в Австралию?

Громкий лай заглушил мои слова.

Она покачала головой, раскрыла рот, но тут же

развела руками, показывая, что разговаривать в таком шуме невозможно.

— Хартли, не уезжай. Уедем с тобой вместе, прямо сейчас. Меня под горой ждет такси, пойдем, побежим бегом, уедем в Лондон, куда хочешь… вот я тебе написал письмо, там все сказано.

Едва сознавая, что делаю, я достал из кармана письмо о «тихой жизни» и сунул в карман ее синего сарафана.

Бен протиснулся из гостиной в переднюю. Чаффи все лаял, и слышно было, как он стучит когтями о дверь. Бен глянул в нашу сторону и прошел в кухню, оставив дверь открытой.

Я отступил на шаг, держа Хартли за руку повыше кисти и пытаясь увлечь ее за собой. Рукава ее блузки были закатаны, и рука была мягкая и теплая, как у молоденькой девушки, рука еще не состарилась. Мы уже стояли на крыльце.

— Хартли, милая, родная, любимая, давай уедем. Бежим туда, к такси.

Она покачала головой и отняла руку. Произнесла что-то вроде «не могу». Окаянная собака все лаяла.

— Ты не уедешь в Австралию, я тебя не пущу. Пусть он едет, а ты останься. Такси совсем близко, у церкви. Я буду в церкви, буду там ждать час, два

часа, и ты приди под каким-нибудь предлогом, мы сразу же и уедем. О вещах не думай, только сама приходи. Хартли, не оставайся с этим человеком. Выбери счастье, приди ко мне.

Я опять взял ее за руку.

Она смотрела на меня так, будто сейчас заплачет, но глаза были сухие. Она чуть отступила, и я выпустил ее руку.

— Хартли, скажи мне что-нибудь…

Она сказала едва слышно:

— Ты не понял…

— Хартли, милая, приходи. Я буду тебя ждать. Два часа буду ждать в церкви. А не то приходи завтра, я ведь никуда не уезжаю, я буду дома. Ты меня любишь. В тот вечер ты пришла ко мне, столько мне рассказала. Приходи, еще не поздно, никогда не поздно…

Солнце и розы слепили глаза. Бен вернулся в переднюю, я видел его в тени, за головой Хартли. На мгновение ее лицо показалось мне маской боли, а потом — или перемена эта мне только почудилась — стало пустым, потеряло всякое выражение. И большие глаза без слез были пустые.

Бен сказал громко, перекрикивая Чаффи:

— Ну что ж, всего лучшего.

Я попятился, потом повернулся и пошел к ка-

литке. А выйдя за калитку, оглянулся. Они стояли в дверях и махали мне вслед. Я тоже помахал и стал спускаться под гору.

Я просидел в церкви больше двух часов, но она не пришла. Я расплатился с таксистом и пешком пошел домой.

Итак, у меня еще есть пять недель. Я еще не потерпел поражения. В конце концов, много ли Хартли могла мне сказать, когда Бен подслушивал из кухни? Что она вообще мне сказала, что сказал я? Уже и не вспомнить толком. Так или иначе, у нее есть мое письмо, а там все ясно сказано. Оно поможет ей собраться с мыслями.

Зачем им понадобилось приглашать меня в гости? Придумал это, несомненно, Бен. Возможно, я недооценивал его ум и хитрость. Он подстроил все так, чтобы Хартли могла спокойно, в его присутствии увидеться со мною в последний раз и чин по чину навсегда со мной проститься. Придумано неглупо и даже, пожалуй, гуманно. Но дела не меняет. Ясно как день, что Хартли не хочет ехать в Австралию, это затея Бена. Когда она возникла? Как только он узнал, что я здесь поселился, или еще до этого? Нет, Хартли не уедет. В последний момент она спрыгнет в спасательную шлюпку.

Я стал много пить по вечерам. Во всяком случае, прошло четыре дня, и я четыре вечера напивался — вином, конечно. Я просиживал в кухне с бутылкой и своими мыслями долго-долго, пока не погаснут поздние летние сумерки. Опять пришло время ждать — ждать и предаваться размышлениям. Ничего, конечно, не случилось — ни телефонного звонка, ни письма, ничего. Но я верил, что знак будет: Хартли или боги подадут мне его.

Погода держалась теплая. Море снова разукрасилось в пурпур, прочерченный изумрудами. Оно улыбалось мне, как в тот первый день. Редкие облака — большие, ленивые облака слоновой кости с золотом — повисали над водой, источая свет. Я смотрел на них и сам себе дивился — в своей одержимости я даже не способен был восхищаться чудесами, окружающими меня. Но и сознание этой слепоты не помогало мне видеть. Иногда я высматривал тюленей. Но их не было. Пойти купаться у меня не хватало духу, я, возможно, никогда больше не буду купаться в море.

Я старался не думать о Титусе. Как знать, не от этих ли усилий меня и потянуло к вину. Я упорно заглушал мысли о нем либо нарочно думал о нем, но в других планах, в других связях, включая

его в другие, все еще актуальные проблемы. Я нетерпеливо и подло отстранял его и разрешал себе надеяться, что, если еще какое-то время не подпускать его близко, я смогу вернуться в равнодушный мир тех, кто не сломился под тяжестью утраты. У меня свои заботы, я должен выжить. Сейчас не время разрушать свою психику сознанием вины и мукой утраты. Так что собственно о нем, о том, что он умер, я не думал. Какой-то серый струящийся призрак пытался возникать в моем мозгу, но я жестоко, безжалостно прогонял его. Порой мне даже становилось страшно, словно он где-то здесь, стучится в мои мысли, требует внимания, обижается, что я отказываюсь о нем горевать. Я пробовал заполнить свой быстрый ум другими мыслями. Однако струящийся призрак не покидал меня.

Я думал о Джеймсе и Лиззи. Кто из них решил, что надо рассказать мне, и почему? Я догадывался, что у Лиззи, особенно после нелепой встречи с Тоби Элсмиром, сдали нервы, тем более что так много было поставлено на карту. Она дала своей любви ко мне воскреснуть и имела основания думать, что зверь устал бежать от охотника и вот-вот свалится с ног. Любила она нетерпеливо, жадно. Скоро, скоро я навсегда к ней вернусь,

думала она и все же боялась осечки. И тревожное чувство вины в сочетании с природной честностью заставило ее пойти на риск и все рассказать. На длинной орбите своей любви ко мне она достигла точки наименьшего удаления. И хотела к наступлению великой минуты подвести черту, очиститься покаянием, избавиться от страха разоблачений. Она, возможно, и не знала, какой разрушительной силой обладает ее сговор с Джеймсом. Он-то знал. Но к тому времени вся эта дурацкая ситуация уже вышла из-под его контроля, и пришлось ему разыграть джентльмена: отрицать, что это была ее затея (чему я склонен верить), и, когда дошло до дела, дать ей выговориться. Таковы последствия благоразумной лжи. Лиззи боялась рассказать о Джеймсе, как Хартли боялась рассказать обо мне; что ж, все женщины лгут, это у них в крови: Хартли, Лиззи, Розина, Рита, Жанна, Клемент… Сколько лгала мне Клемент — одному богу известно. Я этого никогда не узнаю.

И еще я думал о далеком прошлом, пока сидел вот так в кухне в теплых летних сумерках и глушил себя вином, не зажигая ни лампы, ни свечи, и силуэт бутылки выделялся на бледном прямоугольнике открытой двери и неба, которое так

и не потемнеет до полной черноты. И слышал, как не Лиззи, а тетя Эстелла поет «Розы Пикардии», и вспоминал, какое она излучала сияние, и всю боль и радость, которую она мне когда-то подарила. Боже мой, как неотвратимо молодые и прекрасные уходят, и нет их.

А еще я думал о Хартли на велосипеде, вспоминал ее чистое правдивое лицо, каким оно тогда было, такое похожее и такое не похожее на теперешнее, измученное и старое, которое страдало и грешило все те долгие годы, что я обретался где-то с Клемент, с Розиной, с Жанной, с Фрицци. «Зачем, о мой прелестный друг, меня ты гонишь с глаз долой, ведь я всегда тебя любил, всю жизнь хотел прожить с тобой…» С годами я придавал все больше значения моей вере в Хартли. А между тем всегда ли я поклонялся этой иконе? Молодые тоже безжалостны, хотят выжить во что бы то ни стало. Потеряв всякую надежду на ее возвращение, всякую надежду найти ее, я какое-то время жил своей обидой, тешил себя злобным: «Ушла — ну и пусть!» И теперь из глубоких гротов памяти всплыл один разговор о ней с Клемент. Да, Клемент я рассказал про Хартли. И Клемент тогда сказала: «А теперь, мой мальчик, убери ее в шкаф с игрушками». Боже мой, я услышал сильный,

звучный голос Клемент так явственно, будто она произнесла эти слова сейчас, в темной кухне. Я на время и правда убрал Хартли подальше. И никогда больше не говорил о ней с Клемент. Это было бы признаком дурного тона, а дурного тона Клемент не прощала. Клемент, возможно, и забыла о ней, но я-то не забыл, и Хартли лежала в моем сердце как семя и снова проросла в своей первозданной чистоте.

Я только теперь понял, как много вложил в этот образ от себя, но притом не могу ощутить его как вымысел. Скорее, это особая правда, некий пробный камень, словно моя мысль овеществилась и в то же время стала правдой. А ложь — то чувство обиды, то злое «Ушла — ну и пусть!». Моя странная, почти сумасшедшая верность в конце концов сама себе явилась наградой. С течением лет я разгладил морщины на лбу Хартли, снял пелену с ее чудесных глаз, и мучительно двоящийся образ стал кротким источником света.

Но что же произошло теперь? Перед глазами вставала жуткая сцена чаепития в Ниблетсе — сэндвичи с огурцом, и лепешки, и глазированный торт, и Бен с Хартли, такие чистенькие и благополучные. (Помахав мне на прощание, Бен вполне мог вернуться в гостиную и отре-

зать себе большой кусок торта!) Вся картина дышала неправдоподобным покоем, как картины ранних голландцев — счастливые супруги в хорошеньком домике и при них собачка. Они «уплотнились» в моей памяти, как искусство уплотняет модели, придает им больше гладкости и округлости, чем в жизни, делает более осязательными. Никогда еще я не видел их такими здоровыми, нормальными, солидными. Почему? Что породило этот их спокойный, довольный вид? Страшный ответ гласил: смерть Титуса. Я вспомнил, что говорила Хартли в тот вечер, когда прибежала ко мне и рассказала, как она несчастна, и вселила в меня надежду спасти ее, — тот вечер, который я назвал «доказательством». Она говорила, что сломлена, как будто внутри у нее все рассыпалось, потому что годами она была вынуждена держать сторону Бена против Титуса. И я еще подумал тогда, что она такое — страдалица, искупитель или просто полутруп? «Все было сломано, как будто стоять на ногах еще можешь, а внутри все сломано, и кости и суставы, и ты уже не человек». Не исключено, что эти страшные годы и в самом деле разрушили ее любовь к Титусу. Слишком много она из-за него перестрадала. Я вспоминал ее слова: «Иногда мне казалось, что он

нас ненавидит… иногда я чуть не желаю, чтобы он умер». Груз вины был так тяжек, что не мог не вылиться постепенно в глубокое чувство обиды. Титус, этот злосчастный младенец, которого она сама так искала и принесла в свой дом, загубил ее брак, загубил ее жизнь. Но теперь он сам оказался искупителем, он исчез и унес с собой ее вину. Укоров совести не стало. Бен почувствует тайное облегчение, и еще более тайно она примкнет к нему — тайно, инстинктивно, слепо разделит его облегчение. Теперь, когда убийство совершилось, обоим станет легче. Теперь чувство вины затихнет. Выходит, что смерть Титуса была предопределена, и выходит в конечном счете, что Бен действительно убил его.

Разумеется, то были шальные, пьяные мысли, но я не мог не думать, что был прав, усмотрев в их приятии этой смерти не только непонятную резиньяцию, но и непонятное облегчение. И разумеется, пытаясь вписать это в общую картину их жизни, я сознавал, что втайне пытаюсь уменьшить собственную вину и раскаяние. Как тщимся мы любыми средствами, любыми доводами заслонить ужас смерти и утраты, словно сама судьба, нанеся нам удар, требует, чтобы мы ее оправдали.

И бегство в Австралию можно теперь обдумывать с чистой совестью. Как могла Хартли согласиться уехать из Англии, пока Титус был в нетях? А она согласилась? Может быть, и нет. Может быть, потому это и казалось ей «сном»? В своих нескладных, невинных разговорах с Титусом она, безусловно, ни словом не обмолвилась об австралийской затее. Она ведь и мне ничего о ней не сказала. Теперь я воспринимал это как доброе предзнаменование. Она мне не сказала, потому что склонялась к мысли остаться здесь.

Титус как-то назвал ее фантазеркой. Чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что во всем, что она мне говорила, была изрядная доля лжи. Сломленная душевно, как сломанная кость, которая никогда не срастется, сломленная Беном и Титусом, она заплуталась, забыла, в какой стороне правда. Так что же осталось от моего идеала? Самое удивительное, что свет не померк, что сама Хартли продолжает озарять Хартли. Я способен все это вместить, какова бы она ни была, я люблю ее, и только ее. Не моя вина, что у меня в жизни было всего одно место, где научиться безупречной любви, и всего один наставник. Так иные люди могут, сами того не зная, годами служить источником света в жизни других людей, в то

время как их собственная жизнь идет другими, скрытыми от глаз путями. И точно так же человек может стать (я вспомнил слова Перегрина) демоном, раковой опухолью для кого-то, кого он едва помнит, а может быть, и вообще не знал лично.

Но даже если предположить, что такая любовь должна разочароваться в своем предмете, может ли она разочароваться в нем? Бывает, что даже смерти не удается победить любовь, хотя любить мертвых не так легко, как мы думаем. Но победить любовь можно более изощренными способами. Неужели я навсегда потеряю Хартли, оттого что какое-нибудь предательство с ее стороны обратит-таки мою любовь в ненависть? Способен ли я увидеть ее как существо холодное, бессердечное, коварное, как ведьму, колдунью? Невозможность этого я ощущал как достижение, почти как обладание. Правильно сказал Джеймс: «Даже зуб собаки излучает нездешний свет для тех, кто ему искренне поклоняется». Моя любовь к Хартли стала чуть ли не самоцелью. Как она ни крутись, что бы ни случилось, ей уже не уйти от меня.

Размышления мои не всегда удерживались на столь высоком уровне. Мимолетная мысль о Розине опять привела мне на память Бена, такого

сытого, самодовольного, как сказал бы Фрицци Айтель — «глазки блестят, и хвост распушил». Была ли причиной этого только трагическая смерть, с которой смирились, усмотрев в ней путь к свободе, только видение оперного театра, отраженного в волнах? Где провела Розина ночь перед тем безобразным днем, когда мы отвезли Хартли домой? Помнится, Гилберт сказал, что слышал в доме женский голос, когда доставил туда мое письмо. Розина перед тем заявила, что собирается «утешить» Бена. Это могло быть всего лишь злобной шуткой. Но с другой стороны, Розина *capable de tout*[35]. Если между Беном и Розиной «что-то было», этим можно объяснить не только его до странности самодовольный вид, но и его более либеральное отношение к Хартли, ведь он сам предложил пригласить меня и, мало того, разрешил нам целую минуту поговорить на крыльце. Может быть, Розина сослужила Хартли хорошую службу: либо благодаря ей у Бена у самого теперь рыльце в пушку, либо он понял, насколько его нелепая старая жена лучше, чем разудалая стерва-актерка. Мысли эти, как их ни поворачивай, оставляли невкусный осадок. Но в

---

[35] Примечания: 35
Способна на все *(фр.).*

плане пошленького любопытства они порой служили передышкой от изматывающих «высших» соображений.

А однажды мне пришло в голову, что Розина, возможно, и сейчас еще живет в отеле «Ворон» и я могу просто пойти туда и спросить у нее самой; даже если она мне соврет, кое-что я все же узнаю.

Мне, конечно, не хотелось отлучаться из дому, поскольку я с минуты на минуту ждал Хартли или «знака» от нее, но я решил пойти на риск и оставил на двери записку: «Х., подожди, скоро вернусь». В отель я не позвонил заранее, чтобы оставить за собой преимущество внезапности. Если позвонить, Розина успеет сочинить какую-нибудь небылицу. И еще я жаждал хотя бы крошечного утешения — увидеть, как она обрадуется, неожиданно увидев меня. Ибо, что греха таить, от Розины мне были нужны не только сведения касательно моей проблемы, но и немножко того тепла, которое может дать человеку расположенная к нему женщина, хотя бы и стерва. И самая прогулка, и цель ее сулили какое-то развлечение, какое-то дело в период, когда только ждать и думать уже становилось тяжко. Если Хартли не подаст знака, я скоро опять

начну действовать. А пока позондировать Розину может даже оказаться полезным.

День был облачный, теплый, в Вороновой бухте ветерок сдувал с гребешков невысоких волн клочья белой пены. Темно-синее море было чем-то встревожено, даже летом эта холодная северная синева порой таит в себе зимнюю угрозу. И небо глядело по-зимнему — бледно-голубые просветы между плотных, очень белых, быстро бегущих облаков. Солнечный свет загорался и гас, пока я шагал знакомой дорогой, и огромные круглые валуны на берегу вспыхивали во всем разнообразии своих каменных очертаний, испещренные тенями, старыми пятнами от водорослей и блестками желтого лишайника, а когда набегало облако, снова тускнели.

В отеле я не бывал с того дня, когда меня не пустили в ресторан, потому что я был без галстука. В окна удобного, со вкусом обставленного вестибюля светило солнце, и я ощутил, как здесь чисто, прибрано и уютно после грязи и запустения Шрафф-Энда, где у меня уже рука не подымалась наводить красоту. Кресла были обиты ярким кретоном, в огромной вазе красовались фуксии, кипрей, полевая буддлея и розовый просвирник, какого много растет среди скал. Умеренно над-

менный лакей подошел спросить, что мне нужно. На мне были грязные бумажные брюки, слегка подвернутые, и синяя рубашка навыпуск, но утром это могло и не вызвать возражений даже перед лицом кретоновых кресел.

Я сказал:

— Извините, пожалуйста, что, мисс Вэмборо еще живет здесь?

Он глянул на меня как-то странно и ответил:

— Мистер и миссис Арбелоу в салоне, сэр.

Боже милостивый! Я пошел к указанной им двери. В просторном салоне с широким видом на бухту было пусто, только у окна спиной ко мне сидели мужчина и женщина. При моем появлении они оглянулись.

— Чарльз!

— Смотри-ка, наш любимый комик! Чарльз, старина, мы только что о тебе говорили, верно, Роз?

Два лица, обращенные ко мне, светились веселым лукавством.

— Привет, — сказал я. — Приятно видеть вас снова вместе. Разрешите предложить вам выпить?

— Нет-нет, — заорал Перегрин, — выпивку ставим мы. Официант! Будьте добры, бутылку шампанского, того, что мы пили вчера, и три

бокала.

— Ты побывал в Лондоне или прямо сюда приехал? — спросил я Перегрина.

— Нет, я сюда только заехал выпить с горя, а тут оказалась эта косоглазая ведьма.

— И вы упали друг другу в объятия?

— Не сразу, — сказала Розина. — Для начала мы чуть не подрались. Перегрин был настроен воинственно. Главным образом, сколько я понимаю, из-за ветрового стекла.

— Ветровое стекло меня доконало, — сказал Перегрин, — но это надо понимать символически… Благодарю вас, милейший…

— Давайте я открою! — вскричала Розина. — Обожаю откупоривать шампанское. — Пробка хлопнула, золотая влага запенилась. — Чарльз, за тебя!

— Спасибо. За ваше здоровье, мистер и миссис Арбелоу!

— Нам самим еще как-то не верится, — сказала Розина. — Мы счастливы. По крайней мере, я. А ты счастлив, Перегрин?

— Это непривычное самочувствие я безошибочно определяю как счастье. Чарльз, будь здоров. Твой страшноватый военный родич все еще здесь?

— Нет, уехал.

— Значит, ты прозябаешь с неизменно тебе преданной Лиззи?

— Нет, она тоже уехала.

— В полном одиночестве? — сказала Розина. — А бородатая дама?

— О, они уезжают. Да и вообще я отказался от поисков бородатой дамы. Это была кратковременная психическая аберрация.

— Таково было и общее мнение, — сказал Перегрин. — Поздравляем.

— Вы теперь домой, в Лондон?

— Завтра. Хоть здесь и чудесно, и кормят лучше некуда. У меня дела на телевидении. Может, подвезти тебя?

— Нет, спасибо. Так вы в самом деле опять заключили союз?

— Да, — сказала Розина. — Все встало на свои места. Мы так и не научились обходиться друг без друга, а теперь уже и не придется. Вот как все оказалось просто. А знаешь, Чарльз, когда я вдруг прозрела?

— Когда?

— Когда узнала, что Перегрин тебя убил!

— Попытался убить, — уточнил Перегрин. — Мне пристало быть скромным.

— Что же в этом было такого располагающего? — спросил я.

— Да не знаю, но это было здорово. В сущности, ты заслужил, чтобы тебя убили. За то, что ты сделал с нами, если не за что другое.

— Не будем об этом говорить, — сказал я.

— О, не бойся, мы не собираемся припоминать тебе все твои грехи. Зачем портить себе настроение. Но Перегрин молодец, здорово это он столкнул тебя в воду. Мне всегда было противно думать, что он тебя простил. Жаль только, что ты не утонул, это было бы эффектнее.

— Я, между прочим, не понимаю, как ты не утонул, — сказал Перегрин.

— Это был великолепный образчик вполне уместного насилия. Я люблю жестоких мужчин, пусть он жестокий, но откровенный, честный. А ты, Чарльз, ужасный мошенник, но в основе-то мягкотелый. Непонятно, что я в тебе нашла. Скорее всего, людей пленял в тебе не личный магнетизм, а твоя же мания величия. Самомнение, вот ты нас чем охмурял. Как мужчина ты тряпка, теперь-то я это вижу.

— Мне нравится быть мягким и уютным, как плюшевый мишка. Но скажите, вы правда решили опять пожениться? Неужели и на это готовы

пойти? Не ты ли говорил, Перегрин, что брак — это ад, промывка мозгов?

— Не в тех случаях, когда женишься вторично на той же женщине. Это я всем рекомендую.

— А как же Памела?

— Ты разве не знаешь? Пам ушла к Маркусу Хенти. Он заделался фермером. Жизнь помещицы — это как раз то, что нужно Памеле.

— Вот я и подумала, надо перехватить Перегрина, пока он не начал подъезжать к Анджи.

— Ух ты черт, — сказал Перегрин, и оба захохотали как сумасшедшие.

Большое морщинистое лицо Перегрина покраснело от солнца и от шампанского; Розина в своей любимой позе пристроилась на подлокотнике его кресла, болтая длинными голыми ногами, высоко подобрав белое платье. Она наклонилась над ним, провела носом по его волосам. Оба подмигнули мне, потом строго посмотрели друг на друга и опять покатились со смеху.

— Надеюсь, что у Фрицци найдется для Перегрина роль в «Одиссее», — сказал я. — Он мог бы сыграть старую собаку.

— О, это отменяется, — сказала Розина.

— Фрицци передумал?

— Нет, я передумала.

— Мы едем в Ирландию, — сказал Перегрин.

— В Ирландию?!

— Да, в Лондондерри. Хватит с нас театрального Уэст-Энда. Мы понесем искусство театра в народ.

— Ну и ну!

— Не издевайся, Чарльз, мы хотим положить начало великому…

— Значит, ты, Розина, отказалась от роли Калипсо?

— Да.

— Вот когда ты меня действительно сразила.

— Положить начало великому движению, — сказал Перегрин. — Мы сами будем писать пьесы и ставить их местными силами. Ирландцы — прирожденные актеры, и театрик там имеется премиленький, от обстрела пострадал только самую малость.

— Я не издеваюсь, — сказал я. — По-моему, оба вы смелые люди, желаю вам всяческих успехов. Нет, шампанского больше не хочу, спасибо, я и так от него опьянел.

— Чарльз никогда не умел пить, — заявил Перегрин, наливая себе еще бокал.

— Надеюсь, я перестал быть для тебя демоном? — спросил я его.

— Да. Демона я убил, когда столкнул тебя в мо-

ре. По правде-то, я рад, что ты уцелел. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Так-то так, но когда оно кончается? Ну, мне пора. Спасибо за шампанское.

— Я провожу тебя, — сказала Розина.

Она выбежала в вестибюль, я простился с Перегрином и пошел за ней.

Белое платье Розины оказалось бесформенным подобием одеяния жрицы, сшитым из очень легкой ткани, оно вздымалось вокруг нее как крылья. Она вытянула руки, прихлопнула его к телу, а потом закуталась в него. Мы вышли на воздух и постояли на солнце, на каменной бровке дороги. Розина была босиком.

— Так ты думаешь, у вас с Перегрином получится?

— Почему бы и нет? Между нами никогда ничего не стояло, кроме ревности.

— Ревность — это немало. И никто от нее не свободен.

— Что ж, где ревность, там и любовь. Перегрин из-за тебя просто с ума сходил, потом женился на этой Пам в пику мне. А я не могла ему простить его пассивности, когда ты меня увел. Я всегда хотела, чтобы он за меня боролся.

— Комплекс Елены Троянской. Не такая уж

редкость.

— И когда я узнала, что он убил тебя…

— Он этим похвалялся?

— А как же.

— Ну что ж, желаю удачи. Скажи, Розина, в тот день, когда ты сказала, что хочешь навестить Бена, ты к нему поехала?

Розина бросила на меня зоркий косящий взгляд и плотнее запахнулась в свою белую мантию.

— Да.

— Ну и что?

— Ну и ничего. Состоялся содержательный разговор.

— Это уже не совсем ничего. О чем?

— Чарльз, ты задаешь слишком много вопросов. И норовишь получить что-то, не платя, это тебе всегда было свойственно. Но одно могу тебе сказать с уверенностью: твоя бородатая дама — счастливая женщина. Как мужчина, он в высшей степени привлекателен.

— Да ну его…

Я махнул рукой и отвернулся. Я много бы дал за магнитофонную запись этого «содержательного разговора» (если таковой в самом деле состоялся). И тут я впервые спросил себя, неужели Хартли и Бена толкнуло на брак чисто физическое вле-

чение?

— Чарльз, подожди!

Розина бегом догнала меня, шлепая босыми ногами по траве, распустив свое белое одеяние.

Я остановился.

— Чарльз, дорогой, скажи мне, я хочу знать. Сегодня, когда ты сюда шел, ты хотел предложить себя мне?

— Слишком много вопросов задаешь, — сказал я и пошел дальше.

Вслед мне донесся ее веселый смех. Что она отказалась от такой роли в фильме, это-то не фантазия. Это реально.

В тот вечер облака сгустились, солнце спряталось и пошел дождь. Сумасбродная английская погода, до сих пор не без успеха подражавшая июню, теперь решила изобразить март. Холодный ветер с моря швырял дождевые струи, как пригоршни камешков, в окна, обращенные к берегу. Дом полнился странными звуками, стонами, скрипами, и занавеска из бус то и дело разражалась дробным тревожным постукиванием. Я стал искать ирландский свитер и наконец нашел его среди одеял и подушек, все еще не убранных с пола в книжной комнате. Попробовал затопить в красной комнате камин, но в доме дрова кон-

чились, а возле дома намокли. Поев чечевичного супа, я не скупясь запил его красным вином и спать лег рано, с грелкой.

Наутро еще моросило, но ветер стих и стало теплее. Густой, промозглый перламутрово-серый туман окутал дом, даже конца дамбы не было видно. Я вынес к шоссе помойное ведро (давно пора было им заняться) и постоял прислушиваясь. Вокруг меня, скрытая туманом, стояла огромная тишина. В дом я вернулся мокрый от тумана и дождика и угостил себя обильным завтраком из каши со сгущенными сливками и сахарным песком, яиц пашот, печенья с медом (хлеб кончился) и нескольких чашек горячего чая. Позже, когда я уже сидел в кресле, накрыв колени пледом, я нащупал в кармане какой-то предмет, который мои пальцы не сумели «прочесть». Я извлек его, он оказался заколкой Хартли, которую я сунул в карман в тот вечер, когда она ко мне прибежала. Я поглядел на эту никчемную вещичку, пытаясь усмотреть в ней знамение, но она только пробудила во мне умиление и печаль, и я убрал ее в ящик в красной комнате.

Потом опять накрылся пледом и стал обдумывать положение.

Была одна утешительная мысль, которая снова

и снова посещала меня, когда я пытался представить себе ход мыслей Хартли: возможно, она решила отложить бегство до последней минуты. Пусть Бен уезжает в Австралию, это его желание, его идея. Возможно, она отделается от него раз и навсегда, если улизнет перед самым отплытием — спрыгнет, как Лорд Джим, прямо ко мне в шлюпку. Бен к этому времени уже будет чувствовать себя без пяти минут в Австралии и, скорее всего, решит: «Ну и шут с ней!» Гипотеза неглупая и правдоподобная. Но я не мог всецело положиться на нее и ничего не предпринять заранее — как я решусь на такое долгое бездействие, не имея твердого заверения от Хартли?

Я решил, что могу позволить Хартли еще два-три дня поразмышлять над моим письмом. Меня радовало, что письмо у нее, и я представлял себе, как оно, подобно неотвязному бесенку, усердно гонит ее мысли в нужную мне сторону. Я помнил, что у меня хватило ума дать ей мой номер телефона. Со столярными курсами Бен, надо полагать, распростился, но отлучаться из дому ему все равно приходится — в связи с билетами, визами, деньгами; и даже если он берет Хартли с собой, не может он уследить за каждым ее шагом. Она, несомненно, может улучить минуту и позвонить.

Потребуется всего несколько слов: «Жди, скоро приду». Раза два звук этих воображаемых слов помог мне преодолеть отчаяние, и оттого, что телефон мог позвонить в любую минуту, легче было вытерпеть тот недолгий срок пустого ожидания, который я себе предписал.

Ну а если ничего не случится… а срок пройдет?.. Тогда, конечно, я должен буду повидать Хартли каким-то способом, который еще предстоит изобрести, пусть даже это повлечет за собой объяснение с Беном. Довольно играть в прятки. Перспектива этого объяснения наполняла меня смешанным чувством страха и приятного возбуждения, вот он, последний барьер; если я его опрокину, приз мне обеспечен. Однако самая процедура «опрокидывания» отнюдь мне не улыбалась. В лучшем случае я буду вынужден применить силу при самообороне. Бен по натуре более меня склонен к насилию, что дает ему значительное психологическое преимущество. Ему, наверно, нравится избивать людей. Он моложе меня, коренастый и сильный, но начал полнеть и сейчас не в лучшей форме, а я подвижен и ловок. Театр требует, чтобы человек всегда был в спортивной форме, и я всю жизнь неукоснительно считался с этим требованием.

Для целей самообороны я стал подыскивать в Шрафф-Энде подходящее тупое орудие. Ведь, если подумать, не Хартли, а Бен — вот кто в любой момент может ко мне заявиться. Мысль убить Бена не до конца выветрилась у меня из головы. Наперекор разуму и более спокойным размышлениям, она оставила глубокий след, подобный следу в памяти, только относился он не к прошлому, а к будущему. Это был некий «след намерения», нечто, существующее в сознании человека, наделенного способностью «помнить будущее», как мы помним прошлое. Я понимаю, что звучит это бессмысленно, но то, что я ощущал, не было ни осознанным намерением, ни предчувствием, ни даже прогнозом. Всего лишь некий психологический шрам, с которым я не мог не считаться. Я еще не строил четких планов. Решающая сцена, как она мне смутно рисовалась, включала элемент законной самозащиты. И я стал подыскивать какое-нибудь тупое орудие.

Был поздний вечер следующего дня после моей встречи с Перри и Розиной. Немного раньше мне вдруг очень захотелось прогуляться в отель «Ворон» и, по примеру Перегрина, выпить с горя. Появилась потребность увидеть обыкновенных людей, живущих обыкновенной человеческой

жизнью, в которой бывают отпуска, свадебные путешествия, ссоры, поломки машин и трудности с закладными. Но я боялся, что супруги Арбелоу отложили свой отъезд, а новое свидание с этой парой в ближайшее время меня не прельщало. Позже, когда-нибудь, я, может быть, съезжу в Лондондерри взглянуть на облюбованный ими театрик, но и это маловероятно. Идти в «Черный лев» я не хотел, потому что он слишком близко от Хартли, и потому что опасался неприязненного любопытства посетителей, и потому что рисковал встретить там Фредди Аркрайта. К тому же нельзя было отлучаться от телефона. Поиски оружия — это хоть какое-то занятие.

Миссис Чорни оставила много всякого хлама на чердаке, там я порылся еще при дневном свете, но безрезультатно. За ванной я нашел толстую железную палку вроде лома, но она была слишком тяжелая и слишком длинная, в карман плаща ее не сунешь. Свои собственные инструменты я, конечно, перебрал, но их оказалось ничтожно мало; было несколько отверток, но ни одной стамески, а молоточек только невесомый, «дамский». Теперь, в вечерних сумерках, я с помощью свечки обследовал некое пространство под кухонной раковиной, куда, как видно, складывали всякое

ненужное добро. Среди сырого гниющего дерева и целой колонии мокриц я нащупал какой-то тяжелый кусок металла, который оказался головкой от молотка. Стержень, или рукоятка, или как там называется деревянная ручка, на которой головка держится, лежал отдельно, я положил то и другое на стол.

За окном уже почти совсем стемнело, последние остатки света, какие еще могли задержаться в небе, поглотил туман, больше похожий на спустившееся сверху облако. Моросил дождь, и, хотя ветер был несильный, весь дом словно двигался — вздрагивал, трясся, дергался и ходил ходуном, как деревянный корабль. Дребезжали оконные стекла, щелкали бусы занавески, постукивала парадная дверь, и что-то вибрировало тоненьким, жестяного тембра, голоском, как мне удалось установить — проволока звонка, проведенного в кухню. И еще меня поразил звук, идущий снаружи, с моря, — протяжный прерывистый рев, похожий на рев пароходной сирены в тумане. До сих пор я ни разу не слышал такой сирены в нашем до странности пустынном море; возможно, какое-то судно сбилось с курса и вот-вот с оглушительным грохотом наскочит на мои скалы. Сирена, если то была она, примолкла, и тогда я

различил другой звук: гулкие всплески, с которыми волны то устремляются в Миннов Котел, то снова из него убегают. Я поставил свечу на стол между головкой молотка и деревянной ручкой — сейчас, разделенные свечой, они выглядят как ритуальные аксессуары какого-то неведомого культа. Я вслушивался в громкие, гулкие взрывы из Миннова Котла, и сила их словно проникла в мое тело, обернулась сильным, бьющимся сердцем, уподобилась громкому биению моего собственного сердца, а потом — грозному, все убыстряющемуся стуку трещоток из японского театра.

Мне стало очень не по себе, и я решил запереть кухонную дверь. Я шагнул к ней, спиной к свече, смутно различил в окно свою лужайку. И вдруг в испуге застыл на месте: за дверью, между домом и скалами, кто-то стоял. В следующую секунду я уже знал, что это Джеймс. Вместо того чтобы отворить дверь, я повернулся, взял свечу и пошел в переднюю за керосиновой лампой. Я зажег ее, задул свечу и принес лампу в кухню. Джеймс, войдя туда в полной темноте, сидел за столом. Я поставил лампу, подкрутил фитиль и сказал: «А, это ты» — словно до этого не видел его или ожидал увидеть кого-то другого.

— Ничего, что я к тебе заглянул?

— Ничего.

Я сел и стал двигать по столу молоток. Джеймс встал, снял закапанный дождем пиджак, стряхнул его, повесил на спинку стула, отвернул манжеты рубашки и опять сел, облокотившись о стол и глядя на меня.

— Что это ты делаешь?

— Чиню молоток.

Дело в том, что головка легко надевалась на ручку, но сидела неплотно, готовая соскочить при первом же ударе.

— Головка плохо держится, — сказал Джеймс.

— Это я заметил.

— Тут нужен клинышек.

— Клинышек?

— Загони туда щепку, чтоб держала.

Я нашел щепку (в доме их почему-то полно), пристроил ее в отверстие головки и, придерживая пальцем, вогнал в отверстие ручку. Потом помахал молотком. Головка сидела как впаянная.

— Зачем он тебе? — спросил Джеймс.

— Убить черного таракана.

— Ты же любишь черных тараканов, во всяком случае любил, когда мы были мальчишками.

Я встал, достал литровую бутылку испанского красного вина и, откупорив, поставил на стол вместе с двумя стаканами. В кухне было холодно, я зажег газ.

— Как весело нам бывало, — сказал Джеймс.

— Когда?

— Когда мы были мальчишками.

Я не помнил, чтобы мне когда-либо бывало с Джеймсом особенно весело. Я разлил вино, и мы посидели молча.

Джеймс, не глядя на меня, чертил на столе пальцем какие-то узоры. Возможно, ему было неловко; и от мысли, что он чувствует себя в непривычном положении просителя, мне самому стало неловко. Но выручать его я был не в настроении. Молчание длилось. Ни дать ни взять молитвенное собрание квакеров.

Вдруг Джеймс сказал:

— Ты слышишь море?

— Шекспир, любимая цитата Китса. — Я прислушался. Удары и взрывы прекратились, их сменили свистящие вздохи, это большие волны одна за другой деловито взбирались на скалы и, омочив их, откатывались. Ветер, видимо, усилился. — Да.

Снова помолчав, Джеймс спросил:

— Поесть у тебя найдется?

— Вегетарианское рагу с растительным белком.

— Вот и хорошо, яйца мне надоели.

Мы еще посидели, прихлебывая вино. Джеймс подлил в свой стакан воды, я тоже. Потом я встал разогреть рагу. (Я открыл банку еще утром, но оно долго не портится.) И тут мне подумалось, что механизм, который я так искусно сконструировал, чтобы навсегда отделить себя от Джеймса, работает не очень-то исправно.

— Хлеба?

— Да, пожалуйста.

— О черт, хлеба-то нет, только печенье.

— Ничего, давай печенье.

Мы принялись за рагу.

— Ты когда приедешь в Лондон? — спросил Джеймс.

— Не знаю.

— Как Хартли?

— Что Хартли?

— Есть новости, планы?

— Нет.

— Видел ее?

— Пил чай у них в доме.

— И как было?

— Вежливо. Вина еще хочешь?

— Спасибо.

Я боялся, что Джеймс и дальше будет изводить меня вопросами, но нет, интерес его, видимо, иссяк. Теперь он заговорил, как бы обобщая:

— Мне кажется, ты почти выкарабкался. Ты построил клетку и поместил Хартли посреди нее, в пустом пространстве. А вокруг нее располагаются все твои сильные чувства — тщеславие, ревность, зависть, жажда мести, любовь к собственной молодости. Они не сосредоточены на ней, они до нее не дотягиваются. Кажется, что она у них в плену, а на самом деле ты не причиняешь ей никакого вреда. Для тебя она образ, идол, подобие, ты заклинаешь духов. Скоро ты увидишь в ней злую волшебницу. И тогда тебе останется только простить ее, и ты окажешься на это способен.

— Благодарствую, но я, понимаешь ли, люблю не ее подобие, а ее, включая самое в ней ужасное.

— То, что она предпочла его тебе? Это был бы настоящий подвиг.

— Нет, разрушительную силу, кровожадность, все, что у нее на уме.

— А что у нее на уме? Возможно, забыть тебя ей не давало чувство вины. Когда ты освободил ее от

этого чувства, она была благодарна, но тогда уже в ней самой проснулась обида, воспоминания о том, как ей бывало с тобой скучно, а после этого пришло равнодушие. Сыра нет?

— Джеймс, ты решительно ничего в этом не понимаешь. Я не отступился, да и не выкарабкался, как ты изволил выразиться.

— Тебе, возможно, на роду написано жить одному и быть для всех дядюшкой, словно ты священник, давший обет безбрачия. Доживать жизнь можно и хуже. Сыр у тебя есть?

— Надеюсь, до конца жизни мне еще далеко. Да, сыр у меня есть.

Я достал сыр и открыл следующую бутылку.

— Между прочим, — сказал Джеймс, — ты, надеюсь, поверил тому, что я тебе сказал насчет Лиззи?

Я налил ему и себе.

— Могу поверить, что инициатива была ее, а ты был вынужден поступить по-джентльменски.

С минуту Джеймс задумчиво хмурился. Скорей всего, обдумывал, не пуститься ли снова в подробности насчет того, как редко они виделись, и так далее.

Я решил, что это не важно. Я ему верил.

— Не важно, — сказал я. — Я тебе верю.

— Мне жаль, что это случилось, — сказал он, не столько прося извинения, сколько констатируя факт.

— Да ладно, хватит об этом.

Джеймс опять принялся чертить узоры на столе, и мне опять стало неловко. Я сказал с наигранной бодростью:

— Ты расскажи о себе, как твои дела?

— Я уезжаю.

— Ах да, ты ведь говорил, что тебе предстоит путешествие. Может быть, туда, где есть горы, и есть снег, и демоны прячутся в шкатулках?

— Как знать? Ты любишь море. Я люблю горы.

— Море чистое. Горы высокие. Я, кажется, пьян.

— Не такое уж море чистое, — сказал Джеймс. — Ты знаешь, что дельфины иногда совершают самоубийство, выбрасываются на берег, замученные паразитами?

— Напрасно ты мне это сказал. Дельфины такие симпатичные твари. Значит, и у них есть свои демоны. Что ж, счастливого пути. Дай мне знать, когда вернешься.

— Непременно.

— Не могу я понять твоего отношения к Тибету.

— К Тибету?

— Да, представь себе! Ведь это была всего лишь примитивная средневековая тирания, вся пропитанная суевериями.

— Конечно, это была примитивная средневековая тирания, пропитанная суевериями. Кто с этим спорит?

— Да выходит, что ты. Ты смотришь на Тибет как на потерянный буддистский рай.

Никогда раньше я не решился бы сказать Джеймсу такое. Наверно, это вино подействовало.

— Я не смотрю на него как на потерянный буддистский рай. Тибетский буддизм во многих отношениях изжил себя. Нет, то была изумительная человеческая реликвия, последняя живая связь с древним миром, необычайная, нетронутая страна, в которой религия и фольклор слились воедино. И все это разрушено умышленно, безжалостно, без разбора. Такое быстрое, бездумное разрушение прошлого всегда достойно сожаления, какие бы преимущества из него ни проистекли в дальнейшем.

— Значит, ты рассуждаешь как любитель старины?

Джеймс пожал плечами. Он разглядывал ноч-

ных бабочек, слетевшихся на огонь лампы.

— У тебя тут замечательные бабочки. Такого бражника я уже сто лет не видел. Ой-ой-ой, досталось ей, бедняжке. Можно, я закрою окно?

Он ловко поймал двух бабочек, выбросил их наружу вместе с трупиком их красивой подружки и закрыл окно. Я заметил, что дождь перестал и воздух прояснился. Туман разогнало ветром.

— Но тогда, значит, тебе просто интересно было изучать суеверия? — спросил я.

Я чувствовал, что в этот вечер, несмотря на все наши неловкости, мой кузен более, чем когда-либо, мне приоткрылся.

— А что такое в конечном счете суеверие? — сказал он, подливая вина в оба стакана. — И что такое религия? Где кончается одно и начинается другое? Как ответить на этот вопрос применительно к христианству?

— Но я имею в виду, что ты только изучал… а сам не…

Что я имел в виду? Я никак не мог сформулировать свой вопрос.

— Ты, разумеется, прав, — сказал Джеймс (он под действием вина стал как будто только разговорчивее), — что все время пользуешься словом «суеверие», это очень существенно. Я спросил,

где кончается одно и начинается другое. Думаю, что в сущности-то всякая религия есть суеверие. Религия — это сила, иначе и быть не может, она, например, помогает человеку изменить себя, даже убить себя. Но в этом и ее проклятие. Применение силы — опасная игра. Кратчайший путь — единственно верный, но он очень крут.

— Мне кажется, что религиозные люди чувствуют себя слабыми и поклоняются чему-то сильному.

— Это им только кажется. Преклоняющийся наделяет предмет своего поклонения реальной, не воображаемой силой, в этом суть онтологического доказательства, одной из самых двусмысленных теорий, до какой додумались умные люди. Но эта сила — страшная вещь. Наш бог создается из наших страстей и привязанностей. И когда одна из привязанностей отпадает, на смену ей, в утешение нам, приходит другая. Мы никогда целиком не отказываемся от какой-нибудь радости, мы только обмениваем ее на другую. Всякая духовность вырождается в магию, а магия автоматически влечет за собой возмездие, даже если сознание очищается от грубых мирских привычек. Белая магия — это черная магия. И неумелое вторжение в чей-то духовный мир

может породить чудовищ для других людей. Демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед. Конечное достижение — это полный отказ от самой магии, конец того, что ты зовешь суеверием. Но как это происходит? Добро, отказавшись от силы, действует на мир отрицательно. Хороших людей даже вообразить невозможно.

Вероятно, Джеймс все-таки был пьян. Я сказал:

— Половины того, что ты наговорил, я не понимаю. Может быть, я всего лишь старомодный экс-христианин, но мне всегда казалось, что добро связано с любовью к людям, а это разве не привязанность?

— Да, конечно, — сказал Джеймс, но как-то слишком легко, — конечно…

Он подлил себе вина. Мы успели открыть еще одну бутылку.

— В этом отказе от привязанностей мне чудится не спасение и не свобода. Мне в нем чудится смерть.

— Что ж, Сократ сказал, что мы должны упражняться в умирании…

Это уже прозвучало как неуместная шутка.

— Но сам-то ты, — продолжал я, чтобы не дать ему увильнуть, я хотел свести всю эту метафизи-

ку с небес на землю, а также удовлетворить свое любопытство, раз уж он оказался в разговорчивом настроении, — сам-то ты любишь кого-то, и это естественно, хотя одному богу ведомо, кто эти люди, ты ведь все скрываешь. Ты не познакомил меня ни с кем из твоих восточных друзей.

— Они у меня не бывают.

— Неправда. Я ведь видел у тебя в задней комнате этого тощенького, с бородкой.

— Ах, этот, — сказал Джеймс. — Это был просто тульпа.

— Надо полагать, рядовой представитель какого-то племени? Кстати, раз уж речь зашла о тульпа, кто был этот шерп, про которого Тоби Элсмир сказал, что он так тебе приглянулся? Тот, что погиб в горах.

Джеймс не ответил, и я уже подумал было, что хватил через край, однако не прервал молчания. Море еще шумело, но не так громко.

— Да, — протянул Джеймс, — да…

И опять умолк, но было ясно, что он готов что-то рассказать, и я ждал.

— Не такая уж это интересная история, — начал он не очень-то обнадеживающе, — и рассказать ее можно в двух словах. Ты ведь знаешь, что по верованиям некоторых буддистов всякая зем-

ная привязанность, если она длится до смерти, приковывает человека к Колесу и не дает ему достигнуть свободы.

— Ах да, это колесо…

— Колесо духовной причинности. Но это так, между прочим.

— Я помню, я как-то спросил тебя, веришь ли ты в переселение душ, и ты сказал…

— Этого шерпа, — сказал Джеймс, — звали Миларепа. Это было не настоящее его имя, я его так назвал в честь… в честь одного поэта[36], которого очень ценю. Он был моим слугой. Нам нужно было отправиться в одно путешествие. Дело было зимой, высокие перевалы засыпаны снегом, предприятие, в общем-то, невыполнимое.

— Это было военное задание?

— Один такой перевал нам нужно было пройти. Тебе ведь известно, что в Индии, в Тибете и вообще в тех местах можно научиться кое-каким фокусам, им почти все могут научиться, был бы хороший учитель и хватило бы старания.

— Фокусы?

— Ну да, знаешь, как индийский фокус с веревкой.

---

[36] Примечания: 36

Миларепа (1052–1135) — учитель тибетского буддизма, поэт, автор многочисленных песен и баллад.

— А-а, ты про такие фокусы?

— Какие это «такие»? Повторяю, им могут выучиться самые разные люди, и они бывают очень утомительны, но они не имеют ничего общего с…

— С чем?

— Один из этих фокусов состоит в том, чтобы с помощью душевного напряжения повысить температуру собственного тела.

— Как же это делается?

— В пустынной, первобытной стране это бывает очень полезно, так же как умение прошагать сорок восемь часов, делая по пять миль в час, без еды, без питья и без отдыха.

— Этого-то никто не сумеет.

— И не озябнуть зимой в пути — такое умение, конечно, может очень пригодиться.

— Как добрый царь Венцеслав![37]

— Мне нужно было пройти этим перевалом, и я решил взять с собой Миларепу. Нам предстояла ночевка в снегу. Я мог и не брать его. Но я понадеялся, что смогу выработать достаточно тепла,

---

[37] Примечания: 37

Герой рождественской баллады Дж. М. Нила (1816–1866), царь и святой. В морозную ночь, когда царь навещал бедняков, слуга, сопровождавший его, согрелся, едва стал ступать по снегу, ставя ноги в следы, оставленные царем.

чтобы нам обоим не замерзнуть.

— Постой-постой, ты хочешь сказать, что ты тоже умеешь вырабатывать тепло с помощью душевного напряжения?

— Я же сказал тебе, что это фокус, — раздраженно ответил Джеймс. — Это не имеет ничего общего с чем-либо серьезным вроде добра или…

— Ну а дальше?

— Мы поднялись на перевал, а там попали в пургу. Я думал, обойдется. Но не обошлось. На двоих тепла не хватило. Ночью Миларепа умер, умер у меня в объятиях.

Я смог сказать только: «Ну и ну!..» В голове у меня мутилось, я совсем опьянел, и страшно хотелось спать. Голос Джеймса теперь доносился словно откуда-то издали:

— Он мне верил… Это мое тщеславие его убило… Расплата за ошибку неизбежна… Они используют любую лазейку… Я ослабил свою власть над ним… Я сдал… Колесо справедливо…

Тем временем голова моя склонилась на стол, и я мирно погрузился в сон.

Я проснулся, когда брезжил день. Солнце еще не вставало, ясный серый свет зари заливал кухню, стол в пятнах от вина, грязные тарелки, раскрошенный сыр. Ветер стих, и море молчало.

Джеймса не было.

Я вскочил, окликая его, выбежал на лужайку. Бегом, не переставая звать, вернулся в дом, через переднюю, через парадную дверь, на дамбу. В безмолвном сером свете открылись скалы, дорога и Джеймс, садящийся в свою машину. Хлопнула дверца. Я крикнул, замахал руками. Джеймс увидел меня и опустил стекло, он помахал мне, но мотор уже работал, и машина тронулась.

— Дай знать, когда вернешься!

— Хорошо, до свидания!

Он бодро помахал рукой, «бентли» умчался, и звук его замер за поворотом. Я медленно повернул к дому.

Я шел по дамбе, только сейчас ощутив, что меня шатает и страшно болит голова, — немудрено, поскольку мы с Джеймсом, как я впоследствии выяснил, усидели без малого пять литровых бутылок вина. И перед глазами быстро скользили наискось черные точки. Я добрался до кухни и опять сел за стол, подперев голову руками. Тщательно обдумал, где добыть стакан воды и аспирина, потом встал, нашел то и другое, снова сел и задремал. Взошло солнце.

Когда я снова проснулся, голова у меня повисла и отчаянно болела шея. Я вспомнил, что мне снил-

ся странный сон, будто я насмерть замерз в пургу. Потом вспомнил, что Джеймс рассказал мне диковинную историю про путешествие в Тибете. И еще всякие непонятные вещи, которые он говорил. Я поднялся и чуть не упал, так закружилась голова, кое-как одолел лестницу, лег на кровать и впал в забытье. Позже я проснулся, не уверенный, утро сейчас или вечер, голова кружилась не так сильно, но мозг не работал. Я спустился в кухню, поел сыра и опять лег в постель.

После этого все окончательно спуталось. Почти весь тот день я, очевидно, провел в постели. Помню, как проснулся среди ночи и светила луна. Утром я спустился вниз рано и вдруг решил (а может, эта мысль пришла мне еще ночью), что, поскольку я перестал купаться в море, пора принять ванну. Таскать горячую воду наверх, в ванную комнату, мне не улыбалось. Зато на этот раз мне удалось вытащить из-под лестницы старую сидячую ванну миссис Чорни, и я поставил на плиту кастрюли нагреть воды. Еще не закончив этой работы, я почувствовал острую боль в груди и страшную слабость. Я махнул рукой на затею с ванной, вскипятил чай, но есть не мог. Меня поташнивало, я решил опять лечь. Надо бы было проверить, не поднялась ли температура,

но градусника не было. Кровать моя вела себя как матросский гамак в бурном море. Проплывали туманные многоцветные не то мысли, не то видения, я не мог бы сказать, открыты у меня глаза или закрыты. Похоже было, что я серьезно болен. Теперь у меня был телефон, но не было врача. Того, который видел меня в два часа ночи после «несчастного случая», вызывать не хотелось, да я и не знал его фамилии. Я подумал, не позвонить ли моему лондонскому врачу и описать симптомы, но раздумал — симптомы покажутся ему неинтересными, заинтересовать моего лондонского врача чем бы то ни было вообще трудно. Я постарался утешить себя мыслью, что подхватил такой же грипп или что-то в этом роде, чем заболел Джеймс после того, как я чуть не погиб в море, а Джеймс ведь болел недолго.

Я-то, очевидно, проболел дольше. Несколько дней я пролежал пластом, лень было пошевелиться, о еде не мог и думать. Никто не приходил, никто не звонил. Один раз я дополз до конуры, но оказалось, что никто и не писал. Возможно, на почте прибавили нерабочих дней или бастуют почтальоны. Отсутствие новостей не очень меня тревожило, я был занят только своей болезнью. Она поглощала меня, как работа. Я и насчет нее

перестал тревожиться, и постепенно, как я и предвидел, она отступила. Я уже мог спуститься в кухню, не отдыхая на каждой ступеньке, и однажды порадовался, ощутив голод. С удовольствием поел печенья.

В тот день, а вернее, на следующий, потому что я немножко окреп и пришел в себя, с утра зазвонил телефон. Теперь я уже не сомневался, что это за странный звук. Перед этим я напряженно думал о Хартли и, услышав отвратный пронзительный звон, сразу сказал себе: «Вот оно». Спотыкаясь, я побежал в книжную комнату. Схватил трубку, выронил ее, подобрал.

— Алло!

— Чарльз, привет.

Это была Лиззи.

Я сказал:

— Привет, минуточку.

Я положил трубку на какие-то книги и посидел, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Из-за Хартли больно сосало под ложечкой, и я знал, что эта боль уже не отпустит.

— Прости, Лиззи, я только выключил газ.

— Чарльз, ты как, ничего?

— А что мне делается. Впрочем, у меня был грипп, но сейчас уже лучше. А ты как?

— Хорошо. Я у «Черного льва». Можно тебя навестить?

— Нет, я сам приду. Который час? Мои часы уже несколько дней как не ходят.

— Сейчас около десяти.

— Он уже открылся?

— Кто? А-а, трактир? Нет, но к тому времени, как ты подойдешь, откроется.

— Ну так я скоро.

Голос Лиззи пробудил во мне неистовое желание вырваться из дому. Я вбежал в кухню и погляделся в зеркальце над раковиной. Во время болезни я не брился и оброс противной рыжеватой бородой. Я побрился, два раза порезавшись, пригладил волосы. Нашел свою смятую куртку и бумажник. Светило бледное солнце, но было холодно. Я выбежал из дому, пробежал дамбу и свернул к деревне. Однако скоро перешел на шаг, потому что слабость облаком обволокла мое тело и стала качать его из стороны в сторону. Дальше я пошел медленно, выравнивая дыхание, и только тут подумал, не Джеймс ли надоумил Лиззи меня навестить. С радостью обнаружил, что это мне безразлично, и выбросил это из головы. Свернув в деревню, я сразу увидел возле трактира желтый Гилбертов «фольксваген».

— Чарльз!

Лиззи увидела меня и побежала мне навстречу. В дверях «Черного льва» стоял и ухмылялся Гилберт. Какая роль уготована мне в этой комедии? Я расслабился и чувствовал, что улыбаюсь как со сна, точно актер, забывший слова роли, но уверенный, что сумеет экспромтом подать нужные реплики.

— Привет, Лиззи, привет, и Гилберт здесь, вот хоро-шо-то!

— Чарльз, какой же ты худой и бледный!

— Приятно слышать. Я как-никак болел.

— Тебе, наверно, еще надо лежать?

— Нет, ничего. Значит, вы оба здесь, какой приятный сюрприз!

— Привет, Чарльз, дорогой мой, — сказал Гилберт, подходя к нам.

Его красивое, собранное в складки лицо пособачьи выражало вину и робкую надежду на прощение. Погладь его — и он запрыгает, залает.

— Вид у Чарльза совсем больной.

— Ты, надеюсь, не заразен?

— Нет-нет.

— Мы тебя поджидали на улице, — сказала Лиззи. — На солнышке совсем тепло.

— И правда.

— Чарльз, тебе чего принести? — сказал Гилберт. — Нет-нет, ты садись, ты на положении больного. Хочешь сидру или он на твой вкус слишком сладкий?

— Да, спасибо, давай. Ну, Лиззи, до чего же я рад тебя видеть, и выглядишь ты замечательно!

Некоторые женщины — и Лиззи, как я уже говорил, из их числа — наделены поразительно изменчивой внешностью, могут казаться и уродками, и красавицами. Лиззи сегодня была ближе ко второй крайности — молодая, миловидная, как пухленькая травести, и кудряшки-штопоры развеваются от ветра. На ней была длинная полосатая синяя с зеленым рубашка и черные брюки. А на лице, как и у Гилберта, по-собачьи виноватое выражение, только с примесью победного лукавства.

Мы сели на деревянную скамью перед трактиром и поглядели друг на друга: я — с неопределенной улыбкой, она — вся собранная, с блестящими глазами. Я чувствовал себя как никогда на виду у аборигенов, но улица, к счастью, была безлюдна.

Я сказал:

— Спасибо, что позвонила мне. Вы здесь как, проездом? Ты прости, что не приглашаю погостить, принимать гостей мне еще не под силу.

— Нет, что ты, мы сразу вернемся на магистраль. Гилберту нужно кое-кого повидать в Эдинбурге. На фестивале пойдет та пьеса…

— Все понятно.

— Чарльз, милый, милый, ты меня простил, ты не сердишься?

— За что, Лиззи?

— Все равно, ты только скажи, простил?

— Да, если это тебе нужно, но я не знаю, о чем ты. Ужасно ты любишь секретничать! А вот и наш Гилберт с выпивкой.

Лиззи и Гилберт попросту приехали за отпущением грехов. Они сидели, смотрели на меня и улыбались, как двое детей в ожидании справки, что наказание с них снято, чтобы тут же впри-прыжку убежать, размахивая ею в воздухе. Они хотели, чтобы я их любил и снял последнюю пылинку с их счастья. Как тщательно они, должно быть, все обсудили, перед тем как нанести мне визит! Мне они сейчас казались детьми, и я вдруг почувствовал себя стариком, а пожалуй, и правда сильно постарел с тех пор, как поселился у моря.

Я потерял Лиззи, но как, когда? Может быть, нужно было сразу ее присвоить. Или, может быть, Гилберт и жизнь с Гилбертом ей действительно больше по душе. Или, может быть, я, когда

услал ее в Лондон с Джеймсом, слишком ее напугал. Лиззи хочет жить спокойно и счастливо, довольно с нее страхов, и не мне ее осуждать. Что Джеймс возвел между нами стену, это я знал. Пусть с Джеймсом у нее и не было «ничего такого», этого «ничего» оказалось более чем достаточно. С Джеймсом всегда так бывало. Одним прикосновением мизинца он мог испортить для меня что угодно. Возможно, я не мог отделаться от детского представления, что Джеймс все делает лучше меня. Джеймс, конечно, не желал мне зла, но самая его ложь оказалась поистине роковым изъяном. Джеймса я, вероятно, не потерял, а вот Лиззи потерял, сумел «отстранить» ее, как пытался раньше. А ведь отстранить Лиззи я хотел из-за Хартли. И из дому выбежал утром, чувствуя, что ни секунды больше не могу в нем пробыть, тоже из-за Хартли. Моя болезнь отмерила срок ожидания, теперь этот срок миновал. Телефонный звонок Лиззи и был сигналом, призывом к действию. Для меня и для Хартли час пробил.

А пока я сидел и ласково улыбался Лиззи, и сколько бы мы ни улыбались — а она, возможно, улыбалась невинно, с надеждой, воображая, что может по-прежнему держать меня и не держать, отпустить и не отпустить — все равно все кон-

чится хорошо, — связь была порвана. Я вспомнил слова Джеймса, что мне на роду написано доживать одному и быть для всех дядюшкой. И спросил:

— Рада, значит, видеть дядю Чарльза?

Она рассмеялась, и я рассмеялся, и мы все посмеялись, а Лиззи стиснула мне руку. Я разрешил им быть счастливыми и видел, как они довольны и благодарны мне. Все «распушили хвост», все, кроме меня.

Сидр, слишком сладкий и довольно-таки крепкий, начинал оказывать свое действие. Я совсем было развеселился, но вдруг мне явилась мысль о Титусе, торжественно, точно кто-то внес на блюде отсеченную голову. Джеймс что-то говорил про Титуса, но что? Причинность убивает. Колесо справедливо. Я вспомнил, как закричала в тот день Лиззи. Может, я все же потерял Лиззи из-за Титуса, потому что она меня осуждала, потому что нервы не выдержали? До чего же тесно переплетены между собой причины и следствия! Теперь Лиззи кричит от радости. Что ж, ей нужно жить дальше. Всем нам нужно жить дальше. Титус пришел извне и пробыл с нами недолго.

Мы еще поболтали, непринужденно, как старые друзья. У Гилберта хорошая роль в теле-

визионном сериале, которому конца не видно. Они решили заново отделать комнаты. Лиззи опять работает часть дня в больнице. Я непременно должен у них пообедать. О Хартли не было сказано ни слова, и это деликатное умолчание словно подтвердило, что мы прощаемся навсегда, хотя трудно представить себе, что они могли бы сказать.

Я спросил, который час, достал из кармана часы и поставил по часам Лиззи. Она сказала, что им пора ехать, и я проводил их до машины. Лиззи уже изготовилась к объятиям, но я потрепал ее по плечу и отворил дверцу. Гилберту, кажется, хотелось меня поцеловать. Я помахал им вслед, словно в их лице что-то кончилось. Потом пошел по улице, в сторону церкви и дороги, отходящей вверх, к коттеджам. Уже у самого поворота кто-то сзади тронул меня за плечо, и я в испуге обернулся. Сначала женщина показалась мне незнакомой, потом я узнал владелицу лавки. Она бежала за мной, чтобы сообщить, что в продаже у нее есть наконец свежие абрикосы.

Я стал подниматься в гору и сразу почувствовал усталость и одышку. Может быть, следовало еще денек отдохнуть после болезни. Может быть, не следовало пить так много сидра. Может быть,

Лиззи и Гилберт растворили мои силы в своей жизнерадостности, своей способности изменить мир и выжить. Они увезли с собой какую-то часть меня и теперь используют ее для своих надобностей. Может быть, мне следовало радоваться, что кто-то способен употребить меня в пищу.

Я чувствовал, что не готов и не одет, но не мог противиться неизбежному. Эту встречу ничто не заставит меня отложить, не заставит вымаливать новых возможностей. Страшная тяжесть давила мне плечи. Однако что именно предпринять, я не знал. У меня не было ни тупого орудия, ни такси. Но я достиг той точки, до которой никогда еще не доходил, — блаженной точки предельной решимости.

Тяжело дыша, я шел в гору и глядел на палисадники, на цветы, на калитки. Заметил, что каждый дом чем-то отличается от других. Вот у того — в парадной двери овальное окно цветного стекла, у другого — крылечко с геранью, у третьего — окошки в мансарде. Вот и голубая калитка Ниблетса с ее никчемно замысловатой задвижкой.

В парадной спальне занавески почему-то были задернуты, но неплотно. Я позвонил. Звонок прозвучал необычно. Скоро ли до меня дошло, что в доме никого нет? Во всяком случае, еще

до того, как я заглянул в спальню в щель между занавесками и увидел, что вся мебель вынесена.

Я вернулся к парадной двери и зачем-то позвонил еще несколько раз, прислушиваясь, как эхо отдается в покинутом доме.

— Извините, пожалуйста, вы к кому, к мистеру и миссис Фич?

— Да, — ответил я женщине в переднике, перегнувшейся через забор из соседнего палисадника.

— А они уехали, эмигрировали в Австралию, — сообщила она мне с гордостью.

— Я знал, что они уезжают, думал, может быть, еще застану.

— А дом они продали. И собачку с собой взяли, ее, конечно, сперва отправят в карантин.

— Они когда уехали?

Она назвала число. Очень скоро после того, как я у них побывал. Значит, они солгали насчет срока отъезда.

— Я получила открытку, — сказала та гордая женщина. — Нынче утром пришла. Желаете посмотреть?

Она, оказывается, захватила ее с собой, чтобы показать мне.

На открытке я увидел сиднейский оперный

театр. На обороте рукою Хартли было написано: «Только что прибыли. Такого красивого города, как Сидней, я еще не видела, здесь так хорошо». Подписались оба, и Хартли, и Бен.

— Прелестная открытка, — сказал я, возвращая ее по принадлежности.

— Да, что и говорить, но, по мне, Англия не хуже. Вы им родственник?

— Двоюродный брат.

— То-то я смотрю, вы немножко похожи на миссис Фич.

— Жаль, что я их не застал.

— Адрес свой они, к сожалению, не сообщили, знаете, как оно бывает, уехали люди — и все.

— Ну, большое вам спасибо.

— Они, наверно, вам напишут.

— Наверно. Будьте здоровы.

Она ушла к себе, а я вернулся на дорожку. Розы уже выглядели запущенными, многие увяли. Мое внимание привлек камень, полузасыпанный землей, и я подобрал его. Это был тот пятнистый розовый камень с белыми полосками, который я подарил Хартли, а потом, в тот ужасный день, привез ей в полиэтиленовом мешочке. Я сунул его в карман.

Я обошел дом и с бетонной террасы заглянул

в широкое окно гостиной. Здесь тоже занавески были не сняты и небрежно задернуты, но между ними видна была пустая комната. Дверь в прихожую стояла открытой, я увидел внутреннюю сторону парадной двери и темный квадрат на обоях, там, где раньше висел рыцарь. Меня охватило сумасшедшее желание проникнуть в дом. Может быть, Хартли оставила мне записку или хоть какой-нибудь условный след своего присутствия.

Задняя дверь и окна гостиной оказались крепко заперты, но одно из окон кухни слегка подалось. Я принес из-под навеса в саду деревянный ящик (единственное, что там осталось) и влез на него, как Титус в детстве, когда хотел заглянуть в дырку в заборе. «Я ведь влезал на ящик? Да, на ящик». Я вцепился в раму и подсунул под нее палец. Окно отворилось — шпингалет еле держал его, — и я занес ногу на подоконник. В следующую секунду я, задыхаясь от волнения, уже стоял в кухне. По дому кралась зловещая тишина.

В кухне было пусто, не очень прибрано, из крана капало. Свалявшийся пух кружил по полу, поднятый сквозняком. Я открыл дверь кладовки, там на полках уже проступила плесень. Я обошел гостиную и обе спальни — ни носового платка,

ни шпильки, ничего, что напоминало бы о моей любви. В ванной я сначала увидел только пятно на ванне и лишь потом заметил наконец что-то интересное. Из-под линолеума, там, где он примыкал к стене, виднелась узкая белая полоска. Я нагнулся, потянул ее. Под линолеумом было спрятано письмо. Я осторожно вытащил его. Это было мое последнее письмо к Хартли, нераспечатанное. Я осмотрел его, — может быть, конверт вскрыли, а он опять заклеился, ведь так бывает. Но нет. Его не вскрывали.

Я и его сунул было в карман, но передумал. Разорвал на четыре части, бросил в унитаз и спустил воду. Потом запер окно в кухне и вышел через парадную дверь. Соседка неодобрительно наблюдала за мной из окна и проводила меня долгим взглядом.

Спустившись с горы и свернув вправо, на деревенскую улицу, я вдруг увидел впереди знакомую фигуру. Я сразу понял, что знаю этого человека и предпочел бы его не видеть, а уж потом узнал в нем Фредди Аркрайта. Деваться было некуда, он уже заметил меня и спешил мне навстречу.

— Мистер Эрроуби!

— Ба, да это Фредди!

— Мистер Эрроуби, я так рад вас видеть, я так

по вам скучал! Я знал, что вы здесь, на Троицу был в деревне, думал, может быть, увижу вас, до чего же удачно, что мы встретились.

— Да, Фредди, давно не видались. Ну как ты, что поделываешь?

— А Боб вам не говорил? Я ведь стал актером.

— Актером? Вот молодец!

— Я всегда об этом мечтал, потому и к вам пошел работать, но это было так, фантазии, я и не думал, что когда-нибудь правда так будет. А работать у вас мне нравилось, лихо мы с вами раскатывали по Лондону, во все концы, помните? А потом, когда вы уехали, подумал, почему и не попробовать? И когда я вступил в профсоюз, а ведь я уж был не так молод, мне всякий раз помогало, что я поработал у вас, вы всегда приносили мне счастье, мистер Эрроуби. Вы были ко мне так добры, так подбадривали меня. «Реши, чего хочешь, Фред, и добивайся этого, главное — сила воли». Я помню, вы не раз это мне говорили.

Я не помнил, чтобы говорил это, да и едва ли человек, имевший несчастье сказать такую глупость, стал бы повторять ее, но меня порадовало, что Фредди сохранил столь розовые воспоминания. Мы были уже совсем близко от тропинки, уводящей к приморскому шоссе.

— Хорошее было времечко, мистер Эрроуби, «Савой», «Коннот», «Риц», «Карлтон», где только не побывали. Старого «Карлтона» больше нет, но Лондон и без него лучший город в мире, а я их теперь повидал немало — Париж, Рим, Мадрид, везде поработал. Недавно снимался в одном фильме в Дублине, ох и выпито было!

— Ты под какой фамилией играешь?

— А под своей. Фредди Аркрайт и есть, а то как будто это не я. Не могу сказать, чтобы получал большие роли, но все равно интересно. А все благодаря вам, вы были так ко мне добры, так меня подбадривали, а потом люди говорили: «Ах да, вы ведь друг Чарльза Эрроуби?» Я, понятно, не отрицал, и действовало безотказно. Ох, мистер Эрроуби, до чего же я рад вас видеть, и вы все такой же, нисколько не постарели. Надо же было так случиться, что вы здесь поселились, я-то из этих мест, родился на ферме Аморн, мои дядя с теткой до сих пор там живут. Вы ведь, я слышал, теперь на отдыхе?

— Да.

— Вообразить не могу, как можно уйти из театра. Вот уж правду говорят, театральные люди — они особенные. Но в Лондоне вы бываете? Могли бы там повидаться. Я бы вас познакомил с

моим другом, с которым мы вместе живем, Мелборн Павитт, может быть, слышали? Нет? Ну, так услышите. Он художник, декоратор.

— Мы и здесь еще, вероятно, повидаемся.

— Ой, что же это я, совсем заболтался, пошли в «Черный лев», пусть ставят нам бесплатную выпивку.

— Нет, сейчас я спешу домой, вот моя тропка. Очень приятно было повидать тебя, Фредди, я рад, что у тебя все так хорошо.

— Я скажу моему агенту, пусть пошлет вам кое-какие вырезки.

— Отлично. Ну, желаю удачи.

— Храни вас Бог, мистер Эрроуби, спасибо вам за все.

Я бодро помахал ему и пошел вниз по тропинке. Пусть для некоторых людей я был кошмаром и демоном, но в сознании Фредди Аркрайта я, совершенно незаслуженно, безусловно пребываю как доброжелательное божество.

До дому я добрался рано, еще не было двух часов. Я попробовал поесть застывшего бульона прямо из банки, но еда не лезла в горло. Принял две таблетки аспирина, поднялся в спальню и лег, ожидая, что погружусь в забытье, как бывает после особенно тяжкого потрясения, однако вме-

сто этого меня занесло в какой-то новый ад.

Если существуют душевные муки сильнее мук ревности, так это бесплодные сожаления. Даже боль утраты бывает не столь мучительна, а часто они терзают одновременно, как было теперь со мной. Я говорю именно о бесплодных сожалениях, а не о раскаянии. Едва ли я когда-нибудь испытывал раскаяние в чистом виде — в чистом виде оно, пожалуй, и невозможно. Раскаяние предполагает чувство вины, но беспомощное, безнадежное, неисцелимое.

Думать о Хартли я не мог, вернее — еще не мог. Потрясение оказалось слишком сильным, или, может быть, бессознательно я уже давно пытался оградить себя от непосильной боли. Казалось, Хартли, кроткая, какой она бывала в молодости, покорно отошла в сторону. Она все время была со мной, словно тихонько пела в моем сознании, но сосредоточиться на ней я не хотел. В последнее время, когда я еще с ней боролся, мне иногда словно хотелось отдохнуть; и вот теперь, неожиданно, она лишила меня работы. Но пустоту, оставленную ее окончательным исчезновением, заполнил Титус, он вернулся требовать свою долю моей вины и моего горя.

Ужас бесплодных сожалений изобилует вся-

кими «бы». Неподвластные моей воле, в мозгу множились видения счастья, еще не знающие, что они только призраки. Я бы увез Титуса в Лондон, он поступил бы в театральное училище, стал бы врываться ко мне в гости со своими товарищами, на каникулах мы бы отправлялись в чудесные долгие путешествия, я бы любил его и заботился о нем. Как я сразу не понял, что именно это — опека над Титусом, попытки стать ему отцом и отвечать за него, — что это и есть главное, тот чистый дар, что был ниспослан мне вместе с ненужными побрякушками. Вот за что я должен был ухватиться, за это, а не за химеру. Я вспомнил пророческие слова Розины о том, что Титус тоже окажется грезой, тронь его — и исчезнет. Почему я не удержал его и не создал между нами реальной связи, не уделил ему все мое внимание и не увел прочь от беспощадного убийцы-моря? Конечно, у Гилберта и остальных это вызвало бы циничный смех, но они были бы не правы. Священные узы отцовства могут возникнуть и таким вот странным образом, и нерушимые моральные обязательства сделали бы меня защитником Титуса, его ментором, его слугой, не требующим ничего для себя. Может быть, это была иллюзия. Я мог бы оказаться деспотичным или ревнивым,

но абсолютную ценность я способен распознать, и Титусу я остался бы верен. Но мысли эти шли своим чередом, не заслоняя страшной картины: на ярком приморском солнце Титус лежит мертвый, недвижимый, мокрый, с полуоткрытыми глазами и шрамом на губе.

То, что он никогда не вернется, оставалось непостижимым. Он пробыл со мной так недолго и шел ко мне как на смерть, как к палачу. Какие причудливые случайности привели его не куда-нибудь, а к подножию этой отвесной скалы, где он снова и снова пытался выбраться из бушующего, глумливого, кровожадного моря? Преступлением было не предостеречь его, нырять с ним вместе в тот первый день. Я погубил его, потому что так упивался его молодостью и хотел показать, что я тоже молод. Он погиб потому, что вверился мне. Мое тщеславие — вот что его сгубило. Тоже причинная связь? Конечно. Автоматическая расплата за грехи. Я не удержал его — и вот он мертв. Такие мысли увели меня наконец в тягостную дремоту, а проснувшись, я не сразу вспомнил, что Хартли ушла навсегда, и тут же стал строить привычные планы, как ее вызволить.

Часы мои опять остановились, но небо было вечернее — гряды оранжевых облаков с очень хо-

лодными бледно-голубыми просветами. Я сошел вниз, вскипятил чаю, а потом стал пить вино. Я стал думать о Хартли, но осторожно, словно примериваясь, не сведут ли меня эти мысли с ума. А гнать их было нельзя, нужно было все поставить на место. Я ведь видел пустой дом, открытку из Сиднея. И вот я смотрел на Хартли, видел ее кроткое юное лицо, обращенное ко мне, туманное, словно за тюлевой занавеской. Она молча предлагала мне страдать. Теперь места хватит, просторный безмолвный зал, где развернуться этому страданию. Спешки больше нет, нечего планировать, нечего добиваться. Что мне теперь с ней делать, спрашивал я Хартли, что мне делать с моей любовью, которую ты воскресила, вновь появившись в моей жизни? Зачем ты вернулась, если не могла меня насытить? Что мне теперь делать с громоздким механизмом моей любви, который оказался не нужен? Я больше ничего не могу для тебя сделать, родная. Мне, наверно, судьба жить с этой любовью, превратить ее в святыню, которую уже ничто не осквернит. Может быть, когда я буду жить один и для всех стану дядюшкой, я сберегу эту ненужную любовь в моей тайной молельне. Не научусь ли я тогда любить без цели и без корысти и не окажется ли это тем

мистическим состоянием, которого я надеялся достичь, когда уехал жить к морю?

Стало темнеть, и я зажег лампу. Закрыл окно, чтобы не налетели бабочки. Слегка удивился, сообразив, что мне ни разу не пришло на ум лететь в Сидней. Я не помнил, сказал ли Бен, что они будут жить в Сиднее, но Австралия не так уж велика, у меня есть там знакомые, которые с радостью включились бы в поиски женщины. Можно бы организовать розыски, расспросы, объявления. Все-таки занятие. Но почему-то мне было ясно, что ничего этого я не предприму. Я отступился. Смиренно следовать за ней на расстоянии, только для того, чтобы она знала, что я еще здесь? Это значило бы сделаться страшным привидением. Нет, я отступился, и теперь мне казалось, что случилось это еще в предчувствии ее ужасающего бегства. Почему после того немыслимого чаепития я только ждал, воображая, что она мне позвонит? Неужели я и правда ждал звонка? Неужели и правда воображал, что в последнюю минуту она спрыгнет ко мне в шлюпку? Уже тогда я должен был знать, что никуда она прыгнуть не может. И, сжав руками голову, раскачиваясь, как от лютой боли, я думал, если бы только мы могли не расставаться, если б только Хартли была моей

сестрой, я бы с такой радостью о ней заботился, так нежно ее любил бы.

Поесть я не решился. Есть не хотелось, и не верилось, что я еще когда-нибудь в жизни проголодаюсь. Наконец я поплелся наверх, совсем больной и пьяный. Занавеска из бус щелкала на морском ветру, неведомо как проникавшем в дом. Маленькая луна неслась сквозь рваные облака, голова кружилась от ее скорости. Может быть, Хартли ничего не осталось, кроме как любить Бена, сердце у нее любящее, а больше любить некого. Когда-то ей так хотелось любить Титуса, но Бен умертвил ее любовь к Титусу, а тем самым умертвил и ее. То, что я видел, было оболочкой, шелухой, мертвой вещью, мертвой женщиной. И однако именно ее я так хотел оживить, слиться с ней, лелеять ее. Я принял три таблетки снотворного. Уже засыпая, подумал, почему она сохранила то письмо, хоть и не прочла его? Почему оставила тот камень в саду, где я наверняка должен был его заметить? Что, если это все-таки к добру?

Наутро я проснулся не рано, в полдесятого, как я узнал по телефону. Болела голова. Спустившись в кухню, я споткнулся о ванну, которая так и стояла там, до половины налитая водой. С горем

пополам я вылил воду — частью на пол, частью на лужайку — и убрал ванну на место, под лестницу. Попробовал поесть печенье, но оно отсырело и размякло. В доме не было ни хлеба, ни масла, ни молока. Да я и не был голоден. Подумал было сходить в лавку, но не мог сообразить, какой сегодня день. Мне показалось, что звонили в церкви, значит, возможно, воскресенье. Мелькнула неясная мысль — не съездить ли в Лондон. Однако никаких конкретных поводов для поездки у меня не было. Видеть мне там никого не хотелось, а дела никакие не ждали.

Я вышел на шоссе поглядеть, какая погода. Стало теплее, голубее. В Гилбертовой корзинке белели письма. Как видно, забастовка (или нерабочие дни, или что у них там было) уже кончилась. От Хартли, конечно, письма не было, но было одно от Лиззи. Я принес письма в красную комнату и сел за стол.

Дорогой мой, нескладная у нас получилась встреча. Ты был такой хороший, великодушный, но лучше бы нам было поговорить вдвоем. Вспомнить без ужаса не могу, как мы смеялись. О чем ты в это время думал? Я чувствую себя в чем-то виноватой, но ты должен меня оправдать в моих глазах. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. После твоего письма я заново пережила мою любовь к тебе как прививку – не чтобы излечиться, этого не будет, но чтобы наконец полюбить тебя как надо, а не просто быть по-глупому «влюбленной». Не влюбленность, а любовь – вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды. Прошу тебя, милый.

Лиззи.

P. S. Поскорее навести нас в Лондоне.

До чего же трогательное письмо, и под конец это приглашение «к нам»! И еще: «я виновата,

но ты должен меня оправдать»! Так похоже на Лиззи. Я распечатал другое письмо, оно оказалось от Розмэри Эш.

Милый Чарльз! Хочу сообщить Вам печальную новость: между мной и Сидни все кончено. Он просит развода. Ведем мы себя вполне мирно, из-за детей, и они как будто не слишком расстроены. Причина, конечно, молодая актриса, наша профессиональная болезнь, и еще заокеанский воздух, от которого Сидни словно лишился рассудка. Может, это временное, я еще не теряю надежды, но надеяться так больно. Я еду домой и очень хочу Вас повидать. Можно навестить Вас в Вашем чудесном мирном убежище у моря? Как раз то, что мне требуется. Целую.

Розмэри

Вот вам и идеальный брак. Пора, пожалуй, репетировать роль холостого дядюшки. Я вскрыл еще одно письмо и не сразу сообразил, от кого оно, хотя подпись была вполне разборчивая — Анджела Годвин.

Дорогой Чарльз!

Слушайте, это я, причем слушайте внимательно. Хватит с Вас старых, зачем они Вам? Или Вам кажется, что молодую Вам не найти? Но Вам не дашь Ваших лет. Не обязательно Вам иметь дело со старухами вроде Лиззи Шерер и Розины Вэмборо, когда Вы можете получить МЕНЯ. Розина-то мне в общем нравится, она хотя бы умная, и дома стало пристойнее, с тех пор как Пам отбыла, так что не думайте, что я смотрю на Вас как на выход из положения, вовсе нет! Я последние месяцы много думала и, кажется, сильно изменилась и договорилась до чего-то сама с собой. Я все думаю о том, что я собой представляю. Еще не знаю, как я распоряжусь своей жизнью, на сцену, во всяком случае, не пойду, так что опять же не думайте, этого мне от Вас не нужно. У меня способности к математике, я, может быть, стану физиком, осенью буду держать экзамен в Кембридж. Так или иначе, кем-то я стану. Зачем я Вам пишу? Меня осенила гениальная идея. В тот вечер, когда Вы приходили к Перегрину, я (разумеется!)

подслушивала за дверью и слышала, как он сказал, что Вы очень хотите сына, а может, это Вы сказали, я уж не помню, во всяком случае, это застряло в памяти. А идея вот какая. Почему бы мне не подарить Вам сына? Вы могли бы взять его себе, я не мечтаю им завладеть, ну, навещала бы, конечно, и все такое. Я пока еще не хочу связывать себя ребенком, можно бы найти няню. Да и в Кембридже я буду занята страшно. И конечно, брак я Вам не предлагаю. Замуж я, наверно, выйду много позже или совсем не выйду. Но почему Вам просто не иметь то, чего хочется? Это бывает слишком редко, тем и плоха наша цивилизация, не в том смысле, что многие голодают, а в том, что им не хватает смелости взять желаемое, даже когда оно у них перед носом. О себе: мне семнадцать лет, здоровье отличное. Я девственница и хочу, чтобы через этот порог меня перевел кто-нибудь стоящий, короче говоря – Вы. Прилагаю снимок, можете убедиться, как я изменилась. Ну, что скажете, Чарльз? Я ведь не шучу. В частности, когда говорю, что люблю

Вас и стану Вашей, как только Вы того захотите.

Анджела Годвин

Я вытащил снимок из конверта и разглядел цветную фотографию миловидной, умненькой на вид девочки, большеглазой, с нежным, застенчивым, еще не определившимся лицом. Скомкав ее послание, я сунул его в мягкую золу в камине. Было и еще несколько писем, но я почувствовал, что на сегодня писем с меня хватит.

Я вышел поглядеть, что еще надумало это отвратное море. Оно было спокойное, гладкое, скользило между скал, как масло. Я дошел до Миннова Котла, постоял на мосту. Было время отлива, вода уходила из Котла крутящимся вихрем торопливых вспененных волн, а потом, дальше от берега, этот белый поток поглощала более спокойная синева. Я глянул вниз. Какая глубина, как круты и гладки стены! Никакая земная сила не могла бы вытащить меня из этой бездны. А между тем я оттуда выбрался, я жив, а бедный Титус, что с таким увлечением нырял и плавал, — умер. Я добрался по камням до башни, спустился к ступеням. Гладкие волны вздымались и опадали, но не слишком бурно, час был удобный, железный

поручень доставал до самой воды. Я ощутил во всем теле, если еще не в душе, проблеск жизни, давно знакомый, сродни сексуальному, мгновенный страх, как перед прыжком с той высоченной вышки в Калифорнии или когда с разбега окунался в леденящую воду у берегов Ирландии.

Дрожа от волнения, я сорвал с себя одежду и ступил в воду. Обжигающий холод, потом тепло, потом ласковая сила поднимающих меня спокойных волн — все это до ужаса напомнило счастье. Я стал плавать, ощущая одиночество моря и то особое чувство, теперь осознанное как чувство смерти, которое оно, казалось, всегда в меня вселяло. Не то чтобы я хотел умереть или боялся утонуть. Мои крепкие руки и ноги работали в лад с движением воды, мне дышалось легко, небо надо мной было синее, и везде солнце, и так близко от себя я видел горизонт подступающих волн, сильных и ласковых, увенчанных чуть растрепанными ветром гребешками. Волны играли со мной. Я плавал и лежал на спине, пока не стало холодно, а тогда вылез на берег и, забрав одежду, голый пошел домой.

Море вернуло мне аппетит, и, когда, по моим расчетам, подошло время второго завтрака, я разогрел остатки бульона, открыл банку сосисок и

банку кислой капусты. Я почти решил, что завтра съезжу в Лондон. Почти решил позвонить Джеймсу на случай, если он еще не уехал, и даже нашел его номер и записал на бюваре возле телефона. Я почти решил позвонить таксисту и попросить его отвезти меня на станцию к утреннему поезду. Солнце пригревало, но меня познабливало после купания, и я надел свой белый ирландский свитер. Достал чемодан и уложил в него кое-что из одежды. Даже отправился в книжную комнату выбрать книгу, чтобы почитать в дороге. Вспомнил, что в планы моего одинокого житья входило регулярное чтение, но что я не открывал книги с самого приезда в Шрафф-Энд. Я стал перебирать книги. Джеймс просматривал их, Титус на них спал. Мне требовалось что-нибудь жутковатое и захватывающее. Сгодилась бы даже порнография, только порнографию я, честно говоря, не выношу. В конце концов я выбрал «Крылья голубки»[38], тоже повесть о смерти и моральном крушении.

Время шло, близился вечер, а я так и не позвонил ни Джеймсу, ни таксисту. Я решил, что уже поздно назначать отъезд на раннее утро. Позвоню таксисту завтра и поеду следующим поездом. Чем

---

[38] Примечания: 38
Роман Генри Джеймса (1902).

я займусь, когда приеду в Лондон, было неясно. Разберусь в квартире, закажу занавески? Такие вещи происходят в другой жизни. Вечер был теплый, но для уютности я затопил камин в красной комнате, и огонь поглотил письма Розмэри и Анджелы и снимок застенчивой умненькой девочки. Ужин я принес к камину и попробовал начать «Крылья голубки», но великолепное торжественное начало этого романа не захватило меня. Еще не стемнело, читать можно было без лампы. Я посидел, глядя в пространство, прислушиваясь к буханью волн и биению своего сердца. Меня стало клонить ко сну. Да, какое-то действие купание на меня оказало. Я подумал о Титусе. Потом стал думать о себе как об утопленнике и вспомнил, как в ночь после моего воскресения из Миннова Котла я спал на полу в этой комнате перед пылающим камином, благодарный и еще не поверивший, что остался жив. И словно увидел себя со стороны, как я лежу здесь, в тепле, осторожно шевеля то рукой, то ногой, чтобы удостовериться, что ничего у меня не сломано.

Веки мои начали смыкаться, и тут я очень ясно увидел нечто, о чем потом не мог бы сказать, было ли оно галлюцинацией или игрой памяти. Возникло оно перед глазами внезапно, именно как

воспоминание. Перед тем я смутно, в полусне, думал о том, как упал в кипящую водяную яму, как «знал», что умираю, и как вода надо мной даже в полумраке казалась зеленой. Потом вспомнил, что в последнее мгновение, перед тем как голова моя трахнулась о скалу и меня поглотила тьма, я увидел и еще что-то. Рядом со своей головой я увидел диковинную голову, острые зубы, черную изогнутую шею. *Со мной вместе в Котле было мое морское чудовище.*

Я широко раскрыл глаза и огляделся, задыхаясь, с отчаянно бьющимся сердцем. Все было как прежде — горящие дрова, кучка нераспечатанных писем на столе, недопитый стакан вина. Я был уверен, что не засыпал, я просто вспомнил что-то, о чем успел начисто забыть. Это и был результат контузии, о котором предупреждал врач, — временная потеря памяти. Но теперь все это вспомнилось: черный извивающийся змей совсем рядом, нависший надо мной и ясно видный в полумраке, его голова и шея на фоне неба. Я видел даже его зеленые светящиеся глаза. Видение длилось секунды, может быть, всего одну секунду, но было отчетливым и достоверным. А сразу за этой секундой последовал удар по голове.

Но нет, нужно было вспомнить что-то еще,

что-то еще случилось перед тем, как я потерял сознание. Но что, что? Дрожа от возбуждения и страха, я сидел, стиснув руками голову и мучительно напрягая память. Что-то ждало, чтобы я о нем вспомнил, что-то необычайное и очень важное, ждало рядом, почти в моем поле зрения, ждало, чтобы я увидел и схватил его, а я не мог. Я со стоном вскочил, прошелся в кухню и обратно, выпил еще вина, закрыл глаза и открыл снова. Я следил за своим сознанием, словно боясь к нему прикоснуться — а вдруг сдвинется или затвердеет, и пропадет то, что уже вот-вот станет явным. Но то, что было скрыто, не появлялось, и меня мучило опасение, что, если я не поймаю его сейчас, оно пропадет уже навсегда, канет в глубокий беспросветный мрак подсознания. Сейчас оно, быть может, в последний раз всплыло так близко к поверхности.

Через какое-то время я отказался от дальнейших усилий, однако еще надеялся, что в конце концов это нечто, такое важное и нужное, вдруг вспомнится само. Я снова сел у стола и стал думать о морском чудище и перебирать мои давнишние теории касательно ЛСД. Попробовал вспомнить, почувствовал ли я прикосновение кольчатого змея или только видел его. Зрительный образ его

был при мне, а вот как я его воспринял — неизвестно, хотя свои мысли о смерти, когда оказался под волной, помню. Я подумал было сходить посмотреть на Миннов Котел, может быть, это подхлестнет мою память, но уже стемнело, и я не решился. Я струхнул, а потом буквально затрясся от смертельного страха. Хотел зажечь лампу, но она почему-то не зажигалась. Зажег несколько свечек, запер обе наружные двери и вернулся в красную комнату.

А войдя в комнату, я внезапно, словно глаза у меня переключились на другую волну, увидел прямо перед собой щель в белой деревянной обшивке стены, чуть ниже того уровня, где обшивка в нескольких футах от пола кончается узеньким выступом. Щелей в панелях было много, некоторые почти не видны под краской. Эта щель была короткая, дюймов шесть в длину, и в ней что-то было: что-то белое чуть торчало наружу. У меня захватило дыхание, закружилась голова, я пересек комнату и вытащил из щели листок бумаги. Это был тот листок, на котором я, когда проснулся ночью после своего спасения, записал очень важную вещь, чтобы ни в коем случае не забыть ее. Даже сейчас, держа листок в руке, я не мог вспомнить, что я там написал, хотя сразу ре-

шил, что это касается морского змея. Я развернул листок и прочел вот что:

«Я должен записать это как можно скорее, это свидетельство, а я уже начинаю все забывать. Спас меня Джеймс. Каким-то образом он спустился ко мне прямо в воду. Он подхватил меня под мышки, и я почувствовал, что возношусь, как на лифте. Я видел его на фоне отвесной стены, как он склонился ко мне, а потом я поднялся, и он прижал меня к себе, и мы вместе взмыли наверх. Но он ни на чем не стоял. Был миг, когда он словно прилип к скале, как летучая мышь, потом он просто стоял на воде. А потом…»

На этом текст кончался. Ловя ртом воздух, я перечел его несколько раз, и то темное, что было уже так близко к поверхности, прорвалось наружу, и я вспомнил всю эту сцену. Это не было похоже на мое воспоминание о змее, скорее это походило на воспоминания о том, как пела Лиззи, как Титус лежал мертвый, с той лишь разницей, что того, что я вспомнил сейчас, быть не могло.

Теперь я совершенно ясно помнил, какую мысль хотел выразить, когда написал, что он цеплялся за скалу, «как летучая мышь», и что я вознесся «как на лифте». Это было после того, как зеленая волна обрушилась на меня и разбилась, и

голова моя оказалась над водой, я отплевывался и пытался крикнуть. Я увидел Джеймса. Вроде как бы опустившись на колени, он сползал по стене, как какое-то животное. Сравнение с летучей мышью не совсем точно, он больше напоминал ящерицу, но суть в том, что спускался он не как человек, ища опоры для рук и ног, а как некая ползучая тварь. Помню, я попробовал протянуть к нему руку, но вода уже полностью завладела моим телом и швыряла его во все стороны, как пробку. К тому же я так наглотался воды, что и дышал и барахтался уже из последних сил. Хорошо помню, что в этот момент Джеймс и сам был похож на утопленника — весь промокший, и с головы потоками льется вода. Если могли у меня быть тогда какие-нибудь мысли, одной из них, кажется, было: «Значит, Джеймс тоже тонет». Но подумалось это почему-то без отчаяния. Потом Джеймс, уже соскальзывая в водоворот, отделился от скалы, как гусеница. Словно что-то клейкое нарочно отклеилось. Он не схватил руку, которую я беспомощно тянул к нему, а, склонившись надо мной, подхватил меня под мышки, как я и записал. Теперь я помнил и прикосновение его рук, и то диковинное чувство, про которое я написал, что словно поднялся «на лифте». Не

помню, чтобы меня тащили вверх, ничьих усилий я не ощущал. Я поднимался, пока голова моя не оказалась на одном уровне с головой Джеймса, а тело прижалось к его телу. Помню ощущение тепла и что именно тут я потерял сознание.

Но разве не было удара по голове и разве я не страдаю от контузии? Я притронулся к затылку и нащупал порядочных размеров и все еще болезненную шишку. Конечно, удариться головой я мог и раньше, не теряя сознания. А когда же я видел змея, если вообще его видел? А Джеймс тоже видел его? И почему в моей записи нет ни слова о змее? И что я еще хотел написать? Конечно, если я ударился головой сразу после того, как увидел змея, я мог уже забыть об этом, когда начал писать, хотя процедуру спасения еще помнил. А почему позднее я и это забыл и почему вспомнил именно сейчас?

Я вскочил, до крайности возбужденный. Воспоминание о подвиге Джеймса — это-то не было галлюцинацией. Как-то я ведь выбрался из этой смертельной пенной ловушки? Только сегодня, глядя на нее, я лишний раз убедился, что никакая человеческая сила не могла меня оттуда вызволить и волны не могли вынести на ровное место. Мой кузен спас меня, призвав на помощь то уме-

ние, которое так пренебрежительно именовал «фокусами». Я опять вспомнил историю про шерпа, которого Джеймс надеялся уберечь такими «фокусами». Усомнился ли я тогда в возможности поднять температуру тела путем душевного напряжения? Я об этом и не задумался. В этой истории можно и не усмотреть ничего сверхъестественного. Просто двое прижались друг к другу, чтобы согреться — в палатке, в спальном мешке, в снегу, — и один из них умер. Заинтересовало меня тогда другое: попытка Джеймса не удалась. А что до самого метода, то теперь мне уже не казалось невероятным, что какой-нибудь мрачный восточный аскет научился управлять температурой своего тела. Но сползти по отвесной скале и стоять на бушующих волнах (или, как мне теперь вспомнилось, чуть ниже их поверхности) и поднять человека весом в семьдесят килограммов на высоту в шестнадцать-двадцать футов, просто ухватив его под мышки, — в такое поверить скептику из западного мира было куда труднее. И однако же я это помнил. И даже записал для памяти. И что-то более чем странное, безусловно, произошло.

Я снова сел, стараясь дышать ровнее, и при мысли, что мой кузен применил свои оккульт-

ные способности для спасения моей жизни, вдруг преисполнился пронзительной, чистой и нежной радости, словно небеса разверзлись и оттуда хлынул поток белого сияния. Я почувствовал себя Данаей. Когда после нашего последнего разговора с Джеймсом мне почудилось, что теперь между нами установятся новые, более близкие отношения, это было лишь слабым предчувствием того, что я испытал теперь. И еще мне почему-то подумалось: вот забавно-то! И вспомнились слова Джеймса: «Как весело нам бывало!» И захотелось поблагодарить его, смеясь от радости.

Я посмотрел на часы. Только начало двенадцатого, еще не поздно позвонить. Я схватил свечу и побежал в книжную комнату, задыхаясь и что-то выкрикивая от волнения. Я набрал номер Джеймса. Я понятия не имел, что скажу ему, только думал, не забыть бы спросить, видел ли он морского змея. Послышались гудки, и с каждым новым гудком возбуждение мое убывало, сменяясь разочарованием. Неужели он уже уехал в Тибет? Или просто вышел из дому, обедает в каком-нибудь клубе с каким-нибудь другом-военным? Бог ты мой, как мало я знаю о его жизни! Я решил позвонить еще раз утром и тут же поехать в Лондон.

Я вернулся в кухню, отпер и распахнул заднюю дверь. Холодный страх, сковавший меня раньше, исчез бесследно. Я вышел на лужайку. В доме было темно и знойно, но здесь все было видно и воздух теплее. Я решил переночевать на воле, сходил в книжную комнату за подушками, а сверху принес одеяла. Добрался до того места у берега, где спал в прошлый раз, и устроил себе ложе. Потом вернулся к дому, где в окне красной комнаты приветливо мерцали свечи. В небе, хоть и померкшем, еще не видны были звезды, сияла только вечерняя звезда, зубчатая и огромная. Луна, бледная, как сыр, стояла низко над горизонтом.

Я вошел в красную комнату, где свечи, как на алтаре, возвышались по обе стороны моего стакана и почти пустой бутылки, вылил остатки вина в стакан и стал размышлять. Припомнил кое-что еще. Никто из остальных, конечно же, не заметил ничего странного, Перегрин сказал, что толкнул меня и пошел дальше. Он был очень пьян и, вполне возможно, действительно не знал, что случилось. К тому времени, когда все забили тревогу, я уже лежал у моста и Джеймс старался оживить меня. Джеймса я толком не расспросил, потому что сразу после этого он за-

болел, почувствовал резкий упадок сил и залег в постель. Почему он так изнемог? Потому что столько вытерпел, спасая меня, потратил столько физических и душевных сил на это немыслимое нисхождение. Я вспомнил его слова насчет того, что эти фокусы бывают «очень утомительны». Немудрено, что он совсем расклеился. Но раз так… «Я ослабил свою власть над ним, я сдал…» О ком говорил Джеймс в тот вечер, когда я слушал его в полусне, о своем шерпе или… или о Титусе? Как случилось, что Титус пришел ко мне именно в это время? Зачем Джеймсу понадобилось знать, как его зовут? Имя — это путь. И почему Титус сказал, что видел Джеймса во сне? Джеймс всегда умел найти любую пропажу. Может быть, он протянул какое-то духовное щупальце, нашел Титуса, и привел его сюда, и держал его, так сказать, под надзором на какой-то нитке, на нитке внимания, которая оборвалась, когда Джеймс так непонятно заболел, после того как поднял меня из моря? На смерть Титуса Джеймс отозвался фразой: «Это не должно было случиться», словно считал себя в ней повинным. Но если это была его вина, то почему не моя? Существует неумолимая причинность греха, и вполне можно сказать, что Титус погиб потому, что много-много лет назад я

увел Розину у Перегрина. И конечно же, Титуса убило мое тщеславие, точно так же, как тщеславие Джеймса убило шерпа. В обоих случаях наша слабость сгубила самое для нас дорогое. Теперь я вспомнил и еще кое-что из сказанного Джеймсом. «Белая магия — это черная магия. Неумелое вторжение в чей-то духовный мир может породить чудовищ для других людей, и демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед». Что, если один из этих демонов, с помощью которых Джеймс меня спас, воспользовался предельной усталостью Джеймса, чтобы схватить Титуса и размозжить его юную голову о скалы?

Мысли эти были так сумбурны и таили такой страшный смысл, что я решил — хватит думать, попробую заснуть. Я чувствовал, что, несмотря ни на что, спать буду крепко. Больше всего мне хотелось поговорить обо всем этом с Джеймсом или, на худой конец, если он уже уехал, написать ему. Но как мне узнать его адрес, оставил ли он какой-нибудь адрес? Ведь у нас нет общих знакомых, кроме Тоби Элсмира, а Тоби не раз давал понять, что теряется в догадках относительно того, где находится Джеймс и чем он занят. Попробовать обратиться в какой-нибудь армейский

штаб или в Министерство обороны? Но там, конечно, скажут, что им «ничего не известно».

Я допил вино. От огня осталась только кучка золы в неярких красных мазках. Я глубоко вздохнул при мысли о стольких впустую потраченных годах, когда нас с Джеймсом могла бы связывать настоящая дружба, а не просто родственные отношения, натянутые и неловкие, или, пожалуй, скорее даже вражда. Я подсел ближе к столу и порылся в куче нераспечатанных писем — не увижу ли какой-нибудь знакомый почерк. От Джеймса, разумеется, ничего не было, его почерк я бы сразу узнал. Может быть, Сидни захотелось дать мне свою версию истории с «молодой актрисой»? Внимание мое задержалось на письме с лондонским штемпелем, адресованном «М-ру Ч. Эрроуби» человеком, явно непривычным к латинскому алфавиту. Я пододвинул его к себе и открыл. Написано оно было, судя по дате, два дня назад и гласило:

Многоуважаемый мистер Эрроуби!

С прискорбием я вынужден сообщить Вам печальную новость. Я не нашел в справочнике Ваш номер телефона. Но Вы можете позвонить по телефону мне,

номер есть на этой бумаге. Печальная новость такая: скончался Ваш кузен мистер Джеймс Эрроуби. Я его врач. Он оставил мне записку, что вы его кузен и наследник и чтобы я сам известил Вас о его кончине. Я это и делаю. И еще хочу сообщить нечто только Вам. Мистер Эрроуби умер спокойно и тихо. Он пригласил меня к себе по телефону и, когда я приехал, был уже мертв, а дверь оставил открытой. Он сидел в своем кресле и улыбался. Я должен Вам это сказать. Случайно, но и не случайно, я оказался его врачом. Я индиец, из Дехрадуна. Когда я познакомился с мистером Эрроуби, мне сразу стало ясно, что он многое знает. Может быть, Вы меня поймете. У меня было предчувствие насчет него, и когда я к нему приехал, то понял, что случилось. В Северной Индии я видел такие смерти и говорю это Вам, чтобы Вы не слишком горевали. Мистер Эрроуби умер счастливый, достигнув всего. В свидетельстве я написал причину смерти – «сердечная недостаточность», но это было не так. Есть люди, которые могут выбрать час

своей смерти и умереть не от физических причин, а одной силой воли. Так было и с ним. Я посмотрел на него с великим почтением и склонился перед ним. Он умер без страданий, потушив свое сознание силой собственной мысли. Это хорошая смерть. Поверьте мне, сэр, он познал озарение.

Буду к Вашим услугам по данному номеру телефона. С самыми покорными пожеланиями остаюсь преданный Вам

П. Р. Цанг.

Я прочел это письмо дважды, и на меня снизошел грозный холодный покой, и я долго сидел неподвижно, как статуя. Мне и в голову не пришло заподозрить в этом странном письме обман или ошибку. Я не сомневался, что Джеймс умер. Он умер тихо, легким нажатием мысли навсегда погасил беспокойно мерцающий огонь сознания. Я ощутил глубокую печаль — она свернулась клубком и затаилась, словно боясь пошевелиться. И еще я испытал странное новое, никогда прежде не испытанное чувство, которое не сразу распознал как одиночество. Без Джеймса я наконец остался совсем один. Как же много для

меня всегда значило его присутствие в этом мире — словно он был мне не просто родственником, а братом-близнецом.

До полуночи оставалось всего несколько минут. Да, завтра мне не миновать ехать в Лондон. И я растерянно спросил себя, что же было дальше, что с ним сделали? Или он так и сидит в своем кресле мертвый, с этой своей глуповатой улыбкой на лице?

Я встал и хотел было идти наверх, но вспомнил, что приготовил себе постель на скалах, и решил идти туда. Ночь была теплая, и стемнело ровно настолько, что стали видны редкие звезды и бледная размытая арка Млечного Пути. Но какой-то рассеянный свет еще исходил от неба, и я вспомнил, что сегодня, кажется, самый длинный день в году. Я без особого риска проделал путь по скалам, которые успел так хорошо изучить, только раз нога съехала в озерко. Вода в озерке была теплая. Я нашел свое жесткое ложе и растянулся на нем, в рубашке и в брюках, сняв только ботинки. Голову я пристроил так, чтобы мне виден был горизонт, обозначенный одной темной линией и одной серебряной. Волны тихо плескались внизу, как о борт медленно скользящей лодки.

Почему Джеймс умер, почему решил умереть

сейчас? Была ли на то непосредственная причина, которую я мог бы понять, или это часть какой-то обширной жизненной программы моего кузена, совершенно для меня непостижимой? Одна за другой рождались нелепые догадки. Может быть, это как-то связано с Лиззи? Нет, исключено. Или с Титусом? Может, он вообразил, что повинен в смерти Титуса, и его замучило раскаяние? Я даже готов был допустить, что Джеймс действительно знал Титуса раньше, а возможно, и был тем таинственным незнакомцем, который обучил Титуса светским манерам и подарил ему стихи Данте. Но это было немыслимо, о таком обмане нельзя было и думать всерьез. Лежа на спине и глядя в небо, я увидел, как золотой спутник не спеша и как бы прилежно пустился в дорогу по небесной дуге, словно спокойно улетающая душа. Джеймс сказал, что ему предстоит путешествие. Путешествие в смерть. Это и был его последний «фокус».

Нет, я не мог связать этот уход ни с какой отдельной понятной причиной. Решение Джеймса возникло в каком-то другом плане существования, коренилось в совсем иной плоскости духовных приключений и злоключений. Какой бы «изъян» ни вызвал, как представлялось Джеймсу, смерть его шерпы, то была лишь часть

некой более общей картины. Религия — сила, иначе и быть не может, и, однако же, в этом ее проклятие. Применение силы — опасная забава. Может быть, Джеймсу просто захотелось сбросить с себя груз мистики, которая не сработала, духовности, которая каким-то образом выродилась в магию. Что, если он сам себе стал противен, потому что был вынужден употребить свою «силу» для спасения моей жизни? Было ли то последней каплей и в конечном счете во всем повинен я? Оказался ли я неблагодарным грузом, роковой привязанностью? И тут я с грустью понял, что могло означать его последнее посещение. Джеймс пришел помириться со мной, но не ради меня, а ради себя, чтобы не упрочить узы, а разорвать их. Он знал, что мы беседуем в последний раз, потому и был такой раскованный, искренний, такой, как никогда, откровенный и кроткий. Его привело желание не просто помириться, а избавиться от последней неотвязной заботы. Тревога, а может быть, чувство вины в связи с его злосчастным кузеном могло затуманить безоблачно спокойный уход, на который он, возможно, уже давно решился.

Как-то прошло это расставание с жизнью, подумалось мне. Посетило ли его видение «всей

реальности», которая открывается человеку в минуту смерти и которой нужно немедля воспользоваться? Поспешил он на это свидание с радостью и теперь в своей блаженной обители «свободен», что бы это ни значило? Или его, больного и слабого, как тень Ахилла, заточили в некое чистилище искупать грехи, каких я и вообразить не могу? Скитается ли он в каком-то темном, кишащем чудовищами «бардо», где встречает подобия людей, которых некогда знал, и его пугают демоны? «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» Как можно выбраться из «бардо»? Я не помнил, что Джеймс ответил мне на этот вопрос. Почему я не попросил его объяснить? Может быть, он там встретит и меня в образе какого-нибудь неотступного ужаса, мерзкого призрака, меня, каким я ему представлялся? Если так, молю Бога, чтобы он, когда достигнет освобождения, не забыл меня, но, исполнившись жалости и сострадания, узнал правду. Что бы все это ни значило.

Пока я лежал, прислушиваясь к легкому плеску волн и думая эти невеселые странные думы, надо мной загоралось все больше звезд, они уже слились с краями Млечного Пути и заполнили все небо. И далеко-далеко в этом золотом океане

отдельные звезды беззвучно падали и погибали среди сонма сплошных золотых огней. И тихо, одна за другой, раздвигались прозрачные завесы, а за ними были еще звезды, и еще, и еще, как в волшебном «Одеоне» моей юности. И я заглянул в бескрайний купол Вселенной, пока она медленно выворачивалась наизнанку. Я заснул, и во сне мне слышалось пение.

Когда я проснулся, занималась заря. Мириады звезд исчезли, небо было туманное, чуть голубое, сверху лился необъятный, ровный, прохладный матовый свет, солнце еще не встало. Ясно были видны скалы, еще не тронутые красками. Море застыло — гладкое, серое, неподвижное, ограниченное на горизонте лишь тончайшей, еле видной линией. Стояла полная тишина, впрочем, не мертвая — мчащаяся в пространстве планета словно дышала. Я вспомнил, что умер Джеймс. Кто она, наша первая любовь? Как знать.

Я приподнялся и, стоя на коленях, стал стряхивать подушки и одеяла, намокшие от росы. И вдруг из воды до меня донесся какой-то звук, неожиданный и пугающий в этой тишине, — внезапный, довольно громкий плеск, точно под самой моей скалой что-то хотело всплыть, может быть, вылезти на берег. Поборов минутный страх,

я повернулся и перевесился через край обрыва. И увидел перед собой четырех тюленей, с любопытством задравших кверху мокрые собачьи морды. Они плавали так близко от берега, что я, кажется, мог бы до них дотянуться. Я смотрел вниз на их острые мордочки всего в нескольких футах подо мной, усы, с которых стекала вода, внимательные круглые глаза и лоснящиеся, грациозно изгибающиеся мокрые спины. Они резвились, тихонько пофыркивая и чавкая и все время глядя на меня. И, наблюдая за их игрой, я не сомневался, что это доброжелательные создания, явившиеся проведать меня и благословить.

Постскриптум. Жизнь продолжается

На этом, в сущности, моя повесть должна бы кончиться, в ней теперь есть все — тюлени и звезды, объяснение, смирение, покорность судьбе, и все озарено неким высшим, хоть и неясным смыслом, ум спокоен, и страсти улеглись. Однако жизнь, в отличие от искусства, обладает досадным свойством — хоть и спотыкаясь и прихрамывая, двигаться все дальше, сводя насмарку моральные перерождения, ставя под сомнение разгадки и вообще показывая полную невозможность жить праведно и счастливо до последнего вздоха; вот я и решил, что стоит еще немного продлить мою историю, теперь уже снова в форме дневника, хотя мне ясно, что, поскольку это книга, автору придется так или иначе ее закончить, и притом очень скоро. В частности, мне подумалось, что нельзя ставить точку, не описав похорон Джеймса, хотя похороны Джеймса были таким антисобытием, что описывать, собственно, нечего. И еще мне подумалось, что надо воспользоваться случаем и связать кое-какие повисшие

концы, хотя как следует связать повисшие концы, разумеется, невозможно — все время появляются новые. Время, как море, развязывает любые узлы. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Человеческие воззрения — это всего лишь повисшие концы и туманные выкладки, что бы ни утверждало искусство нам в утешение.

На дворе август — не золотой провансальский август, каким он видится английскому воображению, а обычный прохладный лондонский август, и в конце моей улицы ветер гонит Темзу к морю. Да, да, я теперь живу в квартире Джеймса. Юридически это теперь моя квартира, но на самом деле она как была квартирой Джеймса, так и осталась. Я не решаюсь ничего здесь изменить. Едва решаюсь что-то передвинуть. Кумиры «народных суеверий» окружают меня. Часть самых диковинных фетишей я осмелился убрать в шкаф, надеюсь, они на меня не обиделись, и снял стеклянные подвески в холле, потому что их звон не давал мне спать. А замысловатая деревянная шкатулка с плененным демоном так и высится на своем кронштейне. (Джеймс не отрицал, что в ней сидит демон, на мой вопрос он тогда только

посмеялся.) И бесчисленные Будды все на месте, только одного я подарил Тоби Элсмиру, потому что его, видимо, задело, что Джеймс не упомянул его в завещании. По завещанию все досталось мне, а на тот случай, что я умру раньше Джеймса, — Британскому буддийскому обществу. Им я тоже подарил одного Будду.

Сегодня опять получил от агента недовольное, с недомолвками письмо. Шрафф-Энд продается. Я не провел там ни одной ночи после той ночи со звездами, когда утром приплыли тюлени. Пока я отбирал, что взять с собой, я жил в отеле «Ворон». Из моего номера была видна башня, а дом — нет. Никто как будто не хочет его покупать, то ли из-за сырости, то ли по другим причинам. Аркрайты с фермы Аморн, у которых хранятся ключи, обещали отремонтировать крышу, но, по словам агента, ничего не сделали. К счастью, деньги мне срочно не требуются — по завещанию Джеймса я более чем обеспечен.

Так вот, нужно все-таки описать похороны Джеймса. Они были до странности никакие. К счастью, мне не пришлось заниматься их организацией. Все хлопоты взял на себя некий полковник Блекторн, который и появился с этой

целью, а затем исчез. Когда я приехал в Лондон наутро после получения письма от врача, я застал в квартире Джеймса и самого врача, и полковника Блекторна. Полковник объяснил мне, что взял на себя приготовления к похоронам (кремации), потому что они не могли связаться со мной, но что если это не отвечает моим пожеланиям… Я сказал, что отвечает. Я хотел поговорить с врачом, но он стушевался, пока полковник еще объяснял мне, как проехать в крематорий. Джеймса, благодарение богу, уже перевезли в «часовню упокоения». Я не поехал его навещать.

Кремация состоялась два дня спустя в одном из новых парков на севере Лондона. После впечатления, что ты окружен людьми, какое бывает на кладбищах, в этих «садах воспоминаний» ощущаешь какую-то унылую пустоту. В церемонии не было ни красоты, ни тепла, к тому же персонал поторапливал, а до этого нас заставили ждать, пока они там управлялись с предыдущим «клиентом». Уважаемый полковник, безусловно, проявил предусмотрительность, заранее абонировав для нас «щель». Он и сам приехал, и врач тоже. Приехал и Тоби Элсмир, видимо не на шутку расстроенный. До этого (да и после этого) я не задумывался над его отношениями с Джеймсом,

но, каковы бы они ни были, зародились они, надо полагать, в далеком прошлом. Джеймс и Тоби не только вместе служили в армии, они вместе учились в школе. Возможно, в школьные годы Тоби им восхищался, а такое восхищение иногда сохраняется на всю жизнь. Появилось еще четверо мужчин в элегантных черных костюмах, скорее всего военные. Они, очевидно, не знали, кто я такой, и Тоби с ними не был знаком. С Тоби мы обменялись несколькими словами, а больше со мной никто и не заговаривал. Вся процедура заняла считаные минуты. Никаких молитв, конечно, не было, только поиграла тихая, вялая музыка, да постояли в молчании, пока какой-то служащий не нарушил его, с шумом распахнув дверь в глубине зала. Тут я пожалел, что не позаботился о более торжественной церемонии. Впрочем, любой обряд, который я мог бы предложить, вероятно, оскорбил бы душу Джеймса. Жаль только, что у меня недостало ума заказать в его память какую-нибудь хорошую музыку.

Мы вышли в парк. Полковник Блекторн пожал мне руку. Все стали разъезжаться. Я опять хотел поговорить с врачом, но он сказал, что его ждут в больнице. Может, он немного нервничал из-за свидетельства о смерти. Тоби из вежливости

предложил подвезти меня в своей машине, но я отказался. Думаю, что ему тоже хотелось побыть одному. Я долго бродил по всяким глухим печальным переулкам и даже заблудился.

Только что нашел в одном из ящиков в кухне тот молоток, который я пытался починить, когда Джеймс в последний раз явился в Шрафф-Энд. Видимо, он от греха увез его с собой. Кухня мне нравится. При ней есть просторная кладовая, которую я нашел совершенно пустой. А из окна видна Бэттерсийская электростанция, вечером напоминающая какой-то ассирийский памятник.

Свою квартиру в Шепердс-Буше я продал и часть обстановки перевез сюда. Привез я свое добро и из Шрафф-Энда, но из имущества миссис Чорни не захватил ничего, устоял даже перед искушением оставить себе овальную раму от зеркала, которое разбила Розина, — новое зеркало я в нее так и не вставил. Большую часть своих вещей я убрал к Джеймсу в гардеробную. Теперь в храме Джеймса это маленькая часовня Чарльза. Иногда я захожу туда посидеть. Ящики с книгами так и стоят нераспакованные в холле. Одежда моя почти вся в чемоданах — не хватает духу разобрать аккуратно развешанные, аккуратно

сложенные вещи Джеймса. Большой гардероб в его спальне — как дверь в другой мир. Не могу сказать, чтобы в этой квартире я чувствовал себя дома, но жить где-то еще — это для меня исключено. Иногда мне просто не верится, что его здесь нет. Вчера вечером я был так убежден, что он в соседней комнате, что пошел проверить.

В пятницу побывал у Лиззи и Гилберта в их квартирке в Голдерс-Грин. Я время от времени их навещаю, и они потчуют меня замысловатыми пахучими блюдами, на приготовление которых тратят целые дни. Гилберт пользуется большим успехом в роли комического героя нелепой и нескончаемой многосерийной телепередачи. Впервые в жизни к нему пришла известность, люди подходят к нему на улице поздороваться. Даже критики сравнивают его с Уилфридом Даннингом, что, конечно, глупо. У Лиззи вид довольный. Она бросила работу в больнице и пополнела. Оба они все толкуют о том, как когда-нибудь мы поселимся в одном доме, я буду жить наверху, а они внизу, на правах дворецкого и экономки. Мы шутим на эту тему.

Кажется, они начинают обращаться со мной как с больным стариком. Они считают, что жить в квартире Джеймса — это ужас. К себе я их, конеч-

но, не приглашаю. Я никого сюда не приглашаю.

Не иначе как я вхожу в роль холостого дядюшки-исповедника. Вчера я водил в кафе мою секретаршу мисс Кауфман (не уверен, упоминал ли я о ней) и выслушал грустную историю о ее престарелой матери. А потом угощал завтраком в дешевом ресторане Розмэри Эш и узнал все как есть про Сидни и Мабель. Мабель двадцать лет. Розмэри все не теряет надежды, что Сидни одумается. Дети в восторге от Канады. Розмэри считает, что на ее развод они смотрят слишком философски. Я с удовольствием убедился, что события в Шрафф-Энде Розмэри представляет себе очень смутно, и не стал ее просвещать. По ее сведениям, я подвергся преследованиям какой-то сумасшедшей местной жительницы, и еще утонул мальчик из Гилбертовых дружков. К счастью, она была не в настроении обсуждать мои проблемы.

Сейчас поздний вечер. Будды словно смотрят на меня, хотя я знаю, что под опущенными веками зримый мир им не виден. В квартире очень пыльно, я еще не рискую договориться с уборщицей. Кое-где по верхам я сам стираю пыль, но двигать предметы с места на место избегаю, среди них есть бьющиеся. Особенно опасливо я отношусь

к шкатулке с демоном на высоком кронштейне! Не становится ли квартира все более похожей на музей по мере того, как дух Джеймса все дальше от нее отлетает? Обжитая мною территория не расширяется. Ем я в кухне, оттуда спешу обратно к этому столу в гостиной. Одеваюсь в холле. Сплю в большей из двух запасных спален. В постель Джеймса я, разумеется, не решаюсь ложиться. Его прекрасная спальня стоит пустая, я затворил туда дверь.

Я вступил наконец во владение столом и сосредоточил на нем те из соблазнительных нефритовых зверюшек, которые мне особенно нравятся. Пресс-папье для писем и бумаг (мисс Кауфман, спасибо ей, все еще мне помогает) служат два камня — тот розовый с узором, который я подарил Хартли, и коричневый с голубыми прожилками, который я подарил Джеймсу. Мне было приятно увидеть его здесь, когда я приехал. Я часто беру в руки то один из этих камней, то другой. Пристроил я на столе и два снимка — тот, на котором дядя Авель танцует с тетей Эстеллой, и снимок Клемент в молодости, в роли Корделии. Ни одной подходящей фотографии родителей мне не попалось, и, конечно, недавних снимков Джеймса тоже нет. Ясно, что к своему

путешествию Джеймс готовился в высшей степени тщательно. В квартире не осталось никаких личных бумаг (может быть, полковник Блекторн что-нибудь изъял?). Не осталось никаких интересных реликвий — ни старых писем, ни снимков, ни счетов. Завещание лежало в тонком, перевязанном ниткой конверте вместе с выпиской из банка касательно помещения капитала. Ничто не указывало на консультации с поверенным. Завещание Джеймс писал собственноручно. Оба свидетеля, судя по подписям, были люди без образования. Довольно долго я почему-то воображал, что где-то спрятано письмо, адресованное мне. Я искал его всюду, заглядывал даже в щели в стенах.

Вчера на небольшом сборище у Лиззи и Гилберта кто-то рассказал, что у Перегрина дела с театром в Лондондерри идут хорошо, а его выступления за мир в Ирландии снискали ему широкую известность. Розина от него не отстает и, по слухам, увлечена политикой и идеей власти. Гилберт говорит, что затея Фрицци с «Одиссеей» провалилась.

Да, я теперь бываю в гостях. Я разъезжаю по Лондону, ем, пью и судачу, точно я самый обыкновенный человек. А разве это не так? Хотел

бы я знать, что сталось с тем драгоценным талисманом, который я собирался развернуть в уединенной пещере у моря.

Наверно, это признак старости, что я целыми днями занят, хотя толком ничего не делаю. Дневник мой все тянется, он мне служит товарищем, создает иллюзию занятости. У меня появилось тревожное ощущение, что до того, как его закончить, я должен подвести некий итог моим размышлениям… о чем? Это меня отпугивает. Тут столько боли. Боль я не записывал.

Каким же эгоистом я, должно быть, предстаю на этих страницах! Но разве я один такой? Ведь все мы живем в свете самоудовлетворения, ради какой-то тайной, неугомонной внутренней сущности, еще более непостижимой, чем наш разум. Иначе мы и не можем жить, если только мы не святые, а есть ли среди нас святые? Бывают люди духовного склада, Джеймс, пожалуй, был из их числа, но святых нет.

Ну что ж, попробую поразмышлять, но не сегодня, в другой раз. Когда с этим будет покончено, напишу ли я что-нибудь еще? Историю Клемент? Или эту книгу о театре, столь нужную многим, как уверяют мои добрые друзья? Или я просто буду сидеть у огня и читать Шекспира, возвращаясь

домой, туда, где магия не чурается действительности и не превращает ее в мельчайшие частицы, годные разве что на игрушки для эльфов? Пусть святых и нет, но есть по меньшей мере одно доказательство, что свет самоудовлетворения способен озарить весь мир.

Пришло несколько писем на имя Джеймса, но все — от ученых. Мой кузен, оказывается, был известным востоковедом и переписывался с учеными коллегами во всем мире. Письма я переслал сотруднику Британского музея, который справлялся у меня по телефону о судьбе Джеймсовых книг. Я пригласил его приехать и посмотреть книги, и он был у меня вчера. При виде всего, что накоплено в этой квартире, он чуть не лишился сознания от волнения и жадности.

Ума не приложу, что делать со стихами Джеймса. Да, да, со стихами! О них я, кажется, еще не упоминал. Выходит, что Джеймс выполнил-таки свои намерения: служил в армии и стал поэтом. Вот здесь, в верхнем ящике письменного стола, они и лежали и до сих пор лежат; аккуратно напечатанные на машинке, заполняют несколько больших тетрадей с отрывными листами. Это, безусловно, «личная реликвия», но без сопро-

водительного письма, без каких-либо указаний насчет того, как с ней поступить. Тоби Элсмир, который, как я, кажется, упоминал, заделался теперь издателем, прослышал об их существовании и дважды звонил мне по этому поводу. Возможно, Джеймс когда-нибудь упомянул о них в разговоре. Тоби их не видел, и я их ему не показал. Я и сам не могу заставить себя их прочесть или хотя бы просмотреть — боюсь, что они окажутся до неприличия слабыми! Я, кажется, предпочел бы так и уничтожить их, не читая.

Мне пришло в голову, что единственные поэтические строки, которые Джеймс при мне цитировал, и притом нередко, были такие: «На все сомненья один ответ — у нас есть „максим“, а у них его нет!»

Разумеется, этот болтливый дневник — всего лишь фасад, некое литературное подобие неизменной улыбки, за которой скрываются душевные травмы, нанесенные ревностью, раскаянием, страхом и сознанием непоправимого морального крушения. Однако такое притворство не только утешает, оно способно даже породить кое-какое эрзац-мужество.

Получил еще одно письмо от Анджи, в нем еще один снимок и повторено то же любезное

предложение.

Постепенно Лондоном завладевает осень. Както удивительно рано она наступила. Листья платанов, желтые, красные, ярко-пятнистые, усеяли мокрые тротуары. В магазинах появился оранжевый пепин. Я покупаю эти яблоки и складываю на верхней полке в кладовой. Каждое утро и каждый вечер я дохожу до набережной и смотрю на буйное небо над величественными башнями Бэттерсийской электростанции и на Темзу с ее вечной сменой приливов и отливов. Я жду. Перегрин должен получить какую-то награду за свои заслуги по защите мира. Розина в командировке в Америке. Я завтракал в ресторанах с Розмэри, с мисс Кауфман, с бедным старым Фабианом и с темпераментным молодым актером по имени Эразм Блик, не говоря уже о том, что всякие театральные люди не отстают от меня с уговорами вернуться на старую дорожку. Когда они наконец поймут, что это мне неинтересно? Телефон я заставил умолкнуть с помощью бумажной прокладки. В театре не был ни разу, не ходил даже смотреть мистера Блика в роли Гамлета, хотя все уверяют, что это нечто из ряда вон выходящее.

Да, интересно, напишу я когда-нибудь книгу о Клемент? Этот мой роман-дневник как будто навсегда занял место, которое я мог бы ей уделить. Как подумаешь, до чего же это несправедливо. В Клемент была реальность моей жизни, ее хлеб и вино. Она меня сделала, изобрела меня, сотворила, она была моим университетом, моим партнером, учителем, моей матерью, а позже — моим ребенком, родною душой, моей владычицей. Это из-за нее, а не из-за Хартли я так и не женился. И уж конечно, из-за нее я не искал и не нашел Хартли в тот период, когда найти ее было бы совсем не трудно. Почему я тогда прекратил поиски? Все из-за Клемент. Мне запомнилось, что безумная тоска по исчезнувшей Хартли не оставляла меня еще долго и в царствование Клемент, но тут память, видно, меня обманывает. Могла ли Клемент не исцелить меня? Клемент, когда я с ней познакомился, была ослепительна — красавица, умница, в расцвете славы; и еще молодая, хотя мне она казалась старой. Мне было двадцать лет. Ей — лет тридцать девять, сорок. Боже мой, меньше, чем Лиззи сейчас! Когда я с ней познакомился, я был зеленым юнцом, нескладным, невежественным, просто чудо, что она вообще обратила на меня внимание. Позже я бывал с ней

холоден, ее властность раздражала меня, я тяготился ее любовью. Я уходил, и она уходила, но я всегда возвращался, и она тоже. По-настоящему мы не расставались, а в конце, когда она умирала, я всех остальных от нее отвадил.

Умирала Клемент долго. Газетные заголовки были набраны еще месяца за два. Я лежал рядом с ней на постели и гладил ее по лицу, которое за самое последнее время как-то сразу избороздили морщины боли и страха. Пальцы мои до сих пор хранят память об этих мягких морщинах, то и дело наполнявшихся беззвучными слезами. Она сказала, что хочет умереть в буре звуков, и много дней подряд мы включали записи Вагнера, и пили виски, и вместе ждали. Такого странного ожидания больше не было в моей жизни, его и ожиданием-то не назовешь. Оттого, что мы не покидали друг друга, время как бы переставало существовать. А разделял нас страх — ее страх, мой страх перед тем, что должно случиться, два отдельных щемящих страха, которые мы старались преодолеть, неустанно проявляя друг к другу внимание, кладя руку на сердце друг друга. Устав, мы выключали музыку, плакали и продолжали ждать. О господи, слезы Клемент, сколько я их насмотрелся и как они мне бывали противны. А

теперь я чувствовал, что они приобщают меня к лику святых, и в течение месяца так оно, возможно, и было. В конце концов она умерла, когда я спал. Каждое утро я был готов к тому, что найду ее мертвой, а потом убеждался, что она еще дышит, потому что чуть заметно вздымалось и опадало одеяло, прикрывавшее ее тело, высохшее, совсем маленькое. А потом настал день, когда одеяло было неподвижно и я увидел, что глаза у нее открыты и лицо стало другое.

Это время, когда мы заранее ее оплакивали, было совсем не похоже на черный ужас самой смерти. Плакали мы вместе, стараясь облегчить друг другу боль. Но эта общая, разделенная боль была ничто по сравнению с мукой ее исчезновения, со страшной мыслью, что она не вернется. Ни одна смерть не похожа на другую, но каждая вводит нас в тот же мир, в мир, куда мы так редко вступаем, где нам становится ясной вся никчемность того, за чем мы так долго гнались и так скоро опять устремимся в погоню.

Я не собирался писать о смерти Клемент. Это оказалось невыносимо тяжело и до сих пор меня мучит, хотя прошло уже несколько дней. Тогда я, конечно, оправился от утраты, вероятно, даже довольно быстро. Она завещала мне свои деньги,

но после нее не осталось ничего, одни долги.

С тех пор как я заглушил свой телефон, я получаю меньше приглашений. Во всяком случае, мое возвращение в Лондон, надо думать, перестало волновать умы. В последнее время я провожу вечера дома, пью вино и слушаю по радио музыку, почти любую. У меня есть проигрыватель, но он сломался при переезде. На ужин готовлю себе рис, или чечевицу, или тушеную капусту. Съедаю яблоко и рано ложусь спать, совершенно пьяный. Задатков алкоголика во мне, по-моему, нет. Чувствую боль в груди, но это, думаю, как-то связано с Клемент.

А не был ли Джеймс сумасшедшим? Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно. Такая гипотеза много чего могла бы объяснить, например его иллюзию, будто он вытащил меня из водоворота с помощью какой-то сверхъестественной силы. Впрочем, что я, ведь это уж была бы не его, а моя иллюзия? Может быть, это я сумасшедший? Что я пьян — это факт, и дремота меня одолевает. Я уже пересидел свое время. Будды надвигаются на меня. Спать, спать.

Дальнейшие размышления о Джеймсе открыли мне одну очевидную истину. Джеймс вовсе не умер, он просто ушел в подполье. Весь этот

спектакль был организован службой разведки! В то время я был так расстроен, что и не заметил, как все это подозрительно. Мертвым я Джеймса не видел. Когда я приехал, всем уже распоряжался таинственный полковник Блекторн и «тело» уже увезли. Я даже не удосужился спросить, кто же его опознал. Неуловимый врач-индиец тоже, конечно, был на жалованье у британской разведывательной службы. Его письмо — шедевр умышленной непонятности. Оно меня так озадачило и потрясло, что я просто неспособен был задуматься над тем, как все это странно. Когда я в последний раз видел Джеймса, он был совершенно здоров. Что он убил себя по собственной воле — такая же чушь, как и то, что он ходил по воде. Я только что вспомнил, что и паспорта его в квартире не было. Где же он теперь, мой кузен? Не в чистилище, не в нирване, а следует верхом на армейском яке на снежное рандеву с каким-нибудь косоглазым осведомителем!

После того как была сделана предыдущая запись, я заметил, что по ближайшим улицам шныряют какие-то восточного вида личности. Надеюсь, это не «другая сторона» и они не принимают меня за Джеймса? А вот тот старик из племени тульпа — тот наверняка был тайным

агентом, потому Джеймс и был так недоволен, что я увидел его.

Страшная, потрясающая новость: Перегрин убит террористами в Лондондерри. До сих пор не могу поверить. Только теперь я понял, что воспринимал его деятельность как забаву. Есть люди, которые всю свою жизнь играют комедию. Но смерть — это уже не комедия, да и не трагедия, если на то пошло. Опять меня коснулся этот черный ужас, это горе, которое есть не что иное, как страх, но я знаю, что горюю не о Перри, а о других смертях, может быть, о своей собственной. Бедный Перри. Он был смелый человек. Не могу сказать, что я по-настоящему любил его, но я восхищался им за попытку меня убить, и ведь если бы не та шальная волна, его попытка увенчалась бы успехом. Джеймс, каким он привиделся мне в том жутком бреду, которому я придал такое значение, — это, наверно, был результат удара по голове. Счастливо я отделался.

Несколько епископов, и католических и протестантских, отдали дань уважения Перегрину. Он окружен ореолом мученика. Организуется фонд в защиту мира имени Перегрина Арбелоу. Розина возвратилась из Калифорнии, дабы вкусить славы мученика, и берется привлечь в этот фонд

немало американских денег. Лиззи говорит, что слышала, что Розина уехала от Перри незадолго до его смерти и не имела намерения вернуться, но это, вероятно, всего лишь злостные сплетни.

Потрясение, вызванное смертью Перри, почему-то сильно поколебало мою теорию относительно смерти Джеймса. Сама по себе эта теория неплоха и весьма правдоподобна, беда в том, что я потерял в нее веру. Пожалуй, мне легче было бы думать о нем как о мертвом, думать, что этот дух, так долго меня тревоживший, обрел наконец покой. Никаких тайн тут, в сущности, нет. Джеймс умер от инфаркта. Что касается «восточных людей», то я сообразил, что это всего-навсего официанты из индийского ресторана на Воксхолл-Бридж-роуд.

Нет, я не хочу верить в то, что кузен Джеймс жив-здоров и живет в Тибете, как не хочу верить, что Хартли жива-здорова и живет в Австралии; и временами я бываю твердо убежден, что она тоже умерла.

Перегрин открыл дверь и упал наземь, изрешеченный пулями. Значит, он все-таки пал смертью героя.

Завтракал с мисс Кауфман. Приехал Сидни выяснять отношения с Розмэри. Розина выступала

на митинге на Трафальгарской площади. Мы с Лиззи смотрим Гилберта по телевизору.

Дядя Авель, танцуя с тетей Эстеллой, так легко касается ее руки, ее плеча, словно приподнимает ее в воздух одной силой своей любви. Они смотрят в глаза друг другу, он — покровительственно, она — с безграничным доверием. Видно, они танцевали вальс в тот быстролетный миг, который аппарат поймал и кинул вперед, в будущее. Ее ноги едва касаются пола.

Мой отец был тем, чем мне не суждено было стать, — истинным джентльменом. А дядя Авель? Не вполне. А Джеймс? Идиотский вопрос.

Джеймс сказал, что я был влюблен не в Хартли, а в свою молодость. Клемент не дала мне найти Хартли. Война разрушила нормальный мир, в котором я мог бы жениться на своей первой, детской любви. Туда, где она была, поезда не ходили.

Только что провел пьяный вечер с Тоби Элсмиром и уже немного стыжусь этого. Тоби сказал, что Джеймс был «малость чокнутый» и что это был «сфинкс без загадки». Я с ним не спорил. Слышать, как Джеймса принижают, было мне даже приятно. Элсмир все еще выпрашивает у меня его стихи, а я не хочу выпускать их из рук и сам их не

прочел, ни единой строчки. Даже если Джеймс — величайший поэт нашего века, придется ему еще немножко подождать всенародного признания. Скажем, до тех пор, пока я не умру.

Джеймс сказал, что я должен заново проиграть мою любовь к Хартли, и тогда она рассыплется на куски, как бывает в сказках, чуть пробьет полночь. Может быть, это и впрямь было нужно и такая заново проигранная любовь — способ избавиться от застарелых обид? Или мне просто хотелось отнять ее у Бена, как в свое время захотелось отнять Розину у Перри? Конечно же, со смертью Титуса я окончательно потерял Хартли, в этом смысле сухая мораль — обличение человеческого тщеславия — осталась в силе. И я, кажется, уже задаюсь вопросом: так ли уж сильно я любил ее, даже в самом начале? Печально, но факт: Хартли никогда не блистала умом. Как подумаешь, до чего же скучный, серенький дуэт мы собой являли — ни блеска, ни стиля, ни юмора. Всему этому меня обучила Клемент. Неужели я все-таки принял скуку за добродетель, потому что моя мать ненавидела тетю Эстеллу?

С чего это я вдруг стал кощунствовать? Полуночные бредни, вот что это такое.

Я без конца откладывал, не писал про Хартли,

хотя думаю о ней все время, а теперь вот выходит, что сказать почти нечего. Несколько дней назад, хоть я этого и не записал, мне вдруг стало «очевидно», что вся история с отъездом в Австралию была подстроена. Почему Хартли раньше не говорила мне, что уезжает в Австралию? Да потому, что она и не собиралась туда уезжать! Бен придумал этот ход в последнюю минуту. Не странно ли было купить собаку перед самым отъездом за границу? Открытку из Сиднея, которую с такой готовностью показала мне сообщница-соседка, можно было без труда сфабриковать с помощью каких-нибудь знакомых в Австралии. Бен решил раз и навсегда сбить меня со следа, даже если это значило, что я очертя голову помчусь к антиподам, а сам увез свою покорную жену в Борнмут или в Литем-Сент-Энн. А через некоторое время, узнав от Аркрайтов, что я уехал, они даже могли вернуться в Ниблетс. И что я тогда стал бы делать? Поехал бы туда выспрашивать всех подряд в деревне? Кое-кто мог ответить и правду.

Но желание заняться этим пропало. Я грубо и тщетно ломился в тайну чужой жизни, пора и честь знать. Позже я пришел к мысли, что совершенно безразлично, куда они уехали — в Сидней или в Литем-Сент-Энн. И теперь мне представля-

ется просто нелепым, что в мою честь мог быть разыгран столь сложный дивертисмент.

Когда они решили ехать в Австралию, если вообще решили? Неужели Бен действительно думал, что я отец Титуса? Если да, то он, для человека буйного нрава, вел себя на удивление сдержанно. Возможно, он даже считал, что я могу ему понадобиться как предлог. Теперь, оглядываясь на эту путаницу причин и следствий, я готов порадоваться, что сказал Джеймсу, что, по моим предположениям, Бен пытался меня убить, — ведь этим я выдал ему свои преступные намерения, и он решил заставить Перри покаяться. Неужели я в самом деле собирался убить Бена? Нет, это были всего лишь фантазии, для самоутешения. Впрочем, такие фантазии тоже иногда приводят к «несчастным случаям».

С чего я вообразил, что Хартли снедаема жаждой смерти? Она крепкая, живучая как кошка.

Если этот дневник «ждет» каких-то окончательных разъяснений по поводу Хартли, он рискует прождать до второго пришествия. Я, конечно, записывал не каждый свой шаг, а событиям и людям, не связанным с моим прошлым, и вовсе не уделил места. И по-прежнему не датирую

записей. Время бежит, на дворе уже октябрь с прохладными солнечными днями, ярко-голубым северным небом и летучими обрывками воспоминаний об осенних днях других лет. Погода самая грибная, и я жарю себе вкуснейшие свежие грибы, крупные, черные, скользкие, а не какие-то там безвкусные гвоздики. Уже продаются сладкие лепешки, а значит, не за горами и такая знакомая лондонская зима: ранние сумерки, туманы, мишурный блеск и веселая суета Святок. И как бы я ни был несчастлив, я невольно откликаюсь на эти зовы, как, несомненно, бывало и в другие несчастливые осенние дни.

С тех пор как я написал о Клемент, я по ней скучаю. Странно, что про боль можно сказать «скучать по ком-то». Я то и дело вижу Клемент на улице — когда еду в автобусе, когда спускаюсь на эскалаторе, а она поднимается или вскакивает в такси и исчезает. Может быть, вот так же будет и в «бардо». О господи, если она там, как же трудно ей приходится. Не говоря уже о земных привязанностях, у Клемент было столько земных терзаний, что хватит на десять тысяч лет.

Я, конечно, не верю в те «кощунства», что записал выше.

Когда же Хартли начала ускользать от меня — вернее, не Хартли, а ее образ, ее двойник, та Хартли, которую я выдумал? Произошло это раньше или происходит только сейчас, когда я могу оглянуться на прожитое лето и увидеть свои поступки и мысли как поступки и мысли сумасшедшего? Помню, Розина как-то сказала, что ее влечение ко мне смешано из ревности, обиды, гнева, но не любви. Можно ли сказать то же о моем влечении к Хартли? Неужели все эти страдания, это наваждение, были мне нужны для того, чтобы в конце концов увидеть в ней гарпию, полоумную, зловредную колдунью, недостойную моего чувства, которую можно с облегчением гадливо от себя оттолкнуть? Джеймс сказал, что со временем я увижу в ней злую волшебницу и тогда прощу ее. Но простить ее — разве это не значило бы свести на нет всю психологическую игру, которую я вел с самим собой? Неужели я и вправду заново проиграл мою любовь лишь для того, чтобы объяснить себе, что любовь была поддельная, смесь давнишней обиды и нынешних уколов безумной деспотической ревности? Так ли уж сильна была эта старая обида? Не помню. Хартли сказала странную вещь: она-де заставляет себя думать, что я ее ненавижу, чтобы ослабить

притягательность моего образа. Теперь, когда я обо всем этом думаю, тщетно пытаясь выхватить из мрака куски далекого прошлого, мне сдается, что, может быть, то, что я испытывал к Хартли — во всяком случае, после того как мной завладела Клемент, — было чувство вины за то, что недостаточно сильно страдаю, недостаточно усердно ищу ее. О черт, ведь я любил Клемент, не мог не любить, хоть и отрицал это, чтобы ее помучить! Возможно ли, что к тому времени я уже был рад, что не могу найти Хартли? Дневника я тогда не вел, а если б и вел, не сказано, что я бы ему поверил. Я уже не могу вспомнить, как именно сменялись события в те доисторические годы. Что мы неспособны запомнить такие вещи, что наша память, которая есть мы, ограниченна, выборочна и неточна — это тоже очень важное наше свойство, как и наша внутренняя сущность и наш рассудок. Да что там, это лежит в основе и того и другого.

Какова бы ни была причина, ясно одно: что-то кончалось. Моя новая, моя вторая любовь к ней в своем зените казалась высокой и прекрасной даже без иллюзий, когда я увидел ее жалкой, сломленной и все же готов был лелеять, сделать ее своей, и отдать ей себя, и ощущать ее как

источник света, даже если мне суждено было потерять ее навеки, как оно и случилось. Где теперь этот свет? Он погас, да и был разве что блуждающим болотным огоньком, а мое великое «озарение» — просто вздором. Она исчезла, она ничто, для меня она больше не существует, и выходит, что я действительно сражался за призрак Елены. *On n'aime qu'une fois, la premiure*. Ох, сколько глупостей я натворил в поддержку этого дурацкого галлицизма!

Что же вызвало перемену, только ли неотвратимый ход времени, который так незаметно и равнодушно изменяет все на свете? Где-то я написал, что смерть Титуса «испортила» Хартли, испортила просто потому, что она его пережила. Да, но у меня и в мыслях не было винить ее за это. Виною тут скорее какая-то демонская порча, которая постепенно все разъела, а исходила, казалось, от нее, без ее ведома, так что ради нее, ради меня нам пришлось навеки расстаться. И теперь она мне видится навеки изуродованная этой порчей — неопрятная, опустившаяся, грязная, старая. Без всякой ее вины. Если можно говорить о чьей-то вине, так только о моей. Это я выпустил на волю моих демонов, и прежде всего гидру ревности. Но теперь моя храбрая вера, твердившая: «Какой бы

она ни была, я люблю ее, и только ее», померкла и угасла, и все свелось к банальности и безразличию, и я знаю, что в глубине души принижаю ее, как почти все мы умышленно принижаем всех, кроме себя. Даже тех, перед кем мы искренне преклоняемся, нас порою тянет тайком принизить, как нас с Тоби потянуло принизить Джеймса — просто чтобы удовлетворить здоровый аппетит наших драгоценных «я».

Но боль, конечно, не прошла и не пройдет. Наше поведение подчинено условным рефлексам, звонит звонок — и мы выделяем слюну. Такое поведение тоже характерно для нас. По ассоциации можно изгадить что угодно; можно весь мир закрасить черной краской, хватило бы только ассоциаций. Стоит мне услышать, как лает собака, и я вижу лицо Хартли, каким видел его в последний раз, когда оно страдальчески искривилось, а потом вдруг утратило всякое выражение. Точно так же, стоит мне услышать музыку Вагнера, и я вспоминаю, как Клемент, умирая, оплакивала собственную смерть. Более горьких, более изощренных мук не выдумать ни в аду, ни в чистилище.

Очень насыщенная неделя. Завтракал с мисс Кауфман и договорился о водворении ее матери

в комфортабельный и дорогостоящий дом для престарелых. Платить за ее содержание там буду, видимо, я. Выходит, я все-таки свернул на путь святости? Посидел в баре с Розиной. Она подумывает о политической карьере. Уверяет, что воздействовать на людей красноречивыми выступлениями очень легко. Видел Алоиза Булла и Уилла Боуза. Они звали меня вступить в их новую компанию. Отказался. Ходил на просмотр ужасающих картин Дорис. Завтракал с Розмэри. Она сказала, что история с Мабель, кажется, рассосется. Получил еще одно письмо от Анджи. Ездил в Кембридж в гости к Банстедам, которые не устают гордиться своим удачным счастливым браком и своими красивыми, умными детьми. Обедал у Лиззи и Гилберта. Гилберта называют «ведущей фигурой зрелищного бизнеса текущего года». Говорили об Уилфриде, и Гилберт проявил подобающую скромность, возможно — притворную.

Я должен кое-что сказать о Лиззи. На этих страницах я был к ней несправедлив. Однако же я сохранил ее письма, а хранить чьи-то письма — это всегда что-то да значит. (Почему, хотел бы я знать, Хартли сохранила мое последнее письмо, но не прочла его? Наверно, ей просто нужно было

поскорее куда-то его деть. Длинное письмо не всегда можно быстро уничтожить, в этом я в свое время убедился.) Я перечитал письма Лиззи, приведенные выше. В то время я их воспринял как безудержный вздор и самообман. Теперь я нахожу их трогательными, даже умными. (Неужели я, впервые после Клемент, ощущаю недостаток в поклонниках?) Поскольку Гилберт теперь так занят и знаменит, я чаще видаюсь с Лиззи наедине. Я регулярно приглашаю ее завтракать и наконец уговорил не стряпать дома. А это, почти во всякой дружбе, очень важный этап. Вдвоем нам спокойно и весело. Мы много смеемся и шутим, не обсуждаем никаких серьезных вопросов, и ее красноречие, возможно, значит для меня больше, чем для нее самой.

«Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром… если б могла страдать сильнее, страдала бы сильнее… в конце концов, ты должен воспринять нас как своих детей… Нежность, абсолютное взаимное доверие, и контакт, и правда — это с годами становится все нужнее… Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Неужели и теперь, когда близко старость, мы не можем любить друг друга как свободные люди, без этой страшной жажды

обладания, без надрыва и страха?.. Не влюбленность, а любовь, вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды… Люби меня, Чарльз, люби достаточно…»

Лиззи и Гилберт действительно счастливы вместе, как она и сказала в своем первом письме, а я не поверил. «Все как-то сразу стало просто и невинно». Его известность ничего тут не изменила. У меня всего лишь прибавилось возможностей бывать с Лиззи наедине, а это, мне кажется, ему приятно. В сентябре он уезжал на Эдинбургский фестиваль, где Алоиз Булл ввел его в новую передачу. Взбодренный любовью британской публики, он теперь боится меня куда меньше, чем прежде. И Лиззи тоже. Возможно, лев стареет и когти его затупились? Как бы там ни было, я замечаю, что Лиззи без малейших усилий, без каких-либо обсуждений и разговоров, даже без упоминаний о половых отношениях стала тем, чем была когда-то и чем, по ее словам, хотела быть всегда, — моим ребенком, моим пажом, моим сыном. Вот так исполнились желания хотя бы одного из действующих лиц этой повести.

Лиззи страшило, что, если она вернется ко мне,

любовь обернется для нее рабством. Она боялась этой мучительной зависимости одной человеческой психики от другой. Жалею ли я, что этот страх отпустил ее? Да, тот злобный деспот, что сидит во мне, об этом жалеет. Как это она сумела? Может быть, ей тоже пришлось заново проиграть свое чувство, заново все перестрадать, чтобы преобразить его. Только выходит, что ей это удалось, а мне нет; она преобразила свою любовь, а я свою попросту умертвил. Может быть, я оказался тем испытанием, которому суждено было очистить ее любовь от всего наносного? Нет, это уж какое-то слишком возвышенное соображение! Может быть, от ужасов этого лета просто оборвалась какая-то нить, Лиззи устала. Все мы друг для друга потенциальные демоны, но изредка близкие отношения бывают избавлены от этой участи. Кажется, мои отношения с Лиззи избежали ее, по какому-то милосердному соизволению, без всякой заслуги с моей стороны, помимо моей воли. Наверно, мы оба устали и рады отдохнуть вдвоем.

Мы касаемся и целуем друг друга, большего нам не надо. Как я уже говорил в самом начале, я, в отличие от современного героя, не наделен особой сексуальностью. Я могу без этого обходиться, и

обхожусь, и прекрасно себя чувствую. Оглядываясь на свою жизнь, я должен сознаться в чем-то, что, несомненно, посрамило бы современного героя. У меня было не так уж много любовниц, и не все женщины, которых я домогался с успехом, удовлетворяли меня в постели. Конечно, были и исключения: Клемент, которая меня всему научила. Жанна. А как оно было бы с Хартли?

Мы с Лиззи никогда не говорим о Джеймсе, и сейчас это как будто уже и не важно. Словно самый факт их знакомства у обоих нас изгладился из памяти. А между тем в каком-то, может быть и безобидном, смысле Джеймс оторвал меня от Лиззи, выхолостил наши отношения. Может быть, это как раз и есть то милосердное соизволение, основа нашего душевного покоя? Демоны, посланные возмущать нашу дружбу, убиты все до единого. Я о них не горюю. Порой, когда мы с Лиззи молча обмениваемся улыбками, мне сдается, что и она, возможно, думает о том же.

Опять была эта боль в груди, которую я впервые почувствовал в Шрафф-Энде, когда пытался принять ванну на кухне. Побывал у своего доктора, но он все свалил на какие-то «вирусы».

Иногда сижу и думаю, кому мне оставить свои деньги. Пожалуй, пора понемножку от них избав-

ляться. Я уже послал чек Буддийскому обществу и еще один — в Фонд защиты мира имени Арбелоу, а в ближайшее время намерен сразить своей щедростью Эразма Блика по случаю его женитьбы. Его «Гамлет» все еще не сходит со сцены, я все еще его не смотрел. Восточное добро я, скорее всего, целиком отдам в Британский музей, книги они могут забрать хоть сейчас. А стихи Джеймса завещаю Тоби Элсмиру. Почему я так спешу всем распорядиться? Или мне кажется, что я скоро умру? Нет, конечно, но все-таки это купание в Минновом Котле, как видно, не прошло для меня даром, причинило мне какой-то вред, не физический, а вроде как душевный. Я совершенно здоров, я не чувствую признаков старости, но замечаю, что люди начинают ко мне относиться как к «пожилому человеку», а в этом, несомненно, отражается то, каким я сам себя ощущаю. Мне преподносят подарки — растения в горшках, куриные консервы, справляются о моем самочувствии. Так какое же у меня самочувствие? Розмэри подарила мне полдюжины фаянсовых мисочек для супа.

Во время вчерашней викторины по Би-би-си не все могли ответить, кто я такой.

Вчера, когда я это писал, мне, очевидно, нездоро-

вилось. Наверно, в результате поездки в Оксфорд, на так называемые студенческие празднества. Не стоит мне так быстро раздавать деньги, когда я в таком настроении. В Британский музей я все же сообщил, что книги можно забрать. Думаю, что это правильно, хотя в том, что я расстаюсь с какими-то вещами Джеймса, мне чудится едва ли не святотатство. Выходит, я готов к тому, что он в любую минуту может вернуться?

Я пишу, а левой рукой поглаживаю коричневый с голубыми прожилками камень, который Джеймс выбрал из моей коллекции в Шрафф-Энде. Когда я сюда приехал, камень лежал на этом столе, Джеймс, вероятно, часто его трогал, так что, касаясь камня, я как бы касаюсь его руки (какой сентиментальный вздор). Я беру камень в руки, и меня охватывают чувства, которым я стараюсь не давать ходу. Любить людей — разве это не связывает? Я не хочу страдать впустую. Мне жалко, мне стыдно, что я так и не узнал его ближе. Мы никогда не были настоящими друзьями, и я потратил уйму времени на то, что как дурак завидовал ему, настороженно за ним следил и надрывался в соперничестве, о существовании которого он, вероятно, и не подозревал. Его неудачи меня радовали, а собственные удачи я ценил потому, что

мне казалось — я его перещеголял. Мое отношение к нему состояло из страха, тревоги, зависти, желания удивить. Могло ли в нем быть место или почва для любви? Мы разминулись в жизни, и виной этому недостаток доверия, смелости, великодушия, неуместное самолюбие и английская необщительность. Теперь я чувствую, что со смертью Джеймса какая-то часть меня исчезла, как часть моста, унесенная паводком.

Только что сообразил, что второе бегство Хартли, как, впрочем, и первое, можно истолковать совсем по-иному. Что-то в этом духе, кажется, имел в виду Джеймс. Когда Хартли сказала, что ей пришлось защищаться мыслью, будто я ее ненавижу и осуждаю, она добавила, что «всегда чувствовала себя виноватой». Когда она сказала, что ей нужно быть уверенной в том, что между нами все кончено и «умертвить это в памяти», я вообразил, что мой образ, разгневанный, враждебный, призван смирить ее старую любовь и ту притягательную силу, которая еще могла от меня исходить, потому что жить, ощущая эту силу, ей было бы слишком тяжело. Но может быть, ее держала в плену не любовь, а именно это чувство вины? Неотступное чувство вины может длиться годами и вселять жизнь в призрак того, перед кем

мы виноваты. А что, если это чувство могло даже симулировать глубоко запрятанную любовь? Может быть, Хартли все эти долгие годы сама не знала, почему ей так больно обо мне думать. Наверняка ей тогда было страшно и трудно уйти от меня, предать наши две нерасторжимые жизни и наши истовые обеты. «Я только так и могла уйти, иначе было нельзя, это было нелегко». Может быть, отзвуки этого предательства продолжали отдаваться в ее сознании, как отзвуки изначального взрыва Вселенной? Пока не пришла пора определить это чувство, откуда ей было знать, что именно ее терзает — тот взрыв, или вина, или любовь?

Потом неожиданно опять появился я и яснее ясного дал ей понять, что не ненавижу и не осуждаю ее, что по-прежнему ее люблю и не таю обиды. Первым ее откликом была благодарность, облегчение, а они породили ощущение воскресшей любви. Может быть, с этим ощущением она и пришла ко мне в тот вечер поговорить о Титусе. А я по своему опыту с Перегрином знаю, что виноватым можно себя чувствовать не потому, что согрешил, а потому, что тебя обвинили! Хартли, когда воображаемые обвинения отпали, сперва почувствовала благодарность, симпа-

тию. Но когда сознание вины и порожденная им взрывчатая, пульсирующая напряженность пошли на убыль, обнажилась глубже запрятанная сущность ее отношения ко мне. Ведь бросить меня ей было очень трудно, и мотивы для этого у нее, конечно же, были нешуточные. Ей потребовалось много мужества, чтобы убежать к тетушке в Сток-он-Трент. Почему же она ушла? Потому что я был влюблен, а она нет; потому что я просто недостаточно ей нравился, потому что был слишком себялюбив, слишком властен, «все командовал», как она выразилась. Я тешил себя мыслью, что воскрешаю в ней старую любовь, а любви-то этой и не было. С освобождением от чувства вины проснулась спасительная давняя обида, вновь сказалась та холодность, которая в прошлом и дала ей силы уйти и искать своего счастья по новому адресу. И возможно, по этому новому адресу она вскоре пережила сексуальное пробуждение, которое я оказался неспособен в ней вызвать.

Но эти соображения слишком смахивают на кошмар. Уж лучше решить: «Этого я никогда не узнаю».

Приезжали сотрудники Британского музея и увезли все восточные книги. С вожделением

поглядывали и на остальное добро. Один хотел было поближе рассмотреть шкатулку с демоном, но я что-то крикнул и удержал его. Те книги Джеймса, что еще остались и сделались теперь заметнее, — это главным образом исторические труды и поэзия на европейских языках. (Произведений Миларепы я не нашел, он ведь, кажется, итальянский поэт?) Романа ни одного. Я распаковал часть своих книг, но вид они имеют какой-то жалкий и легкомысленный, и никогда им не заполнить эти пустоты на полках. Значит, квартира Джеймса будет постепенно оголяться, как дворец Аладдина?

Письмо от Жанны, приглашает в гости в Иран, где ее муж (он курд или что-то в этом роде) — туземный царек. Не хватало мне только стать жертвой какого-нибудь *crime passionel*[39].

Слава тебе господи, Шрафф-Энд наконец продан — неким доктору и миссис Шварцкопф. Желаю им лучше меня ужиться с тамошней нечистой силой.

Розина, по последним сведениям, живет в каньоне близ Лос-Анджелеса с женщиной-психиатром. Слышал, что этот болван Уилл Боуз

---

[39] Примечания: 39
Преступление на почве ревности *(фр.).*

получил рыцарское звание. Приятно сознавать, что я никогда не жаждал таких почестей.

Этой ночью мне снилось, что Хартли умерла, что она утонула.

Еще одно письмо от Анджи.

Поговорили о Хартли с Лиззи, и, хотя ничего важного не было сказано, сердцу стало легче, как будто его очень осторожно вскрыли скальпелем. Когда-то я назвал Хартли фантазеркой, или это Титус так ее назвал, но каким же фантазером оказался я сам! Это я предавался фантазиям, я, великий маг и волшебник. Теперь-то, задним числом, я понимаю, сколько всего привнес от себя, когда читал мною же выдуманный текст, а не смотрел на реальные факты. Хартли сказала правду — наша с ней любовь не была частью реального мира. Она была вне пространства. Но сейчас меня поражает другое: ведь в какой-то момент, чтобы стало легче дышать, я решил, чуть ли не тайком от самого себя, считать Хартли лгуньей. Чтобы избавиться от бремени моей злосчастной любви, я бессознательно схитрил, как то свойственно всякому законченному эгоисту, и в целях самозащиты стал относиться к ней как к несчастной сварливой истеричке; и эта брезгливая жалость, в которой я пытался усмотреть некое

духовное сострадание, помогла мне вырваться на волю. Я не выдержал вида хныкающей жертвы, запертой в ужасной комнате без окон, которая до сих пор мне снится. Воображение моей любви поставило крест на реальной Хартли и утешилось высокой абстракцией нерассуждающего «восприятия». Этим я и спасся.

В нашем разговоре Лиззи, между прочим, сказала: «Конечно, со стороны брак может казаться кошмарным, а на самом деле ничего плохого в нем нет». Верно, все верно. Но разве у меня не было доказательств? Я, разумеется, не рассказал Лиззи, как подслушивал под окном и как Хартли раз за разом повторяла: «Прости меня, прости, прости». Бен так и не нашел себе места в гражданской жизни. Он получил медаль за то, что убил множество людей в лагере для военнопленных в Арденнах. Говорили о ненужной жестокости. Есть люди, лучше других умеющие убивать. Хартли сказала, что согласна насчет жестокости Бена, но эта ложь могла быть подсказана лояльностью или безотчетным страхом. Запах страха, мне кажется, всегда можно распознать. Куда могут завести такие рассуждения и в каком свете они могут хотя бы приблизить к истине? Воображение любви уперлось в запертую дверь.

Ограниченность и неточность памяти исключают возможность окончательных примирений. Но несомненно то, что Хартли пережила тяжелые минуты, и несомненно, что она, как я и предполагал вначале, иногда жалела, что потеряла меня. Она пришла ко мне, прибежала, это не было сном. Не бесплотный призрак я обнимал в тот вечер. И в тот вечер она сказала, что любит меня. Моя мысль, что в ней якобы проснулась «изначальная обида», слишком уж хитроумна. Когда доискиваешься правды, всегда рискуешь запутаться в хитроумных домыслах. Порой не следует пытаться приподнять ее покрывало. Разумеется, эта книга — повесть о любви. Хартли не сумела стать моей Беатриче, и я не сумел найти в ней спасение, но в самой идее не было ничего бессмысленного или недостойного. Мою жалость к ней необязательно считать уловкой или дерзостью, она, в конце концов, может существовать и дальше как простенький, незаметный бескорыстный сувенир, имеющий в моей жизни уже не первостепенное, но непреходящее значение. Прошлое хоронит прошлое и должно закончиться молчанием, но молчание это может быть осознанным, не слепым. Возможно, это и есть то последнее прощение, о котором говорил

Джеймс.

Вчера мне приснилось, что я слышу голос мальчика, поющий «Eravamo tredici». Когда я проснулся, нелепый припев «пима-пома-пима-пома» все еще как будто звучал за стеной. Как по-иному я относился бы к своим богатствам, если бы Титус был жив! Распаковал еще часть своих книг, и мне попалось его роскошное издание любовной лирики Данте.

Какие несчетные цепи роковых причин и следствий раскинули по земле человеческое тщеславие, ревность, жадность, трусость, чтобы другие люди о них спотыкались. Странно подумать, ведь, переселяясь к морю, я воображал, что расстаюсь с мирской жизнью. Но не успеешь отречься от власти в одном ее виде, как она уже нужна тебе в другом обличье. Возможно, в каком-то смысле у нас с Джеймсом были одни и те же проблемы?

Я очень стараюсь запомнить все, что говорил Джеймс, но оно, как нарочно, с невероятной быстротой улетучивается из памяти. Без его книг квартира выглядит уныло. Зимой здесь, думаю, будет холодно. Дни уже стоят пустые, желтые. Нужно поучиться поднимать температуру тела путем душевного напряжения!

Опять побывал у врача, он все еще не находит у меня никаких болезней. А я уж подумывал, не предвещают ли мои мудрствования полный физический распад. Сегодня с утра льет дождь, и я не выходил из дому. Моих запасов риса, чечевицы и оранжевого пепина мне хватило бы на всю зиму. Телефону я все еще не разрешаю звонить. Что ж, остался я наконец один, как и входило в мои намерения, и ничто и никто уже не связывает меня с жизнью? Исторический процесс завершен?

Можно ли себя изменить? Едва ли. В лучшем случае такие перемены измеряются миллионными долями миллиметра. Теперь, когда бедные призраки удалились, остались только самые обыденные обязательства, самые обыденные интересы. Можно жить спокойно и пытаться совершать крошечные добрые дела и никому не вредить. Сейчас мне не приходит в голову ни одно крошечное доброе дело, но завтра, как знать, может быть, что и набежит.

Густой туман. Утром, когда я подошел к Темзе, другого берега не было видно. В холод я чувствую себя лучше. Магазины уже готовятся к Рождеству. Дошел пешком до Пикадилли и накупил сыру. Дома меня ждала длинная экспансивная каблограмма от Фрицци, он уже на пути в Лон-

дон. Хочет, чтобы я режиссировал нечто под названием «необалет». Работа над «Одиссеей» возобновилась.

Водил мисс Кауфман на «Гамлета». Очень было хорошо. Получил весьма соблазнительное приглашение в Японию.

Решил спустить с цепи телефон, и тут же позвонила Анджи. Договорились в пятницу вместе позавтракать. Фрицци приезжает завтра.

Да, конечно, я был влюблен в собственную юность. Тетя Эстелла? Да нет. Кто она, наша первая любовь?

О черт, эта окаянная шкатулка свалилась-таки на пол! Кто-то стучал молотком в соседней квартире, и она соскользнула с кронштейна. Крышка отлетела, и, если было там какое содержимое, теперь оно наверняка вышло на волю. Хотел бы я знать, что еще ждет паломника на кишащем демонами пути земной жизни?